

ТАТЬЯНА  
БЕК  
ОНА  
И  
ОНЕЙ

Войнович  
Волков  
Городницкий  
Кабаков  
Ким  
Кушнер



Левитин  
Маркиш  
Ревич  
Рыбакова  
Солонович  
Эппель  
Кауфман  
Спациани



Б.С.Г.-ПРЕСС

ТАТЬЯНА  
БЕК  
ОНА И О НЕЙ



Владимир Войнович/Соломон Волков  
Александр Городницкий/Александр  
Кабаков/Юлий Ким/Александр Кушнер  
Михаил Левитин/Давид Маркиш  
Александр Ревич/Татьяна Рыбакова  
Евгений Солонович/Асар Эппель  
Бел Кауфман/Мария Луиза Спациани

Б.С.Г.-ПРЕСС

ТАТЬЯНА  
БЕК



# ТАТЬЯНА БЕК

ОНА И О НЕЙ



Б.С.Г.-ПРЕСС  
МОСКВА 2005

Оформление, макет и фотографии на обложке  
Андрея Рыбакова

*Книга выпущена в рамках «Федеральной целевой программы “Культура России” (подпрограмма “Поддержка полиграфии и книгоиздания России”)*»

*Издательство выражает благодарность Объединенному институту ядерных исследований (г. Дубна) и его директору профессору А.Н. Сисакиану за поддержку, оказанную при издании книги*

*Издательство благодарит семью Т. Бек за предоставление архива писательницы, а также ее друзей и коллег, без которых выход этой книги был бы невозможен*

**Бек Татьяна**

Б 42 Она и о ней: Стихи, беседы, эссе. Воспоминания о Т.Бек. — М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2005. — 832 с.

ISBN: 5-93381-183-1

В книге, изданной в память о Татьяне Бек, представлено множество жанров: ее последние стихи, блестящие беседы-интервью с известными деятелями культуры (Вл. Войновичем, С. Волковым, А. Кабаковым, Ю. Кимом, Д. Маркишем и др.), острые эссе. Мемуарная часть состоит из воспоминаний о Татьяне Бек ее друзей, в основном литераторов.

В результате многожанровый сплав дал полную, насколько это вообще возможно, картину «быта и бытия» талантливой женщины. Кроме того, вдумчивый читатель получает уникальный шанс составить собственное мнение о нравах современного литературного сообщества.

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN: 5-93381-183-1

© Т. Бек, наследники, 2005

© Л. Агеева, Ю. Буров, В. Войнович, В. Вульф, Б. Евсеев, С. Есин, Т. Жирмунская, Н. Иванова, Б. ван Канн, А. Кербабасва, О. Клиг, Н. Краснова, А. Кушнер, Л. Лазарев, Н. Ласкина, Е. Лесин, А. Мамедов, Д. Маркиш, Е. Орлова, С. Пинхасов, А. Сисакиан, Е. Скульская, Е. Солонович, Р.Тименчик, И. Шайтанов, А. Шаталов, В. Шохина, И. Щербакова, 2005

© А. Рыбаков, оформление, 2005

© “Б.С.Г.-ПРЕСС”, оформление, 2005

© “Б.С.Г.-ПРЕСС”, 2005

## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга издана в память о Татьяне Бек.

«Дуб — дерево. ...Россия — наше отечество. Смерть неизбежна». Это эпитафия к набоковскому «Дару», упражнение из дореволюционного учебника русской грамматики. Грамматические примеры легко продолжить еще одной очевидностью: человек — существо противоречивое. А поэт — остро, душераздирающе противоречивое.

Абсолютная цельность Татьяны Бек проявлялась в одном — она была настоящим поэтом.

Составленная нами многожанровая книга прежде всего — ее. Здесь есть стихи, блистательные беседы-интервью и увлекательнейшие литературные эссе последнего года жизни, письма. Она работала много, ярко, талантливо.

Главные интересы ТАБ (так звали Татьяну Александровну Бек ее литинститутские студенты) были сосредоточены на литературе — и в смысле служения музам, и в смысле быта, отношений между людьми, душевных предпочтений. Следствие такой «литературной погруженности» вторая часть книги — воспоминания о ней, написанные ее друзьями.

Многожанровый сплав книги дал полную картину «быта и бытия» писательницы — ее личности, окру-

жения, обстоятельств жизни, а также современного литературного мейнстрима и писательской среды.

«Формат» мемуарной части книги определялся выбором самой героини — кругом близких ей людей. На самом деле круг общения ее был гораздо шире, но написать о ней сумели, естественно, не все. Однако подборка получилась, как говорят социологи, весьма репрезентативной. Воспоминания даны в основном в авторской редакции, мы старались, насколько это возможно, не вмешиваться в текст.

Итак, перед вами калейдоскоп «татьянобековских» жанров, писательских судеб, жизненных ситуаций, литературных оценок, характеров...

**Из последних стихов**







*И. Вороновой*

На отшибе средней полосы  
В мастер-классе музыкальной школы  
Бабочка (одна) и две осы  
Слушали аккорды и глаголы,

Залетевши в низкое окно  
С улицы, где заросли рябины,  
Прямо в ноты дедушки Гуно  
И в стихи страдальцы Марины:

*Слишком сладко, слишком горячо!*  
И, почуя в воздухе химеры,  
Бабочка уселась на плечо  
Пианиста, юного без меры.

Это не был насекомый жест —  
Это Бог распорядился, чтобы  
Воля обнаружила протест,  
Плюща ученические пробы.

Музыка свернулась калачом;  
Лирика ушла за огороды;  
Мальчику отныне нипочём  
Каверзы свободы.

## АЛЫЕ ПАРУСА

1.

Блаженствуя в нечистой полутьме  
И контрабанду разместивши в трюме,  
Любила то, чего в своем уме  
Любить нельзя. Но я была в безумье.

Я округляла синие глаза  
Как два нуля (читай: зего в квадрате!),  
И алые кроила паруса,  
Мечтая о взаимной благодати.

Когда теперь, изрядно постарев,  
Я вглядываюсь в ужас эпилога,  
То вижу порт, разинутый как зев,  
И кутерьму, не знающую Бога.

Скорее — в тень укромную, в кусты,  
В необоюдность (через запятую), —  
А паруса пушу на лоскуты  
И лоскутами раны забинтую.

Всё кончено — судьбе не прекословь.  
Действительно, пошла иная драма...  
Но сквозь дерюгу проступает кровь,  
На алом фоне алая упрямо.

2.

От любви ничего не осталось.  
Ей, увы, не скомандуешь: «Ать!»  
Разлюбить — это значит: усталость  
И бессилие свет надыхать.

Было счастьем, а стало приказом.  
Было вместе, а сделалось врозь.  
Лишь далеким звучит парафразом  
Несчастливое слово «авось».

Мир в лице изменился, заплакав,  
Будто мальчика бьют во дворе...  
А про Бога спросите монахов,  
Что живут на Афонской горе.

Рослый стрелок, осторожный охотник,  
Призрак с ружьем на разливе души...

*Б.Пастернак*

Ветер, и ужас, и дрожь по воде.  
Осень ломает решетки кутузки...  
Это как в шахматах — мат без гарде  
(«Остерегайся», если по-русски):  
Предупреждения чужды беде.

Гроб заколочен. Шапки долой.  
— Жизнь, рассчитайся на первый-второй. —

Надо по новой расставить фигурки  
И, на доске разыгравши дебют,  
В зимнее поле уйти без охулки,  
Кротко приняв (по-ненашему «Гут»),  
Что и тебя под мелодию «Мурки»  
С воздуха, Господи, скоро убьют.

Нежно и насмерть убьют на бегу...  
— Дай надышаться землею в снегу!

*Сентябрь 2004*

Наверху — словеса и угрозы,  
А с исподу — дублёная честь.  
В океане *подводные горы*  
(Я читала в учебнике) есть.

Мы с тобою родные по расе,  
Но меж нами — больная стена...  
— Уходи от меня восвояси,  
Ибо это Свояси — страна,

Где доступно — назло кривотолкам,  
Составляющим музыку масс, —  
Отлежаться в молчании долгом,  
Как отдельный и острый алмаз.

Одиночество, темень, терпенье:  
«Будь, — как в школе кричали, — готов!»  
...А потом возвращайся:

ступени  
Стосковались без твердых шагов.

С.П.

Америка — цветной калейдоскоп  
Для праздного и скорого бродяги —  
Вмиг разлетится на миллионы скоб  
И стеклышек, мерцающих во мраке...  
— О, небоскрёб, верзила, остолоп,  
Не по ранжиру целящийся в маги, —  
Ты снова *небо* над Нью-Йорком *скрёб*  
Куском наждачной пыточной бумаги?  
Так получай же поварёшкой в лоб  
От разъяренной бабы-бедолаги!

Ты будь хоть лидер среди земных «калош»  
(Так я орала с бурей в подкорке),  
Но музыку,  
но музыку не трожь, —  
Пускай царит в небесной самоволке  
Над суммой лиц,  
сумятицею рож  
И веником, сметающим осколки...

А в остальном действительно хорош  
Успешный трэш,  
бытующий в Нью-Йорке!



Я гаркну, бредя из аптеки,  
На всю поднебесную Русь:  
«Как было — не будет вовеки.  
Как не было — станет. Клянусь!»

Непрожитых жребиев жалко.  
Я знаю, к примеру, что я —  
Зарытая в землю гадалка,  
Пророчица, ворожея.

Пока вы в ночи пировали  
И вдребезги били любовь, —  
Мне снился мой ангел в подвале  
И, стало быть, тайная новь.

Морозец веселый и колкий  
Толкает заглядывать вдаль...  
А лужи, покрытые коркой,  
Похожи на горный хрусталь!

*6 декабря 2004*



Мой костер в тумане светит...

С маленькими фигами в кармане  
Грезили о тёмной кабале:  
Как в великом фильме «Кабаре» —  
«Мани, мани...» и гори в тумане,

Где не светит никакой костёр,  
Где не встретит ни один из братьев...  
Только Ты объятья распростёр,  
Начисто устойчивость утратив.

...Получаю весть издалека:  
«Возродись, блаженная жилица,  
И скорее марш за облака,  
Чтоб назавтра снова приземлиться!»

Приземляюсь — и бегом к Тебе лишь,  
Ибо Ты, не глядя на часы,  
Скажешь: «Прочь из прежней полосы».  
И — согреешь.

*13 декабря 2004*

Пролетая над городом в дымке,  
Изумленная сном небывалым,  
Вижу, как на любительском снимке,  
Розу желтую с красным подпалом

И с колючими злыми шипами  
В допотопном граненом стакане...  
А потом выбегает в панаме  
Жизнь — как девочка — только без няни,

И смеется сквозь крупные слезы,  
И сдвигает упрямые брови,  
И предчувствует метаморфозы,  
Что уже у судьбы наготове.

*20 декабря 2004*

Я просила тяжелой любви,  
Как не принято между людьми...  
— Изничтожь меня, но оживи.  
Опрокинь меня, но подними. —

Сей глагол, предваряющий «но»,  
Был мне нужен как пряник и плеть.  
— Разреши опуститься на дно,  
Дабы брызгами в небо взлететь! —

...Никому ничего не скажу  
О глубоком коралловом дне.  
И тем паче Тебе послужу,  
Наотрез отказав Сатане.

*24 декабря 2004*

РИТМ

Кротко, медленно, полого,  
Строго по календарю...  
«Судорога — не дорога!» —  
Это я вам говорю.

Наберусь терпенья свыше,  
Наберу водицы в рот...  
«Тише, мышцы: кот на крыше», —  
Так безмолствует народ.

— Обогни, моя молитва,  
Кутежи и дележи  
В поисках такого ритма,  
Чтобы выжил не по лжи!

*2 января 2005*

Грех, как вор, влезает в окна  
Или двери без замка...  
Надо затвориться плотно,  
Крепко и наверняка.

Память сердца не в порядке,  
Как надтреснутая кость, —  
Ишь, на лестничной площадке  
Пьяный завывает гость

Голосом головореза,  
Вымогателя, врага...  
Ну, а мне милей аскеза  
И за окнами пурга,

С детской схожая игрою  
По святому куражу.  
— Дай-ка форточку закрою.  
Дай-ка лампу погашу. —

...Исколовшись об иголки,  
О, какая благодать —  
Попросту, как шар на елке,  
Мирозданье отражать!

*2—3 января 2005*

Это время поет  
В лабиринтах осеннего сада,  
Высылая вперед  
Желтизну своего листопада,

Проливные дожди  
И веселые «зайчики» солнца,  
И сиянье в груди  
У того, кто последним проснется...

О, как странно стареть,  
Матерея и хитросплетая  
Зауральскую медь  
И сокровища Индокитая,

Золотую парчу  
И бумажные нити поживы...  
Я жива. Я кричу.  
И мои однокашники живы.

Хорошо-хорошо!  
...И далекий потомок махновца  
Заряжает ружье  
И нацелился. Но — промахнется.

*16 января 2005. Ночь*



ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

Выгони из меня  
Бесов, не изменя  
Облика моего...  
Чуда жду Твоего.

*15 января 2005. Ночь*

# ЖИЗНЬ КАК БЕСЕДА



# ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

## ВМЕСТО КИНО Я ПОПАЛ НА ГАУПТВАХТУ, ИЛИ КАК ВОЗНИКАЕТ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ<sup>1</sup>

— Володя, мы с тобой лет четырнадцать назад сделали огромную беседу, назвали ее «Из русской литературы я не уезжал никуда». С тех пор возникло много новых вопросов, да и старые не грех рассмотреть заново.

— Давай.

— В детстве, когда ты жил с родителями, обсуждалась ли у вас тема, что называется, национальной принадлежности? Мама у тебя была еврейка, папа — по происхождению серб (я их знала), были еще бабушки-дедушки. Так вот: вы говорили о том, кто есть кто, или вообще до поры до времени проблема как таковая не возникала?

— Кто есть кто обсуждалось больше на улице, чем дома. На улице я впервые услышал слово, с которым прибежал домой и спросил отца: «Папа, ты жик?» Так и сказал «ж и к». Не помню, что он мне ответил. Насчет национальности мамы я тоже имел смутное представление... Кроме того, когда я опять же был

<sup>1</sup> Беседы 2004 — начала 2005 г. сделаны для журнала «Лехаим». В этой книге, за исключением оговоренных случаев, печатаются тексты из архива Т. Бек.

маленький, отец мой сидел, а мама с бабушкой не хотели, чтобы я понимал их разговор, — и они говорили на идиш. А я не знал, что этот язык называется идиш и что на нем говорят евреи.

— *Откуда они его так хорошо знали?*

— Они из местечка были. Из местечка Хашеваты. Одесская область. У бабушки это вообще был основной язык, она, бабушка, была малограмотная, говорила тоже не шибко правильно, но зато на нескольких языках — на идиш, на русском и на польском. Между собой с мамой — на идиш, а я этого языка совершенно не понимал, и он ко мне не приставал. Хотя в детстве язык воспринимается очень хорошо и способности у меня к языкам в принципе были, но почему-то идиш не прилипал. Ничего не помню — только помню, что бабушка говорила мне: «Мишигенер пунем».

— *Это что значит?*

— Сумасшедшее лицо. Я мало об этом думал, никто меня тогда не дразнил, и это все проходило мимо... Жил я и жил в таких условиях и обстоятельствах (или оно шло так от моего собственного характера?), что меня национальная сторона жизни ничуть не интересовала. Не было у меня такого, как, бывает, когда евреи считают, кто еврей, кто не еврей, и кто на сколько... Только, пожалуй, когда приехал в Москву, мне сказали: Ботвинник — еврей... А сам я об этом не думал: еврей — не еврей. Даже над такими чисто еврейскими фамилиями, как Бронштейн, не задумывался. Мне это было безразлично.

У моей мамы в более позднем возрасте такой интерес проявился: она перебирала великих людей и подсчитывала: вот этот еврей, и этот еврей, и этот... И ей было приятно, что так много великих людей были евреями. В молодости у мамы такого обостренного чувства еврейства не было, а к старости оно ею завладело... И она об этом думала все время. Под конец жизни стала патриоткой Израиля и все время

слушала «Голос Израиля». Со мною уже в то время (70-е годы) происходили кое-какие вещи, и обо мне говорили разные радиостанции: «Голос Америки», «Свобода», Би-би-си, «Немецкая волна». Я ей говорил: «У нас переписки нормальной нет, но ты слушай эти радиостанции и узнаешь обо мне то, что я тебе не смогу написать». Но нет! Только Израиль. Она об Израиле думала больше, чем обо мне. (*Смеется.*) Она сама меня евреем не считала. Однажды говорит: «Вова, почему бы тебе не поехать в Израиль?» И тут же спохватилась: «Ах да, я забыла».

— *А не мать — посторонние люди тебя как еврея третировали?*

— Нет. Меня в бытовом смысле очень мало по этой линии обижали, хотя я никогда не скрывал своих корней. Я не скрывал, но когда мне надо было себя отождествить с одной национальностью: или — или, — то я не задумываясь называл себя русским, потому что я, если учитывать все факторы, — происхождение, язык и культуру, я, конечно, русский, а не еврей и не серб. Мой дед по крови был чистым сербом, но родился в России, говорил по-русски, считал себя русским, и никто в этом не сомневался. Да и по характеру, мне кажется, я больше русский, чем кто бы то ни было.

— *По характеру, насколько я тебя знаю (а я тебя знаю почти с детства — уже сорок лет), ты все-таки серб.*

— Может быть. Вообще, характер формируется генами, воспитанием и средой. Среда у меня была первые четверть века почти исключительно русская, вот и сам я был совсем русским, а потом в Москве появилось много друзей, интеллигентов еврейского происхождения... Возможно, я с ними тоже, как говорят, объевреился, что бывает с людьми и чисто русского происхождения. Но все равно я — русский, и это не причина для гордости или самоуничтожения,

а просто факт. Но для антисемитов я, конечно, еврей, и для некоторых евреев тоже. Мне часто говорят, что раз мать у меня еврейка, то по израильским законам и сам я еврей. Но я в Израиле не живу и, приспособивая Пушкина к данному случаю, руководствуюсь законом, мной самим над собой установленным.

Есть давний спор, подогретый Солженицыным, кто кого больше обижает: русские евреев или наоборот. Как полукровка, чувствительный к обидам любой из своих сторон, могу сказать объективно: евреев обижают больше. Я слышал много раз высказывания вроде: «Мало вас, евреев, Гитлер уничтожал. Шесть миллионов? Мало, надо бы всех!» Никогда ничего подобного о русских я не слышал ни от одного еврея. Я никогда не скрывал своих корней, но твердо знал, какую именно половину лучше скрыть для карьеры. Когда я был пастухом или плотником, моя национальность не имела значения, но стоило мне попытаться подняться на ступеньку выше и заполнить анкету, тут уж кто-нибудь докапывался или до национальности матери или обращал внимание, что фамилия у меня на «ич», не понимая того, что с воинственным корнем эта фамилия еврейской никак быть не может. Если кто-то говорил, что я еврей, я этого не отрицал, а часто люди, имевшие предубеждение против евреев, говорили, что вообще евреи плохие, но Войнович хороший.

— *Это как в песне Галича:*

*Был он техником по швейным машинам,  
Хоть и лысый, и еврей, но хороший.*

— Вот-вот... В 53-м году, во время «дела врачей», когда официальная пропаганда изо дня в день настраивала советских людей против евреев, один солдат встал у нас на политзанятии, покраснел и с та-

ким видом, будто кидается на амбразуру, сказал: «Товарищ старший лейтенант, а почему у нас в Советском Союзе евреев не расстреливают?»

А товарищ старший лейтенант был та-а-акой вальяжный, он та-а-ак изысканно выражался. И он говорит: «Ну, это было бы неправильно всех евреев расстреливать. Мы — интернационалисты, мы ко всем нациям относимся одинаково, и евреи есть разные. Есть евреи, — говорит, — плохие, а есть хорошие, трудящиеся евреи...» Тут вскочил другой солдат и подсказывает: «Вот как, например, Войнович!» Старший лейтенант мне поклонился и говорит: «Да. Вот как, например, Войнович».

Тут этот, первый, покраснел еще больше и сказал: «Войнович не еврей».

Он знал точно, что у меня мать — еврейка, но меня из расстрельного списка он вычеркнул.

— Да... *Историйка!*

— Я хочу добавить как полукровка (кто не желает — пусть не верит), что меня одинаково заденет, если меня будут оскорблять как русского и как еврея... За границей часто пишут, что русские такие-сякие — меня это оскорбляет. Как и когда говорят напраслину о евреях.

Повторяю: на бытовом уровне меня редко оскорбляли, но на не бытовом о моей еврейской половине напоминали очень часто. Там, где надо было заполнить анкету... Стоило мне высунуться и заполнять анкету там, где светила хоть маленькая должность, — чуть-чуть! — там обязательно это вылезало.

— Ну, например?

— Ну, например, занимался я в Запорожском аэроклубе, где летал на планере и прыгал с парашютом. У меня не было среднего образования — было только семь классов, и я на большее не мог рассчитывать. Хотел поступить в военную планерную школу, а меня не приняли — военкомат меня туда отказал-



ся направить. Не сказали — почему. Но никакой другой причины не было. Я очень даже туда годился: в аэроклубе летал лучше всех — об этом даже в газете писали...

— *Они решили, что Войнович — еврейская фамилия?*

— Что они решили, я не знаю, потому что они мне никогда этого не сказали. Но у меня и так и так получалось: или считали, что Войнович еврейская фамилия, и тогда меня откуда-то вычеркивали, или добивались до национальности матери и вычеркивали тем более...

А с фамилией еще и так было. Я в 56-м году поступал в Литературный институт. Меня не приняли, сказали, что стихи слабые, — я с этим и теперь согласен. А в 57-м я опять стал поступать — и стихи у меня уже были не совсем слабые. Вполне для поступления в Литинститут приличные. Например, там было стихотворение про танцы в сельском клубе (ты его знаешь) — оно уже ничего. Я сначала прошел творческий конкурс... Прости, Таня, что так сумбурно, но тут нужна предыстория.

— *Давай!*

— В 56-м году я приехал в Москву, работал на стройке (я тыщу раз это уже рассказывал), и однажды к нам в общежитие приехали поэты — Коваленков, Фоломин и еще кто-то. Они читали стихи, а потом выскочила воспитательница и говорит: «У нас тоже поэт есть», — и называет меня. Я вышел и прочитал свои стихи. Были там и неумелые, но были и неплохие. Фоломин предложил мне посещать его домашний литературный кружок, а Коваленков пригласил ходить на его семинар. И я к нему в Литинститут на семинар ходил. А когда пришло время поступать, я во второй раз подал туда заявление. И через некоторое время мне сказали, что я прошел творческий конкурс... Я уже готовлюсь к экзаменам, и вдруг мне сообщают, что нет, я не прошел творчес-

кий конкурс... А по секрету сообщили, что там отложили 10 дел с «подозрительными» фамилиями. Моя оказалась тоже подозрительной, и именно Коваленков и написал отрицательный отзыв. Тогда я ему позвонил, Коваленкову, и говорю: «Александр Александрович, я вам хочу сказать, что вы подлец».

— Да-а-а... *Характер у тебя уже тогда оформился.*

— Да. Но интересно, что он ответил.

— *Что?*

— Он закричал: «У вас неверная информация!»

Так я не поступил в Литературный институт.

А в 60-м году я поступил на работу в Радиокомитет на должность младшего редактора, на самую маленькую должность. Меня сначала приняли, а потом кадровик бегал и все выпрашивал, а не еврейская ли фамилия Войнович. Ему сказали: «Нет, не еврейская». А он: «Ну как же? Она на «ич»!» А ему там говорят: «Вот и Пуришкевич был тоже на «ич»...» Он спрашивает: «А кто это?» Ему объясняют: «Известный антисемит». Тогда кадровик успокоился.

Еще вспомнил. Году в 58-м я хотел устроиться в школу преподавателем труда. Мне это дело предложила теща поэта Евгения Храмова, которая была директором школы. Она предложила, я согласился. Она направила меня в РОНО. Пришел я в РОНО. А там говорят: «Почему вы в нашем районе оказались? Вы же живете в другом районе». Я подумал: и впрямь — я живу в другом районе, — и пошел прочь... И ничего не понял. А потом теща сказала Храмову: «Мне позвонили из РОНО и сказали: вы что, не видите, кого вы к нам присылаете?»

Остаточный антисемитизм был везде, это, может быть, и не было государственно оформленной политикой, но государство это не пресекало, то есть практически поощряло. Все начальники, даже принимавшие на работу евреев, даже сами евреи, всегда заботились, чтобы евреев у них не было слишком много.

Когда я работал на радио, там людям с подозрительными фамилиями предлагали взять псевдонимы. Правда, мне никто никогда взять псевдоним не предлагал... Но я бы и не взял. Впрочем, иногда я писал под псевдонимом, просто так. Работал я в многотиражке и печатался под псевдонимом «В. Нович».

— *Отличный псевдоним, мне нравится!*

— А еще из хулиганства под псевдонимом «О. Чухонцев» и отзывы на свои фельетоны направлял своему другу поэту Олегу Чухонцеву... Или еще случай. Я пришел из армии и послал стихотворение в газету, где работал мой отец. Не хотел, чтобы он знал, что я — это я. И я подписался «Граков», потому что служил в деревне Граково под Харьковом. Они меня напечатали, и после этого я признался отцу. Помимо прочего — гонорар какой-никакой получить хотелось, а я поначалу не указал ни адреса, ни реально-го имени.

— *И отец что сказал?*

— Удивился. Ему мое стихотворение понравилось. ...А в общем, возвращаясь к нашей теме, — когда утверждают, что евреев в советской России не преследовали, то это вранье. И это я говорю — при том, что я только «половинка» и что в паспорте у меня всегда было написано «русский».

— *Ты когда писал свою книгу «Портрет на фоне мифа», полемизирующую с Солженицыным, — ты его двухтомник «Двести лет вместе» еще не читал, я так понимаю?*

— Когда писал, — то да, не читал.

— *Но все равно странно, что ты не коснулся еврейского вопроса у Солженицына: то, что его этот вопрос волнует, было известно задолго до выхода в свет текста «Двести лет вместе»...*

— Почему — я очень даже коснулся. Просто без ссылки на эту книгу. Потому что эту книгу я тогда

действительно еще не читал. Первый том «Двухсот лет...» появился как раз тогда, когда я свою книгу заканчивал. Мне говорят: «Читай-читай!» «Нет, — говорю, — не буду. Она во мне вызовет разные другие мысли, и мне придется уходить в сторону куда-то от моего первоначального замысла. А я бы этого не хотел».

Потом я, конечно, эту вещь не то что прочитал, — полистал... Некоторые главы прочел внимательнее. И скажу сразу: для равновесного, как он определяет, освещения этого вопроса ему не хватило совести, ума и таланта. По уму и по совести он должен был бы понять, что эта тема вообще решения не имеет. Говорить о различиях между евреями и русскими еще как-то возможно, когда они живут обособленно и соблюдают свои обычаи и законы. А когда перемешались, как, например, в Москве, рядом живут, вместе работают, отмечают одни и те же события, пьют водку, женятся без уважения к пятому пункту, то те, которые не имеют параноидно обостренного национального чувства (а таких большинство), становятся единой нацией. Окуджава говорил, что он по национальности москвич, и то же мог бы про себя сказать любой выросший в Москве и не слишком гордящийся своим национальным происхождением человек. Еще и потому Солженицыну оказалась эта тема «невподым», что у него есть большой, даже катастрофический для писателя недостаток: он не чувствует чужой боли. Например, он пишет, что во время войны среди эвакуированных было больше евреев, чем среди русских, и обходит вниманием главную причину, что евреям в отличие от русских грозило поголовное уничтожение. Он утверждает, что на фронте евреи держались подальше от передовой (ему виднее, он сам держался подальше), упуская объяснение, что в штабах и медсанбатах они были нужней, потому что обладали определенными

профессиями и образованием, а вот среди боевых летчиков по той же причине их было пропорционально больше, чем среди находившейся в безопасности аэродромной obsługi. Будь он подбросовестней, ему следовало бы подсчитать, какой процент евреев был в самом гибельном войске — в ополчении. Солженицын поддерживает миф, что евреи всегда хитрые, что они хорошо устраиваются и все такое. Конечно, среди евреев есть чрезвычайно богатые люди — они очень заметны. Антисемиты тычут в них пальцем и говорят: вот евреи. Но в массе своей евреи всегда были бедные. До революции это была местечковая гольтьба, а при советской власти — рядовые учителя, врачи, инженеры, жившие на нищенскую зарплату, никакими гешефтами не занимавшиеся.

Большинство евреев, кого я близко знал, были бедняки из бедняков. Мои русские родственники тоже всегда были бедные, но еврейские — куда беднее! Моя мама в начале 50-х (перед тем, как ее выгнали как еврейку из школы) вела уроки в пальто. Директор ей и говорит: «А почему вы все время в пальто преподаете?» Она и сказала: «Потому что у меня под пальто нет платья».

— *Твой «Портрет на фоне мифа», проза нон-фикшн, посвященная Солженицыну, появилась много позже художественной сатиры «Москва 2042», где многие читатели в собирательном и гротесковом образе Карнавалова углядели черты Александра Исаича, а некоторые за него и обиделись. Обиделись и на «Портрет на фоне мифа»...*

— Многие, конечно, обиделись. Одни потому, что я, по их мнению, забыл (я не забыл), что Солженицын автор «Архипелага Гулаг», другие потому, что он старый, слабый и больной. А я сам стар, слаб и болен, но идейные споры это не кулачные бои, спорить можно, и часто нужно, даже с мертвыми (на-

пример, Солженицын спорит с Лениным). Но я должен сказать, что на «Портрет на фоне мифа» я получил много и положительных откликов! Многие люди считают, что я написал объективный портрет. И они правы. Я не возвел на Солженицына никакой напраслины, не присоединился ни к одному обвинению, которое не посчитал достаточно достоверным. Я написал только то, что видел, слышал, читал и что по этому поводу думаю.

— *Количество и накал отрицательных откликов тоже говорит о том, что автор попал в нервную точку. В конце концов, если он вовсе не прав, чего так злиться?!*

— Многие люди с трудом отказываются от легенды, ими же созданной. Некоторые не могут до сих пор отрешиться от своего прошлого представления о Солженицыне, как не могли отрешиться вопреки всему от легенды о добром Ленине, а другие защищают его корыстно, в расчете на то, что от него что-нибудь перепадет... Напоминаю, что я когда-то Солженицына очень защищал, с риском, по крайней мере, для собственного благополучия. А многие люди себя теперь в воображении переставляют в другое время и, защищая Солженицына, кажутся себе большими героями. Как говорится, смело бегают по бывшему минному полю.

Повторяю, я старался быть максимально объективным. Написал свои собственные ощущения. Как я его воспринял вначале и как разочаровался. И почему разочаровался.

— *Но ты вернись к Карнавалову из романа «Москва...».*

— А я всегда отрицал, что Карнавалов и Солженицын — одно лицо. Всегда отрицал и сейчас отрицаю. Карнавалов — образ пародийный, и пародия это не только на Солженицына, а вообще на подобный тип. И даже если отчасти на Солженицына, то это

пародия все-таки добродушная. И я был очень удивлен в 80-е годы столь острой реакцией: как? кто? что? Я знал и тогда уже, что отношение к Солженицыну носит характер какой-то болезни, а потом в этом еще и убедился. И кстати сказать, тогдашняя реакция общества, окружения Солженицына и его собственная оказались важным побудительным мотивом для написания «Портрета...». Я написал пародию, а на меня накинулись как на Дантеса, который застрелил гордость нашей литературы...

— *А откуда взялось такое документальное отождествление? Фамилия-то совсем иная и явно обобщенная (кивок в сторону карнавальной культуры)...*

— Вот и мне кажется, что так узнавать себя даже неловко. Узнал — ну и промолчи. Я уже говорил как-то, но еще и еще раз могу сказать, что если пародия получилась не смешная, то читатель посмеется над автором, а не над пародией. А если смешная, то нечего жаловаться. Если смешная и автор какие-то черты уловил, то пародируемому надо подумать о себе.

— *В истории литературы известны прецеденты, когда прототипы сами себя выводили на чистую воду.*

— У меня таких случаев было много. В том же романе «Москва...» есть такой Зильберович. Все узнали в нем некоего Юрия Штейна. Солженицынский оруженосец. А я серьезно говорю: если бы был в природе один только такой Штейн, да не стал бы я его описывать! А дело в том, что это — типический характер. И не случайно не только Штейн, а некоторые другие даже мне лично незнакомые люди узнали себя в Зильберовиче и тоже обиделись. Говорил я однажды с одной дамой, рьяной защитницей Солженицына, она всех прототипов вычислила, с которых я, по ее мнению, списал своих героев. Я возражаю: это не так, с кого, вы думаете, я писал Зильберовича? «Конечно, со Штейна». «Нет! — говорю. — Не только. С вас тоже. Вы тоже Зильберович».

— *Обиделась?*

— Не знаю, обиделась, нет ли. Виду не показала... У нас разговор шел принципиальный, и я вовсе не хотел ее обидеть. Я просто пытался ей объяснить, что такое — по-моему — прототип. Я вообще могу взять некую женщину и переделать ее в мужчину или в собаку... Говорят, Леонардо Джоконду свою с себя написал.

— *Все ли написанное тобой опубликовано?*

— Нет, у меня много вещей, которые я не публикую. Например, продолжение истории «Чонкина». Написано, но я недоволен, как это получилось. Хочется что-то добавить... Но руки не доходят.

— *Значит, продолжение «Чонкина» есть в черновиках?*

— Даже не в черновиках, а с пятого на десятое.

— *Насколько я знаю, Чонкин у тебя остается живой и после войны попадает в Америку, да?*

— В Америку он попадает сложным путем. Войну он кончил в Германии. Потом случайно оказался на американской территории, в лагере для перемещенных лиц, и так получилось, что ему деваться некуда. И его взяли батраком работать в Америке, и он туда уехал... Написано кусками. Цельного рассказа у меня пока нет, и цельный я, наверное, уже не напишу. Все собираюсь, собираюсь... А возьму как-нибудь и напечатаю кусками, как есть. И это тоже может войти в «Замысел».

— *Володя, тебе не кажется ли иногда, что ты сам — прототип Чонкина?*

— Нет, не кажется особенно. Мне кажется, что я больше похож на Голубева, председателя колхоза из «Чонкина», который всегда сомневается, что ему лучше сейчас съесть — яичницу или картошку. Но, наверное, и в Чонкине есть какие-то мои черты... Меня, между прочим, в армии звали Швейком. Потому что я себя иногда вел, как Швейк. Например, я



однажды вечером стоял на посту в помещении — охранял секретную комнату. И уже должна была прийти смена. В шесть часов. Проходит 20 минут... 30 минут... Никто не идет. Еще проходит около часу — меня не меняют. А должны были привезти фильм, который я очень хотел посмотреть. По-моему, это был итальянский фильм «Мечты на дорогах», и у нас показывали его второй раз. Он мне очень понравился — и я хотел снова посмотреть. Должны сменить. Не идут. Я ждал-ждал, а потом взял выставил карабин в окно и выстрелил. Часовой так вызывает смелу или начальника караула, но только в исключительных случаях. Я выстрелил. Ко мне немедленно прибежали. Поднялся дикий переполох. Сразу все забегали — и вместо кино я попал на гауптвахту. И просидел там ночь. Камера холодная. Я — раздетый. Нарнет — холодный цементный пол. Я хотел спать, попробовал лечь на пол — не могу. Сидеть не на чем. Стоять невозможно. Потом пришли ко мне под утро и сказали: «Пойдешь на кухню картошку чистить?» Я сказал: «Пойду» — и был рад, что мне предложили чистить картошку. После этого меня освободили. А потом тоже смешно было.

Пришли и сказали: «Майор Догадкин (это был наш командир роты) тебя освобождает. Иди в казарму...» И я пошел в казарму. Я решил, что меня выпустили, потому что есть такой приказ: курсантов из школы механиков не сажать на гауптвахту, чтобы они не отставали в учении. Я слышал, что так говорили, ну и сам говорил... А какой-то стукач это майору донес. И он однажды на вечерней проверке приказывает: «Курсант Войнович, выйти из строя». Я вышел. Он: «Товарищи курсанты! Курсант Войнович говорит, что я, майор Догадкин, не имею права его, курсанта Войновича, посадить на гауптвахту. Так вот, чтобы он не сомневался, двое суток строгого ареста». И меня — опять на гауптвахту. Приходит за

мною командир взвода старший лейтенант Потапов. «Собирайся, пойдем на губу». Я говорю: «Хорошо». А я перед этим почитал внимательно устав, и там написано, что, во-первых, на строгой гауптвахте запрещено работать. А второе, в камере должна быть температура не ниже 16 градусов, а если ниже, то должна выдаваться шинель. И еще обязательно выдается топчан. На гауптвахте читать запрещается, но в порядке исключения разрешается читать политическую литературу.

И я перед тем, как отправиться на гауптвахту, пошел в библиотеку и набрал несколько томов Ленина и Сталина и еще устав. Потом взял и снял градусник в казарме. Приходит старший лейтенант Потапов, говорит: «На гауптвахту!» Я беру шинель. Он: «Куда шинель?» Я говорю: «Вот устав, смотрите... 16 градусов... И на ночь в любом случае выдается шинель...» Он говорит: «Хорошо». Беру книги. Он: «Куда книги?» А я говорю: «Вы что — против Ленина и Сталина?» Короче, он меня ведет, встречает другого командира взвода, и тот спрашивает: «А ты его в библиотеку ведешь?» И так далее.

В общем, я в армии все время хулиганил и прикидывался идиотом, как Швейк. Дело было в Польше.

— *Но сослуживцы-то тебя любили?*

— По крайней мере, уважали. Я был хороший товарищ: все знали, что в случае чего не предаю, не продаю, не подведу. Кроме того, я их развлекал, эрудиция у меня была повыше. Потом начал писать стихи — меня за это стали уважать. И просто уверенны были, что на меня можно положиться.

— *Ты в армии уже предполагал, что станешь писателем?*

— В армии у меня родилась эта надежда. Поскольку я перед армией учился в вечерней школе, но полного среднего образования у меня не было, я думал: вот закончу службу, мне будет 23 года, я, естествен-

но, должен буду идти работать столяром, плотником или слесарем. И ходить в вечернюю школу. Надо еще кончить восьмой, девятый, десятый класс, потом — институт... Годам к сорока стану начинающим инженером. И тут я стал думать: нет ли такой профессии, которая не требует формального образования? Таких профессий я насчитал три: актер, художник и писатель. В конце концов, я остановился на писателе. У меня был приятель, который писал стихи, и я стал думать, что и я так смогу. Я попробовал. Сначала написал одно очень плохое стихотворение. Бросил. Год в тумбочке провалялось. Кто-то нашел — сначала смеялись. Потом говорят: «А ты отправь в газету — может, напечатают». Напечатали, хотя оно было плохое.

Я подумал: остается еще год служить в армии. Каждая профессия — и эта тем более — требует если не учебы регулярной и определенного образования, то по крайней мере тренировки, да? И я решил писать в день по одному стихотворению. Я шутил со своими товарищами: «Вот когда-нибудь стану знаменитым поэтом, будешь гордиться, что со мной вместе служил...» Сам в это не верил. А несколько лет назад я был в Самаре, и подходит ко мне один человек и показывает мне фотографию. «Вы, — говорит, — узнаете кого-нибудь?» Смотрел-смотрел... Себя узнаю! А это такой-то, а это такой-то, а это Назаренко... «Нет, — он говорит. — Назаренко снимал. Назаренко — это я».

Так что мое пророчество сбылось.

В общем, надо сказать, что я сам себя с самого начала трезво оценивал. Когда писал очень плохо, понимал, что это очень плохо. А потом стал писать просто плохо и понял, что это уже шаг вперед. Писал каждый день не меньше одного стихотворения. При том, что было всего 40 минут в день свободного времени. Но я писал, даже когда работал авиаеме-

хаником, — даже на крыле самолета... И однажды я написал стихотворение, про которое мог бы сказать, что это уже неплохо. И с ним я побежал к одному сослуживцу, который, в отличие от меня, кончил до армии учительский институт. Были такие учительские институты — это немножко меньше, чем пединститут, — они давали незаконченное высшее образование. Двухгодичные, для преподавания в семилетке. Он был преподаватель литературы. Он прочел. Здорово, говорит. Я, говорит, тоже писал стихи, но так хорошо у меня не получалось...

Это внушило мне надежды, я писал-писал, потом демобилизовался, а когда демобилизовался, то напечатал пару стихотворений в газете «Керченский рабочий». А у меня там был приятель Марк Смородин, моряк, который учился заочно в Литинституте. И мы с ним говорили о будущем. И я ему сказал: «Через пять лет я буду известным поэтом». Он не поверил. Мы с ним даже поспорили на ящик шампанского. Марк говорит: «Ну и как мы будем определять степень известности?» Я говорю: «Так. Мы придем в любой институт в студенческую аудиторию и спросим, знает ли кто-нибудь такого поэта». Если поднимется хоть одна рука, значит, я достаточно известен. Не обязательно: знаменит. Просто известен. Вот!

Мы с ним поспорили — и он проиграл.

— Скажи: когда ты полностью с поэзии перескочил на прозу и почему? Мне иногда жаль, что ты совсем бросил поэзию...

— Ну, не совсем бросил.

Я скажу так. Начинал я писать просто потому, что был хороший читатель. Просто сумасшедший читатель (сейчас так про себя не скажу). Но читал я исключительно прозу. Пока я не начал писать стихи, поэзию почти не читал. Ну, знал отдельные строки... «Как ныне собирается вещий Олег...» В основном то,

что в школе проходили и что случайно в голове застревало... У меня была очень хорошая память, и застревало многое.

Когда же начал писать стихи, советскую поэзию всю перечитал. А до этого не знал... Но все же я хотел писать то, что больше любил читать. То есть прозу. Мне очень хотелось написать повесть, рассказ, роман. Что-то большое. А у меня не получалось.

Уже не раз говорил и повторяю еще: проза, я в этом уверен, более сложный жанр, чем поэзия. Не случайно она редко каким поэтам удавалась. Писать стихотворение — это как плыть по реке: есть ориентиры, берега, есть бакены, а в стихах — размер, рифма... Рифма тянет за собою мысль... А в прозе, как в безбрежном океане, — без руля и без ветрил! Без компаса. Туда корабль повести — сюда повести. Нет никаких маяков. И поэтому у меня стихи уже даже печатались и были на каком-то уровне, близком к профессиональному, а проза никак не получалась, ну никак. У меня к тому времени был довольно богатый для моего возраста жизненный опыт, но почему-то меня все время тянуло на выдумки... Первый рассказ я написал о каких-то русских моряках, в XIX веке на Гавайских островах... И когда у меня проза в конце концов получилась (а это произошло в 60-м году), когда я понял, что вот... что-то есть...

— *А ты на чем это понял?*

— Я это понял на «Мы здесь живем». Хотя у меня уже до этого был написан рассказ «Вдова полковника» — предвестник «Чонкина». Но только на «Мы здесь живем» (как с тем стихотворением) я понял, что у меня что-то получается. Написал первые страницы повести и осознал, что я ухватил — кого там?

— *Жар-птицу?*

— Ну, не жар-птицу, но удачу ухватил. И когда я понял, что я — прозаик, тут же, немедленно бросил

писать стихи. И не писал их двадцать пять лет. А потом вдруг начал писать снова.

— В каком году ты начал стихи писать снова?

— В 85-м году. А бросил в 60-м.

— Что за стихи ты написал после перерыва?

— Это была пародия на Окуджаву. Дело было так. Ко мне приехал Окуджава в Штокдорф (под Мюнхеном). Мы с ним гуляли, выпивали, говорили о многом... В общем, я был ужасно взволнован этой встречей. Все-таки когда живешь в эмиграции, в отрыве, то встречаешь там новых людей, но людей, которые у тебя были здесь, ты потерял. И значит, ты потерял прошлую жизнь. И когда Окуджава приехал и жил у нас, то я был так взволнован, что вдруг написал стихи.

— *Они у тебя напечатаны?*

— Да. В моем каталоге «Образы и слова». Это даже не пародия, а ироническое подражание Окуджаве.

— *Прочитай, пожалуйста.*

— Пожалуйста. Это подражание песне Окуджавы «Эмигрант с Арбата», и оно должно исполняться на соответствующий мотив.

Итак, «Эмигрантские мечтания»:

Я никого не трогал, лишь повести кропал,  
Но с отчего порога был изгнан и попал  
За дальние пределы, на чуждые пиры,  
И где-то конь мой белый гуляет до поры.  
Живу себе приватно в селении Штокдорф.  
А хочется обратно, хотя бы в Шатурторф...

И так далее.

— *Значит, это было первое стихотворение, которое ты написал с 60-го года. А потом стал снова писать регулярно...*

— Последнее стихотворение сочинил в 2000-м.

— *Скажи, среди всего, что ты написал в разных жанрах, есть ли у тебя самое любимое произведение?*

— Если говорить о прозе, то, может быть, рассказ «Путем взаимной переписки». «Чонкина» я, конечно, особенно люблю: очень много переживаний связано с этой книгой. Но «Путем взаимной переписки» — самая моя совершенная вещь, потому что (может, кто-то не согласится?) совершенный роман написать вообще невозможно. Роман есть большое пространство, и вообще, в романе — у меня такая теория — провалы даже необходимы. Если ехать все время по гладкой дороге, то заснуть можно! Нужны ухабы время от времени.

Конечно, стихотворение может быть полным шедевром. Само собой, рассказ. И повесть: тут возможно, чтобы все — от начала до конца — было написано в едином ключе. Примерно как я хотел, и без провалов.

— *Твой роман «Замысел» — вещь, построенная в такой композиции, что ее можно писать без конца. Она мозаична. Ты продолжаешь его писать?*

— Продолжаю. Странно, что никто не замечает, что я его и публикую. Я пишу-пишу, дошел до Солженицына, раз — и написал целую книжку. А она тоже — часть «Замысла», безусловно. То же самое — документальная повесть о моем отравлении «Дело № 34840». Опять дошел до этого поворота — и поехал в сторону.

Больше того. Моя живопись — это тоже часть «Замысла». Ее нельзя вставить в книгу, но она — ее часть. Потому что я писал-писал, и у меня родился замысел, который понудил меня взяться за кисть.

— *Давай поговорим об этом. Году в 95-м ты всех своих близких поразил. На тебя как чума напала. Что было в твоей натуре, чему не хватило словесности и что именно ты смог, ты счел возможным выразить только как художник?*

— Не знаю, почему мне не хватило литературы... К середине 90-х появилась у меня некая усталость.

Все ломалось, вся жизнь моя, страны, мира, все привычные представления. Возникла новая действительность, за которой я просто не поспевал. За ней и вся литература вообще не поспевала, писатели не могли ее освоить. И вот я сидел, полный замыслов, и вроде знал, о чем хочу писать, но у меня как будто настроение кончилось. И помню свое ощущение: сажусь к компьютеру, и вроде знаю, что писать, точно знаю, что надо... Но смотрю на экран, и мне становится скучно-скучно, и ничего не хочется. Сажусь бессмысленно и смотрю на экран. И не пишу.

И в это время одна моя знакомая говорит: «У тебя кризис, у тебя кризис. *(Смеется.)* Творческий кризис!» Ну, что ж — она права. Нормально. У всякого творческого человека бывает творческий кризис. Обязательно должны быть и кризисы и подъемы. Без этого нет искусства.

И вдруг я написал сначала одну картинку. И почувствовал, что сошел с ума. В 94-м году. Мне было 62 года. Написал картинку — и мне жутко понравился этот процесс. Я совершенно не думал, что из этого получится. Просто понравился процесс, чего у меня не было в литературе. В литературе у меня всегда — стремление к совершенству (насколько я до него дохожу — не мне судить). Написать фразу. Абзац. Страницу. И так далее. Здесь же мне понравился сам процесс...

— *А не помнишь, что ты первое написал как художник?*

— Первое — я переделал чужую картинку. Там были розы на окне. Мне не понравилось — и я фон переделал. Смотрю: она заиграла! Тогда я попробовал собственный портрет: вот он. *(Показывает в каталоге.)* Еще слабо, но что-то есть, лучше, чем первое стихотворение. Еще попробовал, и еще. «Что такое? — думаю. — Мне надо книгу писать, а я закончу одну картинку, и сразу возникает новая идея...» Сначала



писал на бумаге, сам себя стеснялся, холсты не покупал — мне, мол, не по чину. Если куплю холст, то получается, что я всерьез художник. Да? А я не художник, а я просто так... Малюю.

То, что я малевал, листки бумаги, — стал я прибивать к стенке. И когда на них кто-то обратил внимание и сказал, что «в этом что-то есть», я сначала был вообще-то очень удивлен. Мне такая оценка понравилась, но я долго думал, что меня хвалят — просто чтобы приятное сказать. Я в себе сомневался... Однако три года писал только картины. Три года практически ничего не зарабатывал.

— *А неужели ты никогда в молодости себя как художник не пробовал?*

— Нет, пробовал. Году в 67-м я на даче сидел и отдыхал от писания текстов. Времени свободного было много. Купил себе школьные краски и что-то такое рисовал. На чем попало. На бумаге, на куске паркета... А еще до этого в армии (я уже говорил, что я там все мечтал о занятии, которое не требует формального образования) о карьере художника тоже подумывал. Я посадил своего приятеля Генку Денисова перед собой и, высунув язык, его карандашом рисовал-рисовал — и он вышел похожим. Но я подумал, что это плохо, что это чистое ученичество, что это робко, — и бросил. Да, еще рисовал самолет МиГ-15, на котором я работал.

Но увлекся по-настоящему впервые, когда мне было уже, повторяю, шестьдесят два года.

— *Хорошо, увлекся. А дальше стал учиться ремеслу? Альбомы, например, мастеров изучал?*

— У меня были и есть любимые художники. Но формально я не учился. Ни одного урока никогда ни у кого не брал. А мне говорят, что надо. Например, мой сын говорит, что я должен пойти на курсы... Но я против. Учиться уже поздно. Если бы смолоду, то обязательно бы пошел. А теперь учение меня может

сбить с толку. Потому что я буду стараться, и школу не освою, и от своих естественных попыток отойду. Стану вроде сороконожки, которая, когда задумалась, какими ножками в каком порядке двигать, вообще ходить разучилась... Однако я очень даже учусь. Если бываю в музее или в галерее, я та-а-ак внимательно смотрю на картины — совсем другим глазом, чем раньше. Какие краски? Как они сочетаются? Как тени ложатся? Почему так, а не эдак? И альбомы так же — я внимательно, внимательно, внимательно смотрю.

— *Кто твои любимые художники?*

— Из русских это Рокотов, Репин, Левитан. А из мировой живописи — Рембрандт. И, конечно, люблю импрессионистов.

— *Тебя наверняка часто сравнивают с Анри Руссо...*

— Сто раз сравнивали. И с Анри Руссо, и с Пиросмани. С Пиросмани мне лестно, а с Руссо — нет. Он мне вообще не нравится. А Пиросмани — да, я его очень люблю.

Сейчас в моде искусство примитива: часто профессиональные художники делают вид, что они не умеют рисовать. А я говорю: я подлинный, потому что действительно не умею рисовать. (*Смеется.*)

— *Каким бы термином ты сам определил свою живопись?*

— Такого термина у меня нет. Но я хочу, чтобы меня называли наивным, а не примитивным, потому что слово «примитив» мне все же не нравится. И потом, я честно думаю, что вовсе не все мои картины примитивны — в некоторых я достигаю чего-то иного. Недавно один питерский искусствовед и коллекционер сказал: «Войнович придуривается, делая вид, что он — примитивист».

— *Я в твоих портретах вижу скорее не примитив, но легкий шарж.*

— Да, пожалуй. Бывает и гротеск.

Один художник говорит мне недавно: «Вы знаете, там-то и там-то — выставка наивного искусства. Вам обязательно надо пойти посмотреть». Я говорю: «Не хочу». «Почему?» Отвечаю: «Потому что сам я могу быть наивным, но учусь у тех, кто рисовать умеет. Сам не умею — ладно. Но если я еще буду учиться у тех, кто не умеет, — что из этого выйдет хорошего?»

Чтобы чего-то достигнуть в искусстве, надо учиться на высших образцах. Это серьезная мысль — то, что я тебе сейчас говорю. Поняла? Если ты поэт, то надо учиться у Пушкина, а не у Ошанина. Надо учиться т а м!

— *Поняла. Спасибо за науку. А как связаны твои «полушария» живописи и словесности? Или они у тебя изолированы друг от друга?*

— Не знаю. Когда я стал писать картины, меня кто-то спросил: «Какой у вас стиль?» А я отвечаю: «Никакой!» Мне казалось, что мои картинки между собой ничем не связаны кроме того, что их писал один и тот же человек. А потом смотрю — соединились. Так же сначала думалось, что это никак не совпадает с тем, чем я занимаюсь в литературе. Отчасти я свою живопись сознательно тащил в другую сторону, потому что мне кажется, что живопись — искусство, которое требует большей радости. Ей нужно больше света, чем литературе. Литература может описывать мрачные стороны жизни и тем самым привлекать. А что касается живописи, то на картину Верещагина «Апофеоз войны» я смотреть не хочу. Или на «Гернику» Пикассо. Очень тяжелые книги (о лагерях, об уничтожении людей) я читаю, ну, скажем так, с большим интересом (если хорошо написаны), а картины — другое.

Но что-то общее между моей литературой и живописью есть. Я не стараюсь, чтобы картины продолжали или иллюстрировали мою литературу, но, как говорится, ослиные уши все равно вылезают...

— Тебе кажется, что твоя живопись исключительно радостная? А мне кажется, что она очень печальная, а зачастую и трагическая. Особенно автопортреты. Такая тоска в глазах — и всегда старше своих лет.

— Может быть... Я всегда боюсь изобразить себя самовлюбленным. Я и в литературе постоянно над собой немножко подтруниваю. Считаю, что человеку необходима самоирония. Когда он начинает себя слишком любить, это плохо... Когда я пишу свой очередной автопортрет и смотрю на себя в зеркало, то вижу, что я — старый человек, с дряблым лицом. И я не хочу себя приукрасить. Кроме того, оно же очень интересно художественно — каждую морщину зафиксировать... Но, возможно, я перебарщиваю.

Я очень люблю автопортреты Рембрандта, всегда как будто нелестные для него. Там, где он, молодой, беззубый, смеется. Он даже противный и отталкивающий. А есть и автопортрет в старости (по-моему, в последний год жизни) — с повязкой на голове. Какое лицо! Печальное-печальное... И мне он так близок! Мы можем смеяться или не смеяться, но жизнь наша вообще трагична. А конец всякий трагичен. Если перефразировать Маяковского, «кто постоянно счастлив, тот, по-моему, просто глуп».

Жизнь трагична и вся состоит из потерь. Человек же защищается юмором, да? Он защищается, но все равно сквозь этот юмор страдает.

— Ты начинал как очень веселый сатирик, но постепенно твой смех, скажем так, мрачнел. Почему такая эволюция?

— Когда человек молодой, у него больше жизненно-го оптимизма. Это идет от чувства, а не от мысли. От ощущения себя в мире. Молодой — полон сил, и все кажется хорошо. И все близкие еще живы, все здоровы.

Когда мне исполнилось тридцать шесть лет, у меня впервые умер близкий человек — бабушка. А потом потери пошли чередой... Да и литературная ка-

рьеру осложнилась. И, конечно, это влияет на восприятие жизни.

— *За эти лет четырнадцать, как ты вернулся, многое изменилось. Появились совсем новые объекты для сатиры. Тебе не хочется создавать новые сатирические вещи?*

— Я никогда не хотел специально писать сатиру. Просто так получалось. Про меня один критик еще в 60-е годы сказал: «Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни как она есть». Жизнь сама по себе сатирична.

Но у меня сейчас замыслы уже старого человека. Скорее, мемуарные. К вымыслу сейчас душа не лежит. Пишу мемуары кусками и вспышками...

— *Володя, подходим к концу беседы. Жизнь прожита длинная... Оглядываешься назад. Если бы была возможность ее, жизнь, подкорректировать, что бы ты повторил, а от каких поворотов, быть может, отказался бы?*

— Во-первых, если бы это было по моему желанию, то я бы все-таки получил образование. Вообще положил бы на это все силы. Потому что я недостаток образования всегда чувствовал и немножко скрывал. Конечно, чего-то удалось достичь самообразованием... Читал, запоминал. Память была хорошая. Но все-таки в моих знаниях есть большие провалы, и я всегда это чувствовал.

А если взять мою реальную биографию, те реальные возможности, которые у меня были, то я бы, наверное, все повторил.

То, что я стал писателем? А у меня, наверное, никакого другого выхода не было из тупика, в котором я оказался. Потому что так фактически сложились обстоятельства и таким меня создали родители, что мне ничего не оставалось. Я был столяром — и не хотел им быть. Ну, еще мог работать слесарем. Ничего иного мне не светило. А я чувствовал потреб-

ность заниматься чем-то интеллектуальным, чувствовал, что у меня есть задатки. Никакого другого выхода у меня не было.

Допускаю, что, если бы я получил другое образование, — я бы, может, стал инженером. Может, мне бы никогда не пришло в голову, что я способен быть писателем.

— *Не дай бог! Хорошо, что так все сложилось... А Германию бы ты повторил?*

— Германию бы повторил. Больше того: я бы раньше уехал. Не стал бы тратить время на то, на что я здесь тратил, то есть на борьбу с КГБ и с обстоятельствами.

Когда меня выгоняли, я очень не хотел уезжать, но когда я пожил за границей, то понял, что мне как писателю этого опыта очень не хватало бы.

— *Что писателю дает чужбина, изгнание, эмиграция (как хочешь назови)?*

— Многое дает. Не только писателю — вообще человеку. Ты попадаешь туда... Здесь писатель был всегда лицом избалованным. Не только писатель — любимец властей, но даже писатель преследуемый, как я. Я был тоже избалован — общественным вниманием, любовью, иногда даже, возможно, чрезмерной. Даже вниманием власти и КГБ, даже тем, что за мной ездили. Я чувствовал, что я такой важный человек! А туда попал и через некоторое время понял, что я — никто. Особенно в Нью-Йорке это ощущаешь. Попадаешь в эту толпу и ощущаешь, что ты — один из нескончаемой толпы, ты никто, может быть, даже больше никто, чем кто бы то ни было. Вот и всё! И никому ты особенно не нужен. Знаешь, человеку это важно для корректировки, чтобы он не думал, что он — пуп земли. Человеку иногда очень полезно понять, что он — никто.

И еще. Меняется взгляд на советскую жизнь. Есть люди, которые живут на Западе, и у них появляется

некое высокомерие по отношению к так называемому «совку»...

— *Не люблю это слово!*

— Не любишь? Но есть высокомерие и напротив — с этой стороны. Они, мол, уехали... Как уехали — не важно. Всю жизнь меня дико раздражало: «Уехали из-за колбасы». Колбасы, которой я не ем.

Многие советские привычки, когда я приехал обратно из-за границы, показались мне странными. Привычки и ухватки. Я увидел, как живут люди в более нормально организованном обществе.

В общем, когда поживешь и там и там, — это дает, я бы сказал, стереоскопическое зрение. И ты начинаешь видеть предмет объемно, а не плоско.

— *Скажи (не хочешь — не отвечай): как ты относишься в принципе к еврейской эмиграции в Германию?*

— Отношусь нормально. Мне все равно, куда люди эмигрируют. Я никого никогда не осуждал — эмигрировать, не эмигрировать. У нас же как? У нас одни говорят, что человек обязан жить только на родине (это чепуха), а другие говорят, что человек непременно должен уехать (тоже чепуха). Мне говорила одна еврейка в Израиле: «Как вам не стыдно жить в Германии?» Всех не переслушаешь. Поэтому, если у человека есть причины или желание, — пусть едет, куда хочет.

— *Да, но существует такое мнение, что если евреи уезжают из России именно в Германию, то есть тут некий, мягко говоря, парадокс.*

— Ну да... Парадокс есть. Но гитлеровский режим и вся Германия не одно и то же. Надо помнить, что и Россия с советской властью — вовсе не одно и то же.

Почему Германия принимает евреев? У многих есть чувство раскаяния перед евреями. Другое дело, что некоторые евреи ведут себя там довольно нагло и возбуждают антисемитские чувства. И я боюсь,

что если евреев в Германии будет слишком много, то опять антисемитизм может достичь некоего предела. Однако думаю, что та история никогда не повторится...

В Германии неонацистских организаций и антисемитских выходов все равно меньше, чем здесь.

— *Здесь, правда, малость отвлеклись на кавказцев. Мне, например, за все это стыдно.*

— Есть даже анекдот такой: «Меняю лицо кавказской национальности на жидовскую морду».

Ненависть вообще существует в самой природе человека. А ксенофобия, она проявляется очень по-разному. Всегда привожу такой пример. Когда я служил в армии, у нас одни рода войск ненавидели другие. Почему? Что там, что там были в основном русские люди... А потому, что надо непременно ненавидеть кого-то чужого. И если служат рядом танкисты и авиаторы, то одни других обязательно будут ненавидеть. Обычно не любят друг друга народы, которые живут по соседству. Это, повторяю, увы, в природе человека.

— *Жаль... И последний вопрос. Что необходимо молодому человеку, чтобы стать писателем, — помимо литературных способностей?*

— В любом деле, если ты хочешь достичь вершин, нужен фанатизм. А в писательском деле — тем более. Если, опять же, сравнить писательство и живопись, то... Живопись может быть всякого уровня, она более многообразна и приемлема в разных видах. Приятно — вот и хорошо. В литературе не то. В литературе интересны только шедевры. Средняя словесность не интересна. А наивная и примитивная тем более.

В литературе можно достичь высот, исключительно если отдаешься этому полностью. Если это твоя страсть, твоя жизнь, твоя даже маниакальность.

И приходится многим жертвовать.



— *А чем ты жертвовал?*

— Я жертвовал тем, что я — бедствовал. Одно время я все бросил. Только писал. Деньги не зарабатывал. Был нищий — у меня были рваные штаны, стоптанные ботинки, а я писал, писал, писал, писал... Часто был голодный как собака.

Несколько лет, когда я приехал в Москву, я просто все время ходил голодный. Приехал я в 56-м году, а начали меня печатать в 61-м.

Я мог бы чем-нибудь заняться, чтобы жить более или менее сносно и иметь вторые брюки. Но я этого не делал, потому что был весь поглощен работой...

— *Оно себя оправдало. В итоге ты стал знаменитым...*

— Стоп. Стал знаменитым и, значит, некрасивым, если вспомнить строки Пастернака. (*Смеется.*) Так и запиши: «Стал знаменитым и некрасивым...» Всё!

*Москва  
июль 2004*

# СОЛОМОН ВОЛКОВ

## ЖИЗНЬ КАК БЕСЕДА

— Соломон, вы — ас беседы как жанра. И вот я решаюсь на беседу с асом беседы. Спасибо, что вы не против. Для начала договоримся: нет ли у вас разговорных табу? Знаете, как некоторые собеседники сразу предупреждают: о личной жизни не спрашивайте, о таком-то событии говорить не будем... И так далее.

— Без личной жизни — ерунда. Мне всегда нравится: «О личной жизни говорить не будем, потому что это не имеет никакого отношения к моему творчеству...» А как может личная жизнь быть отторжена от творчества? Она неминуемо является его частью. Поэт пишет стихи о человеке, в которого влюблен... Или — по той же схеме — я прихожу в музей и смотрю на картины. Я смотрю на святую и знаю, что это портрет любимой женщины художника. Я смотрю на Марию Магдалину и тоже знаю, что это портрет любимой. А посмотрю на женскую карикатуру у Брейгеля или Босха, — опять всё знакомые художника... И это потом подтверждается документальными свидетельствами.

Часто бывает и так: художник изобразил в виде Иуды личного врага. Как Данте, который всех своих

врагов разместил в аду или в лучшем случае в чистилище.

То же — у композиторов. Только у композитора в большей мере, чем у поэта, между личным, эмоциональным импульсом и конечным результатом лежит опосредованная работа. Понимаете, можно сесть и записать, как Есенин, предсмертное восьмистишие, но я не могу вообразить, чтобы композитор записал квартет в ночь перед самоубийством. Это слишком трудно чисто технически. Слишком много нужно значков поставить на нотную бумагу. А тем более — если большое музыкальное произведение для оркестра. Тут и с компьютером ненамного легче стало... Тщательное расположение на бумаге этих точек дело трудоемкое — не дай бог ошибешься.

Есенин или Маяковский, как мы сейчас выясняем, писали стихи черт знает как — без запятых. Это как Шепилов говорил о Хрущеве, что он в одном слове «еще» делал четыре ошибки. Так приблизительно и эти наши великие поэты писали. В литературе оно — не препятствие. А симфонии нужно записывать в высшей степени грамотно, потому что если напишешь неграмотно, то никто не разберет, ни одна живая душа.

Но первоначальный импульс и у композитора — в личном.

— *И у Шостаковича так было?*

— Конечно, «Леди Макбет» Шостаковича отражает его отношения с женой. То, что одновременно его и притягивало к ней, и от нее отталкивало.

— *Он ведь от жены бежал в день свадьбы?*

— Да. Он испугался. Сейчас постепенно публикуют его ранние письма, и из них все видно. У него была очень сильная мать, которой не нравилась ни одна возможная жена. Тут же начинала ревновать, потому что она совершенно не собиралась выпускать Митю из-под контроля. Стандартная история. А он

в итоге умудрился расположиться между матерью и женой, которая осталась главным событием в его личной жизни на всю последующую жизнь... Я имею в виду первую жену.

— *Это Нина?*

— Нина Васильевна, да. По всем воспоминаниям людей, которые ее знали (я ее уже не застал), она была незауряднейшая женщина. Она была по специальности физик — причем выдающийся в своей области. И умерла она далеко от дома — в Ереване во время работы. Там была какая-то скоротечная таинственная болезнь... Он к ней туда полетел... Это был колоссальный шок для Шостаковича, он был абсолютно потерян. Умерла она сравнительно молодой... Он же привык жить в большой степени за ее спиной в смысле ежедневных вещей и организации быта. Но — это важно подчеркнуть — Нина была и неотъемлемой частью его морального стержня, что помогло Шостаковичу выжить в удручающие времена, когда нужно было все время принимать решения по поводу того, как реагировать на соблазны, исходящие от власти.

— *И она была его внутренней благородной цензурой, да?*

— Да. Именно.

— *В каком году она умерла?*

— Кажется, в 1954-м. У меня с датами плохо. Как говорит один популярный артист: «Полный каламбур в голове». По-моему, Шостаковичу не было пятидесяти.

— *После этого он долго один был?*

— Нет. Он через несколько лет женился на комсомольской работнице по имени Маргарита Кайнова. И с ней довольно быстро развелся. О ней немного известно. В основном, неблагоприятные отзывы. Например, секретарша Шостаковича в свое время рассказывала, как она сказала Маргарите: «С Дмит-

рием Дмитриевичем надо поаккуратнее и побережнее обращаться, потому что он — замечательный музыкант». На что та якобы ответила: «Ну и что ж, что музыкант? У меня тоже родственник на баяне играет».

Но я ко всем свидетельствам отношусь с величайшей осторожностью: они исходят от знакомых и друзей, у которых есть определенный интерес в том, чтобы имидж сложился тем, а не другим образом... Учитывая, что он с ней разошелся довольно быстро (и дети Шостаковича с ней совершенно не поладили), то, конечно же, складывается неблагоприятная картина: женщина, которая не до конца понимала, с кем или «с чем», как говорил Бродский, она имела дело... Хотя есть рассказ о том, что он ее увидел на каком-то съезде, где они оба представлялись, подошел и сказал: «Хотите быть моей женой?» Она опешила в первый момент, но ответила: «Хочу».

У него были свои, определенные, к этому моменту сложившиеся представления о том, чего он ждет от женщины и какой тип женщины ему нужен.

Могу сказать одно о Шостаковиче (и это уже на основании своего личного общения с ним — и мое ощущение подтверждается многочисленными свидетельствами других людей): он если бы не стал великим композитором, то мог бы стать... Как мы это называем? Людей вроде Кашпировского...

— *Экстрасенсы?*

— Да. Он мог бы стать экстрасенсом. У него было чрезвычайно сильное электрическое поле. Мариэтта Шагинян вспоминает, что он пришел к ним в квартиру, где стояла огромная устойчивая перегородка. Она — когда Шостакович вошел — безо всяких видимых причин упала. Сильнейшее излучение, хотя внешне (подчеркиваю: в н е ш н е) он был человеком чрезвычайно стеснительным, неуверенным и ненапористым. Но в тот момент, когда ты вступал в

общение с ним, ты попадал в сильнейшее биополе. И все люди, включая Сталина, в присутствии Шостаковича робели. Исходил энергетический посыл. Он, кстати, увлекался хиромантией. Думаю, что и оккультизмом. Он был огромная губка, да? Если бы все это впитывание не выплескивалось потом в виде гениальной музыки, то Шостакович вполне мог бы стать экстрасенсом.

Он мог гадать по руке. Он смотрел вам на руку.

— *А вам смотрел? Предсказал что-нибудь?*

— Предсказал. А вот что — не скажу. *(Смеется.)*

Он высказался таким образом, что у меня до сих пор — мурашки. Честно сказал... Общение с Шостаковичем было таким, что рядом с ним общение с Анной Андреевной Ахматовой было, как она сама говорила, «бой бабочек».

— *С кем тяжелее беседовать — с поэтами или с музыкантами?*

— Не знаю. Мне в моей жизни повезло общаться с несколькими людьми, которых условно можно назвать гениями. Это особая природа — сверхчеловеческая, конечно. Но жизнь в Америке отучает от одной вещи — от привычки обобщать. Ты вдруг понимаешь, что каждый человек — это исключительный случай. Каждая ситуация — это исключительная ситуация. Не надо обобщать и говорить: «Русские такие-то, американцы такие-то, немцы все аккуратные и точные, а французы легкомысленные...» От этого меня мои уже скоро тридцать лет в Америке почти отучили.

Тем не менее. Поскольку человек, он сапиенс, то постоянно пытаешься что-то с чем-то сравнить и все-таки обобщить. И первым учителем в этой области была для меня как раз Анна Андреевна. Я впервые юнцом, столкнувшись с ней, увидел человека, который проводит параллели ко всему на свете... Когда мы к ней с квартетом от консерватории в Ко-

марово приехали, да и потом я к ней приходил несколько раз, и на каждое твое слово у нее было: «А вот 25 лет до этого... А вот 50 лет тому назад...» Это и то-то — параллельное. Это меня, я помню, тогда поразило. А сейчас, с течением лет, я ловлю себя на том, что и у меня образовалась такая привычка, потому что человек пытается во всем найти закономерность. Двойной процесс. С одной стороны, жизнь — пустая и глупая шутка, подписываюсь под этими словами Михаила Юрьевича безо всяких. С другой стороны — в почтенном возрасте, в который я уже прибыл, начинаешь понимать (или хочется так думать), что в твоей личной жизни ничего не было случайного. Все закономерно. И некие доказательства этому выстраиваются. Ты вдруг понимаешь, что все, что было в твоей жизни и 50, и 25 лет назад, было не случайно. Ты не мог выбрать иной дороги, ты не мог по-другому поступить. Все было закодировано в твоих генах. В какой-то Книге Судьбы.

Когда я юным разговаривал с Ахматовой, мне казалось, что это у нее волею была попытка, волюнтаристская — придать всему закономерность. А теперь я думаю как она: а может, был во всем этом единый смысл?

И еще. На сегодняшний момент я могу констатировать, как ко мне, к Соломону Волкову, относятся параллельно определенные социальные группы в разных геополитических сообществах — в США, в Европе, в России.

— По-разному?

— Нет. Одинаковые социальные группы, не сговариваясь, относятся совершенно одинаково.

— А как к вам относится либеральная общественность? Наш с вами общий старший друг, ныне покойный Анатолий Наумович Рыбаков — я уже не раз это вспоминала — после любого разговора мне на прощанье говорил: «Так и передай это аэропортовским идиотам».

— Прямо так и слышу интонацию Рыбакова. (*Хочет.*)

— Он так называл осторожных московских либералов, живущих, как и я, в Москве в писательском квартале у метро «Аэропорт». У вас в последней книге «Шостакович и Сталин: художник и царь» явлено настолько неангажированное отношение к Иосифу Виссарионовичу, что они могут вас осудить: дескать, не на ту мельницу льете...

— Уже осудили. Парадокс заключается в том, что — «правая, левая где сторона?». То, что в России сегодня называется правыми, в США это левые. И наоборот.

Я сейчас выскажусь для «аэропортовских идиотов» шокирующе. За последние 50 лет человеком, который лучше всех писал о Шостаковиче, был Игорь Ростиславович Шафаревич. Моя позиция здесь по отношению к политическим разборкам в России — это позиция аутсайдера. Как у вас в одном стихотворении сказано, я — «человек отсебятины». Да. Что хочу, то и говорю.

— *Лучшие наши писатели относительно последних времен (и Искандер, и Войнович) Сталина, как правило, изображают дегенератом с низеньким лбом. А у вас он — при всей констатации злодейств — личность значительная. Поясните.*

— Он и есть одна из самых значительных фигур XX века. Сомнений в этом быть не может. Спорить не будем. Простые цифры. Сужу по последним данным *Amazon.com* — крупнейшей американской и всемирной книжной организации в интернете (которого у меня, кстати, нету, как и факса, как и автоответчика: способ общения — простая почта). Итак, мне сказал приятель, что, по последним данным, есть восемь тысяч названий книг со Сталиным в заголовке. Это человек, который fasciniрует пишущую и читающую публику и является одним из титанов



(это для меня не качественное, а количественное определение) XX столетия. Это первое.

Второе: Сталин был прежде всего политиком. И он был — со своей точки зрения — успешным политиком. То, что он хотел сделать, он во многом сделал. Не на сто процентов, но на сто никто — ни Наполеон, ни Александр Македонский — свою программу не реализовал. На существенную часть Сталин свои задачи и амбиции осуществил.

И со своей точки зрения, при которой не учитывалась стоимость человеческой жизни, он был успешен. Он умер в своей кровати — убили его, не убили... Все может быть. Умер, создав супердержаву и устранив до этого людей, которых очень многие считали гораздо более способными к управлению страной.

В понимании Сталина мне, как ни смешно, очень помогли события перестройки и то, что было потом. Мы все думали, что когда произойдет либеральная революция, то, скажем, Евтушенко будет министром культуры. Он так энергично выступал! Однако мы знаем, что ему предлагали стать министром культуры, но он отказался. И ни один из властителей дум того времени не оказался способным на то, чтобы работать в новом политическом аппарате. Каждый оказался художником в первую очередь.

Быть поэтом — одно дарование, быть политиком — другое. Можно даже быть общественным, что ли, трибуном, но все равно ты не будешь политиком.

Пример — Александр Исаевич Солженицын. Он оказался общественной фигурой, но не политиком. Он не сумел ничего реализовать из собственных, вполне продуманных предложений, «как обустроить Россию». Реальная политика этих его предложений не взяла. Не приняла к сведению. Он оказался менее влиятельной общественно-культурной фигурой, чем Горький.

— *А что успел сделать для России Горький?*

— Горький, когда подружился со Сталиным (что ему по сей день ставят в огромную вину), успел продвинуть огромное количество своих литературных начинаний. Всякие журналы, издательства, серии. Массу вещей. И организацию Союза писателей. Когда разогнали ненавистный ему РАПП, который терроризировал писателей, собрали всех под партийным контролем. От А до Я. Алексея Толстого — с одной стороны, бывших футуристов — с другой. Дожил бы Маяковский — был бы как миленький в том же Союзе. Заседал бы в секции, входил бы в секретариат...

Что касается Горького, то перед ним расстилалась огромная страна, в которой задавала тон неграмотная крестьянская масса, к которой Горький, будучи по рождению люмпен-пролетарием, относился с крайним подозрением и нелюбовью. Я так и вижу Горького, который пробирается по своей стране в странствиях и обходит деревни, потому что — забьют до смерти!

До революции ему ничего не давали сделать в этой области. Когда его избрали академиком, то Николай Второй лично написал, что не понимает этого решения, и академики тут же перестроились и мгновенно его выкинули из академиков. А потом, когда произошла революция февраля 1917 года, те же самые академики тут же, на другой день, приняли его обратно.

— *Как же после этого уважать интеллигенцию?*

— Нельзя! (*Хохочет.*) Чем Горький так жутко был ненавистен символистам и, скажем, Зинаиде Гиппиус? Они все издавались крохотными тиражами, у них три тыщи был максимум. А он затеял издательство «Знание», и сразу пошло — десять тыщ, двадцать, тридцать... По всей России эти зелененькие томики расходились. И они завидовали, они бесились. Даже Блок написал статью о реалистах...

— *Блока не трожьте! Он — мой любимый поэт.*

— А жил бы он сегодня? Он был бы в компании Шафаревича. Он был антисемит. Зинаида Гиппиус вспоминала, что он хотел «всех жидов перевешать»... Смотрите: Блок издается в издательстве «Шиповник» и иначе как «Жидовник» его не именует. У него что ни еврей, то жид. Он евреев ужасно не любит. Не просто так — у него претензии совершенно определенные.

— *Какие?*

— Что они захватили прессу. Правят бал и вредят русской литературе.

— *Все это очень интересно, но беседа у нас идет зигзагами... Какой мы из этого сделаем вывод — кроме того, что ничего нельзя обобщать, но все же обобщать хочется, да?*

— К вопросу о личной жизни, общественной и творческой. Уменьшило ли знание о том, что в лице Блока мы имеем убежденного антисемита, любовь к его стихам? Нет.

— *Вы разве прощаете антисемитизм?*

— Я не прощаю это ему как человеку. Но я же с ним не общаюсь как с человеком. И вообще, меня жизнь сталкивала с некоторым количеством незаурядно одаренных антисемитов. И когда я о них думаю сейчас, для меня главное, как это ни смешно, все-таки то, что они написали.

— *Вы в последней книге и Шостаковичу великодушно прощаете его ранний антисемитизм.*

— Он потом стал таким юдофилом, что полностью, как говорится, оправдался... А вообще парадокс: все антисемиты, с которыми я сталкивался, ко мне — к Соломону Волкову — относились с полной симпатией. Шафаревич, насколько я знаю, прочел и ему очень нравятся подготовленные мною мемуары Шостаковича.

Когда меня судьба сталкивала с антисемитами лично и я видел масштаб таланта (при том, что они мне

лично никогда свой антисемитизм не демонстрировали, отнюдь), мне это не мешало с ними общаться...

Более того. Про Баланчина, с которым меня судьба свела, я тоже задним числом узнаю, что он был не без антисемитизма.

— *А он сам кто был?*

— Он — грузин. Верней, смесь грузина и русской немки.

— *А вы с ним прямо на улице познакомились?*

— Да, он шел по улице. Мне Марианна, жена, говорит: «Смотри — Баланчин». Потом говорит: «Подойди к нему». Я подошел: «Добрый день, Георгий Мелитонович». Он остановился, как будто его каждый день так останавливают на Бродвее (а на Бродвее тогда по-русски вообще не говорили). Я потом узнал, что (ведь у каждого человека — свои заскоки, да?) у него была манера — важные дела решать именно при встречах на улице.

Я с ним стал разговаривать о Чайковском, потому что незадолго до этого прочел его интервью в «Нью-Йорк таймс», где он сказал, что Чайковский — это модерн, а никакой не реализм. Меня это поразило, потому что в Советском Союзе всегда говорили, что Чайковский — великий реалист, хотя никто толком не знал, что такое реализм в музыке.

Он стал со мной увлеченно об этом говорить, я ему что-то такое подвякивал интеллигентное. Полчаса проговорили, он и заявляет: «Вот и напишите мне об этом...» Чего? Куда? «Я фестиваль готовлю Чайковского, будем буклет выпускать, напишите». — «О чем?» — «А вот о том, о чем мы сейчас говорили».

Я написал. Принес в театр. Сразу на меня дохнуло ненавистью. Вдруг является человек с улицы... А вы не представляете авторитет Баланчина в театре. Ходил живой Бог!

— *Как называется этот театр?*

— Нью-Йорк-Сити Балле. Только что отмечали столетие с огромной помпой.

Когда я пришел, буклет был уже подготовлен, и на первом месте должно было идти письмо Стравинского. А Баланчин говорит: «Первым пустить Волкова». Они посинели просто. (*Хохочет.*) В итоге выпустили шикарный буклет, где Волков открывал парад.

— *Баланчин потом долго еще, после вашей первой встречи, прожил?*

— Несколько лет. Была еще такая смешная история. Он поставил балет под названием «Моцартиана», который я отношу к одному из его шедевров. Это нечто не передаваемое словами по сублимативности. Я вернулся домой — и ему письмецо написал.

— *По-русски?*

— Конечно. Кстати, у Баланчина в театре была библиотека, состоящая исключительно из русских книг. Там стояли «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», Зоценко стоял. Томик Бродского стоял (это ему Барышников подарил). Читал он исключительно по-русски.

Итак, написал я письмецо. Через некоторое время — звонок от его секретарши: «Сделайте перевод». Я сделал перевод и отослал ему. А письмецо было приватное — с восторгом.

Вдруг звонит приятельница в полном оцепенении и говорит: «Слушай, я только что была в театре на спектакле — в программке твое письмо напечатано».

— *Это круто.*

— Просто ему мое письмо показалось важным... А вообще, Баланчину в последние годы хотелось по-русски поговорить. Вот он и говорил со мной.

— *Это такой трудный жанр! Внешне — беседа, а на самом деле — портрет. Есть ли у вас наработанные приемы, или вы каждый раз ищете ключ заново?*

— Это как в браке: тебе кажется, что ты выбрал жену, а на самом деле это она тебя выбрала. Он, со-

беседник, тебя выбирает. У меня ведь было много претендентов, но — не сложилось. Это все люди живые и очень крупные для русской культуры. Я их называть не буду. Может, это им самим уже нежелательно...

— *Наверное, Евтушенко?*

— Я бы сделал книгу с Евтушенко. Я к нему отношусь с огромной симпатией. И когда я разговаривал с Бродским (в книге это есть), я ведь с ним поругался из-за Евтушенко. Самое смешное, что в итоге Евгений Александрович на меня за эту книгу жутко обиделся.

— *Почему на вас? Пускай обижается на Бродского...*

— На Бродского обижаться — это обижаться на гения. Запало. А на Волкова обидеться гораздо проще. И значит, я в ответе. Гонец всегда виноват. А что мне было — цензурировать Бродского и его отношения с Евтушенко?

Новую книгу с новым человеком я уже не потяну. Я отказывался за минувший год — дай бог не сорвать — четыре или пять раз. Мне несколько человек, очень крупных личностей, предлагали сами. И я был вынужден отказаться — ночами не спал, ворочался... Но отказался — должен успеть главное.

Лежат материалы, наработанные с несколькими людьми, но не сложилось. Могу даже сказать о двух огромных кусках-заделах, поскольку этих людей уже нет. Есть сто часов пленки — это на целую книгу — разговоры с Александром Годуновым, танцовщиком Большого театра, который убежал. То, что он мне наговорил ночами в «Ста часах...», это как бы портрет молодого человека его поколения, который интереснее, чем индивидуальная судьба самого Годунова. Там и Большой театр того времени. Есть еще большая книга разговоров с Кириллом Петровичем Кондрашиным — после того, как он сбежал. И тоже по разным соображениям не реализовалось, лежит.

— *Как все же вам удается разговорить человека, вызвать его на откровенность?*

— Сначала он должен тебя выбрать. А выбирает он не случайно. Моя попытка обобщения заключается в том, что человек либо готов на такую книгу, либо нет. Именно не интервью, где можно отбрехаться, а длинное полотно, где ты непременно в чем-то самораскрываешься больше, чем тебе хотелось бы... Это неизбежно даже в таком разговоре, какой мы с вами сейчас ведем. Я знаю, что уже что-то такое сказал вам, чего сказать не хотел и о чем, может быть, потом пожалею.

— *Пожалеете — вычеркнем. Я без вас не опубликую.*

— Во-о-от... Первое: человек должен быть готов т а к о е о себе рассказать, а это обыкновенно связано с подведением итогов. У человека ощущение: жизнь заканчивается, а где-то тебя не так поняли, и ты хочешь объясниться с будущими поколениями. Именно это было, безусловно, главным импульсом у Шостаковича. Вне всяких сомнений.

Та же история была с Баланчиным.

И у Бродского — то же. Он после того, как мы начали беседы, ложился на операцию... А потом — поскольку был задел, то мы время от времени, на протяжении восемнадцати лет, продолжали встречаться.

— *Сколько раз вы встречались с Бродским именно специально для этих диалогов?*

— Думаю, не меньше тридцати.

— *Выпивали в процессе? Я почему спрашиваю: вы там на одной фотографии в книге сидите вокруг бутылки.*

— Шостакович мне всегда, когда мы встречались, предлагал выпить. Тогда я не пил по стеснительности. Сильно выпивать я начал здесь и пил очень круто лет десять. А год назад у меня просто обрушилась печень. Жуткие боли. Врач сказал: полный абзац. Всё. Завязываем. А раньше мы с Марианной, женой

моей, каждый божий день выпивали по бутылке коньяка на двоих.

— *А у вас с перепоею депрессии не начинались?*

— Для меня, наоборот, депрессией было прекратить это дело. То было колоссальное подспорье. И еще хорошо, что мы были на одной волне. А теперь она продолжает, и мы на разных волнах, и это — ой! Мне так приходится себя сдерживать! Во-первых, жутко хочется выпить, во-вторых, дико завидно и где-то начинается раздражение: другому хорошо, а ты тут ходишь как дурак трезвый по квартире...

В беседах я от этого, как правило, отказывался, потому что подходил к этому делу в высшей степени ответственно... Потому ко мне и друзья Шостаковича, и друзья Бродского, и друзья Баланчина, когда их книги вышли, отнеслись с колоссальной ревностью. По правильной причине. Ведь они с ними выпивали, и дружили, и болтали, а Волков вдруг раз — выпускает книгу. Но потому Волков и выпускает книгу, что у него есть д и с т а н ц и я. Я не был никогда их близким другом. Все трое выбрали меня в первую очередь как профессионала. Шостакович, как и Баланчин, попробовал меня на том, на другом, на третьем. Бродский увидел, что вышел проект Шостаковича, и тоже попробовал, как оно у нас пойдет...

— *А Рыбаков сразу вас выбрал? Или просто вы жили по соседству...*

— Тоже не сразу. И тоже пришла ему пора подбивать итоги. А еще и его собственный роман-воспоминание вышел...

Сначала собеседник тебя проверяет в работе. Потом вы вступаете в непростые отношения, когда первоначально происходит борьба: что он будет, что не будет говорить...

У меня, например, был такой эпизод с Бродским: пошел я с ним говорить об Ахматовой. Я вычислил: он все на свете знает об Ахматовой, я кое-что знаю



об Ахматовой, и как-нибудь мы эту тему осилим. Пришел, но не подготовился. Задаю вопросы, а он мне — односложно. Всё. Провалилось. Это было уроком для меня. В следующий раз было 20-30 вопросов заготовлено, и, когда разговор зависал (а он неизбежно зависает), я смотрел, что у меня там подготовлено. А он это дело подхватывал.

— *Довлатов где-то написал, что не понимает, как вы ухитрились дирижировать разговором с этим независимым и резким человеком, с Бродским то есть, и решались ему возражать и противоречить, «чего маз-стро очень не любил». И впрямь — как?*

— Есть правила, которые вам известны не хуже, чем мне... С Шостаковичем разговор начался с того, что «давайте говорить не о вас, а о ваших друзьях». Например, о Мише Соколовском — театральном режиссере, который в наше время был уже совершенно забыт. Забытый был персонаж, а для Шостаковича — важный человек. Он сразу изумился: «А откуда вы знаете?» Наивный! Как будто я не могу пойти в библиотеку и прочесть. Его-то все спрашивали об Эйзенштейне, которого он терпеть не мог, но у него насильно взяли музыку и приставили к фильму... А про Соколовского никто не спрашивал. А я спросил.

Тот же прием сработал с Баланчиным: «Давайте поговорим о Чайковском». Потом я ему еще написал письмо большое... Я там писал так: «Мы не будем употреблять никаких высоких слов, а поговорим простым языком. Вы когда-то жили на Театральной улице в Петербурге, в интернате танцевального училища, — там и сейчас в этом помещении живут точно такие же детишки, — и я надеюсь, что когда-нибудь они будут класть эту книжку в общежитии под подушку...» И через несколько дней мне перезвонила все та же секретарша, которая теперь является душеприказчиком и распорядителем всего его наследия, и сказала: «Он считает, что это хорошая идея».

— *А детей-наследников у Баланчина нет?*

— Нет. На похоронах сошлись четыре, по-моему, его бывших жены. И была потрясающая ситуация. Они все были официально признаны как таковые — и атмосфера была высшего благородства. Все обнимались и все целовались... Последней вдовы не было официально. У него была любимая женщина, с которой отношения были своеобразные... Я косвенно принимал в этом участие: Баланчин иногда приглашал меня вместе с ним в концерт что-нибудь послушать... Например, «Иоланту» Чайковского. Я приходил (тут недалеко), и сидели мы вчетвером: он, я, любимая женщина (танцовщица из театра) и ее муж.

— *Муж знал?*

— Конечно, знал.

— *И ничего?*

— А чего? Это как честь была... Вообще, Баланчин говорил: «Я буду жить до ста лет». А ему сказали: «Если вы все ж таки умрете, то тогда наследство перейдет к вашему братцу, Андрею Мелитонычу, что будет означать — Советскому государству». Тут он понял. Сразу все с адвокатом обсудили. Ничего не оставить брату нельзя (тот может оспорить завешание), и он оставил брату двое золотых часов... А балеты он распределил между восемнадцатью женщинами.

— *Молодец. Красиво.*

— Это, может, и красиво, и по-грузински, но, имея в виду судьбу будущего наследства, это был рецепт для катастрофы. Представляете себе — восемнадцать баб, которые, по идее, должны были бы вцепиться друг другу в глотку и устроить ад на земле для любой будущей антрепризы, которая решила бы использовать эти балеты... Но распорядительские права Баланчин завещал этой женщине, секретарше Барбаре Хорган...

— *А у них был роман?*

— Может, когда-то оно и было. Но на тот момент — определенно не было. И она взяла все это в свои руки, организовала Фонд Баланчина и являет собою образец того, как надо вести дела. Ни одна наследница ни разу не затеяла никакого скандала. Кругом — бесконечные процессы (американское общество — это общество судебных сутяг), все спорят... Марта Грэм, замечательная американская танцовщица и хореограф, умерла и оставила завещание одному человеку. Так процесс шел чуть ли не десять лет — только что кончился. Что парализовало деятельность ее посмертной компании. Ничего подобного в театре Баланчина — машина крутится, как смазанный механизм.

— *Значит, он правильно выбирал женщин.*

— Да. Они поставили во главу угла дело. Все пристроены. Каждая разъезжает по миру, репетирует, танцует, ставит принадлежащие ей балеты Баланчина. Обеспечивается качество... Замечательно!

В общем, значит, эти вдовы, с подавляющим большинством которых я был знаком, явились на похороны вчетвером — две русских, а потом пошли американки... Одна — та, с которой он еще в Петрограде поженился, дочка Левкия Жевержеева, знаменитого коллекционера и, кстати, друга Маяковского. Вторая — танцовщица Александра Дионисьевна Данилова... В церкви была невероятно благостная атмосфера.

— *А у Бродского?*

— А у Бродского — другое дело. Другой коленкор с причастными к допуску к телу. Поскольку все было на неофициальной основе, то тебя это просто выталкивало из поля.

— *Вернемся к вопросу: как вам удалось раскрутить Бродского? Это редкий случай, чтобы он так раскрылся в разговоре... Вы иногда ему очень резко возражали, а он смиренно терпел.*

— Я уверен, что ему так же и Женя Рейн возражал, когда речь шла о стихах. Речь-то — о стихах. Возражения его как раз заводили. Каждый второй его ответ был: «Нет, Соломон». И из своего опыта общения с Бродским я знаю, что если бы я сказал наоборот (с черного — на белое), то он все равно ответил бы: «Нет, Соломон».

Это был человек, который сначала должен был непременно вам возразить и настоять на своей точке зрения... Что меня со всем этим примиряло, — я видел, как человек думает. Он иногда говорил даже: «Нет, я это переговорю». Ты видел, как на твоих глазах раскручивается грандиозный маховик. Увлекательное было зрелище. С точки зрения интеллектуальной, а не творческой. С творческой — должен сказать, самый гениальный был Шостакович...

— *А как вы определяете: кто такой гений?*

— Гением я называю человека, который так трансформировал нечто в своей сфере, что после него эта сфера изменилась. Вся его отрасль изменилась.

Я очень увлекаюсь (некоторые не любят — «фи» говорят) такой интеллектуальной игрой: первая десятка... первая двадцатка... Обожаю! Ментальная гимнастика. Я составляю такие списки для себя по разным поводам. Эта моя склонность в Америке нашла подпитку — здесь все это постоянно делают.

— *Такую игру любил Борис Абрамович Слуцкий.*

— Видите, я не одинок. Есть иерархия XX века. Композитор номер один? Очень долгое время это место занимал Игорь Федорович Стравинский. На глазах Шостакович с десятого примерно места продвинулся вперед...

Сравнительно недавно мне рассказывала Белла Давидович, человек очень близкий к Давиду Федоровичу Ойстраху, о разговоре с ним перед его смертью в 1974 году. Они встретились в Амстердаме. И Ойстраху был задан вопрос, кто в мире сейчас самая зна-

чительная фигура из композиторов: Прокофьев или Шостакович? На что он ответил: «Ну о чем говорить? Ну, конечно, Прокофьев». Такова была ситуация в 74-м году. А сейчас и разговора быть не может, что Прокофьев — номер один. Дай бог — в первой пятерке. Впрочем, первая пятерка тоже здорово.

Переходим к Бродскому. Он и в первую мировую двадчатку XX века не войдет. Учитывая, что там будут Рильке, Лорка, Элиот, — Бродского там не будет...

А Баланчин, без разговоров, номер один в балете. Первый номер в XX веке.

— *Кто же из русских поэтов попадет в эту первую двадчатку минувшего века?*

— Большая четверка!

— *То есть Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Ахматова... Безусловно. А Заболоцкий войдет?*

— Не войдет, нет. Даже Бродский в международном контексте ближе к этой двадцатке, чем Заболоцкий. Впрочем, это же не есть показатель объективной ценности. Я всегда в этих случаях вспоминаю про Баратынского, или Тютчева, или Фета...

— *Или Иннокентия Анненского.*

— Нет, поэт под псевдонимом «Ник.Т-о» меня не восхищает. Весь искусственный, как и усики его нафабранные. У него только одно стихотворение есть настоящее — о Петербурге.

— *Не согласна. А «Прерывистые строки»? Кстати, Ахматова утверждала: из него и весь акмеизм, дескать, и она сама вышла...*

— Ахматова умела железной рукой кроить чужие репутации. И бывали тут и колоссальные несправедливости — например, «Петербургские зимы» Георгия Иванова: Ахматова зарубила репутацию замечательной книги, единолично, своей рукой.

Она каждый шаг свой взвешивала, каждое слово. Смотрите: о Бродском были оставлены как бы высе-

ченные фразы: «Рыжему делают биографию...» или: «Он чудо — ему завидуют...»

И кстати о репутациях. Как же Анна Андреевна уронила репутацию Гаршина! В ее кругу говорили, что он после войны вместо нее женился на медсестре. Он женился на докторе медицинских наук, а не на медсестре!

— В 2002 году в Питере в музее Ахматовой, что в Фонтанном Доме, вышла интереснейшая документальная книга о враче-патологе Владимире Георгиевиче Гаршине, где дана вся объективная и объемная информация об этом потрясающем человеке и где развеяны мифы вокруг их с Ахматовой отношений. Если у вас этой книжки нет, то я вам пришлю из Москвы по почте. Эта женщина, ее звали Капитолина, — и впрямь доктор наук — пережила с ним рядом блокаду (жена его умерла в блокаду от голода, просто упала на улице замертво), а Ахматова в это время была в Ташкенте...

Кстати, вы ленинградец? Или, насколько я понимаю, рижанин?

— Мои родители — рижане. А я родился 17 апреля 1944 года в Ходженте, в эвакуации, и через год уже был в Риге.

— А как же вы в Ленинград попали?

— Я поехал в Ленинград учиться в музыкальную школу при консерватории. А до этого с шести лет я учился в рижской музыкальной школе. Отец вернулся с фронта, потеряв там ногу, а мать работала в детском саду...

И пошел я учиться на скрипке. Просто потому, что я из детского садика ушел в шесть лет, а в нормальную школу брали только с семи лет. И меня родители направили в музыкальную, чтобы я не болтался на улице. Там посмотрели на руки и говорят: пойдет на скрипку. Пальцы такие.

И я — скажу без ложной скромности — стал очень хорошим скрипачом. Моим одноклассником, когда

перебрался в Ленинград (мы сидели на соседних партах и учились у одного профессора по скрипке), был Володя Спиваков. И про нас так и говорили: «Спиваков и Волков».

— *А почему вы все-таки потом перешли со скрипки на... как бы это сказать... книги о первых скрипках?*

— Это вопрос честолюбия. Я понял, что в скрипке, хоть я давал сольные концерты и так далее, номером один я не стану. Я нашел для себя, как любят говорить американцы, н и ш у. Нишу диалогов.

Я занялся этим очень рано. Первую статью напечатал, когда мне было чуть ли не лет тринадцать. Или пятнадцать? По-моему, об Асафьеве.

Я довольна рано стал записывать разговоры. Сейчас назову имя человека, в связи с которым я впервые понял, что стал профессионалом. Я встретился с одним поэтом, записал с ним разговор и напечатал его в местной рижской газете. А потом вдруг увидел, что это воспроизведено в его книге практически дословно. Я понял: значит, мне это удалось очень неплохо сделать. А был это Андрей Вознесенский.

— *Я Вознесенского люблю и многое, из раннего, знаю наизусть...*

— Я к нему и к Евтушенко отношусь с величайшим уважением. Стихи их всегда знал наизусть. Они моей душе многое говорили. Я вам, Таня, так скажу: у меня дома стоят двадцать книжек Бродского с надписями Бродского, двадцать книжек Вознесенского с надписями Вознесенского и двадцать книжек Евтушенко с надписями Евтушенко. (И еще двенадцать книжек Довлатова.) Наверное, я единственный в мире человек, что со всеми тремя — в одинаково ровных отношениях.

— *Как вы сами это объясняете?*

— Они все трое мне симпатичны. Каждый по-своему. Я знаю, в чем каждый из них силен, и мне нравятся их сильные стороны. А на слабости я в каждом случае глаза закрываю.

— *Вы людей прощаете — и у вас это продуктивно. В ваших книжках вообще, кажется, нет злодеев.*

— Потому что и в жизни нет злодеев. Я ненавижу только бездарностей.

Несколько дней назад я смотрел и слушал по телевизору, как играл один замечательный музыкант. Концерт. Играл очень возвышенную музыку и играл ее прекрасно. А по характеру он — сукин сын. Я сидел и думал: мешает это мне или нет? Он один из миллиона может сыграть эту трогательную музыку так, что она меня трогает. Так какое мне на фиг тогда дело до остального... Просто не буду с ним вступать в отношения, где он мне может подставить подножку, что он с удовольствием сделает.

— *А мне иногда мешает воспринимать тексты большого поэта, если я знаю, какие он делишки за кулисами обтяпывает...*

— Но ведь оно в его творчестве не отражается?

— *Нет. Но меня это неотражение и раздражает.*

— Ясно... (*Хохочет.*) Почти все такие. Но есть люди, способные во имя искусства отказаться от больших денег, чтобы было лучше и интереснее. Есть у меня такие знакомые среди музыкантов. И я их за это дико уважаю, но... Все равно они, скажем так, сложные персонажи!

— *А может, человек — особенно мужчина — вообще по природе своей сложный персонаж?*

— У меня есть один приятель с детских лет — тоже очень крупный музыкант. И я на него смотрю в полном изумлении: он и человек замечательный. Честный, приличный, не обманет, не подставит тебе подножку, не жадный. Все мыслимые достоинства. Встречаются самые разнообразные варианты. Другое дело, что нужно знать, когда вступаешь в деловые отношения, — с кем вступаешь... Кому-то нужно сказать: давай заключим договор...

Короче, Таня: поменьше романтики, да?



— *Перейдем поплотнее к Шостаковичу. У нас людям талантливым — вот и вы только что об этом говорили — общество прощает все (в том числе и черт-те что), а вот Шостаковичу его компромиссы не прощали. К нему его среда была неадекватно строга. Почему?*

— Я сам раньше разделял все заблуждения либеральной интеллигенции. Думал: вот Пастернак не шел на компромиссы... Да он первый шел! Он — основоположник жанра компромисса и восхваления Сталина в стихах... Да? Потом с ним вступил в творческое соревнование Мандельштам и создал свой гениальный опус в честь Сталина, да? Булгаков, кумир либеральной интеллигенции, написал свой «Батум» и не стеснялся заранее торговаться и выбивать под это квартиру... Ахматова тоже написала такие стихи, потому что беспокоилась за судьбу сына.

Но ведь и Шостакович беспокоился за судьбу своей семьи, и Пастернак беспокоился за судьбу своей семьи, и все, кто тогда жил, беспокоились...

Сейчас любят говорить на Западе, что во времена Хрущева все было уже безопасно... А кто это знал? Когда Вознесенский выходил вперед, а Хрущев на него орал, он — поэт — что думал? Что придут и заберут. И правильно думал. И правильно опасался.

Я хочу еще написать мемуарную книгу. Почему? Потому что я вижу, как на моих глазах происходит полная подтасовка реальной ситуации. Те несколько дней, когда был опубликован «Иван Денисыч», вы их помните?

— *Помню. Мне было четырнадцать лет, а мой папа ликовал.*

— С этих дней и до посещения Хрущевым Манежа был короткий отрезок, когда казалось: что-то происходит... А потом все опять всунули головы в плечи и опять забоялись. Позднее, после событий в Чехословакии, пошел открытый террор, и ни у кого не было уверенности, что его не возьмут.

Говорят: «Чего же Шостакович брал Сталинские премии? Пять премий!» А чего Солженицын не отказывался от Ленинской премии, когда его продвигали?

А кто первый отказался от выдвижения на Ленинскую премию? Альфред Шнитке. А когда он отказался? Когда у него уже была финансовая независимость, связанная с Германией. Он понимал, что, отказываясь от Ленинской премии, не обрекает ни себя, ни свою семью на голодную смерть.

— *Вы Шнитке хорошо знали?*

— Да. Грандиозная фигура.

— *А почему вы с ним книгу не сделали?*

— Он в тот момент был не готов на такие разговоры, и от него импульсы не исходили. Повторяю: грандиозная фигура, которая по праву могла себя считать наследником Шостаковича. Притом что он потом единственный из следующего поколения так называемого советского авангарда признался, что да, недооценивал Шостаковича.

Никогда не забуду: Шнитке в 1992 году прилетел сюда, в Нью-Йорк, и у него была премьера одной из его симфоний... Мы пошли вместе в концерт, где исполнялась знаменитая увертюра Бетховена «Победа при Ватерлоо» (политическая, кстати, посвященная лорду Веллингтону) и Седьмая симфония Шостаковича, которую интеллигенция недолюбливала... Как и Одиннадцатую. Почему я уважаю Ахматову? Она то почувствовала, что звучащие в Одиннадцатой симфонии революционные песни — не конъюнктура, что они от души и многое говорят душе...

Итак, сыграли Седьмую. Шнитке поворачивается ко мне лицом. Бледный, потрясенный... И говорит: «Это великая музыка. Я ее недооценивал».

Я спрашиваю: «А как тебе Бетховен?» Он: «А Бетховен не понравился!» (*Смеется.*)

Правильно: у Бетховена — случайное, заказное сочинение, которых полно у каждого автора. Но Бет-

ховену это — заказные сочинения, отписочная государственная музыка — никто не ставит в укор. Такое почти у всех было... Прокофьев, например, написал кантату на 10-летие Октября, где от себя вставил сталинские тексты и распел их на музыку. И никто ему в укор это не ставил, как и премии, которых ему больше, чем Шостаковичу, дали.

— *Почему же все ставили в упрек Шостаковичу — и премии, и компромиссы, и странный характер? Может быть, чем человек крупнее, тем спрос с него строже?*

— У Шварца об этом есть — гениально. В мемуарах. Он говорил, что «жучки ненавидят Шостаковича».

Ж у ч к и... Его всю жизнь сопровождало это: «Не подам руки!» Тут и Лидия Корнеевна Чуковская, и другие живущие до сих пор люди... Шостаковичу — гениальному человеку — многие руки не подавали после подписания письма против академика Сахарова.

— *Почему? Кругом смазь вселенская творилась, а за компромиссы коллеги, сами вполне компромиссные, наказывали именно Шостаковича? Какая-то в нем была, что ли, слабость сильной личности, которую люди чувт?*

— Одно из моих предположений состоит вот в чем. Русская культура в своей основе логоцентрична и вербальна. И требуется, чтобы человек элоквентно (красноречиво и изящно) объяснял свою позицию. И когда Олеша выходит и элоквентно говорит, что стилю Сталина мог бы позавидовать Лев Толстой (в 1936 году), то отточенность всей речи вместе взятой сглаживает для вербально ориентированной интеллигенции суть. А когда Шостакович, являясь абсолютно не красноречивой фигурой, подписывает какие-то там официальные бумажки, то давай осуждать... Причем что интересно: Шостакович никогда

вреда никому своими поступками не причинял. Большинство бумаг, которые он подписывал, были просьбы. Разные просьбы о помощи кому-то.

Я специально у Елены Георгиевны Боннэр спросил, как Сахаров отнесся к этому единственному письму. Она сказала: «Господи! Да мы что — не понимали про Шостаковича? Другое дело: несколько академиков — это были личные знакомые, которые могли бы и воздержаться»

Более того: сейчас всплывает версия (я не знаю, так ли), что поставили подпись в его отсутствие, не спрашивая... Он был старый, больной, абсолютно раздолбанный человек.

— *Шостакович во сколько лет умер?*

— В шестьдесят девять, по-моему. Последние годы было жалко на него смотреть — он в пальто не мог попасть. Он так и говорил мне, что чувствует себя стеклянным.

— *А что это за болезнь?*

— Ее так по-настоящему и не диагностировали. Умер он от рака и еще от каких-то вещей... Был полный распад организма.

— *Кстати о том, что одних осуждают за конформизм, а других нет и почему. Вы ведь знали Лилю Брик и с нею тоже беседовали? А скажите, как вы объясняете, почему наша либеральная интеллигенция, зная о ее теснейших связях с наблюдательными и карательными органами и о ее политсвязанности со Сталиным, — все равно к ней благоволила? Многие старики до сих пор придыхают.*

— Я сейчас скажу о ней как человек, у которого действительно связей с этими органами — ноль. Никаких компроментаций. Что мне дает возможность быть абсолютно объективным и спокойным в этом отношении.

Да, есть недвусмысленные свидетельства того, что и Лилия и Осип Брики сотрудничали с органами. Но

я сел и составил такой список: Зощенко служил милиционером, Андрей Платонов работал, между прочим, в ЧОНе, Бабель вообще... И что интересно: все эти сведения мы имеем от них самих. О сотрудничестве Бабеля с органами мы знаем только из его автобиографии. Других свидетельств нету. Службу Платонова в ЧОНе никто сейчас не раскопал бы, если бы это не было в его автобиографии. А для меня что чиновец, что милиционер, что работник ЧК — все одно. Между прочим, и Веничка Ерофеев работал в милиции! И все это вместе называется «правоохранительные органы». Ни в один из этих органов без соответствующей анкеты и проверки не пройдешь...

Ну позови меня работать в милицию! Я не могу. А у этих людей, значит, что-то было такое подходящее... И я про каждого из них понимаю, почему это было ему нужно.

Кто-то с возмущением пишет о Бабеле (и про Осю Брика тоже), что он охотно рассказывал кровавые байки... А ведь этим же занималась половина интеллигенции. Всеволод Иванов забавлял товарищей рассказами о том, как в Сибири во время гражданской войны накручивали вражьи кишки на телеграфный столб. И я знаю крупных литераторов (мог бы фамилии назвать), которых хлебом не корми — позволь им попотчевать друг друга такими историями. Плюс — подробностями из своей и чужой личной жизни.

Разве мы можем сказать, что Бабель был энкаведешник? Нет, конечно. Что касается Осипа Брика, то недавно вышел том документов под названием «Лубянка». Выясняется: Брика выгнали из органов (чем он там занимался, черт его знает), потому что он им в итоге не подошел...

На эту тему как-то высказался Стасов: «Такая, — говорит, — наша несчастная русская культура, что вся она повязана с голубыми мундирами». То есть с

жандармами. И там у него тоже идет длинный-длинный-длинный список людей, которые так или иначе (то ли по дружбе, то ли по родству, то ли еще как) были связаны с органами сыска.

— Но вы все же мне не ответили, за что так любили Лилю Брик «аэропортовские идиоты»? Я помню, да же мои дорогие родители (мне было лет пятнадцать, когда мы втроем сидели в гостях у вдовы Всеволода Иванова, а Лиля Брик царила, будто она не меньше чем Ахматова) — робели и смотрели снизу вверх на нее.

— Скажу. Когда я с ней разговаривал, то у меня была полная уверенность в том, что главный человек в ее жизни в этот момент — я. Такая от нее исходила заинтересованность. И полная как бы готовность сделать для собеседника все что можно и чего нельзя. Полный восторг был с ее стороны...

— Вы с ней много беседовали?

— Не так чтобы... С Ахматовой я чаще встречался. С Лилей Брик было несколько довольно плотных встреч, которые мне очень в тот момент (а я уже подал на выезд) помогли. Я был в полной изоляции, а она ничего не боялась. У нее были соответствующие связи...

Тут мы подходим к тому, что очень многие крупные люди, о которых я писал или пишу, работали, как выясняется теперь, на два лагеря. А может быть, на три. И ты вдруг начинаешь понимать, что иначе нельзя, что — чтобы быть полезным одному лагерю, — ты должен что-то этому лагерю принести из другого лагеря.

— Но ведь это получается, как говорят в народе, *а морально, нет?*

— Это давало им ощущение причастности к большой игре и азарта, который очень их подпитывал. А в крови этих людей был азарт и авантюризм... Я не мог бы быть Лютовым. Я не мог бы зарубить гуся. Но, наверное, Бабель, судя по всему, зарубил...

— *А потом его зарубили!*

— Я не разделяю злорадства, условно говоря, Кожина—Шафаревича, что он, мол, позднее получил по заслугам. Нет. Он не получил по заслугам. И тут мы входим в сложную сферу. Если меня на улице ограбит и избьет человек и этого человека арестуют, буду ли я благодарен тому, кто арестовал и посадил в тюрьму того, кто на меня напал? Наверное, да. Потому что у меня не хватило бы моральных и физических сил, чтобы обидчика взять и куда-то повести... Я всю свою жизнь стремился избежать ситуации, когда придется кого-то подвести под монастырь...

Сейчас говорят: о бедное российское крестьянство! Его Сталин и те, кто с ним сотрудничал, dokonали... А что делал Платонов как боец ЧОНа? Ходил и зерно конфисковывал. И Бабель, наверное, в этой же области подвизался... А о чем шла речь? О том, что крестьянин не хотел отдать этот хлеб... Речь шла о борьбе за жизнь.

— *Но у Лили Брик о чем шла речь или у Эренбурга — когда они «сотрудничали»?*

— Каждый из них был представителем своей интеллектуальной группы, своего клана. И они боролись за интересы этого клана и за свои тоже. И так поступали в меру своих способностей все — и Лиля Брик, и Эренбург, и замечательный поэт Клюев, и замечательный поэт Есенин, и замечательный поэт Маяковский.

— *А мне по вашей последней книге кажется, что вы Маяковского очень не любите в глубине души.*

— Нет. Очень люблю. Считаю его незаурядной фигурой.

— *А вот в книге, хотя вы автор добрый и у вас практически не бывает злодеев, Маяковский — единственный, по отношению к кому проскальзывают ноты раздражения.*

— Я скажу, в чем дело. В данном случае мой основной герой — Шостакович. И считаю, что для него «модель Маяковского» была соблазном, и она его во многом столкнула с пути истинного, как и многих других людей в свое время...

Но когда я начинаю просто читать стихи Маяковского, то побеждает лирическая стихия. Для меня Маяковский в первую очередь — лирик.

Он занялся делом (что называется «производственным искусством»), к которому мое отношение с годами изменилось. Был период, когда я к «производственному искусству» относился скептически. «Нигде кроме как в Моссельпроме» — это стихи, что ли? Но потом тут состоялась огромная выставка Родченко, которая перевернула мое восприятие.

Когда я с этим столкнулся в натуральную величину, то я понял, почему все эти люди поехали на Беломорканал. Потому что они думали, что перед ними происходит перековка социально вредного слоя...

— *Поясните.*

— О чем написал Зошенко? О том, как вор свои навыки переводит на строительство, на позитив... Вообще, мы забываем, что то был невероятный социальный эксперимент, равного которому немного было в истории человечества. Теперь нам ясно, что этот эксперимент принес миллионы жертв, горе, страдания и провалился. Но перенесите себя на их место и в то время, когда есть огромный шанс, что эксперимент осуществится... И когда приезжают такие люди, как Ромен Роллан или Андре Жид, и говорят: «Да. Мы — загнивающий Запад, у нас все уже провалилось, а у вас...» А?

Станиславского никто не обвинит, что он сотрудничал с органами. У него был репрессирован племянник. Он возвращается из Германии и говорит: «Гитлер, подлец, зарубил весь театр». Станиславскому предлагали остаться в Германии. Мейерхольду



предлагали остаться за границей. Значит, перед ними — выбор. Ни один из них на том Западе, где они были, не видел возможности для своей художественной реализации. И для своих эстетических и этических идей. А тут был хороший шанс, что нечто из этой грязи, бардака, жестокости получится и что народ перевоспитается.

У каждого класса своя идеология. На сегодняшний момент... У меня стоит дома книга Олега Платонова — она только что издана (в редсовет входит, между прочим, и Лев Аннинский), и там говорится, что Сталин правильно уничтожил всех еврейских большевиков в 30-е годы, что у них был заговор — уничтожить российское крестьянство. А я скажу так: была, что называется, классовая война, в которой если бы победило крестьянство, то оно бы уничтожило всю интеллигенцию даже и не задумываясь. А интеллигенция боролась за свое существование, за свое выживание.

— *Ух ты! А чего же интеллигенция тогда хотела, чтобы «просветившееся крестьянство» (все наши обкомы потом из него, недопросветившегося, состояли) ее любило?*

— Она хотела, чтобы эти люди перевоспитались и урбанизировались. Это, кстати, была идеология и Горького. История русского гуманизма — процесс. И процесс социально обусловленный... Лев Толстой мог себе позволить быть гуманистом определенного сорта... Есть замечательный эпизод: приходит к ним с Софьей Андреевной композитор Танеев, и она ему говорит: «А чего вы не протестуете против безобразия — студентов разогнали?» Он отвечает: «Боюсь арестуют». А она: «Вот мы со Львом Николаичем протестуем — и нас не арестовывают». И Танеев говорит: «Как же, арестуешь вас со Львом Николаевичем!» *(Смеется.)*

Толстой точно знал, что его пальцем не тронут...

Другое дело — Горький. У Горького был уже совершенно иной стиль гуманизма и разговора с властью, хотя он тоже не боялся, что его Ленин или Сталин арестуют. Тут главное, что Горький, который великим усилием вышел из босяков на вершину мировой культуры, мог разговаривать на равных с самим Роменом Ролланом... О-о-о... И со Стефаном Цвейгом... О-о-о...

Ишь куда занесло, на совершенно другой уровень!

А теперь возьмем отношение Горького к Толстому. Есть книга Федина «Горький среди нас» и там — эпизод. Мне было приятно: я это сначала почувствовал сам, интуитивно, а потом нашел подтверждение у Федина. Горький говорит: «Не след бы ему (то есть Толстому) меня задирать, потому что он — черт, а я — младенец еще...» Федин пишет: «Младенец еще — вот где гордыня прорвалась!» Е щ е. Он, Горький, тут уже с Толстым силами меряется: был, дескать, граф такой, дурак, ничего в народе не понимал, а я сам из народа вышел и лучше понимаю...

Нельзя сказать, что Толстой желал России добра, а Горький желал России зла. Горький тоже желал России добра. И Солженицын желает России добра. Но каждый на свой лад...

— Ну, вы прямо-таки как горьковский Лука!

— «На дне» — лучшее произведение Горького. Величайшее.

...Если человека жизнь выводит на тот уровень, где он начинает радеть о счастье человечества (чего я не делаю), то он это осуществляет в соответствии с реальной ситуацией. А мы пытаемся наши абстрактные нормы, взятые неведь откуда, на этих людей накладывать. Они-то на месте пытались сделать лучше для страны — и нужно было каждый день сообщать.

Как я пишу в этой книге о Шостаковиче: «Даже Сталин не родился сталинистом».

— *Удивительная фраза в стиле Розанова, я ее даже специально, читая вашу книжку, выписала... Вопрос: что же сделало Сталина сталинистом?*

— Сталин стал сталинистом, решив, что счастья для Советского Союза можно добиться только его, сталинскими, методами.

Он так решил...

Я, повторяю, многие вещи начал понимать по-настоящему только после перестройки. До того вся политика творилась абсолютно за закрытыми дверьми. Сейчас она тоже за закрытыми дверьми творится, но ты все же видишь день за днем эти маленькие зигзаги... Я, глядя на Ельцина и Путина, гораздо больше понял, как работал мозг Сталина, чем из всех книг вместе взятых. Потому что я вижу, как трудно политику принимать решения каждый данный день, когда на него вдруг обрушиваются совсем не ожидаемые события...

Вот я смотрю по телевизору на Путина, и он очень суровым голосом говорит очень правильные вещи. И параллельно нам показывают лица министров. А на лицах министров...

— *Тупость?*

— Не-е-ет... В том-то и дело, что не тупость, а величайшая умность. Потому что они говорят про себя: «Мели, мели, Емеля. А мы тебя послушаем...» (Сергея Довлатов в таких случаях говорил: «Записываем ногтем по бумаге».) Они делают вид, что записывают, а сами думают: «Ты говори-говори, а мне дело делать, и я его буду делать по-своему». А у министра — начальники подведомств... А когда дело дойдет до того милиционера, который будет останавливать твою машину и брать или не брать взятку, то это уже — нижний уровень... И от Путина до милиционера — дистанция огромного размера.

А теперь вообразите себе Сталина, который хочет что-то такое сделать. И в некий момент он понима-

ет, что это можно сделать только жестокостью, только террором. А дальше возникает вопрос: стоит ли счастье человечества слезинки замученного ребенка или не стоит? Стоит ли все это подобных жертв или не стоит? Тут Сталин должен был сесть и для себя решить. И он решил. Он решил, что стоит.

Вот и Горбачев в какой-то момент решал: стоит ему вводить танки в Восточную Германию и давить там народ или не стоит? И он решил: нет, не стоит. В результате его во многих книгах сейчас иначе как «великим предателем» не называют.

Люди недовольны и так и этак.

В какой-то момент политик (как, между прочим, и любой человек) понимает, что он один. Что он абсолютно одинок. И что решение (то, что моя мама называла «я-ворт», то есть «да» на идиш, на котором говорили у нас дома) принимать тебе. Последнее слово «да» должно исходить от тебя.

У президента Трумена на столе стояла табличка с надписью: «Доллар останавливается здесь».

Сталину досталась абсолютно невозможная страна, и он должен был в отсутствии Ленина, которого он, кстати, весьма уважал, решать, что с этой страной делать. Никаких рецептов не было. И видно, когда вникаешь в ситуацию, как этот человек маневрировал, как он пытался опереться то на большинство, то на группу людей и как нужна ему была в какой-то момент интеллигенция. И как потом он понял, что не нужна она ему совсем.

— Почему?

— Он в ней разочаровался.

— *А вам не кажется, что он ревновал и завидовал, поскольку сам был несостоявшийся поэт? Творческая интеллигенция его могла раздражать своими амбициями.*

— Не думаю, что у него остались поэтические амбиции. Если бы остались, он бы потом свои стихи

издал, как это сделал Мао. Мне недавно одна умная женщина (мы с ней в Москве разговаривали по телефону) говорит про Сталина: «Неужели ты думаешь, что он хоть что-то мог написать сам?» А я ей говорю: «Да он тринадцать томов написал!»

Я, конечно, все это не так, как Рыбаков, проштудировал (Анатолий Наумыч Сталина знал насквозь), но прочесть прочел досконально. Нужно привыкнуть к сталинскому стилю с безусловными шероховатостями...

— *А знаете, некоторые писатели даже впадали в подражание этому стилю — например, Алексей Толстой.*

— Потому что знали, для кого пишут, кто будет первый читатель. Но стиль Сталина был, безусловно, эффективный, и когда ты текст прочитываешь — ты четко понимаешь, что человек хотел сказать.

— *Ой, пока не забыла: Сталин, по вашему мнению, был антисемитом?*

— Нет. Он был прагматиком. Кстати. Говорили, что Мравинский не стал дирижировать Тринадцатой симфонией Шостаковича, потому что было в нем якобы антисемитское начало. Я сделал запрос человеку, который очень хорошо его знал (его оркестранту), был ли Мравинский антисемитом.

И получил замечательный ответ: «Нет, он не был антисемитом — он одинаково ненавидел все человечество».

Это — сущность и Сталина. Если он считал, что в данный момент опасность для него представляют грузины, — значит, грузин будет уничтожать. А армяне — армян. У него не было личных фобий ни к какой нации и ни к какому социальному классу. На каждом очередном этапе для Сталина было главное — остаться у власти и продолжать осуществлять свой долгосрочный курс... Он был идеальным политиком и безусловным фанатиком идеи.

— *Какой же идеи?*

— Идеи построения коммунизма. Вне сомнения. И он считал, что эта идея сработает. А каким путем — это он брал на свою душу и, умирая, конечно, был уверен, что выстроил великое и мощное государство и что в недалеком времени русский язык будет международным. Потому он и занялся языкознанием.

Он полагал, что победа за нами...

— *Так значит, он не был гений. Был бы гений, то просчитал бы, какой потом будет исторический откат.*

— Он был гений. Потому что выстроенное им оружие простояло после его смерти еще сорок лет. Все придуманные им формы советской власти простояли потом четыре десятилетия как миленькие. Если бы Горбачев не открыл ворота, они бы, может быть, еще сорок лет простояли. Хотя подгнивали, подгнивали, подгнивали...

— *Соломон, вы чего — сталинист?*

— Я не сталинист, но меня эта фигура (повторяю американское слово) fasciniрует. Привлекает, занимает... Вне всякого сомнения. Мне кажется, что я понимаю логику его решений. И мне это очень интересно. И мне особенно интересно разбираться в деталях его взаимоотношений с деятелями культуры. Я эмоционально и психологически подставляю себя не на его, естественно, а на их место...

Меня вообще чрезвычайно интересуют взаимоотношения творческих людей с властью. Включая Пушкина с Николаем.

— *Вы в новой книге выступаете и как пушкинист. Особенно интересен анализ «Бориса Годунова», где вы разбираете, вслед за Пушкиным, три миссии любого художника — самозванец, юродивый и летописец... Одна миссия обычно преобладает над другими. Это ваше личное открытие?*

— У всех у нас Пушкин в голове — с детства. Мы все, как наркоманы, «на пушкинской игле». А к «Бо-

рису Годунову» я пришел через Шостаковича, который эту вещь поднял на совершенно новую, свою высоту.

Что касается означенной пушкинской триады (самозванец — юродивый — летописец), то я придумал ее сам, но я очень боюсь, что вдруг кто-нибудь где-нибудь это уже сказал... Только из-за подобной боязни я не написал, что это мое персональное открытие. Не хочу выглядеть как дурак. Но эмоционально идея — абсолютно моя.

Я не специалист по Пушкину, но очень много по нему читал — у меня дома несколько полок заполнено пушкинистикой... А правда: к кому из поэтов эту парадигму ни приложи — работает. Да, Таня?

— *Работает. А кто тогда был Бродский, по-вашему?*

— Замечательный вопрос. Могу сказать...

— *Не без samozванства?*

— О да! Ведь самозванец для меня — человек, который, будучи творческой фигурой, тем не менее принимает еще и участие в общественной деятельности. В тот момент, когда ты выходишь на трибуну, — всё! Но был в нем и элемент юродивости. И, конечно же, он, Бродский, ощущал себя летописцем... Для меня остался незабываемым разговор с Бродским, когда я ему сказал (и ему это страшно понравилось): «А ведь стихотворение о Жукове надо было в “Правде” напечатать...» Державное стихотворение...

Бродский во многом ощущал себя великодержавным поэтом. У него есть неопубликованное антиукраинское стихотворение...

— *А почему не опубликовано?*

— Боятся наследники до сих пор.

— *Чего боятся?*

— Боятся, что пристанут... А ведь сильнейшее стихотворение.

— *Соломон, в вашей книжке упоминается, что вы бывали у Шкловского. Какое он оставил впечатление?*

— Про него хорошо Пастернак сказал (я недавно прочел и полностью подписываюсь): «Шкловский похож на песочные часы: все замечательно, но непонятно, который час».

У меня сейчас отношение к литературе, которую я читаю, довольно-таки прагматичное: я хочу читать только то, что я могу использовать для работы. Из Горького трудно подобрать цитату, он часто сам не знал, что хочет сказать... Очень трудно подобрать цитату из Сталина: коряво... Невероятно трудно найти цитату из Ленина: очень сырое все...

Со Шкловским другое: человек мыслил афоризмами, но ни один из них никуда не лезет. Не нужно.

— *Я у него только одну фразу помню из «Зоо», финальную: «Верен любви — люблю другую».*

— Замечательно. А запомнил я его таким старым человечком, которого теперь уже хорошо понимаю. У него было не много энергии, и вся она — остатки — была направлена только на творчество. Это очень теперь мне близко.

Никогда не забуду, как пришел однажды к нему и говорю: «Вот у вас там, Виктор Борисович, в “Эйзенштейне” написано, что Шаляпин пел теноровую арию. Он много вещей мог делать, но петь тенором — вряд ли». Шкловский на меня зыркнул, мигом все уловил и в следующем издании исправил. То есть на что надо — мгновенная была реакция. И когда я с ним прощался, он всегда говорил: «Спасибо, что не задержались».

— *Тоже ведь афоризм.*

— Да. Я его старался не утомлять и спрашивал лишь по делу... Он уже занимался в основном только перелицовкой старых текстов.

Я считаю, что «Зоо» и «Сентиментальное путешествие» — это, конечно, классика. А его формалистские завиральные идеи, которыми он в юности гордился, на сегодняшний день уже не интересны... Я когда



сюда приехал, формалисты были в большой моде и присутствовали здесь во всех справочниках.

— *А сейчас уже нет?*

— Нет. Мода — вещь очень жестокая. Как маятник. Теперь везде — Бахтин. Самые модные справочники по культурологии включают Бахтина, а лет двадцать пять они его близко к себе не подпускали. А формалистам — от ворот. Их никак нельзя использовать: это больше неприложимо.

— *Остался от Шкловского один только термин «остранение»... Соломон, а вы ведь знали знаменитую пианистку Юдину? Расскажите-ка мне о ней.*

— Да-а-а... Знал. Она была точно юродивая и немного самозванка в искусстве... (По Пушкину.) Великая личность.

Теперь, на старости-то лет, я понимаю, какой я был дурак! Все открыли рот: Мария Вениаминовна ходит... молится... читает запрещенных поэтов... А на самом деле все смельчаки, как мы позднее говорили с Бродским, кидали камнями в разрешенном направлении... В большей или меньшей степени.

— *Как вы относитесь к православию евреев — в частности, экзальтированному, как у Юдиной?*

— Я когда к ней пришел, она с первого момента стала вести меня к православию. Я первый раз у нее просидел пять часов — и к концу все уже было решено. Я уже туда был введен. Вопрос только обсуждался о том, как моего отца в это посвятить... А со мной самим ей было все ясно!

— *Вы действительно согласились перейти в православие?*

— Не-е-ет. Меня никто и не спрашивал. Она говорила-говорила-говорила, а я сидел — и всё.

— *А сама Юдина рано в православие перешла?*

— Очень рано. Хотя была классическая еврейка по всем статьям.

— *Соломон, вы не знали такого Толю Кузнецова?*

— Как же я не знал Толю Кузнецова! Как можно было знать Юдину и не знать Толю Кузнецова? Если увидите — передайте привет. Мы с ним до отъезда общались в связи с Юдиной... Свое дело он делает прекрасно: если бы не он, то никто бы Юдиной не занимался.

А она меня очень интересовала. Я с ней сделал единственную опубликованную беседу. Она была напечатана сразу после ее смерти в некоем сборничке, а затем Толя выпустил другой сборник, когда я был уже здесь, включил туда беседу и не указал моего имени, естественно, по понятным соображениям. Но не так давно выпустил расширенный вариант со всеми уже религиозными делами... В нашей беседе она в сжатой форме излагает свое мировоззрение...

— *Это было ваше первое — после подросткового интервью с Вознесенским — посвящение в беседу как жанр?*

— Да. Я тогда понял, что делаю некий вклад в историю культуры. У меня тут хамское самомнение — я считаю, что я нашел нишу, где я...

— *Первый парень, да?*

— Да. И это меня греет. А сколько раз оно меня спасало от плохих моментов психологически! Оно — ощущение, что в данной области у меня конкурентов нет и быть не может по простой причине: никогда уже больше не будет человека, которому бы так невероятно повезло — сделать беседы с Шостаковичем, Баланчиным, Бродским и еще парочкой-другой гениев. Уже просто нет таких гениев в живых. А понял я, что делаю что-то важное для истории, да, когда напечатал впервые беседу с Юдиной...

— *И все-таки вы не ответили (хотя я уже просекла, что вы вообще не максималист и ничему не даете категоричных оценок): как вы относитесь к иудейско-му православию? Нет ли тут предательства национального корня?*

— У меня дома жена моя, она как бы выполняет роль морального стержня (которую Нина Васильевна выполняла для Шостаковича)... Помните такой анекдот, где в семье жена решает неважные вопросы, а муж решает важные... А у нас в семье жена решает в с е вопросы, и неважные и важные. Например, она решила, что у нас не будет детей, — и всё.

Марьяша — агностик. А я должен признаться, что я — человек слабый. И если бы я женился на особе религиозной, то — сами понимаете! Но поскольку она занимает позицию полного неприятия всего этого дела (впрочем, без агрессивности), и я — туда же.

— *Но и вы, и ваша жена можете дружить и с католиком, и с хасидом, да?*

— У нас дома выработалось к религии общее отношение. Жена иногда говорит: «Как он, Икс или Игрек (люди вам, Таня, известные), может называть себя христианином?» А я ей отвечаю: «А ты представляешь, каким он был бы, если бы не был христианином? Как бы он по трупам шагал... А это его сдерживает».

— *Я знаю столько христиан, которые вовсю прелюбодействовали, и были обжорами, и так далее, но рассуждали следующим образом: а вот я исповедуюсь, да покаюсь, да помолюсь... И все будет хорошо!*

— Люди любят говорить, например, так: комендант Освенцима — разве ему помогло то, что он любил Бетховена? А я говорю: «Может быть, если бы он не любил Бетховена, то он был бы много хуже. Может, он бы гвозди вгонял людям под ногти? А так его Бетховен останавливал!»

— *Вы — потрясающий человек. Вы очень наблюдательны, но не категоричны и ничему не выносите вердикты.*

— Я стараюсь. Я раньше никогда не думал, что стану подобен Луке...

— *Да, вы — не устаю удивляться — абсолютный Лука.*

— А что? Лука был амбивалентный, но и в Горьком была эта амбивалентность. Он сам никак не мог решить, Лука он или нет. Это была проблема его, Горького, размышлений...

Моя же «позиция Луки» дает мне возможность (мне так кажется) иметь — на фоне абсолютной заполитизированности в Америке — более объективную позицию.

— *Да-а-а... Примыкая к крайности, ты выглядишь принципиальнее, но правда в полном объеме от тебя уходит... Давайте, Соломон, обсудим вопрос попроще: почему ваша последняя книга вышла в «Эксмо»? Вас кто-то свел?*

— Нет. Я ведь продаю мировые права американцам. Эта книжка сначала вышла в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, в Англии, в Германии, сейчас должна выйти во Франции, в Италии и прочее.

— *А написана она когда?*

— Кончил я ее в позапрошлом году. Мои отношения с американцами простые и меня в итоге устраивают. Они заключаются в том, что я нахожу издательство и пишу заявку...

Я, как вы знаете, привез сюда, в Америку, книгу мемуаров Шостаковича. Она вышла в свет на двадцати языках кроме русского. С этого все началось. И это дало мне ход в лучшие американские издательства, что очень важно, и помогло мне обойтись в итоге без литературного агента здесь. Я пытался несколько раз иметь дело с агентом, но каждый раз выяснял, что сначала нужно все объяснить агенту, а он потом будет все переобъяснять издателям... Я могу попытаться сам убедить издателя.

— *То есть быть сам себе агентом!*

— Да. Пока счастье моей американской жизни заключается в том, что мне это здесь удавалось — находить на каждый мой последующий проект издателя, который покупал у меня права на тему и платил

мне аванс, который мне давал возможность работать. У меня в среднем на книгу уходит пять лет, а живу я полностью на эти деньги.

— *Вы нигде не служите?*

— Нет. Деятельность моя на радио «Свобода» — скорее общественная. Что-то они платят, конечно... У меня три шоу в месяц. Я делаю их с Александром Генисом. Но по американским финансовым обстоятельствам мне бы этого не хватило на табак... Для меня это — удовольствие. Три постоянные рубрики в рамках передачи «Американский час с Александром Генисом». Одна называется «Картинки с выставки» — половину рассказывает Генис: на какой он был выставке художественной, — а я предлагаю музыку по теме. Потом — «Музыкальный альманах (новости музыкальной жизни Нью-Йорка)». Третья рубрика называется «Музыкальное приношение» — это новинки в области звукозаписи... Я все время натываюсь на людей, которые даже и книг моих не читали, а по «Свободе» слушают.

— *Если с птичьего полета, то вы себя кем скорее считаете — музыковедом или специалистом по литературе?*

— Я совсем себя не считаю специалистом по литературе. Есть в России такое наименование «культуролог», а тут это называется «культурный критик». Напомню: сфера, где я дебютировал, — разговоры. В России она как профессия вообще отсутствует...

Кстати, я проследил, как это дело — разговоры — перестало быть профессией опять же благодаря персональному решению Сталина.

— *Да, был в 30-е годы такой Кабинет мемуаров... Там работали молодые писатели (и мой папа тоже), их называли «беседчики». Они ездили по стране со стенографистками и «раскалывали» в беседах «бывалых людей» — инженеров, изобретателей, заводчан... Когда начался террор, Кабинет мемуаров аннулировали, а архив — очень ценный для истории науки — сожгли...*

— Знаю, знаю... Здесь на Западе есть «культура знаменитостей» как специальный раздел. Огромное число знаменитостей выпускает книги — сейчас это и в России нахлынуло. Все звезды и звездочки спешат написать о себе — вернее, кто-то за них, как правило, пишет... Как говорил Лесков, «как наложено, так и заморожено».

Но есть на Западе и высокие образцы этого жанра. Для меня образцом являются, конечно, разговоры Роберта Крафта со Стравинским. Я уже здесь имел возможность познакомиться с Крафтом и сказать ему, что он для меня был учителем. Ему восемьдесят лет. Наша встреча была для меня одним из незабываемых моментов в жизни.

Книжка Крафта о Стравинском вышла году в 72-м в России. Еще до того я обсуждал ее с Анной Андреевной Ахматовой... Книга еще не вышла в Союзе, а ей уже доставили по-английски, потому что там речь шла о некоторых ее знакомых — о Городецком, о Верре Артуровне Судейкиной (Стравинской)... И это все ее очень волновало.

— *А входят ли в образцы этого жанра книга Лидии Корнеевны Чуковской об Ахматовой?*

— Безусловно. Но там Лидии Корнеевны — больше, чем то, как я это понимаю. Я стараюсь себя убирать полностью.

— *Почему? Не сказала бы. В беседах с Бродским вы часто — на равных, даже количественно. Например, в разговоре о Заболоцком вы Иосифа очень даже перебиваете и очень даже с ним не соглашаетесь... Другое дело, что Лидия Корнеевна — вообще предельная максималистка. Встреться она с папой римским, она бы и его стала учить вере.*

*Но вернемся к вашим издательским делам в России.*

— Пока я был отщепенец, ни о каком российском издательстве речи, естественно, не шло, а когда ситуация изменилась, то в числе прочих — румынских,

польских и венгерских — возможностей появилась и возможность издать мои книги в России. Тем более, что они все писались изначально по-русски.

Недавно они, «Эксмо», дали знать, что хотят издать мой четырехтомник. Сейчас вышла эта книга — Шостакович и Сталин. Потом переиздадут историю культуры Петербурга. Потом — Бродского, потом — Баланчина.

— *А что у вас происходит с беседами, которые вы вели с Анатолием Наумовичем Рыбаковым? Я часть читала в журнале «Дружба народов» — весьма интересно. Книгой все это издать не собираетесь?*

— Не знаю... Я лет, наверно, пять назад нашел листок, на котором я, наверно, лет пятнадцать тому назад (или, может, двадцать) набросал план того, что я хочу сделать.

И забыл об этом листке. Нашел и понял, что неуклонно его осуществлял. Я планировал, что после книги о Баланчине будут разговоры с Бродским. Они растянулись, и прервала их смерть Иосифа — стало ясно, что глава о поездке в Петербург не сможет быть записана. Книга о Петербурге в моем плане называлась «Петербургжцы»: планировалось — Ахматова, Шостакович, Баланчин, — и даже Бродского не было сначала... Потом вышел «Петербург», а не «Петербургжцы», но получилась замысленная книга, потому что остались эти самые столпы...

Я делаю книгу в пять лет. Мне — шестьдесят.

— *Шестьдесят? Ну, значит, еще минимум четыре рабочие пятилетки впереди.*

— Да. Максимум — четыре книги. А у меня их, наверно, десяток в голове. Вот почему я уже не соглашаюсь на новые вещи. Дай Бог (если Бог даст, или судьба, или гены мои) сделать что есть.

— *Ну, раз вы совсем бросили пить, у вас и времени и энергии стало больше.*

— В этом я не уверен. Я спасаю печень, но зато для психики хуже.

— *Совсем не пить трудно — как снимать тоску или стресс?*

— Марьяша без этого совсем не может. Она говорит: «Я должна сбить фокус». Причем она делает это с утра. Мы оба делали это с утра, пока и я пил.

А сколько я проживу? Этого никто не знает. Предсказания не очень радостные. Вот... Мне ни долголетия, ни счастья никогда не предсказывали. Я — при всем при том, что Лука, — пессимист. И я и Марьяша (поэтому мы и пили сильно) всегда ожидали каждый день удара. Он вроде бы не наступал. И только когда я расслаблялся и переставал ожидать от жизни самого худшего, следовал настоящий удар. С регулярностью невероятной.

— *Со стороны же кажется, что вы очень позитивный и организованный человек...*

— Я стараюсь. Но на самом деле мы с Марьяшей оба — жуткие слабаки. И по-хорошему завидуем сильным людям. Совсем небольшая жизненная загодовка способна и ее и меня вышибить из колеи.

— *Это в психиатрии называется «травматическое сознание». У тебя 90 процентов может быть хорошего, но — одна обида, и ты заикливаешься на ней.*

— Такой Довлатов был. Я не был в числе его ближайших друзей (для этого надо было на другой шкале зашибать), но... Марьяна же с ним сделала книгу.

— *Как же! Она у меня есть — настольная книга. «Не только Бродский» — фотопортреты работы Марианны Волковой и байки Довлатова.*

— Это тоже начало жанра. Такого раньше не было в России. Она к нему очень долго приставала, что она сделает фотографии, а он — подписи к ним... Он обещал, но ускользал.

И вот идем мы по Бродвею. Лето. Жарко как сейчас. И вдруг — солнце перестает бить в глаза. Мы



поднимаем головы — о, счастье! Это Довлатов солнце заслонил — такой он высокий.

Заслонил солнце и говорит: «Здорово». И вдруг — обращаясь к Марьяне: «Ну, давай делать книгу».

И всё. И тогда мы стали гораздо чаще встречаться.

— *Довлатов тоже заикливался на неприятностях?*

— Другого такого невротика я не встречал. Он способен был из любой самой счастливой ситуации устроить полное самоедство, потому что где-то ему показалось, что его обидели. Или не так посмотрели. Ужас, ужас. А ведь здоровый, красивый, пользовался огромным успехом...

— *Откуда это в нем?*

— Страшная неуверенность в себе. Оно и заливалось алкоголем...

Почему он уходил в эти запои? У него была примета, что когда он выйдет из запоя (он сам себя в них и вгонял), то все уладится. Раз — и неприятности ушли!

— *Да-да-да... О другом: Соломон, у вас есть свой архив (наверное, потрясающий)?*

— У меня квартира малюсенькая и вся заставленная книгами. Архив лежит пачками и стопками.

— *А как вы находите нужное?*

— Всё в голове. Вместо компьютера. Голова пока работает. Все спрашивают: «Как ты обходишься без компьютера?» А я считаю, что компьютер только возвращает. Тебе кажется, что все можно узнать из компьютера, и я — когда мне действительно что-то нужно, — прошу у знакомого: «Пожалуйста, узнай конкретно». Но никогда ни один человек ничего конкретного мне из компьютера не узнавал. Как правило, этой-то как раз информации в интернете нет.

— *У вас есть дома энциклопедии?*

— За почти 30 лет, что я тут живу, у меня постепенно комплектуется нужная библиотека (причем я сравнительно недавно дошел до кошунства: я теперь

ненужные книги выкидываю). Выстроилась библиотека, в которой каждая книга служит какой-то цели. И те четыре-пять (максимум) проектов, которые я еще смогу осуществить в своей жизни, — я под них библиотеку и выстраиваю и подчищаю.

Если бы мне сейчас сказали по любому из проектов: «Соломон, ты больше вообще не сможешь выйти из дому и получить дополнительную информацию», — то я смогу написать книгу, не выходя из дому (ни в библиотеку, ни в архивы) и используя те книги, источники, материалы, которые у меня — дома.

Смогу. Смогу. Лучше, конечно, если будет новая информация, но выяснилось, что с этим обилием новой информации часто неправильно обходятся. Не всегда это сверхобилие — к пользе. Люди в ней тонут. На сегодняшний день информации слишком много (и все равно недостаточно) — и все равно нужен твой отбор и твоя позиция.

Я не собираюсь стать специалистом по, условно говоря, Ирине Денежкиной. Все мои темы — в контексте сталинской или постсталинской культуры. Что называется, «советская культура».

У нас с вами есть бесценное достоинство: мы жили в это время!

— *Точно.*

— Сейчас ко мне стали обращаться американские специалисты по Шостаковичу. Молодые. За консультацией. И я вдруг вижу (что наполняет меня некоторым ужасом): вот человек — он проработал всю литературу, но от того, что он не знал этих людей, он не понимает их настоящих мотивов. Он вынужден оперировать только опубликованным или архивным текстом. А я-то этих людей знал и знал их незафиксированные мотивы.

Мотивы... Мотивы... Почему человек в данный момент именно так выступил? Что он при этом имел в виду? Какой он хотел цели достичь? Почему он на

этом этапе объединился, условно говоря, со Свиридовым, а на другом этапе с Шостаковичем, а на третьем этапе с Хренниковым...

Это все непонятно, если не знать скрытых мотивов и если не ощущать личных симпатий и антипатий.

— *Потом вы ведь не только с основным героем как правило говорили — вы и вокруг многое прощупывали...*

— Вот именно. Я же знаю ситуацию. Сначала я жил в Питере и бывал у людей этого круга. Потом я переехал в Москву, нашел журнал «Советская музыка»... Между прочим, прописаться в Москве мне помог Тихон Николаич Хренников... О, знал бы он!

Ну да ладно. Переехал я в Москву. Шостакович жил в том же самом доме, где журнал расположен. На Огарева. Я когда в Москве был после долгого перерыва (в Питер-то я из Америки и раньше наведывался), то понял — всё, абзац... Нет уже журнала «Советская музыка», нет ничего.

А раньше я приходил к себе в редакцию (я там был старший редактор), и Шостакович мне звонил утром, часов в десять: «Соломон Моисеевич? Говорит Шостакович Дмитрий Дмитриевич». Он всегда так аккуратно представлялся, чтобы не было никаких недоразумений, потому что — давным-давно, в юности, наверное, некое унижение было... Кто-то не узнал... «Не могли бы вы ко мне зайти?»

Ха-ха-ха! Не мог бы я?.. Да я тут же все бросал и сломя голову бежал в другой подъезд. Несколько этажей вверх — и я у него.

— *А когда-нибудь эта знаменитая книга ваших бесед с Шостаковичем выйдет нормально и в полном объеме по-русски?*

— Конечно, выйдет.

# АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ

Я — РУССКИЙ ПОЭТ С ЕВРЕЙСКОЙ КРОВЬЮ...

— *Добрый день, Александр Моисеевич... Алик, привет! У тебя только что вышла книжка «Снег» — стихотворное избранное, разбитое на хронологические главы, которые прослоены твоими мемуарами и высказываниями о тебе историка Эйдельмана, художника Жутовского, поэта Новеллы Матвеевой. Как получилось, что тобой заинтересовалось издательство «У-Фактория»?*

— Они вообще интересуются авторской песней как жанром. В 2002-м выпустили огромную антологию «Авторская песня», которую составил и снабдил комментариями Дмитрий Сухарев. Потом возникла соответствующая серия «Авторский вечер» — книга как выступление. Ким, Высоцкий, Галич, Окуджава, теперь я.

— *У тебя, кажется, не так давно выходила книжка в Израиле? Покажи.*

— Пожалуйста. «Атланты держат небо...» Издательство «Беседер». Предисловие Льва Анненского, где он поднимает интересную тему: еврейская кровь и русская культура. Концептуальная статья — не только меня лично касается...

— Ты много раз бывал в Израиле?

— У меня там сын и три внучки — старшей 16 лет. Мой сын от первого брака в 84-м году уехал в Израиль. Живет в Иерусалиме... Так что у меня с Израилем — родственные связи. Там я не раз выступал, дважды у меня выходили книжки. Первая — 95-го — называется «Остров Израиль».

— Ты, когда прилетаешь в Израиль, чувствуешь прилив особой энергии?

— Да, особенно остро это было в первый раз. Странное и очень сильное генетическое ощущение, которому посвящены мои стихи «Созвездие Рыбы», «Остров Израиль», «Иерусалим»: все они есть в последней книге.

— А сам ты что сейчас читаешь — что, как говорится, лежит на тумбочке?

— Случайно, будучи на отдыхе (нечего было читать), купил книжку Пелевина «Чапаев и Пустота», и она показалась мне очень интересной. Вообще я к постмодернизму отношусь, мягко говоря, с недоверием. Потому что там все держится на приеме. А я считаю, что прием в литературе вовсе недостаточен. Все футуристы — это Маяковский. Все имажинисты — это Есенин... Существует не прием, а реализованный поэт, как правило, о д и н. Хвалить метод или систему нельзя. Речь может идти только о талантливой реализации... И у Пелевина — талантливая реализация приема. Во всяком случае, на фоне тех сорока двух романов, которые мы с тобой прочитали в 2002 году, будучи членами жюри премии «Букер», — он белый человек на фоне дикарей. Мыслящий человек.

— А скажи честно: за кого ты болел тогда на Букере? Я так и недопоняла...

— Больше всех из шорт-листа мне нравился Александр Мелихов. Он потом подарил мне свои книжки, и я прочел его полней и внимательней. Он очень интересный прозаик и трезвый человек. Со своей

системой мышления. В частности, я имею в виду книгу «Исповедь еврея»: полукровка на уровне органически антисемитской семьи. Кстати, самые ярые антисемиты — это, как правило, полукровки. Начиная от Фета и кончая Жириновским. Я уж не говорю о Джугашвили...

— *Даже Сталин не без этого?*

— Что касается Сталина, то — не знаю, насколько серьезно, — но лет так двадцать тому назад в Бухаре (я там случайно оказался) те евреи, которые потом все выехали в Израиль и дальше, очень активно атаковали меня и доказывали, что Сталин был еврей. Почему? «Швили» в отличие от «дзе», «ва» и так далее — это суффикс, который дается только инородцам, так или иначе ассимилированным в Грузии. Не знаю, как дело обстоит с Гурамишвили и другими прочими знаменитыми грузинами, но я за что купил, за то продаю. Еще: «джуга» — по-грузински еврей. Таким образом, эта фамилия в переводе на русский означает «сын еврея». Или — жидович. Третье. Сапожники в Грузии были традиционно евреи. Это как у нас зубные врачи и гинекологи. А Виссарион Джугашвили был холодный сапожник. Такие три соображения.

— *И ты об этом написал поэму?*

— Нет, об этом я вскользь написал в книжке воспоминаний. Поэма — другое. Поэма касается родословной Петра Первого. Она посвящена версии, что Петр Первый тоже был частично еврей. Багратиды и Багратионы — две древнейшие династии, армянская и грузинская, — имеют, согласно преданию, еврейские корни. Они ведут свой род от царя Соломона...

— *Алик, какова этимология твоей фамилии, редкой и красивой? И вообще, поведай, пожалуйста, о своей родословной, а также о родителях и близкой родне.*

— Думаю, что ничего такого почетного у меня в еврейской родословной нет. Я знаю свой род не далее

дедушек и бабушек. По одной бабке, с отцовской стороны, я Липстер, по другой, с материнской — Фарфель, то есть тоже какой-то идишевский, немецкий корень. Что касается фамилии Городницкий, то она, я думаю, идет от названия местечка в Польше — Городницы. Это по линии отца. Фамилия, не имеющая отношения к этносу, а имеющая отношение к месту проживания. Дальше след теряется. Знаю только, что дед по отцовской линии был старостой в синагоге и был чудовищно набожным. Когда он молился, весь дом замирал... Все мои корни — из Могилева. Отец родился в Могилеве, мать родилась в Могилеве, и они там же познакомились, а потом переехали в Ленинград учиться и так далее. Была любовь, поженились, есть фотография 20-х годов...

— *На кого они учились?*

— Отец был инженер-полиграфист, мать — педагог, она окончила ленинградский пединститут имени А.И.Герцена. Потом поехала на Алтай. Отец каждый день писал ей письма. В начале 30-х годов они снова встретились в Ленинграде. Отец кончил фотокинотехникум. 20 марта 33-го года родился я на Васильевском острове. Я уже коренной ленинградец. Но корни мои все в белорусском еврействе. Отец отца, мой дед, прожил 84 года и пережил трех царей. Был крепкого здоровья. Умер, простудившись на чужой свадьбе, в 37-м году...

— *А что с тобой было во время войны?*

— Я вместе с родителями был в Питере, где нас захватила блокада. Вывезли нас в апреле 42-го года уже по ледовой трассе. В эвакуацию, в Омск, в Сибирь. Вообще, мы должны были ехать летом 41-го года, как всегда, под Могилев, но не было денег, и мы остались в Ленинграде. И это нас спасло. Потому что всех моих родственников, которые оказались в Могилеве, захватили немцы... Бабушка немцев не слишком боялась: она помнила немцев 18-го

года, которые относились к евреям очень лояльно. Вместе с несколькими тысячами других могилевских евреев она погибла в 42-м году. Рассказывали, что ее выдали белорусские соседи. В лагере уничтожения ее закопали полуживую в землю, не потрудившись потратить лишний патрон. Вот всё, что я знаю о своей родне и по материнской, и по отцовской линии: очень немного. Знаю еще, что у дедушки, который был долгожитель, была своя шорная мастерская.

— *Года два назад я была на твоём творческом вечере в Музее Герцена, где ты читал стихотворение о трагедии русского еврейства. Оно меня на слух потрясло. Помню общее впечатление. Не мог ли бы ты тут прочесть его снова?*

— У меня много стихов об этом. Может быть, такое? «Было трудно мне первое время/  
Пережить свой позор и испуг,  
/ Став евреем среди неевреев, —  
/ Не таким, как другие вокруг;  
/ Отлученным капризом природы/  
От мальчишеской шумной среды.  
/ Помню, в Омске в военные годы/  
Воробьев называли «жиды»...» Кончается оно так: «Только он мне единственный дорог,  
/ Представитель пернатых жидов,  
/ Что, чирикавая, пляшет «семь сорок»/  
На асфальте чужих городов». Стихотворение называется «Воробей», написано оно в 1996-м и впрямь всегда вызывает реакцию аудитории, когда я его читаю.

— *Наверное, мой следующий вопрос, приготовленный заранее, уже неуместен, но я его все-таки задам: кем ты себя сильнее ощущаешь — русским или евреем?*

— Я отвечаю. И снова, Таня, стихотворением, которое твой вопрос трактует дословно. Предваряю историей. Несколько лет назад наш общий друг, замечательный поэт Женя Рейн, мне сказал: «Саня, давай скорей стихи — тут собирается очень богатый сборник «Поэты-евреи о России», где и Бродский будет, и я, и Самойлов, и кто хочешь...» Я ответил: «Поду-



маю и позвоню». Потом позвонил и говорю: «Я не буду участвовать в этом сборнике, поскольку считаю унижительной и неверной саму исходную постановку вопроса. Я не «еврей, пишущий о России». Я — русский поэт с еврейской кровью. Я себя ощущаю так. И участвовать не буду...» Так вот, есть у меня еще одно стихотворение — об этом. Оно называется «Родство по слову» (написано в 99-м) — им заканчивается моя новая книжка «Снег». «Своим происхождением, не скрою,/ Горжусь и я, родителей любя,/ Но если слово разоидется с кровью,/ Я слово выбираю для себя./ И не отыщешь выхода иного,/ Какие возраженья ни готовь, —/ Родство по слову порождает слово,/ Родство по крови — порождает кровь».

— Действительно, ответ на мой вопрос. А теперь пора задать вопрос такой: ты по рождению ленинградец, но вот уже больше тридцати лет живешь в Москве. К какой школе ты себя причисляешь — к питерской или к московской? И вообще, есть ли, на твой взгляд, существенная разница меж той и этой поэтикой?

— Да. Есть. Как говаривал покойный переводчик-испанист (и замечательный человек) Овадий Савич, с которым мы дружили: «Этот ваш ленинградский великодержавный провинциализм...» Дело в том, что мы все — и Кушнер, и я — люди одной школы. Мы все вышли из литобъединения, которым руководил прекрасный питерский поэт и педагог Глеб Сергеевич Семенов. Оттуда вышла целая плеяда питерских литераторов — Андрей Битов, Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Владимир Британишский, Нонна Слепакова и многие другие. Это была традиционная школа классической силлаботонической русской поэзии, чуждая рыночного модерна и изыска... (Учти: это было в начале 50-х годов, когда большинство из нас даже не знали о поэтике Цветаевой. Не говоря о Ходасевиче и Кузмине...) Возможно, именно поэтому мое стихотвор-

ное пространство так ограничено с юности ямбическими размерами. До сих пор, когда я хочу передохнуть, перехожу на пятистопный ямб. Это все равно как не через жабры дышать, а нормально — на воздухе. И это большая беда моя лично — как человека, пишущего стихи (в песнях оно иначе). Есть поэтика, которой я просто не владею. Я, например, большой поклонник поэзии моей жены Анны Наль...

— Я — тоже. Помню наизусть ее строки: *«Полукровка, твоя пол-литровка опорожнена,/ Пыль дорожная завихряется над таможеню./ Пересчитано, что недожито,/ Возвращаешься, как положено./ Порубежья тоска острожная...»* Ритм дышит вольно, неровно, самобытно...

— Да-да. У нее, у Анны Наль, совсем иная, чем у меня, просодия, ритмика. Она свободнее, как говорил Бродский, «раскачивает размер». А мне это если и удается, то очень редко. Я остаюсь пленником пиетерской школы.

— Скажи, как ты относишься к верлибру?

— К верлибру я отношусь с большим уважением, когда его требует смысловая или метафорическая насыщенность, которая мешает автору укладываться в нормальные стихи. Например, у Жака Превера. В свое время я ходил на все концерты Вячеслава Сомова, когда он приезжал в Ленинград, — и полюбил Превера в звучании. Так же, как я полюбил Лорку еще до того, как прочел с листа: его тоже читал Сомов. Одно дело французская поэзия — она съела свои рифмы еще не знаю когда, другое — русская. Хотя есть целый ряд прекрасных русских верлибров... В общем, с верлибром — дело сложное. Хотя победителей не судят.

— Ты хорошо сказал, что, мол, французская поэзия свои рифмы съела. А русская никак не съест. Порой кажется, что всё уже скушано, а потом вдруг такие встретишь свежие рифмы, такие головокружительные созвучия...

— Я считаю, что одним из предтеч нашего постмодернизма был Владимир Высоцкий. Я имею в виду чисто поэтическую сторону дела. «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее... Что-то кони мне попались привередливые...» Четырехстопная рифма, которая сделала бы честь Пастернаку!

— *Согласна. Но вернемся к разнице между питерской и московской школами.*

— Объясняю. Во-первых, Питер действительно провинциален и тяготеет к сугубо традиционным стиховым формам. Это раз. Второе: Питер, в отличие от Москвы, — против песенности, эстрадности и всего, что произносится со сцены, это Ленинграду всегда было чуждо. Тот же Кушнер писал: «Еще чего — гитара! Засученный рукав./ Любезная отравка, засунь ее за шкаф./ Пускай на ней играет Григорьев по ночам,/ Как это подобает разгульным москвичам....» Вот как! Саша не любил авторскую песню. Когда хоронили Высоцкого, мы с ним чуть не до драки дошли... Он говорил: «Высоцкий вообще не поэт. Это придуманная фигура...» Главное в Питере — быть, а не казаться. Питер был полностью лишен внешнего, сценического аффекта Вознесенского, Евтушенко, всей этой первой обоймы шестидесятников, которых у нас восприняли в штывы. Тогдашняя питерская поэзия очень отличалась от московской. И даже Глеб Горбовский, который тогда писал песни и ходил у нас в гениях (он — автор гениальной песни «Когда качаются фонарики ночные...»), — даже он был иной, питерский. А в Москве поэзия изначально тяготела к эстраде и к декорациям. Может быть, потому что учителем тех московских поэтов во многом был Павел Григорьевич Антокольский? А у него корни, так сказать, театральные... В Питере — на глубину, без внешнего аффекта — тут наоборот. Например, Глеб Семенов, наш учитель, запрещал нам на литобъединении читать красиво.

«Нечего приукрашивать то, чего у тебя нет!» Читать полагалось уныло и однотонно.

— Но, между прочим, лидером питерской поэзии в мировом масштабе получился Иосиф Бродский, а человек он был честлюбивый и читал с большим аффектом (я его дважды слышала в Америке). Быть может, и монотонно, однако весьма форсированно.

— Бродского в нашей компании не было. Это иная группа и школа. Бродский в принципе стоит особняком от всех. Это то, о чем мы говорили: направление само по себе, а большой поэт сам по себе... Недаром Иосиф — из питерских поэтов нашего поколения — породил максимальное число подражателей.

— Это ужас сколько! Я много лет занимаюсь со студентами Литинститута и свидетельствую: подражание Бродскому вездесуще и почему-то, хоть он гений, тупиково.

— А подражание кому из гениев не тупиково? Разве что Пушкину... У меня такое впечатление, что ни один гениальный поэт школы породить не может. Это тебе не художник. В поэзии нету м а з к а . В поэзии это дается только от Бога напрямую и туда же возвращается обратно... Я, например, считаю, что версия, будто Державин передал лиру Пушкину, неверна. Виноваты окружение Пушкина и картина Репина. На самом деле, как говорят свидетели, Державин приехал в Лицей, а у него была проблема с простатой, и ему было много лет, и он замерз, — в общем, он спросил швейцара, где тут нужник, а потом, кряхтя, добрался до кушетки за голландской печкой и в залу вообще не выходил.

— А откуда известно про простату, нужник и кушетку? Или это фантазия?

— Это не фантазия. Это апокриф, но апокриф, восходящий к моему другу Эйдельману.

— Ох уж эти мне апокрифы!

— Должен сказать попутно, что группа израильских профессоров во главе с Ильей Захаровичем Серманом, которому далеко за восемьдесят, но он в полном порядке, — так вот, они меня убеждали (после рюмки, правда), что Пушкин — еврей. Знаешь почему? Арап Петра Великого был взят из царского эфиопского рода, а эфиопские цари ведут свой род — от кого? От царицы Савской, которая вернулась от царя Соломона чуть-чуть беременной. И если верить этой логике, то Пушкин был еврей. У меня есть стихотворение на эту тему, которое завершается так: «...Мне будет сниться странный фильм —/ Пустыня сумрачного вида/ И шестикрылый Серафим,/ Слепивший со щита Давида».

— *Здорово! Хотя я в жизни не очень приветствую, когда евреи везде ищут свои корни...*

— Сам терпеть не могу. Знаешь анекдот: «Один старый еврей говорит другому: «Вы слышали, какой национальности новый римский папа?» А тот отвечает: «Не может быть!»

Ну, и закрыли на сегодня эту тему. Какие еще вопросы?

— *Вопросы есть разные. Что такое «авторская песня»? Откуда она пошла?*

— Я считаю, что авторская песня в России — явление глубоко национальное.

— *Но ведь она в какой-то мере пошла и от французских шансонов...*

— Конечно. В 60-е годы, на гребне хрущевской оттепели, одним из толчковых механизмов появления авторской песни как самостоятельного искусства был приезд Монтана в Москву. Об этом никто не вспоминает и никто не пишет. А ведь сам Булат говорил, что на него большое влияние оказал Ив Монтан. Еще мы открыли Брассанса. Но это был чисто внешний толчковый момент — ружье уже было заряжено... Так и социально получилось: когда партия и

правительство перекрыли все виды искусства Главлитом и своими рогатками, то народ пошел в песню... Но несмотря на обилие различных корней у авторской песни (и цыганщина, и городской романс), все-таки главный корень — русский фольклорный, что наиболее ярко проявилось в песнях Высоцкого. Хотим мы этого или нет, все это идет от русских сказителей и от былинных форм.

— *«В года глухие» бардовская песня была частью интеллигентского сопротивления. А сейчас? Не утратила ли нынче авторская песня свою протестную энергию?*

— Утратила. Это отдельный вопрос — что такое авторская песня вчера и что такое то, что называют авторской песней сегодня. Я как геофизик люблю точные определения: нельзя называть одним именем совершенно разные вещи... Если говорить об авторской песне в моем понимании и в понимании Булата Окуджавы («поэт с гитарой в руках»), — то протестную составляющую она утратила, поскольку на сегодня в России (во всяком случае, формально) что хошь твори, что хошь говори... Хотя что будет дальше и куда идет этот вектор после разгрома телевизионной журналистики, — прогнозировать трудно. Потом возьмутся за радио, потом за «Новую газету»... Боюсь, что началось удушение всего живого. Тогда авторская песня снова приобретет утраченную функцию. Есть еще одна опасность в нашем обществе — связанная с первой, но не менее существенная, — это попытка общество оболванить, попытка вынуть из него душу, превратить в дебила. Иначе я не могу понять, что за странная политика: радио, например «Шансон», — и другие средства массовой информации — культивируют блатную песню, где молодым людям внушается, что мы должны жить по законам уголовной зоны. А это ведет к неминуемой духовной деградации.

Главная задача авторской песни сегодня (раньше мы были в авангарде именно благодаря сопротив-

ленческой ноте, а теперь оказались в арьергарде) — это борьба с чудовишной бездуховностью, с валом порнухи, когда любовь понимается только ниже по-яса, наркоты, стяжательства...

— *А как ты относишься в принципе к чужому исполнению стихов живущих и давно ушедших авторов — ведь существует такое мнение, что оно — неорганично и излишне. Так считал замечательный поэт Корнилов: зачем, дескать, петь песни на стихи Блока или Есенина, если они сами этого не предполагали и всё, что хотели, сказали без музыки?..*

— Это точно совпадает с мнением моего друга и тоже замечательного поэта Кушнера, который считает, что любое настоящее стихотворение самодостаточно и вся музыка в нем уже «записана». Из настоящих стихов — по его мнению — делать песни невозможно. Хотя когда Гриша Гладков или Александр Дулов стали писать на кушнеровские стихи песни, то Саша как-то с этим смирился и больше не выступал.

— *Что называется, сменил гнев на милость, да?*

— Да! *(Смеется.)* Вот и Давид Самойлов тоже говорил: «Настоящая поэзия не нуждается в гитарной подпорке» (и потому недооценивал Окуджаву)... Каждый имеет право на свое мнение и на свой максимализм... Что касается помянутого тобой Володи Корнилова, то я его очень любил и ценил. Сильнейший поэт и трагическая личность. Какое было безобразие, когда ему не дали Пушкинскую премию в конце 90-х!..

— *Не просто не дали (дважды), а с жалкими интригами внутри жюри. Но это их проблема, а не Корнилова...*

— А я с Володей познакомился в 56-м году в Ленинграде, на квартире у Нины Королевой, куда мы пришли после литобъединения — и он читал нам поэму «Шофер». А я ему прочитал свои стихи «Будапешт 56-го года», за которые и посадить могли.

«Танк горит на перекрестке улиц —/ Хорошо, что этот танк горит!»

— *И что Корнилов сказал?*

— «Молодец, замечательно», — и мы с ним сразу подружились. А последняя наша встреча была в Музее Герцена. Он пришел на чей-то (не помню) вечер, где услышал песню Натальи Приезжевой про Чечню на мои стихи: «Над простреленною каской/ Плачет мать в тоске вселенской/ От Германской до Афганской,/ От Афганской до Чеченской...» Корнилов подошел и говорит: «Прочти это сам как стихи. Я тебя поздравляю». И на этом мы с ним распрощались... Жаль, что последние годы этот выдающийся поэт, а в жизни ершистый максималист, прожил недостаточно востребованным.

— *Здорово, что наше восприятие Владимира Корнилова совпадает. Но вернемся, Алик, к твоим стихам и песням. Твои личные шедевры вначале родились у тебя как стихи, а потом легли на музыку, или сначала возникла музыка, или оно произошло разом?*

— Ответу коротко. Если это песня, то всегда — одновременно. И мелодия, и некая строчка, и одно наматывается на другое. В 63-м году на палубе «Крузенштерна» я сочинил стихотворение, которое мне не понравилось. Два дня оно лежало. Обычно я такие стихи топил: скомкаю — и за борт! А тут вдруг начала какая-то на него насвистываться мелодия. И я его не утопил. Так получилась песня «Атланты». Но остальные мои песни рождались и словесно и музыкально — одновременно. И «Перекаты», и другое... А «От злой тоски не матерись...» я придумал за пятнадцать минут, когда шел от трамвайной остановки, в Ленинграде. Она выдохнулась полностью.

— *От чего вспыхивает у тебя стихотворение — от рифмы, от пейзажа или, например, сон приснится?*

— Трудно сказать. Песня — это когда странная такая штука внутри появляется: «Ту-ту-ту-ту-ту-ту...» —



и поехало. «Спит в Донском монастыре русское дворянство...» — одна строчка была, и я долго боялся, что, продолжая, испорчу. А иногда стихотворение рождается сразу и целиком. Что касается мелодии, то бывает: тебе кажется, что ты ее придумал, а ты ее вспомнил. В песне «От злой тоски не матерись...», как я понял несколько лет спустя (*поет: ля-ля-ля-ля...*), — звучит аллегretto из Семнадцатой сонаты Бетховена, часть вторая. Я, как всякий интеллигентный еврейский мальчик, ходил в Питере в филармонию на симфонические концерты... Я сам себя на этом поймал. И случай, полагаю, не единственный. Кое-что вынимается незаметно из подкорки, а потом преобразуется.

— *Я в твоих стихах очень ощущаю влияние Гумилева — верность Музе дальних странствий, экзотика и романтизм, воспевание риска и мужественных жестов... Сознательная связь?*

— Гумилев перешел в советскую поэзию в странной трансформации. Тихонов, Симонов, чудовищное, хоть и гениальное стихотворенье Багрицкого «ТБЦ»... В ранние годы я Гумилева практически не читал, но взахлеб читал поэта (в переводах), который оказал на него огромное влияние. Это Киплинг. Ведь во многом акмеизм вышел и из Киплинга.

— *Из огумилевенного Киплинга.*

— Да. И так, я в юности любил Киплинга. А еще любил лучшие тихоновские стихи из «Орды» и «Браги», Багрицкого и начального Луговского. Это все было под Гумилева.

— *При этом ориентацию на Гумилева они тщательно скрывали — он же после расстрела был полностью запрещен. Скрывали, но и образностью и интонацией от него зависели. Прекрасно сказал об этом парадоксе в советской поэзии Семен Израилевич Липкин (я где-то читала у него в мемуарах): дескать, для них благородный стиль Гумилева был как античные колонны для сталинской архитектуры. Лучше не скажешь, а?*

— Да... А между прочим, под влиянием Киплинга и этих постгумилевцев я пошел в геологию. Я никогда не ходил в соответствующие кружки, я терпеть не могу химию, и с математикой у меня всегда были проблемы. А любил я литературу и историю.

— *Почему же прямо в гуманитарии не подался?*

— Извини: 51-й год. Я кончил школу. В воздухе висело дело врачей. Меня с золотой медалью никуда бы не приняли. А идти в традиционные «еврейские» институты — педагогический или медицинский — я не хотел... Кроме того, мне очень хотелось стать киплинговским персонажем. Я одновременно подал документы в Военно-воздушную академию, куда меня брали на аэродромно-строительный факультет, и в Училище Фрунзе военно-морское, куда у меня было рекомендательное письмо бывшего командующего Балтфлотом адмирала Трибуца. Потом отец уговорил меня от всего от этого отказаться, я забрал документы и пошел неподалеку, на том же Васильевском острове, через одну трамвайную остановку, — в Ленинградский горный институт. Я выбирал не специальность — я выбирал образ жизни. Настоящий, мужской. Большую роль сыграло и то, что там форма была очень красивая, в Горном: с погонами и прочее... Потом покажу фотографию.

И я поступил туда, куда меня взяли без экзаменов как золотого медалиста. Правда, там тоже была антисемитская придумка. Чтобы быть принятым в Горный институт на геологоразведочный факультет, надо было почему-то непременно прыгнуть в воду с трехметровой вышки. И я понял, что конец света, потому что я плавать не умел и перед водой трусил. Но поехал на Кировские острова, на Водный стадион (30 августа, в Питере уже был холод). Когда выкрикнули фамилию Городницкий, я залез на вышку (предварительно, конечно, разделся), синий от страха и холода. И когда встал на эту доску и посмотрел

вниз, то понял, что «ни за что на свете». Зачем? Я жить хочу. Не надо мне вашей героической профессии! Что угодно — только не это. Но я уже стоял на доске, и, когда повернулся, чтобы уйти, доска спружинила — я упал вниз. Мне засчитали прыжок. Так я стал геологом... Таким образом, акмеизм, Киплинг, ранние Тихонов и Луговской определили мой выбор специальности, а чистая случайность этот выбор подтвердила. А то, что я выбрал образ жизни, который в течение сорока с лишним лет был связан с экспедициями (семнадцать лет на Крайнем Севере и тридцать лет — в океане, на разных кораблях), повлияло на то, что я стал писать не только стихи, но и песни. Замкнутые коллективы, особенно мужские — из людей, не склонных к сентиментам и возвышенным разговорам, а склонных к конкретному выражению своих мыслей по-русски, — приходят к песне.

— *С геологами и с песнями более или менее ясно. Давайте поговорим о друзьях-стихотворцах. Ты знал лично Бродского?*

— Основная наша беседа состоялась в 61-м году. 29 ноября. Я хорошо запомнил эту дату, потому что она слишком много значит в моей жизни вообще, и вовсе не из-за Бродского. Так вот. Я пришел в гости к моему другу Сереже Артамонову в Кривоарбатский переулок и неожиданно встретил там пришедшую позднее московскую поэтессу Анну Наль, которая переменяла всю мою судьбу... Там был и Иосиф, и мы сразу заговорили о поэзии. Он стал очень фамильярно спрашивать: «Как поживает Борух?» — это он так, иронически, называл Слуцкого. Я закричал: «Как тебе не стыдно?! Это же Борис Абрамыч Слуцкий — великий поэт». (Для меня тогда Слуцкий был величайшим поэтом.) «А Дезик?» Я ответил: «И Давид Самойлов тоже». После чего Бродский хлопнул меня по плечу и сказал: «Их и тебя можно построить в одну шеренгу и рассчитать на первый-второй. Вы настоль-

ко ниже меня в поэзии, что ты даже себе представить не можешь».

— *Это нормально так сказать?*

— Нет, это ненормально. *(Смеется.)* Я стал говорить, какое он дерьмо и так далее. Но самое-то удивительное, что он оказался прав. *(Смеется еще веселее.)* Были и другие примеры. Мне Давид Яковлевич Дар (человек удивительный — он очень помог и Горбовскому, и моему любимому поэту Сосноре), прозаик, который был женат на Вере Федоровне Пановой, — так он, когда встретил Бродского в Филармонии в те же годы, подошел к нему и, вынув свою вечную трубку изо рта, сказал: «Иосиф, прочел вашу поэму «Шествие»: она отдельными местами восходит к Цветаевой...» На что Бродский хлопнул его по плечу (отчего старик чуть не выронил трубку и едва не упал) и сказал: «Да что вы, Давид Яковлевич, куда Цветаевой до меня?» А? Но это форма самозащиты. Но с ним, с Иосифом, было тяжело. Я два раза, пока он еще был жив, побывал в Штатах, и меня разбирало искушение ему позвонить, но я ни разу этого не сделал. Не знал, на что нарвусь... Наверно, зря?

— *Алик, такой вопрос. Отвечать не обязательно. Но желательно. Ты — муж талантливой поэтессы. Редкий случай, когда две яркие (и разнонаправленные) творческие личности так долго и дружно живут под одной крышей. Поделитесь секретом...*

— Трудно сказать. В том, что я влюбился в Аню, очень большая заслуга принадлежала ее стихам. Сережа Артамонов показал мне Анины стихи еще до того, как она появилась. Я был потрясен! А когда она вошла, я увидел точную иллюстрацию к ее стихам — гениальная и прекрасная девочка, бегущая по волнам... Мощное ощущение. Без стихов, может быть, такого бы не было... Я влюблен в ее стихи до сих пор. Я считаю (а я не идиот): то, что она написала, есть совершенно своеобразное и интереснейшее явление

в русской поэзии. И я очень сожалею о том, что в последние годы она пишет мало.

— *Ты уже писал о своих встречах со Слуцким, который был скорее твоим ментором, и с Давидом Самойловым, который был, как я понимаю, старшим другом. Может быть, что-то здесь добавишь, только чтобы не повторяться? Просто штрих...*

— Общение с Самойловым, как и общение со Слуцким, на меня сильно повлияло. Впервые я увидел Слуцкого в Питере — он выступал перед студентами Технологички, и мы, горняки, туда пришли тоже. Я об этой встрече уже писал в воспоминаниях... Слуцкий и Самойлов — два противоположных и поэта, и человека. Очень доброжелательный, ранимый и заинтересованный в других Слуцкий. Помню, он мне сказал: «Деньги есть? Если нет — скажите. Я вам их дам». Или: «Вы ничего не понимаете в живописи. Даю вам записку. Пойдете в кинотеатр «Аврора», внутрь, во двор. Сестры Филоновы покажут вам настоящего художника Филонова». Таков был Слуцкий. А Самойлов был более равнодушен. Доброжелательность, но чисто внешняя. «А мне чужих стихов не надо — мне со своими тяжело». Он сначала принял меня в штаны. Сказал: «Вы не художник. Вы — полное дерьмо...» Возможно, он был прав.

— *Хорошие ребята тебе сразу на пути в обитель муз попались!*

— А потом, уже значительно позднее, мы с ним подружились. Он во мне признал поэта после песни «Предательство». А когда я попытался написать поэму, Самойлов сказал: «Алик, ты не владеешь сюжетом, но ф и л е у тебя есть». Он имел в виду ткань стихотворения, метафору, вещество. Когда я защитил докторскую, он написал мне поздравительное письмо: «Ты один из немногих поэтов, кто хоть что-то еще в мире — кроме этого — понимает...»

Дезик, как никто из других стихотворцев нашего времени, показал, что пушкинское наследие живо. По лексике, по слогу, по легкости, по силлаботонике ближе всех к Пушкину — он. И мной завладела эта линия поэзии, которую реанимировал для меня Самойлов... У меня нету ни одного стихотворения, где я бы подражал Самойлову, но общее влияние было сильное. А Пушкин был и остается моим любимейшим поэтом.

— *Что тебе дала дружба с Эйдельманом? Опять же: как она, дружба с ним, повлияла на твою словесность?*

— Дружба с Эйдельманом упала на мою незажившую рану — я имею в виду непоступление на исторический факультет Ленинградского университета, носившего тогда имя Жданова. Мне туда — как еврею — путь был закрыт, а ведь история была моим любимым предметом с детства. И к Эйдельману я испытывал дикую тягу, просто фантастическую, как к человеку, погруженному в русскую историю. Он подсказал мне сюжеты и ситуации множества стихотворений и песен. Мой цикл стихов о Пушкине, за который я в 98-м году получил премию из рук Дмитрия Сергеевича Лихачева — премия маленькая, незначительная, но очень для меня почетная, — возник под влиянием разговоров с Эйдельманом.

— *А как называлась эта премия?*

— «Лицейская» — за вклад в русскую поэзию, связанную с Пушкиным. Есть фотография. В общем, Эйдельман сыграл роль в моей жизни как историк. Я раньше был диким экстремалом и считал, что — только революция! Эйдельман внушил мне отвращение к революциям вообще, приучил к трезвому взгляду на власть и так далее. Он повернул мои мозги в правильную сторону. Последнюю свою книгу про Карамзина Эйдельман мне надписал перед смертью так: «...И никаких революций снизу!»

— *Понятно. Мы уже беседуем долго, но нельзя не поставить такой вопрос: ты — ученый-геофизик, про-*

*фессор, академик. Как эта сфера твоей жизни соседствует с участием поэта? Они изолированы или связаны там, в мозгу, в черепной коробке?*

— Когда я был мальчишкой, я, повторяю, выбирал образ жизни и понятия не имел о науке. Много лет в молодости я вообще наукой не занимался — меня ничего не интересовало, кроме экспедиций... Сейчас же я думаю, что это ипостаси соединенные (я не только о себе говорю). Потому что и то и другое, и поэзия и наука — формы активного познания окружающего мира. Тут больше логики, там — эмоционального начала. И без одного невозможно другое. Если б я не занимался рельефом континентов и историей Земли, я вряд ли что-то понял бы в устройстве окружающего мира поэтически.

*— Существует такое мнение, что с наступлением новых времен, которых мы сами так ждали, российская наука потерпела катастрофу. Так ли это, и как она все же выживает?*

— Да, с моей точки зрения, российская наука потерпела катастрофу: она благодаря бездарным и неумелым действиям наших правительств после перестройки обречена на вымирание. К сожалению, ученых никто не слушает и не слышит, когда они говорят о своих проблемах или даже выходят на демонстрации. Все озабочены набиванием карманов, переделом наследия ЮКОСа и немедленными дивидендами... А о науке никто не думает. Да, президент делает много правильных заявлений (я готов подписаться под тем, что говорит Путин: на словах все замечательно), но когда речь идет о реализации... то от слов до дела получается не знаю сколько лет или десятилетий.

Фундаментальная наука в России — в трагическом состоянии. Мы потеряли целый ряд научных направлений и школ. Мы молодежь потеряли. А значит, мы потеряли будущее. По существу, мы теряем

интеллигенцию. Талантливые физики, программисты — они все уже там. Молодежь тут не может физически выжить на те жалкие копейки, что ей платят... Я, профессор и заведующий лабораторией академического элитарного института, получаю 110 долларов в месяц, а кандидаты мои получают в полтора раза меньше. Может так существовать сегодняшний человек? Не может. Вот они тут и не существуют. И одни уезжают за рубеж, а другие уходят в бизнес... Наука постарела. У нас ученый совет — средний возраст за 65 лет. Физическая гибель науки — это гибель русской интеллигенции со всеми вытекающими последствиями: с созданием социальной основы для фашизма, с зарождением поколения жлобов и лавочников... Я на это дело смотрю серьезно. Я считаю себя русским поэтом и русским ученым. И когда мне говорят, что наука развивается поступательно и какая, мол, разница, где будет сделано открытие — у нас или в Соединенных Штатах, то мне не все равно. Мне очень хотелось бы, чтобы это было в моей родной России, которой я отдал все. Вот мы вымерем — и всё кончится! Грустно. А вся болтовня наших политиков и наших престарелых академиков — дескать, все хорошо, — направлена на то, чтобы сохранить пенсион, который дали, и чтобы его не отняли.

— *В чем ты видишь главную задачу для нашей интеллигенции сегодня?*

— Прежде всего давай определим, что такое интеллигенция. Я не согласен со многими точками зрения Александра Исаевича Солженицына: горестные размышления с полной переоценкой этой личности у меня вызвала его книга «Двести лет вместе», хотя осилил я ее с трудом: вязко написано... Но он правильно сказал еще давно, что надо отделять интеллигенцию от образованщины. Настоящие интеллигенты никогда не шли в революцию и на «мокрые



дела». Вообще никогда. Только неудачники и сдвинутые люди — это хорошо Достоевский показал. Интеллигент — человек, который духовные ценности ставит выше, чем все другие, и для которого существует нравственная система оценок. Самая главная беда нынешней русской интеллигенции, как мне кажется, — трансформация в интеллектуалы или в образованцы. Сумма знаний, которой обладает компьютер, гораздо больше, чем то, что известно мне, но он не интеллигент, он — робот. А вторая опасность — это опасность растаскивания по национальным и партийным принадлежностям. Что национал-патриоты — тоже интеллигенты, да? Нет. Есть вещи, несовместимые с понятием «интеллигент». Это прежде всего — нацизм, это — человеконенавистнические идеи, это — антигуманизм.

— *Не претит ли тебе, что наша либеральная интеллигенция так быстро перешла на сторону богатых «новых русских» при полном пренебрежении и несочувствии обнищавшим старикам и вообще слабым социально людям? Разве такое входит в традиции русской интеллигенции?*

— Не входит. Но были Третьяковы и Саввы Морозовы. Я считаю, что чем больше будет богатых людей в России, тем лучше. И у меня есть очень спорное стихотворение «Новые русские» (1997) на эту тему, которое подверглось чудовищной критике (даже звонили и угрожали по телефону): дескать, я продался богатым...

— *Стихотворение это я знаю: оно написано вдохновенно и искренне, но меня не убеждает. Не может пролезть верблюд в игольное ушко, и все тут!*

— Не будем спорить. Моя точка зрения на «новых русских» такова. Главная угроза — не в них. Их сейчас тоже «строят». Главная опасность — в полицейской системе, которая хочет все подавить... Был я, Таня, в Австралии. В любом респек-

табельном доме вам обязательно покажут кандалы дедушки-каторжанина, которого депортировали сюда в восемнадцатом веке. И так далее. Я знаю, что нынешние «новые русские» (даже те, которые дружат с киллерами) хотят, чтобы их дети были воспитаны в интеллигентном духе. Звериная пора накопления первичного капитала всюду была такой, так чего требовать от России с ее мрачной историей и порядками. Но она неизбежно должна миновать. И на смену этому поколению первичного и разбойного накопления капитала (папа Прохора Громова рыскал с кистенем по лесам, а Прохор Громов уже строил фабрики) придет лучшее. Иного варианта история не знает. К сожалению, мы должны с этим считаться. Не дай бог, если все вернется обратно.

Сам я зависеть от новых богатых не хочу, никогда не зависел и не буду — но так я вижу положительный ход истории. А русская интеллигенция должна сохранить свои традиции, которые определяются одним словом: *н е п о д к у п н о с т ь*. И еще — презрение к торгашеству, с одной стороны, и к любой форме нацизма, с другой.

— *Согласна... Скажи, ты ведь давно пишешь мемуарную прозу. Как ты для себя определяешь границы откровенности? Можно ли выдавать чужие тайны?*

— Я чужие тайны стараюсь не выдавать. Тут я осторожен. Это не мое дело. Я не имею права. И еще я стараюсь в мемуарах писать не о «себе любимом», а о других. И еще: ни о ком не писать плохо, даже если есть такое желание. Потому что я вдруг понял: как напишешь — так и останется. Так человек, который владеет боксом, должен контролировать удар, а то можно убить противника.

— *И последний вопрос (я его почти всем собеседникам задаю — и все отвечают очень по-разному): если бы нам было дано перекраивать жизнь заново, от ка-*

*ких бы троп ты отказался, а какие протоптал бы основательнее?*

— С 57-го по 62-й — жизнь в экспедициях, в глуши. Потерянное время? Нет. Мне так дороги эти годы, мне так дороги эти люди, которых уже нет! И мне кажется: ничего бы я в своей жизни не стал менять кроме нескольких трусливых поступков, которые я совершил, будучи человеком, воспитанным под сталинский барабан. Но я никогда никого не закладывал, никто меня никогда не покупал, попытка завербовать меня в «органы» была бесплодной. Испытываю угрызения совести перед некоторыми женщинами, что, с точки зрения Вронского, не так и страшно... Но в принципе я не могу себя поймать на каком-то подлом поступке.

— *Алик, а ничего бы добавить к состоявшемуся не хотел? Еще одно образование... Еще одну профессию...*

— Нет. Я бы и в другой институт не пошел. И не уехал бы. А еще я считаю, что в случайностях, которые определяют нашу жизнь, есть очень много вещей, которых мы не понимаем. Будучи человеком, изучавшим историю Земли, я и в физике чем дальше, тем больше убеждаюсь, что не все укладывается в наш здравый смысл, в те немногие системы познания, которыми мы сегодня располагаем. «Есть многое на свете, друг Горацио...» Не исключена какая-то высшая форма энергии... Что-то должно существовать, что определяет весь этот хаос.

— *Мы говорим — остановиться не можем! — уже почти четыре часа. Оба устали. И все же еще, напоследок твой творческий девиз на оставшиеся годы?*

— В детстве мы все читали тех писателей, которых было читать н а д о . И я когда-то зачитывался Ромеюном Ролланом. В «Очарованной душе» есть такая фраза, которую говорит мальчик: «Лучше жалеть о том, что пошел, чем о том, что не пошел». Эта фраза до сих толкает меня на всякие авантюры.

## ЖИЗНЬ КАК БЕСЕДА

И второе, Таня. Моим любимым героем был и остается норвежский путешественник Амундсен, открывший два полюса. Он сказал: «Человек не может и не должен привыкать к холоду». А ведь он два полюса открыл!

Такая вот штука.

*Август 2004*

# АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

Всё хуже, чем хотелось бы,  
но лучше, чем могло быть

— *Саша, вы себя с какого возраста помните и с какого момента?*

— Я родился в 1943 году. А помню себя примерно года с сорок шестого, когда после войны отца послали служить в Оршу, и мы туда с матерью приехали из эвакуации, из Новосибирска, где я родился. У меня и ранние мемуары — лирические воспоминания и размышления о детстве и молодости — так называются: «Далеко эта Орша»...

И вот теперь мне 61 год. В прошлом году было шестьдесят, что я отметил с неумеренной помпой...

— *Сейчас читаю дневники Александра Трифоновича Твардовского (они из номера в номер печатаются в «Знамени») — он въезжает как раз в этот возраст и изобретает дивное словосочетание: «новизна старости». Целый месяц только об этом и думает, все время к означенному открытию возвращается...*

— Хорошо сказано. Для меня «новизна старости» (не знаю, для печатного ли это текста, поглядим) оказалась связана с несколькими сильнейшими переменами в образе жизни. Пьющие люди поймут — я бросил пить. Совсем. А пил я сильно.

— *Запой были?*

— Я не запойный. Я просто год за годом пил каждый день. Каждый — и много. Мой врач даже удивляется: «Не может быть, чтобы при этом не было социальных проблем». Не было. Работал, писал, ходил на службу, ничем от людей не отличался. И практически не бывал пьяным.

— *А зачем тогда бросили?*

— Печень. Печень у человека одна.

Вообще-то у меня сильная психика, но совсем бросить пить — это, согласитесь, очень сильный стресс. У меня и без того уже давно тяжелая форма депрессии. И всё это совпало с наступлением старости... И остался я с нею один на один.

— *Старость (я уже и сама это почувствовала) — как творческое испытание, которое нужно переносить достойно.*

— У меня три года — чудовищных испытаний. При том, что я очень редко меняю работу, — дважды за полтора года сменил работу. Сменил место жительства — переехал из Москвы в подмосковную деревню. И много чего еще... Меня можно показывать студентам, потому что нормальный человек всего этого никогда не выдержит.

— *А плюсы есть?*

— Есть. Жуткая активизация писания. За два с половиной года я написал большой роман, который очень неплохо встречен и читателями, и даже критикой, и книгу рассказов, которую на днях закончил и отдал...

— *Куда? Ваше издательство — «Вагриус»?*

— Да. Помните: «И поражения от победы ты сам не должен отличать»? Я не считаю свой последний роман «Всё поправимо» намного лучше предыдущих, но он... Он имеет успех!

Я на трезвую голову стал писать так, что сделался более понятным другим людям. Мое прежнее — это

была умелая литература, но в любом случае это была запись алкогольного бреда.

— *Никогда бы не подумала. Мне ваш роман «Все поправимо» показался чрезвычайно интересным — и художественно, и социально, и психологически.*

— Бывает так: два человека говорят между собой, и один из них, в силу того что он быстро думает, проскакивает некие логические звенья. Проскакивает — и становится непонятен. Так и я: пока пил — постоянно в своих сочинениях многое проглатывал. Для меня что-то ошутимо с полуслова, а для моего читателя — нет. Вот мы с ним и расходимся. А на трезвую голову мы с ним взяли и сошлись.

— *Но ведь и раньше у вас был сугубо «свой» читатель, и достаточно широкий... Он что — тоже пьяный был (вряд ли), или просто он так же проскакивал некие звенья? Ведь есть люди, которые легко погружаются в метафоры раннего Пастернака, где половина звеньев опущена, а есть — которые не принимают их начисто...*

— Да. Так. Но тут оказалось, что просто больше тех, кто теперь меня понимает. Именно теперь.

— *Сквозная тема романа «Все поправимо» — это предательство. Предательство как таковое вас вообще волнует. Почему?*

— Раньше меня вся эта проблематика не так волновала. А в последнее время я стал если не больше сталкиваться с предательством, то просто отчетливее его замечать. И я решил исследовать это не на понятном мне, заметном материале, а придумать некие ситуации. Например, всю фабулу детства я придумал... Я действительно из семьи военного инженера. Еврейская семья. Еврейское военное окружение — оно не такое уж банальное. Оно специфическое. Оно мною не придумано. Но коллизия — придумана.

— *И отец самоубийством не кончал, как в романе?*

— Я — из благополучной семьи, и ничего похожего у нас не было.

— *Но, может быть, рядом нечто похожее происходило?*

— Ничего похожего. Я придумал коллизии неочевидного (непознаваемого!) предательства. Предательство — вещь метафизическая, когда может быть и непонятно: кто? кого? что?

— *А юность героя списана с вашей?*

— Да нет. Я не был фарцовщиком — я скорей покупал. Я, повторяю, был из благополучной семьи.

— *А вас вербовали в органы?*

— Вербовать вербовали. Но гораздо позже. Наименее выдумана третья, поздняя, часть. Она не выдумана по коллизии — только в смысле антуража. Я никогда не занимался бизнесом, но я хорошо знаю таких людей.

Тоже непонятно, что произошло: кто-то забрал деньги... Кто-то... Что-то... Куда-то деньги исчезли... Кто-то выживает героя из бизнеса... И при этом говорят все кругом: «Да нет. Мы тебя не выживаем...»

Не то чтобы предательства стало больше — оно стало заметнее. Раньше оно меня не занимало. Я вообще довольно поверхностный человек. Я долго, насколько это возможно для человека умственного труда, вел растительный образ жизни.

— *Что значит — «растительный»?*

— Неосмысленный. Писать я всегда писал. Но все мое писание заключалось в довольно умелом складывании слов. Ничего в этом не было. Ничего. Нуль.

— *Постойте, а когда вы начали писать? Вы же на мехмате, кажется, учились... И уже тогда начали?*

— Я долго ничего по-настоящему не умел. Начинать и бросал. Мне было скучно дописывать. Не любил работать. Был патологически ленивым.

Сейчас-то я очень много работаю — работаю за то, что недоработал в молодости. Феноменально был ленивый — каких мало! Сплошная... то, что сейчас называется «тусовка». И больше ничего.



Я не умел хотеть. Да, я хотел быть писателем, но ничего для этого не хотел делать. И не делал.

— *А когда оно сдвинулось?*

— Сильно поздно. Я вообще поздний. Я ведь сначала был как бы юмористический писатель. «Литературка» — 16-я полоса. Лауреат премии «Золотой теленок»! «Московский комсомолец»... Так писать я умел. А серьезно писать? Три страницы, а на большее у меня духу не хватало.

— *Ну, юмористы тоже всегда разные были.*

— Мне за те рассказы не стыдно абсолютно. Я их потом собрал в книжку, она при советской власти семь лет пролежала в «Советском писателе», благополучно дожидаясь перестройки, и я ее сам выкинул. Да. Долго так было: три страницы, ну пять, а на большее меня не хватало.

— *Ну и что же должно было случиться, чтобы?..*

— Я в ранней молодости написал повесть. Я ее недавно нашел. Юношеская, конечно. Но она нестыдно написана. По советским-то временам... По-советски писать мне было противно — я всегда был настроен несоветски. Я писать про комсомольские стройки не мог. И потому еще я не рвался в советские писатели...

— *Но можно было и в антисоветские пойти.*

— Я никакую борьбу тоже не принимал очень рано.

— *А если бы писать, как Юрий Трифонов?*

— Ну, так я не умел... Да я никак не умел! И, повторяю, недостаточно хотел. Но все-таки эту повесть я написал, было мне лет двадцать семь, и я был немножко знаком — по джазовым делам — с Аксеновым. Я его очень люблю, он меня никогда ничему не учил, мы просто дружим много лет. Я Аксенову эту вещь показал. И он мне сказал (я даже запомнил) — ничего особенного: «Никогда не пиши по свежим впечатлениям...» А у меня там чувства по свежим

следам были описаны. И я ничего не стал ни переделывать, ни доделывать...

Серьезно я стал писать, когда мне надоели фиги в кармане. И я начал писать лютую антисоветчину.

— *В каком году это произошло?*

— В 80-м. Мне было уже, слава Богу, тридцать семь лет. Читал своим приятелям по юмористическому цеху. Это был мой первый роман — маленький, но я его писал довольно долго. Очень кинематографичный роман. Потом он был действительно в кино поставлен. И с этого момента я стал хоть как-то, чуть-чуть, мало-мальски взрослым.

— *Вернемся вспять, ладно? Кто были ваши родители?*

— Отец — офицер, военный инженер. Мать? Ну, домохозяйка просто, так тогда говорили. Жена офицера.

— *А дедушки-бабушки?*

— По линии матери — мещане купеческих занятий, дед со стороны отца — портной, мастеровой.

— *Русские?*

— Нет, я — стопроцентный еврей. Мать — Фрида Исааковна, отец — Абрам Яковлевич. И при всех ста процентах я — наименьший еврей из всех, кого я знал и знаю.

— *Почему?*

— Если говорить по-честному (это, наверное, очень не понравится читателям), я себя вообще не считаю евреем. Во мне, по моим наблюдениям, очень мало еврейства. Кроме того, я — православный христианин. Крестился взрослым, двадцать лет назад... Насколько это возможно для человека моих занятий и моей профессии (я ведь еще и журналистикой занимаюсь — профессия совершенно не божеская и ужасная), — я не только верующий, но и религиозный... Я чувствую себя, конечно, какой-то частью еврейского народа — отторгнувшейся, но частью. Чувствую и всегдашние еврейские муки, и особенно те, что пришлось на середину XX века. Я и

теперь абсолютно на стороне евреев в ближневосточном ужасе. Никакого, как принято теперь у либералов, признания «своей правоты» за палестинцами, арабами. Евреи, дай им Бог сил, на переднем крае борьбы с этим кошмаром... А христианство — в заведомом проигрыше. В заведомом. Христианство — оно не сильное и молодое, а старое и усталое.

Но прежде всего, раз и навсегда — я русский писатель. А каким еще можно быть писателем, если пишешь по-русски? Только русским. И, значит, мой народ как писателя — русский.

— *Но этот вопрос имеет и другую сторону: мы можем себя ощущать так, но нас-то не всегда так ощущают.*

— Ну и что? Кому-то не нравится, что у меня написано в паспорте. Кому-то моя рожа не нравится. Это их, а не мои проблемы. Меньше всего из того, что обо мне подумают, меня волнует, что подумают про мою национальность. Я от антисемитизма очень много страдал. То есть страдал, конечно, но я считал, что это — не просто антисемитизм, а что это — одна из составляющих советской власти, которую я ненавидел по всем пунктам.

— *А разве после крушения советской власти антисемитизма у нас стало меньше?*

— Вы знаете, я вообще в народный антисемитизм не очень верю. Какой антисемитизм, если есть такой феномен, как Жириновский? О чем говорить? Есть, конечно, антисемитизм, но он как нелюбовь к очкарикам или вообще людей друг к другу. Меня это касается в качестве одной из социальных проблем, но не больше. Как можно ощущать себя кем-либо, кроме как русским, если ты русскоязычный? Ведь язык — это жизнь. Особенно я не понимаю всего этого, когда разговор — о писателе...

Согласитесь, было бы комично, если бы в Израиле жил человек, по происхождению русский, писал бы о

евреях и на иврите, но считал бы себя — русским писателем. Зеркальная картина, да? Его бы назвали сумасшедшим. А жить в России, писать о русских и считать себя еврейским писателем — нормально?

— Но в романе «Все поправимо», особенно в первой части, еврейская тема звучит очень сильно.

— Просто как одна из сюжетных линий.

— Есть там у вас и государственный антисемитизм, и то, как мальчик от него страдает. Выходит, вы все же к этому неравнодушны.

— Я это знаю. Я же сказал, что государственный антисемитизм советской власти прекрасно знал и чувствовал. Меня, например, на работу не брали, а если брали, то вопреки норме... В романе вообще борьба с космополитизмом изображена — это одно из преступлений советской власти. А вообще, я всегда пишу о городской образованной среде. И один раз — об этой ее части, об офицерах-евреях, которых было немало тогда в инженерных войсках...

— Понятно. Пошли дальше. Многие из нынешних молодых людей вообще не понимают, кто такие ст и л я г и. А вы были стилияга. Как бы вы коротко такому молодому человеку этот феномен объяснили?

— Я был поздний стилияга, первых стилияг моложе на десять лет. Я того поколения, которое Аксенов назвал в повести — «Мой младший брат». Я и есть младший брат настоящих стилияг, но с юности очень тяготел к старшим. Моя компания всегда были люди постарше. Стилияги — люди от 32-го до 40-го года рождения.

— Какова этимология этого слова? Кто его придумал?

— Придумал крокодилский фельетонист. Это не самоназвание. Самоназвание было ч у в а к и.

— А само слово «чуваки» откуда пошло?

— Весь сленг того времени шел от джазовых, точнее — ресторанных, музыкантов. А к ним очень мно-

го слов пришло из блатной лексики. Чувак — это искаженное «человек».

— *Что стилиаги исповедовали?*

— Западничество. Первые западники при советской власти были стилиаги. Это была настоящая пятая колонна. Причем не осознавшая себя полностью, а на почти физиологическом уровне. На физиологическом уровне отвращения даже не к системе, а к сущности этой жизни.

— *Ну, не только к сущности — к внешней оболочке тоже. И внешних мотивов как раз было очень много.*

— Мы настолько не принимали в с ё, что за этим стояла и сущность. Советское — всё — отвратительно. А там — всё — хорошо.

— *А что потом со стилиагами стало?*

— Вы знаете, талантливые почти все пробились. Ведь что такое стилиаги? Это часть шестидесятников. А шестидесятники — это две части поколения: одну исключали из комсомола, а другая исключала из комсомола. Один шестидесятник — это Афанасьев, главный пионер Советского Союза, а другой — его друг, которого он из комсомола, повторяю, исключал. А теперь они все — шестидесятники.

Они были разные. Пробились и те и другие. Стилиаги пробились позже и уже на излете советской власти. Это кто со способностями. А те, кто без способностей, те — сгнули. Потому что стилиаги были близко к криминалу... Кто спился, кто просто помер рано. А кого власть сгноила. Вылетали из института — и всё. Всё.

— *А вы скучаете по советскому времени, ностальгируете?*

— По советскому времени не скучаю ни одной секунды. Как ненавидел советскую власть, так и сейчас ненавижу. Ничего ей не простил. Ничего. А по времени скучаю — эстетически. И не по советскому

времени, а по мировому времени середины XX века. По классике XX столетия.

Да-да, XX век имел свое классическое время. Оно было очень страшное, на самом деле, причем во всем мире. Но эстетически это была классика. От середины 30-х до середины 50-х. По этому времени я скучаю «декоративно», хотя половину его прожил мальчишкой.

А осознанно скучаю не по советской, но по Империи.

— *Как? Не может быть.*

— А я вообще империалист.

— *В каком смысле? И как это совмещается с ненавистью к советской власти?*

— Во всех смыслах — кроме советской власти — у нас была прекрасная страна. И эта страна, на мой взгляд, если бы не субъективный фактор, могла бы оставаться. Империя минус советская власть. Еще точнее: минус запрет на частную собственность.

Да, империи все распадаются. Но все они не похожи на Россию... Я скучаю по Российской империи. Я полагаю, что это было блистательное во всех смыслах устройство — и очень жалко, что оно распалось, повторяю, в большой степени по субъективным причинам. Я в принципе считаю империю более прогрессивным способом устройства общества, чем монациональное государство. Собственно говоря, в империи можно было прийти к тому глобализму, к которому сейчас пришли без империи. И минута такие потери и унижения.

— *Вы, наверное, весь Союз исколесили?*

— Я был в командировках — всюду. Да и прожил десять лет постоянно на Украине.

— *Как это так?*

— Детство в военном городке. Место называлось Капустин Яр. Это был первый советский ракетный полигон. После этого надо было где-то учиться — и был выбран Днепропетровский университет, потому

что там были ракетные специальности, а я был под большим влиянием отца... Инженер из меня вышел, впрочем, плохой. Я был плохой инженер. Вот и всё. Я учился в Днепропетровске, потом работал в Днепропетровске на ракетной фирме. Украину я не любил никогда, потому что там жил. Мне, естественно, больше нравились те республики, где меньше чувствовалась советская власть. Кавказ (прежде всего Грузия) и Прибалтика. Естественно. И не потому что мне так уж был приятен тамошний национальный характер. Нет. Я, например, всегда очень сильно чувствовал комическую сторону национального характера — скажем, грузинского. Но и в Грузии, и в Прибалтике видимость, да и сущность были менее советские. И меня это радовало. Там было меньше советской власти.

Да-а-а...

Но я и ненавидел всю эту жизнь в целом. Приедешь в журналистскую командировку, с вечера нажрешься, утром просыпаешься в гостинице, подходишь к окну: Ленин, лужа и райком. Где я? Черт его знает, где я. Всё. Одинаково и омерзительно. Ленин, лужа и райком.

Что я люблю и очень люблю, так это Москву...

— *За что?*

— Не знаю. Очень романтический город, по моему ощущению. И очень мощная в Москве жизнь изначальная. Даже при советской власти и особенно на ее излете, когда уже многое было можно... Романтическое место. Дикое количество странных людей. И для человека с художественными склонностями эти маргиналы, которые меня всегда привлекали, подарок.

Где я только не жил! Мы же, семья, происхождением из Курска. Но еще до войны вся семья переехала в Москву. А я, как уже сказал, родился в Новосибирске, в эвакуации, потом часть послевоенного детства прошла в Москве, потом мы уехали на полигон. А уже потом, после Украины, я вернулся в

Москву, в 69-м году... И стал я снимать комнаты... На Маросейке жил, недалеко от Шмитовского проезда жил... На проспекте Мира... Потом сменил три квартиры — свои уже... И вот уже лет двадцать живу на Белорусской. Я вернулся к местам детства. А в детстве я некоторое время жил на улице Горького, угол Фучика — в доме, который потом сгорел... Но теперь я в Москве почти не живу — живу на даче.

— *Саша, я недавно где-то прочла у вас, что вы с гондами разочаровались в иронию, которая была столь любезна вам и вашим сотоварищам в юности, — разочаровались, поняв, что она есть едва ли не синоним цинизма. Что пришло ей на смену в вашей писательской интонации?*

— Ирония — таков был стиль общения шестидесятников. А ирония — это и есть цинизм. Деликатный синоним цинизма. Разочаровался? Но тем не менее мои рассказы из новой книги — они абсолютно иронические. Ирония — это вообще очень еврейская черта (от себя не уйдешь)... Но чем отличаются мои новые рассказы от того, что я писал когда-то? Ирония теперь у меня плавно перетекает в горестный пафос... Поэтому они не циничные, надеюсь.

Советский народ был весьма склонен к иронии и юмору. Это была такая народно-интеллигентская форма государственного цинизма.

— *А мне кажется, что настоящего юмора в советской литературе было маловато. Особенно после разгрома Зоценко...*

— В нашей среде юмор был нормальной манерой общения. То, что потом стали называть стёбом. Почему? Потому что — нельзя же принимать всерьёз то, что вокруг тебя делается. Если принимать всерьёз, то надо было идти на площадь.

— *Или в острую сатиру...*

— Сатиры никакой не было. Нет-нет, надо было идти на площадь, что в силу ироничности казалось,



во-первых, глуповато, во-вторых (я всегда принципиально так считал), если заниматься э т и м, то это другая работа, а не писательство. И еще причина не идти: в результате победы того, за что ты борешься, жизнь всегда ухудшается.

— *Почему же тогда очень умные люди из века в век...*

— Значит, не очень умные! Есть такое соображение (не помню, кто сказал): «В революцию шла лучшая часть русской молодежи, но не самая умная». Лучшая. Лишенная цинизма. Жертвенная. Но отнюдь не самая умная. Согласитесь, что романтизм как правило глуп.

— *Соглашусь. Хотя я сама склонна к романтизму и, значит, глуповата... Саша, а вы любите Жванецкого?*

— Я считаю его безумно одаренным человеком. Но вообще, думаю, что нельзя смеяться над людьми — со стороны. Как будто ты нездешний. Как будто смотришь вокруг как пришелец, как будто сам — с Луны, а находишься среди аборигенов.

Чем отличается великая сатира Щедрина от того, что пишут сейчас, даже самого лучшего? Щедрин куда жестче оценивал жизнь, но в каждом слове слышишь: это не то чтобы он так изучил русский народ, — он про себя пишет. Он себя изучил и все это про себя пишет. А теперешние словно бы в лупу рассматривают насекомое.

— *А Зошенко?*

— Страшная вещь: я не люблю Зошенко.

— *Но какой талант!*

— Он гениальный писатель, но я его принципиально не люблю. Знаете — почему? Два белогвардейца, — ведь они были белогвардейцы, в сущности, Зошенко и Булгаков, — но Булгаков выбрал сатирико-патетическую интонацию для отношений с тем, что наступило, а Зошенко — идиотическую. Швейк! Зошенко, надо сказать, просто очень не повезло. Раз — и размазали. На самом деле, он советской власти опасен

не был... Выдавать себя за идиота — обычно это помогает выжить. «Бравый солдат Швейк» написан о том, что объявление себя идиотом есть способ выжить в жутких условиях. Либо ты объявляешь себя идиотом и выживаешь, либо ты говоришь: «Нет, ребята, я не идиот, это вы все уроды». Но тогда ты не выживаешь. Это нежизнеспособная позиция, а объявить себя идиотом — жизнеспособная.

— *Вы чего — остроумнейшего «Швейка» не любите? За что?*

— Люблю, очень люблю. Но при этом осуждаю. За цинизм. Чудовищный, заоблачный цинизм. Я, когда был в Праге, естественно, спросил, как пройти в швейковскую, то есть гашековскую, пивную, и пожилой человек (из тех, кто нам 68-й год не простил) спросил: «Вы хотите посмотреть, где сидел этот дезертир и предатель?» Он еще заговорил со мной — и то хорошо!

Я понимаю, что я — со своим монархизмом (который теоретически одобряю), империализмом, равнодушием к собственному еврейству и неприятием Швейка — двигаюсь в сторону Проханова и других чудовищ, но мне, честно говоря, наплевать! Наплевать, что обо мне подумают наши либералы, — тем более что они всё уже, что им надо, обо мне думают.

— *А я полагала, что вы — из их круга.*

— Я со многими своими прежними друзьями и приятелями разошелся в этом смысле за последние годы...

— *А как же вы в «Московских новостях» работали?*

— Вот и не работаю там уже восемь лет. Когда я понял, что, даже будучи замглавного, я не могу влиять на позицию газеты, — я ушел оттуда. И ушел в «Коммерсантъ», который тогда наименее был в этом смысле «замаран» либерализмом, этой новой левизной. И с друзьями-либералами и борцами за свободу слова и прочие права человека испортились отно-

шения... Грустно это: патриотизм, государственничество и почвенничество у нас противные и бездарные, а либерализм и западничество — глуповатые и пошлые...

— *Но это ведь неправильно — ни в одной цивилизованной стране близкие люди не могут поссориться из-за того, что принадлежат к разным партиям.*

— Там это невозможно, потому что там в одном социальном кругу не пребывают люди диаметрально противоположных убеждений. Если ты университетский человек, то ты левый. Других нет. Не может быть и нету правой университетской интеллигенции. А у нас в одной социальной категории — политические противники...

— *Ладно. А скажите, в ежедневной жизни вам кто будет ближе — циник или романтик?*

— Романтик. Для жизни, конечно, романтик. И всегда у меня так было. Я очень не люблю циников. Цинизм — опасное для окружающих состояние. Крайняя форма эгоизма. Мы все знаем, что человек больше всех ценит себя самого. Если нет у него сверхъестественной способности к самопожертвованию. Но только циник это проявляет ясно, недвусмысленно, категорически и всегда. Мы все приучены это скрывать, а циник — нет. А циник на это плюет.

— *Но вы сами говорили, что всю юность провели среди юмористов-циников...*

— Тот цинизм был направлен пр о т и в . Против окружающего безумия. А между собой у нас шел нормальный, серьезный разговор.

— *А какие женщины вам ближе — романтически-жертвенные или стервы?*

— Я стерв не люблю. Я их сразу вижу и отталкиваю умом. Но это может происходить (так и происходило) — только на психологическом уровне. Потому что на физиологическом уровне — все другое. Там все наоборот. Но я почти всегда эту физиологию

ческую составляющую преодолевал. Есть люди, которым стервы кажутся романтическими, а я сразу вижу в них пошлую составляющую. В них ведь всегда заключена сильная пошлость. И они смешные. Чувство юмора выручает.

— *А ведь они, стервы, бывают очень властными и хотят обладать человеком целиком...*

— На этом у меня все и кончалось. Не успев начаться. Меня привлекал неромантический и даже обывательский тип женщины — душечка. В душечке, на мой взгляд, меньше пошлости, чем в женщине-вампе. Для меня этот тип женщины был гораздо привлекательнее. Я в юности — когда меня это еще интересовало — говорил: «Женщина должна быть машинисткой или медсестрой, а лучше и то и другое». Понимаете: медсестра, которая умеет печатать (тогда это было актуально: машинистка)... Хотя и сам я прекрасно на машинке печатал.

— *Ну, теперь душечка должна уметь печатать на компьютере... А вы пишете черновики, а потом уже — на компьютер?*

— Я пишу сразу на компьютере. Если я закрыл страницу (если не закрыл, еще могу переделывать), — то в следующий раз я ее увижу уже опубликованной.

— *Вы когда работаете над прозой, план предварительный составляете?*

— Очень общий план. В голове. Черновиков нет вообще. Какие сейчас могут быть черновики — компьютер!

— *Последний роман вы назвали «Все поправимо». Мне это название нравится, но оно странное. Очень катгоричное и публицистичное.*

— Оно идет от известного — «Все поправимо, кроме смерти».

— *А были иные варианты заглавия?*

— Были. Роман сначала назывался «Долго и счастливо». Вся жизнь — провалилась, и вот сидят в кон-

це два старика, как бы уже и чужие друг другу. Жизнь прошла, и почти врозь. А никуда они друг от друга не денутся. И поэтому «все поправимо».

— *А почему вы решили дать эпиграф из Бунина?*

— Потому что я Бунина обожаю. В этом эпиграфе очень многое сказано про жизнь моего героя. Эпиграф возник в конце работы. Я помнил примерно это место у Бунина, но не помнил точно — откуда. И мне пришлось все девять томов пролистать, чтобы его найти...

— *В этом вашем романе поражает необычайная детализация и материальная, вещественная плотность описаний. Например: «Лыжные байковые штаны-шаровары с застегивающейся манжетой внизу и двухцветная куртка-бобочка, низ из отцовых старых синих галифе, верх из материнной клетчатой серо-черной юбки, молния с поводком-цепочкой от какой-то износившейся тряпки еще из американских посылок...» Как вы сами трактуете свою писательскую страсть — рассматривать жизнь словно бы сквозь лупу?*

— Это — прием. Я свою собственную склонность к видению подробностей материального мира довожу до предела. Я вообще хотел написать этот роман с легким поклоном в сторону стилистики Джойса. С легким поклоном. Он фиксировал каждую секунду, а я — каждую точку. Он время зафиксировал, а я — материю. Я воспользовался личными свойствами памяти. Если мы с вами встретимся через пять лет, я вам опишу, в чем вы сегодня были. И часы, и очки, и шарф... Такая память. Она развита стилизмой юности, когда с одной стороны старого Арбата, глядя на другую сторону старого Арбата (через улицу, по которой еще ходил троллейбус), за витриной комиссионки, в полутемноте, по рукаву с пуговицами я мог определить происхождение — страну и фирму — пиджака.

Это распространяется и на другие детали. Я могу досконально вспомнить, что испытывает человек, ко-

торый едет в Одессе на трамвае, ходившем в 60-е годы с вокзала на Фонтан. Закрыв глаза, я могу вспомнить материальность ветки, которая задевает вагон.

Просто память хорошая.

— Ясно. Кого из русских писателей-современников — кроме очевидного для меня Трифонова — вы могли бы назвать своим учителем?

— Аксенов. Я уже говорил — Аксенов. Я его люблю, мы с ним дружим, насколько возможна дружба с безусловным классиком.

Еще из ныне пишущих мне очень нравятся рассказы Асара Эппеля и Жени Попова. Они к тому же — мои приятели. Саша Мелихов. Только что прочел его последний роман «Чума» — хорошо. Я вообще откровенно пристрастен к приятелям.

А одно из сильнейших и совсем не приятельских впечатлений последних лет — Сергей Болмат. Интересная фигура. Он — питерский художник средних лет, насколько я знаю, уехал в Германию, там написал роман. Роман называется «Сами по себе». Он вышел года три-четыре назад. Блистательно. Вот какой роман я хотел бы написать!

Я, знаете ли, слежу за современной литературой, но нельзя сказать, что я ее всю читаю.

— А из более дальних?

— Бунин. Иностранной литературы я не большой поклонник. За редким исключением — она малозначительна. Наша крупнее. Поэтому у нас литература так много и значит. Да-а-а... А если совсем по-настоящему, то — проза Пушкина. Ее мне полностью хватает. В ней — целая литература. Выше головы. Берешь «Капитанскую дочку» — и там всё.

— Скажите, а как у вас дело обстоит с честолубием? Помните, у Ахматовой: «И не знать, что от денег и славы/ Безнадежно стареют сердца»? Согласны?

— В молодости у меня с честолубием было никак. Я вам говорю, я был как растение. С возрастом чес-

толюбия стало больше. Времени остается меньше, славы хочется больше.

— *У вас, после выхода в свет «Невозвращенца», был грандиозный успех...*

— Равный последующему неуспеху. По сути — потом были провалы. Я не свихнулся, потому что все это время работал, служил журналистом... Для меня эта временная известность, совершенно безумная и, прямо скажем, в литературном отношении несколько сомнительная — года три в начале 90-х — прошла спокойно. Мне и мои приятели говорили: «Ты держись, как будто так и надо... Не меняешься, как многие...» Я этим успехом вполне наслаждался, но я не сходил с ума.

— *А когда оно пошло на спад?*

— Я это переживал. И до сих пор переживаю. Но я писал почти по роману в год. И сразу, через четыре месяца, печатал, чему способствовала известность. Книжка — книжка — книжка — книжка... У меня за десять лет вышло десять книг. И от них камня на камне не оставила критика — кроме Володи Новикова, который меня любит, дай ему бог здоровья. Прочие оценивали в диапазоне от просто ругательств до «графомана».

Ну и что? Книжки выходят? Выходят. Кому-то нравится. Читатели прилично принимали. Особенно читательницы — там же все про любовь. Причем про такую любовь — адюльтер, героиня — интеллигентная женщина средних лет...

— *Вы где-то написали, что вас как прозаика всегда особенно волновала т а й н а я любовь. Почему?*

— Как всякое подполье. Ну, вот роман «84-й» — считается, что про тоталитаризм вообще. А я-то глубоко убежден, что он — про любовь тайную. Тайная любовь (такой сюжет) — и больше нет ничего! И вообще, самый антитоталитарный жанр — описание тайной любви... Итак, я утешал читатель-

ниц. Плюс всегда была работа — я служащий человек.

Правда, в последние годы меня недоброжелательность критики д о с т а л а и я критику возненавидел. Но успех последнего романа среди критиков, он меня обезоружил. И я подумал: а может, критики были правы? Написал что-то стоящее — вот и похвалили, а писал дерьмо — вот и ругали. Черт их знает!

Что хорошо, а что плохо — вскрытие покажет.

— *И все же, пока далеко до вскрытия, давайте подумаем: что такое роман как жанр? Не искусственно раздутая повесть и не цепочка рассказов, а именно роман в старинном смысле слова?*

— Роман — это жизнеописание. Описание жизни. Не случая из жизни, не житейской коллизии, а ж и з н и . В целом. И непременно — любовная история.

— *Какая вещь для вас — пример настоящего романа?*

— «Анна Каренина». Я как в детстве отличился? Я в школе учился лучше всего по гуманитарным, а по математике тоже хорошо, но без особого интереса (случайно стал инженером: спасибо папе)... И написал я в девятом классе сочинение по «Анне Карениной». Советская власть, да? Считается: Анна — несчастная женщина, которую затравило дворянское общество... А я набрался смелости (умный мальчик) и написал сочинение, смысл которого был таков: дрянь, бросившая прекрасного, достойного мужа и сына — ради ничтожества. И главное — потом еще обиделась на весь мир за то, что в опере на нее косились.

— *Вы вроде бы и правы, но Анне можно все простить за то, как она расплатилась...*

— Это не она расплатилась. Паровоз на нее напустил Лев Николаевич вопреки, на мой взгляд, ее желанию. Это он ее наказал. Он уложил на рельсы.

— *А сама бы она не бросилась?*

— Конечно, не бросилась бы... В общем, написал я такое сочинение в девятом классе, и мне быстрень-



ко поставили двойку за содержание и пятерку за грамотность. Но потом моя учительница отметку за содержание исправила, сказав только, что не согласна со мной...

Я и сейчас считаю: «Анна Каренина» — морализаторский роман, абсолютно гениальный, но с придуманным финалом как в басне: мораль сей басни такова. Там глубоко исследовано женское существо: предпочтение Каренину Вронского как предпочтение грязи и остроты — порядочности. Выбрать ничтожество, имея абсолютно безукоризненного мужа. Каренин — благородный человек, безупречнейший... Был бы он похуже! Эта тяга к дурным приключениям есть и у некоторых мужчин, но они тогда идут в революцию, в авантюры, в активную маргинальность... Из тех же самых соображений.

— *Вы много лет совмещаете литературные занятия и журналистику. Не мешает ли художнику профессия журналиста?*

— До поры до времени удавалось совмещать. Я считаю это совершенно разными и далекими занятиями. Есть же писатели, которые параллельно работают инженерами или агентами по недвижимости.

— *Эти сферы — проза и журналистика — далекие, но и то и другое — слова.*

— Бухгалтер в отчете тоже пишет слова. Есть принципиальное различие писателя и журналиста. Журналист ничего не имеет права выдумывать — иначе он вылетит из профессии. А писатель, даже если он пишет автобиографию, выдумывает — всё. Поэтому они и не пересекаются.

Но с некоторых пор я уже перестал быть журналистом — лет семь или восемь. Я — профессионально работающий в газете писатель. И колонки мои в газете, и эссе — они все писательские. Правда, я сохранил профессию журналиста на редакторском уровне.

— *Вам никогда не хотелось преподавать?*

— Очень хотелось. И сейчас хочется. Но мне никто никогда этого не предлагал. Я, впрочем, научил делу многих молодых журналистов... Не на факультете, а просто так — на работе. Но сейчас я бы уже за преподавание, наверно, не взялся. Времени жалко. Писать надо.

— *Сейчас пишется что-то совсем новое?*

— Последний рассказ я закончил в прошлое воскресенье. То есть дней пять назад. Я сшил книжку, придумал название...

— *Название — секрет?*

— Не секрет. «Московские сказки». Есть, например, «мордовские сказки» — будут «московские»... Есть у меня еще один (не люблю этого слова) проект. После рассказов мне захотелось сменить жанр. Я раньше между романами писал непременно один-два рассказа — причем в абсолютно другой стилистике. А теперь будет новое. То ли пьеса, то ли... Нет, не хочу говорить подробно.

— *Вы одну вещь пишете запоем или урывками?*

— Запой не получается — я служу. Но независимо ни от чего (даже если накануне был день рождения или праздник), если нахожусь в процессе писания, утром включается компьютер — и вперед. Плохо — потом переделаю. Две страницы написал — компьютер выключается, и — на службу.

— *Раз вы уже однажды в «Невозвращенце» предсказали нашему обществу его недалекое будущее, то спрошу: ваш прогноз на ближайшие... ну, лет десять. Что с нами со всеми будет?*

— Я никогда не мог о таком говорить — только писать. Складывается картинка, а из картинки все само собой вырисовывается. А если стану рассуждать логически, то это будет на уровне политического журналиста.

Но все же скажу: я глубоко убежден, что ни Россия, ни даже Северная Корея, Ирак, Иран, Куба не

избегают общей участи: путь — один. Путь рыночной экономики. Мы может трепыхаться сколько угодно, но движение — в одну сторону. Одностороннее. В другую сторону не получается. Только это — естественное устройство общества, все остальное — попытка сделать нечто искусственное. Как в том анекдоте: «Социализм надо строить, а капитализм достаточно разрешить».

— *Ваш прогноз: у нас возможен возврат к тоталитаризму?*

— Помню 85-й год. Все ждали погромов — почему-то в мае. «В мае будут погромы...» Я не верил... Прошел май, прошел год... Где погромы? Никто не говорит: «Я был не прав». Эти прогнозы проходят бесследно.

— *Вы — оптимист?*

— Я сам придумал такую формулу: «Все гораздо хуже, чем хотелось бы, но гораздо лучше, чем могло бы быть». Это касается всего, но прежде всего — моей собственной жизни. Я в принципе — очень счастливый человек. Скажу почему. Мальчишка — из семьи, в которой не было вообще гуманитариев. Никогда. Тихие, законопослушные еврейские технари и военные. Никуда не лезли. Советскую власть не любили, но это про себя, шепотом... Даже шепотом опасались... Мое детство прошло в деревне, потому что полигон — это деревня. Я хотел быть писателем. Ничего этому не способствовало. Я получил другое образование, я жил в провинции. Ниоткуда — стал писателем. То есть получил больше, чем рассчитывал. Я был инженером, бездельником, как почти все инженеры, кавээнщиком, пьяницей... Ну, в общем, понятно. Помню, как я представлял себе году в 67-м свою идеальную жизнь. Теперь я намного старше, чем тот, кем я сам себе представлялся. Итак, мечта: я сижу в каком-то московском кафе (а тогда и кафе-то нормальных не было, не то что теперь) — немо-

## ЖИЗНЬ КАК БЕСЕДА

лодым, не первой степени известности, но, как бы это сказать, почтенным человеком, которого уважают в литературном цехе. И все ко мне подходят... Такая вот невнятная картинка. И больше ничего не нужно. Ну? И все сбылось с троекратным превышением! Превышено даже то, что «хотелось бы». Чего еще желать?

*Ноябрь 2004*

# Юлий Ким

## По жизненному пути

— Юлик, мы сначала пойдём по жизненному пути...

— Пойдем!

— ...А потом — проблемы.

— Ага. Проблемы.

— Вы можете назвать миг, когда вы впервые себя помните?

— Память у меня, во-первых, плохая. Я знал людей, которые себя помнили с двух-трех лет — причем очень подробно, а один говорил, что чуть ли не каждый день помнит с тех пор, как себя осознал. Такое свойство памяти. У меня всё — с обратным знаком. Только коротенькие вспышки, связанные с войной. Я помню пролет «мессершмиттов» над домом, где мы жили (дом не помню совершенно), — помню отдаленный лесок, два самолета, и вот мне сказали, как они называются.

41-й год. Мне пять лет. Город Наро-Фоминск. Потом я помню вокзал, темный, и — это уже исторический факт — мы уехали из Наро-Фоминска последним эшелоном.

— Кто это «мы»?

— «Мы» — это я с сестрой, бабушкой, нянькой и теткой, которая жила в Люберцах. И она нас вывез-

ла из Наро-Фоминска перед тем, как туда вошли немцы. Тоже 41-й год, тьма, тетка с каким-то начальником, идут вдоль поезда. И тогда же и в связи с этим — мы пробираемся по вагону, а света ноль, буквально по раненым, которые матерят нас во все дырки. А мы об них спотыкаемся. Чтобы найти какое-то пристанище... Вот это я помню.

И таких вспышек у меня немало. Из моего военного детства, конечно, помню дом в Люберцах, где мы жили... Верней, нет, не Люберцы, а Ухтомка, станция Ухтомская. После Косина идет Ухтомка, а потом Люберцы.

— *Вы подмосковный?*

— Нет. Родился-то я в Москве. Это четкий факт моей биографии. (*Смеется.*) А «час зачатья я помню неточно...». И — час рождения тоже. В 1936-м я родился, а в ноябре 1937-го папу взяли: мне года не было еще. В феврале его расстреляли, а чуть позже арестовали и маму. Еще мне не было двух лет — нас с сестрой забрали родственники, хотя над нами уже нависал детский дом, приют... Но нас быстро выхватили дедушка с бабушкой, и мы оказались при них в Наро-Фоминске. А потом тетушка нас забрала накануне немцев: немцы вошли на следующий день после того, как мы уехали. Увезла к себе в Ухтомку, где мы и провели всю войну.

Потом мама вернулась из лагеря, и мы поселились в городе Малоярославце, за 101-м километром, где мы с Алей провели все наше отрочество. Аля там закончила десять классов, поехала в Москву учиться на медика, а я (я моложе ее на три года) остался с мамой... Далее мы удалились в Туркмению.

— *Как так?*

— Так. Сначала после войны за нехваткой учительских кадров отбывшим срок по 58-й статье позволяли работать в школе и вообще, так сказать, на идеологическом фронте. Например, библиотекарями

или, допустим, в РОНО... А в 1948—1949 годах опять закрутили гайки и стали брать повторно 58-ю. Но маме посчастливилось: хотя позже оказалось, что и на нее уже было выписано постановление о повторном аресте, однако что-то там в их бюрократии не сработало, и ее только уволили из школы, где она служила (мы и жили при школе)... С 1949 по 1951 год мы пребывали в совершенно ужасающей нищете. Мама в городе Малоярославце работала учетчицей швейного цеха. И если бы не одна родительница ее бывшего ученика, Лариса Федоровна Чирикова, которая пустила нас за бесплатно в комнату, то мы бы погибли. А это нас спасло — и мы два года кое-как прокантовались...

А потом мама завербовалась в Туркмению, на строительство Главного туркменского канала — ей сказали, что в Туркмении посвободнее и полегче, а главное, там все подешевле... Так оно и оказалось. И мы после голода очутились в Ташаузском краю... Ехали долго. До Ташкента, из Ташкента — в Чарджоу. Из Чарджоу — в теплушке до Ташауза... Так мы вдвоем с мамой добрались до места и получили временное жилье от этой конторы. И зажили мы по-царски, потому что там все было безумно дешево... Как я помню первое впечатление от среднеазиатского базара! Огромные горы всякой еды — и сырой, и печеной. Всё — пахнет. Горы дынь и арбузов. Невероятного размера помидоры. Всё больше, всё огромное, чем в России. Даже картошка — огромная.

И особенно хороши были эти самые — как их? — чуреки — лепешки жареные, свежие, горячие — с картошкой... Мы с мамой наслаждались!

— Юлик, а как звали маму и из какой она была семьи (мне всегда интересны не только листья, но и корни)?

— Мама моя — Всесвятская Нина Валентиновна — классическое продолжение русской земской интеллигенции в советское время. И по биографии, и по

духу. Ее дед — Василий Павлович Всесвятский — главный священник главной церкви Уготско-Завадского уезда Калужской губернии. Он Жукова крестил! А его сын Николай Васильевич — лечил. А другой сын, Валентин Васильевич, тоже был врач — мой, стало быть, дед. Это был огромный Всесвятский клан, и они много хорошего сделали для уезда. И это народническое подвижничество было у них в крови, и на моей памяти — большие семейные сборы с бесконечными песнями до- и послереволюционными. Голосисты были Всесвятские, что, без ложной скромности, отчасти и мне перепало.

— Скажите, а кто был ваш папа и почему его так стремительно замели и уничтожили (хотя какие могли быть при Сталине «почему»)?

— Мой отец был — как бы это сказать — разнообразно малообразованным культурным человеком. Я сейчас уже забыл основные детали. Он закончил школу на Дальнем Востоке — и сам работал учителем начальной школы, когда ему было лет, по-моему, семнадцать... Мой отец — кореец, но преподавал он русский. Потом он работал в издательстве в Хабаровске, где и встретился с мамой, а мама перевезла его в Москву. Здесь он поступил в ГИТИС на театральный — одновременно работая в издательстве «Иностранный рабочий» (впоследствии «Иностранная литература») переводчиком. С русского на корейский и обратно.

Он был разнообразно талантливый человек, но главное его стремление было стать театральным работником. Он учился режиссуре... Ему было-то всего 34 года, когда его арестовали, — и он исчез с лица земли.

— А что ему инкриминировали?

— Тогда арестовали очень многих корейцев в Москве, и всем им вменяли шпионаж в пользу Японии. Всем, кто из Приморья, впечатали этот «шпио-



наж». И только сравнительно недавно, благодаря усилиям здешней корейской общины, мы с сестрой оказались на том месте, где лежит его прах...

Это не точное место — там даже братской могилы нет. Некоторая территория, именуемая «бывшая дача Ягоды» (сейчас она называется Коммунаркой, почему — не знаю). По Киевскому шоссе — от Москвы километров пятнадцать. Близко. Здесь, в Коммунарке, среди несметного числа прочего народа, лежит меньшая часть арестованных в Москве и расстрелянных корейцев; основная — в Бутове.

Это и правда была дача Ягоды (гектаров десять), потом там устроили просто пункт НКВД, куда свозили и где, кажется, прямо и расстреливали. Нам с сестрой показывали поляну, которую местные так и называют: «расстрельная поляна»... Там стоят три памятника: один общий, а отдельно — якутским деятелям и, кажется, башкирским. Поименно. Якуты и башкиры, молодцы, собрались поставить своим памятники, а больше пока никто... В общем, пришли мы с сестрой на «расстрельную поляну» и положили на голый снег наши розы.

— *Вы отца не помните?*

— Нет. Я и матушку-то вспомнил, только когда она вернулась! Сестра постарше меня, но даже она папу помнит очень смутно.

— *Мама долго прожила?*

— Мама прожила, к сожалению, недолго — она скончалась в 66 лет. Я сейчас уже ее старше.

— *Ясно. Я недавно прочла у Дмитрия Быкова, которого почитаю очень ярким и лириком, и прозаиком, и журналистом, что вы один из выдающихся поэтов XX столетия, но при этом — «пасынок века». А вы сами как себя ощущаете — как пасынок или как сын, пусть и блудный?*

— Дима, с которым мы друг другу глубоко симпатизируем, талантливейший человек, но он любит по-

ражать и эпатировать. И по телевизору, и в статьях, и где угодно, и даже в своих первых прозаических опытах... Что касается его формулы, то я — абсолютно, конечно, дитя минувшего века. Дитя, сын... Может быть, он такого рода детей всех готов назвать пасынками? В том смысле, что к пасынкам всегда отношение отдельное и пасынки всегда больше страдают... *(Смеется.)*

— *Мне та-а-ак понравилась ваша книга «Однажды Михайлов» — о детстве, о школе, о юности, о Лубянке! Как там выразительно дано ваше время! Ее надо читать, ее надо пропагандировать...*

— Совершенно с вами согласен. *(Хохочет.)*

— *Из этой книги я узнала, что вы после Московского пединститута работали школьным учителем — причем последовательно в трех разных школах. Что вам дала работа с детьми и что из нее вы перенесли на законы литературного (и театрального) творчества в целом?*

— Когда я думаю о стихах Окуджавы, мне все время мерещится школьный учитель. А мы с Булатом в чем-то шли параллельно... Он ведь тоже учительствовал. Когда я учился в Малоярославце, он учительствовал в школе в Калужской губернии, в соседнем районе. Да. И мне кажется, что у него и в стихах, и в песнях постоянно звучит нотка этого учительствования. Слегка назидательная... Я все время задавался вопросом: а нет ли и у меня такой нотки? Есть, но у меня ее сложнее найти. Она — только в тех стихотворениях, которые относятся к чистой лирике. Не в песенных.

Но вообще, четко ответить на ваш вопрос я никак не могу, потому что интерес учительский все же совершенно отличен от интереса писательского. Они не соприкасаются.

— *А в способе, как говорится, подачи материала?*

— Ни малейшего сходства... Я не вижу, в чем бы пересекались учительство и сочинительство. Единст-

венное, что могу сказать: усиленные занятия художественной самодеятельностью в школе, действительно, проложили для меня столбовую дорогу к профессиональной сцене. Безусловно. Тут прямая связь... А в учительстве — свои увлечения. Например, у меня был большой азарт — тащить троечника в отличники. Случались на этом фронте и достижения. Или еще задача — заставить инертную массу 10-го «А» стать более активной, разговаривающей, мыслящей... Ну и так далее.

— *Приведите примерчик, господин учитель.*

— Помню отлично: например, в московской школе, не в физико-математической, а в той, где я работал раньше, в 135-й, и где я на его трудном педагогическом пути сменил человека, хорошо вам, Таня, наверно, известного... Сашу Аронова. Он, конечно, гораздо лучше моего толковал поэзию, знал стихи, учил их любить, но зато совершенно не занимался практической грамматикой... А я, как раз набивший руку на камчатских учениках, привез разветвленную систему практической грамматики, особенно пунктуации, и очень хорошо ее применял, поэтому у меня отпетые двоечники становились твердыми троечниками, а то и четверочниками по грамматике. Я этим весьма серьезно занимался и имел успехи. Нашел свою логику, а главное, учил их писать небольшими предложениями. (*Смеется.*) Два придаточных — максимум. Я предлагал им хемингуэвский стиль. (*Хохочет.*)

— *А ваши бывшие ученики появляются до сих пор в вашей жизни?*

— Да, конечно. Из каждой школы, где я преподавал, кто-то всплывает время от времени... Буквально три недели назад здесь, на улице, человек из 135-й школы остановился, и я его узнал. Вспомнил.

Понимаете, я у них в то время появился, когда все запоминается очень остро.

— Ну, вы теперь знаменитый...

— Я не знаменитый, я им как раз тогда наверняка запомнился... Я же с ними так хорошо работал! Дело даже не в любви, а дело в том, что я призывал их шевелить мозгами, думать, живо обсуждать «Войну и мир», учиться трепаться. И не в духе казенной интерпретации, а в духе живого человеческого восприятия.

— Ясно. А вы на Камчатку после начала 60-х больше не возвращались?

— На Камчатку я возвращался шесть раз. Работать после первых трех лет я вернулся через два года. Потому что ностальгия заела. А потом просто наезжал. Приехал с киногруппой — провел полмесяца на съемках. После 1966 года приехал в 1983-м. Приехал с женой и дочерью. Потом был большой перерыв — в 1991-м я приехал один. И еще в 1995-м. И если все будет хорошо, то седьмой раз поеду на будущий год.

— Вопрос: что для вас ярче — Камчатка, где вы жили и бывали, или Израиль, где вы нередко живете теперь?

— Каждое место — по-своему ярко. А сила привязанности и впечатлений — она равна. И в равной степени значительна, хотя по содержанию различна.

— Теперь у меня будет сложный вопрос — насчет диссидентства.

— Ничего сложного нет. Для меня существуют только две сложные темы, которых я сторонюсь, — это «я и женщины» (смеется) и «я и религия».

— Поняла. Вы были в гуще лучших людей диссидентства или, если шире, протестного круга. В полюбившейся мне книге «Однажды Михайлов» у вас есть такой фрагмент: «И теперь с великой досадой слышу я, как то один, то другой достойный человек, вспоминая недавнее время, говорит с некоторой даже брезгливостью: «Нет, диссидентом я не был, слава богу!»

*Нашел чем гордиться. Ведь, по сути, расписался в трусости. Ведь, как ни объясняй свою позицию, а картина выходит одна: возмущались тысячи — протестовали единицы. Остальные помалкивали. А молчание — знак согласия с властями».*

*Да, конечно. Ну а теперь? Почему многие из, скажем так, протестных шестидесятников теперь молчаливы и буржуазны? Уроки истории, усталость ли, возраст?*

— Все объясняется чрезвычайно просто. Диссидентство — это не профессия. Это историческое призвание. Обращено оно было ко всему нашему обществу, а откликнулись на этот исторический призыв немногие. Если иметь в виду строго диссидентство — людей, которые сознательно шли «на статью».

— *Например, из бардов «на статью» шел только Галич, да?*

— Из бардов? Да. Немножко — ваш покорный слуга и, конечно, да, Галич. Остальные тоже делали свое дело, и, может быть, кто-то творчески даже лучше Галича, но вот на статью конкретно — с прямыми обвинениями советской власти — тянул он. Остальные — косвенно. Что не означает, будто их подвиг — меньший подвиг. Нет. Потому что каждый делал свое святое дело. Утверждение свободы мысли явочным порядком. Только Галич при этом не стеснялся бранить Советы, а Высоцкий стеснялся, или ему это было не нужно. Скорее всего, опасался. Но это не значит, что он был трус... Цитата, приведенная вами, сказана вскользь — она в контексте того рассказа, где я ее написал. А вопрос о трусости и нетрусости я отдельно разбираю в новелле, которая называется «В гостях у Силиса»...

Теперь еще о диссидентах. Диссидент — это человек, который крикнул: «Не могу молчать!» Не побоялся сделать это в разгар советской власти. Но это его не обязывает кричать всю оставшуюся жизнь.

Диссиденты тогда кричали: «Дайте сказать!..» И Горбачев им дал.

— *А после Горбачева?*

— А после Горбачева диссидентство кончилось. Кончился этот исторический спрос. И зачем же дальше спрашивать с бывших диссидентов? Все продолжились — кто как может. Один диссидент отвалил в Америку, как Паша Литвинов (правда, он раньше отвалил и стал заниматься своим преподаванием физики). Другой — остался... Лучше всего продолжила свое общественное служение Таня Великанова: она не могла уже вернуться в науку, которой прежде занималась (она была структурным лингвистом), а обрела себя в школе. Она пошла в школу, взяла начальные классы и повела до десятого, преподавая им математику и воспитывая их, конечно. Другие, вроде Сережи Ковалева, пошли в политику. Лариса Богораз была в «Мемориале». А Володя Дремлюга, который в 1968-м вышел на площадь, — уж какой он был отчаянный... И вся его отчаянность вылилась в успешное бизнесменство в Нью-Джерси.

Стали жить кто как. В новейшие времена кто может, тот бесчинствует — вроде нашей замечательной Валерии Ильиничны Новодворской. Но и она не диссидентка. Она воплощает собой явную ветвь общественной оппозиции — легально разрешенной. Вот если Владимир Владимирович начнет дальше закручивать гаечки, тогда появится почва для диссидентства. И возникнет опасность уголовного преследования по политическим мотивам... Как при Советах: были две политические статьи, записанные в Уголовном кодексе, — распространение и хранение антисоветской ля-ля-ля... Таких статей, я думаю, не возникнет. Есть у нас одна похожая статья: оскорбление флага. *(Смеется.)*

А еще скажу: многие расхрабрились сейчас, когда стало можно, а мы-то были посмелее, когда было нельзя.

— Пора перейти к творческим делам. Вы пишете автобиографическую прозу и сами ее резко отделяете от прозы художественной. Говорите в предисловии к книге «Однажды Михайлов», что 90 процентов имен — реальные, а не вымышленные. И даже так (цитирую): «До того, чтобы сочинить какой-нибудь уездный город N со своими Петрами Андреичами и Павлами Иванычами, дело у меня пока не дошло...» И все же многие фрагменты этой книги написаны в третьем лице, про Михайлова, а не про Кима. Объясните внутренний механизм.

— Правильно замечено. Писать о себе в третьем лице — значит, безусловно, уходить в сторону беллетристики. Прием, который дал возможность соединить автобиографическую прозу с беллетристикой. Там есть свои хитрости: я позволил себе немножко передвинуть факты, сдвинуть разные дни в один и все такое. А есть у меня очерк «Однажды Михайлов с Ковалем» — так это не очерк, а чистая фантазия. Все характеры реальные, но это беллетристика по определению.

— Вы как пишете прозу: сознательно или интуитивно?

— В 1999 году, когда я начал писать, то сразу понял, что это будет книга. Серия воспоминаний. Я сразу почувствовал возможности приема и ими воспользовался. Более того, когда книгу завершал, обратился к нескольким новеллам, еще камчатским, ранним — и все равно записал их через Михайлова.

— Вы себя относите к жанру «авторской песни»? Если да, то что этот термин означает?

— Лучше всех на этот вопрос ответил Митя Сухарев, который выпустил огромную антологию авторской песни (если хотите, я вам ее подарю, есть экземпляры) — и там в теоретической части он долго обсуждает, что такое бардовская песня и кто такие барды. И приходит к выводу: барды — это те, кого

так называют. (*Смеется.*) Если предложить другую формулировку, например: «Бард — человек, который сам сочиняет музыку и стихи и сам их исполняет», — тогда вылетает масса людей и сам Сухарев. Потому что он пишет стихи и сам их исполняет, но не специально, а при случае, как автор стихов... Но он же не выступает с гитарой. Дальше. С другой стороны, вылетают Никитин и Берковский и еще целая куча знаменитых людей, которых принято называть бардами... Дулов качается: он пишет то на свои стихи, то нет... Я тоже начинаю колебаться, потому что у меня много песен, написанных на чужую музыку, — Гладкова, Дашкевича... Вроде «Бумбараша» и так далее.

Чистых бардов у нас остается двое — только Вероника Долина и Михаил Щербаков. Больше никого. Нет, я не прав. Еще Высоцкий. Да, Окуджава и Галич — тоже чистые барды.

— *Кого вы больше всех любите из бардов?*

— Михаила Щербакова, конечно. На меня всего сильнее действует Щербаков, большая часть репертуара Булата и, конечно, очень сильно — Высоцкий. Чрезвычайно хороша и еще недооценена Новелла Николаевна Матвеева. Я все жду, когда же у кого-то доберутся руки сделать спектакль по ее песням, их все аранжировать. Почему-то Лена Камбурова до этого никак не доходит. Там такое музыкальное богатство! Такой и книжный, и не книжный романтизм — красивый, искренний, гриновский...

— *Может быть, дело в том, что Новелла сама такая внешне неактивная?*

— А от нее не надо требовать активности — надо быть активными по отношению к ее творчеству.

— *Корни авторской песни, они где — в русском фольклоре, или в городском шансоне, или в романсе, или в блатной песне?*

— Они — везде. Но больше всего (что меня порадовало в открытиях Мити Сухарева) их — в тради-



ции советских песен. В лучших песнях Дунаевского, Блантера, Фельцмана, в стихах Фатьянова. В общем, «На солнечной поляночке...» Моя собственная песня огромным корнем уходит сюда. Например, все мои камчатские песни вышли из советской песни. Из визборовской интонации — тоже, но и она оттуда.

— *Недавно одного хорошего поэта при мне спросили, как он относится к Высоцкому, а он ответил: «Он слишком советский — это для пения ИТР у костра».*

— Во-первых, Высоцкого у костра, как ни странно, мало кто поет. Высоцкого, как правило, слушают самого. Вот что интересно. Вроде он такой — из подворотни... А китчевых песен у него почти нет, и хором его поют очень мало.

— *Сколько лет вы уже живете в Израиле, какова ваша «израильская сага»?*

— Ой, я все думаю, в какой форме эту сагу написать. В первый раз в Израиле я оказался в 1990 году. Это было двухмесячное знакомство... Вообще, я впервые выехал за рубеж в 1988 году, и к тому времени я уже два раза побывал в Париже, два раза в Дании и где-то еще.

Повторяю, в Израиле — в этой экзотической по сравнению с Россией стране — я впервые был два месяца. И уехал оттуда с чувством, что просто побывал в каком-то кусочке России, что в каком-то смысле я не был за рубежом... Знаете, как бы смесь Эстонии с Туркменией! (*Смеется.*)

А я к тому времени пожил в Эстонии — три полных летних сезона провел в Пярну и до этого бывал в Прибалтике... А в Туркмении я жил три года своей сознательной жизни — я там заканчивал десятилетку. Потому смесь Европы с Востоком для меня не стала неожиданностью. И на израильские базары я вступал с воспоминанием о туркменских базарах. Короче, израильская экзотика меня не ошеломила.

Кроме того, в Израиле было вокруг меня столько русской речи, сколько ее не было ни на каких туркменских базарах.

Уехал оттуда я с чувством, что мог бы спокойно остаться, и даже знал уже, где бы я начал работать... Я пошел бы к Эдику Кузнецову проситься в его газету, и, наверное, он бы меня взял. У меня была абсолютно реальная программа, как я мог бы остаться в Израиле и чем там мог бы заниматься. Но я совершенно не стремился эту программу задействовать. Тогда я и не думал, что я смогу в Израиле остаться жить.

А потом обстоятельства в связи с болезнью моей первой жены Ирины Якир сложились так, что мы переехали в Израиль, она там получила гражданство, а я был при ней... А потом и на меня наехала та же онкология, и она меня задержала в Израиле еще на год — так я прожил в Израиле около двух лет. И оттуда постоянно наезжал в Москву. А теперь я живу в Москве и наезжаю в Израиль.

— *Климат, рельеф и, главное, чужой язык, звучащий на улице, — все это влияет на поэтику русского писателя?*

— Нет. На чужом опыте я это не проследил, а на своем говорю категорически: абсолютно нет. Конечно, запас впечатлений пополняется, в жизни появляются новые сюжеты... Правда, я, кроме нескольких песенок, ничего еще об Израиле путного не сочинил. Наверное, это впереди.

— *А как с ивритом?*

— С ивритом — нет. Никаких отношений. Просто до этого никак не доходят руки. Я там выскочил из-под своей онкологии с ощущением, что каждый год у меня — последний. А к языкам у меня никакой способности нет, и — сидеть полгода учиться? Чтобы в магазине поговорить — хватает моего жалкого английского — на уровне седьмого класса неполной средней школы города Малоярославца.

В Израиле в моем любимом магазине, куда я обычно хожу, половина кассиров — русские. Я к ним обычно и становлюсь. *(Смеется.)* А вообще, чтобы закончить эту тему, в Израиле я с самого начала не чувствовал себя за рубежом, а когда я там два года пожил постоянно, эта мысль у меня укоренилась совершенно. Когда я туда еду, у меня ощущение: я возвращаюсь из Москвы, а не еду в гости. А еду из Израиля в Москву — возвращаюсь из Израиля в Москву. Понятно, да?

— *Вы — счастливый человек. У вас два возвращения.*

— Правда, когда я возвращаюсь в Израиль, они говорят: «Молодец. Приехал в трудную минуту». А когда еду из Израиля, они говорят: «Подлец. Покидаешь нас в трудную минуту».

— *В Москве теперь тоже постоянно «трудная минута». Но пошли дальше... Все в той же мемуарно-художественной книжке есть у вас глава о Викторе Некрасове и Бабьем Яре. И там звучит фраза: «Впоследствии Михайлов навестил Бабий Яр, когда все-таки там поставили общенациональную скульптурную группу, — и подивился, как это начальство умудряется даже с помощью интернационализма выразить свой антисемитизм». Поясните.*

— Бабий Яр — это катастрофа еврейства. Это в первую очередь часть холокоста. А они там поставили интернациональный памятник. Чтобы подчеркнуть, что здесь, дескать, «не только евреи». И вместо того чтобы поставить памятник все же евреям, они поставили памятник разным нациям. То есть: «Не хотим ставить памятник евреям!»

— *Откуда в России время от времени это вспыхивающее «евреи виноваты!»?*

— Это касается, наверно, не только России — поиск виноватых ведется вообще, и среди евреев в первую очередь. Надо вглядываться в природу антисемитизма в целом. Я так понимаю, что Алек-

сандр Исаич такого рода изыскание попытался сделать...

— *Вы его прочли?*

— Нет, я толком не прочел, но еще обязательно доберусь. Традиционный поиск вины... «Есть вина... Часть ее лежит на русском народе, часть на еврейском...» А для меня поиск вины вообще бессмыслен. Надо рассмотреть явление и его корни. А виноватить один народ перед другим не надо. Надо отделять политиков и идеологов от народа. Не русский народ передал китайскому марксизм (это еще давно тот же Солженицын сказал), а идеологи.

Корни русского отношения к евреям, наверное, те же, что корни польского антисемитизма, восточно-европейского антисемитизма... Часто людям хочется искать врага на стороне, чем пользуются политики. Отсюда — фашизм.

Причины нужно искать в истории еврейской диаспоры, галута... Евреи — народ великой Книги, великой культуры, что всегда отличало его от других народов... Были периоды в истории, когда ислам с иудаизмом вместе противостояли христианству, а сейчас мы видим, что иудаизм вместе с христианством противостоят исламу (или ислам — им). Весы истории — это интереснейшая вещь. А виноватить друг друга глупо.

— *Юлик, вы написали ряд независимых и самостоятельных версий (тут и мюзиклы, и ремейки, и вокальные вкрапления в спектакли, и просто пьесы) по мотивам Шекспира и Фонвизина, Островского и Блока, Пушкина, Маяковского и Войновича. Чем вам любезен этот жанр, как происходит выбор первоисточника и каков возможный для вас «угол отклонения»?*

*Даже не «угол отклонения», а... Это у вас как цветок на огромном кактусе! Видели когда-нибудь?*

— Смешная метафора. (*Хохочет.*) Наверное, я не одинок — разработкой чужих сюжетов занимались и

Шекспир и Пушкин. И, конечно, Евгений Львович Шварц, которому я очень многим в этом смысле обязан. Мне одно время было сподручнее — не самому мучиться над сюжетами, а брать уже готовые и насыщать их собственными идеями, характерами... Иными — даже если они носят те же имена.

Оттолкнувшись от Островского, я развил абсолютно свой сюжет. Или взял я недавно Красную Шапочку и пустил ее в самостоятельное путешествие. Все напридумывал! Так же я поступил и со Спящей Красавицей — в русле Шварца... Еще я взял сюжет у Высоцкого — «Чуду-юду я и так победу...» — появилась моя сказка «Иван-солдат». Такие дела.

А есть вещи ближе к инсценировкам, вроде шекспировского «Как вам это понравится?», но и там я погулял по-своему.

У каждого из этих «чужих-своих» сюжетов есть своя история. «Профессор Фауст» — замысел Дашкевича. «Патруль» по Блоку — замысел Дашкевича. «Бумбараш» (последний вариант — моя самостоятельная разработка) — это по сценарию Митько... «Иван-солдат» — это заказ Театра Советской Армии. Они просили дополнить те огрызки, которые нашлись у Островского, просто песенками. Я сказал, что тут надо развивать полностью сюжет, они позволили, я и работал... Да, у каждого сюжета — своя история.

— *А в Израиле вы еще никак с театрами не работали?*

— Там русских театров очень мало. Единственный театр, который работает и на русском, и на иврите, — это театр Арье «Гешер», то есть «Мост». Но теперь и он работает только на иврите, а на русском идет бегущая строка... И все его последние работы, они ивритоязычные. Понятно почему — русскоязычная публика исчерпывается десятью спектаклями. А куда девать весь остальной Израиль?

Арье мне чрезвычайно симпатичен, я его обложил всей своей драматургией, но пока он у меня ничего

не нашел. Кроме того, он придерживается еврейской тематики — последнее время особенно. Правда, он позволил Адольфу Шапиро поставить «Трехгрошовую» — очень хорошо получилось. Сам Арье не очень любит ставить музыкальные спектакли, но было у него одно блистательное исключение — это мгновенно поставленный мюзикл «Мастер и Маргарита». Яркая работа. Этой работой он погасил долги театра и пошел дальше...

— *Я знаю, что вы не любите гражданский пафос и считаете, что даже великие поэты остались в культуре не за счет этого пафоса, а вопреки. Правильно я вас поняла?*

— В данном случае я исходил скорее из поэзии шестидесятников, которым пафос претил чрезвычайно — и они его всячески снижали... Без пафоса никто прожить не сможет. Без серьезного восторга и без слез не будет ничего. Просто мы выросли на ложном пафосе нашей пропаганды — и всякий открытый пафос стал казаться фальшивым.

В этом смысле показательно творчество Юры Коваля. У меня даже стихи есть: «Он — чистой лирике пролиться не позволит...» Он был сильнейший лирик, и то, что он лирику снабжал антигероическим оттенком, ее усиливало.

— *Я вас хотела спросить, кого бы вы назвали своими главными учителями, но из разговора поняла: наверное, Шварца?*

— Из литературных учителей, из литературно-театральных? Шварц — безусловно. Но в первую очередь — Петя Фоменко. Юра Коваль. В песенном смысле на меня очень сильно действовал Высоцкий... Лет десять на меня влияла «Вестсайдская история» — я унижался даже до прямых цитат! Конечно, очень большое влияние на меня оказал Давид Самойлов и знакомство с ним.

Таковы важнейшие источники.

— *Вы сейчас стихи пишете?*

— Это на меня нападает время от времени. Нападает — и пишу. Последнее нападение было довольно-таки давно — в 1995 году. Меня свалил инфаркт, и я провалялся в больнице месяца два. Написал 60 стихотворений, они объединены под рубрикой «Письма Ирине». Я их писал жене, которая каждый день ко мне приходила, — и я к ее приходу сочинял один-два-три стишка... В большинстве своем они напечатаны.

Стихи у меня случаются периодами. А постоянно-го стихотворного зуда, который я встречал почти у всех знакомых поэтов (так — у Юры Ряшенцева и у Миши Щербакова, и у Самойлова, насколько я понимаю, так было), у меня нет. Не знаю, как у вас?

— *У меня тоже — периодами... Но вернемся к вам лично: вы когда стихотворение начинаете, то знаете, как оно кончится?*

— Когда как. Если стихотворение малой формы, то оно сразу как-то получается. Но часто я в финале выкруливаю к неожиданным вещам.

— *Самый любимый поэт на свете есть?*

— Да нет. У меня в изголовье стоят сборнички, куда я ныряю время от времени: Самойлов... Бродский...

— *Они разные и друг друга, похоже, не любили.*

— Как Иосиф Бродский относился к Давиду Самойлову, я не знаю, а у Самойлова отношение было к Бродскому сложное. Но как-то я спросил Давида: «Кто первый?» И он сказал: «Пожалуй, Бродский». У Давида есть несколько отзывов о Бродском, и особенно интересен такой: «Его невыносимая манера чтения, при этом — единственно возможная для его стихов».

— *Да, Бродский читал как пономарь (я дважды слушала его живьем) — и это было значительно...*

*Юлик, вы так любите играть с чужой цитатой, вы обожаете иронические реминисценции и пародии. Про-*

*чла у вас даже: «Когда дело стопорилось, беззастенчиво лез в чужой карман». Вы родство с постмодернистами ощущаете?*

— Только в этом. Был у меня приятель Дима Рачков, который тоже занимался автобиографической прозой, так вот он заметил, что охотное цитирование — вообще черта нашего поколения... А может быть, это в принципе черта русского интеллигента? Прочитировать, но с подковырочкой или с обратным знаком. Таким цитированием занимался весь наш пединститут! И потом — всегда, встречаясь, то к месту, то не к месту. Это было разлито в нашем разговорном быту — сплошь и рядом. Причем в самые дремучие 50-е годы.

— *Ваше отличие от постмодернистов в этом плане, как мне кажется, таково: они играют с цитатами холодно и неблагодарно, а вы с нескрываемой благодарностью и любовью...*

*А вы в театр часто ходите просто так?*

— Всю дорогу. Вчера вот был на «Трех сестрах» у Фоменко. Театр сейчас на огромном подъеме. Я не профессионал-театрал — я любитель, но надо быть слепым, чтобы не заметить подъема. Театральное дело у нас со страшной силой расцветает — как яблоны и груши. И литературное дело. Много новых талантливых молодых и поэтов, и прозаиков.

— *А журналисты? По вашей прозе мне показалось, что у вас все журналисты — дураки и особенно дуры. Они вас достали за жизнь?*

— Нет... Когда наступила перестройка, то на вопрос, как вы видите гражданское поприще человека, который хочет положить свою жизнь на алтарь отечества, — я отвечал: есть два таких поприща. Это учительство в школе и честная журналистика, неангажированная. Мне нравятся очерки Славы Измайлова и Анны Политковской в «Новой газете», все чеченские очерки я читаю жадно и с ощущением репортажной



правды. Так же я относился и к самому Юре Шеко-чихину, и к тому, что он писал. Очень меня во время первой чеченской войны волновали репортажи Лены Масюк... В свое время с огромным вниманием читал Телень и Выжутовича. Ира Петровская, Лида Графова, Алла Боссарт... Покойная Лидия Польская... Есть, есть у нас «акулы пера», которых читать очень интересно. Но мне вообще в журналистике важнее этнография и природа и даже не проблемы искусства, а наши гражданские темы, больные. Тут именно проверяются честность и отвага.

— *Какой из смертных грехов для вас самый неприемлемый, а какой можно простить?*

— Если отвечать всерьез, то желательно подумать. Соображаю... Мне не нравится в человеке злоба, выраженная в комплексе неполноценности и невосприимчивости. Я знал людей, которые были хороши изначально, талантливы и так далее, но этот самый комплекс неполноценности исказил их до моего полного неприятия.

Они порой становятся несправедливы и в своей несправедливости просто омерзительны. Один из таких людей написал письмо недавно, где говорит: «Меня люта я ненависть душит». Причем даже не уточняет, к чему и к кому. Потом: «Я понимаю, что она губительна». И — через точку: «Но это святая ненависть».

Есть недостаток, который затмевает всё. Это — хамство. Оголтелое хамство, которое в новейшие времена проявилось в избытке. Его много среди крутых и бритых... Я абсолютно не приемлю скинхедов! Они, как говорят, бреются, чтобы нельзя было схватить в драке за волосы. Всех националистов: «Бей черных... Бей евреев... Бей чучмек...»

И не думайте, что дело в том, что я кореец наполовину, просто ненавижу их всей душой, и всё. На первом месте по отрицанию у меня стоит шовинизм.

— *А простительные грехи?*

— Ну не знаю... Почти все бы простил. *(Смеется.)*  
Даже комплекс неполноценности. Надо друг друга прощать. И на это у меня запаса души хватает, благо я о себе тоже не столь уж высокого мнения.

— *А я о вас — высокого. Спасибо, Юлик.*

# АЛЕКСАНДР КУШНЕР

## ЖИЗНЬ БЕЗ СТИХОВ НЕПРЕДСТАВИМА<sup>1</sup>

— Саша, я неотрывно и неравнодушно слежу за вашей поэзией, да шире — за вами, без пропусков с середины 60-х. Вы, как мне кажется, из тех поэтов, кто несколько раз в творческой жизни начинал сначала и резко, даже бесстрашно, менялся. У вас об этом такие строки были: «Я не давал подписку/ Ни сам себе, ни в шутку/ Дуть, как сквозняк альпийский, / В одну и ту же дудку...» Итак, от чего зависел (если это поддается рациональному разбору) очередной переход к иной поэтике, к иной просодии?

— Отчасти, Таня, это происходит неосознанно. Просто что-то кончалось в жизни... Ведь жизнь — не одна, их несколько, уместяющихся в одной. Кончалась одна, начиналась другая. Так с «Голоса» и, особенно, с «Таврического сада» — пришла новая любовь, новая жизнь. И явилась другая стиховая мелодия. Это происходило интуитивно, неосознанно, но, конечно же, я видел, что пишу иначе. Помню, что короткая строка вдруг перестала удовлетворять, надоела. Я ее разлюбил. А помню, кстати, и как полю-

<sup>1</sup> Беседа напечатана в журнале «Новый мир», №6-2004.

бил: в середине шестидесятых, начиная с книги «Приметы», а может быть, и раньше, с «Ночного дозора». Тогда я прочел автобиографию Пастернака 56-го года — «Люди и положения», — а там он обращал внимание читателя на короткую пушкинскую строку. На раннего Пушкина. И рассказывал, как он сам на нее, на короткую строку, перешел. На меня это произвело впечатление. В стихотворении, посвященном Пастернаку, я тогда писал: «Глядишь, откинув челку,/ Прижав губу к губе,/ В невидимую щелку,/ Открытую тебе».

— *Между прочим, в самом начале у вас часто звучала и длинная строка: «Два мальчика, два тихих оборотика...»*

— Совершенно верно. Я переимчив. (*Смеется.*) Или впечатлителен. На меня и в самом деле слова Пастернака произвели впечатление, и мне чрезвычайно понравилась его «Вакханалия»... Так я пришел к короткой строке. А дальше — с «Голоса» и «Таврического сада» — возобладала другая мелодия. Должен сказать, что от Пастернака я ушел к Мандельштаму. Не то чтобы я «впадал, как в ересь», в того или другого, надеюсь, моя самостоятельность оставалась при мне, но менялись ориентиры, привязанности. И думаю, что сейчас — начиная с «Кустарника», а может быть, и раньше — с книги «На сумрачной звезде» — открылся третий период.

— *Это как понять хронологически? Уточните.*

— «На сумрачной звезде» — 1994 год, «Кустарник» вышел в 2002 году.

— *С чем этот период связан?*

— Трудно сказать. Мне вдруг захотелось сменить пластинку. Не хочется, чтобы стиховая ткань мертвела, чтобы возникал автоматизм и возобладала привычка. Вдруг происходит обновление, как будто открываются двери — и ты проходишь в новые комнаты, о существовании которых до сих пор не

подозревал. Возможности твоего душевного роста и непредсказуемость жизни совпадают с возможностями стиховой речи, до тех пор скрытыми от тебя.

— *Есть расхожее мнение (я с ним абсолютно не согласна), что поэзия, дескать, дело исключительно молодое.*

— Абсурд.

— *А один поэт советских времен писал, что «до тридцати поэтом быть почетно,/ И срам кромешный после тридцати»...*

— Это кто — Самойлов?

— *Межиров.*

— А... Межиров. Нет, я категорически не согласен. Кстати, в прошлом году в Америке я виделся с Александром Петровичем, он, слава Богу, здоров и пишет стихи. Если бы все дело было только в нас, то можно было бы подумать, что мы пыжимся, очень стараемся, держим музу за подол, не отпуская ее: боимся с ней расстаться. Но — Гете. Но — Тютчев, Фет, Пастернак. И так далее. А Томас Элиот, Уистен Оден, а Филип Ларкин, которого мне посчастливилось переводить? Все они жили долго. Лермонтов, предвидя раннюю смерть, хотел умереть «не тем холодным сном могилы», а так, чтобы над ним «темный дуб склонялся и шумел». Такими «вечнозеленеющими» дубами мне и представляются некоторые старые поэты. Надеюсь, преданность стихам и способность их писать, не повторяясь, меняясь вместе с ними, — это то, что не изменит нам до последнего вздоха, расстанется с нами в последнюю очередь. Тютчев, уже парализованный, накануне смерти, еще продолжал диктовать стихи, хотя ритм его уже не слушался, а рифмы давались только парные: «Благоуханна и светла/ Уж с февраля весна в сады вошла,/ И вот миндаль мгновенно зацвела,/ И белизна всю зелень облила». Нелепо — и в то же время трогательно и даже утешительно. Как будто уже готовился увидеть

вечную весну. И видно, как он любил весну земную, как успевал за зиму соскучиться по теплу!

Да, я менялся от книги к книге. Был момент, когда друзья говорили мне, что ранние стихи хороши, «а сейчас ты пишешь черт-те что» (в эпоху «Таврического сада»). А потом привыкли и согласились, что хуже не стало: «Каждый шишак на ограде в объеме растет,/ Каждый сучок располнел от общественных сумм./ Нас не затопит, но, видимо, нас заметет:/ Всё Геркуланум с Помпеей приходят на ум» («Снег»).

— *Остро и пронизательно. Не затопило, но и впрямь замело... Что касается читательских капризов, то это им, читателям, ох как свойственно, да и вообще людям в частной жизни: они любят то, что когда-то восприняли остро и молодо. Они в любви собственники и с трудом переносят, когда их любимый меняет стиль. Тут — ревность.*

— Совершенно верно. И Пушкин об этом говорил в связи с Баратынским: поэт растет и меняется, уходит от своих прежних стихов, а читатель от него отстает. Говоря о Баратынском, Пушкин имел в виду и свой собственный печальный опыт: ведь ему в тридцатые годы ставили в пример его ранние стихи. Если бы Пушкин прожил дольше, то он, возможно, сказал бы, что прежний читатель от него отстал, но за это время вырос новый читатель — и полюбил его поздние стихи.

— *У вас были и периоды страстно-взаимной любви с читателем и с критикой, а бывали и моменты некоторого отчуждения. Вы от этих перемен зависели психологически? Вам надо быть любимым?*

— Надо. Увы. Другое дело, что... Нет, скажу так: я не представляю своего пути без читательского отклика. И такой отклик был с самого начала. Критика меня всегда и ругала и хвалила. Первая моя книжка (1962 год) подверглась разгрому, я недавно опубли-

ликовал в журнале «Звезда» (8-й номер за 2003 год) статью, которая называется «Первое впечатление», в ней я привел три текста — две статьи из ленинградской газеты «Смена», совершенно чудовишные, и фельетон в журнале «Крокодил» за подписью «Рецензент», в них я обвинялся в «фиглярстве в искусстве» и «многозначительном созерцании собственного пупа».

Сегодняшняя критика ничуть не лучше той, сорокалетней давности.

— *Это кто же из нынешних критиков подхватил эстафету советских разносов? Топоров?*

— Ну, Топоров — клинический случай. Я мог бы назвать имен семь-восемь. Как правило, это несостоявшиеся или малоодаренные поэты. Обижаться на них нельзя...

— *Зато у вас много по-настоящему любящих вас читателей. Своя, так сказать, большая референтная группа.*

— Так ведь и я читателя люблю. Любовь к стихам — особый дар и совершенно бескорыстное чувство; по-настоящему одаренный читатель заслуживает подлинного уважения. Принято читателя всячески поносить и шельмовать — смотреть на него сверху вниз. А для меня в этом смысле пример — Мандельштам, говоривший о «провиденциальном собеседнике». Представлять себе конкретного читателя, когда пишешь стихи, разумеется, не следует (поэтическая речь — речь безадресная, в крайнем случае, она относится к Господу Богу или к самому себе, к лучшему, что в тебе есть), но тень читателя, как «тень друга», являвшаяся Батюшкову на палубе корабля, должна присутствовать в углу комнаты. Потому что если ты совсем с читателем не считаешься и кривишь душой, утверждая, что он тебе не нужен, — будешь наказан тем, что твои стихи тоже никому не будут нужны.

— *А вас устроило бы такое знание: у вас есть читатели, но их совсем мало? Несколько человек. Как говорят, «малая референтная группа».*

— Так и бывало. Допустим, я знал, что мои стихи любят Лидия Гинзбург и Борис Бухштаб. И Дмитрий Евгеньевич Максимов. Плюс несколько девушек. *(Смеется.)* И, сказать по правде, мне этого было почти достаточно! Еще несколько друзей-ровесников — и уже хорошо.

— *Помните ли вы отчетливо то мгновение, когда вдруг поняли: «Я — поэт»? Или так: «Я влип».*

— С первого же стихотворения. Совершенно чудовищного.

— *Сколько лет вам было?*

— Восемь.

— *Рано.*

— Рановато. *(Смеется.)* И говоря об этом, испытываю смущение. Я написал ужасные стихи на политическую тему, которые начинались так: «Японец с фрицем повстречался...» То была недолгая война с Японией. Стишок был записан в блокнот, весьма серьезно. Я так любил стихи, так был счастлив стихами, что не сомневался: «Да, я, конечно же, поэт...» Это я сейчас слово «поэт» к себе примеряю с куда большей осторожностью.

— *Саша, а скажите: вы себя ощущаете продолжателем акмеистической линии или ваше личное древо разветвленнее? Я-то вас считаю безусловным и едва ли не единственным ныне наследником этого великого течения. Вас такое «присоединение» не обижает?*

— Да что вы! Как это может быть обидным, если в акмеистическом течении — всего несколько человек, но зато каких! Прежде всего Мандельштам и Ахматова. Гумилева я люблю значительно меньше. Тем более — Нарбута. Но, кроме них, конечно, Анненский — предтеча акмеизма, при всей его символистской подоплеке. И Кузмин, которого вроде ни туда,



ни сюда не отнести, но который, разумеется, предметен, конкретен, точен, лиричен и, скажем так, метафизичен в меру.

А чего я действительно не люблю, так это символизма (за исключением Блока, конечно)... И метафизика их не выстраданная, а какая-то коллективная, взятая напрокат. Настоящий метафизический прорыв, подлинная метафизическая мысль — явление редкое, как озарение, и не может автоматически переходить из стихотворения в стихотворение, как затверженный урок. Критика иногда не умеет отличить подлинное чувство от подделки, нет ничего отвратительней метафизических спекуляций, эксплуатации высоких тем. Возвращаясь к акмеистам, скажу, что я склонен и Тютчева считать их учителем.

— *Тютчева?!*

— А что?

— *Уж очень он для акмеизма космичен.*

— Мандельштам тоже о звездах не забывал. А такие тютчевские стихи, как «Через ливонские я проезжал поля...» или «Я лютеран люблю богослуженье», ни один символист бы не написал, — так они предметны, конкретны, и Мандельштам все это в Тютчеве расслышал. В то же время мы с вами прекрасно понимаем, что акмеизм — это некая условность; скорее, школа, чем направление; сегодня принято выводить его исключительно из символизма и даже объединять с ним; но символизм они «преодолели»; для меня же куда очевидней связь акмеизма с русской классикой: Державиным, Пушкиным, Тютчевым, Некрасовым... Но дороги мне отнюдь не только акмеисты, обожаю, например, Пастернака, просто жить без него не могу. Впервые я прочел его еще в школе, в классе восьмом-девятом — мне библиотекарьша Пастернака подсунула, того, худлитовского, 34-го года. Я, еще ничего не понимая, влюбился в эти стихи. И библиотекарьша, по-

сколько никто никогда этой книгой в школе не интересовался, мне ее подарила. С тех пор это издание стоит на моей полке, могу показать — вот оно.

Тут же спешу заметить, что Пастернак чрезвычайно зависел от Анненского, он очень с ним связан. Это легко доказать: «"Мой сорт", кефир, менадо./ Чтоб разрыдаться, мне/ Не так уж много надо, — / Довольно мух в окне» — как тут не вспомнить Анненского: «Полумертвые мухи/ На забитом киоске,/ На пролитой известке/ Слепы, жадны и глухи...». И когда я читаю у Анненского: «Вы — тот посыльный в Новый год,/ Что орхидеи нам несет,/ Дыша в башлык обледенелый», — то эти стихи кажутся мне вполне «пастернаковскими».

Сам Пастернак об этом не говорил, ведь он был ориентирован на футуризм. Он и о Фете не говорил, (футуристы и опоязовцы Фета не признавали), между тем ошеломительное фетовское жизнелюбие и «пенье наудачу» роднит Пастернака с ним куда больше, чем с Маяковским. «Дикция и бас» Маяковского Пастернаку были чужды, но в молодости он сказать об этом вслух не мог. Футуризм для него был прежде всего территориальным соседством. Он был с футуристами «за компанию», а потом свои юношеские «недостатки» объяснял их вредным влиянием, с чем согласиться до конца нельзя. И все-таки и рифмы, и ритмика, и интонация Пастернака совсем иные. Не похож он ни на Маяковского, ни на Хлебникова, ни на Крученыха, ни на С. Боброва... Разве что иногда — на Северянина: «Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина...», «Век мой безумный, когда образумлю/ Темп потемнелый былого бездонного?..» и т.п. А Маяковский заморозил Пастернака, как хулиганистый подросток в классе — мальчика «из хорошей семьи», не только стихами, но и своим обликом, поступками, поразил, «произвел впечатление».

— *А вы, я чувствую, Маяковского не любите?*

— Ну, я понимаю, что он — замечательный поэт. Но любви к нему не испытываю.

— *Еще я у вас совсем не ощущаю хлебниковской линии, хотя вы очень отзывчивы и к далеким просодиям.*

— Хлебникова не люблю определенно и категорически. Но об этом же нельзя сказать вслух.

— *Говорите. Не стесняйтесь. Не бойтесь.*

— Хлебников был, по-видимому, очень симпатичным человеком, мягким, несчастным, печальным. Был действительно открывателем некоторых вещей: словотворчества, зауми. Но... Читаешь, читаешь Хлебникова, и вдруг — находишь две замечательные строчки! И так благодарен за эти две разумные строчки, что уже говоришь: ах, какой хороший поэт! Ну, и потом еще легенда. Есть поэты, вообще существующие за счет легенды. Таков и Хлебников. Всмотрелись бы внимательней, увидели бы многое, о чем и не догадываются, например, о его преданности новой идеологии, о его связи с ЧК. Говорю это не в осуждение: с ЧК были связаны многие, в том числе и Маяковский, и Сергей Бобров, и любимый мною Николай Олейников... Но легенда такие вещи не принимает во внимание.

— *Но не он ее создал. Он не был спекулянтот собственной легенды. Ведь есть среди наших нынешних стихотворцев и такие: сумасшедший, а глаз косит в трезвую сторону.*

— Нет, Хлебников — не жулик. Он действительно был болен психически. Его цифровые раскладки, подсчеты и уверенность в повторяемости исторических событий через определенное количество лет — тому подтверждение. Что касается его словотворчества, то, как некий момент в истории нашей поэзии, оно было неизбежно и, наверное, необходимо. Поражало воображение современников уже потому, что ничего подобного раньше не было. Разве что в глубокой архаике, в эпоху языческих заговоров и за-

клинаний. Даже Мандельштам, например, испытал это искушение: в его стихах начала двадцатых годов ощущается хлебниковское веяние; впрочем, «родной звукоряд» у него только отрывался от поэтического смысла, чуть-чуть опережал его, но никогда не порывал с ним, — и это было замечательно. А перечитывать сегодня хлебниковское «Пиэзо пелись брови...» скучно. И Хлебников, и тем более Кручных имели дело со «словом как таковым», а не с поэтической интонацией. Со словом, и можно сказать даже так: со словарем. А мне это не очень интересно. Зачем притворяться? Я и Малевичу предпочитаю Сезанна, Матисса, Кандинского, Машкова, Лентулова...

— Да, я у вас никогда не встречала неологизмов.

— А я их не люблю. В словотворчестве слишком явно просматривается инфантилизм художника, причем не подспудный, эпизодический, а сознательно культивируемый. Маяковский назвал не поэта, а народ «языкотворцем» и был прав. Поэт производит перемены не в языке, а в поэтическом языке — это разные вещи. И неологизмы остаются, как правило, в поэтической системе данного поэта, на язык не оказывая никакого влияния. Существительное «громдье», повелительная форма глагола «дрызнь», прилагательное «геньина» («мастерская геньина» — от слова «гений»), придуманные Маяковским, остались, так сказать, на его совести. В лучшем случае они нужны его стиху — и не выходят за его пределы. Тем более — хлебниковские «смехачи», «что смеются смехами, что смеяются смеяльно». Мне не интересно ни то ни другое. Мандельштама предпочитаю Маяковскому, Чехова — Лескову. Люблю тонкую работу по «соединению слов посредством ритма», когда неожиданное их соседство, тень, отбрасываемая одним словом на другое, преображают поэтическую речь.

— *Вы из тех редких поэтов, кому важно или даже необходимо думать и писать о чужих стихах. Это далеко не всем. И существует даже такое вульгарное мнение, что поэт не должен отличать ямба от хорея, а тем более дольник от тактовика. Когда-то, в 70-е годы, я очень полюбила ваши эссе «Переключка» и «Стиховая ткань», даже странно, как они тогда появились! Горжусь, что была первым редактором (скорее — корректором) «Переключки», которую напечатали «Вопросы литературы», «Вопли», где я, молодая, в ту пору работала. Помните, как мы с вами и цитаты проверяли, и верстку вычитывали?*

— Да, да. В те годы все это называлось книжность, литературщина или вторичность.

— *Эссе не устарели. Вопросы, сразу куча: что толкает вас, человека личного вдохновения, иногда так дотошно копать и разбираться в чужих стихах? Не хочется ли вам сегодня что-то в этих эссе уточнить или переписать? И, главное, чем продуктивная переключка в поэзии отличается от постмодернистской центонности? Где грань? (Вы, кстати, в той статье 1976 года предсказали, что, мол, еще появятся в стиховом пространстве такие пересмешники, которые создадут ситуацию, когда в словесности все со всеми будут перемигиваться и аукаться, как — это я запомнила дословно — «в Парке культуры и отдыха», да?) Накаркал!*

— Надо понимать простую вещь: поэзия не растет на голом месте. Поэзия, в моем представлении, это не одинокое дерево, а роща или лес, со своей сложно переплетенной корневой системой. Три века новой русской поэзии для пишущего стихи — поэтическая родина, без которой своих стихов не написать. Мы говорили с вами о читателе. Для меня поэты-предшественники — это главные мои читатели: «Читая Пастернаку — одно удовольствие! / Читал я стихи ему в воображении. / Во-первых, не страшно. В сво-

ем разглагольствовании / И сам он — дитя, и широк, как все гении...» Здесь нет возможности привести все стихотворение, но позволю себе вспомнить хотя бы еще шесть последних строк: «...И, что б ни сказал, соглашаться с ним весело. / Я тоже так думаю. Как? Я не знаю. / Не знаю, но в сбоях стиха спазматических, / Как ни было б грустно и как одиноко, / Не ждет он от вас непременно трагических / Решений и выводов, только — намека». Почему, кстати сказать, формирование поэта сегодня затягивается на такой долгий срок, происходит годам к сорока? Дело в том, что увеличилась длина пробега, «взлетная полоса». Прибавился XX век, требуется освоить уже не два, а три века русской поэзии.

— *Но многие молодые заявляют: нам это ни к чему. Ничего осваивать не надо! Мы и сами с усами.*

— Ну и пусть. Такие всегда были. Мандельштам их назвал «прирожденными не-читателями». Они и в 60-е были. Кстати, многие талантливые поэты из моего поколения, на мой взгляд, рухнули по этой причине. С другой стороны, вспомните, как молодой Пушкин читал и осваивал мировую поэзию, — хорошо бы он был без нее! Он наполовину создан ею.

Читаю Анненского — и вижу, как много он взял у Тютчева, Некрасова, А.К.Толстого, Случевского, у переведенных им французов. Ведь даже «балкон» в стихах Анненского («...с балкона холст повис, не нужный там... но спешно, оборвав, сломали георгины», или «Балкон под крышею. Жена мотает гарус...», или стихотворение «С балкона», или «Желтея, на балкон глядит туманный диск луны, еще бесстенной...», или «Разоренного балкона остов, зеленью увитый», — видите, я привел пять примеров) — пришел в его стихи не только из Царского Села (кстати, на здании гимназии, где Анненский жил и преподавал, балкона не было), сколько из стихов любимых им французов: кто был в Париже, знает, что едва ли

не все его серовато-сизые дома на уровне четвертого-пятого этажа сплошь опоясаны балконами.

— *Да здравствует французский балкон в русской поэзии!* (Кстати, в 90-е годы у нашего друга Рейна тоже книжечка такая выходила стихов — «Балкон»...)

— Пошли дальше. Читаю Мандельштама... Ну, здесь количество заимствований не поддается вообще никакому учету (и чем их больше, тем поразительней он ни на кого не похож!). Но я упомяну здесь только один ошеломивший меня случай. В начале своей оды Сталину, в этом великом и страшном стихотворении, он обращается за помощью к художнику: «Когда б я уголь взял для высшей похвалы — / Для радости рисунка непреложной, — / Я б воздух расчертил на хитрые углы / И осторожно и тревожно...» и т.д. — и этот мотив расплзается у него на три двенадцатистрочные строфы! Откуда пришел к нему этот мотив? Из державинской оды «Изображение Фелицы» (в комментариях к мандельштамовской оде, которые мне приходилось читать, об этом ничего не сказано): «Рафаэль, живописец славный, / Творец искусством естества! / Рафаэль чудный, бесприкладный, / Изобразитель Божества! / Умел ты кистию свободной / Непостижимость написать — / Умей моей богоподобной / Царевны образ начертать» и т.д. В мандельштамовской оде 84 стиха, в державинской — 464! Зато Державин, в отличие от Мандельштама, и добился того, чего хотел: императрица избавила его от судебного процесса, который грозил ему в 1789 году самыми тяжелыми последствиями: дело Державина расследовал сенат! Уж коли речь идет о спасении жизни, не жалея краски! (Замечу, что в отличие от мандельштамовской, а также в отличие от знаменитой оды «Фелица» 1782 года, «Изображение Фелицы» написано бескрыло, лезть здесь ничем не прикрыта, не уверен, что Екатерина прочла эту оду до конца. Но само количество строк

убеждало ее отреагировать должным образом — заступиться за поэта.) Мандельштаму бы написать поэму о Сталине! Поэм он, как мы уже говорили, не писал. И 84-строчной виртуозной и трагической одой честь свою не уронил.

— *И все же — где грань между прекрасной перекличкой и капустническими хохмами?*

— Передразнивание и пародирование быстро надоедают. Ведь мы говорим о лирике. Лирика может отталкиваться от чужого текста, но должна иметь при этом «что-то за душой». Если «за душой» ничего нет — делается скучно. Центонная поэзия механистична, призвана продемонстрировать изобретательность и ловкость, она — находка для клуба «веселых и находчивых». Кроме того, когда все сплошь превращается в нарочитое дублирование, то и возникает копия, а не оригинал. Сегодня и в поэзию, и в прозу устремилось множество таких сообразительных авторов, научившихся без таланта и «сердечных судорог» («сердечных судорог ценою» — сказано у Баратынского), создавать привлекательные поделки. Впрочем, и в советское время процветали халтурщики и копиисты настоящего искусства, только они отвергали «книжность» и клялись в любви к «жизни».

— *У вас были строчки, которые многих (особливо православных охранников) задели: «Греческую мифологию/ Больше Библии люблю...» А впрямь: почему такая категоричность?*

— Ну, никакой особой категоричности здесь нет. Тем более что дальше сказано: «Детскость эту, демагогию,/ Верность морю, кораблю». А в соседнем стихотворении может быть сказано нечто противоположное. Могу сослаться хотя бы на такие свои стихи, как «Иисус к рыбакам Галилеи,/ А не к римлянам, скажем, пришел...». Но и от греческой мифологии отречься не хочу, тем более что я воспитан на мифологии, а не на Библии. Религиозного



воспитания я не получил. Библию прочел уже сравнительно взрослым человеком. Зато отец читал мне в детстве Гомера в переводах Гнедича и Жуковского, — и я за это ему очень благодарен. Об этом я подробно написал в статье «С Гомером долго ты беседовал один...», где, кстати сказать, объяснил наличие «античных» тем и сюжетов в своих стихах (и в стихах Бродского) тем, что мы родились в Ленинграде. Бродский мне говорил: «Александр, когда я встречаю у тебя такие стихи, я делаю стойку, как охотничья собака». Он имел в виду стихи «Я знаю, почему в Афинах или Риме...», «Как пуговичка, маленький обол...», «Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!», «В складках каменной тоги у Гальбы стоит дождевая вода...» и т.д. Петербург недаром назван Северной Пальмирой. И когда я смотрю с Дворцовой набережной на здание Биржи на стрелке Васильевского острова, то понимаю — и в детстве понимал, — что это немножко похоже на Парфенон. Скажу еще так: мы — верные пушкинские ученики, ну и Батюшкова, Державина, Ломоносова тоже: «Ломоносов виноват, / Первым из-за горизонта / К нам приведший наугад, / Как бычка, Анакреонта...» И помню, каким любимым моим чтением уже в зрелом возрасте был Еврипид в переводе Анненского.

— *А Библия вас так не потрясла?*

— Книга Иова и Экклезиаст. Две совершенно замечательные лирические вещи в Библии, которые я бесконечно люблю. А чтобы не быть голословным, приведу две строфы из стихотворения «Надеваешь на даче похуже брюки...»: «...Если думаешь, был кто-нибудь, кто понял / Всё, — то это не так, хоть Экклезиаста / Назови. Как лежит на его ладони / Жизнь? Как тюбик, в котором иссякла паста. / Будто дуб не вскипал, не вздымались кони, / В сети не попадал бегемот мордастый! / Я, единственный, может быть, из живущих / И когда-либо живших, с ум-

нейшим спорю / И насчет суеты, и насчет бегущих / Дней, бесследно и быстро, как реки к морю. /Чередой золотая лугов цветущих, / Комнат, пляжей, оврагов, аудиторий!..»

Конечно, и история с Иосифом Прекрасным воспитательна. О чем говорить? Но в то же время так много крови, так много лжи, так много предательства, так много изуверства! Понятно, что человечество всегда было разбойным и занималось кровавым делом. Нет, нельзя сказать, что я равнодушен к Библии или не люблю ее, — это было бы чудовищной пошлостью и неправдой. А как хороша «Песня Песней», или державинское переложение 81-го псалма («Властителям и судиям»)! Но все-таки ничуть не меньше мне дороги Архилох и Катулл, державинская анакреонтика, батушковская Эллада...

— Да. Вы — поэт нравственно здоровых ориентиров. Вы не смакуете гниlostные, как говорится, ужасы бытия. А в анакреонтике больше именно здоровья и благородства. Не в этом ли дело?

— Возможно. Хотя согласиться с вами: да, я — «поэт нравственно здоровых ориентиров», — мне не позволяет чувство юмора. Между прочим, и в мифах тоже много страшного: одни метаморфозы чего стоят! Каково было превратиться Ниобе в камень, а Дафне в лавровый куст!

— У вас и стихи были об этом: «Не помнит лавр вечнозеленый, / Что Дафной был, и бог влюбленный / Его преследовал тогда; / К его листве остроконечной / Подносит руку первый встречный / И мнет, не ведая стыда...»

— Спасибо, что вспомнили. И все-таки миф скорее похож на детскую игру, на яркую мозаику. И в мифе есть твердое представление о чести. Мой любимый гомеровский персонаж — Аякс. Почему? Потому что это он заслужил доспехи Ахилла, а получил их — хитростью — Одиссеей, подкупив судей. И кон-

чил Аякс самоубийством. Совершенно как европейский неврастеник, интеллигент, потому что не мог простить обиды. А затем, когда Одиссей спустился в Аид и встретился там с бывшими друзьями: с Ахиллом, Патроклом, Аяксом, — то Аякс молча посмотрел на него — и ушел, не захотел говорить с обидчиком. *(Смеется.)* Мне это очень нравится... Вот если бы я задумал написать поэму, то выбрал бы этот сюжет, связанный с Аяксом.

— *Стоп. Вы сказали: «Если бы я писал поэму...» А у вас давным-давно было такое длинное стихотворение — «Отказ от поэмы». «Вот вы не пишете поэмы./ Что ж, подходящей нету темы?..» И так далее. Меня оно в свое время задело, показавшись излишне максималистским. Вы теперь не сменили гнев на милость в отношении поэмы как жанра?*

— Нет, пожалуй. Кстати, предсказанный мной еще лет тридцать назад упадок этого жанра не заставил себя ждать. Вы помните, как советская идеология опиралась на эпос, поощряла поэму, как много было поэм на революционные, исторические, военные, колхозные, общегосударственные, партийные, «строительные», производственные темы. Сегодня поэмы пишут только Евгений Рейн и Олег Чухонцев (нет, чтобы быть точным — еще Олег Хлебников и Андрей Чернов) — и мне они нравятся, — но поэмы эти скорее длинные лирические стихи, чем эпические полотна.

Поэма — отмирающий жанр. Тютчев, Анненский, Мандельштам это поняли уже в XIX-XX веке. Как очень чуткие художники, они уловили, что проза съедает поэму, что Толстой и Достоевский ее отменили, что повествование — удел и органическая задача прозы, а у поэзии — иная специфика. Об этом мне приходилось говорить и раньше, не хочется повторяться.

— *Неужели и поэмы Некрасова вы совсем отрицаете?*

— Я горячо люблю Некрасова; можно сказать, страстно люблю его городскую лирику. Его стихи «О погоде» — великие стихи. Люблю и «Балет», и «Юбиляры и триумфаторы». О чем говорить! И «Мороз, Красный нос» — тоже. Но, живи Некрасов сегодня, он, я думаю, не стал бы писать поэму «Русские женщины» — скучную, именно повествовательную, затянутую вещь.

— *А «Кому на Руси жить хорошо»?*

— «Кому на Руси жить хорошо» — грандиозна, но никогда я перечитывать ее не стану. Она рассчитана на одноразовое чтение, а его лирика тем хороша, что к ней обращаешься то и дело, по самым разным поводам. «Мы с тобой бестолковые люди:/ Что минута, то вспышка готова...» Не хочется говорить «новатор» — замечательный о т к р ы в а т е л ь новых возможностей лирики и самого стиха.

Вы скажете: а Цветаева, а Маяковский, а Пастернак? У Цветаевой я очень люблю «Поэму Конца» и «Поэму Горы», но это тоже большие лирические стихи.

— *Мне кажется, вы к поэме предъявляете гипертребования, ожидая от нее эпоса.*

— Нет, нет. В названных поэмах Цветаевой лирический герой — сам автор, это именно лирика. Причем замечательная лирика, в отличие от «Поэмы Воздуха» и «Поэмы Лестницы», которые, не знаю как вы, а я не могу читать... Пойдем дальше. Вы назвали Пастернака. И тут, мне кажется, мы тоже должны признать, что его лирика несравненно выше поэм «Лейтенант Шмидт» и «1905 год». Заметьте, что Маяковский их тоже не любил и ставил им в пример пастернаковские стихи. Другое дело — «Спекторский», это действительно очень хорошо, но вы замечали, что это разваливающаяся поэма? Там сквозь сюжет не продерешься. Так... что-то брезжит на периферии. Мы просто восхищаемся отдельными строфами, кусками, поразительными образцами жи-

вой разговорной речи: «Ну и калоши. Точно с людоеда./ Так обменяться стыдно и в бреду./ Да ну их к ляду, и без них доеду,/ А не найду извозчика — дойду». Или: «О мальчик мой, и ты, как все, забудешь/ И, возмужавши, назовешь мечтой/ Те дни, когда еще ты верил в чудищ?...» Говоря все это, я не настаиваю на своей правоте; это, так сказать, рабочая гипотеза.

— *Чем же для вас является ахматовская «Поэма без героя»?*

— На мой вкус, в ней слишком много многозначительности, самолюбования и театральности: «А во сне казалось, что это/ Я пишу для кого-то либретто...» Вот именно. Либретто. Люблю лирику Ахматовой — и больше всего «Белую стаю».

— *Вы, я полагаю, так позволяете себе отвергать поэму, потому что у вас-то роль поэмы взяла на себя книга стихов. Как говорят психиатры, компенсаторный механизм.*

— Конечно. Это моя любимая идея, и я сформулировал ее еще в 1974 году (когда ни один, почти ни один поэтический сборник без поэмы не обходился), в статье «Книга стихов»: да, теперь книга стихов заменяет поэмы. И действительно, в этом смысле меня можно назвать эпическим поэтом, хотя мне и не нравится такое определение. Да, я считаю, что книга стихов — это то, что пришло на смену поэме. Потому что в книге стихов человек имеет дело с раскаленной, горячей, пылающей болванкой сегодняшнего существования, обжигающего руки, — несколькими годами своей жизни, в обход персонажей и сюжетного повествования. Зачем мне еще придумывать поэму? Нет нужды. Это свое утверждение я никому не навязываю и понимаю, что оно спорно, что могут быть замечательные исключения. Мало того, иногда, наблюдая вокруг разливанное море самодеятельных стихов с заезженной ритмикой, дурной рифмовкой, приблизительным смыс-

лом, банальных и неряшливых, думаешь: господи, хоть бы кто-нибудь поэму написал! Было бы легче.

— *Почему вдруг в русской поэзии возобладала длинная и расшатанная строка? Это прекрасно делает Елена Ушакова, так пишет Олеся Николаева, так работает ваш ученик Иван Дуда (интереснейший поэт, которого я только что для себя открыла)...*

— Если вы под расшатанным стихом имеете в виду акцентный стих, которым пишут Олеся Николаева, Елена Ушакова и не только они (очень хорош акцентный стих в первых книгах Николая Кононова), то надо признать: он дает невероятную свободу, возможность обновить интонацию за счет естественности устной речи... Им писали Маяковский, Кузмин: «Время, как корабельная чайка,/ Безразлично всякую подачку глотает,/ Но мне больней всего, что когда вы меня называете «Майкель», —/ Эта секунда через терцию пропадает...» Однако помню, что Бродский по поводу акцентного стиха говорил, что в нем строфика утрачивает свой смысл, «а ты ведь любишь, — настаивал он, — восьмистрочную строфу». Действительно, люблю... Олеся Николаева, один из лучших современных поэтов, продолжает писать акцентным стихом, а Елена Ушакова вернулась к регулярному.

— *Любите ли вы верлибр? (Как: «Любите ли вы те-атр?»)*

— Верлибр имеет смысл как редкое исключение — на фоне рифмованного стиха, так это было у Блока («Она пришла с мороза покрасневшаяся...»), у Фета. Есть и сегодня поэты, чьи верлибры кажутся мне интересными. Но представить себе русскую поэзию, сплошь состоящую из верлибров, как это произошло во Франции, или в Италии, или в Германии, — такое может привидеться только в страшном сне!

— *Абсолютно согласна. Поэты сплошного верлибра представляются мне робкими копиистами среднестатистического стихотворца-европейца. Русская рифма*

*вовсе еще не исчерпана ни в звуковом, ни в метафизическом смысле... А теперь вопрос из другого ряда: скажите, есть ли у вас лирический герой? Вообще, вы признаете в поэзии это понятие?*

— Понятие, конечно, признаю. Оно существует. Но у меня нет лирического героя — у меня в героях ходит поэтическая мысль. Так мне кажется... Вообще, лирический герой — явление, заслуживающее всяческого сочувствия. Он был у Лермонтова. Был у Блока. У Маяковского, безусловно. У Бродского. Это предполагает, как правило, романтический склад поэтического сознания. У Тютчева, Анненского, Мандельштама его не было.

— *А у Цветаевой?*

— У Цветаевой... *(Долго думает.)* Ну, что-то есть. Уж очень она настаивала на своей исключительности. То была романтическая исключительность: она — и толпа непосвященных. И это всегда казалось мне несколько архаичным. Об осуждении тут и речи быть не может. Тот или другой тип поэтического сознания написан нам на роду.

— *Мы уже говорили о том, что в соседних стихах поэтом могут быть высказаны противоположные по смыслу утверждения, — значит ли это, что идейному мировоззрению поэта не следует придавать большого значения?*

— Мировоззрение, конечно, существует и чрезвычайно важно для правильного понимания поэта, но, действительно, следует помнить, что стихи — не философская теория, не научный трактат. «Печален я: со мною друга нет», — говорит Пушкин, но он же говорит и другое: «Я только в скобках замечаю,/ Что нет презренной клеветы.../ Которой бы ваш друг с улыбкой,/ В кругу порядочных людей,/ Без всякой злобы и затей/ Не повторил стократ ошибкой...»

Другой пример. Повторяя про себя: «На свете счастья нет, но есть покой и воля», не следует думать, что

Пушкин не бывал счастлив: «И руку на главу мне тихо наложив,/ Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?/ Другую, как меня, скажи, любить не будешь?/ Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?..»

Конечно же, был счастлив. И когда любил, и когда писал стихи...

А вот что бывает действительно увлекательно, — так это внезапно промелькнувшая догадка, позволяющая по-другому взглянуть на некоторые мировоззренческие установки поэта, увидеть их скрытые, интимные пружины.

— *Например?*

— Например, меня всегда удивляли «имперские», как сказали бы мы сегодня, политические мотивы в лирике Тютчева. Ну зачем ему так хотелось, чтобы Россия прорвалась на Босфор и Дарданеллы, завоевала Константинополь? И вдруг я обратил внимание на то, что, в отличие от Вяземского, Пушкина, Фета, — у Тютчева нет стихов о зиме. Есть одно, но слабое для него, проходное, лишенное тютчевского своеобразия и глубины стихотворение: «Чародейкою Зимою околдован, лес стоит». То ли дело — весенняя гроза, летняя радуга. «Какое лето, что за лето!», «Лазурный сонм женевских вод», «полдень знойный», «первоначальная осень», даже «осенняя поздняя пора»... Он, столько лет проживший в Германии и Италии, изнеженный «декабрьских поздних роздыханьем», боялся зимы, страдал от холодов. Он и декабристов порицал за непомерную заносчивость и самонадеянность: они пытались своей «скудной кровью» «вечный полюс растопить». Не потому ли его так манили проливы, выход в Средиземное море? Женевское озеро прочно занято, «прозрачный Генуи залив» — тоже, а вот Босфор и Дарданеллы, опекаемые турками, почему бы их и не захватить?

Позволю себе шутку, скажу по секрету: побывав на турецких средиземноморских пляжах, я лучше стал



Тютчева понимать. А уж как он отнесся бы к потере Крыма, и говорить не приходится!

У меня и стихи есть об этом: «Когда страна из наших рук/  
Большая выскользнула вдруг/  
И разлетелась на куски./ Рыдал державинский басок/  
И проходил наискосок/  
Шрам через пушкинский висок/  
И вниз, вдоль тютчевской щеки...»

— *Интересно... Откройте: как к вам приходит стихотворение, с чего начинается — с мысли или со смутного звука?*

— Как это ни странно, ответить на этот вопрос мне трудно. Стану вспоминать, как это делается, и не вспомню. Может быть, потому, что каждое новое стихотворение приходит по-своему. Решающую роль играет повод, то есть зацепка, толчок, впечатление, соображение, «движение» души, а поводов так много: познакомился с новым человеком, побывал на выставке живописи, подвернулась под руку фотография, прочел заметку в газете, перечитывал Пруста или Чехова, вспомнил какой-то случай из своей жизни, пахнуло весенней свежестью в раскрытое окно, что-нибудь рассмешило, показалось остроумным, обрадовало, огорчило, ошеломило и т.д. Как видите, этот ряд бесконечен... «Сначала ввязаться в сражение, ввязаться в сражение!/  
А там поглядим — говорил молодой Бонапарт./ Но пишется так же примерно и стихотворенье./  
Когда вдохновенье ведет нас и, значит, азарт!» И действительно, почти никогда не знаю, чем стихотворение кончится; стиховая мелодия и рифма подсказывают новые возможности, уводят с прямого пути — и результат поэтому часто превосходит первоначальный замысел. Но иногда, очень редко, бывает и так, что стихотворение является сразу, почти целиком, — и торопливо записываешь нечто вроде конспекта в прозе, чтобы не забыть счастливую мысль. Вообще для меня очень важно то, что я называю поэтической мыслью.

Поэтическая мысль — это мысль, родившаяся в счастливой метафорической рубашке. Когда случается такое озарение, испытываешь радость: вот оно, то, что тебе нужно; лишь бы только ничто не помешало, не отвлекло, лишь бы эта яркая вспышка не погасла, не остыла; начинается, как бы это сказать точнее, счастливая спешка.

— *Переписываете ли вы стихи время спустя?*

— Стихотворение написано. А дальше оно должно полежать, «вылежаться» — несколько часов или дней — отойдя от него на некоторое расстояние, лучше видишь, получилось оно или нет, нуждается ли в исправлении. Но возвращаться к своим давним стихам, переделывать их я не умею и не хочу. Ты изменился, время прошло, много воды утекло, того, кто писал эти стихи, больше нет. Он для тебя, «как брат меньшей, умерший в пеленах», как сказано в одном пронзительном стихотворении Тютчева.

— *Что поэту дают путешествия? Помню, вы когда-то писали: «Венеция, когда ты так блестяшь,/ Как будто я тебя и вправду вижу,/ И дохлую в твоём канале мышь,/ И статую, упрятанную в нишу...» Теперь, когда вы увидели Венецию наяву, сбылись ли ваши юношеские ожидания и представления?*

— Я рад за любого человека, отправляющегося в поездку за границу, не только за поэта. Несколько поколений советских людей были лишены этой возможности, в том числе мои родители и старшие друзья: Лидия Гинзбург, Глеб Семенов и многие другие. Ожидания сбылись, и в отличие от Кузмина, не скажу, что «мечты пристыжают действительность», и в отличие от Фета, не заявлю: «Италия, ты сердцу солгала». И мною написан ряд стихов об Италии и Египте. Как об этом с усмешкой сказано у того же Кузмина: «В Египте даже был». Но вот что, наверное, следует сказать по этому поводу. Воображение — одна из главных поэтических доблестей; наш луч-

ший поэт за границей не был, но его Испания, его Франция, Италия, Древний Рим превосходят любую реальность и неопровержимы в своей наглядной убедительности.

В то же время я мало ценю поэтические путевые дневники. Поэт в них перестает мыслить, подменяет мысль и поэтический сюжет готовым комплексом географических реалий, похож на японского туриста с фотоаппаратом. И еще почему-то, сидя в кафе или заходя в музей, он невероятно печалится по неизвестной причине. А мы должны любоваться им, радоваться за него и еще сочувствовать ему, бедняжке. Ему и в голову не приходит, что в России и сегодня есть множество людей, для которых поездка за границу недоступна: слишком это дорого. Между прочим, Пушкин в «Египетских ночах» смеется над молодым человеком, недавно возвратившимся из Флоренции и бредящим ею. «Охота вам связываться с человеком, который красит волосы и каждые пять минут повторяет с упоением: «Quand j'étais à Florence...» Когда я читаю такие стихи, пишущиеся в огромном количестве, вспоминаю этого любителя Флоренции.

— Любите ли вы такой «жанр», как Дом-музей поэта?

— Дом Баратынского в Муранове, державинский на Фонтанке, пушкинская квартира на Мойке, ахматовская во дворе Фонтанного Дома, некрасовская на Литейном, блоковская на Пряжке мною любимы, хотя я и знаю, что от державинского дома в основном остались одни стены, — все остальное — плоды музейной изобретательности, а в последней своей квартире Пушкин прожил лишь несколько месяцев, и нынешний ее лоск и блеск вовсе не соответствуют той реальности, той бедности и унижению, которые омрачили его последние дни. Но все равно отрадно изредка, раз в несколько лет, а то и раз в жизни, за-

глядеть в такой музей, коснуться дверной ручки, которую, возможно, сжимал в руке любимый поэт.

— *Верите ли вы в творческую магию места? Ощущаете ли остро то обстоятельство, что и сами живете в таком магическом месте (я лично ощущаю, когда сейчас вот сижу у вас в гостях) — почти в Таврическом саду и рядом с Башней поэта?*

— Иногда действительно кажется, что Михайловское было создано под Пушкина, а, скажем, Пряжка хранит память о Блоке, и вообще дома, которые он выбирал для жизни, кое-что говорят о нем, в том числе о его «угрюмстве»: дом в конце Офицерской как будто повернулся спиной к городу, не хочет никого видеть. А ведь принято было жить в других, более модных местах — на той же Таврической, рядом с садом, который вы упомянули. Через этот сад «на башню к Вячеславу» все они проходили: и Блок, и Кузмин, и Гумилев с Ахматовой... У меня есть стихи: «Через сад с его кленами старыми,/ Мимо жимолости и сирени/ В одиночку идите и парами,/ Дорогие, любимые тени./ Распушились листочки весенние,/ Словно по Достоевскому, клейки./ Пусть один из вас сердцебиение/ Переждет на садовой скамейке...» — это, между прочим, как вы понимаете, Анненский. А есть там, дальше, и Ахматова, и Блок: «Вы пройдете — и вихрь поднимается — / Сор весенний, стручки и метелки./ Приотставшая тень озирается/ На меня из-под шляпки и челки./ От Потемкинской прямо к Таврической/ Через сад проходя, пробегая,/ Увлекаете тягой лирической/ И весной без конца и без края».

— *Все мы — потомки великих теней, даже если их отвергаем. Саша! Я знаю, что вы ведете литературную студию и что у вас есть любимые ученики. Как происходят эти студии?*

— Я этим занят чуть ли не с 73-го года. Было одно литобъединение, потом другое, теперь третье. Оно

существует уже четверть века. Собственно, это не ученики, никто никого писать стихи не учит, — все давно уже взрослые люди, состоящие в Союзе писателей. Это круг друзей, это дружеское общение на почве любви к стихам: Давид Раскин, Вероника Капустина, Иван Дуда, Александр Танков, Александр Фролов, Валерий Трофимов, еще несколько очень талантливых людей. Чем мы заняты? Раз в две недели встречаемся, назначаем оппонентов, человек читает стихи — идет обсуждение их по «гамбургскому счету». Как правило, приходим к некоему общему мнению, что бывает очень интересно. Мне лично это дает чрезвычайно много.

— *Что именно? Зачем вам это нужно?*

— Это живой разговор о стихах. «Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть». Оказывается, на практике кое-что можно выяснить и объяснить. В этом смысле мне вообще везет: у меня и дома есть возможность поговорить о стихах с Еленой Невзгладовой, моей женой. Интонационная теория стиха, которой посвящены ее работы, опубликованные в научных журналах, представляется мне и поэтам, читавшим эти статьи, событием в теории стиха. Когда-нибудь ее поймут и оценят и стиховеды, — до них такие вещи, в силу их приверженности собственным представлениям о стихе, доходят позже.

— А где происходят заседания вашей студии?

— На набережной Макарова, рядом с Пушкинским домом. Там есть такой книжный центр, где нас, человек пятнадцать-двадцать, привечают.

— *Они, студийцы, не обижаются на разборы, на разгромы?*

— Нет. Обходимся без обид: существует желание добиться объективного понимания сделанного... Разговор о стихах должен быть конкретным, предполагает возможность не только словом, но и пальцем указать на слово, строку: вот здесь гнездится поэзия,

до сих пор было холодно или тепло, а здесь — горячо! За год у каждого набирается достаточно материала на один разбор — стихотворений двенадцать. Раньше мы приглашали еще и гостей, но последнее время нам хватает себя, друг друга. У каждого, кстати сказать, есть профессия, никто от литературного заработка не зависит.

Некоторые поэты давно ушли из нашей студии, но мы дружим, встречаемся в других местах и дома: Алексей Пурин, Алексей Машевский, Олег Левитан... В Англии живет Юрий Колкер. Некоторые сменили литературные интересы на деловые, денежные, но трудно стрелять по цели из двустволки. Если ты главным сделал денежный успех, то... прощай, стихи!

— *Согласна. Оставим стихи главным в жизни... Что вы намечаете на ближайшее время? Ваш план, что ли?*

— Написать стишок. (*Смеется.*) Вот будет хорошо!

— *Что-то вышло в последнее время?*

— Вышла книжка в петербургском издательстве «Логос» — сейчас вам ее подарю. Называется «Волна и камень». Это статьи из книги 1991 года «Аполлон в снегу» плюс статьи, написанные за последние лет десять.

— *А стихи пишете сейчас?*

— Пишу.

— *Бывали ли у вас большие паузы в жизни, когда стихи не писались?*

— Меня Бог миловал.

— *У вас есть личный способ их, стихи, вызывать на свет?*

— Есть. Если бы у меня был лирический герой, о котором мы с вами уже говорили, то он бы давно выдохся, иссяк. А поскольку его нет, а есть некие мысли о жизни и чувства, то... А если еще не пасмурный, а редкий для Петербурга синеглазый, солнечный день!

— В общем, это у вас как дневник, который можно вести для себя постоянно.

— Разумеется, не всегда получается, но в среднем, если поделить количество написанных стихов на прожитое в сознательном возрасте время, получается примерно по два стихотворения в неделю. Стихи — это мои отношения с мирозданием.

— У вас есть свой девиз? Или иначе: можете сейчас его мне предложить? Вроде как «ни дня без строчки».

— Девиза нет. Или скажем так: их — много. Любая поэтическая строка, пришедшаяся кстати или вспомнившаяся в данную минуту: «Но жизнь, как тишина осенняя, подробна», «Редет облаков летучая гряда», «Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор», «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», «Деревья Кронверкского сада под ветром буйно шелестят»...

Февраль 2004

# МИХАИЛ ЛЕВИТИН

Я ЛЮБЛЮ ТОЛЬКО РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ...  
НЕНАСЫТНО!

— *Вы мне когда-то говорили, что придумали себе эпитафию. Как она звучала, напомните.*

— «Очень любил прошлое, равнодушно относился к будущему, с удовольствием жил в настоящем».

Этот материал, даже изрядно сокращенный, пожалуй, единственный шанс читателя заглянуть в кухню «беседчика», как называл такую писательскую специальность Александр Бек, представить, как долгий разговор с повторами, возвратами и недосказанными фразами становился изящным кратким интервью, так полно раскрывающим характер собеседника. Памятуя, как деликатна была Татьяна, редактируя интервью своего ушедшего друга Юрия Коваля (см. стр. 381 настоящего издания), теперь, при подготовке к печати беседы с Михаилом Левитиным, записанной ею у нее дома в январе 2005 года, мы не пытались сгладить шероховатости и связать логически все фрагменты, не вторгались в стилистику ее беседы, домысливая вопросы. Надеемся, что внимательному читателю расшифровка беседы даст много для понимания не только особенностей творческого метода Татьяны Бек, но и ее душевного настроения в те последние недели жизни. *(Беседа записана с аудиопленки и подготовлена к публикации Ириной Скуридиной.)*



— *Это вы о себе?*

— О себе абсолютно. Давным-давно. И как-то не меняется эта эпитафия.

— *Мне очень нравится. У меня миллион вопросов, но давайте начнем с нашей общей подруги Риты Райт; у вас был рассказ о ней мемуарный, что она шла, и вы увидели, что она сама себе нравится и внутри себя молодая.*

— Это было более резкое ощущение... Как раз только-только премьера отзвучала, я стоял в коридоре, и, кажется, Рома Тименчик вел Риточку ко мне. И мне показалось, что Рома ведет ко мне девчонку лет шестнадцати-семнадцати, о-очень эротическую, очень, — это было мое восприятие — крайне желанную. Потом приблизилась ко мне старушечка, со старушкой началась у меня дружба, и я тогда понял, что она умеет включать что-то, когда хочет понравиться. Но в тот момент никакого рационального объяснения этому впечатлению у меня не было.

— *А это какой год-то был? И вообще, что это было?*

— 69-й год, премьера «Господина Мокинпотта» на Таганке у Любимова. Это когда я в 20 лет поставил первый спектакль в Москве, и сразу в самом знаменитом театре.

— *Как это получилось?*

— У меня есть книга «Чужой спектакль», которую называли когда-то «мемуары тридцатилетнего», и это книга, можно сказать, о струйке собственной крови в чужом организме, в организме театра... Я шел с Сережей Никулиным, сейчас он директор Союза театральных деятелей. Сережа был первым зрителем моего предшествовавшего «Мокинпотту» спектакля «Синяя птица» в Риге у Шапиро в ТЮЗе. Сереже та постановка была очень интересна, и он, кажется, влиял тогда как-то на журнал «Театр», писал о спектаклях, и вышедших и закрытых. Мы как-то

прогуливались и оказались рядом с Театром на Таганке, я, помню, даже назвал его мазанкой — такая белая... как на Украине, где я родился. Сергей говорит: «Что ты собираешься делать?» — «Я еще не знаю. Пятый курс. Ну как-то найду, где диплом поставить. Вот у меня переговоры с театром Вахтангова...» Он говорит: «Ну, купи мне мороженое, поднимись к Юрию Петровичу (далее в тексте: ЮП. — И.С.) в кабинет, и он тебе даст спектакль». Это я забыть не могу.

— Два каких-то авантюриста.

— Да, два авантюриста. Я купил ему мороженое и поднимаюсь в этот театр, впервые со стороны служебного входа. Там есть особенность одна: ЮП — это руководитель с открытой дверью. Его кабинет всегда открыт. Я потом понял этот секрет и хитрость, к сожалению, не могу до конца это использовать: пусть входит кто угодно, но человек не спросит ничего сложного и интимного в присутствии массы людей.

— Да. Очень тонко.

— Это специально открытая дверь. Закрывает он ее, когда ему что-то надо. Ему!

— Это вы уже как писатель замечали.

— Нет-нет, я замечал это всегда... может быть, как писатель. Я прошел через приемную, в которой всегда была масса ассистентов, людей, жаждущих быстрой славы... А театр шесть лет существовал, и слава его была немыслимая... какая-то непомерная.

— Это я помню.

— Он меня встретил; голубой джинсовый костюм на нем был, мальчишеский, и привычка смотреть не в глаза, а в пупок, особенно когда он не знал собеседника. Он мне в пупок смотрит: «Что вы хотите, здравствуйте, как вас зовут?» ... И я сказал: «Я хочу поставить у вас спектакль». А он говорит: «Какой?» Я говорю: «"Командарм 2" Сельвинского». А он: «Ну

Мейерхольд-то ставил уже этот спектакль». — «Ну и что? Ну ставил». Он говорит: «Хорошо. Расскажите, как вы хотите поставить». Я стал ему рассказывать, и ему понравилось, что там должны быть какие-то бабы скифские и солдаты, которые от нечего делать камнями бросают в камень. Ему понравились какие-то мои кусочки, он понял, вероятно, что там есть мышление... Я потом сформулировал, что разговаривал с ним не как с худруком, а как с артистом, а артиста я мог покорить... И он говорит мне: «Хорошо. Я вам сейчас дам пьесу, и вы начнете ее делать через два дня, но это не будет “Командарм 2”». — «А что за пьеса, которую вы мне дадите?» — «Петера Вайса “О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился”». — «Ну я прочту?» — «Читайте». Перевод Льва Гинзбурга. Хор-роший перевод, но пьеса слишком для меня политична. И я сказал: «Она в стихах, это уже хорошо, потому что все пьесы должны быть в стихах». У меня была тогда такая идея — надо ставить только пьесы в стихах. Я и до сих пор в этом убежден, поэтому я ритмизую тексты... Театральный текст не может быть текстом жизни. Пафос театра предполагает иной способ выражения. Театральный текст должен быть текстом театра. А текст театра — это поэзия, в буквальном смысле слова. Это сразу дает мне возможность строить другую пластику, строить сложную композицию, предполагает некую образность и режиссуру.

— *Да, но ведь очень много пьес в двадцатом веке было как раз прозаизировано. Вампилов, Володин...*

— Я и не люблю... Володин другой разговор, потому что у Володиного тяготение к поэтической интонации...

— *Недаром он сам писал хорошие стихи...*

— ...и он создатель нового диалога. Когда человек создает новый диалог, то не обязательно, чтобы он был стихотворным, ритмическим. Это не надо сочинять, это надо услышать... Но новый диалог услы-

шать или владеть им от рождения почти никому не удавалось. На моем веку — это Эрдман, это Володин и это Жванецкий. Как ни странно... Там были стихи, а стихи, если хорошо написанные и легкие, как «Сирано де Бержерак», любимая моя пьеса, то можно ставить, можно найти там себя. В поэзии вообще человек себя может обнаружить.

— Ну если это т а к о й человек. А некоторые там вообще не могут даже находиться.

— Я сделал распределение ролей, в которое вбухал всех ведущих артистов, непохожих друг на друга совершенно, я напихал их от незнания этого театра и от самоуверенности... Вы человек нетеатральный, поверьте, ничего нет труднее, но я овладел этим методом на Таганке: весь способ работы заключался в том, что я показывал им сцену, в с ю , от начала до конца за в с е х персонажей. Возможности поиска были отмечены сразу. Мне говорили: «Найди, покажи, мы оценим, если нам понравится, мы сделаем».

— *А если не понравится?*

— Если не понравится, выгоним к едрени матери из театра... Но в итоге они меня приняли безусловно, так как я был готов. Они не знали, что я возвращался к себе домой в Пушкино к Маше и несколько часов лежал на деревянном полу лицом вниз, так я уставал... Затем на репетиции перестал приходить Володя <Высоцкий>.

— *Ну, запил, наверное.*

— ЮП так мне все время и говорил: «Не назначайте его, он болеет, ну отнеситесь серьезно к его болезни». Я ничего не понимал, я был возмущен. И однажды, после пяти часов дня, а в театре обычно в это время никого нет, я иду, и по лестнице из буфета наверху спускается Володя, весь какой-то небритый. И я ему говорю: «Владимир Семенович, почему вы не ходите на репетиции?» А он меня так страшно спрашивает: «Когда мы научимся понимать друг друга?!»

— *Ну надо было сказать: «Попозже немножко». Вы же еще были мальчик.*

— «Когда мы научимся понимать друг друга?!» Это он обращался к человечеству, не ко мне... Тем не менее спектакль срабатывается, и через какое-то время ЮП вызывает меня в кабинет: «Ну что, Миша... Закройте дверь. Нет, не закрывайте... Нет, закройте дверь». Закрыл. «Ну, Мишенька, вы много сделали?» Я говорю: «Да практически всё...» — «Ну еще чуть-чуть порепетируйте, и я к вам приду». — «А зачем?» — «Ну как зачем? Я войду в спектакль». Я подхожу к двери и по ней ногой, и громко: «Идите сейчас, а не через несколько дней». А он говорит: «Дверь закройте! Закройте дверь! С вами невозможно разговаривать! С вами невозможно разговаривать!» Я закрыл дверь. «Ну хорошо! Ну репетируйте! Ну хорошо! Ну покажите...» и так далее. Я не знал тогда, что в этом театре уже была история с моим другом, тогда еще будущим другом, Петей Фоменко, проработавшим там пять лет и поставившим единственный спектакль, и он шел три-и ра-за. Я еще не знал, какие там ловушки театральные существуют... И с этого момента меня начали предавать, и первый Лева Гинзбург, который до этого обожал. В общем, ЮП создал невероятную ситуацию, при которой худсовет во главе с Крымовой, заявив, что все в спектакле хорошо, но требуется вмешательство Любимова, закрыл спектакль... Потом репетиции начались вяло, он пришел и вдруг сказал мне, что он хочет сделать. Он хотел сделать из этого цирк, оправдать это атрибутами цирка, ржым париком на герое... Я говорю: «Это не цирк! Как мне вам объяснить, что это такая жизнь: пьеса в стихах, жизнь такая». Он все же исправил три вещи, потом две из них мне удалось снять, одну — нет... Ну, не важно. Спектакль прошел сорок пять раз, а потом автор написал пьесу «Троцкий в изгнании», и это был хороший повод, чтобы запретить Вайса на советской сце-

не и чтобы закрыть мой спектакль. История эта гладко вам сейчас рассказана, а рассказать ее так, как она отразилась тогда в моей душе, уже очень трудно...

— *Ну это мы для разгона сделали. Любимов, я думаю, большую роль сыграл в вашей судьбе, но не единственную, да? Ну, может, просто начнем — вы же из Одессы?*

— Да.

— *А кто родители были?*

— Родители не имели к театру никакого отношения.

— *И все же.*

— Мама — историк, у папы было много профессий.

— Как их звали?

— Папу — Захар. Я до сих пор думаю, что ЮП дал мне спектакль, потому что я Михаил Захарович, а у него отец... тоже Захарович. Отец занимался своими делами, а мама работала в Институте связи. И еще она преподавала артистам цирка научный коммунизм — общественная нагрузка... И я в цирке был все время и клоунов тогда видел...

— *А в детстве вы хотели клоуном быть, да? До сих пор любите цирк?*

— Я только его и люблю.

— *Я обожаю, и, кстати, все передачи по телевизору про цирк смотрю... очень хорошие бывают передачи про цирк... Расскажите про Одессу. За что вы ее любите, бываете ли вы в ней, и что было бы, если бы вы там остались?*

— Сейчас, когда вы меня спрашиваете, вы спрашиваете о той Одессе, о том доме, в который я уже зайти не могу. Полтора года назад я там был, там похоронен отец, и я приезжаю к отцу, он главный в моей жизни. Пошел по дороге и заплакал — я уже не знаю Одессы... Я ее потерял, как все, кто почему-то уезжает, любя ее очень...

— *Во сколько лет вы оттуда уехали?*

— В шестнадцать с половиной. Я поехал и поступил на режиссерский факультет в ГИТИС.

— *И сразу поступили?*

— Моментально. Не было прецедентов до меня, кроме Товстоногова, который тоже после школы поступил. В ГИТИС принимали только с первым образованием. Но мой собственный театр начался еще в Одессе.

— *Как?*

— Он начался очень рано. С пристрастия к клоунаде, подражания Райкину, бесконечных игр дома... Я ходил, конечно, в театры беспрерывно и любил всё.

— *А там разве были хорошие театры?*

— Хорошая Оперетта. У нас до этого было два драматических театра, мы один из них поменяли на львовскую Оперетту... В букинистическом магазине — в Одессе чудный магазин — я нашел книгу, наукообразную, помню автора — Константин Державин, «Книга о Камерном театре», и в ней удивительные фотографии удивительных спектаклей. В нее тогда был вложен некролог и статья о гастролях Камерного в Одессе. В 12 лет я получил сразу представление — от начала Камерного театра до некролога Таирова. А потом был школьный драмкружок, которым руководила бывшая актриса ГОСЕТа (Государственный еврейский театр. — *Ред.*), приехавшая в Одессу, полюбившая меня, сделавшая героем театра, а я организовал второй альтернативный коллектив и поставил в седьмом классе «Моцарта и Сальери»... У меня об этом повесть «Витя Куза в сандалиях на босу ногу», там название вычурное, а правда — большая, большая правда моего детства... Я очень любил тогда «Театр у микрофона», и когда ездил с родителями по Волге, вдруг случайно услышал по радио на теплоходе «Мадам Бовари» Коонен. Она восстановила спектакль. И это полностью совпало с моим представлением о театре. Кто-то, не могу точно

вспомнить кто, может быть, в Русском театре, где я подрабатывал в восьмом классе рабочим сцены, на мои слова «Я люблю Коонен» мне сказал: «Ну, напиши ей письмо». — «Она жива?» — «Да». И я написал письмо Алисе Георгиевне, и она мне ответила.

— *Потрясающе.*

— Ответила раз, ответила два. Слава богу, я переписал целые куски из ее писем, потому что письма эти первая моя жена, по-моему, вместе с письмами моими, сожгла совершенно случайно.

— *А о чем она вам писала?*

— Она писала мне о Камерном театре, о школе Камерного театра, странно писала, по диагонали, — у нее переходила на другой лист строка по диагонали. Очень странный почерк... И я приехал в Москву и пошел к Коонен, туда, вот в этот Пушкинский... черт! в Камерный театр! И там я увидел картины Пикассо, Леже, фигурки таировские. По заказу ему делали специальные фигурки актеров в основной лейтмотивной мизансцене. Накопилось много, за все спектакли. И когда он потерял театр, это был уже больной человек, он дома открывал занавес, разыгрывал спектакли как бы идущие в этот день и закрывал занавес... Трудно говорить об Алисе Георгиевне, потому что она — только актриса... в великом понимании, живущая в каком-то художественном мире, принципиально и навсегда. Даже не поверишь, что эта женщина живет в быту, не поверишь.

— *Но как-то она все-таки справлялась... жила?*

— С нянькой, с домработницей. Я с ней прогуливался по Тверскому, я был на концерте, где она читала Блока, и наблюдал за ней. Из состояния приподнятости, некоторого пафоса, пребывания не здесь она не выходила никогда...

— *А как же она контактировала с миром?*

— Нет, она не была слепа и глуха, вероятно, к этому миру, но она ему навязывала свои законы. Она,



действительно, переиграла этих королей без счета... богинь, королей, героинь, и она имела право на это. В ее природе было романтическое. Я даже написал в свое время, как она влюблялась в своих голубых партнеров и как она хотела, чтобы они были мужчины и в ее жизни, а они просто пассивные, голубые, и она их теребила, и они сходили с ума, и бежали из театра...

— *Вы с театроведами когда-нибудь дружили? Это особые люди, театроведы.*

— К сожалению, нет. У меня отношения с ними тяжелейшие. Когда они меня критикуют, я всегда говорю, что Виктор Борисович Шкловский в своей последней статье о моем театре...

— *А вы знаете, что вы на него будете очень похожи?*

— Я счастлив.

— *Вам не говорили этого?*

— Говорили. Говорили.

— *Вот сейчас я вдруг увидела — череп и соотношение черт лица.*

— Да, да... В статье «Возвращение времени» он написал, что я режиссер, у которого в руках джокер. Когда это пишет Шкловский, и Каверин пишет о тебе так серьезно, и Юткевич, как бы к нему ни относиться, пишет в «Литературке» огромную статью, я говорю сегодняшним критикам: «Вы знаете, мне совершенно безразлично, что вы обо мне думаете».

— *Правильно. Это вам вообще должно быть безразлично... А как вы со Шкловским познакомились?*

— Да, сейчас скажу... В ГИТИСе в журнале «Театр» прочитал сцену из незаконченной пьесы Олеси. Я был на втором курсе, кажется, и сказал себе: «Всё. Вот мой Гамлет». И поставил сцену из этой вот непонятной, неизвестной пьесы. Она имела успех. А дальше, если так сразу все рассказать, двадцать лет я сочинял возможные варианты этой пьесы. Я встретился с Ольгой Густавовной (вдова Ю.К. Олеси. — *Ред.*), она позвонила Виктору Борисовичу при мне, я

его не знал совершенно, и спросила его: «Пришел мальчик, просит черновики «Занда». Дурак или авантюрист?»

— *При вас?*

— При мне, я же мальчишка был. И он ей отвечает: «Возможно, не дурак, но безусловно авантюрист». А так обстоятельства сложились, что я эти все черновики потом получил. Завлит моего театра — Ира Озерная — написала письмо мне, когда еще в театре не работала, письмо с признанием в любви к спектаклям и к книжке только вышедшей прозы. И вдруг написала: «А над всем этим — Юрий Карлович Олеша» — и восклицательный знак. И затем: «Если я вам буду нужна, я работаю в РГАЛИ». Оказалось, она работала в отделе рукописей над Олешей.

— *Потрясающе.*

— Да. И я приехал к ней и сказал: «Ира, спасибо вам за письмо, теперь, прошу вас, посадите меня в читальный зал и, пожалуйста, принесите мне всё». Оказалось — тысяча листов. В течение недели я приходил: «Говорю вам точно: здесь должен быть монолог директора театра». — «Здесь ничего нет». И вдруг на промокашке — монолог директора театра. «Здесь должна быть любовная сцена между этим и этим. Два варианта этой сцены...» Я за двадцать лет до появления черновиков догадался... И когда я прочитал и сделал свою композицию, мне понадобилась поддержка, чтобы ее пробить. Главным образом, поддержка Шкловского. Это было важно для меня, так как он из тех людей 20-х годов. В Москве я должен был всех их увидеть.

— *То есть тех, кто в 70-е годы еще жив остался... Кто это был?*

— Ну Риточка, Рита Яковлевна, она же называла меня «корешок», она мне говорила: «Ты наш, ты наш, ты должен был родиться тогда». Я всю жизнь этим горжусь... Шкловский, Сельвинский, Каверин.

Каверин был поклонник «Школы клоунов», Хармса моего, и писал о нем. Это был, как ни странно, Катаев, с которым у меня была невероятно смешная встреча. Но сначала о Шкловском. Я приехал с пьесой («Нищий, или Смерть Занда». — *Ред.*) на дачу, там были дочь Варя, внук Никита и секретарь его — Саша Галушкин. И вот они мне принесли Виктора Борисовича из кабинета. Я говорю «принесли», потому что лицо шло впереди, торс сзади, а ноги вообще черт знает где.

— *Год, год? Я как зануда люблю даты...*

— Год? Если я поставил Олешу в 86-году, то это и был 86-й либо 85-й.

— *Но он скоро уже умер?*

— Что-то совсем накануне смерти. И вот его принесли ко мне туда, посадили в кресло. О! То, что произошло после этого — это большое счастье. Для меня он был... сила. Сила.

— *Он вообще гений.*

— Ну гений совершенный. Это был какой-то мой человек. Я таких люблю... нюхать... вы знаете...

— *Но вы копия...*

— Я должен его обнюхать. Ох! Мне нравится запах его тела... а тем более запах его мыслей. Все нравится! Он сел в кресло, это было — боже! — так смешно! Откинулся назад, взял мою рукопись и стал ее читать над головой, вот так (*показывает*). Он стал менять листы вот так вот, и отдавал кому-то. То ли ей отдавал, Варе, то ли Саше, не помню. Быстро-быстро. (...) Он сказал: «Хорошо, мне это понравилось», — и написал во все инстанции, куда только мог, с требованием, чтобы ее ставили.

— *То есть он это признает как пьесу...*

— Как пьесу абсолютно. И пришел на спектакль «Школа клоунов». Несмотря на то, что они были в конфликте с Кавериним, а Каверин спектакль очень хвалил. Но как хвалил Шкловский, так меня не хва-

лил даже Каверин! Он сидел в зале и каждый акт менял головные уборы, извлекая их из портфеля, — он сидел в тубетейке, в меховой шапке, в кепке... Каждый антракт он мне рассказывал какую-то притчу. Я ничего не помню кроме какой-то пчелы, так я нервничал по поводу спектакля! Он написал мне на «Энергии заблуждения» огромный период, и Саша Галушкин сказал, что это не расшифрует даже он... И вот эта статья, где он объяснил, какой это театр...

— *А где это было напечатано?*

— Напечатано было в журнале «Театр», и в его сборнике есть. Это была мощная помощь... А потом я пришел к нему на похороны. Я пришел первым в малый зал ЦДЛ, была семья. Я очень страдал, а вхожу — все смеются, и прежде всего смеется в гробу Виктор Борисович, это меня поразило. Печеный такой весь, печеное такое яблочко, и они стоят вокруг, веселые, болтают о чем-то... Они ко мне как к члену семьи отнеслись, и я чувствую, что неправильно несу в себе такую скорбь, надо что-то менять, как-то пристраиваюсь, и очень тяжело. Говорю: «Никита, а как дедушка умирал?» И тут я все абсолютно понял, и все завершилось, и все сошлось. Он сказал: «Ну, вы знаете, он сломал шейку бедра, лежал в Кремлевке, медсестер к себе не подпускал, а материл и говорил только одно: “Господи, прости всю ту ересь, которую я написал. Господи, прости всю ту ересь, которую я написал”». Вот Шкловский — это то, как я представлял себе 20-е годы...

— *Да, правильно.*

— ... с их смертью, с их перевоплощениями в процессе жизни, что, в общем, мудро, и на что я, к сожалению, не способен, так как я не человек 20-х годов.

— Мы с вами люди консервативные, мне недавно один психолог — друзья прислали, чтобы с ногой мне помог, — сказал: «Вы психологически инфан-

тильны, но, с другой стороны, вы всегда будете молоды». Мы с вами, как были в 20 лет...

— Абсолютно, так и остались.

— ... и застенчивость, и наглость, да?

— Всё-всё-всё. Да, но мало того, Танечка, когда мне было очень плохо, один мощный врач, приведенный Ольгой, женой моей тогда, ей сказал на кухне у нас дома: «Оль, ну а что вы так нервничаете: есть люди, которые ищут связь всего в мире, а есть люди, которые роют свои шестнадцать ям. Ваш муж роет шестнадцать ям. Выроет шестнадцать ям и умрет».

— Ну пока еще, мне кажется, вы не вырыли...

— Я не вырыл, наверное... Но мне показалось, что правда в этом есть. Я, действительно, не спасаю мир поиском связи. Но какая-то программа, ракурс свой — это мне надо...

— Но вам нравятся люди, которые сильно меняются за жизнь? Вас не раздражает, например, когда человек был максималистом, скажем диссидентом, потом прошло лет двадцать... и он вдруг стал абсолютно другим...

— Да, Таня, я это ненавижу.

— Вот это — объекты моего гнева. Тут вы меня держите. Особенно если они и на том и на другом этапе получают, а они очень часто моралисты эти люди, вот это меня бесит. А в остальном, конечно, человек физически меняется в какой-то степени...

— А с Катаевым произошло вот что: я знал, что молва о нем дурная, но любил его как писателя всегда и продолжаю любить...

— Мощный. Сильный.

— Мощный, конечно... Я в то время, в 87-м году, не будучи членом партии, по требованию Комитета по культуре ставил спектакль к съезду. Он был о первом съезде советских писателей и назывался «Мы собрались здесь...». Мне было очень интересно это делать, но мне нужен был свидетель, радиоголос,

официальный... Договорились о встрече, я приехал в Переделкино, он ходил там по дорожке... высокий мужчина (*Изображая, говорит резко*): «Что вы хотите от меня?» Я говорю: «С вами, Валентин Петрович, разговаривали, я хочу, чтобы вы нам чуть-чуть рассказали». — «Пойдемте». Идем через садик, к дому, и он мне по дороге говорит: «Что вы сейчас ставите?» И я сказал Катаеву: «Олешу». И вдруг он мне говорит: «Примазаться хотите?». О-о!

— *Как вы все это выдерживаете?*

— Совершенно спокойно, потому что я не так люблю людей, как вы.

— *Да-да, я очень обижаюсь на них.*

— Я не жду от них ничего, я ничего от них не жду.

— *Вы прелесть просто.*

— Я вам говорю как есть: они — современники — мне очень интересны, приятны, но я не жду... Если я дожидаюсь от людей чего-то, так я потом предан им до конца жизни.

— *Я поняла. Это, кстати, очень продуктивная позиция... Это лучше, чем иллюзии, которые потом развеиваются.*

— Никаких иллюзий. Не питаю иллюзий. Еще насчет женщин питал, но перестал питать...

(...)

— *У меня был вопрос: путешествия вы любите? Они вас заряжают? Ну скажите что-то.*

— Как любовь. Это самое главное в моей жизни. Я путешествую непрерывно.

— *А что у вас внутри, в кишках меняется, когда вы садитесь в самолет?*

— Я вам скажу откровенно — я путешествую абсолютно как сомнамбула. Я путешествую в капсуле, в каком-то полувялом, полусонном состоянии... Я как бы позволяю миру как угодно со мной поступать, и это — момент, когда не я решаю. А я всю жизнь решаю. Профессия моя такая с детства, а тут за меня

решает мир. Я только вроде вижу, вроде чувствую, вхожу в отношения, даже любовные...

— *Бывали?*

— *Бывали...*

— *И такие вспышки, да вот?.. А бывало иногда, что без общего языка.*

— *О чем вы говорите!.. У меня даже был роман в Праге с немкой, с которой мы не сказали друг другу ни одного слова. Это было бессмысленно, я ничего не понимал, и она тоже.*

— *Я вас поняла.*

— *Это происходило мгновенно...*

— *Именно, без всякой пошлости...*

— *Нет-нет-нет.*

— *Вот как какие-то чудесные бабочки, да? или стрекозы...*

— *Да-да-да. Только так.*

— *Без всяких обязательств...*

— *Никаких обязательств.*

— *Выяснений...*

— *Ничего. Ничего. Ничего.*

— *Вы часто бываете в Латинской Америке. А почему именно Латинская Америка?*

— *Ну, это моя Одесса. Понимаете, вот вы спрашивали об Одессе, а я подумал, что я ее несколько вытеснил Латинской Америкой. Но вся атмосфера, когда меня на улице после спектаклей женщины треплют за щеки и кричат: «Вива Эрендира! Вива Музыка! Вива Театр!» — это Одесса, меня больше никто так не дергал. И потом — обещание нового, конечно. Я все время живу в ожидании нового и обязательно необычного. Я ненавижу термин «узнаваемость».*

— *Поняла... Гениально у нас идет, я уже вижу всё... как-то хорошо, но все-таки скажите, почему вы считаете, что театр должен быть близок к поэзии? Конечно, «Суер-Вьер» у вас — это верлибр такой грандиозный.*

— Абсолютно.

— *Вы театр все-таки воспринимаете как праздник, да?*

— Только-только.

— *Как какой-то выход из будничной реальности?*

— Только карнавал, только карнавал.

— *А вот эта поэтика, наоборот, почти фотографии?*

— Я ею не владею. Мне вообще интересно... я всегда говорил, мне интересно то, что делают мои друзья, и больше ничего не интересно. И потом, знаете, пушкинское «какое может быть правдоподобие в помещении, разделенном на две части, где одна часть — над головами зрителей, и, может быть, кто-нибудь докажет нам, что условное неправдоподобие есть суть искусства». Условное неправдоподобие — это можно сойти с ума!.. Всё. У Мейерхольда была такая лекция — «Пушкин-режиссер». И Раневская говорила: «Лучший режиссер Пушкин».

— *Вы Раневскую знали?*

— Знал чуть-чуть. Я любил Бирман. Бирман — моя любимая актриса.

— *А расскажите чуть-чуть о Бирман в жизни. Я помню, что мы в ЦДЛ ее встретили... мне повезло, конечно, с папой. Не в смысле других каких-то вещей, но я помню: он стоит с очень пожилой женщиной, очень некрасивой, это даже я тогда понимала, но при этом отмеченной Богом. И что-то ей такое говорит, что просто: вы — мой идеал... Это год 63-й. Да? Могло быть?*

— Могло быть...

— *У нее такая была прическа, как у меня.*

— Да-да. Она была, вероятно, по житейскому такому восприятию, просто безумная.

— *Ну безумные тоже разные бывают. Депрессия. Агрессия... Как это евреи говорят — «мишугинер»?*

— Она была «мишугинер». И так считается, что она была злой. Это не исключено. Я ее встретил однажды



на главном телеграфе. Незабываемо. Странно. Я писал телеграмму, а она была рядом у окошка, я повернулся к ней и говорю: «Серафима Германовна, простите пожалуйста, я ученик Юрия Алексаныча (Завадский. — *Ред.*)». — «Очень приятно...» И вдруг ее прорвало... В ней все доходило всегда до предела, кому-то лишь нужно было дать повод прорваться. И это рвануло на меня сразу рассказом о том (Дальше говорит «ее» голосом), как сейчас она ехала в электричке с драматургом Э. Радзинским и у нее из чемоданчика пропало двадцать пять рублей, когда он ушел... Что еще ждать от драматургов, которые пишут об этих писюшках в коротких юбочках, о всяких электронах, протонах...

— *Да, это «мишугинер».*

— Боже! Гигантский монолог, но самое интересное, что, произнося этот монолог на высочайшем выразительном уровне, она собрала вокруг себя всех женщин главного телеграфа.

— *А может, она прикалывалась, как сейчас молодежь говорит? Они говорят, знаете, «он стебается с приколом».*

— Нет-нет. Это было другое. И вокруг нее собралось много женщин, и я даже где-то написал, что ее часто могли принять за Раневскую по эксцентризму.

— *Да, но она была худее... более худощавая.*

— Она совершенно другая. Раневская ведь очень добрая. А эта — гневная, стремительная, мчащаяся, непримиримая. Не-при-ми-ри-мая старуха... Когда она сыграла в «Дядюшкином сне» у моей учительницы Анисимовой-Вульф, приехал Артур Миллер и посмотрел. Там главную роль играла Раневская, и пять минут на сцене была Бирман. Он сказал: «Раневская — замечательная актриса, но это дважды два четыре, а то, что делает Бирман, — это дважды два пять». Эти «дважды два пять» — для меня основное. Вот это она, во всех ее проявлениях, диких письмах к Эйзенштейну, во всех ее потоках, монологизме и в том,

что она, когда умирала в сумасшедшем доме, поставила там «Синюю птицу».

— *С сумасшедшими в главных ролях?*

— Да-да-да-да.

— *Вы такие говорите вещи... А мне все время хочется сказать: «Это слишком». Но вы мне сразу сказали: «Если не будете верить, не буду рассказывать».*

— Да, но это не слишком.

— *Вообще, мне, конечно, о театре с вами интересней говорить, потому что я этого ничего не знаю. Мы много говорили о ваших учителях, вольных или невольных, а у вас с годами не возникло желание иметь учеников? Или вы уже их имеете?*

— У меня курс ГИТИСа был. Я взял их всех в театр и отказался продолжать педагогическую деятельность категорически, потому что не могу абсолютно: нетерпелив, принимать я хочу только талантливых и работать только с талантливыми.

— *Ой, это тогда трудно... Они же... там такая тогда конкуренция и зависть.*

— Остальным я говорю так: «Смотри и учись». «Сдохни, — я говорю. — Сдохни, но научись». Эти годы были мучительные для меня, они мне ничего не дали.

— *Вот странно, ведь многие люди, очень талантливые и совершенно бесплатно... включая меня, например, — почти бесплатно уже 15 лет я все-таки хожу в Литинститут, и мне это дает что-то, может быть, за неимением своих детей, какое-то подключение, энергию... Есть такая даже буддистская заповедь, недавно прочла: чтобы научиться, надо учить...*

— Но на репетициях я же непрерывно в показе, в объяснении, в рассказе. И я своих учу, а этих молодых — бессмысленно. В итоге, вы видели мадам Френкель, это моя любимая ученица. Ради нее я все эти четыре с половиной года с ними трубил, чтобы вот эта вот женщина, девушка пришла ко мне в театр.

— *Сумасшедшие играет. Она и в жизни такая?*

— Да она вся... перевернутая. Она — чудо... Из Калуги. (...) А я в ГИТИСе учился у Завадского. Единственное, что в нас совпало, — это его любовь к карнавалам, как он их понимал, чисто внешне... к жизни как к празднику. Другая жизнь была ему неинтересна.

— *И даже в личной жизни, в смысле в бытовой, тоже праздник?*

— Только... терпеть не мог, когда семья сына, бесквартирная, жила с ним в его гигантской квартире. Полгода, по-моему... Жаловался мне страшно.

— *Что его раздражало?*

— Присутствие.

— *Я его понимаю как никто.*

— Только один. Только один... Но при этом каждый вечер уезжал к Улановой — видеть ее, говорить с ней.

— *Это я себе на старость готовлю: значит, в старости тоже люди друг друга интересуют.*

— Очень. Он должен был с ней разговаривать, должен был на нее смотреть.

— *Мне, знаете, Соломон Волков сказал: «Вы не представляете, Таня, главные романы, главные дружбы — в доме престарелых». На полном серьезе. (...) Ну, вот видите, сколько вы знали гениальных стариков. У меня то же самое, потому что меня лично тянуло к старикам с детства.*

— Старость должна быть гениальна. Иначе она ничем не оправдывается.

— *Иначе она ужасна. Я вот сейчас сталкиваюсь с негениальной старостью... Утеря любопытства к жизни и зависть к молодости чужой — это безобразно. А если вот такая старость — надо ориентироваться... надо подражать таким старикам.. Да, но мне кажется, мы будем отличные старики.*

— Если доживем... а мы доживем.

— *Мы доживем, это я вам тоже... Вы очень долго будете жить...*

(...)

— Я был первым режиссером Жванецкого, Карцева и Ильченко В общем, я их уговорил поехать в Одессу, в театр. Там им не мог никто помешать, потому что это уже была сила — Карцев, Ильченко и Жванецкий.

— *Это просто были... уже кумиры.*

— И я поставил с ними первый спектакль по Жванецкому, почти уничтоженный Комитетом по культуре, но он шел. Потом «Чехонте в Эрмитаже», а потом Хармса.

— *Это какой год, 90-й?*

— Это 82-й год.

— *82-й? Как вам разрешили-то? Его тогда даже не печатали еще.*

— Но я наврал, что хочу поставить детский спектакль, и дал им текст, где написал над каждым куском Хармса слова: «Клоунада первая», «Клоунада вторая». Они не стали читать. Они утвердили.

— *Да-да. Я поняла. Спрятались за цирк.*

— А уже спектакль был и репетировался очень долго, и актеры мне очень верили. А потом началось безумие.

— *Да-да, это я помню.*

— Настоящее безумие. Весь альманах «Метрополь» пришел. Бондарчук пробивался сквозь толпу, Меньшов пришел: «Проведи Бондарчука и Скобцеву». А Меньшов поклонник был, ходил на каждый спектакль... И после Хармса я согласился там остаться. Долгие годы, как ни странно, в театр не назначали главного режиссера. Это был мой театр, но и меня не могли назначить главным.

— *Как говорит мой один приятель, к черту подробности, но почему вас не могли назначить главным режиссером, если вы практически им являлись? Это потому что еврей?*

— Еврей и не коммунист.

— *Вот я и говорю, к черту подробности, это нам всем знакомо. Я знаю такие свои истории в литературном мире, про театр — я с интересом слушаю. Знаете, когда тоскуют по тем временам, мне сразу хочется это все вспомнить... Ну, короче, я хочу о хорошем пока, у нас такой мажорный получается разговор... И вам просто дали этот театр.*

— Да. И потом они мне дали потихоньку все, до Народного артиста. И все мое официальное честолюбие было так быстро удовлетворено! Единственное, что было странно — я ушел из дома и оставил, как всегда, квартиру жене, я оставляю все детям... И я сказал, что я не хочу квартиру (мне предлагал Комитет), что я буду жить по мусоркам. И я стал снимать квартиры, которые не для людей, я запрещал хозяевам делать ремонт. Я жил так четыре года.

— *Но это же очень опасно для психики. Такие люди, как мы, очень зависят... даже от яркости света. Поэтому нам нельзя так жить... А где у вас сейчас квартира, район?*

— Да просто чудо. Конец Плющихи. Там я придумал синюю квартиру. Я хотел жить в синем-синем цвете. И я в нем живу.

— *Ой, я тут так хочу себе сделать кое-какой ремонт, но я как подумаю, что надо убирать книги, картины... Это значит минимум на полгода надо выбыть из жизни. Ну ладно, ничего... Все приходит в свое время... Вот еще, все-таки мы на этом остановимся: что вам дорого в Жванецком? Я так скажу, он страшно для меня отравлен и опошлен каким-то социальным контекстом. Ваше понимание феномена Жванецкого?*

— Ну, во-первых, тут новый диалог, я вам говорил. Может быть, для кого-то слишком новый... Я так Одессу не слышал, как он услышал. Надо сказать вам, что Жванецкий умнейший человек и, что само собой разумеется, веселый, остроумный импровиза-

тор. Он умнейший человек и обыватель, в этом нет никакого сомнения. И происходит борьба совершенно стихийно мощного... поэта, даже я бы сказал, — с обывателем. Они в нем уживаются. Он крайне в себе неуверен... Собственно, он выясняет отношения с собой, с комплексами. Во всем какая-то противоположность мне, хотя не так уж и противоположно. Но хороший, почти бессмертный. Как объяснить? У него со смертью, по-моему, интересные отношения. Он не любит на эту тему говорить, но его жизнь здесь, на земле, удается, здесь удается все, но он старается существовать неуязвимо для смерти... Как-то старается ее обойти. Как-то он крутится, обходит ее, обходит молодостью своей бесконечной, женами, заработком хорошим...

— *Это мощное средство.*

— ... успехом-успехом. Его успех сравним лишь с успехом Володи Высоцкого, только тот — смертный, философски, а этот бессмертный... И я могу из его кусочков сделать большое. Коллажность эта — в нем самом. Он сам себя собрать не может, сам себя угадать не может. Я его должен угадать. И это тоже для меня работа художественная, потому что я люблю разрушить, а потом соединить, а тут разрушать не надо — он сам разрушил и дал мне возможность из его кусочков сделать свой театр. Я люблю театр из кусочков.

— *А кто еще вам такую давал возможность?*

— Многие. Я позволял себе дикие коллажи. Я придумал в свое время, что если во мне уживается разная любовь к разным авторам, то прекрасно это все и в спектакле соединится. У меня был спектакль, где был Трифонов рядом с Маркесом...

— *Вы любите Трифонова?*

— Очень.

— *Это мой любимый писатель. Да, да-да-да. Вот из всего советского, неважно — антисоветского или со-*

*ветского — старого, Трифонов для меня больше всего остался. И эта любовь к Москве, и эта печаль...*

— Без метафор. Обезметафоренный. Ох, как мне это нравится!

— *Да, у него такая голая проза. Выдающийся писатель. Вроде бы стиль непритязательный. У меня в этой книжке, вы, наверное, это пропустили, почитайте, там у меня статья «Проза Трифонова как инобытие поэзии». Это как раз то, что вы говорите... И я там увидела — у него часто ритмизованы огромные куски, все время какие-то скрытые цитаты из поэзии, в подоплеке, как бы в подводном таком слое...*

— Надо только позволить себе это увидеть.

— *Ну это не каждый увидит даже... А как вы, как сейчас говорят, вышли на Ковалю? У нас есть как бы целая секта такая людей, которые считают Ковалю гением... кто с ним в жизни был близок и знаком.*

— Да, это я хорошо понял.

— *А широкая публика часто даже нас не понимает.*

— Не понимают. Я когда оказался на вечере Кима, на дне рождения, меня окружили друзья Ковалю, огромное количество, и стали говорить о «Суере» прекрасные вещи.

— *Это чудо. Я обязательно еще раз пойду.*

— Так было приятно... Юлик Ким принес как-то книгу и сказал: «Вот, поставь. Твоя книга — поставь». Я позже ее прочитал и подумал: «Да, наверное, моя». Что мне мешало? Мешал Коваль. Мешала моя с ним ревнивая встреча в Малеевке. Там был тогда Яша Аким...

— *Так Яшка нас с ним когда-то познакомил! Разыграл в ЦДЛ.*

— Я переживал цветение любви Яшкиной. А это не нравилось Юре... что Яшка кого-то любит.

— *Юра был настолько ревнивый. Он сам был абсолютно полигамный, но «его» люди должны любить только его.*

— Только его... и он хмуро смотрел на меня. Я помню этот взгляд, и я не пытался к нему обратиться. И ощущение от него было, как от человека, который настроже. А книга, она меня веселила. И потом я вдруг легко-легко-легко сочинил две инсценировки. Возник такой мой театр. Потом я прочитал эту инсценировку, и вдруг выяснилось, что это для моих актеров уже нечто культовое, они знают наизусть это все. Я боялся этой работы, мне казалось, что она будет связана с чем-то новым в моей жизни. И действительно, она была связана с большими неприятностями.

— Да-а?

— Я все время говорил: «Это дерево из могилы Ковалева». Как будто он там пишет, а я ставлю то, что он еще не поправил. Это было ужасное ощущение, что он недоверчиво ко мне относится. А потом вдруг стал доверять постепенно, видя мои физические мучения, видя разрушение иллюзий, которые я пережил на этом веселом романе... Я понял, что такое актерское предательство, ложь.

— Именно на этом спектакле?

— На этом спектакле. Впервые в жизни, слава Богу, всего полтора или год назад... И теперь я бы сказал так: он мне нужен. И даже я вот люблюсь на фотографии. Мощный, очень мощный.

— Я сейчас иногда смотрю: может, он и не такой уж был красивый...

— Красивый.

— Да. Но мне он казался безумно красивым. Я просто в него была так влюблена, но потом это перешло в глубочайшую дружбу. Вот эта его картина, видите, зеленая такая... Да, это называется «Птичий рынок»... Хорошо. Вы, значит, сказали, что вы написали рассказы, но их не печатали, а когда вы стали писать свои вещи прозаические, которые печатали?

— Ну, первый был рассказ, важный для меня и существенный, — «Мотивчик». А затем возникла пер-



вая повесть, связанная с Камерным театром. У меня было время, когда мне не давали ставить, поэтому я в эти периоды очень много писал. В «Московском рабочем» Миша Холмогоров издал две книги. Одну — «Болеро», иллюстрировала Тата Сельвинская, вторую Женя Добровинский сделал — «Мой друг верит»... Я писал беспрерывно тогда.

— *Мне просто интересно, а как вы время-то выкраивали?*

— Я не могу объяснить. Тогда — достаточно плавно. А затем с годами ждал-ждал-ждал время.

— *Если вы что-то пишете, то вы в это время в театре не работаете?*

— Это вообще — драматическое сочетание. Я иногда пишу, репетируя, я актерами пишу — просто ставлю свои будущие главы.

— *То есть вы законы театра переносили на прозу.*

— И законы прозы переносил на театр. И очень часто писал сценические романы. Но бывают и такие истории, когда я останавливаю репетицию в процессе, как было со спектаклем «Леокадия». Просто остановил и сказал: «Я не выпущу спектакль, пока вы меня на полтора месяца не отпустите писать». Они меня отпустили, и я в Матвеевском написал «Еврейский Бог в Париже».

— *Это чудесная вещь.*

— И так бывает довольно часто. Они меня отпускают писать и ждут, просто ждут.

— *А вот эту последнюю вещь... Скажите, для нее вам, наверное, пришлось в архиве работать?*

— Нет-нет. Никогда.

— *Нет? Откуда же вы узнали об этих прототипах?*

— Я ничего не узнавал.

— *И вот этот ваш футурист...*

— А футурист — это главный герой моей жизни. Если вы говорите о футуристе... об Игоре Терентьеве... Мне было 13 лет в Одессе, и я прочел книгу Ни-

колая Петрова, ученика Мейерхольда. В этой книге был перечень людей, с которыми он работал, где он пишет: «...И был «левейший из левых» Игорь Терентьев». Я помню чувство дикой обиды за «левейшего из левых». С 13 лет мне Игорь Терентьев засел в башку.

— *А почему обиделись, что его так называли?*

— Я не хочу, чтобы так называли режиссера. Оскорбительно, в кавычках. И потому я стал все о нем собирать что можно. И первый написал об Игоре Терентьеве в книжке «Чужой спектакль» главу «Лицо эпизодическое» — ну просто открыл великого режиссера. Когда я написал, я познакомился с его дочкой. Это близкий мне человек, очень близкий. И Игорь вошел в мою жизнь как двойник. Он главным стал.

— *(В очередной раз звонит телефон.)* Вы знаете, я все-таки подойду. *(Уходит.)* Это был издатель, который большую эту книжку издал («До свидания, алфавит». — *Ред.*). Я ему сказала, что у меня герой будущей книжки. У меня такой книжки в жизни не было бы. А он мне недавно и сказал: «Давайте новую сделаем». Да-да-да. Мы с ним хотим сделать такой тоже коллаж — беседы с интересными людьми... с фотографиями.

— Знаете, Таня, вы для себя сейчас очень свободны.

— *Вы считаете?*

— Я не делаю вам комплимент сейчас.

— *Да не, мы вообще без комплиментов... У меня вдруг иногда такая, как рябь, тревога, не много ли я себе позволяю в смысле независимости какой-то?*

— Стихи...Танечка... они написаны. А дальше остается прибавлять к ним еще стихи, которые будут лучше этих. Это ваше дело...

— *Или помолчать.*

— Или молчите. Не нервничайте...

— *То есть меня уже не растопчут там, не отодвинут...*

— Вас никто не отодвинет...

— *Да... нет... потому что я знаю людей, которые очень этого боятся, даже мои друзья... Давайте еще про Терентьева.*

— Про Терентьева... это, действительно, интересное. Может быть, самое интересное. Я нашел судьбу и характер. И характер абсолютно совпал с моим. Это так мне мешает, что я до сих пор не могу стать порядочным буржуа...

— *Понятно. Слава Богу, Миш, слава Богу!*

— ...солидным художественным руководителем. Не слава Богу. Я не могу ничего сделать с собой. Во мне всегда Игорь. Татьяна Игоревна говорит, что и спектакли ужасно похожи. Помимо этой главы «Лицо эпизодическое», я написал повесть «Меня не было» и «Сплошное неприличие». Это для меня был важнейший роман. Знаете, человек после первой отсидки на вопрос дочки: «Что ты чувствовал, когда тебя вели на расстрел?» ответил: «Ужасную легкость и невероятное любопытство». И это точно была моя жизнь. Долго-долго.

— *А что изменилось с годами?.. Мы еще совсем не старые, но, скажем так, вошли в возраст солидный. Какие плюсы?*

— Никаких. Я просто стал лучше относиться к людям. Я не люблю людей и не завишу от них, но я к ним лучше отношусь. И я стал ответственным. Я думаю о них...

— *Но это же нормально, это хорошо.*

— Нет-нет. Это не нормально. Я не хочу.

— *Ну нельзя же всю жизнь, как... молодые такие бывают, которым все равно, что после них остается: дети, долги, какие-то руины.*

— Ужасно. У Игоря Терентьева не было никакой ответственности ни перед кем. Никогда! Игорь —

роскошный, бессребреник, добрый, легкомысленный. Нам не хватает легкомыслия все время.

— *Вы знаете, нас часто, мне кажется, опутывают путами. Мы были бы легкомысленными, но вот эти близкие и какие-то далекие...*

— Я весь построен был на легкомыслии, а сейчас ответственность появилась. И даже, вы знаете, появилась забота тщеславная. У меня совершенно не было тщеславия

— *Ну, что у вас нет тщеславия, я бы не могла сказать.*

— Вы знаете, Таня, странная вещь, если есть, то только последние два года. Я забеспокоился о славе театра. Я виноват перед ними, я превратил в абсолютный мой монолог... их жизнь. Это авторский театр, эти люди, талантливейшие люди, подчинены полностью моей жизни. И я вдруг так захотел славы для них!.. Я понимаю, что эта слава была бы дополнительной и для меня... И мне стыдно, но я очень хочу...

— *Ну, ничего не поздно... Собственно, вы на этот вопрос уже гениально ответили, но все-таки: как театр влияет на литературную работу? Вы мне сказали, что порой пишете книгу как режиссер, а иногда спектакль ставите как роман.*

— Как писатель... Знаете, еще я вдруг понял, как я должен делать свои книги. Я должен не бояться их театральных героев. Я некоторое время думал так: то, что я пишу, — другое, и оно мне дает возможность потом работать в театре. То, что я делаю в театре, освобождаясь от гнета этой своей внутренней сосредоточенной работы, помогает мне писать. Так, действительно с трудом, мне удалось скомбинировать. Но... Сейчас я понял, что могу писать театрально... я понял, что моя сила заключается в том, что я не просто специалист театральный, а я мир так вижу. Какого черта стесняться... Достоевский в театре

не работал, а: ремарка — диалог, ремарка — диалог. Он нагло писал пьесу.

— Да-да. Сам этого не понимая.

— Всё — развязка есть, кульминация есть, мизансцену всю объясняет, рисует, строит: она стояла там, он смотрел на нее оттуда... Я могу описать состояние персонажа, мизансцену, мне не стыдно. Сейчас это мне страшно помогает.

— Почти на все вопросы... Ну это как хотите, отвечайте или нет. Как у вас с Богом?

— Только можете судить по прочитанному.

— Да. Вы такой какой-то человек... вас нельзя прикрепить к определенной вере... может, к языческой какой-то даже... ну никаких церквей, да?

— Нет, вынужденно было, после того, как я выжил. Когда была клиническая смерть. И Ольга меня попыталась привести в церковь. Попыталась, а я категорически отказался, я терпеть не могу церковь... Сейчас я занят очень торой, талмудом... Я сейчас очень еврей.

— А был какой-то толчок вот к этому, к осознанию себя евреем?

— Да, акты террористические в Израиле. Это было мне невыносимо, немыслимо. Моментально в эти дни приехал в Израиль. В кровавое время я был в Израиле. Один был, и английская какая-то или немецкая пара в старом городе. Ходили два старика и я... Мне очень нравится быть евреем.

— Я вас поздравляю, а мне кажется, все-таки в юности вы скорее были человеком неверующим.

— Ха. Все говорили: Левитин не еврей. Карцев называет меня антисемитом, потому что меня никогда не называли жидом. Главное было, что у меня есть русская литература, моя главная литература, у меня есть Пушкин... Художник, считай, изгой. Художник — изгой, и еврей — изгой... Они все обижаются, художники, а я как еврей не имею право обижаться на из-

гойство, оно мне как щит, как клеймо, как знак мой...

— *И последний вопрос такой у меня был написан: что вы в женщине цените, что вас привлекает?*

— Близость.

— *Близость. Способность к близости.*

— У меня счастливая мужская биография. Тьфу-тьфу, счастливая. Но я не характерный... Тут очень сложно. Я чувствую, отношение к женщине неправильное.

— *Ну как неправильное, ну у каждого... какое есть.*

— Знаете, у меня есть две любимых цитаты: то, что говорил Игорь Терентьев, — «ужасная легкость и невероятное любопытство», и Введенского — «Кажется, что с женщиной никогда не умрешь, что в ней есть вечная жизнь». Как вы понимаете, речь идет только о близости.

— *Об этом?*

— Только. Никакой философии. Философия есть — вот в этом моменте. Другой философии я никогда не знал.

— *Коваль как раз говорил, что любовь — штука скоропортящаяся, и еще он говорил: «Настоящая любовь возможна только в дружбе». То есть он вообще к любви относился пессимистично, что верно. Ведь эта страсть, она же проходит рано или поздно?*

— Ну, может быть.

— *А потом как сделать, чтобы остаться как-то рядом?*

— Дальше продолжать, но не останавливаться, напоминать... вспоминать, что это такое... И надо, чтобы все-таки рядом были люди, которые способны не слишком морализировать. Я вот этого не выношу совершенно... Но все равно я считаю, что я недосмотрел что-то, недосмотрел...

— *У вас такая колоссальная витальная сила! Почти больше всех, кого я встречала. У вас такая... то, что*

## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

*говорят, витальность, да, любопытство к жизни, сильное!*

— Очень большое, я даже написал где-то и повторяю, и даже впервые перенес из книжки в книжку, что «я не дам себя забрать т у д а , а обнимусь за ветку и буду, окоченевший, висеть, а о н а будет меня отрывать уже мертвого, отрывать»... Я люблю только реальную жизнь. Это ужас. Я из нее все возьму. Она мне вся нравится, вся-вся-вся-вся. Я ничего не знаю, что там, я вообще на облака не смотрю никогда. Это... ограниченность такая страшная, но я не интересуюсь тем, что после, мне нравится только вот эта жизнь. Ненасытно!

*13 января 2005*

# ДАВИД МАРКИШ

## ОСНОВА ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ

— Давид, я знаю, что у тебя последнее время (2003-й и начало 2004-го) выдалось очень урожайным. Вышла книга «Записки похоронщика». Появился сделанный тобой альбом художника Сергея Калмыкова; на подходе книга о нем «Белый Круг». В Бишкеке, в Киргизии, издана книжка повестей и рассказов.

Значит, четыре книжки за полгода. У тебя всегда так?

— Последние годы так. Я стараюсь каждые полтора-два года сделать новую книжку. Русские книги я пытаюсь все же печатать в России, а не в Израиле.

— Почему? Тебе важнее читатель российский? И вообще, ты — кто: русский или израильский писатель?

— Кто ты таков? — этот вопрос для писателя, который живет в Израиле и пишет по-русски, столь же глубок, как и вопрос, который, пожалуй, еще поглубже: кто он таков — еврей? Вопрос, который мы не можем решить всю свою историю. Как считать: по маме ли, по папе, по бабушке, по дедушке, по убеждениям, по стремлению жить здесь, на своей земле? Никто ответа толком не знает... Так и в литературе. Можно выстроить формулу: я — израильский



писатель, пишущий на русском языке. Довольно-таки неуклюжая формула, во всяком случае, стилистически... А у нас есть люди, которые пишут по-английски или по-немецки, по-польски или по-литовски, и все они живут в Израиле. Их творчество так или иначе сопряжено с израильской темой. С еврейской темой вообще, а с израильской в частности.

— *А у тебя вообще есть вещи об Израиле впрямую?*

— Я такой задачи себе не ставлю. Меня интересует проблема возвращения, проблема обретения корней здесь. Это дает духовную наполненность, мне кажется. Евреи, живя в галуте — в Германии, в Америке — страдают, что они не здесь...

— *Что такое галут?*

— Это — рассеяние. Все, что вне Израиля как исторической родины... Итак, когда люди приезжают сюда, они страдают уже от того, что так медленно обретают корни, которые в эту каменистую почву никак не вырастают... Это продолжается годами. А русской литературы у нас нет. Есть отдельные книжки, написанные по-русски.

После того, как наладились связи с Россией, после 85-го года, после прихода Горбачева, после возобновления контактов — книгоиздатели в Израиле перестали печатать наши книжки по-русски без того, чтобы им сначала заплатили... Хотят издавать за авторский счет. Кстати, я этим никогда не занимался.

— *Ну, думаю, дело не только в этом, не только в коммерческих мотивах. Для тебя наверняка важен наш, российский читатель.*

— Конечно. Если бы я не печатал книжки в России, русский читатель для меня бы не существовал. Едва ли тираж 500–800 экземпляров, который тут печатается, дошел бы до России... То, что мой читатель живет в России, это совершенно однозначно. В Израиле тоже... И это «тоже» определяет всю ситуацию. Здесь читатель — это не городской еврей... Я пока

жил в России, над всем этим не задумывался. Считал, что все евреи живут в городе Москве и в Ленинграде. А между тем существует еврейский народ, который в России испокон торговал и водичку в пиво подливал, не отставая от русских в этом ничуть. Но все эти тети Хаи из Шанхая черт его знает где гнездились. По деревням не по деревням, а по городишкам таким российским... А я встречался только с теми евреями, кто читал книги. Даже инженер-еврей все-таки читал. А тетя Хая, которая торговала, она книгу и в глаза не видела.

Когда я приехал сюда, я понял, что еврейский народ он как всякий другой. В нем если полтора процента интеллигенции есть читающей, то это хорошо. И так во всем мире. И это правильно на самом деле.

— *А ты считаешь, что тебя в России читают только евреи?*

— Ни в коем случае. В России мой читатель — это русская интеллигенция. Без нее мне бы было (*задумался*) горше. Потому что у меня есть все же внутреннее ощущение, что там меня читают. Здесь — полтора процента. Конечно, у меня есть книги в переводе на иврит, и это хорошо. Я наверняка экзотичен для израильских евреев, читающих мои книги на иврите. Вот если бы еще я вышел на улицу Тель-Авива в армяке, в лаковых полсапожках и с медвежонком на серебряной цепи — вот это, как у нас говорят, было бы «в самую десятку»... В этом, кстати, есть для меня большой плюс: израильские писатели никогда не видели во мне конкурента. И мои отношения с израильскими ивритскими писателями гениально добрейшие. Чего нельзя сказать о русской литературной среде... Мне очень тепло оттого, что я в России выхожу, что меня читают и что обо мне пишут.

— *А скажи: то, что ты живешь в Израиле и кругом звучит иврит, а также расстилается совершенно*

*иной, чем в России, рельеф, — на твою прозу повлияло? Ритм ее изменило?*

— Я не думаю, что иврит повлиял... Когда я был в ссылке и читал «Иудейскую войну», меня чрезвычайно интересовал вопрос: а был ли Фейхтвангер здесь, в Палестине? Когда я читал его пейзажи, то думал: он это видел собственными глазами, или он об этом только читал? Вот это крайне важно. То, что я все это увидел, повлияло на мой характер, но на манеру письма — нет.

— *Пошли вспять. Ты — сын знаменитого еврейского поэта Переца Маркиша. Он тут национальный герой. Ты веришь в писательские гены?*

— Нет. Я тебе так скажу: это влияние семьи, атмосферы, воспитания. К моему отцу все время приходили писатели. Более всего отца интересовал профессиональный разговор с его коллегами. Дома была исключительно литературная атмосфера. Был бы инженером — приходили бы инженеры, и я бы, возможно, стал как они.

— *Когда отца расстреляли, тебе сколько было?*

— Мне было 14 лет. 1952-й год. Отца расстреляли по делу Еврейского антифашистского комитета. 12 августа 1952 года весь президиум этого Комитета был расстрелян.

Мы ничего не знали. Нас тогда уже сослали, но нам в ссылке никто об этом ничего не сказал. Отец арестован — всё. И когда за границей спрашивали об этом русских писателей (например, Полевого или даже Эренбурга), то они врал: «Мы видели Маркиша, он живой...»

Нас — маму, меня, и брата Симона, и сестру, которую взяли в Киеве, сослали в Сибирь. Нам пришли объявить, что мы высылаемся как члены семьи изменника родины — ЧСИРы. Была такая аббревиатура. Мать сказала полковнику, который приехал нас сажать: «Гражданин полковник, нам по закону полагается пять лет, а вы говорите: десять лет».

И он ей ответил: «Гражданка, те, которые двадцать пять лет получают, тоже на советскую власть не обижаются». Так и сказал. Гениально выразился. И поехали мы в Казахстан. Причем не знали, куда нас везут.

— *И сколько времени вас везли в поезде?*

— Через пересыльные тюрьмы месяца полтора. Я пытался скрыться и спастись — с ведома старших, разумеется. Я бежал, прятался, приехал в Баку, и там меня накрыли и сказали, что если в течение недели не появлюсь «где надо», то меня, малолетку, повезут из Баку в «вагонзак» по пересылкам... А это крайне несладкая вещь.

Уже в Казахстане, посреди пустыни, где есть было нечего и заработать было почти невозможно, меня предупредили: на Сыр-Дарью не ходи, там, конечно, рыбка водится, но это в шести километрах от кишлака. А тебе можно отходить только на пять. Отойдешь на шесть — все получите по двадцать лет каторжных работ... Довольно подло это звучало, если разобраться.

У меня эта история есть в романе «Присказка». Роман о взрослении подростка в экстремальных обстоятельствах. Я его написал, сидя в «отказе»: 70-й—71-й годы. И когда я приехал сюда, «Присказка» уже здесь меня ждала, а потом началась история, немножко напоминающая советские времена. В Израиле каждый новый приезжий писатель, никому еще здесь не известный, сначала проходит проверку: в мире где-нибудь его напечатают? Заметят? Немного похоже на судьбу грузин или нивхов с чукчами в Советском Союзе: в Москве таких ребят напечатали, в Гослитиздате, — значит, классики, значит, и дома можно их холить и лелеять. Но сначала надо прославиться в Центре... Моя «Присказка» вышла сначала в Рио-де-Жанейро на португальском языке, а потом уже вернулась к нам в Израиль. Потом она вышла в Штатах, в Европе... Много чего было с этой «При-

сказкой», название которой так нигде и не смогли перевести ни на один язык.

— *Давид! Мы с тобой знакомы с середины 60-х. Ты же начинал как поэт, и ярко начинал. Куда ушла поэзия? Ты от нее отказался? Почему? Или сложнее — перекачал поэзию в прозу?*

— Мне повезло. Я сначала учился с очень интересными ребятами в Литинституте, а потом с еще более интересными ребятами на Высших курсах сценаристов и режиссеров кино. Наш набор называли «лицедем»... Да, я писал стихи. Очень много переводил (так зарабатывал) с подстрочника, работа была. Стихи я в России напечатал дважды — один раз в «Юности», другой раз в «Знамени», у Гали Корниловой. И это все. А прозу почти не писал и был уверен, что никогда писать ее не буду. А буду писать стихи всегда!..

Первый рассказ я показал Олеше Юрию Карловичу.

— *Да ты что!*

— Да-да. Маленький рассказ «На горе» — я его потом потерял. Это о том, как парень и девушка объясняются в любви и сидят на горе, а гора довольно крутая с травяными склонами. Это мешает им перейти к решительным действиям: они все время сползают вниз и не могут нормально устроиться.

— *Метафора?*

— Скорее реальность. Но там было несколько метафор, о которых Олеша и говорил. Например, у меня была «лесенка позвоночника» — он отметил. Прямые оценки он терпеть не мог, ненавидел... Мы сидели в кафе «Националь», я туда часто заходил, по два-три раза в неделю (там собирались остатки старой богемы, и они меня приняли: я был самым молодым в их кругу). Олеша меня называл на «вы», хотя я был мальчишкой — мне было двадцать лет... И Олеша сказал так: «У вас есть хватка».

— *То есть отозвался о твоей прозе обнадеживающе?*

— Да, не отверг это дело.

— *Расскажи еще, кто ходил в «Националь» кроме Олеси?*

— Еще из старших людей туда ходил и на меня огромное влияние оказал Вениамин Рискин, мой друг и друг раздружайший Олеси, а до войны — Бабеля. О нем Пирожкова в своей книге про Бабеля пишет подробно.

— *Он, Рискин, был журналист?*

— Он был писатель, но точнее так: он был человек устной цивилизации. Он так умел рассказывать! С писанием было хуже. Надо было записывать его сюжеты, но никто не записал. Он умер своей смертью, пережив Олешу года на четыре.

— *А на что он жил, Рискин, где работал?*

— На птичьи подаянья! Веня мог иногда написать репризу для цирка... Еще в «Националь» ходил регулярно Михаил Аркадьевич Светлов, Марк Ананьевич Шехтер сидел со своей палкой. Володя Бугаевский туда приходил, Тхоржевский. Все умерли.

Второй раз в жизни я показал прозу, если говорить о мастерах, Александру (Шере) Шарову. Ему понравилось.

Потом я сдал в издательство книгу прозы — она шесть лет пролежала: ее в «Совписе» перебрасывали в плане из года в год. То год Ленина, то год юбилея Советской власти... У меня сохранилась внутренняя рецензия, где Игорь Виноградов писал, что какие-то куски рукописи ему напоминают молодого Горького.

— *Неплохая параллель.*

— Неплохая, согласен. Прекрасный прозаик (нам его просто в советской школе навязывали и искажали), и драматург — дай бог.

Должен вспомнить еще одно обстоятельство, которое на мою литературную жизнь повлияло. Эта история мне запомнилась четко. Уже на первом курсе Литинститута я рвался в поездки по стране. Просто

рвался! Кто-то должен был посылать в командировки. И я начал работать внештатно в «Огоньке». Первую командировку мне дали в Киргизию. Я сам ужасно хотел в Азию, потому что я там жил в ссылке... Тянуло меня туда, тянуло.

Я поехал в Киргизию, написал очерк «Туннель». Приехал в Москву, сдал, пошло. Это была, по-моему, моя первая серьезная публикация. Год 59-й... Мой очерк передали заведующему отделом иллюстраций, родному брату Кольцова. Не дай бог, не Ефимов! Нет. Это был третий брат — фотограф и заведомо иллюстраций «Огонька». Он единственный сохранил настоящую фамилию семьи — Фридлянд. Он меня вызвал и спросил: «Это ваш очерк?» «Да». Он и говорит (такой симпатичный был человек): «Вы знаете, мне очень понравился ваш материал». Потом мы разговорились, и он сказал: «Вы не будете ни поэтом, ни журналистом — вы будете писать прозу». Я с ним спорить не стал, хотя и сомневался. Это был обыкновенный очерк, просто были в нем какие-то метафоры. Больше ничего... Но он мне сказал, что я буду писателем, — и я эту историю запомнил.

— *А мне твои стихи, знаешь ли, нравились... Я до сих пор помню наизусть одно четверостишие:*

*И я, и мусульманин оный  
Обиду сможем перенести,  
Хотя высок пред пешим конный  
И с лошади прискорбно слезть, —*

*так? Энергично было — и запомнилось... Из чьего рукава ты как молодой поэт вылетал? Из Киплинга, из Гумилева, а?*

— Сложно ответить. Я тогда такой был темный! Откуда я вылетел в поэзии — ответить затруднюсь. Общий гул... Скорее всего пастернаковский. А Гумилев меня не увлекал по той же причине, по какой ме-

ня никогда не увлекал Грин. Розовая пена романтики, а костяка не видно.

— *А в прозе кто были твои учителя?*

— В прозе — скажу четче. У меня были два кумира — Андрей Платонов и Томас Манн. У Томаса Манна две вещи — «Иосиф и его братья» и гениальный роман «Избранник». Эти писатели так велики, что ни при каких условиях нельзя им подражать. И это великое счастье. Я могу видеть в них своих кумиров, но подражание? Нет, ребята, нет!

— *Когда ты впервые Платонова прочитал?*

— Когда он впервые в Союзе вышел, а Лева Збарский, если не ошибаюсь, его оформил. Начало 60-х. Книга называлась «В прекрасном и яростном мире». Она вышла первой в череде последующих... Я стал искать людей, которые знали Андрея Платонова.

— *И кого ты нашел?*

— Вику Некрасова. И он мне о Платонове рассказывал. Вика рассказывал, как он с Платоновым ходил по маленьким распивочным и рюмочным вокруг Литинститута. Заходили туда, выпивали по рюмке, начинались разговоры. И вдруг Платонов отключался — и только слушал разговоры людей за стойкой, за столиками... Он слушал язык там, где следует его слушать.

— *А где ты слушал свой язык, который у тебя, кстати, очень демократичный, чтобы не сказать народный?*

— Няня у меня была такая. У меня была няня, при которой я родился и которая с нами была в ссылке. Всю жизнь жила с нами как член семьи. Ее звали Лена Хохлова. Хапровская казачка. Она приехала в Москву молодая. Большевики погубили ее отца, муж умер от оспы. У нее был горбик, о котором она говорила так: «У меня перекошение талии с тяжелого подъему»... Она знала русский язык так, что просто диву можно было даваться. Диво! Это был настоящий живой русский язык.



— *Первый твой рассказ, который мне запомнился (он в конце 60-х ходил в Москве по рукам как самиздат), назывался, кажется, «Ванька-встанька»...*

— Да, был такой рассказ. Но все же я долго к своим прозаическим опытам относился настороженно и продолжал всюду писать стихи. И переводил. И писал очерки.

— *Все в том же «Огоньке»?*

— Из «Огонька» меня потом выперли. У меня была ссора с Михаилом Алексеевым, который уже тогда преуспел по части жидоморства... И я перешел в «Советский Союз». Очерки мне писать было нетрудно (страница текста — пять страниц фотографий) — мне главное было ездить. Я ездил по всей стране от границы до границы. В Азию — в Азию. На Север — на Север. Куда хотите! И так до последнего, пока не подал документы на выезд. С 70-го по 72-й я был в отказе.

— *Ты вполне мог погрязнуть в журналистике, как бывало со многими талантливыми, но недоиспользованными прозаиками... Что тебя заставило сделать принципиальный прыжок от очеркистики к серьезной прозе?*

— Я не увлекался журналистикой. Я относился к ней крайне легкомысленно. Моей специализацией была так называемая «экзотическая тема». Меня не интересовало строительство завода — меня интересовала охота на Памире, снежный человек...

— *Кстати, он все же был или его не было, снежного человека?*

— Был, был... Мой друг, один барсолов на Памире, его раз видел на тропе — я ему верю. Все, что я писал, связано с тайгой или с горами — с местами, куда журналисты не особенно хотели ехать. Даже фоторепортера трудно было найти, чтобы он со мной поехал. Мы и на ледник Федченко поднимались... Можно было шею сломать запросто! Однаж-

ды я там ослеп, на снегу, целую неделю ничего не видел. В общем, была масса разнообразных приключений, и меня в основном в таком — экзотически-журналистском — качестве и воспринимали.

За границу меня не пускали никогда. Отца в 55-м реабилитировали, и я годом позже поступил в Литинститут — до реабилитации отца об этом не могло быть и речи... Год я учился в медицинском — мне там было, кстати, очень интересно. Рад был, что учился, — рад был, что ушел.

Ушел я из мединститута и сразу отправился в «Московский комсомолец». Стал там внештатным репортером. Там хорошая компания образовалась вокруг отдела информации. Алик Гинзбург, например. Саша Аронов... Костя Вишневецкий — авантюрист, который, по-моему, застрелился: проиграл корпункт на Ближнем Востоке в рулетку.

Тогда отдел информации «Комсомольца» считался лучшим в Москве! Молодые ребята, острые... Работали, писали. До поступления в Литинститут я там занимался делом...

— *К кому же ты в Литинституте поступил в семинар?*

— Я тебе скажу честно. У меня уже тогда была идея из Советского Союза слинять.

— *Из «Советского Союза» — журнала? Или из страны?*

— Из страны... Что это такое — свобода, я почувствовал впервые в жизни в условиях несвободы, в ссылке. И я дальше всегда хотел быть свободным евреем в свободной стране. Я хотел быть евреем — это серьезно. И когда я в ссылке впервые читал Фейхтвангера, я читал эту книжку не как третье лицо, а как человек оттуда. Этот роман «Иудейская война», повторяю снова и снова, сделал для меня очень много. Так вот, решил поступать в Литинститут с дальним прицелом. Я знал, что один из наших факультетиков на практи-

ку поедет на третьем курсе в Индию. Вот я и хотел туда поступить, доучиться до третьего курса, поехать в Индию и, как говорят по-русски, сделать лататы. Сбежать то есть к чертовой бабке.

И я поступил на факультет перевода с таджикского языка. Точнее, с персидского. И я даже научился писать по-персидски. Теперь эти буквы забыл.

Практику потом отменили — и до Индии я не доехал.

— *А ведь ты очень любил Россию и был самым что ни на есть российским человеком... И любишь, конечно.*

— Конечно. Это страна, где я вырос. У меня никаких никогда не было к ней претензий, хотя меня обвиняли черным образом, что я — русофоб и так далее. Глупости на постном масле. Я не любил, ненавидел и до сих пор ненавижу коммунистический режим Советского Союза. Это — кошмар, чего мне тебе рассказывать. Но русский народ к этому отношения не имел никакого.

— *Такая же жертва, как остальные народы «союза нерушимого», да?*

— Абсолютно. Власть есть власть, народ есть народ. Его нельзя обвинять. Глупости это все! Если шайка негодяев наверху, то при чем здесь народ? Меня никогда не интересовало, кто какой национальности...

— *Вернемся к Литинституту. О чем бы мы с тобой ни заговорили, ты каждую минуту говоришь: «Этот с нашего курса... Эта с нашего курса...» Что же это за курс такой волшебный был?*

— Айги. Старше курсом — Белла, Юнка Мориц, Ваня Харабаров, Юра Панкратов... Куняев был серый как мышь. Хоть бы острый был. Нет, серый. Вынесло его известно куда.

— *А с кем ты учился на Сценарных курсах?*

— Там были ребята... Ну, просто я тебе скажу, блеск! Я два года учился в мастерской Габриловича с

Андреем Битовым. Рустам Ибрагимбеков. Талантливейший Резо Габриадзе. Володя Маканин. Грант Матевосян. Гоша Полонский. Такая там крепчайшая получилась мышца.

— *Повлияли ли Сценарные курсы на твою прозу?*

— Да. Во-первых, мне очень много дал Габрилович. Я ему благодарен за то, что, как говорят, у меня диалоги получаются. Это его уроки. Кинопроза — жанр, которого сегодня не существует вообще... Конечно, я пришел к прозе отчасти потому, что там учился. Стал писать как бы поближе к экрану. И сегодня, когда идет речь об экранизации некоторых моих вещей, режиссеры говорят, что моя проза — почти готовый сценарий. Все должно быть з р и м о. Для меня реплика «герой подумал» неприемлема. Не люблю. Бегу как от кошмара. Надо, чтобы было в и д н о. И еще, на мой взгляд, рассуждение должно сопровождаться действием.

— *Есть ли уже фильмы по твоей прозе?*

— Я сейчас подписал договор на право экранизации пяти романов... В Москве.

— *Поговорим же наконец о твоей романистике. Я с интересом прочла роман «Стать Лютovým», но недопоняла, чего в нем больше — документалистики или художественного начала. Вот и в критике спорили: он — о Бабеле? Или не о Бабеле?*

— Этот роман не о Бабеле, а об Иуде Гросмане. Но вспомним первый мой роман. Это была «Присказка» (мы о ней уже говорили). Объемная работа. Я ее писал, сидя в отказе. На мой взгляд, она слабенькая... Чисто профессионально. В одном месте я написал главу, забегаю вперед, а этого делать не следует никогда. Надрывается хорда романа.

— *Но ведь и в настоящей прозе часто имеют место хронологические перескоки.*

— Это другое. Это антисага. Высвеченные куски памяти как композиционный прием. А когда не при-

ем, но просто мне захотелось сдвинуть главу вперед, то она туда ложится со скрипом.

— *А скажи: ты когда пишешь, у тебя есть первоначальный план? Или в процессе работы твои герои выкидывают неожиданные для тебя же коленца?*

— Естественно, выкидывают. Но у меня, как правило, есть общий план романа, более или менее приближенный к тому, что потом будет. Когда я решил писать роман «Шуты» о Петре, то я его расписал еще до того, как работать сел. Я знал все почти по главам. А, скажем, «Белый круг» — другое. Тут я только знал в общем, что я хочу сказать: прижизненное забвение и посмертная слава. И драка кошмарных тараканов вокруг денег художника. Как у Модильяни. Он нищенствовал, а как только умер, пришел поляк и забрал все работы... Понимаешь? И здесь похоже. Здесь об этом. Но план был многократно нарушен, многократно.

— *Роман «Белый круг» посвящен личности легендарного художника Калмыкова, малоизвестного гения... Как ты на эту фигуру вырулил?*

— Юрий Домбровский, замечательный писатель... Он был удивительный человек. Так вот, я прочитал его «Факультет ненужных вещей» и спросил: «Юра, скажите, вы этого художника реально видели или вы его выдумали?» (Он, герой-художник, которого Домбровский помимо героя главного провел через весь роман, меня особенно заинтересовал.) Юра ответил, что он его видел, был с ним знаком, и так далее, и так далее. Таков был мой первый интерес к Калмыкову.

А потом я писал очерк о Лисицком и начал заниматься в этой связи русским авангардом. И тут всплыло имя Сергея Калмыкова (на мой взгляд, невозможно говорить о русском авангарде вне этого имени). Я считаю, что в авангарде есть четверка известных великих: Малевич, Филонов, Лисицкий, Татлин. И пятым в этой группе является Калмыков.

Он никогда не занимался тем, чем занимались эти четверо, — у них у всех были «школы», даже у Филонова. Этот же за собой никого не вел — он работал сам. Учился он у Петрова-Водкина. В 18-м году он бежал от большевиков в Оренбург и писал потом Луначарскому: «Видите, можно жить в провинции и быть неплохим художником», — о себе. И там он — как Шагал Витебск — пытался раскрасить город. К какому-то празднику хотел раскрасить дома, чтобы сверху они выглядели абстрактной композицией. У него были особые отношения с Космосом... Он, прямо скажем, не относился к самым уравновешенным людям. Но не был ни маргиналом, ни сумасшедшим. Писал вещи гениальные совершенно!

— *Он был чем-то похож на Хлебникова?*

— Не-е-ет. По сравнению с Калмыковым Хлебников был полностью клинический случай. Калмыков писал: «Гениальность есть биологическая трагедия художника». Мы это и сами знаем, но формулировка... Абсолютно каменная! Или он писал: «Легко быть линией — трудно быть точкой». Ты понимаешь? И все это не просто так. Взять его письма к Кандинскому. Там он писал о точке и о ее значении в изобразительном искусстве, тем самым противореча Малевичу. Не квадрат — основополагающая доминанта, а точка. (А квадрат есть обтесанная точка.) Десятки сотен рукописных страниц — его трактаты.

— *А где они сохранились?*

— В основном в Госархиве в Алма-Ате.

— *Ты там работал?*

— Да. Я знаю, что он оставил, — не все, конечно, но довольно много. «Беспризорные» бумаги Калмыкова были в таком состоянии, что, когда я начал их перебирать и с ними работать, у меня потом полгода слезали ногти. Я их лечил. Какие-то в этих бумагах штучки-дрючки остались и уцелели.

Мы — то есть Фонд Калмыкова — выпустили его альбом. Два года назад я одному моему родственнику, очень славному человеку, который живет во Флориде, рассказал, что хочу написать роман о таком художнике... Он заинтересовался. Я говорю: «Вот бы его поднять. Он совсем забыт. Неизвестно, где похоронен... Но есть архив и картины». Он спрашивает: «Сколько это может стоить?» Я говорю: «Саш, ну, примерно, столько-то сотен тыщ ...» Он и отвечает: «Ты ничего не понимаешь в коммерции. Я выписываю чек на сумму, вдвое большую». Эта сумма дала возможность создать Фонд, купить триста работ Калмыкова — и эти триста работ и составляют альбом, который мы выпустили год назад в Израиле. А теперь, на днях, он в Москве выходит по-русски. Но главное, что я про Калмыкова написал роман.

По жанру «Белый круг» — это как раз антисага. Что это такое? Сага — это хронологическое, семейное повествование. «Сага о Форсайтах». «Семья Тиббо». Это были толстенные вещи. Но все подвергается изменениям. Аксенов написал «Московскую сагу» — и это тоже с а г а . Главное в саге — хронологическое выстраивание материала, очень большого по протяженности.

В моей антисаге «Белый круг» тоже — век. От премьеры оперы «Победа над солнцем» (Хлебников, Крученых, Малевич, Матюшин)... Через выставку «Ноль десять», где был впервые показан «Черный квадрат», — до начала этого века. Это прижизненная нищета героя и его посмертная слава. Об этом и идет речь. Сто лет. Война, чистки, есть и карательная психиатрическая медицина. Но я это делаю не хронологически, а совершенно произвольно. Так, как это сохраняется в памяти. А память сохраняет высвеченные вещи. Внехронологические просветы памяти. Но главное, чтобы это не было рассыпанными частицами. Роман обязан иметь жесткую структуру.

Антисага, а не сага, потому что нарушен главный закон саги — хронология повествования. Пять или шесть отступлений. Одно — «Первое отступление о Черном квадрате» — вообще в семнадцатый век. Смутное время, когда поклонялись квадрату. Это истоки. Богомаз, написавший корову в вертепе, и меж ее золотых рогов сидел красный петух... Отсюда Филонов с его очеловеченной коровой, отсюда Шагал и современное искусство. А Богомаз пострадал «за великое искусство» — его выперли из монастырской мастерской.

Традиционная сага — семейная история на фоне века. У меня же — история бессемейного человека на фоне века.

— *Кто тебе особенно близок и интересен из современных писателей?*

— Думаю, что один из лучших романов второй половины XX века — это «Андеграунд» Маканина. Хотя он меня вначале, скажем так, нервировал приемом со скобками, но потом я привык к этим скобкам, как привыкают к костям в рыбе. Мне кажется, что хороший прозаик Слаповский. А к такой обильной «женской прозе» я... спокоен. Например, к «Кыси».

— *А Искандера любишь? Мне кажется, у вас много общего.*

— Очень. Но только он, на мой взгляд, слишком завинтил рамку. И из нее практически не выходил и не выходит. Его тематика, его стилистика... У него нет широкого романного поля.

— *А «Сандро из Чегема»?*

— Это скорее сага в рассказах. А для меня роман — другое.

— *Как ты считаешь, сейчас роман, русский роман, умер или только прикорнул?*

— Да он даже не прикорнул. Когда я писал эту штуку, «Белый Круг», я писал роман по всем зако-



нам жанра. Сначала — пучок линий, потом они расходятся, а в конце, на последней странице, они опять сходятся. Ни один герой не потерян, и никто никуда не делся. Там должен быть пейзаж, должен быть портрет. То, чего теперь почти не делают. Найди нормальный портрет в современной прозе! А ведь как это умели в конце XIX — начале XX века... Почему, ребята, выкидываете из русской прозы пейзаж и портрет? Есть причина. Это — мода. Люди идут за модой. Мода на скудость. Мода на то, что они называют модерном.

Никогда роман не умрет, пока существуют глаза у человека. И книжку никогда не подменит компьютер.

— Читал ли ты Пелевина?

— Да. Он — талантливый человек. Хотя мне его манера абсолютно чужда, я его все-таки дочитываю до конца. Хотя его «Жизнь насекомых» мне противна. Патология не должна (может, но не должна) быть нормой. Задача (плохое слово... в общем, все, что внутри) литературы — это попытка облегчения, а не усугубления и усложнения жизненных ужасов. Надо, чтобы легче стало жить. Хоть чуть-чуть. Это прекрасно понимал Бергман, у которого такие жесткие и темные фильмы, но в конце всегда святой источник пробивается — и есть надежда... В книжке «Жизнь насекомых» надежды нет никакой.

Есть такой прозаик — Сергей Юрьенен. Он написал один хороший роман, который назывался «Вольный стрелок». И многие вещи в пелевинском «Чапаеве...» растут из «Вольного стрелка».

Многие современные прозаики входят в свою тему, как вилка в штепсель. Ток пошел, лампочка горит ясным огнем. Моя тема, моя вилка, моя лампочка... Можно расписать все что угодно. И, в сущности, как угодно. Но должна же быть искра добра.

— А скажи, почему все-таки так резко закончилось твое стихописание?

ТАТЬЯНА БЕК



Татьяна Бек. 2003

## ТАТЬЯНА БЕК



С родителями Натальей Всеволодовной Лойко и Александром Альфредовичем Бекон. 1963



Победа, Берлин,  
Рейхстаг.  
А.А. Бек в центре.  
3-4 мая 1945

ТАТЬЯНА БЕК



А.А. Бек. Малеевка, 1966

ТАТЬЯНА БЕК



Таня. 1958

ТАТЬЯНА БЕК



Подружки Таня Бек, Наташа и Лена Ласкины. 1958

Юнна Мориц  
*В 1965 году она под-  
писала эту  
свою фотографию  
для юной поэтессы:  
«Таня, пиши,  
думай — и ничего  
не бойсь! Юнна».*



ТАТЬЯНА БЕК



А.А. Бек. 1965

ТАТЬЯНА БЕК

ФОТОТЕКА АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ НОВОСТИ

7	ШФ-36
ИВ №	



ние \_\_\_\_\_

Молодая советская поэтесса Татьяна Бек.  
Фото Г.Щербакова, АПН, 1966 г.  
Ж66-2726

Формуляр из фототеки АПН



ТАТЬЯНА БЕК



Студенческие каникулы. Начало 70-х

ТАТЬЯНА БЕК



В университетском дворе с Айлар Кербабаевой. Счастлиное лето 1969-го



Коллаж-автошарж из письма Татьяны, которое она отправила в августе 1972 года Вике Шохиной

ТАТЬЯНА БЕК



С Юрием Ковалем и Айлар Кербабаевой. Август 1978-го

## ТАТЬЯНА БЕК

Владимир Войнович. Фото из архива Татьяны Бек. Середина 90-х



С поэтом Александром Кушнером. 1998

## ТАТЬЯНА БЕК



Татьяна Бек и Дмитрий Сухарев. 2002



С режиссером  
Юрием Буровым  
после съемки  
фильма, посвя-  
щенного Юрию  
Ковалю.  
20 января 2003

ТАТЬЯНА БЕК



В районе Песчаных улиц. Места, знакомые с детства. 2001

ТАТЬЯНА БЕК



Творческий семинар Татьяны Бек в Литинституте. В гостях — поэт Ирина Ермакова (справа от Татьяны). 2004



На традиционном «староновогоднем» вечере журнала «Знамя» вместе с Олесей Николаевой, Натальей Ивановой, Александром Шаталовым. 13 января 2000

## ТАТЬЯНА БЕК



С Людмилой Агеевой под Мюнхеном. Февраль 2003



В феврале—марте 2003 Татьяна жила на вилле Вальдберта под Мюнхеном. В гостях у нее (слева направо) Владимир Войнович, «сербский папа постмодерна» Бора Чосич, Ирина Войнович. Сама Татьяна сидит спиной



ТАТЬЯНА БЕК



С Тamarой Жирмунской около виллы Вальдберта. 2003

— Я почувствовал, как из воздушного шара словно бы выходит воздух, — так и из меня... Это было в пору, когда я сидел в отказе. Мне уже исполнилось тридцать. Я ощутил, что у меня нет больше тяги писать стихи, а появилась, слава богу, тяга писать прозу. Кстати, поэтическую прозу я терпеть не могу!

— *Кого, например, ты имеешь в виду?*

— Борис Леонидович Пастернак писал поэтическую прозу. Он в «Докторе Живаго» сводит и разводит героев совершенно произвольно, при неестественных обстоятельствах. Сводит и разводит как ему вздумается, как бог на душу положит. В стихах — ради бога. Любые коллизии своди и разводи. «Все вернулось так же беспричинно./ Как когда-то странно началось...» Но проза (роман особенно) — вещь иная: все попытки расшатать структуру обречены на провал. Роман — жанр, который построен на определенных правилах. И если ты пытаешься их разрушить, этим ты прозу не обновишь, не «модернизируешь». Роман есть роман, и он подчиняется своим жанровым законам.

Кстати, о стихах и прозе. Я, когда писал роман о Махно «Полюшко-поле», добросовестно искал песни махновского времени. Не нашел. Сколько я перерыл архивов — ни одной песни армейской не нашел. Написал сам. А в романе «Шуты» написал частушки «под Петровы времена».

— *Значит, поэзия в тебе все же осталась?*

— Конечно. Это как на велосипеде кататься — никогда не забудешь. Или плавать. Десять лет не плавал, а потом раз — и поплыл. Поверь мне, я и сейчас могу написать «Венок сонетов», если очень постараюсь. Навык не уходит, просто ушла потребность излагать свои чувства и соображения в такой форме.

— *Скажи, Давид: любишь ли ты стихи Бродского?*

— Да. Я не сразу к этому пришел. Когда я сам писал стихи, он мне нравился меньше.

— Ты его знал?

— Да. И в России, и в Америке встречались.

— Твой брат, выдающийся ученый Симон Маркиш, совсем недавно ушел из жизни. Я знаю, как вы друг друга любили... Это просто родственная любовь? Или у вас была и литературная близость?

— Одну из своих книжек я Симону надписал: «Моему соавтору...» Почему? Ни одной моей строчки, я имею в виду прозу, не было опубликовано без того, чтобы Симон ее не прочитал. Он был моим единственным редактором. Но он считал, что я делаю это достаточно организованно, поэтому правки его были минимальны. Они касались документальных ошибок, отдельных слов... Однажды мне надо было сократить роман на 100 страниц (а всего там было 350) — я сам просто не мог взять нож и резать-рубить. Просил его помочь. Он сократил роман для журнальной публикации в «Знамени». Здорово порезал как редактор... Симон все мои вещи читал, и мы с ним много говорили...

— А более общие — не просто редакторские — советы тебе Симон давал?

— Никогда. Он занимался русской еврейской литературой. И он считал, что я достаточно типичный представитель этой литературной поляны.

— В чем же твоя типичность?

— Я — еврей, связанный духовными интересами с еврейским народом, с его обычаями, с его историей прежде всего. И — пишущий на русском языке... Вспомним XIX век. Иосиф Рабинович. Багров. Леванда. Они писали по-русски (потому что еврейская интеллигенция, она в те времена читала по-русски), а тематика и интересы этих авторов были связаны с еврейством всегда.

Таков Гроссман. «Жизнь и судьба» — великий роман. На мой взгляд, один из четырех основополагающих романов русской литературы. «Война и мир» —

«Тихий Дон» — «Красное колесо» (хороший ли, плохой) — «Жизнь и судьба».

— Скажи честно: ты полностью прочитал «Красное колесо»?

— Первый «Узел» читал с карандашом. Потом, дальше, не смог. Надоело... У Александра Исаевича не получается женский образ. Зачем-то он тетку ввел в «Красное колесо», которая на героя скачет, как амазонка на коне... Что это такое? Что-то не то. Не получается.

Но вернемся к Гроссману. Он — военный писатель, скажем так, наряду с другими военными авторами. Мог ли Симонов (а ведь он писал совсем неплохо иногда) написать такое, как у Гроссмана, письмо матери из концлагеря? Как пошел газ... Это мог написать только еврей еврейч. Только. Больше никто. Надо быть евреем, чтобы прочувствовать то, что Гроссман, когда он писал этот кусок. Не потому что он писал о евреях в русской жизни — это может любой прозаик, — а потому что он еврей. Это и есть мое определение русской еврейской литературы.

— А Эренбург, по этой концепции, входит в русскую еврейскую литературу?

— Вне всякого сомнения. Он, как известно, считал себя прежде всего поэтом, а уж потом прозаиком. Да и Вийона, например, никто лучше него не перевел. На самом деле Эренбург был публицистом. На мой взгляд, самое главное в его творческой жизни — его мемуары. Тогда они — «Люди, годы, жизнь» — дали людям именно этот необходимый глоток знания и надежды.

— А помнишь, был такой писатель — Борис Ямпольский?

— А как же! Я знал его. Мы с ним выступали иногда вместе очень активно, на Взморье. Он так делал. Звонит по телефону (*передразнивает еврейский ак-*

*цент Ямпольского*), зовет бабу. Там: «Ее нет. А кто спрашивает?» Он: «Передайте, что звонил Иванов» (*грустно смеется*).

Потрясающий писатель. Его «Московскую улицу» напечатали только в 88-м году. Язык какой! А как он передал ощущение страха... Он и сам боялся: я тогда, когда мы тесно общались, его главной прозы не знал.

— *Бориса Слуцкого ты знал?*

— Знал и неплохо. Симон с ним дружил. Он иногда приходил к нам домой. Когда мне было лет восемнадцать, я ему прочитал поэму (называлась «Синий крик»), и он сказал мне, что ему поэма не нравится, но когда ему было восемнадцать лет, он писал хуже.

Прекраснейший поэт! Абсолютно сам по себе. Он как Андрей Платонов: за сто километров его интонацию, единственную в своем роде, различишь.

— *За что ты все-таки так ценишь Андрея Платонова?*

— Он сделал то, что делают не раз в век, а раз во много эпох... Он взял слова языка и составил их таким образом, что получалась мозаика из серебра, золота и изумрудов. Он создал свой язык. Ему невозможно подражать. «Чевенгур» — это гениально по открытости. То же сделал Сервантес. Это роман-путешествие. Еще: он не соотносил человеческую душу с политическим порядком. Человек — несчастное существо. Ему в голову воткни шприц — и он будет коммунист. Другой шприц — будет белым. Но он — человек.

Есть у Платонова военная вещь, которую мало кто помнит. Называется «Оборона Семидворья». Повестушка. Просто о людях, которые живут на русской равнине, и поэтому они — такие. А при чем тут власть? Никакая власть никогда не говорила, что она хочет сделать плохое для народа. Заряд платоновских вещей — он с плюсом, а не с минусом. Потому что

он любит человека. Он не гнушается человеком. Помнишь, я пересказывал, как он слушал язык в пивных и забегаловках? У Андрея Платонова было уважение к людям.

— *К простым людям.*

— А людей других не бывает. Все люди — и простые и непростые. Есть дураки, которые делают вид, что они непростые. На мой взгляд, необходимо — особенно если ты занимаешься литературой, — быть с в о и м в любой среде: от бандитов до академиков, которые говорят на своем птичьем языке.

— *Коли мы заговорили про академиков, то — вопрос... Давид, ты не задумывался, почему в России отношения интеллигенции с властью часто принимают довольно-таки безобразные формы? Как сказано в одном из недавних стихотворений Искандера (вот прозаик, который никогда не расстаётся до конца с поэзией): «И отвращенья апогей —/ Инакомыслящий лакей...»*

— Это беда России, а не людей. В Израиле запахло интеллигенту льстить власти и вообще к ней приближаться. Власть — коза. Удастся за титьку схватить и чего-нибудь выжать, хоть каплю — хорошо. Власть приходит и уходит.

— *А воспевать власть как Прекрасную Даму?*

— Не-е-ет. Это непристойно. Одна из бед России в том, что она освободилась от рабства только 1861 году. Все воспевали рабство как замечательный уклад жизни, очень привлекательный и теплый. Хозяин любит раба — раб любит хозяина. Ну, посекали немного для порядка, на конюшне... В истории ничего не происходит просто так. До сих пор слышен трепет раба по отношению к хозяину. Это осталось. И еще: есть две стороны медали — отношение интеллигенции к власти, но и отношение власти к интеллигенции.

— *Каково же в России, на твой взгляд, отношение власти к интеллигенции — сквозное?*

— Брезгливый страх. А второй слой — зависть. Страх, потому что неизвестно, чего от них, от интеллигентов, ждать. Все им, черт возьми, плохо. А зависть — желание царя остаться в истории. «Цари» завидуют людям искусства, потому что те без видимого труда в историю входят и там остаются. Вот власть и скребет в затылке: «Подумаешь, написал книжонку или песенку спел — и останется, в белом пиджачке! А я, лидер партии, скорее всего в дерьме останусь. А?»

— *Ну, не все цари так. Петр Первый остался в русской истории и как положительное начало. Несмотря на кровь.*

— На мой взгляд, это был единственный и последний настоящий русский царь. Он, конечно, не совсем был в порядке. Депрессии жуткие случались. Пьяница, бабник, психопат... Но он был великий царь.

Первая депрессия была из-за стрельцов, вторая — когда туркам чуть не проиграл. Но зачем он рубил окно в Европу? Кто его туда подпихнул, к подоконнику? Сводник повел его к Анне Монс. Монсиха с ним спала, и все это было приятно-хорошо... И вот Петр обнаружил, что на Монсихе надеты трико с кружевами, — и это его совершенно потрясло. Царь впервые пришел на Кукуй — русские цари на Кукуй не ходили, им это было запаadlo. Пришел: чисто, занавесочки на окнах, герань растет, баба — в подштанниках с кружевами... И ему это понравилось! Образно говоря, Петр попытался надеть на Россию панталоны с кружевами. Но зад не тот.

— *Это твоя метафора?*

— Моя. Да. Зад оказался великоват не по объему, а по сути. Попробуй надень на русский народ немецкий камзол. Порвется к чертовой матери. Понимаешь? И Петр съехал с катушек окончательно, когда увидел, что ничего не получается из того, что он на-

метил. Часть получается. Немножко. Но он понял, что при своей жизни он не увидит того, что хотел бы увидеть.

Россия останется Россией — и в этом ее прелесть и ее беда. В том, что она — между Азией и Европой. Тот будет героем и настоящим царем, кто сумеет определить Россию как самодостаточное явление. Не ориентированное на Запад и не ориентированное на Восток. А до сих пор — то халат с Востока, то немецкий камзол...

— *Как ты относишься к роману Алексея Толстого о Петре?*

— Хороший роман, замечательный. Но все же там проглядывает конъюнктура, заказуха, и это мешает. Я, когда писал своих «Шутов», перечитал все, что о Петре написано, и пришел, знаешь, к странному выводу. Вот, великий русский царь, а написано о нем всерьез — с гулькин нос. Гениальные материалы собрал Пушкин, но написать по-настоящему не успел. Еще — Алексей Николаевич Толстой... А так о Петре I маленькие писателишки писали романчики, которые не сохранились вообще. О петровском времени — да, писал Андрей Платонов в «Епифанских шлюзах», чуть-чуть писал Пильняк. Но это все. Да, еще Мережковский. Очень средне, кстати, написал...

— *Когда вышли в свет твои «Шуты», были ли отклики со стороны литературной критики и исторической науки?*

— «Шуты» вначале вышли не в России — в России тогда еще большевики сидели. По-русски книжка моя вышла в России только два года назад.

Был историк, который писал, что я все переврал. Что я оскорбляю русский народ. А просто дело в том, что там есть такой кусок: любознательный Петр заглядывает к Шафирову на еврейскую Пасху, а есть сведения такие, что вице-канцлер Шафиров под париком понашивал ермолку. И еще что он не ел сви-



нину (вот это уже точно: его сын, гуляка, говорил одному прибалтийскому резиденту, что папа свинину в пищу не употребляет, и резидент тут же послал об этом донесение своему шефу.) Петр приходит к Шафирову без предупреждения, а там собрались за столом одни евреи на религиозный праздник, собираются пить «пейсаховку». Праздником командует строгий еврей Борух Лейбов, за букву религиозного Закона готовый жизнь положить (его и сожгли на костре при Анне Иоанновне, против Гостиного двора: доигрался). Этот Лейбов сурово объясняет русскому царю, что еврейскую Пасху встречают обязательно в ермолках — и протягивает шапочку Петру. И Петр решает играть по правилам и надевает ее на голову... Картинка кое для кого получается неинтересная: царь в кипе, стыд и срам! Все равно что Николай Второй натянул бы ермолку или Сталин нацепил бы ее вместо генералиссимусовской фуражки. Эт-та что ж такое, братцы-кролики! Иностранец наступает, хватает просто за глотку!

Вообще критика мало писала о «Шутах», потому что в России эти два романа — «Шуты» (в российском издании — «Еврей Петра Великого») и «Стать Лютовым» — вышли почти одновременно. И писали очень много о «Лютове», а «Петр» ушел в тень. Там важно для меня само полное название: «Шуты», дальше же так: «Или хроника из жизни прохожих людей». Речь у меня шла о том, что евреи в России — это прохожие люди. Нет, не проходимцы. Они проходят сквозь любую страну — двести лет вместе так двести лет вместе. Со времени присоединения Смоленска при Алексее Тишайшем. Эти люди как пришли, так и уйдут. Кто растворится в русском этносе, скажем так. И то не до конца растворится — камешком останется в той земле. Будет камешком лежать.

— *Каков твой личный прогноз относительно евреев в России?*

— Конец наступает. Почему? Не знаю. Это поколение русских евреев вымрет. Дети ассимилируются так, как всегда ассимилировались евреи в течение своей истории. Два поколения ассимилируются, а потом подрастают правнуки, которые говорят: «Что-то вы тут засиделись!..» И уезжают. По большей части сюда.

Первый мощный поток евреев из России был в начале XX века — после погромов. В Палестине им было очень плохо: жарко, крокодилов много. И они сюда не ехали, а ехали за океан...

Надо понять концепцию жизни евреев здесь. Еще до разрушения Второго храма, то есть до 70-го года новой эры, больше половины евреев жили в странах рассеяния — не здесь. В Александрии, в Риме... Они разъезжались по всему свету — как цыгане. Недаром говорят: «Еврей рождается с чемоданом в сердце».

— *Ты согласен с этой формулировочкой?*

— Да. Согласен. К сожалению. У евреев есть такая национальная особенность, как склонность к непроживанию на собственной земле. Почему — другой разговор.

Вот разница между американским евреем и российским. Американские евреи доказывают себе самим и окружению, состоящему из основного, «титального» народа: они, дескать, не хуже — они лучше. Они охотно втягиваются в сумасшедшую конкуренцию, они достигают успехов в бизнесе. У них есть деньги, они занимают посты в прессе, в аппарате президента. «Мы не хуже вас — мы лучше вас. Мы должны быть лучше, иначе нас затопчут!» — так они вслух не скажут, но подумают.

А в России еврей всегда говорил (здесь, в Израиле, так никто не будет выступать и так не скажет): «Гои... Ну что с них взять?» Но там не деньгами брали в первую очередь, представь себе, а отвагой. Вот

то, что делал Бабель. Он говорил: «Я не хуже их — я тоже могу шашкой махать!» И получалось. И льнул к крови...

На своем примере скажу. Я в возрасте лет двадцати пяти сказал самому себе: «Я убью барса». Или: «Я залезу на Памир».

— *Думаешь, это у тебя шло от еврейского самоутверждения?*

— Абсолютно так. Я докажу, что я первый еврей, который взошел на ледник Федченко... И ходил зимой и летом. А там можно было запросто разбиться, гробануться без всякого напряжения. Было здорово!

Евреи покинут Россию, а оставшиеся сольются с русскими. Попытка возродить старые механизмы всегда обречена на провал. Время ползет не вспять, а либо вперед, либо вбок. Эта попытка возродить еврейскую жизнь в России есть уход вбок. У нее нет будущего.

— *А русские синагоги? А многочисленные еврейские общества, в частности в Москве?*

— Очень хорошо. Они ходят на лекции, они активничают... Но это все — для тех, кто пытается руководить процессом. Они считают, что это «мицва», что это очень хорошо.

— *Каково же будущее русских евреев в Израиле?*

— Наше поколение умрет, останутся наши дети — израильтяне, отличные от нас израильские евреи, уроженцы этой земли. Это совершенно другой компот. Израильтяне — нация. А те евреи, которые живут в других странах, это очень сомнительная вещь. И никакого культурного сентимента по поводу страны моего исхода у моих детей нету. Люди, которых привезли сюда до школы и которые прошли здесь армию (главное, пройти армию), — они суть полноценные израильтяне. Да, моя бабушка родилась, допустим, в Житомире... Ну и что из этого?

— *Поняла. Вернемся к литературе. Пока вы, «русские евреи в Израиле», не вымерли, — есть ли у вас здесь своя литературная жизнь?*

— Она — копия нынешней российской литературной жизни, только в значительно уменьшенном масштабе. Есть правые, есть левые, есть патриоты, есть антипатриоты. Все хотят печататься... Есть и организации, и группы, и группировочки, и одиночки вне организаций. И выпивание водяры очень активное.

— *А чем закусывают?*

— У нас дешевая закуска. Боря Камянов не станет салом закусывать, а я могу и салом. Поеду в магазин, куплю шматок, нарежу — хорошо! И это никакой никому не вызов, просто мне так нравится.

— *Дина Рубина, Губерман, Феликс Кривин, Канович, Светлана Шенбрун — эти здешние писатели весьма уважаемы и популярны в России... Есть ли у вас тут общие журналы или альманахи?*

— Самый главный альманах такого рода — это «Иерусалимский журнал». Встречаемся реже, чем хотелось бы... В Иерусалиме еще иногда собираются вокруг «Иерусалимского журнала», и это — кайф, а тут, в Тель-Авиве, почти не видимся. В Союз писателей редко кто ходит... Да и это все — только пока мы живы.

— *Давид, а ты не собираешься ли писать мемуары? Например, в России сейчас бум интереса к мемуарной прозе. Она в расцвете и делится на массу подвидов. Байки, анекдоты, серьезные рассказы...*

— Люди хотят приподнять одеяло страшной эпохи, еще не остывшей: что там, как там было-то... Но мемуары все же есть книга о мемуаристе, а не о его времени. Как там ни крутиться ни вертеться — местоимение «я», оно перевешивает в мемуарах. В прозе я часто беру вещи «из той жизни», оттуда. В несколько романов ввожу исторические персонажи — реальных людей, с которыми встречался. Так, у меня есть

роман «Вершина утиной полянки» — о Литинституте. Авантюрный роман по жанру, написан от первого лица. Люди там узнаваемы, знаменитые люди... Или в другой роман я ввожу Виктора Луи. Этот человек многим был знаком в том кругу, где возникают мемуары. Виктор Луи был довольно-таки таинственным человеком и куда как непростым: судя по некоторым деталям, он был специалистом по советской дезинформации, которую высшие партийные власти выплескивали на Запад. На его даче под Москвой перебивали почти все «звезды» тех лет — писатели, художники, композиторы. Они являлись, как и положено звездам, по ночам, чтобы никем не быть замеченными вблизи несомненно могущественного, симпатичного, но все же «настоящего кагебиста» Виктора Луи: такие контакты, всплыви они на поверхность, подпортили бы репутацию знатных визитеров. А являлись они к нему не виски распивать, а за помощью: просили помочь с получением зарубежных командировок, по тем или иным причинам приторможенных или отмененных властями. И он помогал... Так сложилось, что я уже на Западе услышал от Виктора Луи немало совершенно сногшибательных вещей. Мне о них приятней говорить в моей прозе, чем если бы я писал просто мемуары.

— *Я думаю, что ты еще придешь к мемуарам — жизнь тебя к тому подведет...*

— Не знаю, не знаю. Я, например, написал мемуарный портрет Олеси (покажу тебе его, если захочешь), маленькое эссе, мне его заказали как предисловие к сборнику Юрия Карловича, который выходит во Франции. Написал пять-шесть страниц. Я попытался. Меня там нету.

Утверждаю точно, что Олеша никогда не называл при жизни свои разбросанные и разрозненные дневниковые записи «Ни дня без строчки». Он был человеком крайне острого метафорического видения, это

бездарное название претило бы его вкусу, не говоря уже о том, что оно вызывает неприятные звуковые ассоциации... Я эту историю хорошо помню — мне ее рассказывал Вениамин Наумович Рискин. Да и от Олеси я кое-что слышал обрывочное. Он хотел бы видеть названием этой книги «Дни, дни, дни...». Вот оно! А «Ни дня без строчки» — это, скорее всего, Катаев придумал с кем-то из литературных комиссаров. Они там решили, что это более пробивное название... Сам Олеша и подумать не мог, что эти записки когда-нибудь напечатают, в обозримом будущем: там было немало горьких замечаний в адрес режима. И они действительно сначала были напечатаны очень выборочно. Это сейчас уже издали все, что нашли.

Об этом я и написал, но это — не мемуары. А писать про чужую тайную жизнь? Нет. Я мусором не интересуюсь.

— *Мне говорили, что ты хочешь собрать воспоминания о твоём брате Симоне. Так?*

— Игорь Бяльский выпустит специальный номер «Иерусалимского журнала», посвященного Симону. Там будут и его тексты, и о нем. Что касается книжки, посвященной Симону, то я вот что хочу сделать: человек пишет пять-шесть-семь страниц (сколько хочет) об одной встрече. А к этим страничкам подверстывается одно или два письма Симона, адресованное этому человеку. Только-только начинаю работу...Таких людей, которые сохранили тягу к эпистолярному жанру, немного. Все съел телефон. Вот и я с ним почти не переписывался: говорили по телефону и виделись очень часто. Я сам писем почти не пишу. А Симон писал. Он только в последний год стал компьютер осваивать... А так — пишущая машинка. У него был колоссальной красоты «ундervуд» из какой-то германской канцелярии.

— *Симон разделял твои взгляды на еврейский вопрос?*

— Стоял очень близко.

— *Почему многие евреи не хотят жить в Израиле?*

— На мой взгляд, потому что евреи хотят жить хорошо материально. Евреи в России, они — что? Либо занимаются культурой, либо торговлей. Маленький бизнес. Торговля воздухом. Козьими копытами. Покупаем свечки — продаем колбасу. Есть знаменитый анекдот. Идет корабль из Америки в Израиль. И встречает другой корабль, который идет из Израиля в Америку. И там и там на палубе стоит по еврейю. И каждый другому вот так показывает — крутит пальцем у виска. Дескать, ты сумасшедший.

Вся история еврейства в том, что евреи все время куда-то едут. Мы сами знаем за собой эту национальную черту. У нас есть такой религиозно-этический закон, необязательный, разумеется, к исполнению: коли еврей приехал в Израиль, покинуть его он уже не может, потому что ему здесь хорошо и замечательно по определению. Но есть две причины, по которым еврей все же может ехать из Израиля на все четыре стороны: совершенствоваться в знании Священных Книг и зарабатывать деньги, если их не хватает на хлеб в родных пределах. Всё.

А если есть у тебя занятие и деньги, то сиди на месте.

...А вообще, многие евреи тут жить побаиваются: опасно, арабы взрываются. Есть на земле места и по тише. Так пусть будет скучно!

— *Как ты рассматриваешь Анатолия Рыбакова — он еврейский или русский писатель? Все же он первый написал такую вещь, как «Тяжелый песок».*

— Я с ним имел интересный разговор здесь, в Израиле. Я написал рецензию на «Детей Арбата» и напечатал ее в одной газете на иврите. И сказал, что это — чистый поп-арт.

— *Что ты имеешь в виду?*

— Ну, не люблю я, скажем, Пруста. Скучно. Но проглотить «Детей Арбата» и назвать Рыбакова Пру-

стом? Не-е-ет, не могу. Этот роман — в переносном, конечно, смысле — близок к шоу-бизнесу. Что не есть ни плохо, ни хорошо... А Рыбаков мне говорит: «Как вы могли сказать, что это поп-арт?» Я его спрашиваю: «А какой у него всемирный тираж?» Он отвечает, нулей целая цепочка. «Так вы что, смеетесь, Анатолий Наумович? — говорю. — Это же все читают! Все! Кафку не читают, Пруста не читают, а вас читают! А это и есть поп-арт!» Но по качеству письма это достаточно жидкая вещь.

— А «Тяжелый песок»?

— Этот роман принес добро. «Тяжелый песок» — как литература — выше, чем «Дети Арбата».

— Как ты относишься — теперь уже со стороны — к краху Советского Союза? Как это повлияло на литературу?

— Я думаю, что крушение Империи — самое значительное событие XX века. Более значительное, чем война. И чем 17-й год. Это было неизбежно. Нет вечных империй. Но никто из нас не верил в то, что мы доживем до этого дня. Никто — в том числе и Амальрик. Кто говорит, что верил, врет. И за это надо благодарить тех, кого коммунисты хотят судить.

Реванш невозможен. Может быть нечто другое, не менее страшное, но не такое. При всех издержках... А без издержек империи никогда не разрушались.

На мой взгляд, самое большое несчастье, которое существует в сегодняшней России, это то, что выдавалось за огромное счастье при коммунистах, — а именно: многонациональность. В России живет около ста народов. Как было, так и есть. Сепаратизм неизбежен. Сегодня Кавказ, завтра татары... Это зеленый пояс — снизу доверху. Русские люди говорят: «Ну и что? Живут же французы как во Франции, так и в Швейцарии, и ни в чем себе не отказывают». Но русские не швейцарцы, а Казань — не Париж.

— А будет ли восстановление культурных связей?



— Думаю, что да. Культура идет вровень с торговлей, может, даже на полкорпуса впереди.

— *Как ты относишься к «деревенской литературе»?*

— Замечательная была литература! Особенно если считать «Матренин двор» ее краеугольным камнем или, скажем так, межой. Астафьевская «Царь-рыба» — великий роман! Четыре повести Распутина — блеск! А то, что у некоторых деревенщиков от вольного ветра крыша поехала, — так это дело докторов и грубых санитаров... Жаль только, что с поврежденной крышей эти ребята перестали хорошо писать. Это — жаль! И «деревенщики» остались в русской литературе навроде мамонта в колымской мерзлоте.

А как они хорошо начинали! Ведь они вместе с истинными «шестидесятниками» расшатывали идеологическую основу коммунистического режима, они драли бока, продираясь сквозь этот дремучий сухостой. Потом они почему-то озлобели, сделались странными, недоброжелательными людьми.

— *Как ты полагаешь, что провоцирует порой даже лучших русских людей на безобразность антисемитизма?*

— У меня такое ощущение (об этом много говорили), что эти люди на фоне русских неприятностей хотят иметь образ врага. Искать его наверху, во властях, опасно и не принято.

Теперь евреев заменил Кавказ. Но Кавказ не занимает такого места в русской культуре, поэтому у левой интеллигенции неприязнь к Кавказу все же меньше, чем к евреям. А евреи всех, дескать, стремятся редактировать...

Астафьев в «Царь-рыбе» показал, как русский человек съел медведя, сожравшего, в свою очередь, лучшего друга этого русского человека. Дикая история и ужасная... Если бы этого медведя съел еврей, то евреи бы на ушах стояли... Астафьев одинаково нелицеприятно писал и о русских, и о евреях, и о

грузинах — жестоко. И о поляках... Он был такой мизантроп. Но от этого он, как и Достоевский, не стал писать хуже. Лучше — может быть.

А вообще, не нравятся евреи — не общайтесь. Никто никого не обязан любить. Ситуация, как правило, обостряется дураками. Она должна быть сбалансирована. Евреи всю свою жизнь говорят: «Здесь нас любят, а там нас не любят». Так не бывает. Это демагогия. Мужик может любить бабу, или наоборот. Но чтобы народ любил народ... Сами такие разговоры бессмысленны и вредны, они ведут к хамству и к войне.

Антисемитизм есть омерзительное социально-политическое явление. Точка. Но любовь к евреям — почему? Потому что я еврей? Это дико, к тому же в этом нет моей заслуги. Потому что мы написали Библию? Но я ее не писал.

Я не думаю, что мы, евреи, это и з б р а н н ы й народ. Я думаю, что евреи — это народ и з б р а в ш и й. Это разные вещи. Нет, ребятки, вы перепутали, когда Бог шептал вам что-то в ухо. Или передернули. Вы избрали Единого Бога — и это великое дело.

— Да... *Тема до конца неразрешимая. Давай возьмем вопрос поконкретнее. Что ты сейчас за письменным столом делаешь?*

— Я пишу книжку, которая называется «Тубплиеры». Это роман о событиях на Кавказе в 60-е годы. Кавказ считался заповедником дружбы народов. Но любой интеллигент (и не интеллигент), который ехал на Кавказ в отпуск, считал, что Кавказ есть все-союзная курортная зона. Гагра, Пицунда, Сухуми... А что же там наверху, в горах Кавказа? А там жили люди. Там жили, например, ваххабиты, и я в этих ваххабитских аулах бывал. Сегодня это — самые главные боевики-радикалы. В Дагестане были такие аулы — это крайние исламские радикалы. Крайние. Крайней просто не бывает.

Потом выяснилось, что Кавказ не пригород Москвы, а пороховая бочка. И вот я задумал книжку о туберкулезном санатории — не на морском побережье, а в Кавказских горах. Я там был. У меня был туберкулез, но меня выкинули из санатория за нарушение режима: за пьянство и гулянство. Я там все же полгода просидел. Меня приговорили к смерти, но я выжил.

Меня интересует такая история: с одной стороны — закипающий под крышкой многонациональный Кавказ, с другой — нация туберкулезных больных. Советское общество было разбито, я бы сказал, на секты. Секта управленцев-чиновников. Секта деятелей культуры. Секта, скажем, ИТР. И самая мощная из них — секта больных.

Я не собираюсь конкурировать ни с Томасом Манном, ни с Ремарком... Но — жизнь внутри стен! Туберкулезные люди приезжают туда — и там их дом. Раз в год они встречаются в туберкулезном санатории. Нищие. Лекарств нет почти. Но они чувствуют себя нормально, только когда они друг с другом. Потому что когда они выходят наружу, в мир, после ежегодного сидения там (бесплатного — не брали ни копейки), они обходят тему болезни. Это неприлично — быть чахоточным, понимаешь? Быть тубиком! И вот для украшения жизни они организуют в санатории подпольный орден Тублиеров. Тут КГБ начинает их проверять, дергать, потрошить, разрушает их «нелегальную организацию»... Судьба главного героя. Он считает, и не без оснований, что обречен и что умрет очень скоро. И два-три дня он делает то, чего делать нельзя. Устает. Купается в ледяном озере и валяется на солнце. Не отгоняет комаров — пусть себе кусаются, пусть распухнет рожа. Какая разница? Пьет с приятелями. Ест сырые грибы... Ему уже всё без разницы. А смерть все не приходит почему-то.

Меня интересуют эти три дня. Плюс — ретроспекции. Там будет много людей.

— *О чем будет этот роман внутренне? Если в одной фразе?*

— Меня интересует магия лжи по поводу Кавказа. Один из мифов советского времени. Но не это будет главное. Это фон все-таки. Исторический фон, на котором все полетело. А роман — о борьбе человека, обреченного смерти, со смертью и с жизнью. Пограничная ситуация. Есть любовная линия. И их, героев, связи внутри этого гетто больных — они значительно чище, чем те, что в здоровой жизни.

— *Почему что-то у тебя «тянет» на роман, что-то на повесть, а что-то на рассказ? Какова связь темы и объекта повествования с объемом и жанром вещи?*

— Можно налить спирт с столитровую емкость. А можно — в чекушку: 250 грамм. Естественней разлить по чекушкам.

— *И все же иногда ты заливаешь спирт в огромную банку, а порой распределяешь его по стопочкам...*

— Я думаю, что это даже не вопрос ремесла. Это такое странное ощущение, когда сырой еще материал навязывает тебе форму: рассказ, повесть... Шера Шаров, которого я уже поминал, еще в юности сказал мне про «Ваньку-встаньку», что я ошибся: из него надо было делать повесть, а в лучшем случае — даже роман. Материала-то много! А я до сих пор чувствую: нет, не нужно было так делать, этих шести страниц достаточно. Они более плотные, и в них нет воды... Каждый рассказ в бунинских «Темных аллеях» (лучше нет книги о любви) мог бы быть растянут до романа. Нет. Он чуял, что надо писать только так — краткими «главами».

— *У тебя много рассказов за жизнь написалось?*

— Не очень. Один сборник по-русски у меня выходил в Израиле. Он называется «Мой враг кошка». Такой же, чуть меньшего объема, вышел в Германии

по-немецки, а теперь — в России... А вообще-то мне проще управляться с формами более объемными, чем рассказ.

— Почему жанр, как живое существо, то сходит в тень, то потом вдруг возрождается?

— Существуют основополагающие площадки художественной литературы. Это — роман, это — рассказ, это — басня, это — элегия. Есть основа. Потом на нее, как на шишку, нарастают чешуйки. Потом чешуйки отслаиваются. А основа остается. Чешуйки? Это постмодернизм... Постпостмодернизм...

Для меня же и в литературе, и в живописи важна не геометрия, а эмоциональное кровообращение. И вообще, я традиционалист и ретроград без закидонов.

Да, авангард существует всегда — в литературе, как в армии. Впереди идущие разведывают местность, врага, друга, кого хочешь... Есть открытия, а есть ужасные вещи. Но они отмирают. Основа же остается на века.

*Тель-Авив  
март 2004*

# Александр Ревич

## Я ШЕЛ СВОЕЙ ДОРОГОЙ

— *Александр Михайлович, расскажите о своих родителях, о детстве, о началах. Из какой вы грибницы?*

— Грибница была странная. Родители познакомились в Москве накануне 1915 года. девяносто лет назад. Жили в одном городе, в Ростове, но не пересекались. Родители их, отцы, — пересекались... Мать выросла в очень богатой и благополучной семье. Ее дед был купцом первой гильдии и одним из самых богатых в России хлеботорговцев. У него свое пароходство было. Звали его Леон Дорофеевич.

— *Имя-отчество как из Островского.*

— Совершенно верно. Мой дед со стороны отца был врачом, а внешне походил, как говорили родственники, на очень красивого армянского священника. Хотя был еврей... Они были все дарвинистами.

— *Считали, что человек — от обезьяны, да?*

— Да. Что человек — от обезьяны. Бабушка моя тоже была врачом. Окончила второй или третий выпуск Женских медицинских курсов (они, по-моему, тогда назывались «медико-акушерские»). Отец учился (людей иудейского вероисповедания туда принимали) в Военно-хирургической академии. Но

хотел быть музыкантом. Кстати, в семье моей прабабушки с отцовской стороны были знаменитые музыканты по фамилии Гузиковы (или Гусиковы). Один даже значится в Брокгаузе и Ефроне — это мой прапрадед.

Михаил Гузилов был контрабасистом, скрипачом, трубачом и изобретателем соломенного органа. Читайте вам из энциклопедии: «...Родом еврей. Большую часть жизни провел в России. Усовершенствовал соломенную гармонику. Очень успешный концерт дал в Москве, в Киеве, посетил Одессу, где знаменитый Ламартин, услышав его, убедил предпринять заграничное путешествие. С огромным успехом концертировал в Вене, Париже, Брюсселе... Умер на обратном пути».

— *Ценнейшая информация!*

— Отец уехал учиться вопреки воле родительской в Петербург в консерваторию. Поступил в класс величайшего виолончелиста того времени — Александра Вержбиловича. Фотографии есть. *(Показывает.)* Но потом отец ушел из консерватории.

Кстати, младший брат отца Матвей был человеком с дивным голосом — баритон оперного класса. И у сестры было редкое меццо-сопрано — она училась в Италии...

Отец ушел из жизни в 42-м году. Во время оккупации — между Ростовом и Таганрогом... Немцы прихлопнули. За ним пошла его последняя жена — с тем, чтобы тоже погибнуть. Но ее как русскую дворянку отпустили... Отец часто разводился с женами, легко уходил. От мамы ушел, когда мне было шесть лет. Мама сказала: «Слава богу, теперь у меня свободная душа. Я независимый человек».

— *Мама долго жила?*

Она умерла в Москве в 63-м году. Она зла на него не держала никакого.

— *А у вас есть в жизни некто, кого вы можете назвать своим Учителем?*

— В моей поэме о детстве я писал, что это была няня, которая мне читала: «Около моря дуб зеленый...» «У Лукоморья» — она такого не знала. То был первый «солнечный удар». Вообще же, когда мне было семь лет, я хотел стать милиционером.

— *Чтобы наводить порядок?*

— Мне просто нравилось это. Что «это»? Форма, околыш, фуражка... Я папе письмо написал, когда он был в командировке, и там такие строчки были: «На мне фуражка с красным козырьком,/ в руке винтовка стальная./ Я защищаю наш дом/ от жуликов и от Бабая». Кто такой Бабай, объяснить не могу.

Потом школа. Ее я окончил кое-как. Больше занимался спортом. Был мастером спорта в 17 лет.

— *Какой вид спорта?*

— Потом это стало называться классической борьбой. Греко-римская борьба. От бокса меня отвалил один отличный тренер. Он сказал: «У тебя короткие руки — в боксе тебе не пробиться. Да еще с твоим весом. Ты будешь всегда «грушей». А для борьбы ты пригоден, потому что у тебя круглая мускулатура и притягивающие мышцы».

Потом меня призвали. К осени 39-го всех призвали, кто с 21-го года и окончил школу. И в это время началась война с Польшей. Я попал в артиллерийский полк. А через месяц, поскольку есть среднее образование, предложили идти в училище. Попал в пограничное — так, буквально на орла и решку, выпало. Не столько мне хотелось в пограничники, сколько захотелось на Кавказ. Училище это было во Владикавказе. Я там отучился неполные два года. Учился мучительно, потому что очень большая нагрузка была. Так я попал в кавалерию. В июне окончил училище и был назначен на западную границу, в Молдавию. Прибыл в Одессу, поскольку там был центр этого пограничного района. Приехал в пятни-



цу, в понедельник мы должны были являться за назначением, а в воскресенье началась война. Об этом — в поэме «Начало».

Я оказался в линейной части, меня послали на станцию Беляевка...

— *А потом у вас было тяжелое ранение?*

— Нет, сначала я попал в плен: во время прорыва упал вместе с убитым конем. Была контузия и жуткий ушиб. Через неделю после того, как меня взяли, ночью на ходу мы выпрыгнули из вагона поезда. Все это — в поэме «Начало». О том, что было после того, как добрались к нашим, я никогда не писал... Угодил все-таки в штрафной батальон как разжалованный офицер.

И там был впервые ранен. После этого я получил звание лейтенанта. Круглыми путями попал на Сталинградский фронт — командуя сначала ротой, а потом батальоном. И получил еще одно тяжелое ранение — в грудную клетку и в позвоночник, после чего попал на Урал, на много месяцев — на госпитальную койку. Успел окончить курсы «Выстрел» в Свердловске... Какое-то время был в учебной дивизии начальником штаба. Учил лыжников — сам ходить не умел, но их готовил. А потом опять на фронт, на передний край, и получил третье ранение. На передовой больше месяца без этого невозможно.

— *Как сюжетно развивалась ваша жизнь после войны?*

— Я приехал в Москву, где жила мама. Но меня в Москве не прописали, потому что я был в плену и в штрафбате. 46-й год. И я мог жить где угодно, но не в Москве и не в Ленинграде. У меня уже была семья. И я уехал в Ростов, поступил на истфак Ростовского университета, а через год приехал летом в Москву и перевелся на московский истфак...

На этот раз прописали в Москве с полными правами, но при этом вызывали раз в полгода в МГБ. Приходила бумажка: «Явиться...» А мы жили на

Смоленке, там, где теперь магазин «Руслан». И я ходил на Арбат, туда — в переулок, где был местный МГБ. Мама всякий раз страшно боялась и дрожала.

А потом, в это же лето, я подал документы в Литературный институт. И не был принят. Окончил второй курс истфака. И когда на следующий год меня стали уговаривать, чтобы я поступал в Литинститут (а у нас компания литературная образовалась: Иоффе Эдик, который потом повесился, Кикин, Лелька Соколовский, Турков), я сначала отказывался, а потом... Большую роль сыграла моя двоюродная сестра Лидия Александровна Симонян, которая преподавала в Литинституте западную литературу.

Она меня подбила снова туда поступать... Меня вызывают и объясняют, что я прошел. В приемной комиссии — Луговской. Он уже пьяный был изрядно и сказал: «Ну как его можно не принять? Он же пишет стихи лучше Павлика Антокольского».

— *Вот так реплика! А «Павлик» сидел рядом?*

— Нет, его там не было. Он тогда еще не служил в Литинституте.

Потом я плохо поступил с Луговским — я ушел от него в семинар Антокольского. Луговской меня к себе взял, но мне у него стало скучно. Он хороший был, милый, добрый, но нес такую ахинею, что слушать невозможно было. А Антокольский — это было ярко.

— *Чем для вас в 60—70-е годы был поэтический перевод — ведь не поденка же, а, наверное, вдохновенная обитель, смежная вашему персональному творчеству? Сергей Шервинский, замечательный переводчик, говорил, что вы непрерывно учитесь у иностранных поэтов первого ряда. Как происходила эта «учеба»?*

— Он, Шервинский, не совсем так сказал. Он мне просто дал совет. «Когда вы учитесь у русских поэтов, очень легко сползти к эпигонству, а на тех учиться можно — у них другое мышление».

— *Какие ваши переводы для вас важнейшие и наиболее продуктивные с точки зрения вашей личной лаборатории?*

— Сейчас оказалось, что, помимо иных, еще и Галчинский. Я последнее время вернулся к нему. Он большую роль сыграл в моем становлении и научил меня существенной вещи: он научил меня свободе. Полной свободе слова! Это первое.

Очень важен для меня был (я это теперь понял) Поль Верлен — он оказался родственным мне по духу. О нем как-то потрясающе сказал в одной из статей Анатолий Франс. Он сказал, что Верлен по своему религиозному состоянию близок русской поэзии. Он как будто не французский поэт — готов разбить о паперть голову в покаянии. У этих обоих я многому учился.

Но самая моя главная переводческая работа — это, конечно, Теодор Агриппа д'Обинье. Эта работа длилась лет тринадцать. Бросал, снова начинал...

— *Напомню читателям (вдруг кто-то не знает), что за перевод книги «Трагические поэмы» Агриппы д'Обинье вы в 98-м были удостоены Госпремии России. Расскажите об этой грандиозной работе. Это был издательский заказ или чисто ваша инициатива?*

— Фигура Агриппы д'Обинье для меня всегда была первостатейной. Это человек совершенно невозможного героизма. Героизма не только нравственного, и не только религиозного, и не только батального — героизма человечности в каждом поступке. Был момент, когда я хотел стать кальвинистом, — настолько он влиял на меня... Я много о нем думал, особенно когда прочитал об Агриппе роман Жана Шаброля «Козел отпущения». Потом еще о нем читал, конечно, у Томаса Манна.

И вот мне предложили переводить поэтов Возрождения для «Библиотеки всемирной литературы», БВЛ. Я спрашиваю: «На кого же из больших поэтов

я могу претендовать?» «Кого бы вы хотели?» Я говорю: «Прежде всего Агриппу д'Обинье». Редактор Сельма Брахман мне говорит: «Губа не дура. Он — ваш».

Начал с сонетов, а потом втянулся. Он втягивает, как водоворот. Ронсар где-то рядом, но нет, Агриппа важнее. Потом я перевел самый главный кусок «Варфоломеевской ночи» и увидел такую беспощадность художническую!

Мне сначала дали французскую премию за перевод Агриппы (года за два до нашей Государственной), и в честь этого был обед. Посол меня усадил рядом с собой и задал мне вопрос: «Что вам дал Агриппа?» Я ответил: «C'est la route à la croix...»

— «*Это дорога к вере*», да?

— Да. Посол — неглупый мужик — мне сказал по-французски (русского он, в отличие от посла предыдущего, не знал): «Но это же другая вера — это кальвинизм». Я сказал, что мне важен не характер веры, а ее сила и целенаправленность. Он понял.

Агриппа — единственная историческая личность, чей портрет у меня стоит за стеклом книжного шкафа. Он живой для меня... Но дело не только в этом. Пока я переводил его, у меня изменился почерк. Совершенно стал другой. Был остроугольный почерк — и вдруг я стал писать кругло. Я не мог понять, в чем дело. Когда я, уже закончив перевод книги, увидел автограф Агриппы, то понял (хотя написано это было по-французски): мой почерк. Мой почерк нынешний. Вы, Танечка, понимаете, о чем я говорю?

— *Конечно. Настоящий перевод — это мистика взаимоперетекания.*

— Да. И я однажды сказал Евгению Рейну, который нарывался и мне все время говорил: «Зачем ты переводишь? Ты поэт. Пиши сам. Зачем тебе переводы?» — так вот я ему ответил: «Когда ты переводишь своих кубинцев, ты должен туда влить свою

кровь. А меня это поднимает на такую высоту, что в меня переливается его кровь. Это ни тебе, ни твоему другу Бродскому Оське во сне не снилось».

— *Да, ваша прямота известна! Александр Михайлович, вы — профессор Литинститута имени Горького, ведете мастер-класс, как теперь говорят, художественного перевода. Мы с вами — литинститутские коллеги, и я могу свидетельствовать: о, как вас любят студенты! Ходят к вам на занятия даже из других семинаров — юные прозаики, драматурги... Чему же вы их учите?*

— В переводе научить ничему нельзя. Просто стараюсь помочь им нашими разговорами и разборами. Помочь стать литераторами, имея эстетическое понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо». Мы занимаемся экзерсисами — много переводим из XIX века: Верлена, Мериме, Мопассана. То есть и поэзию и прозу.

Иногда я просто рассказываю им «свою» историю мировой литературы (как мне кажется, ее не всегда в нашем институте преподают точно), вскрываю разницу меж романтизмом и реализмом, как я ее понимаю. Люблю беседовать со своими семинаристами о Данте, о его великой трилогии...

— *А что вы сами сейчас пишете? Не наступила ли, как бывает, пауза после выхода столь важного для вас «Избранного»?*

— Я спокойно продолжаю писать стихи. Переводить сейчас не перевожу. Последний был Галчинский. Я вам сейчас подарю только что вышедшую его книгу, где есть и мои переводы. Я могу быть и субъективным, поскольку очень уж негативно отношусь к старым переводам из Галчинского (и к своим тоже), а тут я начал заново и даже потягался с Бродским.

— *Что вы имеете в виду, Александр Михайлович?*

— Поэму «Завороженные дрожки» (сам поэт в письме к Тувиму назвал ее «Заколдованный извозчик»)...

Бродский перевел ее гораздо раньше как «Заговоренные дрожки». В новом томе Галчинского помещены оба перевода: мой — в основном корпусе, Бродского — в примечаниях. Читатель может сравнить.

— *А какие у вас претензии к этому, раннему, переводу Бродского?*

— Отсебятина и плохое владение стихом. «Стукнул зубом от страха...»

— *Кого из поэтов-переводчиков вы цените?*

— Гениальный переводчик был Александр Големба. Он и поэт был замечательный. Очень хорошо переводит Юрий Вронский — именно Галчинского. Кружков — прекрасный переводчик. И Марина Бородинская... Но, пожалуй, лучше всех на свете переводил Аркадий Штейнберг.

— *Вы с ним дружили?*

— Да. Он был похож на моего отца. У меня есть воспоминания о нем: он брался за все и все делал блистательно, но вдруг бросал... А какой художник! А какой дивный поэт!

Есть несколько поэтов, о которых сейчас, увы, умалчивают. Был выдающийся поэт Шенгели. Какая у него поэма о Сталине! («Повар базилевса» называется.)

— *Кстати, у вас тоже — любовь к поэме. Как всякий раз приходит к вам замысел большой поэмы (а у вас их несколько)? И еще вопрос, более широкий: почему сегодня жанр поэмы в русской поэзии почти не востребован?*

— Поэма? Этот жанр нельзя путать с эпосом. Поэмы Гомера — это эпос. Так же, как «Махабхарата». Я даже думаю, что дантовская трилогия «Божественная комедия» — тоже не поэма, но поэтическая вселенная.

Каким образом возникла поэма как таковая? Это порождение европейского романтизма, который не дал великой прозы.

— *Гофман!*

— Да. Но не роман. Можно еще сказать приблизительно — Гюго. Но великой прозы у романтизма не получилось. И поскольку высота стиля должна была быть на порядок выше, поэма собою заменила прозаический жанр. С одной стороны — повесть, с другой — роман. Так возникли поэмы Байрона, так возник байроновский «Дон Жуан», так возник пушкинский «Онегин». Уже Лермонтов где-то в конце 30-х мог себе позволить такие строчки: «Умчался век эпических поэм,/ И повести в стихах пришли в упадок...»

— *Ну, конечно же: «...Поэты в том виновны не совсем/ (Хотя у многих стих не вовсе гладок)», — Лермонтов, начало «Сказки для детей».*

— В это время уже сам Лермонтов шел к другой прозе. Она появилась. Появилась проза Гоголя, которая уже была не романтической... Поэма в стихах стала гаснуть — она становилась все больше и больше архаикой.

Наши милые жители начала XX века (то, что называют Серебряным веком, — не люблю этого термина), не понимая того, что функция поэмы кончилась, продолжали их писать. Гениальная неудача Блока — «Возмездие». А «Соловьиный сад» — не поэма, но оратория. Наконец «Двенадцать» — тоже не поэма. Тут Блок шел путем Маяковского, у которого нет ни одной поэмы, — это ораториальные симфонии. Поэма держится на сюжете, в ней есть повествование. А в «Облаке в штанах» этого нет (выдающееся произведение, но не поэма)... Пытался писать поэмы, роман в стихах — Пастернак. Неудачно. «Спекторский» не получился, хотя стихи в нем гениальные. «1905 год» — не поэма, а цикл стихов-воспоминаний о революции. «Лейтенант Шмидт» — тоже не поэма, а инструментованный дневник.

— *И все же, почему поэма в принципе так резко сошла на нет?*

— Кончился ее век. Почему немое кино кончилось? Его заменило звуковое. А сейчас кинематограф задавлен телевизором. Поэму убила проза.

Но остается чувство ее, поэмы, нужности. Например, я однажды понял, что важнейшее, что случилось со мной в жизни: трагическое начало войны и плен — в цикл не влезает. И я попытался написать странную поэму — чуть-чуть склеенную. Сюжет раскололся: с одной стороны — эпизоды происходящего, и — где-то в будущем — обсуждение этих эпизодов во время протокола допросов. То есть я по существу попытался создать некую драматическую поэму. Местами — удачно. Сельвинскому она очень понравилась. Он считал, что я его ученик. На самом деле я шел своей дорогой...

Я потом понял одну вещь: поэма нужна, но очень короткая. И знаете, кто меня натолкнул на этот принцип? Не думавший об этом тот же Блок. Его «Вольные мысли» — здесь сюжет, здесь всё: виляющий задом офицер, и баба с зонтиком, которая тоже задом виляет, и крик «Фекла, Фекла!»... И я написал первую свою поэму — о том, как я не написал стихотворение. Она так и называется «Поэма о недописанном стихотворении» — о том, как я хоронил маму. А кончалась поэма так: «Стихи о птицах дописал я после...»

Поэма получилась странная — без конца, без развязки. Есть завязка, есть кульминация, а развязки нет. Развязка — смерть. Поэма в сто пятьдесят строк. И после этого они из меня поперли... Все поэмы есть в книге «Дарованные дни».

— *Александр Михайлович, вы только что подготовили для издательства «Время» нового и совершенно «своего» Илью Сельвинского. Если лаконично: что для вас самое главное в этом поэте? Недавно прочла в мемуарах кого-то об Ахматовой: она, мол, говорила о Сельвинском, что он хотел совместить в своей участии*



*Пастернака с Демьяном Бедным и ему это удалось. Вы согласны?*

— Он был человеком, ничего не понимающим в истории. Он в этом смысле был городской сумасшедший. Ничего не смыслил, но как художник фиксировал время с невероятной точностью. Он верил в коммунизм, понимаете? Но году в 37-м он же писал: «Когда-нибудь о нашем веке/ потомок скажет: «В этот век/ поймал, как молнию, навеки/ стихию слова “человек”...» Кончается это стихотворение так: «Лишь музы плакали от страха/ перед могуществом его».

Сельвинский был поэтический гений, который ничего не понимал в том, что происходит. Он фиксировал происходящее как дитя. Он как тот мальчик из сказки, который крикнул: «А король голый».

— *Вы рекомендуете молодым читать составленную вами книгу Сельвинского?*

— Пусть читают. Пусть думают. Она очень трудно будет доходить. Я дал только первые варианты, не испорченные цензурой и им самим не правленные.

— *А Сельвинский стихи в какую сторону правил?*

— Коммунистов вводил как положительное начало. И не думайте, что он власти боялся, — он действительно сомневался в своей правоте.

— *На мой взгляд, в Сельвинском есть какое-то советское язычество... А почему до сих пор для искусства притягательны языческие соки?*

— Очень сложный вопрос. Я об этом до сих пор не думал. А я плохо способен на неожиданный «подхват». Но... Вы не обратили внимания на одну вещь? На протяжении XVIII, XIX, XX веков шел не просто процесс кризиса христианства — шел процесс его удушения. Мы дошли до века Антихриста, который навязывает людям язычество.

Отсюда — Гитлер с тибетской премудростью, Гитлер — с нордической теорией вечного льда, Гитлер — с идеей примата силы над добротой и снисхождени-

ем. Понимаете? Поэтому — Сталин и Ленин. Это все — одно и то же.

Я прочту вам мое самое последнее стихотворение. Оно как раз о язычестве. Называется «Позавчера».

Над подоконником боги плывут.  
 В хмари то там возникают, то тут  
 древние лики природы.  
 Зевс, бородач и веселенький плут,  
 отрок Гермес безбородый...  
 Мало ли в тучах привидится что  
 мальчику в клетчатом сером пальто,  
 сколько богинь толстомясых,  
 нимфы, сатиры — ну впрямь шапито,  
 боги войны в прибамбуках,  
 с копьями, в шлемах, в кирасах...  
 Сколько придумал незрячий Гомер  
 всяких горгон, полифемов, химер,  
 чудищ в различнейшем виде, —  
 все это видел бродячий слепец,  
 в клетчатом сером пальтишке юнец,  
 старый изгнанник Овидий.  
 Зыбкие тучи приблизились вплоть,  
 а над лампадкой в мерцающем свете  
 смотрит, слегка улыбаясь, Господь,  
 как развлекаются малые дети.

— Чудесное стихотворение (строфика вольная, но с тайной тоской по сонету) — в нем так свободно сосуществуют эпохи, и античность, и современность, и высшее начало, и просто мы с вами, грешные... А как вы, Александр Михайлович, относитесь к понятию «лирический герой»? Он есть в вашей поэзии?

— Понятие это дискредитировано практикой советской поэзии. На мой взгляд, там это было не настоящее лицо, а скорее маска.

## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

Я не исключаю своего присутствия в качестве лирического героя в собственных произведениях, но не в советском понимании. Я просто пишу дневник. Ничего не типизирую, я — живое лицо, готовое для смеха и плача.

*20 — 30 июня 2004*

# ТАТЬЯНА РЫБАКОВА

## СЧАСТЬЕ? ВОЗМОЖНО, ЭТО МИР С САМИМ СОБОЙ<sup>1</sup>

— Мы не можем не вспомнить вашего первого мужа, замечательного поэта Евгения Винокурова. Лучшие его стихи посвящены вам. «Моя любимая стирала...» Мне интересно, как возникали эти потрясающие лирические стихи: что, действительно вы стирали, или речь идет о какой-то лирической героине?

— Я действительно стирала. У меня тогда родилась Ирка. А дело было в большой барской квартире, превращенной в начале тридцатых годов в коммуналку, в которой две смежные комнаты получила моя свекровь Евгения Матвеевна. Она меня очень любила и вообще была замечательной женщиной, но совершенно чуждой нам с Женей по духу. Она была партийным работником, до войны первым секретарем райкома, но уже будучи на пенсии все продолжала Женю учить: «Не те стихи пишешь. Нет патриотизма...»

<sup>1</sup> Это последнее интервью, проведенное Татьяной Бек. Издательство благодарит редакцию журнала «Лехаим», осуществившую расшифровку беседы с аудиопленки и подготовившую данную публикацию.

— *А отец его кто был?*

— Михаил Николаевич Перегудов был военным. Насколько я знаю, они с Жениной матерью встретились в гражданскую войну.

— *У Винокурова было хоть что-то еврейское?*

— А как же. Евгения Матвеевна была еврейкой. Женин отец в юности был истово верующим, православным. Соблюдал посты, бил челом перед иконами. Потом устремился в другую веру — коммунистическую. Мать из семьи шляпника и должна была стать модисткой. Но они вместе ушли в революцию. Встретились на фронте и не расставались больше.

— *А как же Винокуров в такой семье вырос? Не скажу, чтобы он был очень оппозиционный человек, но все же...*

— Нет, он был оппозиционный человек! Хотя эта оппозиция не принимала формы откровенного вызова. Он шутил: «Я не могу воевать с атомной державой». Но ты же знаешь, Таня, для него были абсолютно исключены идеологически выигранные темы. Винокуров прошел войну, в двадцать один год был мобилизован с гипертонией и туберкулезом. Он старался избегать любых волнений и надеялся меня к этому приучить. Помню такой эпизод: Женя купил нам с Ирочкой билеты на американский фильм — там что-то такое про «черных ангелов» на мотоциклах. Уже погас свет, мы сидим, вдруг открывается дверь в зал, и Женин голос: «Таня и Ира, скорее выходите, фильм тяжелый».

— *Потрясающая деталь.*

— Так вот, родители его, истовые коммунисты, мотались по стране, мать работала в женотделах. Однако в 1924 году Михаил Николаевич оседает в военной части в Брянске. 22 октября 1925 года рождается Женя. Отец идет в родильный дом, ему выносят

младенца: все лицо исцарапано в кровь... Он в ужасе. «Что случилось?» — спрашивает акушерку. Она говорит: «Сама не знаю, может, жизнь будет тяжелой...»

— *То есть он уже на свет появился в каких-то муках.*

— Отец настолько перепугался, что на следующий день пошел в загс и записал сына Винокуровым и дал ему имя матери. «Почему так?» — спрашивала я. Он посмеивался и уходил от ответа. Между прочим, потом уже, в Коломые, в конце войны, цыганка-гадалка взяла Женину руку, посмотрела и сказала: «Я тебе гадать не стану».

— *Почему? Было что-то страшное?*

— Наверное, в его жизни было что-то заранее предначертано. Я сегодня была на Новодевичьем кладбище. Он умер 23 января 1993 года. Ему было шестьдесят восемь лет.

— *Как вы считаете, все его лирические стихи были адресованы вам?*

— Да, они были адресованы мне.

— *Я очень любила его стихотворение, написанное верлибром: «Осень, Таня. Осень и невезенье...»*

— Это стихотворение называлось «Неудача». Оно заканчивалось строчкой: «Это осень, Таня. Да, осень. И невезенье». Но вот парадокс. Винокурова называли «певцом семьи», однако именно ему нужна была полная свобода от семьи. Как писал Евтушенко: «И вот глава кутил и балагуров, / Забыв семью, как разговор пустой, / Идет мой друг Евгений Винокуров, / Из всех женатых самый холостой». Пойти со мной в ЦДЛ для него было мукой! На кого-то я посмотрела и улыбнулась, с кем-то поговорила лишние две минуты. Всё! Вечер испорчен! Или кто-то нам звонит, я беру трубку и говорю опять какие-то лишние минуты, прежде чем трубку передать ему. Этим людям отказывалось от дома!

— *Есть такая поговорка: «Кто чего боится, то с ним и случится».*

— Были у него такие строчки: «Она уйдет, и я умру». Знаешь, его идеал семьи: жена ждет дома, поддерживает огонь в очаге... Я злилась, конечно. А он возвращается домой, и первый вопрос: «Таня дома?» Тани нет. Он, не снимая пальто, берет телефонную книжку, в которой на имя «Таня» не только мои рабочие телефоны, но и телефоны моих подруг: Евгении Самойловны Ласкиной, Тани Слуцкой, Гали Евтушенко, Мирели Шагинян. Начинает обзванивать. У Гали никто не подходит. У Тани никто не подходит. Мирели нет дома. «Евгения Самойловна, здравствуйте, Таня у вас? Можно ее на минуту?» — «Да, пожалуйста». — «Тань, что-то грустно, одиноко, приезжай, а?»

— *Давайте поговорим о вашей семье. Во сколько лет вы остались без родителей?*

— В девять. Мой день рождения 7 сентября, а отца арестовали 9 ноября.

— *А кто он был?*

— Первый заместитель Микояна — наркома пищевой промышленности. Родители мои познакомились и поженились в Париже. Оба учились на медицинском факультете. Мама ушла с третьего курса, потому что родился ребенок (он умер в младенчестве), а потом уехала в Россию. Отец же окончил Сорбонну с отличием.

— *А как они оказались во Франции?*

— Ты же знаешь, в России существовала процентная норма поступления евреев в Московский или Петербургский университеты. Поэтому многие уезжали учиться в Швейцарию, в Германию, во Францию. Родители мои с детства учили французский язык и поехали в Париж. Отец был родом из Баку, мама — из Витебска.

— *Какой был год?*

— Где-то 1908—1909. Они были ровесники. Мама училась вместе со своей старшей сестрой Беллой, потом женой писателя Михаила Левидова. Тетя Белла была старше мамы на год. И их вдвоем отправили во Францию. В первые же каникулы они уехали то ли в Иран, то ли в Египет, не знаю куда. И по Витебску пошел слух, что их украли в гарем. Моя бабушка поехала их искать и разыскала! Оказалось, никакой не гарем, просто они путешествовали. У дедушки моего, маминого отца, был магазин «Ткани», он был купцом второй гильдии. Отец отца заведовал нефтяным прииском в Баку. Это были обеспеченные люди.

— *Каковы были фамилии мамы и папы?*

— Папа был Беленький, мама — Минц. В маминной семье было восемь детей, в папиной — семь. Отцова семья вся ушла в революцию.

— *Вот интересно, отчего евреи так шли в революцию? Видимо, из-за черты оседлости? У меня тоже по одной линии такие люди...*

— Нет. Мне кажется, это была такая страсть, которая охватывала интеллигенцию вообще, не только евреев. Причем выходцев именно из богатых семей, которые теряли больше всех.

Когда отец окончил Сорбонну, его хотели там оставить. Франция тогда была союзницей России, шел 1914 год. И отец мой воевал во французской армии. Затем через Персию каким-то образом он вернулся в Баку. Встретил Микояна, единственного из оставшихся в живых бакинских комиссаров. Были ли они знакомы раньше, не знаю, но Микоян вовлек его в революционное движение, и отец ни одного дня не проработал по профессии — психиатром. Ушел в революцию. Такова была сила тех лозунгов. Очень многие так поступали. Они считали, что это прогнивший мир... Мы не можем их судить.

— *А я и не сужу.*



— Видимо, так сильна была эта идея: они потом только поняли, что революция пожирает своих детей. А могли бы жить безбедно... После отца в Сорбонну поехал учиться его младший брат. Это был знаменитый в Москве хирург Беленький. Он первый у нас в стране ввел переливание крови.

— *Вообще, вы из такой семьи, я вам скажу...*

— Для меня воспоминания о моей семье были очень важны. Воспоминания о родительской ласке, о родительской любви поддерживали мое достоинство. Больше мне не на что было опереться. Мы, дети «врагов народа», оставшись сиротами в семь, восемь, девять лет, по существу сами себя воспитывали. Я научилась не показывать обид, крепиться, не плакать, не выяснять отношений, другими словами, держать достоинство. Не знаю, удачным ли получился из всего этого сплава характер. Винокуров, например, писал в одном из своих стихотворений: «Характер, изогнутый как лекало, был абсолютно непостижим».

— *Это про вас?*

— Да.

— *А вы помните родителей?*

— Помню. Я даже помню какие-то устои нашего дома.

— *Вы жили в Доме на набережной?*

— Да. Но поскольку мать родила меня, когда ей было тридцать восемь лет, то врачи настояли, чтобы я жила за городом, на воздухе. И я с какими-то воспитательницами жила за городом на Сходне. Там была двухэтажная дача. В тот момент Фадеев разошелся с Герасимовой, и ему негде было жить. Родители дружили с Фадеевым, Светловым, Либединским. Они ему говорят: «Да живи у нас, Танька тебе мешать не будет». И он жил у нас.

— *Сколько вам было лет?*

— Что-то около шести. Наверное, это был 1935-й год.

— *Он тогда уже сильно пил?*

— Возможно. Но я никогда его не видела пьяным. Знаешь, это была огромная дача, бывшая школа, где была бильярдная. В этой бильярдной жила моя белка в клетке с колесом. Моя задача была кормить ее орешками. Я входила каждое утро в комнату и видела пустые бутылки под бильярдом. Откуда они брались, я не понимала, да и не задумывалась об этом. Фадеев меня очень любил, мы дружили. В тот момент моя тетка Антонина, отца сестра, которая работала за границей, — у нее было подпольное имя Инка, — вернулась в Москву. Алеша, ее сын, родился за границей. Она привезла его в Москву пятилетним, он ни слова не говорил по-русски, только по-немецки. Жил Алеша у нас, это был мой второй брат, на год моложе моего родного брата. И вот эта Инка поселилась у нас на даче. У нее начался бурный роман с Фадеевым. Он тогда писал «Последний из Удэге».

— *Хорошая вещь, я считаю.*

— По-моему, так и не оконченная. Я думаю, что «Разгром» очень сильная книга... Характер у Инки был, как у фурии. Она жила в Японии под видом немки. Ночью ее будят, спрашивают что-то по-русски, и ей нужно со сна ответить по-немецки. Представляешь, какой страх... И вдруг роман с Фадеевым! Он ведь был потрясающе красивый. Потом мы все вместе поехали в Сочи. Инка была еще с ним, папа, мама, я. Меня укладывали спать, а у них начиналось веселье. Самый красивый, раскатистый смех был у Фадеева. Я его обожала.

Закончился отпуск. Родители из Москвы тут же уехали в командировку, а мы с Фадеевым вернулись в свою Сходню. Видимо, в поезде я подцепила скарлатину. Температура сорок. Он вызывает «скорую» и везет меня в больницу, всю дорогу держит за руку. Говорит мне: «Танька, не бойся, я буду тебе петь».

И поет песню «Ты ж мое серденько...». Он привозит меня в больницу, врачи осматривают, говорят, что скарлатина. Он прощается со мной и напоследок просит: «Танька, тебе сейчас отрежут косы. Не сопротивляйся». И меня бреют наголо.

...Отец возил меня в театр. Первым делом он повез меня на «Лес» Мейерхольда. Потом повез на «Спящую красавицу». Я просто обалдела в Большом театре! Побежала ночью к маме. Она еще не спала, ждала отца, и я ей выложила свою идею: мою куклу надо отвезти на бал. Мама согласилась и даже придумала, что бальное платье сошьет ей из своей старой батистовой, в черную крапинку, блузки. Родители одевались очень скромно: у отца был партмаксимум, но у меня немка, учительница немецкого у братьев, жалованье моей няне Анюте, книги, которые покупались в неограниченном количестве, — и на руках не оставалось ничего. Мама, если ей надо было идти на прием, одалживала выходные туфли у Анюты.

— *Был какой-то культ аскетизма, и это оставалось у таких людей до конца жизни.*

— Конечно. Когда отца реабилитировали, помимо девяти тысяч отцовской зарплаты за два месяца, я получила шестнадцать тысяч за имущество. В список имущества входили книги, велосипед, который мне купили на вырост, мамина меховая жакетка и ковер. Сейчас кухня в любом доме стоит гораздо дороже! А тогда ничего больше и не было, мебель в доме правительств была с бирками.

— *Да, казенная. У моего папы было описано в «Новом назначении». Мебель с железными бирочками, холщовые чехлы.*

— Это я помню прекрасно. Господи, как давно я это читала!.. В общем, мама мне говорит, что через несколько дней она приедет на дачу (мы тогда уже из Сходни переехали в Ильинское по Казанской доро-

ге) и привезет это платье для куклы. Я прихожу из школы, открываю дверь, мама стоит на пороге. Я к ней кидаюсь: «Привезла?» Она говорит: «Нет, Танюшенька, не привезла. Папу арестовали. Я приехала за тобой, быстро пообедай, сложим твои вещи и едем в Москву». Мне было девять лет, это было 9 ноября... Как рассказала секретарша, папа вошел в кабинет Микояна и через пять минут вышел, хлопнув дверью, а возле лифта его уже ждали. У меня есть его «дело». Фотографии в профиль, анфас, уже выбитые зубы...

Мама записала меня в 19-ю школу на набережной, где английское посольство. 13 января надо было в школу идти, а 12-го мы были в гостях у тети Беллы. Возвращаемся домой, мама открывает дверь, а там стоят трое с винтовками и наш вахтер. И маму забирают. Это был ужас, конечно. Вот так вот расстаться с мамой... Я даже не помню, как мои братья с ней попрощались. Все было как в тумане. Потом утром приехала тетя Дина, взяла меня к себе и спасла таким образом от детского дома. Потом я переехала к Давиду Беленькому, к дяде моему по отцу.

— *Вы жили у них?*

— Да. Мне вспоминается один любопытный факт. Мне девять лет. Я прихожу в школу, в незнакомый класс, в середине года. И меня никто не спрашивает, почему я пришла. Все понимают.

— *Такая тактичность? Или страх?*

— Нет, не страх. Просто все знали: если она пришла среди года, значит, у нее арестованы родители. Аресты шли повсеместно — ты же знаешь! Дети девятилетние это понимали! Мне кажется, это очень важно.

— *Конечно, важно. А от мамы были какие-то вести?*

— Какие там вести! Можно было писать ей открытки, они все проштампованы «военная цензура». Я, помню, думала: ну что писать? Хожу в школу...

Писать же нечего, по существу. Юру, брата моего, которому тогда было уже шестнадцать, исключили из комсомола за то, что он отказался отречься от родителей. Он ушел из школы, окончил заочную, он умел водить машину...

— *Он умер?*

— Погиб на фронте. Алеша первый погиб.

— *У вас два брата погибли на фронте?*

— Да, два брата погибли на фронте. Юра, зарабатывая деньги, развозил по ночам хлеб. Потом он поступил на биофак, был сталинским стипендиатом. Он был очень талантлив. Он маме писал письма (они у меня хранятся) о своих докладах. Я же писала: «Мамочка, дорогая, как я скучаю...» Глупейшие были письма — ну, ребенок пишет маме. Связь прерывается... Понимаешь, я без мамы жить не могла. Мамы долго не было, я подходила к ее халату и прижималась к нему. Запах родной. А у Юры уже была духовная связь.

— *А когда вы увиделись с ней после ареста, сколько вам было лет?*

— Мне было уже четырнадцать. Я поехала за ней в лагерь, так как она была списана по болезни. Там целая история. Когда у Рыбакова в «Детях Арбата» появился порядочный кагебешник, его спросили: почему ты его таким сделал? Он ответил: один из таких помог добраться Тане к матери в лагерь.

— *Когда вы к ней приехали в четырнадцать лет, вам трудно было?*

— У меня было такое ощущение: приеду к маме, увижу ее, мы замрем, крепко обнявшись. И это будет счастье. Вывели женщину, чужую, чужой запах, и на меня как ступор нашел. Она подошла, погладила меня по голове... Она все поняла.

— *А потом отношения восстановились?*

— С трудом. Я в восьмом классе, на мне все хозяйство, я живу у тети Дины, тетя Дина на двух рабо-

тах... То есть я должна отоварить карточки, приготовить обед, постирать белье на железной ребристой доске, убрать комнату. Толя (А. Рыбаков. — *Ред.*) меня спрашивал: «Когда же ты делала уроки?» Я отвечала: «Ты прямо как моя мама! Уроки я делала по вечерам». Мы, дети, отвыкали от матерей. Четырнадцать лет! Я сама себе хозяйка! Двойка в четверти по дисциплине: читала на уроке «Нана» Золя. «Вот, оказывается, чем интересуются наши девочки! Жизнью проституток!»

— *Меня так же с Мопассаном поймали.*

— По алгебре в году должна была быть двойка. В лучшем случае переэкзаменовка, в худшем — оставят на второй год. Посадят некрасивого подростка с толстыми ногами в розовых чулках по ордеру, в тесной, также полученной по ордеру байковой юбке на заднюю парту. Все будут смотреть с презрением.

У мамы сделалось такое печальное лицо, что я прикусила язык. Я выучила учебник Киселева наизусть! И получила пятерку, все двойки в четвертях уравнились этой пятеркой. Или я иду, мне уже восемнадцать лет, ресницы намазаны синей тушью. Мама говорит: «Танюшенька, почему у тебя синие ресницы?» — «Потому что мне так нравится». То есть полное противодействие.

— *А мама долго еще потом прожила?*

— Маме было пятьдесят два года, когда кончилась ссылка. Сестры собрали совет: что делать Нате? Анята, няня моя, жила уже у Потемкина, министра просвещения. Я написала письмо Микояну, Потемкин передал его. И маме дали Загорск, а не Александров. Сестры устроили ее куда-то, делопроизводителем что ли, там была маленькая каморка, где она ночевала. Я к ней постепенно привыкала...

— *А жили вы где?*

— Я жила по-прежнему у тети Дины, еще жила у Шумяцких...

— *Шумяцкий* — это знаменитый министр кинематографии?

— Да. Дело в том, что Катя Шумяцкая была невестой моего брата. И когда мы случайно встретились, сказала: «Поживи у нас». Это был райский дом для меня. Я с Катей жила в одной комнате. Там жила еще ее сестра Нора, у нее было два сына, а муж сидел. Самого Шумяцкого, Катиного отца, расстреляли, а его жену выпустили умирающей из тюрьмы. Это был мой родной дом. Я так хорошо жила у них, а от них уже пошла работать в ЦДЛ.

— *Теперь вернемся к Фадееву.*

— Катя училась в Полиграфическом институте, и я подумала: пойду в Полиграфический. Это все-таки гуманитарный вуз. Короче говоря, пришли мы с мамой к Фадееву. Он нас принял у себя дома. Так радостно, обнимал и целовал маму. И сказал: «Пусть Танька ко мне придет, я ее устрою дежурным секретарем в Дом литераторов. Она будет день работать с девяти до двенадцати, а день учиться». Я не сомневалась, что пойду в институт. Конечно, я его называла уже Александр Александрович, а он меня Татьяна. Так я стала работать в ЦДЛ на Поварской... Там широкая старинная лестница... Я уже с пятой ступеньки видела — так начался роман с Рыбаковым, — кто идет. Он нарочно замедлял там шаг.

— *А вы с первого взгляда, как увидели Рыбакова, что-то почувствовали?*

— Нет, не с первого раза. Когда я пошла туда работать, у меня была первая любовь, студент-физик, — я писала о нем в книге.

— *Расскажите о своей работе в ЦДЛ.*

— Я пришла туда, щеки у меня пылали от смущения, мне было девятнадцать лет. Там работали люди, которым от тридцати пяти до сорока, все смотрели на меня и все знали, что меня прислал Фадеев, и, видимо, знали мою биографию. Относились ко мне

очень дружелюбно. Там был такой замечательный дядька, фотограф Пархоменко, который сказал: «Вот и младенец у нас появился в коллективе». Мирный одернул его суровым взглядом. Наум Борисович Мирный был директором Дома литераторов.

— *Вы явно верите в какие-то высшие законы миропорядка. Что вам ближе — христианство?*

— Я верю в Бога, но я свободна от какой-то определенной религии. Помню, в начале шестидесятых мы поехали с Винокуровым в Болгарию, у него там вышла книга. И к нам пришел в гости их знаменитый поэт — по-моему, его звали Орлин Василев. Он завел разговор о Боге и сказал: «Как же я могу не верить в Бога! Кого же тогда я буду благодарить!» Эти слова мне очень многое дали. Надо жить по Божьим законам. Никогда не могла никого унижить, поэтому и в своей книге постаралась не писать того, что могло бы задеть чье-либо достоинство.

— *Да, да. Я книгу читала и удивлялась, что она получилась такая интересная, хотя вы не позволили себе пуститься в сплетни. А вам было что сказать о многих персонажах, я это вижу. Где у вас срабатывал «шлагбаум»? И еще один вопрос: как вы воспринимаете чужие мемуары, где живые про живых пишут абсолютно всё...*

— Я не читаю такие мемуары. Мне это просто неинтересно. Я люблю Нину Берберову, «Курсив мой». Мемуары выдают человека больше всего.

— *Абсолютно. Там видно даже то, что человек утаивает.*

— Не в этом дело. Все видно: умен человек или глуп, мстителен или великодушен. У меня было много обид на Винокурова, но я нарисовала его благородным человеком, каким он и был. Все-таки наша жизнь была счастливой не только потому, что мы любили друг друга. Винокуров был одним из самых умных и образованных людей, каких я только встречала.



— Тем не менее, глава о Винокурове в вашей книге мне кажется более «зажатой»... Наверное, тут ничего нельзя поделатъ — автор не может «расписаться и разболтаться» до полной открытости. Пусть остается так: со сжатыми губами, но, может быть, где-то это проговорить буквально в одной строке...

— Я это учла и закончила главу, вставив две фразы: «Больше мы с Винокуровым никогда не виделись. Не знаю, что было бы с нами обоими, если бы мы где-нибудь с ним столкнулись».

— Вернемся к вашей жизни. Вы потом стали журналистом, работали на радио...

— Я работала на Иновещании. Это была замечательная редакция, которая давала материалы на все редакции и где устраивали прослушивание. Одним из наших боссов был Чертков. От нас требовали не просто информацию, мы должны были написать это изящно, уметь подать это. Два лучших диктора читали наши материалы.

— А кто вас туда устроил?

— Володя Позниовский. Был такой журналист. Он написал книгу о Зорге. Он дал мне попробовать себя на внештатной работе. Я сумела написать. Однако в штат меня не брали. И тогда Виталий Михайлович Озеров посоветовал пойти в ЦК и поговорить с человеком, который ведает радио. Я пришла, а он спрашивает: «Почему, вам кажется, вас не берут на работу в штат?» — «Это ясно — я еврейка», — отвечаю. Он говорит: «А разве у нас евреев не берут?» — «Тем не менее, факт налицо. Я уже два года работаю внештатно. Никто меня не берет, хотя хвалят». Через некоторое время пришло распоряжение взять меня. Чертков, инвалид войны с одной ногой, ифлиец, который очень меня любил как работника, когда ему сказали: мы ее не берем, так как она не член партии и еврейка, ответил: тогда я подам заявление об уходе.

— *Все-таки хороших людей в жизни оказывается не-мало.*

— Всего два процента плохих! В моей жизни было девяносто восемь процентов хороших людей.

— *Это потрясающий ответ.*

— Да, замечательные люди были вокруг. И меня взяли. Я попала в редакцию, где работали асы. Визбор, Есин... Сделать материал, уложившись в три страницы, очень трудно. Я прошла замечательную школу.

— *Редактирования?*

— Не только редактирования. Я должна была сама писать тексты. Помню, сижу в консерватории, мне не дается какой-то материал, я слушаю музыку и вдруг понимаю, что именно мне надо сделать...

— *Это меня безумно интересует! Лаборатории эти творческие. Про что вы там писали, когда на радио работали?*

— У меня были разные темы. Завод, семья... Это, конечно, мне было не так интересно. Интереснее стало, когда меня пригласили в «Кругозор».

— *Да, «Кругозор» был модный звуковой журнал.*

— Однако школа Иновещания мне очень много дала. Интересно или неинтересно, а материал оттачивался очень тщательно. Особенно ударной должна была быть первая фраза. Помню, отмечался какой-то юбилей Мурманска. И один наш талантливый парень начал свой очерк так: «Мичману приснился не-порядок».

— *Прелесть! Это настоящая проза.*

— Ты представляешь, я помню эту фразу тридцать лет! Такая школа была!

— *В ту пору вам не хотелось писать прозу? Вы никогда не предполагали, что напишете роман?*

— Никогда. В «Кругозоре» я должна была заведовать литературно-театральным отделом. Но для того, чтобы стать заведующей, мне нужно было вступить в

партию. Я отшучивалась. Тогда меня включили в отдел Люси Кренкель. Скажу без всякой скромности, у меня были хорошие пластинки.

— *Какие, например?*

— Первую пластинку я делала с Яншиным. Я была у него дома два раза. Он жил на улице Горького, в доме, где был магазин «Пионер». Я приехала к нему, и он говорил о том, как он борется со зрителем, который... смеется над несчастной любовью. И вдруг он заплакал... Я вернулась домой совершенно в беспомоществе, договорившись, что на следующий день мы продолжим эту запись. Женька мне говорит: «А как же, разве ты не знаешь о Полонской?» Вера Полонская была женой Яншина. И Маяковский, который играл с Яншиным в карты и бывал вместе с ними на бегах, просил ее признаться мужу, но она не могла решиться. Яншин узнал о том, что между ними связь, только когда прочел завещание Маяковского...

— *Он вам все это рассказывал?*

— Нет, он мне ничего не рассказывал. Он просто рассказывал, как он борется со зрителем, который смеется над разбитой любовью, и плакал. Конечно, наша пластинка должна была уместиться всего в шесть минут плюс несколько страниц, определяющих ее. Психологи во Франции рассчитали, что внимание человека можно удерживать только шесть с половиной минут. Если у меня было 6,31, ее снимали. Поэтому когда у меня было пять часов записи, мы все переписывали, чтобы материал не «зарезали», и самый опытный оператор делал по моей модели то, что мне было надо. Мы «лепили» людей, и это было потрясающе. Это была такая работа... Если бы мне за нее не платили, я бы заплатила сама.

— *Как же начался роман с Рыбаковым?*

— Помнишь, я рассказывала, как он, появляясь в Доме литераторов, специально замедлял шаг на пя-

той ступеньке, чтобы я его заметила? Сначала не обращала внимания, а потом мне показалось это забавным. И начался роман, как вялотекущая болезнь. Мы иногда с ним долго не виделись, потом вдруг встречались и в течение недели почти не расставались. Но затем он снова исчезал. Я еще была влюблена в него, а он, наверное, меня уже разлюбил. Так мне казалось. В «Романе-воспоминании» Рыбаков дал совсем другое объяснение нашей любовной истории. Он написал, что никогда не отпустил бы меня от себя, но над ним опять нависла угроза. Сталин при обсуждении кандидатур на премию своего имени сказал, что рыбаковская книга («Водители») лучшая в году, но автор — «неразоружившийся троцкист». И это было чревато самыми непредвиденными неприятностями, вплоть до нового ареста. Конечно, в это время он не мог связывать свою жизнь со мной. Мне же казалось тогда, что он лукавит. В этот самый напряженный для него момент мы и расстались. У меня осталось ощущение, что он мной пренебрег... И вдруг, через двадцать лет, мы оказались в одно и то же время в Коктебеле. Знала бы я, что у нас совпадут путевки, никогда бы туда не поехала. Вот уж кого не хотелось мне видеть, так это Рыбакова. Но наши пути вновь пересеклись, и, можно сказать, что мы уже больше не расставались. Хотя я ушла к нему от Винокурова только через семь лет.

— *А как вы встретились с Винокуровым?*

— Мы познакомились в том же Доме литераторов. Честно говоря, я даже не помню как. Но у него была такая версия нашего знакомства. В Москву из Тбилиси приехал Женин сокурсник — поэт Отар Челидзе. Они пришли в ЦДЛ выпить по бокалу вина. И Отар, увидев меня, сказал ему: «Вот невеста для тебя». — «Нет, — ответил Женя, — она слишком красивая». — «Но ведь и ты у нас красавец, — настаива-

вал Отар, — какая пара из вас получится!» Я о том разговоре, естественно, ничего не знала. Здоровалась с Женей, как здоровалась со всеми. Однажды он приходит, вынимает из кармана пальто букетик подснежников, кладет передо мной. Один день букетик, второй день, третий... Я начинаю понимать, что он приходит специально, чтобы меня увидеть. Но вот он приносит мне свою книгу: «Стихи о долге». Надо сказать, что этих подаренных мне книг я боялась как огня. Я не очень верила в советскую литературу, предпочитала Марселя Пруста. Сижу, не открываю книгу. Подсаживается к моему столу Межиров. «О, у вас Винокуров, это замечательный поэт!» И читает мне наизусть стихотворение «Обед». «Смотрите, какая строчка: “И день переломился пополам...”» Ну, слава богу, думаю, буду читать... Мы прожили с Винокуровым двадцать шесть лет. Но видишь, как все случилось...

Работая в «Кругозоре», я объездила всю страну, командировки были очень интересные. После одной такой командировки во Владивосток я приехала к Мирели Шагинян рассказать ей о своей поездке. Раздается звонок: Винокуров. Он говорит: «Таня, мне вчера пять человек сказали, что ты уходишь от меня к Рыбакову».

— *А как это выяснилось?*

— Доброжелатели...

— *Что вы ответили Винокурову?*

— Я сказала «да».

— *А он?*

— «Приезжай домой, очень тебя прошу». Возможно, он боялся, что я не приеду, был очень кроток и ни о чем меня не спрашивал. Но уже вся Москва об этом говорила, и я поняла, что должна уходить. Я уехала к Елке Левиной, своей подруге. Я не могла сразу переехать к Рыбакову. 1 сентября 1978 года мы с Толей улетели в Крым, отвез нас на аэродром Эмиль

Кардин, его друг, и крикнул нам на прощанье: «Счастливо!»

— *Все знают, что вы были не просто редактором и первым читателем Рыбакова, а непосредственно участвовали в процессе создания его вещей. В этом смысле меня очень интересуют «Тяжелый песок» и «Дети Арбата».*

— Он мне привез первые главы «Тяжелого песка», тогда еще книга называлась «Рахиль». И я ему сделала только одно замечание. Я знала его слабость. У него был блистательный диалог — самый лучший, я считаю. Но он никогда не пользовался деталями, от чего книга проигрывала. Там у него, например, сходит с поезда Рахиль, прожившая в Швейцарии два года. Я говорю: это уже не прежняя Рахиль появляется из поезда, а молодая дама! У нее перчатки, шляпа, изящные башмачки, баулы вместо сундуков, складная коляска... Он обрадовался, понял, что мы можем работать вместе. Это была замечательная работа, которая вдруг прекратилась. Моя свекровь, Евгения Матвеевна, слегла в больницу с инфарктом. Мы перестали с ним видеться, я ездила в больницу. Потом встретились снова. Я ему звоню, у него неприятности: не пропускают «Рахиль», требуют дать новое название. Я говорю: прочту ночью Экклезиаста и скажу тебе. И ничего не нахожу! И тут начинается мистика. Винокуров в свое время привез из Германии трехтомник Мандельштама. У меня есть много его любимых стихотворений, но тут моя рука, как будто кто-то ее вел, сразу открыла страницу со стихотворением «Сестры тяжесть и нежность...». Первую строфу я знала наизусть, но надо было именно прочитать ее глазами, чтобы увидеть, что слова сами складываются в название. Помнишь? «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы./ Медуницы и осы тяжелую розу сосут./ Человек умирает. Песок остывает согретый./ И вчерашнее солнце на черных носилках несут...» Ты поняла, как

сложилось название «Тяжелый песок»? Тем более что на первых же страницах рукописи все время упоминалась «солнечная песчаная улица», «нагретый солнцем песок», «чистый песок» в конце книги, когда искали могилу Якова, но так и не нашли... Звоню Толе. Спрашиваю: «А если назвать “Тяжелый песок”?» — «”Тяжелый песок”?» — переспрашивает он. — Пожалуй, это неплохо, так и оставим». А позже, когда «Тяжелый песок» был опубликован в журнале «Октябрь», пришло письмо от незнакомого читателя. Он писал, какое удачное название у романа, и привел слова из книги Иова: «Если бы была взвешена горесть моя и вместе страдания мои на весы положили, то ныне были бы они песка морского тяжелее: оттого слова мои неистовы». Честно скажу, мы книгу Иова не знали. А англичане из издательства «Пингвин», которые купили роман, знали, и в «Тяжелом песке» на английском языке они дали эпиграф из книги Иова, что усиливало значение заглавия.

— *Как вы полагаете, в вашей книге — которую я считаю совершенно замечательной и где вы проявили себя как талантливый прозаик — есть невольные уроки Рыбакова?*

— Мне самой судить трудно. Но Ира (дочь Т. Рыбаковой и Е. Винокурова. — *Ред.*) считает, что иногда мой стиль напоминает стиль Рыбакова, в частности строение фразы.

— *Он вам когда-нибудь говорил, что «без тебя не было бы “Детей Арбата”»?*

— Нет, не говорил, хотя я бесконечно много работала над рукописью, и он, конечно, это очень ценил.

— *Как вам пришло в голову, уже после смерти Рыбакова, написать о своей жизни?*

— Я не могу сказать. Сначала я написала главу о Винокурове, и все хвалили ее.

— *А главу вы написали, потому что вас попросила Ира?*

— Да. Но мне в голову не могло прийти, что я напишу книжку о Рыбакове.

— *И все-таки был какой-то первый момент?*

— Я села и написала о его смерти.

— *Просто для себя?*

— Для себя. Я сделала примерно тридцать страниц, какой-то бездарный клубок. Прочитала моя подруга и сказала: что значит «Толя умер»? Какой Толя? Значит, надо вставить фамилию Рыбаков. Ирка тоже прочитала, сказала: это не годится, надо написать по-другому. И тогда я села и стала писать по-другому. О детстве, о том, как тянет жизнь... И потом пошло.

— *Скажите, Рыбаков под конец жизни ощущал себя евреем или он считал себя русским писателем? Какова была его, как сейчас говорят, самоидентификация? Он был еврей, русский, американец, человек мира?*

— Уж точно не американец и не человек мира. Он был русским писателем и всегда говорил: «Я должен быть похоронен в России». Вместе с тем, он ощущал себя евреем и часто повторял: «Я еврей, я не знаю еврейского языка, но я еврей по крови, которую выпускали из жил моего народа».

— *А он никогда не заходил в Нью-Йорке в синагогу? Вообще, интересовала ли его религия? Ведь «Тяжелый песок» это очень еврейская вещь.*

— Он не ходил ни в Нью-Йорке, ни в Москве в синагогу, он был убежденным атеистом. Только в детстве, когда он с матерью и сестрой приезжал к дедушке в Сновск, он ходил с ним в синагогу и написал об этом в «Романе-воспоминании». Что же касается «Тяжелого песка», ты права, это очень еврейская вещь, но изначальный импульс был другой. Он говорил мне: «Теперь я знаю, что такое любовь, и сумею об этом написать». Он предполагал написать небольшую новеллу в духе Мериме, но новелла переросла в семейную хронику.

— *А вы себя кем ощущаете?*



— Я воспитывалась на русской культуре, мой родной язык — русский, но я ощущаю себя еврейской. Как можно отказаться от своей национальности?

— *А когда говорят: вот это еврейское высокомерие...*

— Почему обязательно еврейское? Высокомерие свойственно людям разных национальностей. И если во мне есть высокомерие, то я по мере сил борюсь с ним.

— *Понимаю. Я также. Почему вы с Рыбаковым решили наполовину жить в Америке?*

— Во-первых, Сашу, моего зятя, — а он биолог, — пригласили туда работать. Позже поехала к нему Ира с мальчиками. Разлука с ними была очень тяжелой для меня, и Толя это понимал. А в 1992 году мы с ним поехали в Америку на презентацию «Страха». Думали, что повидаемся с детьми и останемся там на месяц, а остались на два года. И вот почему. После презентации его попросили прочитать лекцию в Колумбийском университете. Он согласился и сказал: «Дайте мне поработать в вашей библиотеке». Рыбаков тогда обдумывал заключительную книгу арбатской трилогии «Прах и пепел». Он предполагал писать о второй мировой войне, и его интересовали переведенные на английский язык мемуары немецких генералов. Как писали в газете «Новое русское слово», «богатейшая библиотека привязала Рыбакова к Нью-Йорку на два года». И когда уже были исписаны пара блокнотов из тех воспоминаний, он решил, что будет писать только о своей, Отечественной войне, которую прошел с первого до последнего дня.

Я тем временем овладела компьютером, и Толе понравилось там работать. Он не мог перенести то, что происходило здесь.

— *Мы с ним тоже очень много об этом говорили. Он ненавидел советскую власть, но то, что пришло на*

*смену... Он настолько возненавидел эту фальшь, эту войну в Чечне и эти реформы...*

— А там он сидел и спокойно работал. Писал «Прах и пепел», «Роман-воспоминание».

— *От него остался огромный архив. Будет ли издано полное собрание его сочинений?*

— Об этом уже идут переговоры с издательствами. В РГАЛИ у него свой фонд. Причем там много папок с «замечаниями Тани». Понимаешь, как мы работали? Мы поняли, что сидеть вместе не можем. Нельзя сказать: мне не нравится эта фраза, надо объяснить почему... «Дети Арбата» он писал линиями: линия Сталина, линия Шарока. Он не писал: «Закончили обед и вышли в сад». Такого у него не было, у него были линии. Потом он перемешивал их. Это было увлекательнейшее занятие! Вот как я редактировала. Я закладывала копирку между страницами и печатала в двух экземплярах. В круглых скобках я писала свой вариант тех фраз, которые мне не нравились у него. Один экземпляр я отдавала ему таким, каким он его написал. В другом синими чернилами вычеркивала то, что, по моему мнению, надо было заменить. В конце главы я печатала ему своеобразную рецензию: почему начало надо сделать таким или иным, чтобы он понял, чтобы не обижался. По моему тексту он проходил потом черными чернилами, правил его. У меня был синий цвет, у него черный.

— *После него остались какие-то ненапечатанные вещи или дневники?*

— Дневников он не вел. Дневники вела я.

— *Продолжаете ли вы их вести?*

— Нет. Я бросила. Я больше писать не буду. Я получала большое удовольствие от работы. Но сейчас я совершенно безразлична к тому, что написала.

— *Вы были счастливы в любви. А в дружбе? Как вы формулируете для себя законы настоящей дружбы?*

— Кант считал, что счастливый брак — это непрекращающийся разговор. У нас был такой непрекращающийся разговор с Рыбаковым. Мне кажется, это определение применимо и к дружбе, но, конечно, приплюсовывается доверие, готовность помочь друг другу. Впрочем, можно сказать проще: я люблю своих друзей, я не могу жить без них.

— *Какое человеческое качество теперь, когда прожита долгая и очень насыщенная жизнь, ощущается вами как самое важное?*

— Доброта.

— *Что в человеке способно вас оттолкнуть?*

— Агрессивность, грубость, самодовольство.

— *Есть ли преимущества зрелого возраста перед молодым?*

— Танечка, молодым, конечно же, быть лучше. (Смеется.) Но я бы не хотела, чтобы мне снова было восемнадцать лет: молодость ужасно ранима. Мне кажется иногда, что я остановилась где-то на возрасте сорока — сорока двух лет. У меня осталась добродетельность к людям, умение видеть в них прекрасные черты.

— *А любопытство осталось?*

— Безусловно. Мне по-прежнему все интересно.

— *Вы назвали свою книгу энергетически очень мощно: «Счастливая ты, Таня!». Я в своем предисловии написала: это редчайший случай — книга о счастье, написанная при этом очень напряженно и драматично. Обычно счастье скучнее, чем трагедия. Как вы определяете, что такое счастье?*

— Счастье? (Молчит.) Возможно, это мир с самим собой.

# ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ

## ПЕРЕВОД ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ...

— *Женя, сколько лет мы с тобой дружим (страшно сказать — замнем), а про твоих родителей я ничего не знаю. Они были связаны с литературой?*

— Нет. Папа был военный врач — он прослужил в армии двадцать пять лет и вышел в отставку в звании полковника медицинской службы. Мама была домохозяйка. Мачеха — учительница младших классов.

— *А, как говорят в народе, «по нации» кто был кто?*

— Мать русская, отец еврей. И хотя мать свою я не помню — был маленьким, когда родители разошлись, в графе «национальность» в моем паспорте, пока такая графа существовала, значилось «русский». Папа решил, что в той стране, где мы жили, так будет лучше для меня. Если ты спросишь, как я сегодня отношусь к этому его решению, я честно отвечаю: не знаю. В последнее время в моду вошло слово «идентичность», и если в моей болезненной реакции на любое проявление антисемитизма, в моем отношении к холокосту и к сталинской антиеврейской политике как к личной трагедии больше от оскорбленного чувства справедливости, чем от текущих во мне пятидесяти процентов еврейской крови, то при-

чина как раз в пресловутой идентичности, в том, что я не вырос евреем.

— *Где ты учился?*

— Если можно, я сначала вернусь к твоему вопросу о том, были ли мои родители связаны с литературой. Я уже на него ответил: нет. Но о литературных генах я все-таки вправе говорить, поскольку среди моих предков был известный в тридцатые годы восемнадцатого века переводчик с древнееврейского на немецкий. Хорошее перо было и у дедушки, Генриха Абрамовича Солоновича, педиатра, видного деятеля детского здравоохранения в двадцатые годы, автора нескольких книг по устройству детских учреждений в социалистическом обществе, по детской гигиене, создателя модели детского сада и пионерского лагеря.

А теперь про мою учебу. Папа долго служил в Крыму. Родился я в Симферополе, но вскоре отца перевели в Евпаторию. Можно было бы сказать, что я жил в Евпатории безвыездно до окончания школы, — если б не эвакуация во время войны в Сибирь. Первые три класса отучился в селе Таргай Сталинской (теперь — Кемеровской) области, десятилетку окончил в Евпатории.

А потом я приехал в Москву и поступил в Иняз (он теперь громко именуется Лингвистическим университетом). Выпрашивать общежитие или снимать угол мне было не нужно: в Москве жили бабушка (папина мама), дядя (папин брат) и моя сестра Галя. Дядя был врачом, в молодости играл на сцене в полупрофессиональных театрах, всю жизнь, пока не стало клонить «к суровой прозе», баловался стихами, не считая, впрочем, себя графоманом. Одно время руководил моим литературным воспитанием: то в буриме предложит сыграть, то объявит домашний конкурс на стихотворение к случаю. Пользуясь тем, что у него было чувство юмора, я, помню, сочинил вслед за ним стихи на бракосочетание нашей сосед-

ки по коммуналке, которые начинались так: «С дядя я во всем беру пример/ И сейчас, на труд упорный глядя, / Я решил, что пусть не как Гомер,/ Напишу хотя бы так, как дядя...»

— *А чего — хорошо: пушкинская традиция... Скажи: почему ты при поступлении в Институт иностранных языков выбрал именно итальянский?*

— Ехал я поступать на испанское отделение переводческого факультета, но когда пришел в приемную комиссию подавать документы, то узнал, что на этом же факультете есть итальянское отделение... Короче говоря, 1 сентября 1951 года я, мучительно артикулируя, уже повторял за преподавательницей фонетичи звуки итальянской речи.

— *И все же: что определило твой окончательный выбор?*

— Когда мне этот вопрос задают итальянцы, я многозначительно поднимаю очи к небу: дескать, без Провидения тут не обошлось. Но если серьезно, на самом деле все было проще: выбор подсказала мне любовь к итальянской музыке, к знаменитым ариям из итальянских опер, к неаполитанским песням, которые часто в те годы транслировались по радио. Думаешь, те, от кого зависело «меню» для радиослушателей, были тонкими меломанами? Черта с два! Просто наряду с русской оперной классикой, с песнями советских композиторов и русскими народными песнями, такой музыкальный репертуар служил власти оружием в титанической борьбе с джазом, «чуждым» советскому человеку.

— *А что значил неореализм в кинематографе для твоего поколения в юности?*

— Благодаря «важнейшему из искусств», я в свою еще доинститутскую бытность не только услышал, но и увидел великого итальянского тенора Беньямино Джильи (картины с его участием были немецкие и предварялись титрами: «Этот фильм взят в качест-

ве трофея...»). Названий картин с Джильи в главной роли точно не помню, но, кажется, они повторяли названия известных неаполитанских песен... Чуть позже советский прокат подарил нам «Под небом Сицилии» — до сих пор помню чудесный вальс оттуда, фильмы «Похитители велосипедов», «Нет мира под оливами», «Рим, 11 часов», «Два гроша надежды», первые картины Феллини. Итальянское неореалистическое кино ворвалось в нашу нелегкую жизнь праздником еще и потому, что с неведомым тогдашнему советскому кино правдоподобием рассказало о трудной по-другому жизни красивых, честных и мужественных людей, говорящих у себя дома по-итальянски, а в наших кинотеатрах заговоривших по-русски...

— Ты их с каким чувством смотрел — как свой, как «почти итальянец» — или со стороны?

— Я эти фильмы смотрел уже не как рядовой зритель, а с чувством причастности к стране, где их снимали. Точно с таким же чувством я прочел в 1958 году итальянские зарисовки Виктора Платоновича Некрасова, напечатанные в «Новом мире». В том же году я познакомился с их автором в его родном Киеве. А спустя много лет он, уже гонимый и, было такое слово, «невыездной», подарит мне свою фотографию с надписью: «Хочу с тобой в Италию».

— Как я понимаю, тогда же начался твой «роман» с современной итальянской литературой, да?

— О литературе той Италии, которая пришла ко мне с героями Росселини, Де Сики, Де Сантиса, Висконти, Джерми, я тогда почти ничего не знал... А стихи современных поэтов я переписывал в «Разинке» — так называли тогдашние читатели Библиотеку иностранной литературы: она раньше помещалась на улице Разина, в одном из кварталов, на месте которых позже соорудили гостиницу «Россия». Переписывал из антологий, из прогрессивных журналов и газет (дру-

гие периодические издания с Запада простым смертным в нашем отечестве доступны не были).

А потом мне подарили тоненький сборничек Иньяцио Буттитты «Хлеб называется хлебом» на сицилийском диалекте, и я перевел оттуда несколько стихотворений. Сицилийский диалект настолько отличается от литературного итальянского языка, которому меня учили в институте, что если бы в книге Буттитты не было перевода на итальянский, мне бы его стихов не осилить. К тому времени у меня уже был один знакомый сицилиец — он приезжал в Советский Союз в составе профсоюзной делегации, а я с этой делегацией работал переводчиком... Так вот, этот сицилиец, вернувшись домой, рассказал Буттитте обо мне, тот прислал мне письмо с адресом Мартынова и велел к нему сходить.

— *Каким же образом у сицилийского поэта оказался адрес Леонида Мартынова?*

— Объясню. Немногом ранее с Твардовским и Прокофьевым Леонид Николаевич побывал на Сицилии, где встречался с Буттиттой. И, по-видимому, ему понравился. Так в 1957 году я познакомился с Мартыновым, и когда участники итальянской поездки давали в ЦДЛ пресс-конференцию, то Леонид Николаевич, заранее меня предупредив о таком повороте событий, попросил Суркова, который этой пресс-конференцией дирижировал, разрешить мне прочитать одно стихотворение Буттитты в моем переводе.

— *Сурков разрешил?*

— Разрешил. И с тех пор мне ни разу не приходилось выступать перед таким поэтическим ареопагом: рядом с Мартыновым и Сурковым сидели Заболоцкий, Инбер, Исаковский, Слуцкий...

— *Тогда ты и познакомился с Заболоцким, да?*

— Говорить о знакомстве было бы преувеличением. Правильнее сказать о нескольких добрых словах,



которые я услышал от Заболоцкого после пресс-конференции, оказавшейся для меня исторической...

— *Поясни.*

— На следующий год после итальянской поездки представительной группы советских поэтов в нашу страну должны были приехать их собратья из Италии, и в кабинетах Союза писателей приняли решение издать к приезду коллег небольшую антологию современной итальянской поэзии в переводах, главным образом, участников недавней поездки в Италию. Мне было предложено скромное участие в этой антологии, и ее составитель, консультант Иностранной комиссии Союза писателей Георгий Самсонович Брейтбурд, сказал, что некоторые мои переводы он отдаст в качестве подстрочников кому-нибудь из поэтов, ездивших в Италию. Я артачиться не стал...

— *И кому попали твои переводы?*

— Что-то — Исаковскому, что-то — Заболоцкому. Нужно отдать должное Брейтбурду: для Заболоцкого он выбрал Умберто Сабу, во многом позднему Заболоцкому созвучного... Через несколько дней Брейтбурд попросил меня сделать для Заболоцкого подстрочник нескольких других стихотворений Сабы: использовать чужие переводы в качестве подстрочника Заболоцкий отказался. Кстати, после упомянутой пресс-конференции он подошел ко мне, чтобы поблагодарить за теперь уже специально сделанные подстрочники и похвалить (не знаю, насколько искренне) мои собственные переводы... Разве этот эпизод дает мне право говорить о знакомстве с великим русским поэтом?

— *А как ты делал эти подстрочники?*

— Подстрочные переводы я делал впервые в жизни, не вполне понимая специфику этого подсобного литературного жанра. Но, наверно, не слишком с ними напортачил, если они помогли Заболоцкому подобрать ключ к только кажущемуся простым Сабе, а

«Три улицы» перевести так, что они до сих пор считаются лучшим русским переводом из этого поэта.

— *Ты его наизусть помнишь?*

— Да (хоть и прошло столько лет), помню почти целиком и при случае с удовольствием читаю куски из этого перевода. Хочешь послушать?

Только встанет день на горизонте —  
Сколько в нем я скорби узнаю!  
Есть в Триесте улица дель Монте  
С синагогой на одном краю  
И с высоким монастырским зданием  
На другом. Меж ними лишь дома  
Да часовня. Если же мы взглянем,  
Обернувшись с этого холма, —  
Мы увидим черный блеск природы,  
Море с пароходами, и мыс,  
И навесы рынка, и проходы,  
И народ, снующий вверх и вниз...

— *Потрясающие стихи — их и переводом-то не назовешь. «Есть в Триесте улица дель Монте/ С синагогой на одном краю...» Скажи, а тебе самому в твоих стихотворных переводах помогает непосредственное погружение в те места, где поэт писал, живой контакт с его географией?*

— Гениальный переводчик «Божественной Комедии» Михаил Лозинский, так же, как и ее автор, не был ни в аду, ни в чистилище, ни в раю. Я это, впрочем, для красного словца... Разумеется, возможность очного знакомства с географическим контекстом до начала работы над переводом или в процессе желательна. Но она не всегда есть. Чаще приходится сверять с таким контекстом уже сделанный перевод, когда собственную оплошность ты можешь исправить только в переиздании. Если все сходится, то встреча с топонимами, знакомыми по оригиналу,

праздник. К счастью, таких праздников у меня было много.

— *А какова, на твой взгляд, современная ситуация в области перевода с итальянского?*

— Хотелось бы, чтобы выходило больше итальянских книг. Первых успехов добиваются молодые переводчики — в том числе мои бывшие студенты (как и ты, я преподаю в Литературном институте). Им есть на кого равняться. Например, на Геннадия Киселева и Елену Костюкович, благодаря которой одним из самых у нас популярных зарубежных писателей стал Умберто Эко. Приток свежих сил в перевод сдерживают нищенские гонорары: хорошее знание итальянского открывает возможности для приличных заработков (преподавание языка, работа в фирмах), тогда как даже самые процветающие наши издательства паразитируют на переводчиках, выплачивая им унижительные гонорары. Отчасти и по этой причине некоторые итальянские авторы еще ждут своих переводчиков, и потому отрадно, что недавно наконец-то появился в русском переводе роман Бассани «Сад Финци-Контини».

— *О чем этот роман? И чем он интересен нашему читателю?*

— Действие романа, в центре которого стоит состоятельная еврейская семья, происходит в фашистской Италии. Супруги Финци-Контини предоставляют свой сад в распоряжение подростков, которых расистские законы лишили возможности встречаться в общественных местах. История хозяев сада оканчивается трагически: в 1943 году их депортируют в Германию, где они погибают в одном из концентрационных лагерей. Вместе с Эрманно и Ольгой Финци-Контини погибает их дочь Миколь и ее старая бабушка. Эти люди разделили участь многих жителей Феррары — города, где была когда-то одна из самых крупных еврейских общин Италии. Гуманис-

тический роман Бассани посвящен той странице итальянской истории, которая разрушает распространённое представление об этнической гомогенности итальянцев.

— *От романа Бассани естественно перейти к Примо Леви. Расскажи, пожалуйста, о нем и о его книге «Человек ли это?» — о великой книге, посвященной Освенциму.*

— Книга, действительно, великая. Прежде всего тем, что при глубоко трагическом содержании она написана без ненависти. Когда я прочел ее давным-давно, то впервые по-настоящему понял, что такое Освенцим, про который в БСЭ можно было найти лишь несколько скупых строчек.

— *Неужели? Но почему?*

— Потому что тему евреев незримые цензоры рекомендовали обходить. Да и слово «лагерь» настойчиво ассоциировалось с иными лагерями — сталинскими.

— *Автор ведь и сам был узником Освенцима?*

— Да. Он провел в освенцимском аду одиннадцать месяцев. По профессии химик, он работал инженером. После оккупации Италии немцами сразу ушел в партизаны.

— *И в руки фашистов попал как партизан?*

— Оружия в момент ареста при нем не было, и, считая, что как партизана его тут же расстреляют, Леви поспешил объявить, что он еврей, вот и прячется в горах (об отправке итальянских евреев в тот же Освенцим ему еще предстояло узнать на собственном опыте). В Освенциме Леви чудом выжил: из-за скорого наступления Красной Армии немцы не успели уничтожить всех заключенных, как это было сделано в других лагерях смерти. Среди тех, кто делил с ним тяготы лагерной жизни, были евреи из Франции, Греции, Венгрии и других европейских стран, но значение свидетельства Леви в том, что

трагедию одного народа он философски осмыслил как общечеловеческую трагедию... Кстати, книгу Леви читатели римской газеты «La Repubblica» в 2001 году назвали лучшей итальянской книгой XX века.

— *Лучшей книгой века? Если бы в Италии был антисемитизм, такое, наверно, было бы невозможно.*

— Антисемитизма в Италии нет. Отдельные антисемитские надписи на стенах и отдельные акты вандализма на еврейских кладбищах вписываются в общую для сегодняшней Европы картину проявлений ксенофобии со стороны одурманенных неонацистскими и неофашистскими подстрекателями отморзков. Даже после того, как под давлением гитлеровской Германии в Италии был принят в 1938 году ряд законов о расовой чистоте, отношение подавляющего большинства итальянцев к евреям осталось добрососедским. Когда в сентябре 1943 году немцы, которые к тому времени ввели войска в Италию, предоставили руководству еврейской общины в Риме чуть больше суток на то, чтобы собрать и сдать Рейху 50 килограммов золота, многие римляне, в чьих удостоверениях личности значилось «ариец», понесли драгоценности и деньги в римскую синагогу. Пятнадцать килограммов золота еврейской общине предложил Ватикан.

— *Женя, ты хорошо знал Цецилию Кин — личность яркую и легендарную. Расскажи о ней, будь другом.*

— Рассказываю. Цецилию Исааковну я впервые увидел в редакции «Иностранной литературы» в конце 50-х. Она в то время составляла для журнала сводки по итальянской периодике... Это уже потом, позже, она стала выступать с проблемными статьями и книгами о литературе Италии и о месте литературы в итальянской общественной жизни. Тогда эти сводки были чем-то вроде подробных консультаций для руководства журнала (и, кажется, для более высоких сфер). Именно от этих рабочих сводок надо

вести отсчет тому явлению, имя которому — Цецилия Кин.

— *Опиши ее: какая она была в жизни и какой у нее был нрав? (С ней приятельствовали мои родители — и я с детства запомнила эту очень изящную, маленькую и необычайно энергичную женщину как сгусток витальной силы, да?)*

— Слабому человеку было не пережить того, что пережила она: арест и смерть мужа, Виктора Кина, известного советского писателя, расстрелянного в сталинских застенках, гибель сына на фронте, собственный арест и лагерь. После освобождения она спасалась работой: пишущую машинку в ее доме я всегда видел открытой. Недолгая хрущевская оттепель на некоторое время сделала Цецилию Исааковну идеалисткой: можно было понять ее увлечение новой политикой Итальянской компартии, решительно осудившей сталинизм и открыто объявившей о собственном пути в светлое будущее. Этим увлечением я объясняю интерес в ее первых книгах к определенным писателям и произведениям. Но должен уточнить, что это всегда были крупные писатели и значительные произведения. Данное увлечение надолго определило и круг итальянских друзей Кин в Москве и в Италии... У нас (и здесь, и там) было с нею много общих знакомых. И даже один общий друг — Леонардо Шаша.

— *Если можно, о нем чуть подробнее... Чем он дорог тебе как писатель?*

— Помнишь фильм «Сова появляется днем», с Клаудией Кардинале? В его основу легла одноименная повесть Шаша, которую я впервые прочел порусски, и она меня захватила той неторопливо-обманчивой простотой, с которой молодой сицилийский писатель рассказывал о единоборстве пришлого блюстителя порядка с местной мафией. Я уже, пользуясь языком нынешней молодежи, был «повернут»

на Сицилии, и мне в переводах «Совы» (а их было два), даже в неизмеримо лучшем из них, сделанном Юлией Абрамовной Добровольской, не хватало особо сицилийского строя фразы, который, по большому счету, передать, как я теперь понимаю, почти невозможно — разве что в прямой речи. Когда я познакомился с Шашей, он только что вышел на пенсию: по тогдашним итальянским законам это зависело от стажа, и к сорока годам Шаша, работавший школьным учителем, нужный стаж набрал. У новоиспеченного пенсионера было достаточно свободного времени, чтобы, уделив мне один или два дня, повозить меня по центральной Сицилии с помощью своего друга (сам Шаша машину не водил). Для продолжения знакомства оставалось читать его книги. Со временем я перевел три его рассказа и исторический очерк «Смерть инквизитора». Один из рассказов, «Смерть Сталина», настоящий шедевр, напечатать в советские времена было невозможно, это потом уже, в перестройку, я вспомнил про него и перевел, а лет сорок назад, помню, пересказывал друзьям... Возвращаясь к дружбе Кин с Шашей, следует сказать, что творчество этого автора привлекло ее внимание в конце 70-х: статья Кин «Пессимист, который не сдается», написанная для «Вопросов литературы», — лучшее исследование о нем на русском языке... С этим замечательным писателем и человеком мне повезло познакомиться чуть раньше, чем Цецилии Исааковне, и, уважая мое «первенство», она нередко мне звонила, чтобы поделиться радостью: пришло письмо от Шаши!

— *Женя, ты знал Бродского... Не поведаешь о ваших встречах?*

— Встреча была единственная. Ей предшествовало письмо, в котором я обратил внимание Иосифа на несколько неточностей в переведенных им стихотворениях Умберто Сабы, о котором мы здесь уже гово-

рили. По моему предложению, издательство «Художественная литература» собралось выпустить сборник Сабы, и редактор будущей книги Сергей Александрович Ошеров предложил небольшую часть переводов Бродскому... Через некоторое время Бродский мне позвонил. Это было в один из его приездов в Москву. И мы встретились у меня дома. Деловая часть встречи оказалась много короче «неофициальной», успеху которой способствовал Николай Борисович Томашевский, пришедший повидать Бродского. Он ведь не раз виделся с ним в Ленинграде — в доме своих родителей и у Ахматовой.

— *Бродскому удалось участвовать в томе Сабы?*

— Эту историю я уже рассказал в журнале «Новое литературное обозрение», говорил о ней и в «Вопросах литературы». Потому — пунктирно. Книга вышла в 74-м году, и переводы Бродского значились в ней как переводы Н.Котрелева. Имя их истинного автора, высланного к тому времени из страны, было уже под запретом... Кстати, в этой же книге переводы Юлия Даниэля представлены под именем Давида Самойлова. Разумеется, тоже по цензурным соображениям.

— *Женя, что для тебя перевод, прости за банальный вопрос?*

— А ты прости за банальный ответ. Перевод это моя жизнь. Способ самовыражения.

— Каждый день переводишь?

— Каждый день не получается. Я в этом смысле не профессионал. Как ни старомодно звучит, перевожу по вдохновению.

— *Это всегда ощущается. Например, волны твоего вдохновения буквально гудят в только что вышедшей в «Радуге» книге стихотворений знаменитой итальянской поэтессы Марии Луизы Спациани в твоих переводах. Она состоит из параллельных — итальянских и русских — текстов. Ты — и переводчик, и состави-*



*тель, и автор предисловия к этому сборнику. Давай о нем — обстоятельней.*

— В книжке семьдесят одно стихотворение. Она могла быть и больше: у Марии Луизы Спациани пятидесятилетний литературный стаж, она автор более десятка поэтических сборников; но для этой книги я отобрал тексты, которые, как мне кажется, наиболее полно отражают творческую индивидуальность поэтессы, ее адекватность времени, лирический накал и гражданский пафос ее стихов, ее — обманчивую подчас — беззащитность перед любовной стихией. Ты, наверно, обратила внимание на последнюю страницу обложки, где приведены слова Вознесенского: «Мария Луиза Спациани дает нам дозу антицианистого калия — нахохлившийся, как шарик мороженого, воробышек в нашей безбожной жизни». По-моему, очень точное впечатление от стихов и личности этой поэтессы.

— *Книжка Марии Луизы Спациани — это, что называется, билингва. На кого из читателей рассчитаны подобные двуязычные издания?*

— Ты итальянского языка не знаешь, но надеюсь, тебе не мешает то, что книжка Спациани издана с параллельным итальянским текстом. Не думаю, чтобы среди ее читателей нашлось так уж много таких, кто параллельно с переводом будет читать оригинал. Едва ли подобное параллельное чтение стихов может служить подспорьем при изучении иностранного языка, но вот возможность понять, что потерял и что сумел бережно сохранить переводчик, такое чтение дает. Мне известно, что некоторые мои коллеги являются противниками выхода к читателю с открытым забралом, но я верю в то, что и как делаю, и потому меня не пугает недоумение педантов: «Почему в оригинале один вопросительный знак, а у него четыре?», «Почему он это слово перевел так, а это вообще не перевел?», «Почему в оригинале рифмуют-

ся четвертая и пятая строка, а в переводе пятая и шестая?».

— Ясно. А теперь я за тебя похвалюсь перед читателями: в начале этого года ты получил некий наипочтеннейший итальянский орден. Что за орден?

— Орден называется «Звезда итальянской солидарности». Награждаются им итальянцы, живущие за границей, и иностранные граждане, способствующие укреплению связей между своей страной и Италией. Если не ошибаюсь, это вторая по значению награда, присуждаемая указом президента Итальянской республики и дающая звание командора (по-итальянски *commendatore*). Опять же если не ошибаюсь, такой орден был у Стравинского, у Кеннеди. Вместе со мной его получили мои коллеги Галина Муравьева и Виктор Гайдук... Вручали орден в Москве, в итальянском посольстве. Да ведь ты сама при этом была. Представлял награжденных посол Италии Джанфранко Факко Бонетти, а ленту с орденом завязывал на шее министр культуры Италии Джулиано Урбани — он в это время находился в Москве с официальным визитом.

— Значит, теперь я могу, обращаясь к тебе, называть тебя командором?

— Можешь, если хочешь. Только при этом не забывай, что это слово устойчиво ассоциируется у нас с пушкинским «Каменным гостем» и что первая банальность, которая приходит в голову в связи с этим словом, — «шаги командора». Другое дело в Италии, где к чинопочитанию всегда относились без малейшей иронии. У Михаила Осоргина в 1913 году вышла книга, которую сегодня мало кто вспоминает, — «Очерки современной Италии». Пользуясь тем, что ты берешь это интервью у меня дома, я могу процитировать тебе одно место из этой замечательной книги, где Осоргин как раз говорит об итальянском чинопочитании. Так вот: «...в Италии всякий чело-

век из общества должен быть кем-нибудь: avvocato, ingegnere, professore, dottore, deputato, colonnello (полковник), tenente (поручик), comendatore (гражданский титул), maestro (учитель) и т.д. Человек без титула — человек без уважения...»

— *Благодаря тебе мы смогли прочитать по-русски многих замечательных итальянских поэтов, в том числе двух Нобелевских лауреатов, имена которых — Сальваторе Квазимодо и Эудженио Монтале — носят литературные премии, присужденные тебе в Италии. Если мне не изменяет память, итальянцы отметили твою работу и другими премиями — в частности, Государственной премией в области художественного перевода...*

— *Госпремию мне как раз вручали в Риме, в Квиринальском дворце. Лауреатский диплом я получил из рук тогдашнего президента Италии Скальфари. Это было в 1996 году — через тридцать лет после первой моей итальянской премии.*

— Ты имеешь в виду премию за переводы Данте?

— На 1965 год пришелся юбилей Данте — шестьсот лет со дня рождения. К этой дате издательство «Наука» готовило первое в России полное собрание сочинений итальянского поэта под редакцией Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова, который предложил мне перевести солидную порцию ранних стихотворений Данте... Подготовка издания затянулась, ему не суждено было стать юбилейным, но, пользуясь любовью наших периодических изданий к круглым литературным датам, я предложил часть своих переводов в журналы и газеты, где их благополучно и напечатали. И когда в Италии подводили в 1966 году итоги международного Дантовского года, эти публикации попали в поле зрения юбилейного комитета, и мне присудили за них премию. Если ты спросишь, как она называется, я без всякого кокетства скажу, что не знаю, как и не знаю точно, чья это

премия — юбилейного комитета или Министерства просвещения Италии, глава которого мне ее вручал во Флоренции. В Италии лауреатам литературных премий, как правило, дипломов и значков не дают, ограничиваясь конвертами с чеком на некую сумму, и не скрою, что меня отсутствие «документа» и лауреатской медали тогда огорчило. Собираясь за премией и зная уже ее денежное выражение, я спросил хорошо ко мне относившегося Алексея Александровича Суркова, курировавшего Иностранную комиссию Союза писателей СССР, как мне быть, если советское посольство в Италии потребует от меня (так было в нашей стране заведено) поделиться полученными лирами с родным государством. И знаешь, что мне ответил, с характерным для него волжским оканьем, Сурков? «Некоторые и с Нобелевской премии шиш в казну отдавали...» Он имел в виду Шолохова.

— *Как же разворачивались события?*

— Итак, я собирался за премией. Сейчас это звучит дико, а тогда любая поездка за границу зависела от разрешения высшей партийной инстанции, имевшей для таких случаев специальную выездную комиссию. Мне повезло: у меня такое разрешение как раз было — правда, на поездку в Италию с Кочетовым в качестве переводчика (добрые люди в Союзе писателей уговорили меня согласиться поехать с Кочетовым, так как от этого зависело, смогу ли я вообще в обозримом будущем протянуть заграничный паспорт советскому пограничнику). Дело оставалось за малым — за билетом, купить который мне было не на что. Я думал, что дорогу мне оплатит Союз писателей, а заодно и командировочные подкинет на первый момент, но секретарь Союза по оргвопросам товарищ Воронков думал иначе. «Вы член Союза писателей? Нет? В таком случае вам придется ехать за свой счет и без командировочных», — услышал я от литературного чиновника, ведавшего литфондовски-

ми миллионами. У меня был один аргумент, и он подействовал: премию мне дают как литератору, и, значит, я обращаюсь по адресу. А может быть, сыграло роль то, что на юбилейные торжества во Флоренции должен был ехать ленинградский литературовед Владимир Николаевич Орлов, вот меня и решили прикрепить к нему в роли переводчика, позволив остаться на некоторое время в Италии после его отъезда. Но позволялось мне остаться при условии: в скором времени в Италию по приглашению общества «Италия—СССР» приедет для выступлений с докладами о советской литературе критик Борис Сергеевич Рюриков, и я должен буду эти доклады переводить, в остальное время честно деля с Борисом Сергеевичем «тяготы» пребывания в капиталистическом мире.

Ну а пока что в дальний путь я отправлялся с Орловым. Ехали мы поездом, во Флоренции из вагона «Москва—Рим» вышли на рассвете, а в десять часов нам уже следовало быть в Палаццо Веккио, в зале Совета пятисот. Церемония закрытия Дантовского года, если не считать средневекового интерьера и в дверях ряженных с алебардами, ну и, конечно, эффектного монсиньора в первом ряду, напоминала «мероприятия» такого рода в нашей стране: длинный доклад и чуть менее короткие выступления. Момент вручения премиального конверта с чеком на миллион лир (такого же конверта, как мой, удостоился египетский переводчик) память не зафиксировала. Кстати, дольше чем полученные лиры, держалось прозвище, которое, узнав о моей первой в жизни премии, дала мне Маргарита Иосифовна Алигер: «король лир».

— *И как «король» распорядился своими лирами?*

— Не торопись, об этом немного позже. А сначала несколько слов о том, как мы с Орловым ходили по Флоренции и ездили в Равенну, для поездки в кото-

рую понадобилось специальное письменное разрешение (в Равенне находилась одна из натовских баз). Разрешение мы получили легко: я догадался во время фуршета, завершавшего торжества в Палаццо Веккио, подойти то ли к флорентийскому префекту, то ли к квестору, и на следующее утро нужная бумага лежала у меня в кармане. Это был удивительный документ: в нем, помимо наших фамилий, указывалась дата поездки, вид транспорта (поезд), время, отпущенное нам на знакомство с Равенной (кажется, до 24 часов указанного дня). Когда я рассказываю итальянцам об этой подорожной, они мне не верят... Как известно, Владимир Николаевич был в те годы крупнейшим нашим специалистом по Блоку, а блоковские стихи о Флоренции и Равенне сама знаешь какое место занимают в русской поэзии. «Все, что минутно, все, что бrenно,/ Похоронила ты в веках./ Ты, как младенец, спишь, Равенна/ У сонной вечности в руках...» Я от этих стихов — извини опять за молодежный, не по возрасту, жаргон — тащусь. И когда Владимир Николаевич читал их мне «на местности», мог ли я не радоваться такому спутнику? Он знал все блоковские ориентиры во Флоренции и в Равенне, хотя там был, как и я, первый раз в жизни (кажется, до этого его много лет за границу не пускали), и я благодарен судьбе за то, что она сделала меня свидетелем его счастья и провела рядом с ним по улицам двух дантовских городов — того, где Данте родился, и того, где покоится его прах.

— *После Флоренции и Равенны вы вместе еще куда-нибудь поехали? Ну, в Рим, например?*

— У Владимира Николаевича до отъезда в Москву было еще дня два-три, и он попросил меня съездить с ним в Неаполь. В Неаполе тогда жил ныне покойный профессор Леоне Пачини Савой, замечательный славист, переводчик Гоголя, выискивавший для гоголевских украинизмов эквиваленты в тосканском

диалекте. Этот добрейший человек щедро показал нам Неаполь и знаменитые его окрестности, за что интеллигентнейший Орлов простил профессору слабость к сильным русским выражениям: этот флорентийский аристократ, нужно сказать, виртуозно пользовался в разговоре цветастым русским матом.

— *А в итальянском языке что-то похожее на наш родной мат есть?*

— Что ты, Татьяна! Я не большой полиглот, но мне кажется, нечто отдаленно похожее есть только в словаре испанцев. Помнишь сноски в переводе на русский хемингуэевского «Колокола»? Там, где в речи испанцев упоминалась в соответствующем контексте мама, примечание внизу страницы сводилось к лаконично-целомудренному: «Исп. ругательство». Что же касается итальянцев, им до нас в этом смысле далеко — так же, впрочем, как нам далеко до их набора богохульств.

— *Подожди, похоже, по моей вине наш разговор перешел в лингвистическое русло... Если не ошибаюсь, ты не ответил на мой вопрос про лиры.*

— Ладно, давай про лиры. После неаполитанской части наш с Орловым дуэт распался: проводив Владимира Николаевича до поезда на Рим, где его должна была встретить итальянская студентка, которая писала, кажется, дипломную работу о русской поэзии начала XX века и, стажирясь в Ленинграде, консультировалась с ним, я в тот же вечер сел на паром до Палермо. Билет, как ты догадываешься, стоил некой суммы в национальной валюте, то есть в лирах. И номер в палермской гостинице, который я собирался снять, тоже. Но на гостинице удалось сэкономить: получив номер, я позвонил Иньяцио Буттитте в Багерию, городок в восемнадцати километрах от Палермо, и через час-полтора он заехал за мной и увез к себе... Тут важно сказать, что в 1958 году Иньяцио приезжал в СССР с группой итальян-

ских поэтов (тот самый ответный визит, который я уже упоминал), мы тогда выступали вместе в Москве, Тбилиси, Киеве и Ленинграде, а несколько лет спустя в Издательстве иностранной литературы вышла небольшая книжка его стихов в моем переводе. Так что, в некотором роде, он считал себя моим должником... Иньяцио не только был большим поэтом, но и выдающимся лицедеем. В Москве я как-то зашел к нему в номер гостиницы, он в это время разговаривал по телефону, и я, чтобы не мешать ему, поспешил выйти, но начало его торжественного монолога все же услышал. «Это ресторан тетушки Марии? — во всю силу своих легких кричал Буттитта на сицилийском диалекте. — Иньяцио говорит, я звоню из Кремля...»

В этот раз Иньяцио выступал на родной сцене. На дороге между Багерией и Аспрой, куда он вез меня в новый, еще недостроенный дом, через каждые десять метров он останавливал потрепанный фиатик, чтобы представить меня то одному земляку, то другому: «Это Эудженио, мой русский переводчик, он ко мне прямо из Москвы приехал». По этой дороге он «катал» бы меня много дней подряд, если бы я на третий день не взбунтовался и не сказал, что мне у него хорошо, но, кроме Аспры и Багерии, на Сицилии есть другие места, и мне бы хотелось их посмотреть.

— *Хозяин дома не обиделся?*

— Кажется, нет, тем более что передавал меня в надежные руки. Еще учась в институте, я познакомился со студентом биофака МГУ Давиде Фаисом из Палермо. В университете Давиде встретился со своей будущей женой Зоей, и, получив советский диплом, остался в Москве, работая на родном факультете. Время от времени мы с Давиде виделись, я познакомился с его мамой, приехавшей к нему в гости, с его сестрами Анджелой и Марией, с его братом Нелло, с мужем Марии Гвидо Питруццеллой. Так вот,



надежными руками, в которые теперь передавал меня Иньяцио, был дружный клан Фаис-Питруццелла. Мария и Гвидо поставили для меня в гостиной своей палермской квартиры раскладушку, и на некоторое время семья, состоявшая из них и двух сыновей, увеличилась на одного человека. Анджела, которая жила с мамой в том же доме, работала в популярной левой газете «Ора», все, кто Анджелу знал, любили ее, и это ей я обязан первой встречей с Шашей, которого она пригласила зайти в редакцию, чтобы познакомиться нас. Анджела погибла в авиационной катастрофе, она была удивительно светлым человеком, ее смерть — такая несправедливость...

— *А ты, оказывается, скрытный: про Сицилию никогда мне не рассказывал. Настоящий мафиози.*

— Позволь тебя поправить. Мафиози — множественное число, а единственное число — мафиозо.

— *Поправку принимаю. Скажи, а ты хоть одного живого мафиозо на Сицилии видел?*

— Наверняка видел. И не одного. Только на лбу у них, под козырьком кепки, не было написано, что они мафиози. Кстати, кепка в Сицилии — такой же распространенный головной убор, как в Грузии.

— *Недавно я участвовала в вечере поэзии в итальянском посольстве. Организован он был в рамках премии «Гринцане Кавур — Москва», и вел его ты. Поэтому мой вопрос к тебе как человеку «посвященному»: а это что за премия?*

— Сначала все-таки несколько слов о поэтическом вечере. Назывался он «Италия в зеркале современной русской поэзии». Думаю, читателям, для которых ты берешь интервью, интересно будет узнать, что стихи в итальянском посольстве читали Белла Ахмадулина, Татьяна Милова, Максим Амелин, Евгений Евтушенко, Виктор Куллэ, Евгений Рейн и Владимир Строчков. Ну и ты, Татьяна! Благодаря непохожести участников, вечер показал, что русская

поэзия жива, что новые веянья в ней не посягают на традиции, но развивают их в духе времени.

А теперь о премии. Учрежденная в 1982 году, она повторила в своем названии имя старинного замка, где одно время жил граф Бенсо Кавур — первый премьер-министр объединенной Италии. Премия эта международная, у нее две номинации — одна для итальянских авторов, другая для иностранных писателей, опубликованных в переводе на итальянский (в этой номинации лауреатами в разные годы были и представители русской литературы, в частности — Израиль Меттер, получивший «Гринцане» за автобиографическую повесть «Пятый угол», которую издательство «Эйнауди» опубликовало с моей подачи).

Несколько лет назад президент премии профессор Джулиано Сория нашел новую возможность расширения ее географии: так родились премии «Гринцане Кавур — Монтевидео», «Гринцане Кавур — Гавана», «Гринцане Кавур — Франция», и вот теперь, начиная с этого года, еще и «Гринцане Кавур — Москва». Новая премия присуждается переводчику с итальянского и писателю, в чьем творчестве получила отражение тема Италии... Как ты знаешь, первыми лауреатами этой новой премии стали Елена Костюкович, о которой я уже говорил, поэт Евгений Рейн и прозаик Владислав Отрошенко. Помнишь, я познакомил тебя с Леной Костюкович во Флоренции, где ты выступала на престижном поэтическом вечере? Дело было осенью 1999 года... И сегодня я особенно рад за нее, за своего талантливового товарища по переводческому цеху.

*— Я тоже очень рада за всех лауреатов этого года. И хотела бы от них перейти к другому лауреату — Петрарке, в свое время увенчанному лавровым венком на Капитолии. В июле исполнилось 700 лет со дня рождения (Беседа состоялась в 2004 г. — Ред.) этого великого итальянского поэта, который стал символом европейской любовной лирики. Ты — признанный перевод-*

*чик Петрарки на русский поэтический язык. Расскажи, как отмечается его юбилей в нашей стране.*

— Пока что довольно вяло. Вспоминаю 700-летие Данте в 65-м году. Было торжественное заседание в Большом театре, выступал председатель итальянского Дантовского общества Джанфранко Контини, а Ахматова читала «Музу».

— *Перебью тебя на секунду. Опиши в нескольких словах — как воспринимался облик и голос Ахматовой в то время.*

— В тот вечер я увидел и услышал Ахматову первый раз в жизни. Я знал, что, живя подолгу в Москве, она охотно принимала поклонников ее поэзии, охотно читала им стихи, более чем снисходительно относилась к их восхищению, но меня самого от возможности поцеловать руку Ахматовой удерживало смутное чувство неловкости, которое бы я испытал при этом. Как она выглядела на сцене Большого? Величественно. Как звучал ее голос? Возможно, оттого что его усиливали динамики, он звучал как на пластинке, — допускаю известную аберрацию памяти, поскольку хорошо помню запись с голосом Ахматовой, читающей то же стихотворение:

Когда я ночью жду ее прихода,  
Жизнь, кажется, висит на волоске.  
Что почести, что юность, что свобода  
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.  
И вот вошла. Откинув покрывало,  
Внимательно взглянула на меня.  
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала  
Страницы “Ада”?» Отвечает: «Я».

Ну а если вернуться к юбилею Петрарки, то времена, когда по команде сверху давали Большой театр, канули в прошлое... По этим временам у меня нет ностальгии. Но, согласись, с ними ушло и что-то хорошее.

# АСАР ЭППЕЛЬ

## У МЕНЯ ВСЕГДА НЕТ ВРЕМЕНИ

— *Асар, ну наконец-то вы выкроили для меня часок-другой — ни одного писателя я так долго не просила о беседе...*

— А я терпеть не могу интервью. Всегда однообразные и бессмысленные вопросы... К нашей встрече это, конечно, не относится. Но где взять время?

— *Понимаю....- Как вы впервые сели за свою прозу, как оно началось?*

— В 79-м году. Я тогда тоже был занят и заморожен. Так уж складывалась жизнь... Не то чтобы какие-то катаклизмы — просто бытовые обстоятельства. Но и потрясения случались... Однако бывало и замечательное время — житье в дубултовском Доме творчества, куда я попадал глухой осенью, когда не было проблем с путевками. К слову сказать, я двадцать два года ездил в одну и ту же 75-ю комнату на седьмом этаже. Она стала моим литературным обиталищем, и я пребывал в ней срок или два. А один раз целых пять подряд... В советские времена срок составлял двадцать шесть дней. Однажды приехал в Дубулты без переводческой работы — я тогда в основном переводил, — просто решил сосредоточить-

ся. Еще писал в те годы стихи, которые, между прочим, до сих пор не опубликованы, хотя появление их, как мне кажется, могло быть замечено. Сейчас у меня с ними отношения двоюродные — так что не сочтите мои слова похвальбой.

— *Не жалеете теперь, что не осуществились как поэт?*

— Скорей всего, не жалею. Переводя стихи и кое на кого в поэзии ориентируясь, я вовремя догадался, что для стихотворчества необходима особая жизнь. Особая мужская вольная жизнь... Я же и тогда, и никогда потом таковой не располагал.

Словом, приехал я в Дубулты безо всякой работы. И решил чем-нибудь заняться, скажем, теми же стихами. Ни о какой прозе я тогда не помышлял. Написал два стихотворения, за которые по тем временам вполне можно было получить лет десять, и подумал: «К такой жизни я не готов». И тут мне пришло в голову, что было бы здорово составить что-то вроде переписи населения тех мест, где я жил в детстве и юности. Дом за домом, квартира за квартирой. Это представлялось несложным: у нас там были бараки, одноэтажные дома (бывшие дачи), и я знал всех наперечет.

— *В вашей прозе это называется Травяная улица. Она и в реальности была Травяная?*

— Нет. Моя улица называлась 5-й Новоостанкинский проезд. Между прочим, на месте моего жилища сейчас школа. А писать я решил так: дом такой-то, квартира такая-то, тут жил инженер, тут газировщик, жена, дети... Там занимались тем-то... Фигурировали детекторные приемники и так далее.

Похожий прием был замечательно использован Андреем Сергеевым в «Альбоме для марок», я же написал всего-навсего страничку — перечислил объектов двадцать возможного описания. Безо всяких сюжетов. А потом ни с того ни с сего сочинил «Бутер-

броды с красной икрой». Причем даже не понял, хотя давно был профессиональным литератором, что написал прозу и что проза эта — рассказ.

— *Почему не поняли?*

— Потому что самое сложное и трудное литературное занятие (а я вроде бы работал во всех жанрах) — перевод прозы. Так что сочинение ее представлялось мне делом вовсе сверхъестественным. А тут — взял и написал.

Я тогда чуть ли не ежедневно виделся с режиссером Р. Он ставил в Рижском театре русской драмы спектакль «Убивец» и на ночь приезжал ко мне в Дубулты, потому что ночевать ему было негде. Делалось это втайне от директора Дома творчества Баумана — человека яростного и несправедливого... И вот я говорю режиссеру Р.: «Послушай, я что-то тут насочинял (а насочинял я это «что-то» за пять дней), а что — не пойму». И прочитал. Он выслушал и говорит: «Так. Но это не рассказ...»

Если вам попадалось данное повествование, вы, наверно, согласитесь, что для 79-го года оно было, мягко говоря, неосмотрительно. Например, пугающее описание сортира, которое даже не метафора. И вообще, реалистическое изображение нашей убийственной жизни.

Но я отвлекся. Итак, Р. мне говорит: «А еще можешь написать?» «Конечно!» — отвечаю. И написал «Одинокую душу Семена». И прочитал ему снова. Он говорит: «На рассказы все-таки не похоже. А еще можешь?» И я написал «Темной теплой ночью». Всё — в один срок. И никакого не было у меня ощущения, что это «что-то» — рассказы. Не говоря уже о том, что все мои шокирующие откровенности и описания были для тех времен неслыханны. Ничего подобного, по-моему, ни у кого не встречалось. Когда я читал эти тексты своей жене, она, стесняясь моих откровений, просто ужасалась. А когда в Дубултах по-

свящал в свои сочинения Риту Райт, то Рита Яковлевна, усевшись поудобнее и укрыв ножки пледом, то и дело вскрикивала: «Ой!»

Все, кому я читал, говорили, что, мол, да, интересно, но что оно такое — непонятно... Наступила осень. В очередной приезд в Дубулты я написал «Aestas sacra», которым сейчас заканчивается сборник «Травяная улица», и вот тут-то понял, что пишу рассказы. А то, что они небезынтересны, — это подтверждалось вот чем. Вы отлично знаете, что в Доме творчества давать кому-то рукопись и просить, чтобы прочитали, — злодейство. Человек приехал трудиться, сосредоточиваться, а ему навязывают черт-те что... Я же рукописи свои никогда никому не давал. Прятал под бельем в шкафу — были нормальные советские годы. Но по многим просьбам стал читать рассказы вслух... И пошло: «Когда считаешь?» Герману Плисецкому я читал подряд десять вечеров. Егор Яковлев (его тогда отовсюду уволили, и он писал документальные сценарии) взволновался: «Пойду в ЦК! Буду о тебе говорить. С этим надо что-то делать», — и называл какие-то недостижимые фамилии. А я, между тем, понял, что свободен и так могу писать обо всем. И очень удивлялся неожиданной этой свободе и безоглядности.

Впрочем, есть темы, которых я никогда не коснусь...

— *Например?*

— Например, отношения родителей. Еще разное другое....

— *Вы по многу раз переписываете одно сочинение?*

— Поскольку все было начато поздно, я очень спешил и сочинять законченные фразы так и не научился. Я и тогда и теперь сочиняю сперва некий набросок. Эскиз. Затем уходят месяцы на обработку и перепечатку.

В те годы компьютеров еще не было. На машинке же я мог перепечатать в день страниц двенадцать. То

есть за один дубултовский срок перепечатать максимум три рассказа. Сейчас у меня количество правок двадцать — двадцать пять. Да-да, я распечатываю свои рассказы раз по двадцать. Без компьютера их бы не было. А пишу — торопливо. Страниц пять в день. До начала работы почти не знаю, о чем будет сочинено...

— *Как бы вы сами определили свой стиль? Конечно, не критический реализм и не натуральная школа, но, быть может, магический (или романтический) натурализм?*

— Понятия не имею. Мне просто хочется зафиксировать подсознание. Отголосок, скажем, этого, который сейчас за окном, дождя. Поскольку языковой единицы, которая бы исчерпывающе передавала именно этот дождь и этот воздух, то есть состояние погоды и природы в данный момент, — наверняка не найдется, словесность прибегает к метафоре. А убедительная метафора не всегда приходит в голову. Чтобы писать, как писали прозаики одесской школы и прочие наши предтечи 20-х—30-х годов (тот же Хемингуэй), — надо быть молодым и пылким. И впереди иметь целую жизнь. Ничего подобного в моем распоряжении уже не имеется, и остается писать длинные рассказы неопределенного стиля. И я длинно описываю состояния, ощущения и мысли, которые мне желательно зафиксировать.

— *Фиксация подсознания — само собой, но вы, как мало кто, любите мир вещей. Да, будничных вещей, вещей, предметов, мелочей, которые вы выписываете с редкой скрупулезностью... Чем вас так притягивает это вещественное ретро?*

— Вещь сама по себе уже сюжет. Она драматична. А кроме того, располагает своим качеством, своим веществом, которые сами по себе необыкновенны и примечательны, потому что являются продуктом человеческих усилий, мыслей, ремесленного приема, времени. Время всегда отдает предпочтение ладным,



хорошо работающим и добротнo сработанным вещам. За ними обязательно стоит творческое усилие. Кстати, мастеровой-ремесленник всегда может определить результат своих действий и позволить себе перекур или решить, что работа завершена, а человек искусства еще сто раз подбежит к рукописи, к картине. Его труд никогда не кончается. Я пишу истории из старого времени — и мне нужны свидетели. А вещи — свидетели отменные.

— *Вы в своей прозе описываете исключительно ретро (причем в форме фантасмагории буден) — почему?*

— Не всегда. Сейчас любое «нечто» быстро становится «ретро», потому что время очень торопится. Раньше оно длилось мешкотно и обстоятельно. А сейчас? Пишущие машинки служили нам чуть ли не век. Большие, громоздкие телевизоры и компьютерные мониторы отменились в разы быстрее, и куда-то миллиарды этих экранов должны деться. Прежде время шло неспешно, одни и те же предметы могли принадлежать и четырнадцатому веку, и девятнадцатому. Оно, время, хранилось в бабушкиных сундуках.

Вообще-то, словом «ретро» для обозначения чего-то позавчерашнего, как мне кажется, удобно обслуживать масскультуру, но главное преимущество «ретро» — быть безотказной декорацией вечным человеческим страстям... Вот я и обзавелся прекрасными декорациями, в которых живут и действуют обескультуренные, оторванные от корней, разноплеменные люди. Этакое полиэтническое сообщество. Поскольку страсти, постель, еда, санитарно-гигиенические необходимости — всегдашняя и неотвратимая «злоба дня» и этому «дню» довлеют, они, эти мыкающиеся люди, должны изобрести новую этику, новую историю и новый мир вещей взамен потерянных. Управиться с этим умело они, конечно, не умеют, поэтому проявляют себя максимально эксцент-

рическим и буффонадным манером. Я не осмелюсь примоститься даже на краешке дивана, на котором сживал Платонов, но его персонажи тоже выныривают из хаоса (например, в «Котловане» или в «Чевенгуре») и обалдело живут, и трактуют предметы, обстоятельства, идеи самым невероятным и чудным образом, скособочивая по отношению к общепринятой речи и жизни все, что их озадачивает по дороге.

Кстати, можно попенять литературе почти всего XIX века, что она ограничивалась тихими дворянскими гнездами и тургеневскими барышнями... А вот где в распутицу стаскивал сапоги Пушкин, когда приезжал по дождю и бездорожью за пять верст в гости? Ведь предстояло ступить на сверкающий паркет. Как все делалось, как было придумано?! Это же каким-то образом произошло!

— Да. Ни у Толстого этого нет, ни у Гончарова. Отчасти есть у Лескова.

— Это не было территорией литературы. Перед тогдашней словесностью стояли другие задачи — надо было писать про «главные» и прекрасные чувства: чистую любовь, разочарования... Но вот Достоевского уже занимают чувства «нечистые», разочарования губительные, жилища отвратительные — Мармеладова, например. Эстетика проходных дворов...Новый мир вещей и декораций. И неизбежное свое «ретро»...

— Вы пишете почти исключительно еврейский мир — и совсем не употребляете слова «еврей»...

— А я не пишу еврейский мир. Я пишу окружающий меня мир, в котором были евреи, — просто их было заметное количество. Для моей в них заинтересованности есть причина. Верней, причинная история. Люди, рванувшие из двухтысячелетнего уклада в столицу, были необыкновенные. Вообще, растиньки, прорывающиеся в столицы, всегда бывают решительны и безоглядны. С долгим дыханием, Они отрываются от родного и дорогого, и это — самое

дорогое — отрывают от себя, чтобы ринутся в незнаемое. Но... даже на своем победительном пути рожают детей (куда от этого денешься?), наскоро где попало оседают... В нашем климате даже одна бездомная ночь — немыслима. Те, например, кто застрял на всю жизнь в наших местах, естественно, сняли квартиры в домишках, похожих на родные хибары. Родственники селились возле родственников. Совершался и особый еврейский феномен бытования (пусть они о нем и не догадывались — срабатывала традиция): священной обязанностью иудея является говорить поминальную молитву. Непроизнесение поминовения — огромный грех, однако совершить молитву можно только в присутствии десяти человек. Одному нельзя, двоим нельзя, троим нельзя. И этническая кучность (кучность гетто, кучность местечка, кучность городишки) во многом определялась тем, что вокруг тебя должно оказаться десять сомитвенников-мужчин... Вряд ли новые поселенцы впрямую это имели в виду, да и были они уже безбожники, однако инстинкт кучности срабатывал... А вообще-то у нас там обретались не только евреи — среди коренных, а также сбежавших от голода из провинции русских — основного и главного населения — проживали и татары, и цыгане, и поляки, и даже французы. В одном рассказе я назвал это «компотом слободы».

— *Но все же самые яркие в вашей прозе бытовые проявления и самые выразительные диалоги, они — еврейские.*

— Так уж и самые?! Отовсюду это слышу — и к Бабелю меня пристегнут, и на обложку Шагала приспособят. А ведь это совершенная нелепица. Я на одном научном собрании, когда про что-то подобное заговорили, предложил: «Давайте я заменю имена на испанские: Родригес, Педро, Хосе...» И прочитал одну страничку в «испанизированном» варианте. «По-

жалуйста, — говорю, — что изменилось?» «Все равно чувствуется...» Что чувствуется? Где чувствуется?

Вообще говоря, писатель — он писатель, и только. Побуждение писать — внационально. Писатель, как это ни парадоксально, безэтничен, хотя пользуется языком, который слышит с рождения, и материалом, который составляет его жизнь. И может быть привержен или не привержен своему племени как человек. А вот литература, состоящая из писательских произведений, по творческой своей природе «безродных», — обязательно и неминуемо национальна. Это уже потом семь городов спорят о Гомере.

Естественно, я и не думаю отрешиваться от своего происхождения (ничего себе игра слов: отрешиваться от иудейства!). Ни отрешиваться, ни выкрещиваться. Просто материал слободы невероятно благоприятен для творчества. Еврей на окраине Москвы в среде коренного населения, он ведь трижды персонаж. И значит, его жизненные коллизии четырежды благоприятны для словесности. В настороженном по отношению к нему социуме (а это еще не самое худшее!) нашему протагонисту приходится играть ежедневно сто ролей. Его день непредсказуем. Его речь чуть ли не каждым словом производит комический эффект, ибо он машинально переводит на местный идиомы собственного природного языка, да еще картавит, да еще говорит на особый распев. Отсюда, кстати, юмор Бабеля. «Делай ночь, Нехам» — очень потешно. На самом же деле это калька еврейского выражения «мах нахт». Оно совершенно нормально и означает обыкновенное «ложись спать», «спи давай». А Бабель переводит его буквально «мах — *делай*», «нахт — *ночь*» — и получается смешно. Многие комические бабелевские удаления от нормативной русской речи такого происхождения.

— Ясно... А как получилось, что ваша семья обосновалась в Москве?

— Увы, толком я и не расспросил родителей. Я о многом их не спросил, поскольку был юным пропагандированным идиотом и, конечно, считал, что лучший композитор — Чайковский, самый лучший писатель — Толстой, самый лучший художник — Репин. И все такое прочее. Названные знаменитости и в самом деле достославны, но мира и опыта отца и матери (они, между прочим, были люди простые) со всеми их ценностями и оценками я не признавал. Вселенная родителей была для меня незначительна, малоинтересна и даже смешна, притом что свое троглодитское житье в Останкине я считал куда как необыкновенным. Там для меня была столица мира. Через много-много лет я приехал туда, где когда-то родилась и жила мама, и увидел, что сквозь городские ворота XVII века, которые рядом с ее домом приблизительно того же времени, виден на горе белый королевский замок...

— Это где?

— Это польский город Люблин. Однако расскажи она мне про сказочный этот замок и про многое остальное, я в лучшем случае пропустил бы все мимо ушей, а в худшем бы не поверил. Я был жителем другой страны и другого мира. Все внешние проявления родителей я оценивал скептически. При этом я их без памяти любил. Взрослеющим детям вообще нет нужды в родительском авторитете. О чем спросить — было, а я, дурак, почти ни о чем не спросил и ничем не попользовался.

— Но после их смерти вы раскрыли какие-то их секреты? Было такое?

— Было. Одна, например, дальняя родственница просто обожала мою маму. Виделись они в Москве нечасто — родственница хромала и поэтому редко выходила из дома. Когда я стал ее спрашивать —

как? что? почему она так тяготела к маме? откуда такое сердечное чувство? где они подружились? — она ответила, что нигде они не подружились — просто мама по дороге из Польши на Украину (когда отец ее вывозил), на один (всего лишь на один!) день остановилась в доме этой родственницы и такое произвела на нее, маленькую девочку, впечатление, что оно осталось на всю жизнь...

— *Мама давно умерла?*

— Да. У меня родители были пожилые. Я — поздний ребенок.

— *Асар, мы с вами уже поминали Бабеля. Как получилось, что вы стали работать над мюзиклом по его произведениям — «Биндюжник и король» («Закат»)?*

— Сейчас мюзиклы сочиняет каждый. А я ко многому подступался раньше других — как-то так получалось. Я, например, в свое время стал писать песни в жанре, в котором осуществились Окуджава, Высоцкий, Галич. Написал несколько и бросил...

— *Когда это было?*

— В старинные года, вот когда! — как бы ответили останкинские мальчишки. И даже раньше. Такие стихотворения в виде песен. Почему я их писал, что это было? Как писать стихи, я знал и про стихотворчество понимал все. Но эти меня озадачивали. Другое дело — сколько там было поэзии и смог бы я в этих странных тогда опытах осуществить то, что полагаю поэзией? Сейчас же у меня многовато скепсиса, чтобы сказать самому себе комплимент по этому поводу.

— *А Бабель? Он на вашу прозу влиял?*

— Что касается бабелевского мюзикла, им я занялся в 85-м году, а два первых тома прозы закончил писать в 82-м. Однако критики нет-нет и «шьют» мне Бабеля. Созвучие «Эппель — Бабель» приводит их в экстатическое состояние. Еще «шьют» мне Шульца. Литературовед Вайскопф даже написал: Эппель, мол, был прекрасным переводчиком, но с тех

пор как стал писать прозу, подражая Шульцу... И так далее. Надо быть столь авторитетным специалистом, как Вайскопф, чтобы углядеть у меня подражание Шульцу. Я ведь Шульцем занялся и стал его переводить через несколько лет после того, как написал двадцать своих рассказов. В моих первых книгах — «Травяная улица» (1994) и «Шампиньон моей жизни» (1996) — под каждым стоит дата. С 79-го по 82-й год. А к Шульцу я приступил в 87-м и напечатал «Коричные лавки» в «Иностранной литературе» в 89-м году. Так что проза Шульца никак не могла повлиять на мою. Если Бабеля я в ранней юности читал, то Шульца прочитывал непосредственно перед переводом той или иной его новеллы. Другое дело, что переводческая моя стилистика явно сродни моей писательской. Всё.

Касательно мюзикла побудительные причины были вот какие. У помянутого уже режиссера Р., а также у поэта тоже Р. (оба они близкие мне люди) имелся уже знаменитый мюзикл, и они этим весьма величались. Кстати, заслуженно. А побуждением некоторых моих сочинений и выдумок часто бывало желание помешать коллегам задаваться. Такой вот непочтенный повод. Мюзикл же по Бабелю — был идеей фантастической! Однако надо было сперва разведать: приходила ли она в головы режиссеру Р. и поэту Р. (они по части идей были большие специалисты и, к счастью, такими остаются). Откройся я им, я бы наверняка услышал: «Да, мы об этом уже думали. И многое написали...» Так что были приняты хитрейшие усилия... А потом я одним духом и одним махом написал и пьесу, и стихи. Кстати, в Риге, а все писалось опять же в Дубултах, ни в одной библиотеке тогда не нашлось так называемого «сормовского» Бабеля, где был напечатан «Закат», и тамошний литератор Владлен Дозорцев — драматург и очень хороший человек — одолжил мне своего.

Между прочим, всех в Доме творчества интриговало: чем это я так увлеченно занят? Явно не переводами. Гуляем мы как-то с Григорием Кановичем, и я говорю: «Гриша, как тебе нравится строчка: «Жилье — берлога, а жизнь — дерюга»?» Он сразу: «Ты пишешь что-то по Бабелю». А у Бабеля такой фразы нет. Так что — интуиция.

И еще вот что. Бабель в связи с моими рассказами поминается многими людьми потому, что «про евреев» они читали у Бабеля. Однако «про евреев» писали и другие писатели, как к евреям расположенные, так и нерасположенные. Сол Беллоу, Маламуд, Шоллом-Алейхем... А еще — это уже касается изобразительного ряда — многие тотчас поминают Шагала. Опять же потому, что «про евреев». Но мое Останкино — это не Витебск Шагала и не Молдаванка Бабеля. Останкино — заштатная российская слобода с заметным в некий момент еврейским населением. Моря за околицей тут, как в Одессе, нет. Украинского чернозема, как в Подолии, тоже... Шульцевская Галиция ни при чем... И, значит, я тоже ни при чем...

— *А вам никогда не хотелось написать автобиографическую вещь — такую «Жизнь Арсеньева»?*

— А у меня нет автобиографии.

— *Ну «детство — отрочество — юность» у всех есть.*

— Детство у меня препротивное. То, что я счел примечательным, использовано в рассказах. Я не лукавлю — у меня нет биографии, как у любого советского человека, если только он сам ее не создавал, не был авантюрен по натуре и не сидел по навету. А я по натуре не авантюрен и не сидел. Родился, закончил школу, поступил в институт, кое-как — с разного рода безалаберностями — проучился в институте, женился, семейная жизнь складывалась сложновато — мы жили в разных городах семь лет, семь лет строи-



ли кооперативный дом... Поступил в Союз писателей... Зарабатывал деньги журналистикой и переводами, хотя переводами занимался всерьез (до сих пор считаю переводческое дело одним из самых интересных и сложных литературных занятий). Что же касается автобиографии, то в автобиографическом тексте пластических достоинств, какие достижимы в рассказе, добиться вряд ли возможно.

Как вы, кстати, полагаете, сколько у Бабеля «бандитских» рассказов в известном нам изводе?

— Не знаю. Рассказов двадцать?

— Четыре. Похоже, что он опасался самоповторений. Хотя Антонина Николаевна Пирожкова, вдова, сказала мне по этому поводу, что можно только гадать, что у Бабеля конфисковано при аресте... Так или иначе, при его жизни были известны четыре рассказа: «Король», «Как это делалось в Одессе», «Любка Казак», «Отец» и пьеса «Закат». Всё!

— *Наверное, они такие насыщенные, что кажется, что написано больше...*

— Насчет насыщенности и яркости приема вы правы. Но дело, вероятно, и в другом. Они — баллады. На территории четырех повествований Бенья женится на двух женщинах, а Двойра, сестра Бени, дважды выходит замуж...

Однако вернусь к вопросу, почему — рассказы. Когда есть время, можно писать вещи длинные и обстоятельные... Я же бегун на короткие дистанции. Я не стайер — это другое литературное дыхание. И еще, оттого что я в той или иной форме занимался поэзией, выработалась привычка к компактности... Короткое замыкание, которое происходит в стихотворении, оно, соответственно, если можно так выразиться, «многообразясь», остается коротким замыканием и на территории рассказа.

— *Однажды, в одном из них, вы себя назвали «своевольным автором» — дескать, «я ведь могу повернуть*

*куда хочу». Всегда ли вы это ощущаете, выстраивая сюжет, и бывает ли, что план рассказа сначала таков, а потом сюжет сворачивает в неожиданную сторону?*

— Бывает. В Дубултах я обычно работал до часу дня, а потом с кем-нибудь из коллег шел гулять к морю. В какой-то из дней я заканчивал «Одинокую душу Семена» — оставалось максимум минут пятнадцать, чтобы начерно записать придуманную концовку. А из вестибюля все время звонят по внутреннему телефону Солонович с Азерниковым, с которыми я собрался гулять: «Ну ты, Толстой... Давай выходи!» — и тут я написал совершенно неожиданное ужасно грустное завершение, которое так меня расстроило, что со мной случилось что-то вроде истерики. Коллеги звонят, а я не могу подойти к телефону. Пришлось умываться холодной водой и выходить в темных очках. Даже сейчас, когда этот рассказ читаю, мне как-то не по себе.

*— Последнее время в вашей прозе возник такой прием — в художественном, вымышленном тексте вдруг безо всяких объяснений возникает конкретный, реальный персонаж: раз — Андрей Сергеев, два — Герман Плисецкий...*

— Что ж, они оба для меня реальны. Даже для вымысла. Если раньше я удивлялся, что сочиняется что-то аморфное и, как мне казалось, не относящееся к понятию «рассказ», то теперь я чувствую себя куда вольней и решительней. Я — свободен. Почему Андрей Сергеев? Вроде бы и абзац лишний и легко изымается. То же самое Герман Плисецкий. А ведь это ориентиры для самого меня — участники того, что по ходу работы приходит в голову.

*— Я у вас вижу сыновье следование традициям и интонациям Андрея Платонова. Или мне оно мерещится? Слушайте, например: «Несмотря на то, что отец фактически ушел из жизненного устройства, все про-*

*должали жить, принимая во внимание его обязательное присутствие в домашнем бытовании...» Это ваше, но как близко к платоновской прозе!*

— Ну уж! Хотите рассекречу платоновскую стилистику? Испорчу чтение Платонова?

— *Хочу. Не испортите — восстановлюсь.*

— У Платонова фраза по преимуществу двухчастна. Между левой и правой частями явный водораздел. Слева — обычный литературный язык, справа — личная платоновская речь. Допустим (я не цитирую, а примерно импровизирую), так: «Пухов шел по улице, — и (идет вторая часть фразы, внимание!) тяжелое вещество воздуха упрямо упиралось в него ...» Так сделано у Платонова почти всё. Похоже по конструкции на силлабический тринадцатисложник с неперменной цезурой...

В приведенном же вами примере у меня безусловное алиби: в нем есть лексика платоновского типа (а почему ей не быть — она ведь победительно воцпла в языковую стихию), но нет структуры его фразы. Кстати, Юрий Ряшенцев нашел-таки у меня кое-что «бабелевское»: «Она стаскивала с себя пыльное платье дня, чтобы облачиться в заплатанную пузырями рубаху ночи». И был прав. Это в рассказе «На траве дрова».

— *А мне кажется, что это не Бабель, что тут — поэзия, стихотворный ритм... Кстати, расскажите о своих отношениях с Бродским, вы его хорошо знали?*

— Долго, во всяком случае. Друзьями мы не были. Приятелями тоже. Так — давними знакомцами. Но я всегда знал, что Бродскому суждена Нобелевская премия. Это чувствовалось по его руке сразу. Мы, переводчики, неплохо осведомлены в мировой поэзии, и нам нетрудно сориентироваться — что и как. Увидел я Бродского впервые, когда ему было восемнадцать или девятнадцать лет. Совершенно случайно. В 1959 году. Я подвизался тогда в кино — нанял-

ся в киногруппу московской студии имени Горького, которая снимала в Ленинграде, где мне было необходимо бывать по сердечным делам. А еще я пописывал в «Неделю», которая только что возникла и поражала всех новизной и необычностью. Писал о чудаках-коллекционерах. Это сейчас — все коллекционеры всего, а тогда я обнаружил в Питере коллекционера оловянных солдатиков и коллекционера самоваров. Коллекционировать самовары и солдатиков было в то время то же самое, как сейчас коллекционировать зубные порошки или сумасшедшие дома. Самовары встречались во множестве на всех помойках.

От «Известий» мне придали фотокорреспондента. Звали его Александр Иванович Бродский. Я пришел знакомиться, а он, видя, что я такой молодой и уже — корреспондент «Недели», тихо так сказал, что у него сын тоже немного пописывает. В это время по заднему фону квартиры прошел худенький, рыжий, явно смущавшийся мальчик. И тут я вспоминаю, что в Москве Морис Ваксмахер (а Морис тогда казался мне небожителем) говорил, что в Ленинграде есть молодой поэт Бродский, которого очень хвалит Ахматова. Так что, явно к радости отца, я сообщил: «А я о вашем сыне уже слышал...»

— *А потом?*

— Потом были у меня с необыкновенным этим поэтом лестные совпадения. Например, такое: в последнем подписанном Твардовским номере «Нового мира» были напечатаны превосходные стихи Величанского: «...Ведь время не сахар и сердце не лед, / И снежная баба за водкой идет». Захожу я во двор большого Союза писателей — на каком-то пеньке возле «Юности» сидит Бродский и безо всякого «здрасьте!» говорит: «Асар, наконец я нашел в Москве хорошего поэта». Не успел я рта раскрыть — уж не Величанский ли это, а он мне: «Величанский».

И еще похожая история. Прочитал я в полном восхищении набоковский «Дар». Захожу в нижний буфет ЦДЛ. Сидит Бродский. И опять ни здрасьте, ни до свиданья: «Асар, я прочел лучшую русскую книгу». Я собираюсь спросить, уж не «Дар» ли, а он: «"Дар" Набокова».

— *Вам не кажется, что Бродский — залюбленный гений...*

— Что гений — кажется, а что залюбленный — залуженно. Я-то его полюбил, когда он был не залюбленный. А вот, скажем, Липкин... А Липкин вообще был человек, неколебимый в оценках... Так вот. Жил я в Коктебеле, когда там был Семен Израилевич. Я относился к нему с трепетным почтением — впрочем, и сейчас отношусь с не меньшим, — но тогда я слово лишнее боялся сказать. И я ему осторожно так признаюсь, что Бродский, по-моему, необыкновенный поэт. А он мне: «Знаете... Я от многих это слышал. Я, — говорит, — с ним встречался в больнице у Ахматовой... И, знаете ли...» К его чести, он там же, в Коктебеле, достал ворох самопечатных стихотворений Бродского, а потом наставил меня в следующем: «Видите ли, я разделил для себя поэзию на девять разрядов». Я: «Почему девять?» Он: «Почему-то получается девять, если следовать составу большой серии «Библиотеки поэта». Попробуйте, и у вас получится тоже девять. Так вот, в первом разряде у меня только Пушкин». Я с ним соглашаюсь. «А во втором у вас кто?» Я говорю: «Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Мандельштам». Он: «У меня то же самое, только у меня еще Некрасов, и, хотя мы с вами во многом не совпадем, но девять разрядов получится обязательно, и когда мы дойдем до девятого, то увидим, что там и Заболоцкий, и Бальмонт, и Брюсов...» (Не помню, кого он еще назвал)... «И, знаете, — продолжает Липкин, — Бродский в девятом разряде уже тоже»... Кстати, первую книгу Липкина, вышед-

шую через сколько-то лет за границей, напутствовал и предупредил предисловием Бродский...

— *Кто еще были люди в литературе, которые оставили в вашей жизни след, а может быть, и повлияли на вас?*

— Влиявших вроде бы не было. Побуждавшие были.

— *И учителей не было?*

— Как же! Были! Левик, Шервинский, Аркадий Штейнберг. Последний акмеист Зенкевич. Уж не считите за похвальбу, но характеристики мне в Союз писателей дали Левик, Зенкевич и Тарковский.

— *Хорошая компания.*

— У меня были замечательные наставники.

— *А они с вами занимались как учителя или вы просто разговаривали?*

— И занимались, и разговаривали. И не только со мной. С нами всеми. Штейнберг вообще был человек компанейский, свой. Как ровесник. Как-то я к нему обращаюсь: «Аркадий Акимыч, не могу на два слога найти эпитет в падеже!» А он: «И не найдете! Односложное прилагательное, которое в парадигме станет двусложным, имеется только одно — «злой». Других нет...» Вот так. Кстати, отсюда гениально у Высоцкого: «Что там ангелы поют такими злыми голосами?» И другого эпитета быть не может. И сама собой получилась потрясающая строка.

— *А вы занимаетесь преподавательской работой?*

— Некоторым образом...

— *Можно ли научить чему-нибудь в литературе?*

— Можно отучить. Например, научить избегать трюизмов, общих мест, банальностей. Скажем: «Звонк телефона произвел впечатление разорвавшейся бомбы». Сколько людей использовали в своих сочинениях эту чушь! Страшно подумать! Сейчас я веду литературный семинар под названием «Молодой ковчег».

— *Вы говорите с участниками семинара о переводческой работе?*

— Говорю обо всем — и о стихах, и о прозе, и о переводах. И о драматургии. Народ от среднего до высокого среднего уровня... Заглянул однажды один сложившийся поэт. Аркадий Штыпель. Подарил превосходную книжку. Есть и еще несколько многообещающих. В последнее время стали заглядывать студенты Литературного института...

— *Мне кажется, что вы должны любить Пастернака... Да?*

— И люблю и, конечно, изумляюсь его мастерству. Совершенно безграничному. И навсегда поражен его обликом. Когда я впервые увидел фотографию Пастернака в синем томе Большой библиотеки поэта, я даже оторопел, совершенно не предполагая, что бывают такие лица. И еще поражен его стихами в «Докторе Живаго». Ранние стихи Пастернака не менее великолепны. В них поразительна мощная мускулатура. Впрочем, у многих поэтов того времени она поражает — скажем, у Цветаевой, Клюева, того же Зенкевича. А уж у Маяковского! Однако есть для меня в тогдашних стихах Пастернака некоторая вербальная чрезмерность. Хотя говорить так вне контекста времени и тогдашних поэтических ристалищ — не следует.

— *Вас не удивляет, что Пастернак отдал свои гениальные поздние стихи — герою?*

— Меня скорее удивляет, что стихи отданы или, если хотите, «приданы» роману.

— *А не может быть, что автор подарил герою и роману лучшее, что у него было — стихи, — чтобы укрепить прозу?*

— Пастернак был своим романом вполне доволен. И не полагал стихи «скорой помощью». Опять же, мне не пристало сидеть даже на краешке пастернаковской тахты, но я, представьте себе, тоже вознаме-

рился было «придать» стихи «Травяной улице», а потом решил, что нет, не буду этого делать. Почему? Не знаю. Очевидно, сработал внутренний регулятор... И еще я не сделал этого — не прикрепил их к прозе, потому что понимал, что это плагиат пастернаковской композиции. А вообще-то, герою дарится многое — и коллизии собственной жизни, и даже собственное имя. Достоевский, например, назвал самого, пожалуй, мерзкого своего персонажа Федором. Федор Карамазов. А еще у него есть Федька-каторжник. Каждый раз, записывая «Федор Карамазов», он же не забывал, что это — и его собственное имя. Пастернаковский же роман я недавно перечитывал. И, надо сказать, не всем в нем убежден. Конечно, сама судьба романа и автора — трагедийны и величественны. Но Пастернак был, по-моему, поэтическим инструментом. Хотя «Детство Люверс»... «Апеллесова черта»...

— *Кто вам нравится из современных писателей? Знаю, что Петрушевская...*

— Еще Горенштейн. В свое время Саша Соколов. Петрушевская — безусловно. Кабаков. Еще есть замечательный писатель — Анатолий Гаврилов, он во Владимире живет. Превосходен Бакин, — но он появился и куда-то исчез. Довлатов...

Я бываю страшно рад чужой удачной книге. Увы, большинство современных текстов полны пустот. Я бы даже сказал, что поэзия у нас в лучшем состоянии. Хотя и проза есть великолепная... Наконец-то русская литература занимается фактурой и веществом текста. До этого она больше учительствовала или была отвлеченной и не «мирской», как в начале XX века. Другое дело, что словесность попала в капкан масс-культуры, в каковом она никогда не бывала...

Вот у вас, Таня, книжка на тумбочке — Юрий Коваль. Поразительный писатель. У меня с ним связа-



на замечательная история. Однажды он мне говорит (опять же в Дубултах): «Я, как вы знаете, собираю всякий писательский сор: черновики, исписанные бумажки, рисуночки, квитанции. Словом, составляю такие альбомы не альбомы... И сейчас, — говорит он, — приступил к очередному под названием «Праздник белого верблюда». Тарковский, Ахмадулина, Битов у меня уже есть... Сочините и вы что-нибудь...» Сами понимаете — соседство лестное, и я взялся сочинять. Писал-писал (Тарковский! Ахмадулина! — старался ужасно), рисуночки сделал — верблюд, возлегающий в пустыне в виде светильника... И сочинил, по-моему, то, что надо: «Ночью тьму в пустыне Гоби,/ Черную, как фрак во гробе,/ Тот берется одолеть,/ Кто рожден во тьме белеть.../ Эта гордая причуда — (Сноска: Веры свет в потемках блуда.)/ — Праздник белого верблюда».

— *Изумительно. А Ковалю понравилось?*

— Коваль сказал: «Асар! Я вас обманул — в этом альбоме вы первый».

— *О, провокатор! Кажется, у Ковалья-художника был ваш портрет?*

— Да. Я на нем изображен в большой такой папахе. Жена мне тогда решила купить папаху. Кроме позирования, я папахой больше не воспользовался. А еще у меня есть Юрина кассета, записанная в вечера парада планет: он замечательно поет свои замечательные песни, аккомпанируя себе на гитаре.

— *Асар, а вы дневник ведете?*

— Никаких дневников. К сожалению. У меня для ведения дневников была неустроенная жизнь. И до сих пор так.

— *А мемуары?*

— Не пишу и не собираюсь.

— *Почему?*

— О чем? И времени нет.

— *Это все отговорки!*

— Ничуть! У меня есть статейка про тюленя в зоопарке, плававшего подо льдом, тогда как публика хотела, чтобы он вылез из полыньи. Когда же он наконец вылез погреться на островок, все стали кидать в него ледышки, ишь, мол, разлегся!.. Плавай давай! Уныривай! Приблизительно то же самое со мной. У меня почти не бывает двух похожих друг на друга дней, так необходимых для спокойной работы, в том числе для мемуаров и дневников...

Вильгельм Вениаминович Левик — я о нем уже говорил, — любимый мой наставник. Мы с женой все время собирались пригласить его в гости — никак руки не доходили. Один раз я по некоторому поводу на него обиделся, и он хотел со мной объясниться. Случайно встретились в ЦДЛ. Я заехал купить в ресторане батон. Он говорит: «Я хочу объяснить вам...» А я ему: «Вильгельм Вениаминович, меня в машине ждут — я за батоном приехал...» А он: «Но я же...» Так его и не выслушав, я побежал к машине... А в ночь того же дня он умер. И в гостях у нас не побывал...

Я маюсь, оттого что всегда куда-то спешу или что-то делаю в спешке. Одно обязательно налезает на другое. У жены в театре на собрании по поводу репертуара один выступающий сказал: «Опять “Спартак” налез на “Гаяне”»... Вот и у меня то же самое...

— *Неужели и впрямь все так сумбурно и торопливо на самом деле?*

— Да, так жизнь сложилась... Отец умер, мама тяжело умирала, мама жены — удивительная женщина — умерла, брата не стало... Это же больницы, уход, переживания, принятие роковых решений. А тут еще и писать надо. У меня есть машина. Машине шестнадцать лет. Вы не поверите — она прошла тридцать с небольшим тысяч километров, столько, сколько обычный горожанин наезжает за одно лето. Обретается она около дома под небесами и, конечно, за-

ржавела. В прошлом году я решил привести ее в порядок. Истратил на это девятьсот долларов. Перекрасил ее, заменил разные детали, привез, поставил... и с тех пор ни разу на ней не ездил. Некогда подойти, разогреть, подлить чего надо... Так живу.

— *Но все-таки вы ухитрились написать замечательные книжки рассказов.*

— За эпитет, конечно, спасибо! Что-то сделать, конечно, удастся. Каждый день работаю.

— *И с мемуарами бы получилось. Уже то, что вы мне рассказали про Бродского и его отца или про Коваля, — мемуары.*

— О да! «Былое и думы»!

— *Именно: былое и думы о нем. А скажите, нужна ли писателю, на ваш взгляд, профессиональная среда, литературный быт, разговоры с коллегами — или плодотворнее творческое одиночество?*

— Конечно, нужна. Особенно молодому. И желательно высокой пробы. Это суэта, которая должна происходить и сопровождаться пылкостью. Женщины ведь ходят по всяким модисткам и распродажам?.. Это же интересно. Человек искусства, он в каком-то смысле сепарируется от рода человеческого. И есть три формы существования: самоизоляция, общение с себе подобными и общение с себе не подобными.

— *У вас недавно вышла в издательстве «Б.С.Г.-пресс» книга эссе. Изумительная. Что вы в нее внутренне вложили?*

— Опять же спасибо за эпитет. Книга далась канительно. Предыдущая издательница два года ее мариновала (это издательство «Независимой газеты»). И я оттуда рукопись забрал.

— *Она расстроилась?*

— Она удивилась такому, по ее мнению, капризу. Но два года — это же безобразие! У меня нет запасной жизни... Она потеряла выданный мне неболь-

шой аванс, а я — два года. А вот издатель Александр Гантман мои статьи и эссе выпустить решился. Мы с ним до этого сотрудничали на двух очень примечательных книгах — Шульца и Зингера... Кстати, последнего я перевел с идиш. Такое впечатление, что по этой части я на российской территории последний из могижан и за мной дверь закрывается. Пока еще есть люди, знающие идиш, но литераторов меж них не наблюдается. А возможно, я ошибаюсь.

— *Вы кто по знаку зодиака?*

— Козерог. Моя жена Регина — Дева. Полнейшая, как видите, гармония. В свое время, когда знаками зодиака никто не интересовался, я сочинил такое стихотворение:

На этой ли земле или в другой юдоли  
Себя переболей, себя преодолей,  
Востребуй более своей законной доли,  
И Зодиак твой будет Водолей.

Строгай дощечки и востри стаместки —  
За деревом твоим, под деревом твоим  
Стоит и твой январь клянет по-арамейски  
Коричневатый патриарх Рувим.

А ты не унывай и встречи с палачами  
Не ожидай всю жизнь, в окошки не смотри,  
Пиши стихи, гуляй и ощущай плечами  
Повадки воздуха, поскольку ты внутри.

Оказалось, что в астрологии Рувим соответствует Водолею или Козерогу (Водолей идет сразу за Козерогом) — с каждым знаком соотносятся определенные металлы, драгоценные камни, патриархи... А я, не имея тогда об этом ни малейшего понятия, назвал именно Рувима...

Почему так получилось?

# БЕЛ КАУФМАН

## ПРИВЕТ, УЧИЛКА<sup>1</sup>

Бел Кауфман — известная американская писательница, автор книжки о школе «Вверх по лестнице, ведущей вниз», в 67-м году ставшей у нас бестселлером, а сейчас в питерской «Азбуке» с успехом переизданной. Кроме того, она — внучка знаменитого Шолом-Алейхема.

Ее мастерская находится на Парк-авеню в Нью-Йорке. Там масса картонных ящиков — Бел готовится сдать свой архив в один из американских колледжей.

Ей девяносто три года. Красивая. Элегантная. Обтягивающие черные брюки. Широкая белая блуза. Очень высокие каблукы. На пальцах — крупные перстни. И хохочет, сияет.

Самая молодая писательница, какую я встречала в жизни.

— *Бел, а кто была ваша мама?*

— Она была дочь Шолом-Алейхема. Ляля Кауфман. Писала маленькие новеллы. Была талантливая рассказчица... А вы, Татьяна, хорошо читаете по-английски?

<sup>1</sup> Интервью было опубликовано в «НГ-антракт».

— *Плохо. А что?*

— Я хочу вам показать мое последнее издание. Это очень красивая книга на английском — об Одессе, где есть и мои воспоминания. Один любитель Одессы много лет собирал всякие фотографии, всякие открытки. Он попросил меня написать предисловие. И я написала — мое воспоминание об Одессе: как революция выглядела в глазах семилетней девочки.

— *У вас этот текст только на английском? А что если его на русский перевести?*

— Никто пока не переводил. Но они ведь не платят. А я к этому не привыкла как американская писательница. Надо платить, если кто-нибудь захочет переводить... Когда был Союз, то меня приглашали вместо гонорара. Может быть, пригласят? Было бы хорошо...

— *Ваш русский прекрасен. Он идеальнее, чем наш. Это классика. Теперь так говорят в России, что вы половину слов не поймете.*

— Сленг?

— *Сленг, жаргон, мат.*

— Здорово. А как сейчас в России с еврейским вопросом?

— *Хорошо. Антисемитизма официального на данный момент нету. Много синагог и еврейских культурных центров.*

— Все это только в Москве?

— *Могу точно сказать только о Москве, но думаю, что такие центры есть и в других городах, где много евреев.*

— Я была в Киеве года три тому назад. Памятник Шолом-Алейхему, огромный, среди города — и меня попросили там выступить. Кажется, еще недавно украинская земля была залита еврейской кровью (помните Бабий Яр?), а сейчас... Шолом-Алейхем! Шолом-Алейхемская улица...

— *Как вы это объясняете?*

— Я их сама спросила: «Как это?» И в Москве тоже есть памятник Шолом-Алейхему, около Театра на Бронной, но уж очень некрасивый... Мне посылали фотографию этой скульптуры. Мне не понравилось. Что-то непропорциональное.

— Я вам привезла недавно переизданную у нас вашу книжку «Вверх по лестнице, ведущей вниз». В России это до сих пор одна из любимейших книг (тут и кино сыграло большую роль) — даже само название «Вверх по лестнице, ведущей вниз» вошло в общенародный разговорный язык, стало идиомой, что ли.

— У нас тоже вошло в английский как идиома.

— С момента выхода этой книжки минуло уже лет сорок. Что было создано после — романы, повести, новеллы?

— Я напечатала большой роман — по-моему, гораздо лучше этой книжки. Он вышел тут в 79-м. Роман психологический, в трех голосах. Его трудней читать. Как он называется? В переводе на русский — «Любовь и все прочее». Потом я писала много эссе в журналах. О литературе, об официальной американской школе.

— А в школе вы преподавали долго?

— Всю жизнь. После книжки про школу я еще преподавала и в университете. А теперь я главным образом выступаю про своего деда. Я — актриса-внучка. Все же недаром я была хорошая учительница. Людям нравится: я стою... двигаю руками... вспоминаю... И так — по всей Америке. Но последние годы я выступаю меньше. Многие, наверное, думают, что я уже умерла. (Смеется, но грустно.)

— Нет, у вас такая репутация, что вы очень даже живы и еще молоды.

— Недавно напечатали в одной газете интервью — и снова стали приглашать: о, она еще жива! (Смеется, теперь уже весело.)

— А что вы рассказываете людям о своем деде, о знаменитом Шолом-Алейхеме?

— Это мое самое успешное — я его так люблю! Он мне прислал письмо из Америки в Одессу, когда мне было четыре года. «Дорогая внучка, я пишу тебе, чтобы ты поскорей выросла и выучилась писать и чтобы мне писала письма... Чтобы стать взрослой, надо есть побольше фруктов и поменьше конфет... Надо пить молоко...» Я ему, как могла, ответила. Вот уже 89 лет я помню это письмо своему «другому папе». Он был мой «другой папочка»... Вот я и выросла. Научилась писать. Да. Однажды я рассказывала о деде в огромном театре, а когда я закончила, то к сцене подъехал инвалид в коляске для больных и сказал: «Я слепой — я вас не вижу. Я глухой — я вас не слышу. Но я попросил, чтобы меня привезли, чтобы дотронуться до вашей руки». И я прослезилась. И всюду, где я о деде ни говорила, любовь к нему капает на меня.

— *Главная героиня романа «Вверх по лестнице...» — училка. Это автопортретный образ?*

— Да, но роман-фикшн. И для меня как самый большой комплимент, когда говорят, что я просто записывала и стенографировала все эти уроки, что все эти докладные записки и циркуляры документальны... Нет, я их сочинила, нафантазировала. Однако мне нравится, что они выглядят как документы, как нечто реальное.

— *Один ученик по сюжету вашего романа пишет учительнице: дескать, «слишком много баб в школе». А? И у нас в школе тоже преподают все больше женщины... Что вы по этому поводу думаете?*

— Не знаю. У нас это потому, что в школе мало получают. Гораздо меньше, чем в корпорациях. А мужчины ищут работу, где хорошо платят... Хотя Сократ, даже не имея комнаты, был прекрасный учитель.

Дело в том, что когда-то наша школа была как пристанище для беженцев. И то, что было на улице, было вне школы. А теперь то, что делается на улице (наркотики, оружие и так далее), оно происходит и



в школах. Это не педагоги виноваты, это не их проблема — это проблема общества.

— *В вашем романе есть еще масса интереснейших вопросов (по сию пору актуальных), которые задают училке ученики. Например: должна ли быть отменена смертная казнь? Вы как на сегодня полагаете?*

— Я против смертной казни. Но я знаю и то, что очень дорого кого-нибудь в тюрьме держать. А эти деньги можно передать и в школы, и в клиники.

— *Вы раньше часто у нас бывали. Что вам дорого в России?*

— Русские имеют замечательный юмор и знают, как смеяться над собой. Я была в Москве несколько раз. И всегда мне рассказывали анекдоты.

— *Например?*

— Один человек каждый день в три часа идет туда, где продают водку. И берет два стаканчика водки. Его спрашивают: может, сразу двойную порцию взять? Он отвечает: это сантимент такой — у меня друг на Камчатке. Мы друг друга любим. Он тоже в этот момент идет там, на Камчатке, куда надо и берет один стакан для себя, один для меня... И вот однажды этот тип приходит и просит только один стакан. Продавец говорит ему: «Ваш друг с Камчатки умер?» А он отвечает: «Нет, это я бросил пить!» Мне нравятся ваши анекдоты.

— *С кем из советских писателей вы дружили, когда прежде к нам приезжали?*

— С Толей Рыбаковым. А Евтушенко и Вознесенского я уже отсюда знала. Они тут часто бывали. Беллу Ахмадулину встречала. Не помню больше имен... Фрида (Фрида Лурье, переводчица. — Т.Б.), которую я любила, как сестру родную, — меня представляла всем в ЦДЛ, где мы часто ланчевали. Там была самая лучшая кухня в Москве.

Жаль, я Бродского никогда не встретила. А я его так люблю. Я хотела с ним познакомиться, но по-

стеснялась навязываться... Ко мне приходят — я рада. А сама — никогда.

— *Вы знали Набокова?*

— Я знала его сына — Дмитрия. А Владимира Набокова я боготворю как писателя. Смотрите на мои книжные полки — там все, что он когда-либо писал. Романы, и письма, и лекции — все у меня есть... Я его собирала. А один раз я Набокову даже написала письмо — и имела ответ от Веры. Строгий.

— *Что ж она вам написала?*

— «Мой муж очень занят, не имеет времени отвечать. Спасибо за ваше письмо. Вера Набокова». Я читала ее книгу «Вера» — она прожила очень интересную жизнь. А он писатель замечательный, хотя бабочки меня не интересуют.

— *Кто еще ваши любимые русские писатели?*

— Обожаю Чехова. Но именно его короткие рассказы. Тут он больше знаменит как драматург, а я рассказы его наизусть знаю. Чехова очень любил Шолом-Алейхем. Если больно, начинаешь Чехова перечитывать...

— *Что в вашей жизни значит юмор?*

— Много-много-много. Моя книга, которую вы знаете, про школу, написана так, что люди все время смеются, но когда кончают, то думают: о, все не так-то просто и не только смешно. Я часто цитирую такое высказывание одного американского прозаика: «Жизнь — это комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...» Это — моя главная тема в книге «Любовь и все прочее». Над ней можно и смеяться, и плакать одновременно.

— *Вы в жизни много любили?*

— Да. Женщина понимает женщину.

— *Любовь часто несет нам несчастье, ибо кто-то непременно любит сильнее — даже если любовь взаимная... Как это переносить с достоинством?*

— Кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. По мне, важнее любить, чем быть любимой. Меня много обижали. Когда я была молодая. Мно-о-ого было трагедий. И все равно надо любить.

— *А какой вы дадите совет молодым девочкам: как — чтобы и любить, и не страдать?*

— Не знаю, есть ли такой способ. Я очень страдала, когда я была молодая. Влюблялась не в тех, в кого надо. А потом стало легче, потому что выяснилось, что важней — получить ли какое-то письмо или не получить. Или нужно ли сутками ждать звонка... А может, это не так важно? Правда? С годами мы делаемся свободнее... Вы еще очень молодая. Вам пятьдесят пять? Оттуда, где я сижу, вы как ребенок. Знаете, моим будущим стало мое прошлое... Почти никого из друзей жизни не осталось. Правда, я встречаю новых, молодых, но это не то же самое. И все же хорошо, что у меня есть их общество. Это омолаживает.

— *Поделитесь секретом: каков источник вашей необычайной энергии?*

— Может быть, это от того, что я голодала во время революции? Кушала сырой зеленый гороховый хлеб...

— *А может, генетика?*

— Вряд ли. Отец умер тут в шестьдесят четыре года. Он был врач... А мама умерла в семьдесят семь. Она бы дожила и до ста, но имела рак и не хотела его лечить... Что касается меня, то я ем всё. Никаких диет. И танцую.

— *До сих пор танцуете?*

— А вы до сих пор дышите?! Конечно. Я раньше недобрала. Я хожу в одну студию, где танцую с профессиональными танцорами. Каждый четверг. Разные танцы: вальс... всё. Уже лет двадцать пять я туда хожу. Танцую на каблуках. Хотя мне девяносто три — смотрите на мои каблучки! Я так привыкла.

— *Что главное для человека, чтобы не ощущать себя старым? Ведь бывают старики и в сорок...*

— Главное, чтобы оставалось любопытство. К людям, к жизни, к книгам. Любопытство — источник энергии. Мне интересны новые люди, новые изобретения, новое в моем компьютере...

— *Вы им хорошо владеете, компьютером?*

— Не вполне хорошо. Но работаю на нем, конечно.

— *Кем работает ваш муж?*

— Трудно сказать. Он имеет пять профессий. Был профессор-марксист. На телевидении своя передача про Китай. Он артист. Он фотограф. Он заведует Фондом Шолом-Алейхема. Все не припомню. Ему 88 лет. Он на пять лет младше меня — ему нравятся женщины постарше. *(Смеется.)*

— *А что это за Фонд Шолом-Алейхема?*

— Мы стараемся и в Европе, и тут, чтобы еврейский язык (идиш) не забылся и чтобы Шолом-Алейхем не забылся. И вообще — еврейская культура. В Киеве у нас каждый год — фестиваль шолом-алеихемский. Был он и в Праге. Кажется, будет в Париже.

— *Какой у вас личный литературный девиз? Например, у вашего друга Рыбакова был девиз: «Чтобы написать, надо писать». А вы что скажете?*

— А по-моему, чтобы написать, надо переписывать. Много-много раз.

— *Сколько было черновиков у книги «Вверх по лестнице, ведущей вниз»?*

— Может быть, десять... Не меньше. Я, когда переписываю, делаю короче и сильнее. Например, у меня там была целая глава «Расистские предрассудки», но я сократила ее до одной фразы: «Я черный — можете ли вы это установить по моему почерку?» Вот и всё. Достаточно. В общем, есть писатели, которые сразу пишут набело. Не я. Я им завидую. Мне надо делать короче, и короче, и короче.

— *Вы в последний раз когда были в России?*

ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

— Последний раз я была, повторяю, в Киеве. А в Москву меня уже до-о-олго не приглашали. Спасибо, что вы мне привезли мою книжку. Если бы не вы, никогда бы не узнала о ней. Хорошо бы меня пригласили вместо гонорара, а? На неделю, с мужем, в Москву... Я буду так рада!

*Нью-Йорк—Москва  
сентябрь 2004*

# МАРИЯ ЛУИЗА СПАЦИАНИ

МУЖАЙСЯ, ДУША, И СОБЕРИСЬ С ДУХОМ<sup>1</sup>

Это о ней сказал великий Монтале в письме к Камю: «Быть может, единственная в Италии женщина-писательница, которая имеет право называться поэтом...» Она родилась в 1924 году в Турине. Первая книга стихов «Субботние воды» вышла в 1954 году, и весной 2004 литературная Италия широко отметила 50-летие творческой деятельности поэтессы. Книги выходят одна за другой: два последних сборника увидели свет в 2002 году... А в конце того же года Спациани прилетала в Москву на презентацию своей книги-билингвы «Стихотворения» (переводы на русский сделаны Евгением Солоновичем).

— *Мария Луиза, есть ли у вас собственное определение поэзии?*

— Это как золотой слиток в банке, который хранится вечно. А простая речь, обыденные слова, они как бумажные деньги, которые в обиходе рвутся, изнашиваются...

— *Кого вы считаете своим учителем?*

<sup>1</sup> Интервью было опубликовано в «НГ—Ex Libris».

— Двух поэтов, совершенно разных и не похожих один на другого, — Рильке и Рембо. От них идут очень важные составляющие моей поэзии. Чувство, которое я хотела бы назвать метафизическим, и — оригинальность. Если я не слишком много на себя беру! Потом, конечно, много значительных итальянцев. Леопарди, Д'Аннунцио, Монтале — это моя триада. Многим я обязана и другим поэтам — испанским, русским... Меньше англичанам. Потому что у меня никогда не было симпатии к английскому языку — это удалило меня и от поэтов. Единственное исключение, которое я бы сделала: Дилан Томас.

А вообще все время чему-то учишься.

— *Существует ли, на ваш взгляд, женская поэзия как отдельный феномен, как изолированное явление? Не раздражает ли вас такое вычленение?*

— Очень раздражает. Могут быть темы женские... Поэт-мужчина никогда не сможет описать наслаждение от кормления грудью. Это невозможно целиком придумать. Правда, Флобер в «Мадам Бовари» очень близко подходит к этому. И другие тоже... А женщине, например, меньше хочется изображать баталии. Когда я работала над поэмой «Жанна д'Арк», мне пришлось описывать орлеанское сражение. Кажется, я с этим справилась, но я о-о-очень сократила это описание. Толстой размахнулся бы тут на шестьдесят страниц, а у меня — четыре октавы.

— *У вас есть книга «Женщины в поэзии», да? Я слышала, что в нее вы включили воображаемые интервью со своими любимыми поэтессами, в частности — с Ахматовой и Цветаевой. Какие же вы задали вопросы Анне и Марине?*

— Честно говоря, уже не помню, ведь вы говорите о книге, которая вышла больше десяти лет назад. Кажется, один из вопросов, заданных мной Ахматовой, касался ее первой встречи с Гумилевым. А в конце

«интервью» я процитировала ее стихотворение «Муза», заметив, что мало кто из поэтов вспоминает в наше время эту свою верную подругу. Цветаеву же я спрашивала о ее детстве, о семье. Помню еще, что один из вопросов звучал приблизительно так: «Были ли в твоей жизни минуты душевного покоя?»

— *Вы в свое время создали и возглавили международную поэтическую премию имени Монтале, весьма авторитетную и почетную. Стало быть, через вас проходит множество поэтов из разных стран. Какие тенденции в современной лирике кажутся вам наиболее существенными?*

— Сегодня мы живем в подобии Вавилонской башни. Гораздо легче было видеть линии развития во времена Малларме. Потому что тогда еще существовали учителя. Нынче это невозможно. Пример для сравнения: после того как разрушили бастионы вокруг Парижа, остались сотни километров пустой выжженной земли, и состоятельные люди бросились на освободившемся месте строить дома. Один возводил дом в форме греческого храма, другой — египетской пирамиды, третий — африканской хижины... Потом появился знаменитый урбанист Эжен Османн — он как настоящий диктатор заставил все это разрушить. И было решено, что все дома, которые появятся вместо разрушенных, будут в том стиле, который сегодня называется стилем Османна. Мы сейчас находимся на первом этапе. Каждый пишет стихи какие хочет. Можно быть футуристами, а можно писать традиционные рифмованные стихи... Но есть движение, которое мне крайне несимпатично, — это минималисты. Они боятся смотреть на мир широко. Они настолько страшатся риторики или боятся быть «рабами традиции», что становятся сухими. Сжимаются. Я предпочитаю спиритуалистов, которые вовсе не обязательно верят в Бога, но у них есть тенденция вверх... Мой дорогой Рильке говорил: «Бог — это на-



правление». Глупо представлять себе кого-то бородастого, ждущего нас «там». Важно путешествие. Важна дорога, а не прибытие.

— *Кому (чему) посвящены ваши стихи последнего времени? Есть ли ведущая тема и конкретный адресат?*

— Вся книга «Путешествие через оазис» (2002) посвящена мужчине. Это книга любовной лирики. Там сто восемь стихотворений, и все они — о любви.

— *Вопрос еще: вы близко знали нескольких гениев — почему поэту жизнь дается труднее, чем нормальному человеку?*

— Потому что нормальные люди ходят по земле в обуви — в ботинках. А поэты ходят босиком. Их чувствительность более обнажена. А поскольку женская кожа еще более чувствительна, чем кожа мужская, есть разница даже между поэтом и поэтессой.

— *И поэтессе жить еще труднее?*

— Конечно. Жизнь женщины труднее жизни мужчины, а поэтессы, соответственно, труднее, чем поэта... И вот подтверждение: треть самых известных поэтов в этом мире кончили жизнь самоубийством — повесились, приняли яд, утопились, а то и просто умерли от невозможности жить. От страданий. Это можно назвать медленным самоубийством. Личная трагедия конкретнее, чем, скажем, противостояние коммунизму.

— *А что вам — большой поэтессе — давало силы сопротивляться несчастьям, усталости, гибели?*

— Я никогда не сталкивалась со страшными трагедиями в своей жизни. У меня были большие страдания — смерть матери, отца... Меня оставил муж... Смерть Монтале причинила мне огромную боль... Я пережила войну, мой дом был разрушен бомбой... Но я не могу сказать, что это были трагедии, которые превратили бы меня в героиню. Я бывала без гроша... Но все это вещи переносимые. Или естественные, или переносимые.

— *И все же, насколько я понимаю в стихах и в лицах, у вас чрезвычайно сильный характер.*

— Я очень легко влюбляюсь в людей и в вещи. Мужчина, которому посвящена книга «Путешествие через оазис», — это шестой мужчина в моей жизни. Я даже так написала в одном стихотворении: «Пять завершённых любовей составляют жизнь». И каждый мужчина, которого я любила, связан с циклом стихотворений

— *Адресат последнего цикла, если не секрет, тоже литератор?*

— Он — большая величина в политике. Но он и стихи пишет, и очень любит литературу. Но известен он как политический деятель.

— *Интересно: ему приятно, ему нравится, что он — адресат и прототип, точнее, лирический герой вашей лирики?*

— Нет. Не тот характер.

— *Но в глубине души ему интересно это «зеркало»?*

— Он все это воспринимает немножко отстраненно. Но поскольку моя книга имела успех, у людей возникло желание узнать: а кто это такой? Однажды кто-то предположил, будто это Пласидо Доминго, знаменитый тенор. Тут же опубликовали фотографию — его и мою. Я посмеялась над этим, но меня предупредили, что жена Доминго прострелила ногу одной его поклоннице. И я поспешила опровергнуть версию, сказав: «Это не он».

— *Ваши планы на ближайшие сроки?*

— Последнее время я открыла для себя театр. От меня, от поэтессы, никто не ожидал, что я начну писать комедии. Я — шизофреничка: с одной стороны, у меня лирика, с другой — вдруг комический театр... Еще большой успех имели мои афоризмы. У меня их около трехсот.

— *Приведите свой любимый.*

— Есть один, длинноватый. «Вряд ли в январский день приговоренного к смерти на костре утешит

мысль, что последние пятьдесят метров он пройдет по снегу». А еще я недавно сочинила афоризм о феминизме. Я феминизм понимаю как войну. Войну женщин и мужчин! А мы еще хотим, чтобы солдаты были хорошо воспитаны... Не знаю: переводимо ли это? Итак, формула феминизма в трех словах (очень даже по Юнгу). «Мужайся, душа, и соберись с духом...» Вспомню афоризмы и полегче. Например, про авиакатастрофу: «Есть и свои плюсы — можно не уметь плавать». Или вот еще — относительно надписей на книгах: «Пожалуйста, не пиши мне автограф, иначе эту книгу в магазине не обменяют на другую».

— *Здорово! И все же, Мария Луиза, надпишите мне свою русско-итальянскую книгу!*

— Сейчас надпишу. Только еще один афоризм напоследок. Года четыре назад я читала лекцию в одном городке. Возможно, в тот день у меня было особое вдохновение, но после лекции ко мне подошла женщина и поцеловала мне руку. Зачем? А может, я злодейка какая! И у меня возник афоризм: «Когда я прохожу мимо, порою говорят, что идет святая. Но у меня железное алиби».

— *Алиби — это блеск. А если бы у вас была возможность прожить жизнь заново, то вы бы постарались избежать неких ошибок?*

— Кто его знает... Меня четыре-пять раз в жизни очень сильно предавали (например, совсем недавно была тяжкая история с премией Монтале) — люди, казалось бы, самые надежные, самые верные... Если бы я начинала жизнь заново, кто бы меня предупредил, что эти люди меня предадут?

Один итальянский писатель сказал дивную фразу о предателях: «Утешьтесь, ибо даже Иисус Христос принял Иуду в свой круг»... А Он ведь был всемогущий.

Москва  
декабрь 2004

ДВЕ БЕСЕДЫ  
С ТАТЬЯНОЙ БЕК



«БЕСКОРЫСТНОГО  
ПОИСКА ПУТЬ —  
ЭТО ХЛЯБЬ,  
А НЕ ЧИСТОПИСАНИЕ»<sup>1</sup>

«Мы вас перечитаем», — сказала Татьяна Бек в радиоинтервью вскоре после смерти Василя Быкова. Думаю, это самое простое и лучшее, что можно сделать в память об ушедшем писателе. Рискую сорвать сроки публикации, я поняла, что не смогу писать, не перечитав, обложилась ее книгами и статьями и зачиталась с новым горьковато-острым ощущением невозможности передать свой восторг автору.

Интервью — жанр самодостаточный и редко нуждается в подробном вступлении. Я же позволю себе отступить от правила.

Наша беседа, которую предваряет это вступление, состоялась 7 июня 2002 года, в Таниной квартире на Красноармейской. Она немедленно откликнулась на мой проект аудиовоспоминаний о Юрии Ковале, зная по собственному богатому опыту, что даже человек легко пишущий, порой по-другому и о другом говорит в диктофон, если собеседник вызывает его дове-

<sup>1</sup> Это предисловие Ирины Скуридиной к ее беседе с Татьяной Бек о Юрии Ковале, равно как и сама беседа, были опубликованы в 2005 г. в 19-м выпуске «Иерусалимского журнала».

рие. Говорила она в свойственной ей «быстрой» манере, живо и весело, хотя, по собственному выражению, сумбурно: незаконченные предложения, недосказанные мысли, вольная или невольная инверсия. Она часто смеялась, несмотря на то, что большая часть нашей беседы была о грустном: об обидах, непонимании, недооценке... Меру откровенности в этом разговоре Татьяна выбрала сама и сразу. Я же, не вполне ясно представляя границы будущего проекта, отдалась «на волю волн» и чувствовала себя в этой беседе не живописцем, кисть которого «создает портреты писателей-современников», как писала в «До свидания, алфавит» о своих почти сорока беседах-новеллах Татьяна Бек, а скорее собкором малотиражки с фотоаппаратом «Смена» на груди.

Я не была ей, пользуясь Таниным выражением, даже «читателем-ровней», восхищаясь ее талантом, невероятным кругозором, работоспособностью, преданностью литературе. С каждой новой книгой или статьей — все больше. Один мой знакомый режиссер-документалист поделился со мной рецептом удачной беседы в кадре — задавать глупые вопросы вместо умных, чтобы избежать скучных ответов. В интервью, сделанных Татьяной Бек, простое и доброе отношение раскрепощало собеседника, а вопросы были умными, абсолютно живыми, неожиданными и провоцирующими интересный ответ, в них и сейчас прочитываются интонации ее голоса.

В книге, подаренной мне в тот день, два стихотворения она отметила особо в связи с темой разговора: в одном из них — посвящение Ковалю, фрагмент другого:

Не приемля всеми жилами  
 Новый паводок и слог,  
 Напишу — большими вилами  
 На водиче — некролог.

## ДВЕ БЕСЕДЫ С ТАТЬЯНОЙ БЕК

А в тот летний вечер 2002 года меня ошеломила его концовка:

«Прошевайте!»  
...Тем не менее,  
Кланяюсь тебе, Земля,  
Тихо уходя под пение  
(С неба) Юры Коваля.

Беседа наша изначально предназначалась для публикации, но, готовя материал, я исключила из него не только пару мест с Таниным комментарием «не для печати», но и несколько заключительных страниц, затрагивающих «privacy» здравствующих ныне людей. Несколько фамилий в тексте заменены латинскими буквами. Однако я оставила в ее речи странные словечки, оговорки и мелкие речевые огрехи — друзьям, знавшим ее оригинальную манеру разговора, это поможет «озвучить» текст и создаст эффект присутствия. Так же семью годами раньше сделала Таня, работая над моим интервью с Ковалем. И было это в 1998 году.

На традиционной декабрьской встрече сокурсников Коваля по Пединституту уже после его смерти, но всё еще в его мастерской на Серебрянической набережной (сейчас здание со всеми потрохами — мастерскими художников и частными квартирами — выкуплено какой-то богатой фирмой) я сидела за столом рядом с Дмитрием Антоновичем Сухаревым. В какой-то момент, выпадая из общей беседы, Д. А. сказал мне: «Думаю сейчас о публикации к дню рождения Коваля». А я — ему: «У меня есть большое неопубликованное интервью с Ковалем». «Покупаю», — немедленно пошутил Д. А. «Продаю», — поддержала шутку я. Так я попала в редакцию журнала «Вопросы литературы», членом редколлегии которого была Татьяна Бек. Я часто слышала о Тане от Юрия Коваля задолго до знакомства с нею. Впечатление



из рассказов складывалось очень дружеское и однозначно положительное. Вскоре я послала ей по электронной почте чуть выправленный и лишь слегка сокращенный текст, предполагая одним из вариантов реакции — полное ее отсутствие, как уже случилось незадолго до этого с «Огоньком». Но через несколько дней я получила свой распечатанный и, к моему удивлению, несокращенный текст: сорок страниц были педантично вычитаны и аккуратно выправлены, словно поработал с ними опытнейший корректор. Ни одна опечатка, недостающая или лишняя запятая, неточный перенос, отсутствие точек над буквой «ё» («Так Недопесков нету больше — всё!») не укрылись от ее умного взгляда.

Даже в сухом жанре внутриредакционной записки, направляя мое интервью главному редактору, телеграфно краткое описание предстоящей мне работы она завершила лиричными размышлениями в скобках: «Если Вы «за», мы беседу доработаем для нас: чуть сократить, оставить чуть непричесанный, разговорный тон, но убрать его издержки... сделать, где нужно, примечания и уточнения... написать (И. Скуридиной) толковое предисловие с историей вопроса, с объяснением жанра и обстоятельств, с наброском портрета Ковалья... (Интересно, что из этого интервью, где так отчетливо звучит его индивидуальная интонация, видно, насколько Коваль — при всей его одаренности, и известности, и даже избалованности популярностью — был неуверен в себе, даже закомплексован, откуда и идет некая, отчасти инфантильная, склонность к «хвастовству». То есть виден непростой и не очень счастливый писательский характер)».

И уже после одобрительной резолюции главного редактора — очень точные и подробные рекомендации мне, заканчивающиеся словами:

«Замечательно. Есть интонация, виден человек: нежный и (странно) ужасно, по-детски в себе не уверенный.

Все эти «ну», «вот» оставить (оговорив во врезе) как

элемент стиля, но — где вхолостую — все же сократить: утомляет.

Предисловие — 3-4 страницы. Примечаний чем больше, тем лучше».

Эх, жаль, что читателю не суждено видеть внутренние рецензии, по крайней мере, принадлежащие перу Татьяны Бек.

Мы очень долго и тщательно вместе работали над этим текстом, при этом Татьяна практически не касалась слов Ковалю и минимально правила мои, лишь иногда просила слегка развернуть некоторые вопросы. В очевидных случаях не боялась жестких замечаний типа: «Ваш вопрос должен быть менее бормочущим», «Ира, пуповиной (если реализовать метафору) связаны мать и дитя, а не “братья”». Помню, как я горделиво делилась в письме к Юрию Осичу своей опечаткой «дед вспомнил о своем дедстве» в его переводах молдавских друзей-писателей... «Смешная опечатка», написала Татьяна на полях, читая в верстке: «...беседа происходила на кузне моей квартиры» и заметив переключку с фамилией героя... Она просила обязательно проверить важные факты, незнакомые ей фамилии художников, издательские данные, названия иностранных премий. При всей своей языковой «правильности» Татьяна согласилась, оговорив в примечании, не «закавычивать» прямую речь в ответах Ковалю, чтобы не утяжелять текст. Казалось, что за ее столом одновременно работало несколько серьезных профессионалов. Мое интервью с Ковалем вышло в шестом номере «Вопросов литературы» за 1998 год.

... Пожалуй, самыми важными в июне 2002 были слова Тани, сказанные ею в конце беседы: все эти двадцать пять лет со дня знакомства Юрий Коваль был «интеллектуально и душевно, может быть, главный камертон моей жизни»... После трех часов замечательно интересного разговора в Татьяне в какой-то момент словно вы-

ключили невидимый тумблер — она вдруг почувствовала смертельную усталость, искренне извинилась, на этом мы и расстались тогда. А материал, напечатанный вчерне, лег на время в стол...

«Жанр беседы — он для меня особый и вовсе не служебно-журналистский», — пишет Татьяна Бек в «Похвальном слове беседе» и тут же легко делится профессиональными секретами: «Заинтересовать, потянуть за нужную нить, слушать, и будоражить вопросами, и, где надо, промолчать, и включиться, и повернуть, и...» ...Однажды журналист, потрясенный откровенностью Ковалья, весело пересказывавшего только что написанное, спросил: «А вы всегда рассказываете то, о чем пишете?» На что Коваль не задумываясь ответил: «Я пишу не сюжет, а рассказ...» Масштаб личности писателя и интервьюера — вот что я добавила бы к описанным Татьяной составляющим творческого успеха задуманной беседы.

Высшее счастье в мире — дружеская беседа.  
Смерть меня ужасает тем, что в разлуке — друзья.  
Но и земля сырая станет нам общим кругом,  
И посему от жизни смерть отделить нельзя.

Этим четверостишием афганского поэта Халили, переведенного Татьяной Бек на рубеже веков, мне хотелось бы закончить.

Это ведь не очень пессимистическая нота... Так, Таня?

*Ирина Скуридина*

# Татьяна Бек:

Я И СЕЙЧАС СЧИТАЮ,  
ЧТО ОН БЫЛ ГЕНИЙ

— Я начну издаleка. Мы с Юрой очень подружались в конце 1978 года, 79-й, в 80-м мы остались друзьями после таких более острых, возбужденных отношений, но немножко друг от друга устали. И позже совершенно отошли друг от друга — у него Наташа появилась как раз, у меня тоже... я всю уезжала подолгу в Грузию. Короче, мы надолго как-то разбежались, а встретились потом уже совершенно в другом раскладе... В начале 90-х, когда начались новые времена, в «Общей газете» (такая замечательная была газета — на днях закрылась) решили устроить целую полосу, посвященную Ковалю. И вот так же, как вы, они опросили разных людей, которые не знали о монологе другого, и потом устроили такой коллаж: о нем говорит, скажем, Битов, о нем говорит какой-то художник, и его собственный монолог, где... а мы с вами говорили, Юра иногда любил мыслить списками: «люди, которые на меня оказали огромное влияние в жизни». И там у него был список человек на двадцать, от первых учителей. Из пи-

сателей там у него были, скажем, Битов, Ахмадулина, Тарковский... [меня не было], я для себя это отметила, потому что я знаю, что я даже количественно гораздо больше дала... У него были такие звезды. Но я абсолютно... я умею прощать. Иногда не умею, а Юре, конечно, все просталось. И я с улыбкой это прочла. Но самое пикантное было в том, что на этой полосе был и мой монолог. Я там страницы на три написала абсолютно восторженно о Юре, что такое Юра для нас, и в моей жизни, и какой он талант... с огромной любовью, даже говорили журналисты, что лучше всех... И я видела, что на лице у него было (мы встретились в ЦДЛ) мучительное какое-то состояние. И вот тогда я почувствовала: Юре было так стыдно, он был так смущен... Он даже сначала наврал, в нем же много было детского вранья, мол, ты знаешь, это просто они там мне половину списка вычеркнули.

— *Очень может быть, кстати сказать.*

— Не думаю.

— *Ну да. Хорошо. Ладно.*

— И вот после этого у нас так потихоньку, потихоньку возобновились отношения, но на совершенно уже другом этапе. Если в начале, когда мне было, скажем, тридцать, а ему сорок, — это очень большая разница. И вообще, я была начинающий поэт, а он уже был такой для нас мэтр. Я просто смотрела снизу вверх, и в рот, и искренне, кстати... но при этом я и сейчас считаю, что он был гений... Как-то мы купили путевки в Малеевку, и там я писала свое, он писал «Лодку» и переводил Брассанса, французского знаменитого шансонье, и я ему помогала.

— *Это, мне кажется, был безумно интересный период и очень творческий.*

— Да-да, это отдельный рассказ. Это у него был безумно творческий период — он при мне писал «Самую легкую лодку в мире». Там есть и мои прототи-

пы, о которых я ему рассказала. Есть у него очень смешной персонаж Петюшка Собаковский — это от меня; я кончила за шесть лет до этого университет, у нас был абсолютно сумасшедший такой еврей из Харькова Петя Собаковский, который в общезитии подрался с негром. Абсолютно оба пьяные выясняли, кто... то ли кто хуже, то ли кто более преследуется: негры или евреи, и потом был разбор на комсомольском активе и этого Петю мы отстаивали, его чудом не выгнали из комсомола. И Ковалю это так и насмешило, и расстроило, что он назвал одного героя Петюшка Собаковский. Потом Клара Курбе, это тоже, я не буду называть сейчас, известная журналистка, очень манерная женщина... моя знакомая. Я рассказывала, а он с нее списал. А потом у него там все время обыгрывается борьба хорошего с плохим, борьба ветра с морем, в общем, такой идет пунктир, и он мне говорит как-то: «Тань, какая может быть еще борьба?» А я подумала и сказала: «Борьба борьбы с борьбой». И ему так это понравилось, что он просто мне жал руку, и он это вставил, и это, я считаю, не устарело. Наоборот, с каждым годом это все больше характеризует нашу местную жизнь. Потом он переводил Брассанса. Он играл на гитаре его мелодии, и я думаю, что он очень многому научился от Брассанса... Я очень рада, и это замечательно, что его включили в антологию авторской песни, потому что эта сфера его работы недооценена и надо потом вообще выпустить кассету даже, настолько гениальные... и настолько он на многих повлиял: и на Кима, и на Городницкого, и на Ряшенцева с его мюзиклами... Он настолько на меня сильно влиял, он мне столько дал за этот месяц в Малеевке, что моя книжка «Снегирь», которая вышла в 80-м году, должна была бы быть посвящена ему. И если она у меня войдет в избранное, то я, может быть, как-то это обозначу: памяти Юрия Ковалю... Интересно, сейчас

в процессе разговора всплывают какие-то детали. В-первых, там ряд стихотворений — просто портреты.

При тросточке, над бездной,  
Шел человек чудесный  
С ужасной бородой, *(он тогда с бородой ходил)*  
С улыбкой неуместной  
И тайною бедой.

Он объяснял нам чинно:  
«Кручина не причина  
Отчаиваться, раз  
Есть курослеп и чина,  
Ольха, береза, вяз».

С улыбкой виноватой,  
В рубашке полосатой,  
Он — баламут и мот,  
Но вовсе не бездельник —  
Сказал, что проживет  
Без счастья и без денег,  
Поскольку есть репейник  
И ласточкин полет...

Я знаю, что не врет.

Он обожал это стихотворение.

— *Замечательное.*

— И потом там есть еще цикл стихотворений, который называется «Дневник начала зимы», где тоже про него, про то, как мы гуляем... Вот за этот месяц что мне дал Коваль, ну кроме каких-то человеческих впечатлений: он меня научил различать птиц. Снегирь, клёст, шур, поползень, сойка, — я стала орнитологом, я их различаю, я их следы различаю, я их окраску различаю, голоса. Так. Звездное небо... У меня даже сохранился, он мне подарил, атлас звездно-

го неба. Тут я хочу не то что себя похвалить, хочу объяснить — он мне еще так много дал, потому что его это переполняло, он как-то сочетал любовь к природе абсолютно стихийную с почти естественно-научной, и было довольно мало людей, которые это с таким интересом слушали и воспринимали. То есть я оказалась очень благодарным, видимо, учеником для него.

— *И обучаемым.*

— Обучаемая, да... И я умела вот так кивать: «Ой как интересно! Водолей! Волосы Вероники! Большая Медведица!» Он это все описывал мне, когда мы гуляли вечером, и даже рассказывал историю этих названий, этих созвездий... Затем, все вот эти зимние животные: крот, норка, хорек, ласка... «Ласка» — он так умел обсасывать, как леденцы, эти названия. Причем сейчас я думаю, что, может быть, он половину даже артистически разыгрывал, не так уж он знал эти следы и эти норки. Но поскольку я такой слушатель, он мне говорил: «Неужели ты не понимаешь, что это вот сейчас пробежала норка, а за ней гналась ласка, они обе гнались, там, за кротом». Он разыгрывал целые сказки... И теперь я думаю, что уже прошло-то больше двадцати лет, и Юра уже умер семь лет, а у меня до сих пор в стихах, даже современных, — отголоски. Вот, например, стихотворение, одно из самых последних... Холодно? (Об открытой форточке, под которой мы сидели. — *И. С.*) Давайте я закрою...

— *Да, интересно...*

— Да, мне интересно самой, я сама не знала, что я это помню... я не хочу брать эти личные перепалки, потому что они у всех одинаковые, интересней вот эти творческие...

— *Да, популяризатор он был замечательный.*

— Вот я и говорю, как будто в одном лице он был и Брем, и Пришвин, и Бианки, и что-то гениальное



свое. Мы ходили куда-то на речку и изучали движение этой речки. Он знал циклы жизни этих животных, у кого какой средний возраст. Я даже думаю до сих пор: он как мой учитель. Например, [одно из стихотворений]: у меня депрессия, я ничего не хочу и иногда отключаюсь, хочется где-то отлежаться:

...точно в школьном углу  
в наказание за норы.  
А еще я завидую зимнему полю,  
где животные могут отделиться чать в норах.

Вот это чисто от Коваля. Я только сейчас в разговоре с вами поняла, что это то самое зимнее поле между Домом творчества «Малеевка» и деревней Вертушино... Мы сходили там в сельпо, купили какие-то тужурки, там продавались ватники, валенки, — он любил все это со вкусом стилизовать. И мы выходили в зимнее поле, и он мне показывал эти норы. Это же оттуда, а больше я никогда ни с кем не гуляла по зимним... Представляете, насколько это сильно осталось в подсознании. Или вот такое стихотворение, год назад:

...как не любящий птиц орнитолог,  
ты зачем на меня поглядел?

Я говорю это уже совсем другому мужчине и по другому поводу, но в подсознании у меня тоже Коваль. Это был любящий птиц орнитолог. Он был в одном лице и орнитолог, и сам певчий какой-то дрозд, да?.. Так что в Малеевке это был такой месяц, который стоит нескольких лет общения с другими людьми... Про что мы еще говорили? Ну давайте я еще расскажу...

— *Мы говорили о том, что он любил эти списочки, но при этом иногда он, может быть, кого-то упускал.*

*Скорее всего все-таки не по конъюнктурным соображениям. У меня есть и пример. Мы попали однажды в ЦДЛ в день юбилея детского поэта Н. Он снял большой зал: огромное количество народа и всё по ранжиру.*

— Он вообще очень ранжированный человек.

— *Увидев нас, он подошел, поздоровался с обоими и пригласил на свой банкет одного Коваля, при этом он меня знал, я к тому времени сделала с ним интервью на разворот газеты «Жили-были», но это даже не важно. Ко мне приглашение не относилось, я стояла рядом, испытывала неловкость за приглашающего и думала, как бы из этой ситуации выбраться. Юрий Осич же оскорбился, принципиально пошел в другой зал и устроил там свой параллельный праздник... То есть у него было вот это чувство «исторической справедливости».*

— Ну вот видите, а со мной совершенно противоположное... Я начала с того, что я на Ковалю вообще как-то не могла обижаться, за «списочек» я не обиделась, за нашу последнюю встречу не обиделась, когда я прождала его целый час зимой на улице... Так вот, мы долгие годы не общались, а потом уже как-то он меня увидел вдруг такой повзрослевшей, может быть, даже отчасти постаревшей, но такой очень сильной женщиной, и творчески уже какой-то взрослой, и мы даже немножко поменялись ролями.

— *Я бы сказала, что поначалу вы были моложе и смотрели снизу вверх, а потом вы вдруг немного стали старше его.*

— Да-да, по крайней мере, в профессиональном смысле — да.

— *И в человеческом, я бы сказала, плане...*

— А он, к сожалению или к счастью...

— *Задержался чуть-чуть.*

— Он задержался, или... а может быть, это была его форма роста. Но, вы знаете, ведь все в жизни связано, и хорошее, и плохое. Может быть, за счет этого он сохранил свою детскость и свежесть. Но в социальном

каком-то смысле он даже немножко вспять пошел. Мне было больно, когда я его видела в ЦДЛ. Я уже туда ходила как взрослый такой профессионал, а он все сидел с какими-то дикими пьяницами, и они как-то не очень приятно даже там наклюкивались... Это как раз плевать, не мне судить, я сама много наклюкивалась в жизни, но было видно, что какие-то они немножко бездельники, помните, вот эта вся его компания? Как-то мне бы его хотелось видеть в более сильном коллективе. Пусть это будут не знаменитые люди, но творчески сильные. А там какое-то было немножко переливание из пустого в порожнее. Это я все тоже видела.

— Ну, наверное, ему было нужно в какую-то клоаку чуть-чуть иногда закатываться.

— Да, может быть, ему там было легче.

— Скорей всего да, при его таком обостренном...

— Самолюбии.

— ...самовосприимчивости, я бы даже сказала... Может, ему такой фон был нужен.

— Да. Нет, я его принимаю полностью таким, как есть... Ну и дальше уже он как-то стремился очень к общению. Ему было очень важно перескочить из детского прозаика во взрослого, в полноценного взрослого. У него, как ни странно, был какой-то комплекс. В детской литературе он был признанный мастер, мэтр, там ему смотрели в рот, преклонялись, он даже какой-то семинар вел в последние годы, у него были ученики. А вот он не мог стать ну как Битов, Маканин какой-нибудь там... взрослым прозаиком.

— Тань, а как вы думаете, что это было? Комплекс неполноценности или нормальное качество любого нормального писателя? Почему для него не было очевидно, насколько хороша его взрослая проза?

— Ой, ну Ир, вы знаете, многие талантливые люди... у них какая-то шизофрения. С одной стороны, у них даже мания величия и они временами могут сказать другу типа «Старик, я гений», а при этом все

время они сомневаются. Это даже нельзя анализировать. Он же в интервью с вами как раз рассказывает, помните, что когда сам Домбровский его так похвалил и отнес в «Новый мир» и там понравилось, но вот сказали, что нет, не дотягивает, недолет... Да вы что, именно у вас: «Я понял, что я никогда не пойду во взрослую прозу, там плохо, там несправедливо, там высокомерно, там обижают». Хотя вы знаете... вот, например, я... Наверное, он был прав, что я очень сильная. Меня столько обижали в поэзии! Мне просто говорили: «Ты писательская дочка», эти пьяные мэтры... Мне Давид Самойлов сказал в двадцать лет: «Ты никогда не будешь как Ахматова или Цветаева, а иначе быть не стоит, поэтому бросай писать стихи». У меня в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Я сейчас пишу мемуары и недавно написала: «Все равно я ему благодарна за штудии — мы ходили в его семинар. Но попался бы он сейчас феминисткам каким-то, они бы ему оторвали вообще все места и сказали бы: «А почему ты себе позволил быть Самойловым после Пушкина и Пастернака?» Понимаете, это еще мужской такой вот шовинизм... И много чего мне говорили. Но я знала свое и шла своей... А у Юры... он очень зависел... Как у Пушкина: «Хулу и похвалу приемли равнодушно». Он и хулу и похвалу равнодушно принимал. От хвалы он перевозбуждался, от хулы он куда-то опускался.

— *Причем я бы сказала, это бывало по-разному, правда. Когда он был силен духом, он был на высоте той мысли, что это все — ерунда и преходящее, но когда ему не хватало энергии жизненной...*

— А у него видимо были такие перепады...

— *...тут он становился настолько раним безумно и чувствителен и к хуле, и к похвале. Действительно.*

— Да. Ну это как раз мне тоже очень знакомо, потому что у меня у самой такое синусоидальное психическое устройство, что когда я на пике, мне кажет-

ся, что я лучше всех во всех отношениях, а потом через два дня у меня может быть абсолютно нулевая самооценка, и у нас с Юрой... я очень его понимаю... Короче, он поэтому мне принес эту свою прозу «Сурер-Вьер». А я просто ему сказала: «Как тебе не стыдно, что ты сомневаешься. Это высочайший уровень».

— *А скажите, в чем были его сомнения? Я застала период, когда он читал эти главы. Он их писал и читал, и это все рождалось на моих глазах. И, конечно, восторг был полный, приятие было полнейшим.*

— От кого?

— *От слушателей.*

— А кто эти были слушатели?

— *Это были все кто угодно. Он читал всем.*

— Нет, ну там были профессиональные писатели?

Или он больше читал все-таки художникам...

— *Пожалуй, больше все-таки разным другим людям, не писателям.*

— Ну, не то что это какой-нибудь Битов или Ис-кандер?

— *Нет-нет, при мне такого не происходило. Возможно, он читал кому-то из них отдельно.*

— Не уверена. Он читал, ну там журналистам... ну, мы знаем его круг. Он мне сказал, что чуть ли не «я тебе первой из литераторов даю полностью». И он настолько сомневался!

— *Мне интересно, что он при этом говорил? Читки шли «на ура», и они стали стилем его жизни в это время, особенно первых глав.*

— А вы как раз тогда... это какие годы?

— *Я думаю, что это, наверное, 88-й, 89-й, примерно так.*

— Ну это как раз когда мы абсолютно потеряли друг друга, поэтому я тогда его образа жизни не знаю, его круг. И он, видимо, тогда как-то отошел от круга литераторов... А тут он хотел вернуться в большую литературу. Детская — это у него отдельно бы-

ло. Ну, он сомневался, он говорил, что, во-первых, это очень долго писал, чуть ли не тридцать лет, и «я как-то не уверен». Он, потом, знаете, почему еще не очень был уверен. Он при всей его начитанности был человеком очень неровно начитанным. Он был очень образован в разных сферах, и иногда неожиданно — в музыке, в живописи, а в литературе у него какими-то урывками, а вот, например, современную прозу он не очень хорошо знал. Всякие направления... Может быть, он в этом как-то был не уверен.

— *То есть он сомневался — хотел войти, а не очень знал, во что он входит.*

— Да, во что он входит — там же тоже какие-то образования.

— *Потому что он, конечно, был ориентирован на классику...*

— А в XX веке — на продолжение классики. Какой-нибудь Бунин, Пришвин.

— *И, в частности, про «Суера-Вьера» — он же очень себя привязывал к традициям гоголевским и свифтовским. Раблезианство тоже было его любимой темой.*

— Ну, это я всегда говорила о нем... Как-то по телевизору Шаталов его книжку показывал, и как раз тогда он меня пригласил на передачу, и мы о Ковале говорили. А до этого показывал книжку Гоголя, очень красивое новое издание. И он говорит: «А тебе не кажется, что Коваль вышел из Гоголя?» Я говорю: «Безусловно, и сам этого не скрывал». А потом я это по телефону говорю Наташе, а она мне: «Ну конечно, у него даже был свой глагол — поноздrevствовать, я ему часто говорила: “Кончай ноздrevствовать”». Да, от фамилии Ноздрева. И когда она это сказала, я даже перечитала главу о Ноздрева, у нас в школе всегда говорят, что это отрицательный герой, Ноздрев — пьяница, картежник, врун. А это же светлейший герой, он оптимист, он всех любит, он просто хвалится...

— *Он фонтан жизни.*

— Это такой сгусток энергии, фонтанирующий.

— *Причем он хочет всех приобщить к тому, чем сам занят, чем он увлечен.*

— Он людей хочет как-то подружить, поэтому он немножко врет, чтобы как бы рекламу сделать своим... И, действительно, я поняла, что в Юре очень много от Ноздрева. Ну не в самом Юре, а в образе автора, в его интонации, очень много ноздревского, в лучшем смысле слова. И, видимо, у него была робость, правильно вы сказали, что он куда-то входил и не совсем знал, куда. И он меня выбрал, кроме общей любви и симпатии, еще и как человека, который внутри этого литературного процесса, это ему было очень важно... А то вдруг окажется, как бывает, — он полез с чем-то, что давно уже прошли. Как один человек говорит в таких случаях, мне очень нравится: «Когда ты шел туда, мы уже шли обратно».

— *Интересно, как бы он отнесся к слову «тусовка», теперь модному. Ужасное слово.*

— Я думаю, он бы не любил это слово, он вообще не любил такие слова, какие-то захватанные, которые все употребляют, он любил слова или старые, или странные, или которые он сам как-то повернул новой гранью.

— *С каким-то свежим смыслом.*

— Да, свежие слова, а такой жаргон — это, в принципе, захватанные словечки.

— *Вот я и думаю, что он по-человечески, наверное, был, действительно, очень ранимым и он боялся в те времена; а сейчас я могу себе представить, как он боялся бы этой «взрослой» литературной тусовки. Вокруг детской литературы собрались люди, которые все-таки были более щепетильны, что ли...*

— Ой, Ирочка, там были жуткие акулы и крокодилы...

## ДВЕ БЕСЕДЫ С ТАТЬЯНОЙ БЕК

— *Разные, да. Это понятно. Но все-таки: детские библиотеки, встречи с детьми... Это все было как-то чище, проще.*

— Да. Там были сами дети, потом там учителя — это очень светлые люди, бескорыстные... А тот же X, или Y, они более даже хваткие, чем взрослые писатели. А Z?! Как раз в детской литературе писатели часто жуткие такие «хвататы».

— *Наверное, у каждого будет своя версия, почему он с трудом себя вписывал вот в эти «взрослые» тусовки. Не был до конца уверен в себе. По-моему, ему хотелось быть звездой...*

— А звездой он мог быть только... вот у него была своя такая тепленькая, уже обжитая, обдышанная ниша. Он мог жить только в каком-то небольшом очень теплом пространстве, где его принимали таким как есть. Он человек был очень ранимый, очень самолюбивый. Ему нужна была атмосфера какого-то обожания, но при этом обожания непошлого...

7 июня 2002

*Беседу вела Ирина Скуридина*



# ТАТЬЯНА БЕК:

## В НЕБО, КУДА ПОВЫШЕ...

«Дочка музыки земной», «сестрица всем живущим», «лишь любовь» считающая «школой, где учатся на человека». Но чаще иначе — шаржируя себя до гротеска: «То ли сполох беды, то ли радуга,/ То ли Муза в мужском пальто». Или вот так: «Косящие глаза, и нос крючком,/ И вечная улыбка...», «последыш и поздний побег», «старичье отечественной марки», «глупая правдолюбница», выросшая «в массовке тупика», «стихоплетка»...

И все же, за какие бы маски она ни пряталась, ее голос, чуждый фальши, «раздвигающий» пространство слова, устремленный ввысь — «в небесное, в непознанное, в диво», всегда узнаваем, а строки запоминаются с лёта.

«Стихи — это течение жизни», — сказала как-то Татьяна Бек. В чем убеждаешься всякий раз, открывая ее книги.

Беседа состоялась 23 июля 2004 года в ее доме. Расшифрована и подготовлена к публикации в сентябре 2005-го.

— *Татьяна Александровна, как известно, вы заядлая путешественница. Вам ничего не стоит сорваться с места и отправиться в путь. Не так давно, кажется, опять наковали чемодан?*

— Не так уж и недавно. В конце февраля — начале марта (2004 года. — *Е. К.*) впервые побывала в Израиле. Долго не верилось, что попаду в эту страну, которая всегда была для меня желанной и вместе с тем таинственной, далекой. Часто если к чему-то целенаправленно стремишься, то оно может и не состояться. А когда уже махнешь рукой, вдруг сбывается. Так и это путешествие — подарок судьбы. Меня пригласили друзья юности — Давид Маркиш и его жена Наташа Ласкина. Я провела в Израиле двенадцать счастливых дней. Успела как следует посмотреть и Тель-Авив, и маленькие городки, и, конечно, Иерусалим, и другие святые для христиан места. Мистика, но когда попадаешь в Старый город, действительно ощущение, что все так и было, Он здесь был.

— *Что еще не забывается?*

— Во-первых, я приехала в идеальное для Израиля время года — жуткой жары пока нет, но все начинает цвести. Буквально на каждом клочке земли. И какими-то необыкновенными, «вечными» цветами и растениями. И какие-то плоды на каждом шагу, и какие-то неведомые птицы... Во-вторых, я сразу же окунулась в гущу тамошней русскоязычной литературной жизни. Писателя Давида Маркиша я уже упомянула. По духу он абсолютно российский человек и при этом стопроцентный израильтянин.

Еще. Несколько лет назад я прочла роман «Розы и хризантемы» Светланы Шенбрунн. Была им просто очарована. Это высококлассная проза. С тех пор ее автор — моя любимая современная писательница. Позже я случайно познакомилась со Светланой в Москве. Но даже не могла и подумать о том, что спустя несколько лет буду гостить в ее домике на окраине Иерусалима. У нее есть и дети и внуки. Но сейчас живет одна. Исходили с ней — буквально до мозолей — весь Иерусалим, съездили на Мертвое море.

Светлана Шенбрунн — писательница мирового класса. Увы, недооцененная, на мой взгляд, в России. Литературное общественное мнение у нас чрезвычайно консервативное — выберут нескольких и раздадут слонов.

Кроме того, много общалась там со славистом Романом Тименчиком. Считаю его самым главным в мире на сегодня специалистом по Ахматовой. Знакома с ним тоже еще с юности, с тех времен, когда он жил в Риге. Сейчас он — профессор русской литературы в Иерусалимском университете. А его жена — прекрасная художница. И опять — прогулки, большая экскурсия по университету...

— *Ну а как же ваш поэтический вечер?*

— Вечер — громко сказано. Пришли около тридцати русских евреев. Когда вошла в зал, еле сдержала смех. Мне показалось, что это филиал ЦДЛ! Половина собравшихся — друзья юности, с которыми я ходила в литературные кружки: Зиночка Палванова, Лена Аксельрод, Боря Камянов — раньше он в ЦДЛ выпивал, а теперь в Иерусалиме. Только уже из кошерной посуды...

— *Любовь к путешествиям подтверждают и ваши стихи, которые «привозите» из дальних стран. На что прежде всего обращаете внимание, где в первую очередь стремитесь побывать?*

— Скажу честно, отнюдь не в крупном государственном музее — хотя и это замечательно. Для меня нет особой разницы — увижу ли я ту или иную картину в каком-нибудь хорошо изданном альбоме или стоя, усталая, в выставочном зале. Хотя... Пока не увидела Ренуара в Центральной галерее Чикаго, я не понимала этого художника.

Если есть возможность, стараюсь попасть в зоопарк. Обожаю зоопарки.

Самое же большое для меня наслаждение и желанное времяпрепровождение — сидеть, если не идет

страшный снег или дождь, на бульваре или просто в уличном кафе, наблюдать за прохожими, слушать, пусть и непонятную, речь.

— *Стало быть, знал что говорил Пушкин, воспевая свободное созерцание и творческое безделье? «Я знал досуг, беспечный муз удел,/ И наслажденья лени сонной...» Впрочем, это не помешало ему сказать и так: «Я знал и труд и вдохновенье,/ И сладостно мне было жарких дум/ Уединенное волненье».*

— О, Пушкин всегда, во-первых, знал что говорил. Даже если говорил в шутку. Во-вторых, у него всегда на любой тезис есть антитезис. Пушкин — это наш высочайший авторитет. Но и Корней Чуковский, которого очень люблю как критика, считаю своим учителем в критике, тоже был не промах! Кажется, где-то в мемуарах у него есть гениальная фраза — дескать, поленишься-поленишься и, глядишь, что-то вдруг сделаешь. Он прав! Именно во время праздных, казалось бы, пауз, бездействия, лежания на диване или депрессий и тому подобных состояний и происходит «переход Суворова через Альпы».

— *Чем это можно объяснить?*

— Наверное, какими-то тайными пружинами внутренней творческой энергии... Очень часто человек предается псевдодеятельности. Многих, и меня отчасти, это губит. Но я хотя бы стараюсь о том не забывать. Вы не замечали, сколько лжеэнергичных людей, особенно в литературном и журналистском мире? Куда-то они бегут, бегут, бегут... «Старик, ты читал? Ты уже передал?.. А ты знаешь, там-то презентация?..»

С одной стороны, хорошо, что пришли новые времена, жизнь стала свободнее, разнообразнее. Но с другой — больше суетных соблазнов. Знаю немало талантливых литераторов, которые на моих глазах на этом пути если и не погибли, то завяли. В один день они могли оказаться на трех-четырёх презентациях.

Отмечались и, не дождавшись окончания, — на следующую. В новостных телепрограммах по культуре в связи с этим не раз случались накладки. Зритель недоумевал: «Как какие-то — допустим, поэт А. В. и его жена З. Б. — могли быть одновременно сразу в двух местах?»

Создать что-то стоящее можно только в одиночестве. Отключившись от всех телефонов, или куда-то от всех уехав, или погрузившись в чтение хорошей книги. Но, к сожалению, людей очень часто губит суетный страх: «Вдруг забудут? Вдруг “отключат” от “розетки”?»

— *По современным стихам можно догадаться о том, откуда родом автор, где он провел детство, какой пейзаж за его окном, кто его окружает?*

— Очень хороший вопрос... При условии, что это настоящая поэзия — причем даже если не будут указаны конкретные географические названия, предположим Литейный проспект или Моховая улица, — обязательно догадаемся, даже по количеству гласных, рифмовке, какую школу, питерскую, московскую, южную и т. д., он собой являет. Например, утверждаю, что коренные москвичи гораздо больше, чем северяне, почему-то любят дактилическую рифму. Возможно, в ней есть что-то сдобное, пышное, отчасти даже что-то от московской архитектуры.

Чаще же, к сожалению, сегодня встречаются стихи, где даже трудно определить — настолько они оторваны от индивидуальности, — кто их написал: мужчина или женщина. Между тем, как по капле крови при анализе уточняются все болезни и генетические особенности человека, так в настоящих стихах по строфе выявляется личность автора.

— *А вот вы и не пытаетесь «затушевать» в стихах московский выговор. Как будто даже его подчеркиваете:*

*Мне в моем одиночестве лихо,  
И нескушно, и даже тепло.*

Или:

*И, подъяв скворешники над садом,  
Родина прихлынет алфавитом...*

— Вот как?.. Вы третий человек, который мне об этом сказал за короткое время. Первой это отфиксировала литературовед Екатерина Орлова в статье «Поэтический роман Татьяны Бек», которая мне нравится больше всего из написанного о моих стихах.

У другой моей знакомой (она и сама пишет стихи), на дружеских началах взявшейся как высококлассный корректор вычитать верстку сборника «Сага с помарками», всякие «ш» вызвали раздражение, и она посоветовала их убрать. Ей показалось, что в этом есть жеманность и ма-а-сковское высокомерие. Но я все равно осталась при своем. Правда, про себя отметила: уже двое мне на это указали. Не люблю, когда какой-то прием себя выпячивает.

— Да нет, при чем тут «выпячивает»? Я же не об этом...

— Тем не менее московскость должна выражаться не в букве «ш»... Дело в том, что я просто очень люблю Москву. Я москвичка. Я здесь родилась. У меня очень много стихов о Москве. И только в Москве чувствую себя как рыба в воде. И, хотя обожаю путешествия, мое место — и психически, и архитектурно, и фонетически — Москва.

— Попутно еще об одной вашей стилистической особенности. Вы склонны употреблять варианты слов, которые рассматриваются как книжные и в какой-то степени устаревшие.

— Вы имеете в виду мягкий знак вместо буквы «и» в суффиксах отглагольных существительных? Вот опять-таки... Мой бывший студент, поэт, а также главный редактор приложения «НГ—Ex Libris» Женя Лесин — человек очень талантливый и добрый. Но

иногда впадает в истерику и может так отхамить, что мало не покажется. И вот буквально недели две назад он вдруг заорал: «Мне надоели ваши мягкие знаки вместо «и»! Это черт-те что!» Успокоившись, Женя объяснил, что по унификации никакие мягкие знаки в данном случае не нужны, но из уважения ко мне он вынужден их терпеть.

Я задумалась. Каждый раз я ставлю эти вариантыные формы осознанно. Мне очень важен ритм. Если иногда оставлю «и» в стихе, то выпадаю из ямба.

Кроме того, при правке «ь» на «и» меняется не только ритмика, но и почему-то какой-то тайный смысл. Отсюда, кстати, «ь» в моей эссеистике и прозе. «Служенье», «рыданье» — в этом заложено что-то более медлительное. «Служенье муз не терпит суеты...» — писал Пушкин.

— Почему в стихах почти всегда вы шаржируете авторпортрет (или своих лирических героинь)? Зачем нарочито сгущаете краски? Допустим:

*Когда я гляжу на окрестные рожки  
И, главное, в зеркало, — миру каюк!*

*Или:*

*До поры не читавшая Кафку,  
Ты летала по травам, по водам,  
И носила, светясь, безрукавку,  
И не знала, что станешь уродом:*

*Пустозвоном с чертами изгоя —  
Только в женском, как жизнь, варианте.*

*Или:*

*Как поэт трагической забавы,  
Я собою землю покачну.*

— Поэт трагической забавы — это незакавыченная цитата. Так сам себя называл гениальный недооцененный писатель Константин Вагинов. Мне этот образ настолько понравился, что я себя с ним отождествила. Точно так же, как есть актрисы, всегда играющие красавиц, причем независимо от внешних данных, это просто какой-то психологический тип, а есть — характерные. Допустим, Фаина Раневская — она же совершенно не урод! Но в ее героинях всегда присутствовала какая-то легкая идиотичность, хотя — объективно — она могла бы играть и другие роли.

Вообще ответить на этот вопрос довольно трудно. Ну почему одни несут себя в жизни без малейшей самоиронии, а другие — обычно это связано с какими-то нервными механизмами и чаще всего с переживаниями в детстве — постоянно рефлексируют? Некоторые дети к тому, что их дразнят, вышучивают, разыгрывают (наверное, этого не избежал никто), относятся легко и быстро преодолевают свои обиды. А у меня тут образовалась такая травма, такой комплекс — это я уже сейчас рассматриваю со стороны, как психоаналитик, — что мне легче первой себя высмеять, чем допустить, чтобы это сделал кто-то другой.

— *Снова из ваших стихов:*

*Особняком, отдельно, на отшибе, —  
Чтоб памяти и страсти не отшибло! —  
Цвету в шипах*

*на оголенной глыбе*

*И повествую сбивчиво и хрипло...*

.....

*Чем больше линий, и углов, и граней,  
Тем точка одиночества бездонней!*



*И в то же время:*

*Не касаясь людей,  
вообще невозможно сказать.*

*И как же?*

— В своем одиночестве я не одинока. В принципе об этом — очень большая часть литературы, особенно XX века, в частности — французский экзистенциализм. В юности, когда прочла Сартра и Камю, была поражена: прежде мне казалось, что я одна такая странная. С одной стороны, безумно общительная, без людей не могу и, даже если они на какое-то время забудут обо мне, буду сама их дергать за полы. У меня даже написано об этом в одном из давних стихотворений:

Отвернулись.

— Вы куда?

Не оставлю вас в покое.

Ну, скажите: «Ерунда»,

Или — «Горе не беда»,

Или что-нибудь такое...

С другой — как только они ко мне приплывают и хотят пребывать со мной в некоем коллективизме, начинаю этим жутко тяготиться.

Думаю, такой тип личности — не редкость. Особенно в наше время. Я это просто зафиксировала. Может быть, иногда даже сгустив краски. Потому что иначе тебя не слышат.

— *Без чего поэт не может состояться как личность?*

— Наверное, без одиночества. Как правило, состоявшийся поэт очень многим жертвует: личной жизнью, семейным благополучием, карьерой. И еще. Утверждаю: творчество и сребролюбие, алчная ко-

рысть абсолютно несовместимы, хотя знаю, что многим эти соображения не по вкусу. Я вовсе не за то, чтобы все были как Хлебников. Это просто утопия. Я сама не Хлебников. Но в наше время очень часто поэты слишком «расслаиваются»: лирический герой отдельно, автор отдельно. В стихах чуть ли не блаженный Августин, сплошные молитвы чуть ли не в пещерах. А в жизни — жуткие приватизации.

В этом смысле мне близка позиция Марины Цветаевой:

Вас положат — на обеденный,  
А меня — на письменный.

.....

Вы — с отрывками, я — с книжками,  
С трюфелем, я — с грифелем,  
Вы — с оливками, я — с рифмами,  
С пикулем, я — с дактилем.

Совместить эти два «стола» в одном творческом пространстве редко кому удастся. Хотя...

— *Так называемый национальный вопрос не является лично для вас камнем преткновения. Вспомните хотя бы ваши стихи «Родословная! Сказочный чан...» или «Вот и кончена разлука...», посвященное эмигрировавшей в Израиль подруге:*

*Горбоносая пичуга,  
Не желая быть чуждой,  
Ты тогда ушла из круга  
И взлетела над межой.*

*И вообще это не предмет для обсуждения. Почему же выяснение «кто есть кто» так многих волнует в нашем обществе?*

— В нашей семье, несмотря на пограничную национальную принадлежность (очень сильно выражены

и русская доминанта, и еврейская, и датская), никогда этот вопрос не заострялся. Просто считалось абсолютным: антисемитизм — это вонь. И, кстати, когда я сталкиваюсь с еврейским если не высокомерием, то узкой заикленностью на этом вопросе, ничего, кроме досады, у меня это не вызывает. Правда, может быть, у евреев было больше оснований в XX веке для столь нервного отношения к этому вопросу... А с моей школьной подругой Аллой Гамбариной, о которой стихотворение, такая история. Но сначала небольшое отступление.

Это сейчас район вокруг метро «Аэропорт» привилегированный. А еще в 1965 году, когда я окончила школу, тут были бараки, жуткий рынок, который называли Инвалидным. В конце 50-х здесь построили много кооперативных домов, куда въехали писатели, актеры, циркачи. Таким образом, с одной стороны, в нашем дворе росли дети из обеспеченных еврейских семей (многие из них потом уехали), с другой — бедствующие русские ребята. Мне же обязательно почему-то — видимо, сказался мой темпераментный, с «заострениями» характер — нужно было дружить одновременно и с «барачными» (чем, наверное, многих из своей среды я раздражала), и с ярко выраженными евреями, которых эти барачные дразнили «жидами».

Надо сказать, что все дворовые стычки, не только национальные, но и социальные, проходили на фоне некоего общесоветского маразма. При этом и те и другие очень часто друг друга любили.

То есть все очень сложно. И разговоры о взаимной неприязни русских и евреев я считаю полной ерундой.

Алка тоже уехала — году в 1974-м. Она внешне была ярко выраженная еврейка. Ее отец, торговый работник, сидел в тюрьме. Тут ей дороги не было... Долго я ее не видела и не слышала. И когда вдруг году в 1988-м, у нас уже началась «перестройка», она мне позвонила, я чуть не упала в обморок. Нечаянная радость!

## ДВЕ БЕСЕДЫ С ТАТЬЯНОЙ БЕК

За годы тамошней жизни Алла совершенно преобразилась. Здесь была слишком толстой. Попав в свою «нишу», сразу вдвое похудела. Стала преуспевающей медсестрой. Вышла замуж. В общем, все переменилось к лучшему. То стихотворение написано по следам нашей встречи:

Сгинул Славка, умер Вовка,  
Оступившись на лету, —  
Те, кто звал тебя «жидовка»  
И любил за доброту,

И гулял с тобою в слякоть.  
Знаю:

    прилетев домой,  
Ты ночами будешь плакать  
Над могилой и тюрьмой.

О, как ветер губы студит, —  
Будь то север или юг.  
Никогда уже не будет  
У меня таких подруг!

Но,  
    рыданье успокоив  
В этом горе и тепле, —  
Я скажу, что нет изгоев,  
Нет изгоев на земле.

— *Что такое поэтический голос?*

— Прежде всего — интонация. А что это, никто еще толком до конца не определил. Возможно, какие-то инверсии, промежутки между словами. Нечто подобное и в жизни. Допустим, лет двадцать не слышишь голос какого-то человека, и вдруг он звонит по телефону, и сразу его узнаешь. Притом он не то чтобы дико картавит, шепелявит или заикается.

Вот когда сегодня включила телевизор, шла короткая, буквально на пять минут передача «Великая Отечественная. Каждый день войны». Какой-то голос за кадром на фоне музыки рассказывал свою историю. Минуты через две — по тембру, каким-то паузам — понимаю, что это Кушнер. Действительно вскоре на экране появляется он сам...

Наверное, что-то основное дано изначально. А дальше, если говорить метафорически, либо голос садится, либо пропивается, либо прокуривается, либо простужается. Но если нет основ, полностью «поставить» себе голос поэт бессилён. Можно только «форсировать» обаяние или где-то чуть-чуть сгущать краски, что, как вы верно отметили, я делаю в собственных автопортретах. Если хочу что-то подчеркнуть, какие-то черты специально заостряю. Например, нос «выписываю» длиннее, а глаза — меньше. Так же, мне кажется, можно работать и с голосом.

Есть поэты сплошного голоса, а есть те, кто на протяжении жизни дважды или трижды абсолютно его меняли.

— *Кто, например?*

— В последнее время я заново перечитала и полюбила Заболоцкого. Внутри его поэзии два совершенно разных поэта: ранний, близкий к обэриутскому кругу, с гаерством, стебом, абсурдистской иронией, может быть, это даже не совсем его голос, а отчасти какого-то странного персонажа; срединная часть творческой жизни — повествовательный голос, размышляющий о природе, философствующий, а в конце — лирический, но тоже очень традиционный, классически ясный, прозрачный.

Ну, конечно, Пастернак. Все, кто ценят его поэзию, делятся на ранне- и позднепастерначных. Редко встречала тех, кто одновременно любит обоих Пастернаков. Я больше люблю раннего. Просто обожаю. Это такое волшебство, такая густота ассоциаций — образы

буквально наступают друг другу на пятки. А поздно — все-таки всегда можно пересказать прозой.

— *Каково, по-вашему, соотношение сознательного и бессознательного в творчестве?*

— Думаю, в настоящем творчестве больше бессознательного. Потому что оно связано с какими-то интуитивными пластами. В беседах с поэтами не однажды сама интересовалась: «Что происходит с вами в момент, который называют вдохновением?» И совершенно разные люди, которым я склонна доверять, отвечали: как будто открылись второе дыхание или какой-то «кран» на высшем уровне, и в тебя влилась высшая влага. Иногда не пишу по несколько месяцев, даже по полгода. При своем вполне выраженном профессионализме могла бы это раскручивать. Тем более что всегда есть темы, которые меня волнуют. Или просто можно даже рифмовать свои мысли. Заведешь себя, и пошло-поехало. Но мне никогда это не было интересно. Читателю, возможно, не так заметно, но я-то всегда точно знаю, когда рифмуешь заведомо определенную тобой мысль, а когда тебе диктует Бог. Как говорят в Одессе, это две огромные разницы.

У меня так бывало: что-то открывалось, и я только успевала это фиксировать на бумаге (шлифовать — потом). Это такое счастье, которое ни с чем не может сравниться! Всегда дожидаюсь наступления такого момента. А дальше — нужно подставить «корыто», чтобы как можно больше собрать этой «дождевой воды». Или, как сказано у раннего Пастернака: «Тетрадь подставлена — струись!»

— *И все же: составляете — хотя бы мысленно — план будущего стихотворения?*

— Нет-нет! Иду абсолютно на ощупь за каким-то странным интуитивным вожатым. Очень часто заканчиваю стихотворение тем, чем и не предполагала. И часто даже узнаю что-то новое о себе. В этом есть не-

что колдовское. Допустим, мне кажется: все, такая-то тема исчерпана, и вдруг сама рифма ведет меня и что-то говорит, и, как в вещих сновидениях, обнаруживаю, что, оказывается, не так тут все просто!

— *И действительно — «чем случайней, тем вернее...»?*

— По крайней мере мне эта мысль Пастернака очень близка. И в стихах, и даже в жизни часто происходят случайные «повороты». Случайно встречаешь какого-то человека или оказываешься в каком-то месте.

— *Я бы добавила «как бы случайно»...*

— ...да-да, именно «как бы». А потом оказывается, что этот «поворот» сыграл важнейшую роль в твоей жизни.

Не помню, рассказывала ли вам раньше историю про то, как крестилась. Чувствовала, что я скорее верующий человек, хотела креститься, но меня что-то останавливало. Прежде всего — моя мама. Она была очень образованной женщиной, но, как все комсомольцы 20-х годов, заядлой атеисткой. Я знала, что мой поступок — хотя мы с ней почти не говорили на эту тему — ее просто убьет. Словом, я боялась ее огорчить.

В 1987 году мама умерла. И я вдруг совершенно «случайно» встречаю на улице друга молодости, которого до этого не видела лет десять. «Ты чего такая грустная?» — «Маму недавно похоронила...» И он совершенно «случайно» сказал, что на днях едет за город — «к одному чудесному человеку». И предложил поехать вместе с ним. Тем «чудесным человеком» оказался отец Александр Мень.

Так же и в стихах. Правда, там еще больше «случайного». Куда только не выводит та же рифма. Я вообще боготворю рифменное мышление. Не только за то, что это з в у ч и т, но и за то, что это з н а ч и т. У Симона Чиковани — в переводе опять же Пастернака — есть такие строки:

## ДВЕ БЕСЕДЫ С ТАТЬЯНОЙ БЕК

Так проклятая рифма толкает всегда  
Говорить совершенно не то.

На самом деле она «толкает всегда говорить» — «то».

— *Вы составитель «Акмэ» — учебной антологии по акмеизму, так что догадаться о ваших литературных симпатиях, казалось бы, можно. В то же время у вас немало строк, внутренне связанных с Блоком, и полемических — с Ахматовой.*

— Отличное наблюдение. Вы меня действительно как бы даже ловите на противоречии. Я всегда клялась в связи с акмеизмом. Но на самом деле мой самый любимый поэт в XX веке — Блок, который акмеистов терпеть не мог и в своей последней статье «Без божества, без вдохновенья» (апрель 1921) их как бы проклял. В то же время очень люблю, о чем уже говорила, Пастернака, который тоже никакого отношения к акмеистам не имел. Что ж, это мое личное противоречие.

Во мне так сильна любовь к Блоку, что если бы я не заземляла ее акмеистами, то стала бы его полной эпигонкой. Подражать Блоку очень опасно. Он находится на грани символистской высокопарности. Но что позволено Юпитеру, не позволено никому другому. Наверное, я интуитивно чувствовала, что мне важнее заземление «сором», какой-то прозаической деталью. Но в душе-то я, конечно, с Блоком.

— *Почему ваши стихи — за редким исключением — без названий?*

— Может быть, один случай из десяти, когда мне вдруг хочется надеть «шапочку» на стихотворение. Если стихотворение можно назвать, значит, оно сводится к какой-то одной мысли, или теме, или образу. Мне кажется, что часто оно «разбивается» на ряд мотивов.

— *Как бы вы сами охарактеризовали поэтический язык Татьяны Бек?*



— Думаю, в моей речи нет иерархии. У меня на равных и жаргон, и даже иногда ботаническая «мова», и что-то из романса, и просторечная будничная речь, и цитаты, к которым отношусь без парализующего пиетета, и идиомы. Ну и, конечно, это московская речь, которая, как я считаю, существует на уровне диалекта.

— *Не удалось прочитать ни одной вашей поэмы...*

— Да, поэмы так и не получилось. Для поэмы нужно совершенно другое сознание и другое дыхание. Должен быть длинный долгий замысел. Нужны иной сюжет, линии. Поэма — это совершенно особая школа. Какие поэмы у моего любимого Блока! И у Пастернака — и «Девятьсот пятый год», и «Спекторский»!.. Наверное, мои мысли и чувства — «на короткую дистанцию».

— *За счет чего сегодня оживают старые литературные жанры, например басня? Вы ведь тоже к этому «руку приложили» — «Басня для друга-собачника» (2001), «Постбасня» (2003)...*

— Еще есть такая:

Что любопытнее вскипающей воды?

И своевольничать, и булькать, и скрываться,

И щеки дуть, и петь на все лады,

И вредничать: мол, «хрен тебе с румянца

Мово», — и, злыми пузырями изойдя,

Выстраивать в пару воздушный замок,

И *убегать* (кофейник ли, бадья, —

Прощай, посуда) — вон и прочь из рамок

Хозяйства. Лишь бы огонь! Бурление! Ожог!

...Однако — стоп. Горячей, но смиренной

Водой, не кипятясь, заваривает Бог

*Любой* (мораль) напиток из Вселенной.

Что обреченнее вскипающей воды?

И мы, мой друг, и мы пополнили ряды...

Это тоже типичная басня.

Дело в том, что я очень люблю, о чем уже говорила, называть одно явление жизни через параллель с другим. А на этом, собственно, и построена басня.

Крылов — совершенно гениальный поэт. У него потрясающие басни, в которых познаются какие-то глобальные явления. Причем интересно, как с годами и веками первичный адрес и стоящая за ним прототипическая реальность расширяются до философски универсального обобщения. Скажем, кто вспомнит сейчас, что басня «Слон на воеводстве» связана с именем Аракчеева? Это уже тип политика.

Басня — потрясающий жанр. Но в России у него несчастливая судьба. В начале XIX века мощный взлет — Хемницер, Крылов. А потом он скис, почти сошел на нет, очень сильно скомпрометированный в 20—30-е годы XX века сервильным и ангажированным Демьяном Бедным. Не говоря уже о журнале «Крокодил» и Сергее Михалкове. Это были просто политические иллюстрации к очередным доктринам. Настоящие лирические поэты от басни отвернулись. Правда, все же исподволь так или иначе к ней обращались. У того же Бродского — все хочу об этом написать, руки не доходят — есть несколько замечательных басен. Одна из них, написанная в мае 1964 года, в ссылке, названа даже с прямым указанием на жанр — «Развивая Крылова».

Года три назад я участвовала в научной конференции, посвященной Булату Окуджаве. Тему доклада «Старые поэтические жанры на новом витке» придумала совершенно случайно. И нашла здесь немало интересного. Оказалось, допустим, что все старые, выдохнувшиеся жанры Окуджавы возобновлял за счет парадоксов. Если ода — то обязательно печаль-

ная. Если гимн — то обязательно упаднический. То есть в заголовке поэт обозначает жанр, а настроение, мелодию подбирает по отношению к нему контрастные. Плодотворной встряске подвергнута им и басня. По сути, у него даже черный кот, которого боится весь подъезд: «каждый сам ему выносит/ и спасибо говорит», или простой муравей, которому «вдруг захотелось в ноженьки валиться», — «элементы» басенного начала. А басня про старого гусака, который якобы подружился с хозяином как с якобы добряком, хвалит его и не подозревает о том, что тот его назавтра запечет в духовке, вообще потрясающая!

А еще обнаружилось, что у Окуджавы, в том числе в таком жанре, как басня, очень много переключек с Бродским. И вот еще что. Обращение Бродского к крыловской басне, как сказал мне на той самой конференции талантливый поэт Виктор Куллэ, связано и с тем, что тот считал себя очень похожим на ворону: длинный нос-клюв, грассирование. То есть ворона для Бродского еще и любимый «автопортрет». Ну кто бы мог подумать?!

— *А как все-таки вы пришли к басне?*

Собственно говоря, склонность к этому жанру у меня была всегда. Но я этого стеснялась. Ну понятно: из-за «Крокодила».

И вот как-то на семинаре в Литинституте в порядке абсолютного бреда, импровизации дала студентам задание (все возможные уже были исчерпаны) написать басню на тему «Кошка и собака». Они с такой жадностью, с таким удовольствием накинулись на него! Каких только басен не было! И политическая, и мистическая, и чуть ли не порнографическая. Причем я и сама написала басню. Ту самую — «для друга-собачника». И вдруг поняла, что это не просто учебный эксперимент, а полноценное стихотворение, за которое отвечаю и которым очень много сказала, кстати, на ту тему, которую обсуждали в начале нашей бесе-

ды: в творчестве, как и в жизни, бессребреничество «дворян» мне всегда ближе зависимости «сиамских котов», которые «в залоге» пребывают «у господ».

Несколько лет назад группа писателей, где был Олег Чухонцев (я его очень уважаю, для меня он — авторитет и вообще мой учитель: в 1965 году, работая в «Юности», он первым напечатал мои стихи в подборке школьников), ездила в Самару. Я прочла эту басню. Потом Олег вдруг говорит: «Ты вообще басенный поэт. У тебя склонность к морализаторству. Но в лирике ты этого стесняешься. А в полупародийной басне подобное себе позволяешь. Ты будешь продолжать эту линию. Для тебя это перспективно». Он мне очень помог тогда этой репликой. И дальше я написала несколько басен.

Он, Чухонцев, вообще замечательный! Сам безусловно полноценный лирический самобытный поэт, как же он любит — это я могу засвидетельствовать — чужие стихи! Сначала он много лет работал, как я уже говорила, в «Юности», а потом в 90-е годы вел отдел поэзии в «Новом мире». Многих напечатал там впервые. Например, Евгения Карасева из Твери, долго сидевшего в тюрьме (и писавшего потрясающие стихи). Или тех, кто вроде бы даже уже был известен, но пребывал в инерции. Из груды принесенных стихов он отбирал — говорю из своего опыта — те, которым сама значения порой не придавала. И открывал в тебе то, о чем сама и не подозревала. Например, году в 1995 он мне сказал: «Таня, ты начала бояться старости». У меня самой это еще было утоплено в каких-то молодежавых и молодежных стихотворениях. А он выбрал три-четыре, где эта линия очевидна. Это к тому, что я очень люблю настоящих поэтов, которые вдобавок не эгоцентричны, могут слышать и чужие стихи и радоваться им, и что-то в них обнаруживать.

— *А что скажете о себе? Насколько вас интересуют стихи другого?*

— Наверное, даже слишком интересуют.

— *То есть в ущерб самой себе?*

— Нет, я так не ощущаю. Я вообще не делю поэзию на свою и чужую. Но знаю, что в глазах многих то, что я так могу отдаваться литературной критике или педагогике, ставит под сомнение мою поэтическую одержимость. Мне кажется, это неправильно. Даже Пушкину не мешало одно время принимать ближайшее участие в издании «Литературной газеты». Гумилев был помешан на чужих стихах! Без конца вел различные литературные студии.

Мне вообще ничего не мешает. Стихи приходят ко мне редко. И если им надо — они такие нахальные! — прорвутся через все. Буду ли я писать прозу, или работать над учебником, или что-то переводить. Они все это отодвинут и себя продиктуют.

— *Если объединить ваши стихотворения-портреты, посвященные писателям (Марина Цветаева, Александр Бек, Владимир Корнилов, Юрий Коваль, Даур Зантария), получается целая картинная галерея.*

— Можно добавить стихотворение про Межирова — «Русский пасынок в Нью-Йорке»:

Жребий ловит нас арканом.

И, невозмутимо сир,

Хмуρο дышит океаном

Юности моей кумир.

Уже совсем забыт такой старый жанр — медальон. Было принято написать портрет своего любимого друга, может быть, уже ушедшего, или даже того, с кем лично не знаком, но считаешь учителем сквозь время. Кстати, у того же Владимира Корнилова очень много таких портретов — стихотворных эссе: «Колокола Державина», «Гумилев», «Анне Ахматовой», «Похороны» (о Пастернаке), «Дача Пильняка», «Памяти А. Бека», «Виктору Некрасову», «Смеля-

ков», «Слуцкий», «Слава Пьецух». Лучшее из них — «Иннокентий Анненский», которое стоит отдельной литературоведческой статьи:

Счастлив ли Иннокентий Анненский,  
Непризнания чашу испивший,  
Средь поэтов добывший равенство,  
Но читателя не добывший?

Такие стихотворения-портреты были у Слуцкого. Например, потрясающее «Коля Глазков»:

Это Коля Глазков. Это Коля —  
шумный, как перемена в школе,  
тихий, как контрольная в классе,  
к детской

принадлежащий

расе.

.....  
Он остался на перевале.  
Обогнали? Нет, обогнули.  
Сколько лет у него воровали,  
а всего мы не утянули.

И еще одно — точный и пронзительный портрет Ксении Некрасовой.

У меня потребность писать такие стихи диктуется чувством благодарности и вины. Когда человек уходит, или он просто уехал и где-то там канул, мне хочется дать что ли сигнал мирозданию: все это недаром прошло, это не забыто. Кроме того, поэты — такие же явления, как дерево или город. Точно так же, как дерево, или город, или ласточку, или орла, или коршуна, мы описываем и поэтов.

— *Нередко в литературоведческих эссе о поэтах вы сопоставляете их строки с картинами того или иного художника. Допустим, фрагменты поэзии Ксении Не-*

*красовой — «с празднично-ироничными полотнами Кустодиева...» А кто из художников — начнем с наших — ближе вам?*

— Как ни странно, я очень люблю передвижников. Да, люблю. Они акмеистичны. Как правило, показывают какие-то углы, сор, маргинальные стороны нашего бытия. Очень люблю их жанровость и демократичность. В поэзии им, конечно, параллелен Некрасов, которого я, кстати, тоже очень люблю. Немало бед нам принесло советское литературоведение и искусствоведение, навязывавшее одностороннее восприятие того или иного явления. Тех же передвижников — как что-то прежде всего социальное, обличающее.

Очень люблю Врубеля, Кустодиева, Ларионова, Гончарову.

— *А из западных?*

— Конечно, Брейгеля, Кранаха, импрессионистов. У меня в стихах очень много ссылок на художников. И опять же это не от какой-то, как говорится, книжности или культурной вторичности. Просто когда я сама не могу до конца что-то выразить, «включаю» уже «сказанное» ими. Допустим, «смотри Ренуара». Или: «Словно это младший Брейгель/ Взял и нас нарисовал!» И тогда понятнее и мои «фигуры».

Я апеллирую к читателю, у которого тот же круг ассоциаций. Может быть, в этом есть даже какая-то паразитичность.

— *Собственно, вы почти ответили и на мой следующий вопрос: чем вам, поэту, интересна живопись?*

— Во-первых, живопись — часть мира, часть культуры. Во-вторых, из живописи, если рассматривать ее как высокое ремесло или лабораторию, можно многое почерпнуть. Точно так же, как в литературе у больших поэтов.

Мне кажется, из живописи я очень много взяла для эпитетов, для контраста между эпитетом и каким-то определяемым явлением. Кроме того, и в автопортре-

тах, и даже в портретах я люблю, о чем мы уже говорили, если не шарж, то какое-то заострение — это тоже из живописи. Портрет очень часто граничит с шаржем. Вообще, портрет можно нарисовать только за счет заострения и некоторого укрупнения странных черт.

— *Вернемся к тому, с чего начали разговор. Мотив странничества, дороги, пути — порой «в неразрешимой тяжбе с небесами» — постоянен в вашей поэзии. Мне кажется, ваши стихи, по сути, не что иное, как поиск разгадки «небесного шифра», того «письма», которое адресовано лично вам...*

— Вам со стороны виднее... Если относиться со слегка наивной утилитарностью, для чего все это мне нужно... То, что я всю жизнь пишу стихи (в моем возрасте только сумасшедший продолжает говорить стихами, это, скорее, дело молодое), для меня единственный, очень мощный способ душевно выжить (физически, может быть, и выжила бы), противостоять материальной жизни, которая мне всегда давалась с трудом, в том числе психологически сохранить внутреннюю струну и отдельность и не сойти с ума, зафиксировать себя, разобраться в себе. Это как бы моя «подпорка». Такой что ли мистический дневник. Это во-первых.

А уж потом — это во-вторых — вышло так, что я выразила не только себя, свои персональные проблемы и трансформации, но и определенный тип личности. «Прочитав ваши стихи, мне стало легче от того, что я не один такой», — об этом мне говорили не раз. Когда нам кажется, что мы одиноки, на самом деле это не так. Очень многие переживают похожее. Но у них нет возможности, а иногда — смелости признаться в этом.

— *В продолжение темы — ваше короткое, в четыре строки стихотворение, «суммирующее» разные состояния души:*

*Веки опускаются: — Спать, спать, спать...*

*Бесы изливаются: — Пить, пить, пить...*



ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

*Ноги не смиряются: — В путь, в путь, в путь!  
Звезды воцаряются: — Петь, петь, петь.*

— Оно — игровое, основано на ассонансах в рифме... Там и депрессия — спать, и блуд — в смысле хмелем забыться, завить горе веревочкой, ну, наверное, так со всеми бывает, когда плохо, и бежать — в путь, а все-таки главное — петь. То есть побеждает все равно творческое начало.

Это стихотворение точно откуда-то «упало». Я его зафиксировала. Поняла, что оно должно быть только четверостишием: вот такое оно все как бы единорожденное. А потом вдруг мне кто-то указал, знаете, на какой интересный парадокс? Это стихотворение — абсолютная ритмическая калька с поэмы Багрицкого «Смерть пионерки»:

Двери отворяются.  
(Спать. Спать. Спать.)  
Над тобой склоняется  
Плачущая мать...

И я подумала: «Господи, да это же точно!» Дело в том, что «Смерть пионерки» очень любила читать мне в детстве моя мама. Она, как я уже говорила, была такой классической комсомолкой двадцатых годов. И я эти стихи тоже когда-то любила. Потом, конечно, они мной воспринимались не иначе как пародийные. Но в подсознании же это осталось! И то мое стихотворение совсем о другом — именно о воцарении мистического Высшего начала, а в подоплеке все равно Багрицкий со «Смертью пионерки»!..

Вот этим можно закончить.

*Беседу вела Елена Константинова*

# ИСПОДЛОБЬЯ

*Из «НГ—Ех LIBRIS»*



## ВЫДРЫ ИЗ ВЫРИЦЫ И ТЫДРЫ ИЗ ТЫРИЦЫ

В современной словесности литература факта и литература вымысла, мемуаристика и беллетристика отнюдь не разведены в разные стороны, а причудливо и порою монструозно взаимосливаются. Вовсю расцвела *faction*, литература факта, основанная на реальных сюжетах, на весьма прозрачных персонажах, когда прототип очевиден, или даже на вполне конкретных именах — но при этом оставляющая за собою полнейшее право на свободную интерпретацию, на каверзное смещение документа, на фантазию. В России XX века талантливые пионеры этого жанра — сначала и А. Мариенгоф с «Романом без вранья», и О. Форш с «Сумасшедшим кораблем», а потом — поздний В. Катаев. Нынешний заматеревший жанр комсомолец — это у нас А. Найман, и несть им числа.

Кстати, шедевр Анатолия Мариенгофа «Роман без вранья» (1927), где выстраданность рассказа о Есенине берет верх над сенсационными выхлопами, сразу же вызвал к жизни острую пародию А.Г. Архангельского под названием, которое просится в словарь литературных терминов, — «Вранье без ро-

мана». Сатирик, отталкиваясь от полноценной прозы Мариенгофа, гротескуя, предупреждал: осторожно, внутри жанра — злая собака!

Зачастую нынешние образцы литературы pop-fiction и впрямь предстают перед нами враньем без романа... без романа с правдой. Нетривиальные и одинокие удачи в этом ряду, как правило, связаны с установкой на прямодушное самовыражение и добросовестное портретирование, а не на мстительно-завистливое самоутверждение, когда автор-рассказчик выписан в романтически положительном ореоле, а персонажи негативно шаржированы под Босха. Прямодушны и добросовестны (а может быть, просто — в отличие от — природно талантливы?) автобиографические исповеди В. Порудоминского, А. Чудакова, Н. Горлановой. Мучительно честен А. Терехов — его воспоминания бывшего студента Московского университета «Бабаев» недавно опубликованы в «Знамени» именно под рубрикою «Non-fiction», но ведь это как раз мемуарный роман мозаичного плана...

Тереховское повествование открывается так: «Я давно хочу написать про Бабаева, но запутался в своих бумажках — все разрозненно, я записывал про Эдуарда Григорьевича случайно в дневник и на отдельных листах, после его смерти расспросил некоторых, прибавил стихи Бабаева, куски лекций, рассказов, вбил в компьютер, а потом мучился от необходимости все так расставить, чтобы появилась идея, а нету идеи — умер человек, очень жалко — какая идея?» Плотный срез современной мемуарно-романной мозаичности: и дневник, и расспросы очевидцев, и стихи героя, и его лекции, и отсутствие (якобы, ибо в подчеркнутом отсутствии художественной морали — соль правдоподобия) идеи, и, главное, то самое «очень жалко», которое и поднимает весь этот информационный хаос на уровень прозы.

Лично я тоже у Бабаева на журфаке училась... Штучный и при всей тихости отважно независимый был человек — у Терехова он крупно и пронзительно узнаваем.

Мемуары не только шустро беллетризовались за последнее время, но и резко помолодели. Не в том только смысле, что прежде за них брались преимущественно золотые уже перья в расцвете сил или на склоне лет, а теперь им все возрасты и уровни покорны, так что скоро не редкость будет — воспоминания старшеклассника, — но и в том еще смысле, что время меж «было» и «вспомнилось» дошло почти до нуля. Стерлась этическая дистанция меж прозой дневниковой и мемуарной: прототипы и персонажи не успевают от автора отдалиться, распри — остыть, счеты — свестись, обиды — погаснуть. В апреле сходишь на торжище (то бишь тусовку) — летом прочтешь о нем и о себе «воспоминания», ощутив легкий холодок в поджилках. Предлагаю термин: синхронные мемуары. Расстояние меж фактом и записью — дневниковое, а интонация и доля достраивания (да что там: вранья!) — мемуарно-художественные. Настоящее поспешает, минуя внутренние вехи, стать былым. Дум — минимум.

А вот еще модная сейчас разновидность мемуаристики: моя чужая жизнь. Это когда среднестатистический литератор пересказывает события, происходившие с первостепенными звездами, с чужих слов по модели холопа, который описывает приятелям заморские яства: «Я сам не едал, но мой дядя видал, как их барин едал». Именно на таком приеме построено повествование-сплетня (есть и такой жанр) Михаила Синельникова «Там, где сочиняют сны...» — серия очерков, публикуемых там-сям: название бессознательно-честное, адекватное содержанию. «Тарковский мне рассказал...» — «Приведу байку Рейна...» — «Это я слышал от Слуцкого...» — «Межиров

подтвердил версию...» И далее следует пересказ чье-то-то рассказа о том, как метался и пил Заболоцкий, или как, буян, хамил Твардовский, или как собирал ковры Шенгели...

Анна Андреевна Ахматова говорила, что прямая речь в мемуарах должна быть уголовно наказуема, имея в виду даже тех вспоминателей, которые эту прямую речь слышали лично. А что делать с Синельниковым, чье повествование пестрит развязными диалогами выдающихся людей, коих он и в глаза не видел? Предлагаю понять (невывесняемые комплексы!) и простить, посмеявшись.

Один фрагмент из синельниковских сочиненных снов столь потешен и характерен, что я его приведу тут полностью.

«И фамилии какие странные у современных авторов! (Обратим внимание на самоуверенные кавычки и отсутствие четко артикулированной ссылки на посредника, на дядю, на вторые руки меж сегодняшним автором и Ахматовой: так имитируется не имевший места прямой контакт. — Т.Б.). Ахматова восклицала: «До—ре...—соль... Это уже из нотной грамоты что-то». Конечно, имелся в виду Н.К. Доризо, видный функционер нашей лирики, автор неувядаемых песенных слов «Парней так много холостых, а я люблю женатого...». Человек, между прочим, очень даже неплохой. Просто хороший. Такое чувство возникло у нас с Анисимом Максимовичем Кронгаузом, когда мы, выстояв длинную очередь в магазине у метро «Аэропорт», сдали пустые бутылки, вождедея полной, и все-таки не хватало, а проходящий мимо носитель музыкальной фамилии добавил тридцать или сорок копеек». (Заметим в скобках, что алкогольная неблагодарность — дело неблагодарное: он же тебе на бутылку добавил, а ты его ахматовской шуточкой — скорее всего присочиненной — бьешь.)

## Исподловья

Но главное, р-р-раз — и ты, маленький, на одной доске через Доризо с великой Ахматовой! Такая вот психологически показательная мемуаристика.

Уж не пародия ли он?

...Выдающийся патологоанатом Владимир Георгиевич Гаршин, тот, который — как раз адресат ахматовской лирики, очень любил, по свидетельству близких, поучительную сказку: «Жили-были выхухоль и выдра. Выхухоль — в Выборге, а выдра — в Вырице. И решили они называть друг друга «тыхухоль» и «тыдра» и стали посылать друг другу письма в Тыборг и Тырицу... Письма, само собой, по назначению не дошли, и переписка трагикомически расстроилась».

Урок псевдомемуаристам: тыканье недоступным персонажам сквозь чужое время чревато провалом. Не быть выдре тыдрой и не выбраться ей из Вырицы, не протыриться — бедная она, бедная.

А вообще все просто: жанр мемуарной беллетристики — в очередных трудностях, а то и судорогах естественного становления.

*10 июля 2003*



## ДА ЗДРАВСТВУЕТ УМНАЯ ГЛУПОСТЬ!

Жил-был поэт Сергей Нельдихен (1891-1942), которого нынче мало кто помнит и знает, а зря. Хорошо бы переиздать его сборнички начала 20-х: «Ось», «Органное многоголосье»... Посещал гумилевский (третий, накануне расстрела мэтра) Цех поэтов, балansirовал на грани меж сходящим на нет акмеизмом и зарождающимся обэриутством, был выведен Ольгой Форш в «Сумасшедшем корабле» под именем Эльхан, позднее попал в ссылку в Среднюю Азию. В начале войны погиб в лагере... А как здорово все начиналось!

Летними вечерами

мы играем в прятки, в горелки,  
в жмурки.

Дети, когда вы играете,

вы не бываете так веселы, —

Вы веселитесь,

прыгаете,

потому что в вас много

мышинного, стрекозиноного,

заячьего,



и пора бы ей обрести свой твердый голос в литературе. До сих пор дураки не имели своих поэтов, и мир не был изображен таким, каким он дураку представляется. Что несправедливо. И вот произошло чудо — явился талантливый представитель дураков и создал их собственную поэзию...

В лице Нельдихена Гумилев горячо приветствовал вступление честной и очевидной глупости в Цех поэтов.

На вопрос Ходасевича (а он в начале 1921 года присутствовал на этом историческом цеховом вечере), не издевается ли Гумилев над своим учеником, тот ответил твердым «нет».

— Не мое дело, — сказал Гумилев, — разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть дураком, но я не вправе требовать ума от своих молодых подопечных. Свою глупость Нельдихен выражает с таким умением, какое многим умникам и не снилось. А ведь стихотворчество и есть высокое умение!

Тут мы наблюдаем некую трансформацию известной пушкинской идеи относительно того, что поэзия должна быть глуповатой. Безусловно так — успех, однако, зависит от того, что именно из себя представляет автор. Глуповатая поэзия лучше получается у интеллектуалов.

Сергей Нельдихен был абсолютно не глуп и даже, судя по его и вовсе малоизвестной эссеистике, одарен незаурядной теоретической самоуглубленностью: «Если стихи приблизить к прозе, то и содержание приблизится к ней — к бытописанию... Литература наших дней стремится к одному общему виду, соединяющему прозу с поэзией. По всей вероятности — к подобию библейской прозы».

Итак, поэт Нельдихен создал ярчайший образец персонажной лирики (в связи с чем многим современным авторам мы вынуждены в новаторстве отказать, увы), вошел в историю литературы в дивной

## Исподловья

маске идиота, где в прорезях для глаз мерцает наимудрейший взгляд, и — что важно — оставил нам в наследство уникальный сплав юродивого гимна с обстоятельной прозой, бытийной метафизики — с хроникой буден, изысканного верлибра — с «просто-душной» интонацией.

...Женщины,  
двухполовинойаршинные куклы,  
Хохочущие, бугристотелье,  
Мягкогубые,  
прозрачноглазые,  
каштанововолосые,  
Носящие всевозможные  
распашонки и матовые  
висюльки-серьги,  
Любящие мои альтоголосые  
проповеди и плохие  
хозяйки —  
О, как волнуют меня такие  
женщины!

Писать от имени чудика или болвана, гротескная его черты, выкрики и реплики, — задача вполне ответственная, вдохновенная и даже героическая. Как заявлял впоследствии гений означенного направления Николай Глазков: «Надо быть очень умным, / чтоб сыграть дурака!» Отождествлять в таких случаях талантливого автора с аутично чокнутым персонажем — это, братцы-кролики, отсутствие нюха и, как следствие, непростительная ошибка.

Короче говоря, да здравствует глуповатая поэзия, а также проза, мемуаристика и даже критика — только с тем условием, что автор (и читатель) умен!

24 июля 2003

# СЧАСТЛИВАЯ МАРИНА

ЦВЕТАЕВА БОЯЛАСЬ,  
ЧТО ЕЕ ПОХОРОНЯТ ЖИВОЙ

Последний день лета, как правило, ярко солнечный, яблочный, рябиновый и уже, сквозь зелень, желтый. В 1941 году 31 августа, как и нынче, пришлось на воскресенье... В этот день в Елабуге, городке под Чистополем на Каме, покончила с собою — удавилась, как говорили местные жители, — Марина Цветаева, самый необычайный поэт XX века. Впервые в жизни поставила необратимую точку — она, всем иным знакам препинания предпочитавшая тире, то ли перечеркивая им доставшийся ей от роду мир, то ли, наоборот, обозначая скачок из только что прошлого в сразу же будущее... Решившись на точку, она оставила три записки, в одной из которых, сыну Муру, объясняла, что попала в тупик, в другой, с советским обращением «Дорогие товарищи!», подробно просила вообще людей позаботиться о 16-летнем сыне, в третьей, Николаю Асееву — в Чистополь, умоляла усыновить Мура, не оставлять, выучить. Ничего Асеев не исполнил, потом каялся... Страшная фраза в письме к товарищам: «Не похороните живой! Хорошенько проверьте».

Мура через несколько дней получил свидетельство о смерти матери — в графе о роде занятий умершей стояло: «Эвакуированная»... За несколько дней до самоубийства Цветаева написала заявление: «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда». Столовую открыли зимой 43-го, когда Цветаевой уже не было в живых, а Мура сперва переэвакуировали в Ташкент. Потом призвали на фронт, где он, очень крупный и очень неспортивный юноша, был смертельно ранен в июле 44-го...

А вернулись мать и сын из Франции в Россию 18 июня 1939 года на теплоходе «Мария Ульянова». Глава же семьи Сергей Эфрон — если сказать кратко: запутавшийся на Западе советский разведчик — приплыл на родину чуть раньше теплоходом «Андрей Жданов».

Москва встретила Цветаеву настроенно: клейменная... из бывших... парижанка... «Белогвардейка вернулась!» Вскоре забрали дочку Алю по обвинению в шпионаже, потом — горячо, хоть и без верности любимого мужа. Как шутили в ту пору: «Ждал орден — на ордер». Начались тюремные очереди и хлопоты, страх за себя, как за последнюю опору попавшей в мясорубку семьи, и за Мура, которого обожала тиранически. Она была страстная мать, однако и здесь «с этой безмерностью в мире мер» не могла обрести гармонию. В годы Гражданской войны не вытянула двух дочек и младшую потеряла. Потом сделала идола из сына, а идол стал очень строптивым подростком — не хотел, чтобы она «ненасытностью своею» его (сам большой!) перекармливала... Все два года в России они неумоимо ссорились, громко переходя на французский. Кстати, Эфрон-отец с нежным сарказмом называл сына «Марин Цветаев»: так они и одаренностью, и норовом были схожи. Хотела вырастить из Мура гения, а не научила просто

жить среди людей на равных, оставила изгоем в чужом мире, «волчонком — еще волчей»...

Испугались ее именно процветающие собратья по цеху — даже Пастернак, с которым когда-то был у нее бурный эпистолярный роман. Он, впрочем, помог Цветаевой наладить переводческую поденку — чтобы сводить концы с концами... Думаю, что боязнь Пастернака, сразу отодвинувшего Цветаеву на дистанцию, была не только политическая, но и попросту мужская. Это он сказал, что у Марины и керосинка пылает Зигфридовым пламенем, а так, мол, нельзя — начнется пожар, загорится дом...

Цветаева — о себе: «Чувство собственности ограничивается детьми и тетрадами». Все, вспоминающие Цветаеву предпоследней поры, совпадают: преобладание серого тона и нищая элегантность, низкие каблуки, широкий пояс, янтарные бусы. Руки — в серебряных, словно бы скифских, степных браслетах. Недлинная стрижка — видно, как «золото... волос тихо переходит в седость», уже перешло... Глаза зеленые, как крыжовник. «В вечном дыме своей папиросы»... Походка у нее была прямая, твердая, почти мужская — будто она преодолевала таким образом близорукость. Боялась на улице машин, в метро — эскалаторов, в доме — лифта. Семен Липкин свидетельствовал, что особенно тверд ее шаг стал, когда они пошли в Музей изобразительных искусств, созданный когда-то ее отцом, Иваном Цветаевым. Был декабрь 40-го... Дочку основателя никто не опознал, они долго бродили по египетскому залу, а потом направились в столовую Метростроя — их еще называли «обжорками» — есть суточные щи из кислой капусты.

Мы — через рукопожатие — бываем связаны с великими мира сего, и это странно волнует. Вот и я почти знакома с недостижимой Цветаевой — и через Липкина, и через Лидию Борисовну Либединскую,

которая общалась с нею незадолго до конца. Однажды я спросила Л.Б., как восприняла она весть о самоубийстве Марины, и ответ был: «Изумилась!» Цветаева на ее глазах была счастливой — в течение целого дня, 18 июня 1941 года. «Крученых позвонил мне утром и заявил категорически: «Сейчас купишь две бутылки кефира, два батона, заедешь за мной (а он жил в доме ВХУТЕМАСа на Кировской), и мы пойдем на Покровку за Цветаевой, и поедем ко мне на дачу... Он снимал в Кускове чулан, чтобы уезжать туда в жару. Марина все время улыбалась, радовалась парку, катались на лодке, потом Крученых заказал обед у своей «хозяйки»... И она и Мур ели с наслаждением — видно, что подголодаывали». Еще Л.Б. вспомнила, что была Цветаева в резиновых тапочках: белые с голубым и с перепонкой, они назывались «райские»... («Их носили перед войной — конечно, и у твоей мамы такие были!») В этих тапках она шла по земле очень твердо. Только все время хватала и дергала сына. Иногда даже прижималась к нему — у нее же ничего больше не было...

Известно, что в день объявления войны Цветаева сказала резко: «Мне бы поменяться сейчас местами с Маяковским». Гитлеровское иго ужасало ее еще сильнее, чем сталинское, а в нашу победу она верила с трудом.

И еще одно «рукопожатие» — через пианистку Елизавету Лойтер, для меня — тетю Лизу, маленькую, востроносую, прелестную женщину, близкую подругу моей мамы Наталии Лойко. Тетя Лиза была последняя из чистопольской эвакуации, кто с Цветаевой разговаривал. Она там работала в интернате, 27 августа оказалась на пристани с мальчиком, которого везла к врачам в Казань, и Цветаева, выделив в толпе интеллигентное лицо, подошла к ней в очереди, представилась, попросила купить билет до Елабуги. Лиза помогла, и они еще долго в ожидании па-



роходов разговаривали, ели арбуз, обсуждали, где легче прожить: в Чистополе, в Елабуге? Лизе запомнилась фраза Цветаевой: человеку, дескать, немного нужно — клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться. Но смысла этой фразы она тогда не поняла.

Судить о причинах самоубийства — грех и бессмыслица. Об этом знает только сам (сама), навеки немотствующий. Мы можем лишь спросить — во след за Арсением Тарковским (последней, младшей влюбленностью ненасытимой Марины): «Друзья, правдолюбцы, хозяева / Продутых смертями времен, / Что вам прочитала Цветаева, / Придя со своих похорон?»

И последняя «точка» — могила Марины Цветаевой в Елабуге затерялась.

*1 сентября 2003*

## МЕТАФИЗИКА БУДЕН И БИОХИМИЯ КРАХА

Какое-то время назад попалась мне в «Московских новостях» статья почтенного критика Михаила Золотоносова, которая, будучи посвящена новой повести Валерия Попова «Третье дыхание», отмечала ее скандальность, сетовала на беспросветную «бытовуху» текста и излишнюю близость героев к прототипам, выявляла «отсутствие постановки нравственных проблем», апеллировала к Тынянову с Эйхенбаумом, от коих плавно переходила к жилищным условиям писателя, по мнению критика — не по чину комфортным. Тут М.Золотоносов, любезно выступая прототипом для потенциальной сатиры, трогательно четок: даже адрес беллетриста указывает — Невский, 13, а квартира аж трехкомнатная, ексель-моксель! Со структуралистской тщательностью исследуются обстоятельства переезда. Налицо — прогресс в филологической науке. Тот же Эйхенбаум в книжке об Ахматовой квартирный вопрос не проанализировал, поленился.

Но особенно меня заинтересовала в золотоносовской статье формула (внимание!): «Алкоголический дискурс как «наш ответ» на западную «трэш-литера-

туру» получает все более широкое распространение». Эка закручено — без пол-литры не разберешься.

Алкоголический дискурс — это, как я понимаю, тексты про пьянство и про его носителей. А что есть «трэш-литература» — толком никто пока не знает. Строго говоря, это низкопробный мусор, дешевка, ерунда, писанина, книжная макулатура. Всего этого у нас не меньше, чем на Западе, и зачем же так далеко ходить с ответами? Я очень люблю прозаика Попова, но, еще и не прочитав новую вещь, удивилась, зачем же критик настолько преувеличил его тематическое новаторство. Был уже, был и Мармеладов у Достоевского, и Федя Протасов у Толстого, и много еще соответствующих персонажей — вплоть до есенинского Черного человека. Вспомним натурфилософа Гладышева, который у Войновича в «Чонкине» гнал самогон из дерьма. Вспомним и «Серую мышь» забытого Виля Липатова, которую в начале 70-х неизвестно как напечатали, а потом известно как разгромили. Сквозное в этой повести словцо — «соображать» (о, ирония речи!), в коем ключ к российскому пьянству: выходит по логике самого языка, что наш человек, именно пия, начинает интенсивно думать. Пристало ли честному писателю от столь мощного остранения и тайновыявления отказываться — и вообще, не есть ли неотраженье питья на Руси художественная, как сказали бы встарь, лакировка действительности, а?

Женщин-пьяниц (а именно к их трагическому кругу относится главная героиня «Третьего дыхания») среди персонажей русской литературы меньше, чем мужчин, но и этот тип тоже «схвачен» уже и в чеховской «Чайке», и, позднее, у Петрушевской, у Вишневецкой, у Шенбрунн, чья бабушка из романа «Розы и хризантемы» перепьет любого дядечку... Далее я предоставляю слово Венедикту Ерофееву, классику алкогольного экзистенциализма: «Ну как тут не

прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаянья не запить! Социал-демократ — пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик — не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире — и подыхает, а Гаршин встает — и с перепоею бросается через перила...»

...Когда наконец руки у меня дошли до Валерия Попова (повесть «Третье дыхание» напечатана в «Новом мире»), то... Стоп. Как вам нравится дивная придурковатость наших идиом? Ходят-то ноги, а не руки, — и почему ж они, руки, дошли? Так можно ли требовать трезвой логики от русской прозы, если сам язык в каждой своей единице дурит, и своевольничает, и чуть ли не становится на четвереньки? Но главное, что — руки дошли, и новая повесть метафориста и ерника Валерия Попова моих ожиданий не обманула. Повесть о том, как поколение шестидесятников не сдавало позиций, но сдавало бутылки, как пили вместе, а спились по отдельности, как с переменным успехом вписались в новые времена: кто в бизнес, кто в старость, кто в дурдом... Метафизика буден и биохимия краха. Переплетение Бунина и Зощенки на современном витке. Смена кадров в стиле неореализма: со всхлипом, но всегда с юмором. Любовь героев — на фоне квартирной и больничной грязи, когда вместе тошно, а врозь губельно.

Несколько лет назад, еще до всякого «Третьего дыхания», я Попова спросила: «Алкоголь и творчество — тема, которую нельзя закрыть моралью: мол, это грех и вред. Ты в алкоголе, кажется, видишь позитивное начало для художника? Если не заболеть». И он ответил: «Это было наше знамя боевое! Какие мы были весельчаки и отчаянные ребята!.. Алкоголь был наша «горючка». Но, конечно, имели место и горестные аспекты пьянства». А еще я в той же беседе спросила: «В XX веке есть тенденция в прозе, бази-

рующаяся на отвращении к плоти. Как ты к ней относишься?» И прозаик ответил лихо: «Нет, у меня иначе. У меня есть повесть, где герой мочится — и сразу вырастают цветы. От настроения зависит — какие цветы».

Повесть Валерия Попова — о мрачных и горестных постапектах не только злоупотребления алкоголем, но любой витальной чрезмерности вообще. Она и о цветах (нет, не о «цветах зла»), которые повсеместно вырастают — прекрасные — из грязи и отбросов. Мало кто знает, что автор в молодости писал стихи — они потом словно бы растворились в его прозе. Одно из них я прочту как аргумент в споре неизвестно о чем. «...Утром встал — и к буфету, не глядя./ Удивились и тетя, и дядя./ Что быть может страшней для нахимовца — / Утром встать и на водку накинуться?/ ...Он/ искал недомолвок, потерь,/ Он устал от кратчайших путей./ Он кружил, он стоял у реки,/ А на клеши с обоих боков/ Синеватые лезли жуки/ И враги синеватых жуков...»

Синеватые жуки — это иррациональные, как сквозь хмель, образы художника, которому вольно писать о чем заблагорассудится, а «враги синеватых жуков» — это, наверное, критики, которым мы тоже не откажем в свободе примерной трезвости и беспримерного морализаторства.

*18 сентября 2003*

# ЛЮБИМ И НЕЗАБЫВАЕМ

26 СЕНТЯБРЯ 2003 АЛЕКСАНДРУ МЕЖИРОВУ  
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

Для меня Межиров до сих пор один из самых молодых, неожиданных и ритмически самобытных современных поэтов.

Формально Межиров принадлежит к так называемому «фронтовому поколению»: и впрямь ушел на войну мальчишкой, а вернулся зрелым поэтом. Но сам он против советских ярлыков всегда резко возражал:

Всех в обойму единую втисни.  
Остриги под гребенку одну.  
Мы писали о жизни — о жизни,  
Не делимой на мир и войну.

Межиров, как и его ровесники Слуцкий и Самойлов, сумел военный опыт вдохновенно преобразить в общую метафизику бытия. «Мы под Колпином скопом стоим. / Артиллерия бьет по своим. / Это наша разведка, наверно, / Ориентир указала неверно. / ...Мы под Колпином скопом лежим / И дрожим, прокопченные дымом. / Надо все-таки бить по чужим, / А они по своим, по родимым...» О чем это: о боях в Синявинских болотах, где Межиров был тя-

жело ранен (за два года он прошел путь от рядового до замкомандира стрелковой роты), или о социуме в целом?

Он — не изменяя своему дару — постоянно рос и менялся. Он развивал на новом витке традиции Блока и Ходасевича. Он сумел соединить лирическую просодию с эстетикой цирка и даже трагического шутовства, — «чтобы вновь над культом силы в клоунаде хохотать».

Я жил в морозной пыли,  
Закутанный в снега...  
Меня писать учили  
Тулуз-Лотрек, Дега.

Его вершинное стихотворение «Баллада о цирке» — о бессмыслице бытия и о сохранении человеческого «я» в не приспособленном для этого мире. Тоталитарной несвободе Межиров противопоставил не прямую семантику бунта, но внесмысловое и чуть высокомерное вольнолюбие стиховой музыки, воздуха, ветра, снега. Вольнолюбие чуть заикающейся — как и реальная устная речь Межирова-собеседника — интонации.

Первая книга поэта, вышедшая в 1947 году под редакцией Павла Антокольского, называлась «Дорога далека».

Дорога — как напророчил — оказалась очень далекой.

Пафос знаменитого стихотворения «Коммунисты, вперед!» (написанного, подчеркнем, не на конъюнктурно обкомовском, а на губительно фронтовом опыте) сменился жесткостью сатирических элегий и беспощадной поэтикой краха.

...Судьба сложилась так, что с начала 90-х поэт живет в Америке — и его новые стихи, вошедшие в книжку «Поземка» (1997), пронизаны тоскою, одиночест-

## Исподловья

вом и вопреки всему благодарностью Богу за горестное счастье мыслить и страдать. «Нью-Йорка постепенное стиханье./ Величественное стеканье тьмы...»

Помню, в 80-х меня поразило вспыхнувшее на сером журнальном фоне откровение Межирова — краткое, страшное, нежное:

Строим, строим города  
Сказочного роста.  
А бывал ли ты когда  
Человеком просто?  
Все долбим, долбим, долбим,  
Сваи забиваем.  
А бывал ли ты любим  
И забываем?

Парадокс, свойственный подлинной поэзии: написанное в форме вопроса, стихотворение это звучало как ответ, безвыходное — предлагало выход.

Александр Петрович, вы, который — и любим, и забываем, — живите еще, и еще, и еще, живите, как выпало свыше, живите долго. С днем рождения.

*25 сентября 2003*



## С ПРИЯТНЫМ БОНЖУРОМ!

Литературный быт всегда входит в творящуюся историю словесности как ее существенный компонент. Между прочим, знаменитый северянинский образ «ананасы в шампанском» — вовсе не авторская фантазия-гротеск, а просто было такое блюдо в меню любимого футуристами кафе... Все важно постфактум. Все семанлично. И значит, молодцы наши современные разговорчивые писатели: они, облегчая участь грядущих археологов культуры, наперебой спешат свой быт описать самостоятельно — видимо, с осознанием того, сколь важен и креативен неостывший материал отдыха, кулисы, кухни.

Читаю в центральной газете о том, какие поэт-песенник Михаил Танич предпочитает сам готовить котлеты: лучше, рассказывает мэтр, смешивать разные сорта мяса и не жалеть чесночку. Не есть ли перед нами метафора песенной полисемии, построенной на смелом синтезе: фольклор плюс романс, и все это с добавкой комсомольской задоринки? Котлета, она ведь для творца куда больше, чем котлета... Вот и признанный лирик для девушек Эдуард Асадов тоже не чужд кулинарных ракурсов. «Я все острое

обожаю! — признается он «Комсомолке». — Долму, шашлычки, куриные печенки с перцем. Но на день рождения я попрошу жену, чтобы сделала свое фирменное блюдо — пельмени. Они так хорошо идут под рюмочку...» Здесь «острое» олицетворяет собою бескомпромиссность морали, по-прежнему волнующей читательскую аудиторию уважаемого поэта-публиста.

Но это все цветочки. Литератор-интеллектуал Анатолий Найман пошел в раскрытии взаимосвязи меж «бытием» и «сознанием» еще глубже, чем его простодушные коллеги. Он в соавторстве с Г.Наринской написал целый поваренно-философический трактат под названием «Процесс еды и беседы. 100 кулинарных рецептов», который опубликован в «Октябре» под спецрубрикой «Метафизика еды» аж в шести номерах с продолжением. Только что трактат отдельным изданием вышел в «Вагриусе». Текст, соединяющий традицию незабвенной Молоховец («хозяйка малахольная», скажет о ней Арсений Тарковский) и неоакмеизм (вспомним ахматовское «на блюде устрицы во льду»), делится на главы: «Гарниры», «Омлеты и яичницы», «Десерт». Читатель, с одной стороны, узнает, как готовить грибы в тесте или баклажаны «туфелька» (припустить... прожарить... помешивать...), а с другой — выслушает и снобистские байки, и даже новую, в кулинарном ключе, трактовку «Гамлета»... Лично меня особенно заинтересовала тут интерпретация гарнира как категории. «Он, — полагает дуэт (авторство фрагментов не обозначено, и возможны лишь предположения), — несет большую идеологическую нагрузку и представляет собой не что иное как философию. Он указывает на то, что не он, к чему он гарнир. На то, что существует независимо, на жаркое, на рыбу, на блюдо — на имя существительное. Мясное и рыбное филе может размножаться и набирать вес лишь в виде коров

и шук. В этом смысле природа — блюдо, культура — гарнир... Единственный шанс гарниру стать блюдом — вегетарианство». В наймановском контексте размышление о том, возможно ли гарниру стать блюдом, есть монолог побочности, метящей на место ипоста-си центральной. Друг Наймана по питерской юности прочел мне на днях незнамо чью эпиграмму на эту кулинарную книгу: «Теперь он подает советы,/ как есть и пить на посошок.../ Он вынес все на берег Леты — / и за великими горшок!» ...Гамбургский счет — он, конечно, строг, но, увы, справедлив.

Я же вообще горячо приветствую внимание прессы к литературному быту и аппетиту: он — этот быт — характерен как праздничный (от одного корня с «праздний»), витальный и не крупно-, но буржуазный. Он карикатурен. Он не всегда может служить комментарием к серьезным текстам за неимением последних, но безусловно вызревает на наших весело округленных глазах в материал для сатиры... А пока, как говаривала горничная в одном из рассказов Лескова: «Поздравляю вас всех с приятным бонжуром!»

*23 октября 2003*

ПОЧТИ ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК,  
ИЛИ  
«НАС НАКРЫЛ  
ШЕЛЕСТ КРЫЛ...»

За минувший отрезок времени (отчетный период — месяца два) где я только не побывала! И Франкфуртская книжная ярмарка, где меня, калькируя немецкое выражение, официально обозвали «женским автором»... И подмосковные Липки, где мы, женские и мужские авторы зрелых лет, вели творческие толковища с юными коллегами на Третьем форуме молодых писателей России... И мой самый любимый город на свете — Питер, где в актовом зале их университета награждали почетной Пушкинской премией от германской словесности Евгения Рейна, а я по означенному поводу захлеб читала полунаучный доклад... С поезда на самолет, с самолета на автобус, потом опять электричка, потом тарантас, потом авиалайнер, потом метро...

«Это что за остановка — Бологое или Поповка?»

В итоге в голове моей образовалась некоторая творчески-эмоциональная каша, а на чемодане сложилась «молния», не выдержав креативной нагрузки и переизбытка бумаг, книг, сувениров, пакетов и папок. Не так ли (развернем напрашивающуюся метафору) не выдерживает порой и наше сознание сверх-

излишка впечатлений, треща по швам и отказывая нам в логике? Еще в народе это явление справедливо называют поехавшей крышей.

На ближайшее время я мотаться по городам и весям (и даже по местномосковским мероприятиям) твердо зареклась, хотя знаю, что очень скоро усталость позабудется, а силы восстановятся — и снова меня одолеет любопытствующая тяга прочь и бешеная жажда внешних впечатлений. Побегу срочно покупать новый саквояж и тетрадку для путевых заметок.

Оппозиция «дом — не-дом» (как и «я — не-я») потому и неизбежна, что только в ее асимметричных недрах намечаются по-настоящему важные точки миропознания. Искра высекается лишь в лобовой сшибке того и другого.

Взять, к примеру, уже помянутый мною форум, где мы вместе, дружно и врасстопырку, с Андреем Василевским вели поэтический семинар — юные энтузиасты приехали из Костромы и с Камчатки, с Волги и с Урала, из Махачкалы и из Владикавказа. Кто там у себя преподает в школе физкультуру, кто работает психологом в интернате для отстающих детей, кто занимается мелким бизнесом, кто учится в аспирантуре по фольклористике, кто строчит в местную газету... Уже хорошо: обменялись житейским опытом и наговорились с той беззастенчивой откровенностью, какая возможна лишь с попутчиками по скорому поезду, по тусклому купе, по остро-случайной беседе. Вряд ли мы кого-то из юных дарований выучили писать лучше: в это верить — дураков нема. Но нас, меня точно, они одарили, встряхнули, даже, я бы сказала, умудрили.

Вот, скажем, неосимволистка из российской глубинки в брюках грубого шелка (этакое женское «облако в штанах») читает с обаятельнейшей агрессией:

В поисках Бога  
Входила я в каждую дверь  
Невзирая на букву «М», —

и я, старая перечница, молодо вздрагиваю, как от вдохновенного самооткрытия. Если учесть, что буква «М» венчает собою прежде всего кабинки общественного сортира, то перед нами — смелое свидетельство религиозного поиска в гендерном аспекте. Не так ли? Интересно при этом, что стиховая форма этой православной ереси — хокку, японская.

Общее наблюдение на осенних полях нашего семинара в Липках: нечто свежее и персональное вспыхивало лишь там, где рушились перегородки меж изолированными традициями. Служба одной-единственной традиции, служба покорная, на уровне банального послушания и преданных штампов, ментально — вж-ж-жик — перерастает в смехотворнейшие виды самопародии. На нашем семинаре данное явление воплотилось в огромном количестве тех или иных крыл, крыльев, крылышек. В мужской окрыленности, в женской бескрылости и в общечеловеческой крылатости. Сей вирус мы — все вместе — поначалу зафиксировали как нечто случайное, потом стали регулярно вздрагивать, обнаруживая серебрянокрылые бациллы у авторов самого разного тембра, калибра и уровня: «нас накрыл шелест крыл», «крылья плотно стиснуты цепями», «крыло не спорит с пыльным словарем», «примерка пары ангельских крыл», «окрылил — теперь терпи с крылами», «стрижку сменил и подрезал крылья»... Клянусь, десятая часть из всей совокупности возможных примеров!

В конце форума весь наш шумный семинар уже играл в увлекательную игру по отлову крылообразов. Крыло — шелк, крыло — чик, крыло — штраф.

Посыпались взаимные стихошаржи. Кто-то предложил ввести, как в гастрономе, ценник на повы-

шенный лиризм: «КРЫЛЫШКИ КУРИНЫЕ — 75 РУБЛЕЙ КГ». Кто-то написал на нас с Василевским эпиграмму, где мы изображались как хирурги по ампутации слазавых крыльев... Смеху было вдоволь, никто, слава богу, не оскорбился и не обескрылел, а возможно, и был во всем этом некий незаменимый педагогический смысл... Даже наверняка — был.

А вообще не пора ли мне в дорогу? Не время ли взмахнуть командировочными крылами? Не засиделась ли я дома?

*4 декабря 2003*

Вот говорят: документальная проза. Вот говорят: документ в литературе. А толком никто так и не очертил границы этого явления, ибо, честно сказать, документ — это наше все.

Кстати, и в самом слове «документ» какие только слова не притаились: и «дока» (знаток, мастер), и «докука» (надоедливое, скучное дело), и «доказательство» (на милицейском жаргоне — вещдок)... А народ, заметьте, словно бы отстраняясь иронически от расплывчатого термина, ставит тут свое ударение: докúмент — то есть паспорт, проездной, квитанция... Документ, вживляясь в художественную ткань, всегда становится сам себя шире: даже ж/д билет или стенограмма собрания немедленно обращается в метафору, в памфлет, в инсталляцию... Энергия контекста?

Тут в эти сумбурные мысли вмещался мой старый компьютер (я давно подозреваю его в свойствах живого существа: то обидится, то заснет, то встрепенется): какой бы мы текст ни набрали — любовное послание, заявление об уходе с работы или даже стишок, — он, компьютер, к имени текста присово-



купит словцо «doc». Стих.doc. Письмо.doc. Дневник.doc. Все, выходит, док, вся жизнь — док, все наши разговоры, намеки, слезы — док.

В 11-м номере «Нового мира» напечатана сильная штука (драма для чтения? пьеса-повесть?) Елены Исаевой «Первый мужчина» с подзаголовком «Театр.doc», созданная по методике «verbatim», что по-латыни означает «дословно». Техника эта родилась в Англии, в лондонском театре «Роял Лорт»: режиссер намечает тему, актеры «идут в народ» с диктофонами, попутно наблюдая все повадки, жесты и интонации так называемых «информационных доноров». Драматург материал расшифровывает и, ничуть его не редактируя, оставляя и паузы, и заикания, и слова-паразиты, лепит пьесу. Ничего в исповедях менять нельзя, придумывать свои истории по мотивам нельзя — можно только сокращать и компилировать. Подробнее об этой системе читатель узнает из послесловия «От автора» — оказывается, в Москве уже год как существует «Театр.doc», и идущие на его сцене пьесы о наркоманах, о преступлениях страсти и о прочих острейших точках нашего бытия вызывают бурную реакцию, как восторженную, так и неприемлющую. Иные зрители и критики полагают, что подобный язык минимально обработанной информации, во-первых, слишком далек от законов искусства, а во-вторых, губит нашу психику разрушением табу.

Елена Исаева, которую я до сих пор знала как мягкого лирического поэта, не побоялась вступить на грозную — в ямах и в пригорках — территорию. Она затеяла опрос женщин, так или иначе приблизившихся к трагедии инцеста: когда дочка видит в отце мужчину, а не только папу... «В том и ценность методики «verbatim», — полагает автор, — что она выводит писателя в области, далекие от его личного жизненного опыта, на, казалось бы, хорошо известный для него материал, в моем случае — на отношения в семье...

Каково было мое удивление, когда каждая вторая начала рассказывать вещи, о которых, мне казалось, никто никогда никому не говорит, если они есть, а уж тем более — не в диктофон на всеобщее обозрение. Потом я поняла, что именно эта «глубинная запрятанность» и много лет саднящая рана требовали вербального воплощения, проговоренности...»

Повесть-пьеса «Первый мужчина» привлекает уровнем откровенности и приводит к выводу: как же мы мало знаем о себе сами. Сугубо ли она документальна? Вряд ли. Воля художника проявляется уже в том, какие и каким тоном он ставит вопросы, как, используя эффект контрастных сцеплений, чередует ответы разных персонажей, что именно укрупняет — сокращая. Даже если ничуть (поверим!) не редактирует стенограмму... Замечу между прочим, что вышеописанная методика лишь гротескует универсальные законы прозы вообще: а не являются ли такими же «донорами» всякие прототипы и не есть ли любой житейский опыт претворяемая художником «стенограмма» реальной многоголо-сицы? Что же касается ханжей из публики и прессы, то у меня внезапно сочинилась такая эпиграмма: «Если вредный документ,/ оштрафует доку — мент,/ то есть ушлый, то есть критик,/ документов аналитик».

Вывод: Елена Исаева — дока недокучливого жанра, хотя и не первопроходец даже на родной почве: ведь существует уже и «Мы из огненной деревни» А. Адамовича, и их же с Д. Граниным «Блокадная книга», и повествования С. Алексиевич. Не первопроходец, но свернула на совершенно нехоженую тропку жанра. Да: сгущенные Исаевой до катарсиса устные исповеди — это «вещдоки» наших бездн... В общем, всякая жизнь, как и отражающее ее искусство, документальна по определению.

## СТОЛПНИК В ПУТИ

Совсем недавно побывала я в гостях у старшеклассников в замоскворецкой школе с гуманитарным уклоном. Там одна моя подруга работает учительницей литературы, а еще — после уроков (да здравствуют не вымершие пока словесники-подвижники!) ведет поэтический кружок. Собираются они в маленькой читальне под портретами Гоголя, Ахматовой и прочих наших гениев и читают стихи, сочиняют сонеты и басни, толкуют о рифмах и верлибрах, а иногда встречаются со «старшими товарищами» и мучают их крутыми вопросами.

Ну и дети!— скажу я вам от души. Ну и вопросы они мне задавали! Мало не покажется. Их интересует все — от религиозных спекуляций до нецензурной лексики в книгах... От графического оформления стиха до лирической энергетике разных районов и кварталов. «Какое место в Москве, — спросил меня отрок Антон, — самое плодотворное для стихосложения?»

И впрямь — какое?

Для меня, например, все, что вокруг метро «Сокол» (ностальгия по детству), и то же Замоскворечье,

Яуза, фабрично-купеческие проулки... Читала детям Цветаеву: «И покамест пустыня славы / не засыпет мои уста, / буду петь мосты и заставы, / буду петь простые места...» Говорили про ореол территории. Про кураж бродяжничества. Про необходимость побегов из привычного и прогулов обязательного — хоть оно и непедагогично.

И знаете ли — такие совпадения у всех бывают, — вернувшись домой и еще не остыв от этого сумбурного взаимного урока, я обнаружила в почтовом ящике очередной номер «Знамени» (2004, № 1) — с рядом невольных дополнений к очерченной теме. В этом номере опубликована огромная подборка Бориса Рыжего (1974-2001), равная посмертной книге и вся пронизанная именно «долгой мыслью» о связи поэтовой души с пейзажем, с, например, аллеями городского сада, с гуляньем по кладбищу, «по пеплу, по праху, по грядкам могил», с освоением равнодушных-прекрасных городов и нищих поселков.

...Минуя свалки, ангелов,  
помойки,  
больницы, тюрьмы,  
кладбища, заводы,  
купив вина, пришел я в парк  
осенний...  
Сегодня день рожденья  
моего.

Та же Марина Цветаева делила поэтов на «столпников» (кто сразу — был) и на «путников» (кто неустанно движется и меняется). Вообще-то согласна. Но Борис Рыжий — исключение. Очень сильный и особый поэт, он соединил в себе — и тематически и стилистически — уникальную верность доставшемуся от роду, маргинальному «месту» и улету вдаль, за край. Он был столпник в пути.



## КНИЖНЫЙ ШКАФ VS. ИНТЕРНЕТ

В автобиографическом очерке «Ранние годы» Николай Заболоцкий первым учителем своим называет... отцовский книжный шкаф.

«У моего отца была библиотека — книжный шкаф, наполненный книгами. С 1900 года отец выписывал «Ниву», и понемногу из приложений к этому журналу у него составилось порядочное собрание русской классики, которое он старательно переплетал и приумножал случайными покупками. Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, наклеенное на картоночку, виднелось наставление, вырезанное отцом из календаря. Я сотни раз читал его, и теперь, сорок пять лет спустя, дословно помню его немудреное содержание. Наставление гласило: «Милый друг! Люби и уважай книги. Береги их, не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги — все равно что хлеб»... Детская душа восприняла его календарную премудрость со всей пылкостью и непосредственностью детства. К тому же каждая книга, прочитанная мной, убеждала меня в правильности этого наставления. Здесь, около

книжного шкафа с его календарной панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не до конца понимая смысл этого большого для меня события».

Я все, конечно, сознаю — интернет, «мышь», нажали, информацию получили, листать не надо, пыли нету... А все равно ничто не сравнится со шкафом, со стеллажами, с полками, с обложками, с пометками на полях и с закладками. У меня, например, коридор забит переплетенными в синий и шоколадно-бежевый коленкор «Новыми мирами» — 1950—1970, — и каждый год уместился в четыре фолианта по три журнальных номера. Отец мой в течение многих лет сам вразвалочку ходил к переплетчику в подвальную мастерскую (сначала у Инвалидного рынка, а потом у кинотеатра «Баку») и придавал этой на глазах творящейся истории литературы огромное значение. Даже как-то торжественно волновался, когда приносил эти журналы, преобразенные в книги, — с улицы домой.

Сейчас пиетет и трепет по отношению к книжному шкафу временно утрачен. Его оттеснил, повторяю, агрессивно вездесущий компьютер. Шкаф, как писал Андрей Вознесенский совсем по другому поводу «устарел, как Робот-6,/ когда Робот-8 есть!».

Но я-то убеждена, что именно за книжным шкафом — памятливое будущее, как за наскальными надписями, за пергаменатами, за намоленными иконами.

Помните у Гумилева — стихотворение «В библиотеке»: «О, пожелтевшие листы/ В стенах вечерних библиотек,/ Когда раздумья так чисты,/ А пыль пьянее, чем наркотик!/ Мне нынче труден мой урок./ Куда от странной грезы деться?/Я отыскал сейчас цветок/ В процессе древнем Жиль де Реца./ Изрезан сетью древних жил,/ Сухой, но тайно благовонный.../ Его, наверно, положил/ Сюда какой-нибудь влюбленный...»

Гумилев имел в виду реальную книгу, вышедшую в Париже в 1886 году и посвященную маршалу Фран-

ции и участнику Столетней войны Жиль де Рецу, который был осужден и казнен — о, ужас! — по обвинению в магии и в садизме, зато стал, как говорят, прототипом Синей Бороды... Так вот, в книге, воцаренной в центре гумилевского стихотворения, собраны документы соответствующего судебного процесса. Если бы поэт прочел ее просто в интернете — никакое бы стихотворение не родилось. Но, слава богу, век назад, когда Гумилев листал вышеописанный том, была еще в ходу и книжная пыль, и цветочные закладки промеж жутких по содержанию хроникальных страниц. Глядишь, и фантазия, возгоревшись от этой сшибки, понеслась в лирическую даль...

Я это к тому, что все очень даже хорошо. Интернет у меня есть, но основной участник жизни — шкаф: старый, бедняга, облупленный и слегка покосился. Здорово, что страницы пожелтели. Прекрасно, что из одной книги выпала студенческая еще шпаргалка, а из другой — железнодорожный, из желтого картона с пробитыми дырочками билет, а в «Тарусских страницах» (Калуга, 1961) я вообще обнаружила допотопные облигации и карту с девяткой пик.

Какой интернет подкинет подобные чудеса в решете?

Интернет — безлик и рационален. Шкаф — персонален и безумен. Интернет — для дела (я не против), шкаф — для любви и для памяти. Интернет — техника и нуждается в постоянном обновлении (то есть обречен на наше предательство), шкаф — вечная, неиссякаемая, роковая связь.

Я шучу, конечно. Отчасти.

И все же — как говаривал чеховский Гаев: «Дорогой многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование...»



## СТАРОЕ — ЗАНОВО

В современной русской поэзии древние жанры — что элегия, что баллада, что ода, что басня — живут только за счет внутреннего парадокса и перекоса. Благодаря неуважительному кулаку, которым автор пугает и расшатывает изначальный канон. Нужен элегии сельский фон? А мы поддадим урбанизму! Нужен оде пафос? А мы снизим! Нужен балладе сюжет? А вот фиг вам — наоборот, пускай будет статично. Если басня — то непременно без морали (не в том смысле, что автор аморален, а в том, чтобы никакого в конце «урока»). И жанр — от контраста с ожидаемым — выздоравливает. Так — я своими глазами прочла недавно в научной брошюре — в старину шизофрению лечили паранойей, а скарлатину — свинкой.

Взять, к примеру, сонет. Тот самый, классический, которого не презирал суровый Дант, а также нежный Петрарка и бесподобный Шекспир. Это четырнадцатистишная форма, в которой, напомним, должны строго чередоваться всякие там катрены и терцины, да так, чтобы рифмы шли только в определенном порядке, всегда расцветала только под пером поря-

док презирающего. Автор сонета достигал удачи, лишь разнообразия и разрушая, вспомним Пушкина, «напев его стесненный»... Забавно, но все научные эпитеты к «сонету» — какие-то инвалидно-медицинские: хвостатый, опрокинутый, безголовый, хромой. Что само говорит за себя: сонет — жанр живой и хвостатый. Как человек.

Лучшие сонеты в современной поэзии принадлежат, я в этом уверена, классику-авангардисту Генриху Сапгиру — ибо они ни по лексике, ни по тону, ни по графической подаче на традиционные образцы жанра не похожи. Первые сонеты его были — «на рубашках»! Сапгир знал, что есть такая визуальная поэзия за границей. И решил: напишу-ка я фломастером (все это было и вынужденно, поскольку его ну совсем в 70-е не печатали) на рубашках два сонета — про тело и про дух. Одна рубашка, решил поэт, будет шутовская — «про тело»: он обрезал рукава шутейными уголками. А другая — наглаженная, и он не пожалел янтарных запонок, — это будет «дух». Генрих повесил рубахи на плечики (есть фотографии): сверху висит «дух», а внизу висит «тело»... Но особенно я люблю сонет «Она», где монолог исходит из уст самой рубашки, которая сначала обнимала чужое тело не по любви, а с отвращением, потом нахлесталась вина и водки, затем дремала на спинке стула с серыми от пота подмышками, вся в морщинах... Дальше — энергичная метафора творчества вообще, которое обновляется в яростной стирке (читай: в отказе от инерционно-привычного). Два завершающих терцина гласят: «Меня вращали в барабане/ пытали в щелочном тумане/ под утюгом мне было тяжело!/ И вот обняв чужую шею/ я снова девственно белею/ и пахну свежестью — р у б а ш к а!» Разве скажешь лучше о традиции жанра — и «про», и «контра»?

1 ноября 1998 года навестила я Генриха Сапгира — и много часов проговорили мы о поэзии в его каби-

нете с картинами Оскара Рабина. Генрих заметил в частности:

— Почему даже в те карательные времена развивалось искусство? Почему начиная с 50-х годов происходил, несмотря ни на что, в искусстве рост энергии? Потому что все мы, люди моего круга, были изнутри свободны. И эта свобода выращивалась и утверждалась в противовес нажиму. Но когда и нажим и противовес исчезли (сейчас) — все всплыло: и самое хорошее, и дерьмо. Художнику теперь, наверное, даже труднее стало работать.

Минуло с той беседы пять лет. Не стало великого Генриха. Нажим и противовес, похоже, вернулись — и, по Сапгировой логике, художнику нынче работать должно стать легче. Нет худа без добра. И на том матери-истории спасибо.

*4 марта 2004*

## ГОЛОСОМ СЕЛЬСКОЙ ПРОРОЧИЦЫ

Гения — кстати, почему у этого слова нет женской ипостаси? — нашего местного верлибра, поэтессу и блаженную бомжиху Ксению Некрасову (1912—1958) все звали только Ксюша. Описав их послевоенное столкновение у Малого театра, «под струями Москвы», Борис Слуцкий сообщает: «И вот, моложе дубовой рощицы, / И вот, стариннее дубовой сохи, / Ксюша голосом сельской пророчицы / Запричитала свои стихи»... Пророки, по Далю, суть те, кому «дан свыше дар провидения, или прямой дар бессознательного, но верного прорицания, кому дано откровение будущего». У Ксюши откровение опиралось на традицию заплачки, которая связана с похоронами, с рекрутскими обрядами, а также с неурожаем, голодом, пожаром, болезнью. При этом стих ее мажорен, а лубок лукав и чуть шаржирован. Здесь он смыкается с модерном. Еще в фокусе — и сказка, и детский рисунок-наив... «Как мне писать мои стихи? / Бумаги лист так мал, / а судьбы разрослись / в надширие небес. / Как уместить на четвертушке небо?» Если о ритме, то это полуорганизованный свободный стих, тактовик. Скорее русская фольклорная, чем западноевропейская ветка.

Как сказал один литинститутский студент: «Ну, в общем, это как бы русский народный Уитмен в юб-

ке. Типа». М-м-мда. Вообще-то все ветки верлибра связаны со звукорядами ветра, дождя, грома. У Ксюши они сумбурно, но густо прорифмованы, и порою вольный стих вдруг переходит в окончательно регулярный и зарифмованный... Кстати, она повлияла даже на саму Ахматову. Во время войны они сдружились, соседствуя в ташкентской эвакуации. Как вспоминал В. Берестов, эвакуированные барчуки-соцреалисты называли поэзию Ксении «кискиным бредом», а вот Ахматова оценила ее высоко. «...Не только А.А. помогла Ксении, но и такая некрасивая, если со стороны, и такая несчастная Ксюша своей способностью при всех обстоятельствах восхищаться подробностями бытия, может быть, в чем-то помогла Ахматовой. Впрочем, царственная Ахматова и «плебейка» Некрасова были похожи...»

Известен замечательный портрет Ксюши кисти Фалька.

Но теперь — о другом. Я давно думаю о поэзии Ксении Некрасовой — и вот недавно получаю письмо от моей старшей подруги и соседки по кварталу Евгении Кузьминичны Дейч, которая, зная этот мой интерес, изложила в нашей «переписке из двух дворов» драгоценные сведения. С позволения Е.К. самое любопытное для читателя приведу здесь.

«В Большой Каретный переулок, где мы жили с Александром Иосифовичем (с А.И. Дейчем: филолог, театровед, переводчик; 1893—1972. — Т.Б.), Ксюша часто приходила. После войны две комнаты нашей квартиры заняли пострадавшие от бомбежки скульптор с женой и дочерью, а мы остались в одной комнате, которую перегородили шкафами. У нас вечно жили неустроенные киевляне (Дейч родился в Киеве). Неожиданно появлялась Ксюша — ночевать нет места. А была большая ванная комната. Она и говорит: «Я здесь буду спать». Я ей устраивала «ложе»: на ванну клала доски, сверху узбекские одеяла.

Так она спала. Удивительная личность! Совершенно отключенная от быта. Как-то освободился диван, и я рада была устроить ей нормальную постель. Наутро говорю: «Вот, Ксюша, ты хорошо спала без досок». Она на меня посмотрела удивленно: «И там было хорошо». Уходила и приходила всегда неожиданно. Любила есть прямо из кастрюли, не замечая, что ест. Номер нашей квартиры путала, часто стучалась к нижним соседям, которые звали ее «юродивой»... Писала мне записки абсолютно безграмотно: «Эвгеша сиводне не преуду» и т.д. В ней было что-то языческое... Любила слушать чтение Дейчем на иностранных языках. А он был полиглотом, знал до пятнадцати языков, свободно разговаривал и на скандинавских. «Осипыч (так она звала Ал. Иос.), прочитай что-нибудь не по-нашенски», — говорила она. И внимательно слушала отрывок из Андерсена по-датски. Особенно любила, когда Дейч читал Верлена по-французски. У нее был, как мне кажется, абсолютный слух на слово, на его музыкальность...

У нас ниже этажом жили Мамоновы. Валя родила мальчика Петю, ее мама и бабушка работали, время было тяжелое. Валя училась в МГУ, убежала на лекции, а Петю (знаменитого теперь Петра Мамонова) оставляла в коляске на балконе или на лестнице между квартирами. Конечно, мы все помогали как могли, когда ребенок плакал. Я раз поднимаюсь по лестнице (лифт не работал) и вижу Ксюшу с Петей на руках. И она поет ему удивительной красоты песню. Оказалось — колыбельную, которую тут же сочиняла, а на глазах — слезы. Видно, вспомнила своего погибшего ребенка...»

Цитату оборвем: больше, увы, нет места.

После этого — от Евгении Дейч — февральского письма я по-новому и Ксюшу перечитала (особенно хрестоматийное, без даты: «Мальчик очень маленький, / мальчик очень слабенький...»), и Петю, досто-

ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

чтимого Мамонова, слушаю и думаю: не с Ксюшиного ли пения на лестнице берут начало рок-звуки Му? Воистину, друзья: неисповедимы пути Господни, не так ли?

*18 марта 2004*

## ЧЕМ НИЖЕ, ТЕМ ВЫШЕ?

«Книжный магазин блестел в бельэтаже \*\*\*ой улицы, лампы отбивали теплый свет на высоко взгроможденные стены из книг, живо и резко озаряя заглавия голубых, красных, в золотом обресе, и запыленных, и погребенных, означенных силою и бессилием, человеческих творений», — так для разбега начинал свою незавершенную рецензию на пушкинского «Годунова» Гоголь. И продолжал: «Толпа густилась и росла. Гром мостовой и экипажей с улицы отзывался дребезжанием в цельных окнах, и, казалось, лампы, книги, люди — все окидывалось легким трепетом, удвоившим пестроту картины...»

Ну, точь-в-точь мой любимый магазинчик на \*\*\*ой улице — разве что не экипажи, как у Гоголя, а всякие жигули и джипы, и не бельэтаж, а, наоборот, подвал со зловеще могучими стенами. Поговаривают, что в 30-е годы тут располагались лубянские камеры пыток, теперь же гляди — книжные полки, компьютеры, читальные кресла, молодежная кофейня. Налицо гуманистический прогресс, ура! Но вернемся к Гоголю. «Каков Пушкин?» — сказал, быстро поворотившись, новоиспеченный гусарский кор-



нет своему соседу, нетерпеливо разрезывавшему последние листы... «Мастерство-то главное, мастерство; посмотрите, посмотрите, как он искусно того...» — трещал толстенный кубик с веселыми глазками, поворачивая перед глазами своими руку с пригнутыми немного пальцами, как будто бы в ней лежало спелое прозрачное яблоко. «Да с большим, с большим достоинством!» — твердил сухощавый знаток, отправляя разом пол-унции табаку в свое римское табакохранилище».

Внутри гениальной наброска окарикатурена и светская болтовня вокруг книжной новинки, отдаленно напоминающая наши нынешние беспрестанные презентации. Правда, встарь на книжных встречах меньше ели и пили — нынче жанры критики и банкета, эссеистики и фуршета синтезировались намертво. Как существует, например, стихопроза, так заматерела в последние годы — предлагаю новый термин — библиотрапеза.

Мне самой часто звонят из вполне культурных организаций с просьбой выступить на премьере остропроблемной книжки, а завершается приглашение подробным меню: вино, дескать, будет красное грузинское, и тарталетки всякие, и фрукты в изобилии. Бывает, готовишься как к докладу, идешь, волнуешься. А чего волноваться-то зря? Как правило, серьезная дискуссия поэта, философа и, скажем, текстолога быстренько прерывается жарким шепотом из смежной залы: «Кончаем, кончаем — к столу...» Я не ворчу — я констатирую. Сама не раз устные свои трактаты комкала, сама к столам бодро поспешала. О, Марина: она-то столы обеденный и письменный, рабочий и праздный по-цветаевски резко противопоставляла («Вы — с отрывками, я — с книжками, / с трюфелем, я — с грифелем, / вы с оливками, я — с рифмами, / с пикулем, я — с дактилем») — боже, ну что за максималистская архаика!

А еще в зарисовке Гоголя есть одно наиактуальнейшее место — про связь мастерства и достоинства автора с выгодой торговца. Итак, снова цитирую: «А самое-то сочинение действительно ли чувствительно написано?» — с смиренным видом заикнулся вошедший сенатский рябчик. «И, конечно, чувствительно! — подхватил книгопродавец, кинув убийственный взгляд на его истертую шинель: — Если бы не чувствительно, то не разобрали бы 400 экземпляров в два часа!» Между тем лица беспрестанно менялись, выходя с довольною миною и с книжкою в руках».

Этот фрагмент слегка устарел. Живи Пушкин сегодня и устрой он презентацию драмы или поэмы — не уверена, что тираж раскупили бы столь быстро. Художественный уровень текста и богатая выручка за полтора с гаком столетия вошли во взаимоотношения, противоположные тем, что намечены у Николая Васильевича. Впрочем, и у него — скорее ироническая мечта, нежели синхронная автору явь... Но уж нынче — оно окончательно: чем хуже, тем лучше, чем ниже, тем выше, чем жиже, тем гуще.

Недавно в «Литературной газете» был опубликован список из 50 поэтических книг, он же — рейтинг их раскупаемости в центральных столичных магазинах за минувший год. Очень характерно. Впереди — Э.Асадов и А.Дементьев, ближе к самому концу — Г.Русаков и О.Чухонцев. Для мало-мальски сведущих комментариев излишен.

Короче говоря, заглянувши в хорошую книжную лавку, советую вам, верные (как сказал бы Гоголь, «в истертых шинелях») друзья подлинной словесности, сразу же направляться в углы пустые, немногочисленные. Там, покопавшись, можно найти нераспроданные, погребенные шедевры, что в переводе с французского (*chef-d'oeuvre*) означает «венец творенья». В то время как в местах возбужденного народоскопления идет «успешная-с выручка денег» при распро-

## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

даже всяческих бестселлеров, что в переводе с английского означает вовсе иное: *best* — лучше всего; *seller* — продаваться. Иногда шедевр, в порядке исключения, оказывается бестселлером, но это такая же редчайшая редкость, как если добропорядочно душевный человек делает успешную карьеру...

*15 апреля 2004*

## ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ: КОРОБКИ, СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ

Знаменитый «Тропик Рака» (Генри Миллер завершил его семьдесят лет назад) открывается эпиграфом из американского философа эпохи романтизма Эмерсона: «Романы постепенно уступят место дневникам и автобиографиям, которые могут стать пленительными книгами, если только человек знает, как выбрать из того, что он называет своим опытом, то, что действительно есть его опыт, и как записать эту правду собственной жизни правдиво...» Эмерсон как в воду глядел. Романы, побряхтев, уступили место опыту дневников и автобиографий — причем на собственной территории и под собственной жанровой рубрикой. Если проще, то так: имя «роман» остается, но дистанция меж прототипической явью и искусством сокращается до предела. Фантазии и философии все меньше: прозаик бежит по лестнице вниз (полагая, что вверх), обеими руками держась за перила неостывших фактов, приключившихся с ним на... Ну, например, на чердаке или на лестничной площадке. Место фантазии занимает отбор и столкновение реальных мелочей, роль бродильного элемента — лирическая интонация.

Писательница и художница из Перми Нина Горланова (вот на стене у меня висят ее дары: живопись наива — букет, он же сова, и рыба, и святой) призналась мне однажды, что весь свой опыт заготавливает впрок и сортирует по коробкам. Например, Нина уверена, что первая фраза должна заманить, посему у нее была целая коробка (из-под индийского чая) первых фраз. Коробки ей долго заменяли файлы, пока не было компьютера. «Мусор». «Юмор». «Сны». Они и сейчас, в компьютерную эру, при Нине остаются: она без них не может. «Разрезаю, раскладываю, склеиваю, — говорит она. — Столько записей! Коробки, сумки, чемоданы. Прямо не справляюсь с этим объемом. Ту коробку с первыми фразами я потеряла во время ремонта и никогда больше не нашла. А как говорил наш преподаватель старославянского: «Плохой карандаш лучше хорошей памяти...» Пришло время автобиографического романа, и все пригодилось». Нинин роман-автобиография «Нельзя. Можно. Нельзя» так и лежал в виде записей, потом она разложила его по персонажам: дети — отдельно, муж и друзья — отдельно. Многое и сейчас не использовано. Но Горланова эти свои коробки не выбрасывает. Еще, говорит, напишу чистые мемуары... Впрочем, «чистых» не бывает, ничего беспримесно документального в искусстве нет. Уже сам отбор фактов предполагает художественное смещение. Монтаж вкупе с ритмом — вещь в прозе особая.

Так, на пересечении дневника, автобиографии и стихопрозы, строит свой Баку Афанасий Мамедов, о котором я уже на этих страницах писала, но вдруг вспомнила важное замечание из уст прекрасного поэта Ирины Ермаковой (это — в беседах, которые я всю жизнь веду с коллегами и товарками; тоже мой, скажем так, собеседнический дневник). «Знаешь, — говорит, — Таня, так бывает, читаешь что-нибудь, и словно именно для тебя это все написано. Каждая

## Исподлобья

фраза. Как стихи любимые. Открываешь и читаешь с любого места. За такую прозу хорошо бы платить построчно, как за стихи платят. Это же и есть поэзия. Крепкое вино текста настояно на Пастернаке и Кортасаре. Оно весело перебродило. Оно прозрачно. Все ненужное выпало в осадок и сцежено. Привычный автобиографический ужас жизни никуда не делся, но это только одна из составляющих букета. Мамедовский напиток выдержан ровно до того градуса, который необходим. Для меня...»

Ну, насчет построчной оплаты — это Ира размечталась и загнула: серьезным прозаикам и лирикам она пока не грозит. Книги, однако, слава богу, выходят.

Главное же для автобиографического романиста, чтобы все ненужное выпало в осадок и было сцежено (либо осталось в коробках из-под чая или обуви). А нужное чтобы преобразилось в контрастных сцеплениях. Тогда и получается пленительный напиток прозы, близкой к жизни. Можно пить.

*29 апреля 2004*

## И ДРУЖБА, И СЛУЖБА

С кем только не сравнивали себя русские поэты, с чем только не отождествляли свою музу и миссию! И с колоколом, и с эхом, и с различными птицами, зверями, растениями, и с вином, и с губкой, и с волной. И с Богом, и с чертом, и с ассенизатором, и с водовозом, и с клоуном, и даже — это уже совсем в наши дни (обнаружено в куче рукописей, пришедших на конкурс в Литинститут) — со снежным человеком, который пришел регистрироваться в паспортный стол... Борис же Слуцкий, коего друзья дразнили комиссаром от словесности, уподоблял поэта преподавателю истории, творящейся на глазах. «Я — учитель школы для взрослых, / так оттуда и не уходил — / от предметов точных и грозных, / от доски, что черней чернил. / Даже если стихи слагаю, / все равно — всегда между строк — / я историю излагаю, / только самый последний кусок».

В книге воспоминаний Петра Горелика «Служба и дружба», выпущенной недавно питерским издательством при журнале «Нева», мы найдем комментарии к поэзии его друзей, тем более ценные, что сам автор — не только фронтовик, но и профессиональный

военный — есть лицо абсолютно незаинтересованное, а стало быть — объективное. Когда он еще юношей перед войной вошел в группу позднее прославившихся поэтов (Кульчицкий, Наровчатов, Павел Коган...), то Дезик, который Самойлов, сказал: «А это будет у нас наблюдатель из читателей стиха». Так оно и вышло на всю жизнь.

Горелик — родом из Харькова, и со Слуцким они подружились в очереди за керосином, попутно выяснив, что учатся в параллельных классах... Оказывается, будущий поэт уже лет с десяти славился на всю школу знанием истории, особенно Великой французской революции — это был его конек. «На улице, пусть немногочудной, но где все же встречались прохожие, Борис читал не стесняясь, внятно, высоко подняв голову и чеканя ритм жестом...» Перебью Горелика и скажу, что так же читал Слуцкий свои, а чаще чужие стихи и лет сорок спустя, когда стал уже московским мэтром. А тогда... «Прохожие могли нас запросто принять за городских сумасшедших».

Мемуары Горелика многолюдны и разветвлены, там немало и про армию, и про военную науку, но я выбираю, естественно, свое. Например, вкраплено в эти воспоминания письмо Давида Самойлова. В конце 70-х Самойлов попросил Горелика прислать ему армейские сапоги, но у того их не оказалось, и он отправил поэту в Эстонию крой на сапоги. Получил благодарность за «сапожный товар»... «Давно, — писал Самойлов, — я не испытывал такого удовольствия и чувства исполняющейся мечты. Я уже вижу себя в сапогах и широких штанах лилового цвета. Это достойный костюм провинциального лирика... У меня всегда было стремление создать литературное направление, но мешало отсутствие формы. Сапоги и штаны вполне заменяют мне манифест школы и, в общем, являются формальным принципом, которого мне не хватало. Эта одежда намекает на умерен-



ную почвенность и армейский дух». Забавно и весьма, кстати, существенно. Культовый поэт либерального круга Давид Самойлов в стихи ни армейский дух, ни даже умеренную почвенность впрямую не пропускал, но откровенно проживал неприемлемые для кланового сознания государственные идеи в дневнике, в письмах и даже, как мы видим, в манере чуть пародийно одеваться вдали от Москвы. Так быт вносит уточнения в смысл. Потому важно бывает сопоставить архивные записи с публичными текстами (и не только в случае Пушкина и Керн): проясняет диалектику.

Слуцкий же — столп отдельности и внеклановости — стоял асимметричным особняком.

В главе «Борис Слуцкий и Давид Самойлов» полковник Горелик нежно, но наблюдательно сравнивает этих двух штучных антиподов, рассматривает их, как военный тактик — далекие парные объекты, твердой рукой ветерана наводит на стихи товарищей луч своего прожектора.

А 7 мая с.г. Борису Абрамовичу Слуцкому исполнилось бы, знаете ли, восемьдесят пять лет... Юбилей. Не знаю кто как, а мы, подопечные новатора и аскета, и учителя школы для взрослых — мы его в разных городах помянули. Тем, кто ходил в начале 70-х в его семинар или просто мучил добросердечно-строгую поэту своими стихами, Б.А. говорил то ли в шутку, то ли всерьез: «В вашем возрасте я писал еще хуже», а иногда добавлял: «Станете поэтом — только не пейте водку...» А следом шел скрупулезный разбор. Но это уже другие мемуары. Потом.

*20 мая 2004*

## ЕСЕНИН И НОСЫ

Люблю Государственный литературный музей, в частности тот «отсек», что в Трубниковском переулке: сокровищница да и только. Рукописи и прижизненные издания гениев, альманахи ушедших времен, вещи, вещицы, предметы быта... Для уяснения общей ауры и персональных миров все важно, все не лишнее. Мелочей в литературском наследии нет. «Заходите, пожалуйста. Это/ Стол поэта. Кушетка поэта./ Книжный шкаф. Умывальник. Кровать./ Это штора — окно прикрывать./ Вот любимое кресло. Покойный/ Был ценителем жизни спокойной...» — начало прелестной сатиры Давида Самойлова «Дом-музей», где тетрадки и сюртук с рваной полрой, дневники и стакан с блюдцем, лавровый венец и канапе — все трактуется экскурсоводом с сугубой многозначительностью.

Впрочем, такой вес затекстовым экспонатам, писателя окружающим, придают не только музейные работники, но и сами литераторы. Жил-был в дореволюционном Петербурге переводчик на немецкий (и «Бориса Годунова», и «Недоросля», и «Ревизора» перевел — во как!) Федор Федорович Фидлер, собрав-

ший, кстати, к 1911 году преинтереснейший том «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей», — так вот он не просто коллекционировал автографы и реликвии. Он, Фидлер, у каждого курящего автора брал на добрую память папироску. А Иван Алексеевич Бунин этим делом восхищался и, по воспоминаниям жены, рассуждал: «Ведь это так характерно — кто какую папиросу курит! Я, например, курю очень тонкую, а такой-то толстенную, как и сигарки с трубками — у всех разные...»

Что уж тогда говорить о рисунках, полотнах, гравюрах, эскизах, автошаржах самих писателей, которые тоже «у всех разные» и дают неоценимый комментарий, если не ключ, к их индивидуальным словесным тайнам... Короче, в Трубниковском не так давно открылась грандиозная экспозиция из запасников: изобразительное творчество писателей, классиков и современников. «Писатель рисующий», так называется эта выставка, приуроченная к 70-летию музея. Выпущен и альбом-каталог с энергичным предисловием директора музея Натальи Шахаловой и с научной вступительной статьей искусствоведа Юрия Герчука «Слово и линия». В заметке о каждом из участников экспозиции (а их около сотни: от Жуковского и Лермонтова до Пригова и Нарбиковой) обозначены тонкие и по большей части пленительные связи меж словесным и линейно-цветовым началами внутри частной мастерской.

Так, гениальные рисунки Пушкина являются продолжением его стремительного почерка. Так, Батюшков, по определению одного из его современников, писал «элегию или балладу в красках». Так, акварели и стихи Волошина неразделимы, зачастую — как взаимовариации. Так, иллюстрации Андрея Белого к «Петербургу» и «Москве» гротескуют идеи этих романов.

## Исподлобья

Давид Бурлюк воспринимал живопись и словесность как сообщающиеся сосуды своего эго: кстати, он, уже в Америке, издавал вместе с женой журнал «Colour and Rhyme» — «Цвет и рифма». Алексей Ремизов сам оформлял свои книги, склонность к шаржированию мира объясняя так: «По мне ведь лучший портрет тот, где карикатурно, а значит, не безразлично».

На выставке много именно таких небезразличных портретов: разглядывая, как Каролина Павлова пишет Гоголя, Брюсов — Бальмонта, Тарасенков — Пришвина, Трифонов — Паустовского, Коваль — Тарковского, мы узнаем для себя, словно бы читая страстное эссе, много чего нового и о портретисте, и о натурщике.

Особая статья — автопортрет писателя, рассматривающего самого себя взглядом рисовальщика: обстоятельный Тургенев предстает в ореоле неожиданной для нас лукавой самоиронии, а саркастичный Войнович глядит с непривычно печальной премудростью...

Выставка в Трубниковском настолько «прекрасна и удивительна», что ее надо смотреть, а не пересказывать. Из разряда удивительного: у Есенина преобладают рисунки профилей и, в частности, отдельно взятых носов. Почему? Линия Гоголя? А вот и нет. Пояснение С.А. Толстой-Есениной гласит: «Он мне рассказывал, что его отдали учиться к какому-то иконописцу и тот его все заставлял носы рисовать. Это было так скучно, что Сергей ушел от него и научился рисовать только носы...»

«Любите живопись, поэты», — некогда призывал коллег Заболоцкий, а мы его возьмем и перефразируем. Любите (и смотрите) живопись — поэтов! Прозаиков, конечно, тоже.

*3 июня 2004*

## ОСТОРОЖНО: НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯТЬ!

Афанасий Фет, часто посылавший свои только что созданные творения Льву Толстому, однажды потряс графа тем, что свежий поэтический шедевр — трагический, ночной, иррациональный — был записан летящим почерком... на обороте его же, Фета, хозяйственных подсчетов (плата за керосин) — скрупулезных и столь экономных, что даже Лев Николаич поразился контрасту меж небесной и земной ипостасью автографа. На самом деле он просто столкнулся с ярко выраженным феноменом «лирического героя» (сам термин возникнет позже: с нелегкой руки Тынянова — в связи с Блоком), нередко попадающего в смешные истории при неразличении с автором... Он, автор, может днем как заядлый помещик экономить на керосине, а ночью мистически сгущаться до себя другого, до себя-мифа, до себя лучшего, или худшего, или даже антагонистичного.

Эта и многие еще истории вспомнились мне при чтении теоретической статьи Инги Кузнецовой «Поэт и лирический герой: дуэль на карандашах» («Октябрь», 2004, № 3) — рекомендую к прочтению. В этом эссе (сразу видно, что писал и поэт и филолог) разбросаны догадки о психологии творчества: лиричес-

кий герой как Тень, в которой воплощены тайные свойства эго... он же как маска... он же как квинтэссенция «мы», то есть своего поколения...

Может лирический герой выступать и как тест: каков нынче уровень критики и публики? С тем же Фетом произошла такая передряга. Он в 1890 году написал стихотворение «На качелях», где поведал о том, как «опять в полусвете ночном / средь веревок, натянутых туго, / на доске этой шаткой вдвоем / мы стоим и бросаем друг друга...». Критика не замедлила: «Представьте себе семидесятилетнего старца и его «дорогую», бросающих друг друга на шаткой доске... Как не обеспокоиться за то, что их игра может действительно оказаться роковой и окончиться неблагоприятно для разыгравшихся старичков!» Фет комментировал этот комментарий так: «Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье ее трещало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марьей Петровной качаюсь».

Шуты гороховые — к вопросу о критике. Но это еще что! Читатели и особенно читательницы порою так простодушно отождествляли (-ют?) автора с лирическим героем, что переходили (-ят) к прямым оппозициям. У Бальмонта было знаменитое стихотворение: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым.../ Хочу одежды с тебя сорвать!..» Так вот, одна провинциальная акушерка сочинила «Ответ Бальмонту», где приложила стиховые гротески к себе лично и за словом в карман не полезла: «Хочу быть твердой, хочу быть гордой, / хочу мужчин к себе не подпускать!» Не слабо?

Современники частенько путают лирических героев и их создателей. Молодую Ахматову упрекали в том, что она, дескать, заявляет: «На коленях в огороде / лебеду полю», — а сама огородных работ чужда и на практике лебеду от полыни не отличает. Когда же она, верней ее лирическая героиня, призналась,

что «муж хлестал меня узорчатым, / вдвое сложенным ремнем», — то литературная общественность удивленно ахнула, а Гумилев прослыл на всю Россию садистом. (Апокалипсисом таковой «путаницы» стала то ли монахиня, то ли блудница из исторического доклада Жданова — и тут уже не до шуток.)

Да... Если в Золотом и в Серебряном веках поэт и лирический герой, бывало, встречали недопонимание, то в советские, иных металлов, времена они же, бедолаги, подвергались суду, более суровому и конкретному. Дисциплинарные казусы происходили с Глазковым и Сапгиром, Галичем и Высоцким, позднее — с Еременко. Администрация, реализуя метафоры и подшивая гиперболы в личное дело, упрекала лириков в аморалке, в присвоении чужого опыта, в нарушении общественного климата.

Нынче и критика и публика почти смирились с дистанцией меж автором и лирическим героем (а может, просто критика-публика потеряла к нам прежний интерес?), и если поэт заявляет, скажем, что он «вырос на могиле вверх ногами», то к нему не спешат со смирительной рубашкой... В основе лирики априори — умножение на сто, суперсгущение красок и право на безбилетный проезд в направлении любых бездн. Что не исключает полной трезвости стихотворца в свободное от вдохновения время. Хотя случаются и сложнейшие коллизии обратного рода: стих может начать перекантовку внетекстового пространства — образы, условно говоря, возьмут и взбаламутят счет за иссякающий керосин.

В общем, что касается автора и лирического героя, то здесь взаимоотношения куда сложнее, чем меж прототипом и персонажем в документальной прозе. При входе в поэзию вешаем вывеску: «Осторожно: не отождествлять».

## УВИДЕТЬ ЛЕТО НА ЗЕМЛЕ

Не кажется ли вам (мне кажется), что все русские книги стихов делятся на летние и зимние, лиственные и снежные, на те, что текут, извилистые, в брызгах, и те, что твердо направились подо льдом?

В любом случае самая летняя поэтическая книга в России XX столетия — это, конечно, «Сестра моя — жизнь» Пастернака. Каждое лето празднуем ее заново и диву даюсь: она «грандиозней Святого Писанья», да-да, по-прежнему — дрожжи и бродило для всякого забредшего в нее духа.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,  
Чтоб жглась юродивого речь?  
В природе лип, в природе плит,  
В природе лета было жечь.

В этой книге, созданной как роман в главах, удивительно — все. Она выросла на полях ученья Франциска Ассизского, она расцвела новыми, российскими красками его учение о родстве и состраданье ко всему сущему. Название — кивок Верлену, сказавшему: «Жизнь некрасива, но она твоя сестра»



(когда припечет, успешно утешаю себя этой истинной). Эпиграф из австрийца-романтика Ленау: «Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, когда в движенье бури мне видятся твои девичьи черты...» Посвящение — Лермонтову, именно не памяти, а как живому. «...Кем он был для меня летом 1917 года? — писал Пастернак лет сорок спустя своему переводчику. — Олицетворением творческого поиска и откровения, двигателем повседневного творческого постижения жизни».

Открывается «Сестра...» стихотворением «Памяти Демона» — тут уже кивок Врубелю, чьи иллюстрации к лермонтовской поэме оказали на Пастернака не меньшее влияние (он сам признавался), чем Евангелие и пророки.

«Лето 1917 года» — не дата (стихи книги писались еще и потом года два). Это — подзаголовок. «Я видел лето на земле, — сообщал Пастернак в «Охранной грамоте», — как бы не узнававшее себя, естественное и доисторическое, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого».

Одно из самых употребительных в лексиконе этой книги слов — «ночь»: поэт жил в ту пору прогулками во мгле со своей возлюбленной Еленой Виноград: «Из ночи в ночь валандавшись, / горьмя горит душа...»

Здесь не просто переизбыток цветов и кустов, деревьев и трав, листвы и хвои с шишками — они названы десятками точных ботанических имен: клевер, малинник, жасмин, сосны, репейник, ивы, ромашки, мальвы, смородина, бархатцы, черника, лилии, лопухи, хвощ, тростник... «Был мак, как обморок, глубок»; «намокшая воробышком сиреневая ветвь»; «веток кудрявый девичник» — метафоры закручиваются в волшебные узлы, любовь и тревога бегут впе-

## Исподлобья

регонки, еще молодая личность поэта не помещается в отпущенные ей земные рамки. Потому и пейзаж в этой книге уравниен с ходом истории — меж ними колышется Божья воля и интуиция гениального поэта:

...Так пахла пыль. Так пах бурьян.  
И, если разобраться,  
Так пахли прописи дворян  
О равенстве и братстве...

Даже не понимаю: как он физически выдержал такой мощный накат чувств и предчувствий?

А поздней осенью — после счастливейшего пастернаковского лета — грянуло сами знаете что.

*22 июля 2004*

## МЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО МЫ ВИДИМ

Не является ли лирика формой литературы нон-фикшн? Ведь она нередко именуется дневником, письмом, воспоминанием, диалогом с... или эссе о... Эти знаки документальности не зря так часто входят в названия лирических книг — вплоть до дивно гротескного, у Бродского, «Примечания папоротника»? В любом случае она, лирика, куда менее вымышленна, нежели художественная проза, а пресловутый «лирический герой» (или субъект, или автор-персонаж) в XX веке вовсе документировался и приблизился к я-прототипу, не чураясь ни реальных имен, ни конкретных адресов... И когда, скажем, Геннадий Русаков в «Разговорах с Богом» называет всех своих близких — разместившихся и тут и там — реальными именами, и реки, приокские села, городишки нарекает точно, как географ, и даты в строку вкрапляет, — то перед нами подвергшийся лирическому гротеску документальный рассказ в рифму, не так ли?

Всякая доподлинная лирика дневникова.

Борис Викторов — замечательный, надо сказать, поэт и позорно для нас, ровесников, недооцененный, живет и пишет вне обоймы (это его позиция: «и не стоят гроша / одобрения коды»). Он выступил в недав-

нем, 7-м номере «Нового мира» с таким существенным и вдохновенным циклом, что грех его не отметить.

Цикл «Всего лишь звенья» весь — об одиночестве художника, и о приватном достоинстве, которое презирает и корежит толпа... А она, личность, не желает плясать под общую дудку, и ей грозит от универсума месть, что «присев на крыльцо холобуды, / поощрения жаждет, дрожит, / как щенок на коленях Иуды, / позовут — за другим побежит...». Кстати, слово «холобуда» я, к стыду своему, до сих пор не знала и разыскала у Даля: хатка, будка, сторожка (областное). Но сторожка-то она — семантически, а сам звук говорит нам, как это бывает в лирике, куда больше: здесь и холод, и блуд, и лабуда... Лирическая проповедь может себе позволить отсутствие дидактики — ее возмещает музыка и метафора. Как многозначны строки о щенке, который примостился у Иуды на коленях: любой предатель не окончателен — он всегда потенциальная жертва предательства последующего. Поучительно и страшно. К тому же — не без усмешки, просто юмор Викторова родом не из капустника, а из философского парадокса. «При жизни уйду в долговую, / а позже — в беззвездную яму, / о первой все знают, вторую / не помнят упрямо. / При жизни я всем благодарен / за то, что нелюб и свободен. / — Послушай, о чем мы гутарим? / Я пса отвязал, мы уходим...» Бытовой жест (отвязать пса) вновь метафоричен: поэт настаивает на личной — трагически желанной — отвязной, как говорят нынче, свободе. Здесь лирика равна экзистенциальному трактату.

Последнее в цикле Б.В. стихотворение — пространный, с волнующейся, как листва под ветром, строкою, с перепадами ритма и даже логики — достоверно, как прилюдная речь юродивых мудрецов. Оно опорное для выстраивания новой лирической лестницы: от повального стеба и похвальбы — вверх, в изгойскую высь, в независимость (согласитесь, есть лестницы, по которым удобно сходить с ума, а есть — для восхождения к разуму). Эпиграф к этим

ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

стихам многого стоит: «И ты будешь тем, что видел» — из Апостола Филиппа. Да, так. Любой человек — тем более пишущий, повествующий, рисующий — есть сгусток внешних лучей, есть квинтэссенция окрестного бытия, есть фокус (и лишь в этом смысле художник — фокусник!) посторонних, инаких лучей.

...Видел минное поле, а в поле  
десант мясорубок,  
взвод бессмертников,  
ангелов в рубищах грубых;  
Льва пленил, проторил  
вместе с ним первопуток,  
Спал в бездонной воронке  
с женой из семьи незабудок,  
...Даже глыбы камней,  
прикрывающих танк, БТРы,  
радары  
у подножия гор — до сих пор  
превращаешь в живые  
отары!  
И они разбегаются,  
чуя пришествие кары.

Такие вот горькие, и современные, и не боящиеся звучать серьезно стихи Бориса Викторова... Он — то, что он за жизнь увидел и разглядел. Он — мы, он — многие, но ярче и плотнее.

Из «Записных книжек» великой Лидии Гинзбург (уже напоследок, году в 1989-м): «Прямой разговор о жизни — в разных его формах, а есть и косвенные формы прямого разговора — единственно, что пока современно. Почему этот род литературы не устарел, как другие? Потому что жизнь продолжается, не устаревая...»

*16 сентября 2004*

## POST LUCEM

У книг тоже бывают дни рождения. И даже юбилеи.

Сто лет назад, в октябре 1904 года, Александр Блок впервые взял в руки вышедшую в издательстве «Гриф» (в выходных данных — Москва, 1905; тираж 1200 экз.; 93 стихотворения из восьмисот, к тому времени написанных) отдельную книгу «Стихи о Прекрасной Даме». Замысел потом развивался очень долго, а изначальный цикл состоялся, ширясь, как выдающаяся книга XX столетия. Много впоследствии случилось и переизданий, и дополнений, и композиционных сдвигов, но эта книга у Блока была первой. Почему бы не отпраздновать? «В день холодный, в день осенний / я вернусь туда опять / вспомнить этот вздох весенний, / прошлый образ увидеть...»

Вообще-то Блок хотел, чтобы весь его путь мы рассматривали как единый роман в стихах, как трилогию. «Стихи о Прекрасной Даме» — это сердце первого тома, где поэт, как он сам полагал, все дальнейшее себе «напророчил». А имя блоковскому циклу-первенцу дал не кто иной, как Валерий Брюсов, когда, будучи редактором-составителем альма-

наха «Северные цветы», он в 1903-м напечатал там десять блоковских стихотворений.

Чего только не слышится за новаторской музыкой «Стихов о Прекрасной Даме»: и Библия, и языческая ворожба, и Данте с Петраркою, и Жуковский, и Фет, и Полонский, и все, что «намистичили» (бытовал в ту пору такой глагол) символисты, и ветер с шахматовских полей, и реальный роман с реальной невестой — Любовью Дмитриевной Менделеевой. Стихи этой поры Блок после встречи с нею помечал в рукописи «Post lucem». «После света» то есть... Современники посмеивались, сопоставляя лирику и реальную явь, и обменивались в 1903 году шутками: «Блок женился на Прекрасной Даме, дочери сибирского хаоса, Д.И. Менделеева, златокудрой, синевой царевне, с голосом Софии, Премудрости Божией...»

Интересно, как мало в России что-либо меняется. Даже за целое столетие. Владелец издательства «Гриф» через Андрея Белого апеллирует к влиятельному цензору и просит того «разрешить сборник к печатанию, сделав, конечно, соответствующие изменения»... Сам Белый поясняет в письме не без лукавой лести: «Вы — культурный цензор, и, стало быть, не остановитесь перед некоторыми стихами рукописи — стихами, которые могут вызвать сомнения и недоумения, хотя по существу невинны, разве только окрашены «декадентским» налетом, под которым в сознании многих может «бог весть что прятаться». Я просматривал сборник, — в нем почти нечего вычеркнуть...» Любопытное обращение мистика к практику, да? Цензор, надо сказать, ответил великодушно: «Чарующие стихи о Прекрасной Даме я в один вечер дочитал до конца. Я их разрешу».

Разрешу — сказал как припечатал, спасибо ему, сердешному.

Когда книжка вышла, стало ясно: явился на Руси

## Исподлобья

грандиозный поэт. С трудом приняли это как данность только завистливые братья-стихотворцы — опять: мало что меняется под березами... Например, Бальмонт пишет Брюсову в сентябре 1905 года: «Блок не более как маленький чиновник от просвещенной лирики. Полунемецкий столоначальник, уж очень чистенький да аккуратненький. «Дело о Прекрасной Даме» все правильно расследовано. Еще таких «Дел» будет сколько-то, все с тем же результатом, близким к элегантному овалному нулю...»

Уж если Бальмонт с такой мукой переносил чужой талант и успех, то чего хотеть от нас, малых сих?

Сам Блок до конца дней своих любил «Стихи о Прекрасной Даме» — как и прообраз их героини — напряженно, упорно, мучительно. Он подвергал книгу и строгой правке, и жесткой переоценке. Например, полагал (это из наброска к неосуществленному переизданию — 1918 год), что дал вредный урок некоторым молодым поэтам, поскольку стихи этой книги технически слабы... Отчего же мы, наследники Блока, вот уже сто лет перечитываем их и твердим, бормочем, поем наизусть? «В светлый миг услышим звуки / отходящих бурь. / Молча свяжем вместе руки, / отлетим в лазурь...»

А что, и вправду — свяжем руки вместе, отлетим (в хорошем смысле этого слова) в лазурь, вспомним великого поэта кто как умеет... С днем рождения книги!

*30 сентября 2004*



# ОСТРОВ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО ОТПАДА

Отраднейшее впечатление последних дней — ходила на премьеру спектакля «Суер-Вьер» по роману-пергаменту Юрия Коваля. Дело было в театре Эрмитаж, постановка Михаила Левитина.

Что это? Трагикомический мюзикл? Или, напротив, музыкантствующая д(р)ама? Сам Коваль, кстати, любил не то чтобы изобретать неологизмы, но ставил привычные слова в непривычные им позы. Дескать, немедленно марш, прилагательное, в причастия! Субстантивируйтесь, гады-эпитеты, отглаголивайтесь, существительные, не робейте, междометия, а метьте не между, но выше!

Короче, я очень боялась, что великая «взрослая» проза Коваля на язык театра не переведется. И впрямь, будь ты хоть новый Качалов с Комиссаржевской в паре, ну как это изобразить лицом и руками-ногами такое: «Щекотание входит в трепание»... Или как декорировать следующее: «Темный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана...» Или как воссоздать сумятицу жизни Острова посланных на...

Кстати. По Ковалю, «посланные на» непременно посылают туда же «на пославших» — посему соот-

ветствующий Остров по сю пору один из самых переполненных.

Режиссер Михаил Левитин (возможно, поскольку и сам он прозаик без дураков) ключ к Ковалю нашел. Театроведы прокомментируют сию трансформацию в свойственных им терминах, а я скажу попросту: роман на сцене не умер, а вот зритель в зале чуть не умер от смеха сквозь слезы. Впрочем, почему только в зале? И в антракте, то бишь в буфете, не отгороженном от вестибюля, актеры не били баклуши и не клевали носами, но продолжали вдохновенно творить контакт. Например, учили зрителя тайнам алфавита (таблица с большими буквами висела как в школе) или громогласно давали пародийные рецепты и советы, какой напиток как правильно пить.

Прививка пародийного капустника к классическому театральному авангарду — точная сценическая параллель прозе Коваля.

Кульминацией блистательного спектакля стала, на мой взгляд, озвученная — словно по радио — пантомима, иллюстрирующая личную теорию Коваля (перечитайте пергамент) относительно того, что в русской азбуке каждая буква имеет свою половую принадлежность и свой нрав. Например, женскую букву Ж убедительно изобразили три актера: центральный стоял прямехонько, а две персоны сгибались пополам в разных направлениях. Мужская буква Щ (а казалось бы, вылитая баба) преподносилась тремя прямостоящими и одним у них в ногах лежащим с отставленной конечностью товарищем. А чего стоит пластический гротеск в трактовке мягкого и твердого знаков! Актуализация, я бы так сказала, смысловых векторов материально-телесного низа... Ренессанс, карнавал и народность, ура! (Извините, если что не так.)

В общем, жанровые границы — театр, словесность, музыка, выпивка и даже природа (покурить в пере-

рыве выходили в знаменитый сад) — аннулировались и — бабах! — субстантивировались в, как сказал бы сам Коваль, Остров полифонического отпада.

...Когда спектакль закончился, то все долго шли тропинками Эрмитажа, потом по Петровке, потом по Страстному бульвару — а желтые листья в тот вечер падали с веток и кружились в воздухе, как будто с цепи навеселе сорвались, — и думали (не листья, но зрители) каждый на свой лад, что все-таки — да здравствует мир в разнообразных, доступных ему и любезных нам, формах.

*28 октября 2004*

# ДАЕШЬ ПАРОДИЮ!

...Лучший пример произведения  
направленного и влиятельного...

*Юрий Тынянов*

А вообще куда, позвольте вас спросить, девалась настоящая — ядреная, и веселая, и исследовательская — литературная пародия нынче? Не та, которую шустрые постмодернисты внедрили наравне с центоном и чуть издевательской (то есть без любви к очищаемому источнику) стилизацией, а та, которая требует от автора глубокого знания оригинала, гротеска в сгущенные стилизуемых черт и, при всей иронии, независтливого почтения к объекту. Еще настоящая пародия взыскует альтруизма — пародист полностью перевоплощается в «первый план», храня скромное достоинство на плане втором, вспомогательном, теневом... Изволь насквозь проникнуть в словарь, ритмику, образность своей «жертвы» и, сжав всю эту материю до сатирического градуса, преподнести читателю именно что вылитый портрет, но с мощными элементами шаржа. В конце пародии, правда, никогда не возбранялось «шилце» (термин XVIII века) — это как в бас-

не мораль. Финальное шильце вонзал Александр Сумароков в Михайлу Ломоносова, завершая смеховую стилизацию его оды так: «И столько хитро воспеваю, / что песни не пойму я сам...» Тем же инструментом — проникнув в неродственную поэтику — подкалывал два века спустя Юрий Левитанский (помните его цикл про «вышел зайчик погулять»?) своего младшего собрата Андрея Вознесенского: «Ветчины хочу, ветчины / небывалой величины!» В обоих случаях пародист пронизательно вскрывает позицию пародируемого, незаметно обращая ее в позу.

Я специально привела оба примера (а им несть числа) блистательных образцов жанра, когда в пародисты не брезговали идти вполне самобытные и оригинальные поэты. Каждый из них, язвительно подражая современнику, познавал таким образом тайны соседствующей мастерской, писал свой пародичный отклик на коллегу, пробовал собственный голос в иных регистрах. И каждый из этих пиитов мог бы сказать: «От меня не убудет — ко мне прибудет».

Настоящая пародия всегда шире своего адреса: вот и в случае Сумароков—Ломоносов фиксируются и свойства оды как породы, и ее универсальные штампы. А какие пародии писал на Жуковского Некрасов или на Фета Тургенев!

Речь в первую очередь не о профессиональных пародистах — от гениального стилизатора-сатирика Александра Архангельского до занятого юмориста Александра Иванова, нанесшего, впрочем, традиционной русской пародии невольный ущерб. Последний-то, как правило, выдергивал чудовищно нелепые строки из официальных совграфоманов и доводил эти строки до абсурда. Обхохочешься! Обхохотывались — и даже огромными телеаудиториями на этот цирк собирались. Только к пародии в тыняновском (и вообще в серьезном) смысле это никакого отношения не имело. Остроумный нарост

## Исподлобья

на карликовом деревце, реплика... Но я — не об Иванове.

Я с гражданским вздохом корю именно стихотворцев-оригиналов, которые погрязли в своем эгоцентризме и пишут лишь автопортреты.

Есть, конечно, талантливые вкрапления пародии в лирический монолог и у Еременко с Кибировым (в основном с прищуром на советских предтеч), и у Максима Амелина (тут идет блистательно-прикольная стилизация под архаистов, но с обэриутской прививочкой), однако это лишь непостоянный внутренний прием, который аранжирует самовыражение автора.

А я хочу — дайте помечтать! — чтобы, например, Кибиров написал настоящую пародию на Светлану Кекову, а та — на Веру Павлову, а Чухонцев — на Кушнера, а Кушнер — на Пригова, а Амелин, ну например, — на Айги. И я тоже тогда напишу пародию на мою любимую Ермакову... «Пенелопа, Ирина, девочка пред компьютером, как перед прялкой, / в интернете ты шарить сослепу: на какой-токой презентации наш заплутал Одиссей...»

Прозаики же пускай выздоравливают от взаимоспячки сами. А мы, стихотворцы, скажем друг другу с резвостью преотменной:

— Даешь взбалтывающую дух пародию!

*11 ноября 2004*

## ФИШКА У НЕГО ЕСТЬ

Я и непечатным  
Словом не побрезговал бы...  
*Б. Пастернак*

Разведка донесла: недавно Фазиль Искандер выступал в Петрозаводске, в тамошнем университете (аудитория собралась молодая и огромная), и пришла ему записка с вопросом, как он относится к ненормативной лексике в изящной словесности. На что Искандер ответил: «Великая наша литература XIX века выдержала только одного Баркова. А теперь чуть ли не каждый второй стремится таким образом привлечь к себе публику...» И зал понял, что мастеру этот перебор не по душе.

Однако отчего все же многие небесталанные литераторы наших дней столь усердно барковствуют? На нервной почве? Или это реакция на долгие годы строжайших ханжеских табу? Или отражение, как в зеркале, психолексического состояния толпы?

Не знаю, не знаю. Недавно на литинститутском семинаре, который мы ведем вместе с Сергеем Чуприниным, обсуждалась новая подборка Григория Сахарова, юного поэта, уже отмеченного разными литературными жюри. А он, «мятежный, ищет бури» и постоянно, так сказать, меняется в лице. Приведу одно из наиболее целомудрен-

ных стихотворений, составивших этот цикл: «Я глуп/Как труп/Как труп/ Я груб/ Пью из горла/ Я из г. Орла...» И впрямь: автор из города Орла, славного, кстати, классическими традициями. Фет... Тютчев... Тургенев... Бунин...

Нынешняя подборка нашего студента характерна тем, что в ней много ненормативной лексики, жаргона, табуированных в приличном обществе слов. Ну и что? Не страшно — главное, вырисовывается универсальная проблема, что всегда для обсуждения ценно... Итак, любопытно, как Гриша — внешне тихий, интеллигентный, абсолютно не «матерный» юноша — справится с чтением своих текстов вслух? Справился. Манера спокойная и монотонная, нецензурные слова почти проглатывает, интонационно создавая угловые скобки с отточиением внутри.

В бой, как обычно, идут заранее намеченные оппоненты. Мнения расходятся. Оппонент Икс полагает, что Г.С. эксплуатирует один и тот же прием, близкий к поэтике анекдота (смешно, ну и что?), что образуется личный стереотип, что... «Фишка у него есть, но не более того». На мою лукавую просьбу объяснить термин «фишка» (я-то его вполне понимаю и даже принимаю), расшифровать или хотя бы предложить синоним — оппонент затруднился. Проект? Замысел? Прием? Изюминка? Так никто четко растолковать популярное словцо и не смог...

Оппонент-2 выделила в новых стихах сотоварища склонность к внутрстиховому повтору, идущему якобы от фольклора («со мной в запой/ в запой как в забой/ как в бой в запой...»). Она же отметила, что эти стихи на слух лучше, чем на бумаге. На вопрос, не шокирует ли ее мат, ответила, сославшись на Анну Андреевну Ахматову, которая — как явствует из мемуаров — матерщинников не осуждала и говаривала в таких случаях, сидя в гостях и успокаивая пуристов: «Мы же с вами филологи».

Прочие отзывы были еще более доброжелательны и исполнены понимания: сквозь эпатаж и стилисти-



ческую провокацию семинаристы расслышали и боль, и влюбленность, и волнение автора. Одна девушка сказала даже, что пошлет эти стихи маме на Алтай по интернету — так они ей близки. Лишь одинокий некто справедливо отметил, что суп исключительно из перца не сварить — несъедобно.

Мы — старшие товарищи — постарались вычленив из текстов сквозные моменты, которые шире отдельно взятого случая. Это — миниатюра как жанр (а стихи Г.С. почти все не больше восьмистишия, половина же как японские хокку — только на языке родных осин), который требует от поэта особого напряжения, парадокса. Это — перспективы минимализма. Это — городская частушка как источник персональной поэтики. (Кстати, частушку в народе называли и коротелькой, и вертляшкой, и топотушкой: есть о чем подумать.) Это — свежий виток традиций юродивой «срамной» поэзии, уже помянутого Баркова, потом лианозовской школы, а также прозы Юза Алешковского и Венички Ерофеева... Это — неочевидная игра лирического персонажа в автора, а их нельзя отождествлять, даже есть речь — от первого лица.

Все участники и гости семинара восприняли провокативный момент, заложенный в подборке одноклассника, олимпийски, а лучшее, что в ней пробивалось сквозь кору стеба, встретили приветственным гулом... Единогласно самым сильным стихотворением в цикле Григория Сахарова было признано следующее (слава богу, оно абсолютно цензурное — и я привожу его тут без смущения): «ехал из голода в холод / из холода в голод / ехал так молод как молод / как серп или молот/ ехал приехал и вышел /и вышел и выжил/ выжил но небо не ниже/ ни ниже ни выше».

Правда, стихи?

# КИРИ-КУ-КУ!

Посади ты эту птицу, —  
Молвил он царю, — на спицу;  
Петушок мой золотой  
Будет верный сторож твой...

*Наше Все*

Итак, минул високосный год Обезьяны — на подходе новый год Петуха.

Минувший год был тяжкий и несправедливый. От грандиозных терактов до частных несообразностей. Мне один умный военный в отставке и подшофе объяснил это дело так: «Год Обезьяны? Вы чего, правда — не понимаете? Карикатура на человека, да еще с дикими гримасами и прыжками!» И впрямь: точное лекало для кунштюка, например, с музой Туркменбаши и русскими волонтерами-просветителями. Типичный синдром Обезьяны.

Год Петуха обещает быть (цитирую по гороскопу) куда лучше и благороднее: «Петух несет силу инь, то есть женскую, пассивную. Это должно порадовать представительниц прекрасного пола, ведь они становятся хранительницами энергии года. Инь призывает»

ет нас не лезть на рожон, не махать крыльями всуе, а лапы и клюв достойно использовать для поиска здоровой пищи, а не для грубого отталкивания себе подобных». Это я из журнальчика одного вырезала, весьма авторитетного.

Если наложить сей прогноз на ситуацию литературную, то — ура! — наконец женщины-писательницы займут достойное место в иерархии ценностей: инь не только не сядет в тень, но еще и яну прикурить даст, одновременно храня его энергию. Потом — если верить гороскопу (я верю) — хищные и опасные инстинкты творческих работников малость поутихнут, и всяческая конкуренция, сопровождаемая крыломаханием и взаимоотталкиванием, войдет в более благопристойное русло. «Сначала кумекай — потом кукарекай», как написал мне в поздравлении старый друг из Израиля.

А вообще с петухами, с этим символом, у меня лично связаны самые отрадные детские воспоминания. К примеру, леденцовые петушки на палочке... Потом — петух на холстине, растянутой на пальцах, а я сижу и вышиваю его, пестрого щеголя, разноцветными нитками по канве и крестиком... Ну и, конечно, пушкинская сказка про золотого петушка на спице, и про его куратора (тогда еще такого словечка в обиходе не было: этимологически не связывать с курами!), мудреца, звездочета и скопца, и про царя Дадона, и про шамаханскую царицу — читалась она на сон грядущий, абсолютно до поры непонятная и абсолютно навеки волшебная. «Петушок с высокой спицы/ стал стеречь его границы./ Чуть опасность где видна,/ верный сторож как со сна/ шевельнется, встрепетнется,/ к той сторонке обернется/ и кричит: «Кири-ку-ку!»/ Царствуй, лежа на боку». Кстати, сказка эта — писанная в пику царю — была напечатана в «Библиотеке для чтения» аккурат 170 лет тому, в 1835-м (вот-вот юбилей!), и цензура

## Исподлобья

строчку про «лежа на боку» изъяла: высшее признание актуальности и остроты. Сняла она и две заключающие текст строки: «Сказка ложь, да в ней намек./ Добрым молодцам урок», — что не помешало им, строчкам, войти в историю и в общенародный фольклор.

Стало быть, ежели по Пушкину, то так: петушок — символ чуда, силы и справедливости. Сначала мистической широты, а потом — р-р-раз — и заслуженного возмездия. Ему нипочем временщики, и он пронизывает дальние смыслы. Негоже ни поэтам, ни мудрецам пред царями лебезить, выгоду вымогаючи: таков добрым молодцам урок.

А еще я отмечу, что петухов очень любит сама наша речь: идиома «с петухами» означает рассвет, утро, начало нового дня... Согласитесь, не всякая птица такой чести во глубине российских слов удостоивается.

*13 января 2005*

## УРОКИ КОЗЬМЫ

В последнее время поэзия наша все энергичнее выходит со страниц — на сцены то бизнес-клуба, то книжного кафе, то овального зала, то квадратного вестибюля, то даже казино с рестораном или интеллектуального парохода... Снова (но на иной лад), как в пору Серебряного века, становится важен имидж, или, если проще, облик самого автора, а не только лирического героя.

Молодая Ахматова писала: «Я надела узкую юбку, / чтоб казаться еще стройней», — и в жизни долго осуществляла заявленный (модное нынче слово) проект.

Маяковский настаивал на желтой кофте.

Волошин бродил по Крыму в белом парусиновом балахоне (глупые дамы спорили, есть ли под ним штаны) с пестрой подпояскою, сандалиях на босу ногу и узком полынном веночке, таким образом и наружно связывая себя с античностью.

Гумилевский ученик Сергей Нельдихен (когда-то его в конце концов переиздадут?) являлся, бывало, на занятия «Звучащей раковины» с большой морковью в нагрудном кармане.

В годы моей юности — рубеж 60-70-х — оппозиция режиму выражалась в брюках клеш (один мой любимый поэт до сих пор хранит ностальгическую верность этому знаковому крою), или в шейном платке вместо галстука, или — у неофициозных поэтесс — в прямой челке до бровей. Меня один старший гений так и спросил в лоб, когда мне было чуть за двадцать: «Вы под кого челочку выбрали — под Ахматову или под Цветаеву?»

А одна яркая поэтесса нашего поколения всегда, даже в летнюю жару, ходила в русских цветастых шерстяных шалих, присягая таким образом фольклорно-языческой традиции...

Нынче — свои фишки. Рок-линия — значит, и у мужчин волосы длинные, до плеч, а коль скоро хочешь подчеркнуть стилистическую связь с агрессивными низами, то можно и наголо побриться. Если ты патриотически настроенный поэт-державник, то тебе больше подойдет итальянский костюм а-ля депутат Думы и строгий английский галстук. Если хочешь смотреться начальником, но с богемистым уклоном, то хороша будет на вручении премий элегантная бабочка. А ежели упорно наследуешь шестидесятникам, то надевай на презентацию черный (можно серый) свитер крупной вязки и с большим воротом-хомутом...

Таковы мои обрывочные и далеко не исчерпывающие наблюдения.

А знаете ли вы, друзья, кто первый осознал и артикулировал важность для стихотворца внешнего имиджа? Козьма Прутков. «Не будь портных, — тонко заметил он в своих афористичных «Плодах раздумья», — как различил бы ты служебные ведомства?» Сие наблюдение можно отнести не только к службе, но и к искусству.

Работая над своим первым отдельным изданием, Козьма, как мы помним, пригласил троих художни-

ков, чтобы создали его портрет на камне. Важнейшие черты своего изображения он художникам продиктовал, а именно: искусно подвитые и разом всклокоченные волосы; две бородавки; английский пластырь на месте бритвенных порезов; длинно-острые концы рубашечного воротника, торчащие из-под цветного платка, повязанного на шее широкой петлею; плащ-альмавива с черным бархатным воротником (один конец вальяжно и прогрессивно закинут на плечо)... При этом кисть левой руки на прижизненном изображении великого Козьмы была обтянута белой перчаткой особого покроя. А поверх перчатки — дорогие перстни, пожалованные ему там-сям... Если бы не все эти нюансы во внешнем облике, то Козьма Петрович так и остался бы примерным чиновником Пробринной Палатки, а позаботясь о визуальном рисунке личности, он стал — очень даже знаменитый поэт. И еще — в дополнение: уже когда портрет на камне был готов, Козьма, в целом одобрив изделие, потребовал, чтобы художники пририсовали внизу лиру, от которой исходят лучи...

Это и есть главный урок: шали шаями, стрижки стрижками, бабочки бабочками, но без лиры — нам, стихотворцам, нельзя никак.

Бдим!

*3 февраля 2005*

**«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ  
ТОВАРИЩЕМ...»**





# ЛЮДМИЛА АГЕЕВА

## ДРАГОЦЕННЫЙ ОСТАТОК

Восьмого февраля, утром, я узнала о смерти Татьяны Бек. Я взяла книжку ее стихов и вышла в солнечный, карнавальный город — по Мюнхену катился знаменитый фашинг, шумный карнавал, прощание с зимой, которая в этом году была совсем как настоящая.

Меня обходили рыцари в доспехах и дамы в кринолинах, ангелы с крыльями и черти с хвостами, раскрашенные верзилы с накладными грудями и молоденькие девушки в костюмах средневековых юношей. Шустрая утопленница, путаясь в водорослях и кривляясь, приблизила ко мне свое веселое зеленое лицо и отшатнулась.

Появилось чувство, что я нахожусь внутри жуткого и банального фильма. С трудом раздвигая безумную чужую толпу, ушла на тихий луг Святой Терезы и открыла Танину книжку:

«Смерть огромней, чем жизнь, но реальней, чем символ», — прочла на первой же странице. После смерти человека изменяются не только его фотографии, но и стихи его становятся другими. Каждый это с ужасом понимает на собственном опыте. Неужели

поэт должен умереть, чтобы его строки с такой силой пронзили тебе сердце?

Вы меня похороните с поздняязыческой песней.  
Но покуда еще мне достанется сотня плетей...

Или вот еще:

И ежели это — финиш, то, значит,  
да здравствует финиш.  
О, как над его территорией прекрасно  
прощальное солнце.

У неё было что-то еще про финиш, не нашла в книжке, но, кажется, так: «На финише, пожалуйста, — без слез».

Что пленяло в ней с первого взгляда, так это удивительная естественность, открытость людям и миру и вместе с тем пристальное, дружественное внимание к этому миру. Близкие друзья, те кто знали ее долгие годы, говорят теперь о Таниной чистоте, отваге и честности (не успела она, к сожалению, стать «честной старухой», как хотела). Но мне кажется, что все это можно было увидеть сразу, с первого слова, с первого разговора, вот именно что — с первого взгляда. Такой я увидела Таню на фоне весенней, цветущей Баварии два года назад.

Она собиралась жить. На каждой из подаренных мне книжек простые, добрые слова, но — о будущем, о предстоящем. На первой: «...в день знакомства — на долгие годы, надеюсь...» (всего два года нашему знакомству, завидую тем, кто знал ее дольше). На второй — «...на память о чудесных прогулках и посиделках в Германии, с надеждой на грядущие...». Значит, возможно было это грядущее. Так хочется мне верить. Все думала — вот прилечу в Москву и поговорим. Замечательно, конечно, что появилось

это электронное устройство, которому не перестанешь радоваться и удивляться, но живой голос, но дивная импровизация разговора, но невоспроизводимые интонации, но сама себя перебивающая речь, тут же растворяющаяся в воздухе и от того еще более прекрасная, и сам этот воздух понимания и приязни... Ничего этого не произошло.

Вот так — я полюбила ее сразу и всем сердцем. Но ведь я никогда бы ей этого не сказала: ну что бы она обо мне подумала? Да и не надо, наверное, все называть словами. Или надо?.. Я не решилась даже признаться, что написала текст (в непонятном мне самой жанре), называется «Письмо из Баварии», и хотела бы ей это письмо посвятить. Она там появляется как безымянная «гостья из Москвы». А предшествовала этому тексту прогулка наша на виллу Вальдберга, где Татьяна прожила два месяца на берегу прекрасного Штарнбергского озера. Я жаловалась, что вот только что звонила в Питер, в некое чиновничье управление, и меня самым наглым и злобным образом обхамили. «О, да. Это постоянно», — согласилась Татьяна, признала удручающее отсутствие простой любезности у российских чиновников и рассказала к месту, как покупала сережки в баварском магазинчике. Вот приблизительно так:

«...В красивом провинциальном городке на берегу Штарнбергского озера гостья из Москвы зашла в маленький ювелирный магазинчик выбрать себе сережки на память, чтобы вспоминать в Москве эту весну, эту цветущую Баварию, где каждый балкончик и каждое оконце так хотят тебе понравиться. Магазинчик почти пуст, улыбчивая молоденькая продавщица очень старается, раскрывает все коробочки и закрома. Прибегают другие продавщицы, тоже молоденькие и милые, тащат какие-то дополнительные зеркала, чтобы клиентка рассмотрела себя со всех сторон. Потом кто-то предлагает выйти из

магазинчика на улице — посмотреть, как сияют при солнечном свете красненькие камешки. И когда иноземная гостья в новых сережках, очень довольная, отправляется к своему временному пристанищу, продавщицы еще долго машут ей вслед руками и кричат: «Классе, кууль, тооль, аусгецайхнет...» Почему они это делают, почему так сияют улыбками? Нет ли здесь притворства? О, мы подозрительны, мы не верим в простую человеческую доброжелательность...»

Да нет же. Это последнее предположение всего лишь, как говорится, фигура речи, да еще и вырванная из контекста. Татьяна как раз верила — и в доброжелательность этих девочек, и в сияние их улыбок, и в участие новых знакомых, и в радость встречи со старыми друзьями, и сама была преисполнена желанием добра каждому, кто приближался к ней. Напишут ли о ней ее ученики, которых она так лелеяла? Наверное, еще напишут. Им ли не знать ее бескорыстный восторг перед поэтическими удачами далеких и близких, знаменитых и не очень, увенчанных славой и, наоборот, обойденных ею. Как раз более всего — не знаменитых и не увенчанных.

О нет, она «намеревалась жить» в год Петуха, надеялась, что он получше будет, чем тот, прошедший, две тысячи четвертый. Вот пишет:

«С Новым годом! Говорят, что год Петуха (он войдет в силу чуть позже, но тут все уже обвешались петухами — игрушками, брелоками, полотенцами и прочее) куда лучше и успешнее, чем минувший год Обезьяны. (...)

Обезьяна — сплошные прыжки и гримасы. Именно так и прошел для меня 2004 год. А завершился он прямо-таки реальным прыжком с обледенелого крыльца — в неслабый перелом голени, в гипс по колено и в костыли. Причем произошло это в добром

здравии и средь бела дня, а не то чтобы я скакала пьяная ночью на лошади...

Мистика — да и только.

Вы правы: такие недуги делают нас почти неподвижными и беспомощными физически, но активизируют интеллект и даже, если повезет, душу.

Я (а я под домашним арестом — уже ровно месяц) опять стала писать стихи, которые давно не писались, очень много работаю на ноутбуке, наконец читаю «просто так», а не по работе...

Гипс на днях сняли, но пока нога не в норме. Хромаю сильно. Надеюсь все это забыть со временем, но не раньше, чем через месяц».

Оставалось ей жить как раз месяц. Через месяц она надеялась забыть этот пустяк — сломанную ногу — и жить дальше, тем более эта временная остановка в пути принесла новые стихи (кто, кто их прочтет? кто их вылучит из Таниного ноутбука и сохранит для нас?). Ну а что касается «активизации души»... Может ли она быть чрезмерной? Не знаю ответа на этот вопрос. Нужна ли душе дезактивация, в том смысле — не надо ли ее тоже немного сузить, чтобы продлить физическое существование ее вместилища? Не знаю ответа и на этот вопрос.

Дети с очень хорошим музыкальным слухом плохо переносят громкий, хаотический шум и плачут, не понимая причины своего плача, а бывает, падают в обморок от фальшивой музыки. И если у души есть слух, и слух особенный, тонкий, пристрастный, душа эта страдает от разрушения гармонии мира, от изменения близких друзей этой возвышенной гармонии, созданной, казалось, общими стараниями долгой дружбы.

Таня пишет о разрыве со старым другом:

«Мы с ним, увы, разошлись после 25 лет теснейшей дружбы. Ужасно горько (ведь дружба в нашей

жизни занимает место не меньшее, нежели любовь, да?), но необратимо... Это все расклеивалось долго и постепенно, а завершилось год назад нашим — на идейной почве — личным разрывом. (Он на старости обезумел от алчности к деньгам, отсюда — всё остальное...)

Теперь же наш сюжет закольцевался окончательно (это как бы «постскрипtum») — общим безобразным скандалом, который я переживаю, как если бы я напакостила сама. Прочтите три вставки, которые я вам прикрепляю (разные заметки из русского интернета), и все — или почти все — поймете.

Да-а-а-а-а.... Жизнь прожить не поле перейти.

Сердечно Ваша

Таня Бек-с-препятствиями».

Какое препятствие в этом беге оказалось для Татьяны непреодолимым — слабость сердечной мышцы или клевета друзей, вечерняя депрессия или месть врагов — мы уже не узнаем, но открываем книгу и читаем: «О, год проклятый — навет , и змеиный след, и окрик барский, и жатва чужого хлеба...»

Ищем ответы тем, кто изменил и предал, иногда мелькнет вот такой: «...Что мне, недруги, ваша стрела, если самоубийственна песня».

Нет, дальше, дальше... Вот. Это про себя, про особенность своей души, у которой «могучая странность — выпаривать счастье из бед. ...Да, была горемыкой. Но если рассмотрим остаток — он блажной, драгоценный и даже прозрачный на свет».

Рассмотрим, рассмотрим этот чудесный остаток. Он утешит нас. «Нам в привет» — этот драгоценный остаток, прозрачный голос, чистый звук — стихи Татьяны Бек.

# ЮРИЙ БУРОВ

## ПИСАТЕЛЬСТВО НИКОГДА НЕ ПРОЩАЕТ НЕПРАВДЫ

Мы любили, мы были.  
Живые, мы знали такое,  
С чем ни блуд, ни аскеза  
Не могут сравниться по силе.  
В этот век из железа  
Мы жили, мы очень любили.

*Татьяна Бек*

Мы познакомились с Таней очень давно: в Московском университете на факультете журналистики. Она училась на редакторско-издательском отделении, я на телевизионном. Таня училась вместе с моей будущей женой Светланой. Они, конечно, общались чаще. Дружили. Как-то даже вместе ездили на летние каникулы к Светиным родственникам на Азовское море — в Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Таня потом часто вспоминала эту поездку — ей там очень понравилось.

И хотя мы были с ней соседями: Таня жила у метро «Аэропорт», а я у метро «Сокол», друзьями мы не были и общались от случая к случаю все эти долгие



годы. Мы стали часто созваниваться и встречаться лишь последние три года.

А произошло это вот почему. В 2002 году, когда я потерял постоянную работу на телевидении, мне предложили как автору и режиссеру делать телевизионный цикл «Экология литературы», и я согласился. Это были программы, посвященные писателям и поэтам, начинавшим во второй половине XX века.

И первой, о ком я подумал, кто, как мне казалось, мог что-то посоветовать, была Таня Бек. И свою первую программу в этом цикле мне хотелось сделать именно о ней.

Я попросил жену позвонить и договориться о встрече. Мы давно не виделись. С годами люди меняются, и чаще не в лучшую сторону. Таня, конечно, внешне изменилась, но осталась той же девчонкой: доброй и очень открытой и искренней, что сегодня не часто встретишь. Мы многих вспомнили, о многом поговорили: мы словно окунулись в нашу молодость. О том времени напоминали те же вещи в Таниной квартире, те же книжные полки. Лишь на стенах добавились новые картины, появились новые книги, в кабинете стоял старенький компьютер. «Вот купила телевизор и кресло», — гордо сказала Таня, показывая свои приобретения. Сейчас литераторы зарабатывают мало, а для Тани стихи всегда были просто ее жизнью, а не заработком. Но жизнь — это еще и Литературный институт, это и «Вопли» («Вопросы литературы»), это и ее литературные статьи, интервью с поэтами и писателями. Работала она много, а жила очень скромно. И непонятно, что искали в ее квартире грабители, трижды проникавшие в дом.

*Татьяна Бек<sup>1</sup>:*

*«Советский писатель очень сильно опекался государством. Были многочисленные Литфонды, Бюро пропаганды, какие-то институты такого мелкого привязывания писателя к социуму. А если писатель начинал нарушать эти правила игры, тогда его просто переводили в совершенно другие сферы. И тогда он начинал быть писателем самиздата или тамиздата со всеми вытекающими последствиями.*

*Теперь литературой занимаются только те люди, которые не могут ею не заниматься. Но при этом все время слышу проклятья от своих соратников по перу, что, мол, нас бросили на произвол судьбы, мы теперь не интересны нашим властям. Так это нормально. А что вы хотите? Писать вдохновенно и быть под опекой государства? Так не бывает. Поэтому в литераторах остались только одержимые люди, что я очень приветствую. Ну, а на хлеб надо как-то зарабатывать другим путем, что очень трудно. И совмещать трудно, конечно. Поэтому неестественно возросло значение всяких премий. Раньше была одна премия: Сталинская-Ленинская-Государственная, которую хороший литератор получал очень редко, в порядке исключения, а теперь их много.*

*С одной стороны, это хорошо. Это форма стипендии или гранта. С другой стороны, очень разрушает психику. Это я иногда даже в себе замечаю. Это провоцирует такие нездоровые свойства человеческой природы, как зависть, ревность, которые всегда рядятся в чувство социальной справедливости. Вот хотелось бы этого избежать... А писать всегда было трудно».*

<sup>1</sup> Тексты Т. Бек, приведенные в воспоминаниях Ю. Бурова, взяты из фильма «Вспышки недавней памяти», вышедшего в цикле «Экология литературы» на канале «Культура».

Но вернемся к нашей встрече. Я рассказал Тане о своих проблемах, о том, что совершенно не знаком с сегодняшним литературным процессом и прошу называть имена тех писателей и поэтов, кто не устарел, не сошел с литературной дистанции и достоин быть героем передачи. Она тут же, не задумываясь, назвала такое количество имен, что этого списка хватило бы на десятилетие. Каждому писателю и поэту она давала такие точные, такие интересные и образные характеристики, что мое предварительное решение первую свою программу сделать именно о ней укрепилось окончательно. Но я ничего ей не сказал, лишь спросил, были ли передачи о ней и ее поэзии. Оказалось, что нет.

На следующий день я ей позвонил и сказал, что решил подготовить первую программу о поэте Татьяне Бек. Она стала отнекиваться: о ней еще рано, есть много достойных и без нее. В тот раз она не согласилась, лишь сказала, что подумает над моим предложением.

Я стал звонить почти каждый день, но она постоянно находила массу причин, чтобы отложить окончательный ответ. Моя телефонная бомбардировка ни к чему не приводила. Таня говорила одно и то же: «Я думаю».

Тогда я снова взял с собой жену и поехал к несговорчивой: «Я тебя часто вижу на экране, когда ты рассказываешь о других, об их творчестве. Я ведь могу и без тебя сделать передачу о тебе». Она засмеялась: «Как это?» И опять заговорила о своих сомнениях. Тогда я выдвинул свой главный «спекулянтский» аргумент: «Мне жить не на что, а ты не даешь мне заработать!». Таня возразила, что можно начать с кого-то другого. Но я объяснил, что с нее мне начинать легче, так как я ее знаю и, кроме того, надеюсь на ее помощь. И сердобольная Татьяна сдалась.

С Таней легко было работать. И передача складывалась как песня. Когда смонтировал программу, от-

вез ей кассету — мне было важно ее мнение, и я готов был перелопатить все, если ей не понравится. Первый раз за все годы работы на телевидении я показывал герою съемок передачу перед эфиром. Но она при мне смотреть не стала: «Я так волнуюсь, хочу посмотреть одна». Целый день я не находил себе места, тоже нервничал. Это напоминало бесконечную зубную боль. Первый раз я делал передачу о человеке, которого знал более тридцати лет.

Поздно вечером она позвонила: «Я все время плакала, когда смотрела твою программу. Я там такая, какая на самом деле. Ты понял мою суть, мою поэзию». Таня наговорила массу благодарных слов. Конечно, она очень эмоциональный человек. Но тогда я понял еще одну вещь — ей недодали внимания как поэту, и поэту большому, ее творчество, ее личность обделены интересом.

Я — дерево, растущее на крыше.  
Я слабосильнее, кривее, ниже  
Обыкновенных, истинных. Они же  
Мнят, будто я — надменнее и выше.

Они — в земле могучими корнями,  
Как ржавыми кривыми якорями.  
А я дрожу на цыпочках над ними —  
Желанными, родными, неродными.

И не в земле, и до небес далеко.  
— Вы слышите? Мне очень одиноко,  
Заброшенному чудом в эту шелку!

Лишь ветер треплет рыженькую челку.

Она много писала о других, рассказывала о других. Ей нравилось, и она делала это не только ради гоноара, не только чтобы выжить... Скромность ее быта

компенсировалась жадностью до впечатлений. Она много и многих повидала в этой жизни, имела обширнейший круг приятелей и приятельниц, хотя по сути была одиноким человеком. Настоящий поэт, да и вообще творческий человек обречен на это. Но на ее вечерах всегда было много молодежи, и это были не только ее студенты из Литинститута. На вечерах других писателей часто собираются только их ровесники, если это, конечно, не модный автор. Таня никогда не была модным поэтом, но настоящим была всегда.

*Татьяна Бек:*

*«Я свободно пишу о чужих стихах и, как мне кажется, умею вытягивать какие-то тайные сквозные нити из чужих стихотворений. И даже из большой совокупности. А себя со стороны очень трудно оценить. Я думаю, что как и просто человек, так и человек, пишущий стихи, вначале моложе, здоровее, острее видит мир: «Онегин, я тогда моложе и лучше, кажется, была». Но потом на тебя наваливается столько впечатлений: утраты, обиды, катастрофы, какие-то откровения. Наверное, стихи становятся витиеватее и сложнее. Как-то нескромно о себе говорить в третьем лице. Но если вспомнить опять Пастернака, он писал, что «нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту», а у меня, наверное, происходило наоборот: от более или менее простого изложения своих комплексов и внутренних бурь я перешла к стихам более осложненным, и меня вообще стало меньше заботить — поймут меня или нет. А понимать меня почему-то стали лучше».*

Молодежь к Тане тянулась всегда — у нее никогда не было менторских интонаций, она на давила показной значительностью и была просто талантливо интересна. Она выдавала такое количество инфор-

мации, что часы общения с ней пролетали незаметно. Она всем была интересна: и молодежи, и ровесникам, и старшим коллегам.

*Татьяна Бек:*

*«Помню я этот взлет интереса. Сама девочкой ездила в Лужники. Это было что-то необыкновенное. Причем там перемежались выступающие люди очень талантливые по-настоящему — Ахмадулину я помню очень хорошо — и какие-то поэты, которые держались только на общей энергетической волне. Но почему-то все равно осталось вот это волнение, праздник: День поэзии, мы вместе. Наверное, то было тоже противостоестественно, потому что поэзия — дело одиночное, и она не может быть такой же популярной, такой же контактной, как эстрада. Но поскольку в те годы, в советские годы, у нас практически была аннулирована нормальная новейшая история, нормальная социология, честная журналистика, то вот эти вечера поэзии на себя искусственно брали эту функцию. Сказать, что молодежь сейчас не интересуется поэзией, я не могу, потому что есть молодежь — ее очень мало, но ее и должно быть мало, — которая очень интересуется поэзией, которая все читала, которая ходит по улицам и бормочет стихи. Такая же точно, какими мы были. Только теперь это не в огромных залах. У нас были огромные залы, потом у нас были маленькие кухни. А теперь, я бы даже сказала, какая-то золотая середина между эстрадным залом и маленькой кухней. Мне кажется, это здоровая пропорция».*

Так уж получилось, что я сделал всего четыре программы в цикле «Экология литературы»: о Тане, о Юрии Ковале, об Анатолии Рыбакове и о Владимире Корнилове. Эти люди сыграли не последнюю роль в жизни Татьяны Бек. И получился такой тетраптих, посвященный Татьяне.

Все, кого я снимал в этих программах, вспоминали о Тане очень хорошо (конечно, это было за кадром), со всеми из них у нее были замечательные отношения. Встречи часто были давние, произошедшие годы назад. Таня всегда шла вперед, у нее были новые встречи, новые отношения, но она никогда и никого не забывала. Фактически все участники этих передач были предложены Таней. Списки Тани были намного длиннее, но для всех ее протеже места в 45-минутных программах просто не хватило.

*Татьяна Бек:*

*«Я родилась в сугубо литературной семье. Папа был писатель, можно сказать, знаменитый — Александр Бек. А мама была просто хорошая детская писательница — Наталья Лойко. Мне, если можно так сказать, достались очень хорошие родители, замечательные. В них ничего не было от советской элиты. Жили мы всегда скромно. Мне с самого детства был преподан такой урок, что литература — это не какие-то там привилегии. У нас никогда не было казенных дач. Папа бы умер со смеху, увидев сейчас, как сражаются борцы за права человека за дачи в Переделкине. Ему это ничего не было нужно. Они с утра садились за пишущие машинки. То есть как-то с самого начала меня никто не учил, но я видела, что это такая же квалифицированная серьезная трудоемкая работа, как работа, скажем, инженера или ученого. У нас дома главное были — книги. Очень много читали. Очень много говорили о литературе. Но не было никакого вот этого нездорового чувства исключительности.*

*Поэтому, я думаю, что от родителей я взяла это ощущение словесности — не как исключительности, а как серьезной работы. А об остальном не мне судить. Не знаю, я, наверное, не очень хорошая дочь и, наверное, на мне как-то искажилась генетическая линия, но что-то, надеюсь, и осталось».*

Февраль у нас с Таней был какой-то мистический месяц. В начале февраля она посмотрела кассету с передачей о себе, 25 февраля 2003 года программа пошла в эфир (она в это время, кажется, была в Германии), 16 февраля 2004 года я пригласил ее на эфир, посвященный взаимодействию литератур в странах СНГ. Вместе с ней в часовом эфире были главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбонаидзе и писатель Борис Евсеев. Это было на телевизионном канале стран СНГ «Мир». Сейчас уже не помню, с какими странами телемосты были в этой передаче. Таня ко всему подходила фундаментально: на эфир она пришла с книгами и своими текстами о национальных литературах. В этот день она мне подарила книгу Даура Зантария «Колхидский дневник», за что я ей очень благодарен, так как открыл для себя значительную интересную личность и замечательного писателя. А потом она стала говорить об азербайджанце Анаре (этого писателя я давно люблю и читаю), о таджичке Гулсухсор Сафиевой, белоруске Светлане Алексиевич. И Гулсухсор и Алексиевич изгнаны из своих стран за творчество, которое сегодня несовместимо с режимом в этих государствах. Гуле Таня помогла переводить книгу «День рождения боли».

Передача, посвященная литературам стран СНГ, получилась необычайно живой и современной, и не в последнюю очередь заслуга в этом принадлежала поэту Татьяне Бек.

И еще о мистике. Сейчас точно не помню, но, кажется, это было года через три после окончания университета. К нам домой приехали Светины подруги, среди них была и Таня. В те годы я увлекался гаданием по руке. Конечно, это было полное дилетантство, но почему-то часто мои гадания сбывались. В эти дни у нас гостила приехавшая из Измаила теща. Она хоть и была учительницей, классно гадала на картах.



Вот девчонки и попросили, чтобы мы им погадали. Мы с тещей сидели в разных комнатах, и они по очереди к нам заходили. Я уже не помню, что кому наговорил, но у Тани увидел на ладони на линии жизни знак смерти после 50-ти лет. Гадальщик я был несерьезный, и говорить человеку о трагическом просто не имел права. И я, конечно, ничего про это не сказал ни ей, ни подругам. Уже потом, поговорив с тещей, узнал, что и у нее карты то же самое показали. Я никогда не придавал большого значения гаданиям и просто постарался об этом забыть. И лишь в феврале 2005 года мне вспомнилось об этом.

Последний раз мы виделись осенью 2004 года в клубе «Bilingua» на презентации ее последней книги «Сага с помарками». И там практически была одна молодежь. Потом Татьяна, кажется, уехала в Израиль. И мы все созванивались, чтобы встретиться и поговорить об этой поездке. В декабре она сломала ногу и сидела дома. Когда я ей звонил и предлагал свою помощь: может, чего привезти? — она говорила, что к ней и так постоянно валит народ, что пообщаться мы не сможем и что она никогда так вкусно и много не ела, как сейчас.

А потом началась вся эта история с Туркменбаши. Она не подходила к телефону, работал только автоответчик. Я несколько раз звонил, а потом решил, что она куда-то уехала. До сих пор не могу себе простить, что никак ей не помог. Такие мысли сегодня одолевают многих. Она к нам была внимательнее и добрее.

Когда за полтора года до Таниной смерти у меня умерла жена, Таня была обижена, что я ей ничего не говорил о болезни Светы (жена меня об этом просила). Таня сохранила всех университетских друзей, и на отпевание Светы почти все пришли благодаря Тане, она успела всех обзвонить.

А на прощании с Таней были и писатели, и поэты, и читатели, и, конечно, все университетские. Многие плакали.

Жизнь быстротечна, и смерть неизбежна. Мне вспоминаются слова, где-то слышанные или прочитанные: «Не плачьте. Радуйтесь тому, что вы были рядом с этим человеком, если он был Человеком». Я рад, что был знаком с поэтом Татьяной Бек. А если вспоминать ту неприличную, немужскую возню перед кончиной Тани, которую затеяли коллеги-поэты, то время выявит истину. Писательство никогда не прощает неправды.

*Татьяна Бек:*

*«Я вообще очень люблю поэзию Серебряного века, и как-то я на ней выросла. И я всегда считала себя наследницей, вообще была привержена акмеизму. А как мы знаем, акмеизм, он и вышел из символизма, и полностью все его постулаты опроверг. И я очень долго просто была заражена вот этим протестом не против самого символизма, но порожденного им очень длительного клише в русской поэзии: этих сплошных символов, красотей, высокопарных банальностей, по которым совершенно невозможно определить, как писал Пастернак, «какое, милые, у нас тысячелетие на дворе». А я всегда любила сочетание духовности с какими-то акмеистическими пометами. Я очень люблю в поэзии деталь. Меня совершенно не шокирует какая-то ультрасовременная лексика. И даже в ней что-то содержится от очерка нравов. Может быть, это даже некрасовская линия. Впрочем, конечно, совсем переводить поэзию в натуральную школу — это тоже тупик. Ну, такое мое личное пристрастие. Я была и остаюсь продолжательницей акмеизма. Хотя с годами стих выводит на какие-то совсем такие кривые сюрреалистические витки. Но это уже другой разговор...»*

# ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

## НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

Вот уже прошло много времени, а до сих пор не могу привыкнуть. Хотя пора бы.

Дожив до преклонного возраста, я похоронил уже длинную колонну родных, близких друзей, и дорога на кладбище стала для меня слишком проторенной. Но с мыслью, что Тани Бек нет и никогда уже не будет, я все еще не освоился. Иногда по утрам тянусь к телефону, чтобы ей позвонить, и только тогда спохватываюсь: ах да!..

Я познакомился с Таней в 1962 году в ЦДЛ, куда она пришла со своим отцом, Александром Альфредовичем, известным писателем и своеобразной личностью, о котором дочь впоследствии написала: «Был он ерник, и затворник, / И невесть чего поборник». А она сама была еще тринадцатилетней школьницей, живой, смешной и смешливой. Хотя с тех пор прошла уйма времени и она успела перешагнуть даже пенсионный рубеж, и дружба наша была на равных, но все-таки в наших отношениях сохранилось что-то от той дистанции, какая бывает меж-

ду взрослым человеком и подростком. В чем-то подростком она и осталась. По-подростковому была пряма, категорична, задириста, колюча и обидчива. Личная жизнь у нее не очень сложилась, но литературная судьба вышла вполне удачной. Она выросла в крупного поэта, была замечательным критиком, тонким эссеистом, переводчиком, мемуаристом и педагогом. Талантливая и трудолюбивая, она много лет за грошовую зарплату работала в журнале «Вопросы литературы» и в Литинституте. Выпустила около десятка (точнее не могу сосчитать) поэтических сборников, а критических работ написала бесчисленно. Последнее время вела критическую колонку в «Независимой газете», а до того в «Общей газете». Будучи критиком честным и неподкупным, прочитанные книги оценивала объективно независимо от личных симпатий или антипатий к разбираемым авторам. Вежливо, но твердо останавливала чьи-нибудь хлопоты о положительной рецензии по знакомству. Известный поэт подарил ей сборник стихов, она по телефону вежливо похвалила. Поэт решил своего не упустить. «А теперь, — сказал он, — хорошо бы превратить устный отзыв в письменный и печатный». Она резко отказала. Я поинтересовался: «А если бы не попросил, могла бы о нем написать?» «Если б не попросил, могла бы. Но такие просьбы у меня сразу вызывают ощущение гадливости. Ты можешь себе представить, чтобы мой папа когда-нибудь кого-нибудь попросил, чтобы его похвалили в газете?»

Несмотря на собственный жизненный опыт и отдельное имя в литературе, отца своего она до конца трогательно почитала и свои поступки мерила по нему. Но он в отличие от нее обладал способностью к лукавству, которое в иных щекотливых случаях помогало ему уклониться от участия в какой-нибудь неприятной ему казенной кампании. Таня любила

вспоминать, как Александр Альфредович, не задумываясь, отказался занять в Союзе писателей какую-то должность, требовавшую, понятно, от пошедшего на нее определенных моральных уступок. Объяснение, почему он отказался, было вполне «бековское»: «Много не нахапаю, — сказал он, — а некролог себе испорчу». Своим главным достоинством в качестве литератора Бек считал свое умение внимательно слушать собеседника и точно записывать услышанное, выделяя при этом самое главное. В главном своем деле Татьяна никак не подражала отцу (вряд ли ее стихи похожи на его прозу), но слушать и записывать, выделяя главное, тоже умела блестяще.

Она превратила в особый жанр записанные ею беседы с писателями, которые печатала раньше в «Вопросах литературы», а затем в еврейском журнале «Лехаим». В этих беседах она вытягивала из собеседников, даже не очень ярких, что-то такое, что делало эти тексты глубоко содержательным и увлекательным чтением. Мне повезло быть дважды таким ее собеседником. Она успела вырастить несколько поколений студентов, для которых была любимым преподавателем. Многим из них помогала советом, делом, иногда, в пределах собственных скромных возможностей, и деньгами. Постоянно вытаскивала из каких-то историй своего друга Рафика, которого неоднократно поминала в стихах и в прозе. Этот Рафик, бывший детдомовец, простой рабочий, мастер на все руки, страстный книголюб и забулдыга, чинил у нее, у всех ее знакомых (у меня тоже) сантехнику, электрику, мебель и все что угодно, потом уходил в запой, попадал в милицию и еще куда-то, она отправлялась его спасать. Я давал ей на прочтение все свои рукописи и знал, что найду в ней доброжелательного, но строгого читателя, редактора и корректора. Она читала быстро, внимательно и писала свои подробные замечания, которые я принимал не все-

гда, но ко всем прислушивался. Иногда я нагружал ее чтением не только своих манускриптов, но и чужих, поступающих ко мне «самотеком». (В тех случаях, если сам в них что-нибудь находил, но сомневался.)

Она была изысканной поэтессой и в то же время простой русской женщиной. Я не о крови говорю (там было много чего намешано от русских, датчан, евреев и кого-то еще), а о характере. Любила природу: деревню, лето, зиму, валенки и грибы. Будучи уже вполне взрослой, она крестилась у отца Александра Меня, но по вере была, как многие русские бабы, смесь православной христианки с язычницей. Ходила (нечасто) в церковь, ставила свечи во здравие и за упокой, в то же время была очень мнительной, верила в приметы, в сглаз, ясновиденье и гадания и сама гадала на картах, о чем часто просила ее моя дочь.

Она любила путешествовать по России и за ее пределами. Как раз перед смертью собиралась в Мексику и очень ждала этой поездки.

Когда-то она написала стихи, в которых наметила план своей жизни и линию поведения: «Я буду старой, буду белой, /Глухой, нелепой, неумелой, /Дающей лишние советы, — /Ну, словом, брошка и штиблеты. /А все-таки я буду сильной! /Глухой к обидам и двужильной. /Не на трибуне «тары-бары», /А на бумаге мемуары. /Да, независимо от моды, /Я воссоздам вот эти годы /Безжалостно, сердечно, сухо. /Я буду честная старуха». До того, чтобы стать белой и глухой она не дождала, но главное обещание выполнила. Была честным (к сожалению, до негибкости) человеком (назвать ее старухой у меня язык не поворачивается), бескомпромиссным, иногда чересчур. Когда близкие ее друзья, не побоявшись испортить свои некрологи, совершили поступок, который ей показался не украшающим их, она об этом прямо

сказала в печати. Безжалостно и сухо. Но глухой к обидам Таня не оказалась и двужильной, увы, не была. Задетые критикой, бывшие друзья обрушили на нее по телефону поток проклятий. В выражениях не стеснялись. Она впала в депрессию. Неделью не ела, пила, курила и плакала. Я эти дни общался с ней по телефону (домой она к себе не пустила). Пытался успокоить. То же делали ее близкие. В ответ она пересказывала то, что услышала от своих оскорбителей и спрашивала: «Разве после этого можно жить?» Я пытался ее уверить, что можно. В воскресенье она позвонила и почти бодрым голосом сказала, что приходит в себя. Что потеряла четыре килограмма веса, и еще пошутила, что открыла для себя надежный способ быстрого похудения. А в понедельник умерла так рано и так нелепо. Ведь на самом деле не было по-настоящему серьезной причины. К поношениям собратьев по перу каждый литератор должен быть готов в любую минуту. Потому что у собратьев «есть такой обычай, — как писал когда-то Дмитрий Кедрин, — в круг сойдясь, оплевывать друг друга». Вот они ее и оплевали. И заплевали до смерти.

Я и моя жена Ирина, тоже недавно умершая, дружили и тесно общались с Таней примерно четыре десятка лет с вынужденным перерывом на девять лет эмиграции. За это время в нашей жизни много было и хорошего и плохого, грустного и веселого, чем можно было бы оживить эти заметки. Но лимит грустного я исчерпал, а веселое как-то не лезет в строку. Видно, рана еще не затянулась и кровоточит.

*Август 2005*

# ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ

«ВСЕ КОНЧАЕТСЯ! С КАЖДОЙ КОНЧИНОЙ...»

Мне всегда нравились стихи Татьяны Бек:

Все кончается!

С каждой кончиной

Жизнь уходит, пощады не зная.

...Этот стол.

Этот нож перочинный

Эта частая шаль кружевная...

...Все, что пахнет родным человеком

И внезапно бросает в рыданье, —

Стало памятью и оберегом,

На глазах обращаясь в преданье.

Это было написано в 1988 году. Мы тогда не были знакомы.

Просматриваю фотографии в книге «До свидания, алфавит». Как раз в 1988-м она сохранила фотографию — Таня, отец Александр Мень и Владимир Корнилов.

Годом раньше еще одна фотография: Таня, совсем молоденькая, на могиле Бориса Слуцкого, и рядом



ее задумчивое лицо — снимок с Ириной и Владимиром Войновичами в Германии в 1991 году.

Фотографий много. Замечательное Танино лицо на поэтическом вечере в Доме-музее Марины Цветаевой с Семеном Липкиным, много фотографий с Евгением Рейном...

Помню, как она подбирала фотографии для книги. Минувшие годы ей казались чересчур длинными канунами. Она как-то сказала мне: «Уж никак не могу себе представить, что состарюсь и не увижу развязки». Ей все еще казалось, что все жизненные узлы могут развязаться.

Мы познакомились лет семь тому назад, в Питере, в доме ее и моего близкого друга Ирины Цимбал. Приезжая в Питер, Таня останавливалась у нее на улице Радищева, в старой петербургской квартире, сохранившей аромат той жизни, какой в Питере давно нет. Было видно, что они обе счастливы, что вместе, что могут разговаривать без умолку, что они «здешние люди». В одном интервью Таня Бек спросила у Лидии Борисовны Либединской, что всегда питало и продолжает питать ее энергию и волю. Мудрая женщина ответила: «Надо радоваться самым обыденным событиям: солнце светит — радость, жара спала — радость. Мне бабушка говорила: “Хочешь быть счастливой — пусть у тебя отсутствуют четыре качества: трусость, зависть, скудость и ревность. Будешь счастливой”». Мне казалось, Таня так и жила.

Но все обернулось по-другому. При первом знакомстве нельзя было предположить, что Таня человек ранимый, хрупкий, не имеющий сил пережить никакое предательство, а тем более близких ей людей.

Тогда, в тот чудный вечер в доме Ирины Цимбал, мы расстались с ней, зная, что в Москве будем встречаться, дружить, — общение с ней приносило

радость. Мне была близка ее ненависть к пошлости, ужас перед ней, ее резкие суждения и манера себя вести. У нее был свой душевный облик, и она показывала его.

Приехав в Москву, в первый же свободный день я позвонил ей по телефону, и мы встретились, пошли в ресторан «Тбилиси» на Остоженке и просидели там часа три, и потом всякий раз, когда у меня и у нее совпадало свободное время, отправлялись в «Тбилиси». Было вкусно, легко, интересно, казалось, что жизнь не состоит из контрастов.

Я стараюсь восстановить в памяти наши встречи, разговоры; не так уж давно это было, но все же не вчера, потому оказалось, что запомнилось ощущение, а не конкретные сюжеты бесед. Чем-то восхищались, редко сердились, но всегда было весело. Контрасты эпохи, в которой живем, стали уже привычными. Помню, что однажды решили ночью побродить по Москве: над городом стоял оранжевый туман, Москва выглядела великолепной столицей, мы вернулись к машине и долго ездили по центру ночного города. В Тане не было узости.

Не могу забыть последнего разговора. Она позвонила мне в каком-то отчаянном состоянии. Как раз за два дня до этого я прочел в какой-то газете статью с предисловием, направленным против нее за то, что она посмела в печати осудить тех поэтов, которые предлагали свои услуги какому-то высокому лицу в одной из среднеазиатских стран, входящих в СНГ, как теперь это называется. Сразу понял, что настроение было связано с этим выступлением. Она сбивчиво рассказывала мне, как на нее и Наталью Иванову нападают, что она не знает, что с этим делать, и я прервал ее и сказал что-то вроде того, что, Таня, вы же сами любите ахматовские стихи «Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен...». Я старался успокоить ее.

Подумать, что завтра она уйдет из жизни, я не мог. Если бы я только догадался о глубине ее оскорбления теми, кого она любила, с кем дружила, я бы отменил все свои телевизионные дела и кинулся ей на помощь, а помочь ей было легко, она доверяла мне и как-то сразу становилась спокойнее. Но подробностей всех ее человеческих конфликтов я не знал: что в действительности привело ее в отчаяние, кто виноват — те, кого она обвиняла, или ее собственное преувеличенное восприятие. Помню, мне стало неуютно, когда я повесил трубку. Но я и помыслить не мог, что через день мне сообщат, что Тани больше нет.

Последние годы мы довольно часто встречались, беседовали, и я всегда поражался, как она умеет вытаскивать из закоулков своей памяти пестрое чередование событий, фактов, людей, неразборчивую стенограмму последних лет.

Она работала сосредоточенно, упрямо и фанатично. Любила ездить, встречаться с новыми людьми, умела образно говорить и, будучи в сущности очень одиноким человеком, подчинила свою жизнь законам искусства и своим мыслям, обуревавшим ее...

Мне казалось, что в ней соединились женская мягкость и неуживчивость. У нее было абсолютное зрение, и она видела людей насквозь. Разочарования душили ее, но вывести ее из этого состояния было легко — только увести от ее горьких мыслей и увлечь чем-то своим, совсем другим.

Таня жадно присматривалась к жизни, умела внимательно слушать споры, рассказы, исповеди. Во все, чем она занималась, она вкладывала душу.

Говорить о стихах с ней было наслаждением. Зацикленный на Цветаевой, я получал удовольствие от того, как за столиком она читала цветаевские стихи, схватывая их внутренний ритм.

Общественные события последнее время ее оставляли равнодушной, но воздух Времени она воспринимала остро.

Привыкнуть к тому, что ее нет, — не могу. Она была одним из тех людей, кому я верил, верил, что она ценит то, что я делаю, что меня занимает. Казалось бы, в последние годы, работая на телевидении, я мог бы давно уже насытить себя добрым отношением людей, хотя слишком много довелось прежде встречать предательства, клеветы, но именно Таня Бек без лишних слов выказывала то отношение, которое было необходимо в данную минуту.

Я видел, что последние несколько месяцев она была растеряна, жила в непрестанном возбуждении, а причина была одна — не могла вынести предательства друзей, которые давно уже перестали быть друзьями, их нападки. Хрупкая, нежная, темпераментная, она вдруг почувствовала себя преданной теми, кому отдала лучшую часть своей души. Временное принимала за случайное и мучительно искала выход, а рядом бурлила чужая, совсем нелитературная Москва в веселой лихорадке. И чувство ненужности — теперь я это понимаю — не покидало ее. А ей нужен был только ее мир, мир литературной Москвы, который давно распался. Оттого глаза ее были не отвечающие, а спрашивающие.

Есть такие потери, которые нельзя пережить или, точнее, которые делают тебя самого другим человеком. Жизнь как будто продолжается по-прежнему, но только без Тани Бек, а значит, эта жизнь стала другой.

# БОРИС ЕВСЕЕВ

## ЦЕНзуРА КЛАНОВ

Нет человека — нет проблемы.

Эти слова и следующие за словами размышления и действия принято относить к сталинской эпохе.

Не надо обольщаться, друзья! С еще большим основанием эти слова можно отнести ко временам сегодняшним...

...Татьяна Бек — чуть неуклюже, слегка смущенно, немного топорно и тихоулыбчиво — движется перед глазами. Потом останавливается, не уходит.

Совсем недавно она выступала с пронзительными воспоминаниями о Владимире Корнилове, негодовала и требовала ответа от газеты, пытавшейся посадить пятно на репутацию долго «избывавшегося» властями и их прихвостнями поэта, улыбалась и пила красное терпкое вино, просила за каких-то обиженных литераторов в Русском ПЕН-центре, делала или предполагала сделать многое другое...

Четкий контур ее лица и фигуры (контур, не тень!) еще живет в московском дымном пространстве, еще оказывает на это пространство слабое физическое воздействие, не дает спокойно лгать и клеветать тем,

кто принял эти качества в наследство от многогрешной и часто незаконной советской эпохи.

Татьяну Бек многое беспокоило в нынешней российской литературной ситуации. И она с присущей ей — видимо, перешедшей от отца, если судить по его главным вещам, — прямоотой об этом думала и говорила.

Прямоты в нашей литсреде не любят. Никогда не прощают ее. Нужно быть ловкопройдошливым, лакеистым, а еще лучше — таким ласковым теленком, сосущим даже не двух, а добрый десяток маток.

Татьяна Бек была другой. (Во всяком случае, в последние десять лет.) За это ее и сгубили, — нет, не партийные деятели, не чиновники, на кого во всех случаях принято кивать, — а бойцы литтусовки.

А теперь вот вокруг ее имени рыщет некая раздувшаяся от падали гиена с выполненной веселенькой краской надписью на полосатом боку: «Цензура кланов».

Давно внутренне соединившись, коммунистические и либеральные литературно-коммерческие кланы выдают все новые и новые результаты своей деятельности, продуцируют «новую цензуру» и новые партправила. А ведь там, где есть цензура кланов, запрещающая все, что этим кланам невыгодно, плодящая новых и новых клановых гомункулов, и, в конце концов, отрицающая индивидуальное творчество, — у любого свободного литератора нет прав. Есть только обязанности.

И вот эта самая цензура кланов ответила на смерть Татьяны Бек двумя партийно проверенными лозунгами: «Молчать!» и «Сама виновата!».

Ну да! Именно! Сама за собой недоглядела. Сама — недовыздоровела. Сама себе камень нечеловеческих отношений на шею навесила.

Сама! И не трожьте нас! Мы за свободу! А потому свободны выбирать: человек или деньги. И так как

всеми продвинутыми клановыми литераторами выбор давно сделан — деньги, — то какие тут могут быть сожаления?

Ну, стало быть, прощай человек, без всяких сожалений!

Тут, конечно, возопят: остановите это публицистическое насилие! Оставьте тех, кто свел Татьяну Бек в могилу, в покое. Покой им нужен для новых вдохновений!

И, конечно, придется оставить. Тоже ведь, вроде, люди.

Но что-то или кто-то мешает закончить на такой вот ноте эти строки. Кто-то словно бы толкает в бок, спрашивая: «Зачем пишешь?» Или еще строже: «О чем, прозаик, ты хлопчешь?»

Да все о том же. О той самой правде, которой нет ни на земле, ни выше. И которая лишь иногда проскальзывает в настоящем, свободном от партий и партийных кланов, от ярлыков и диктата клановых матрон с маузерами на боку, полагающих, что это они, подобно Ленину—Троцкому, литературу и создают. Я хлопчю о текстовом и внетекстовом искусстве.

И еще один — слабый и горестный отзвук на смерть Татьяны Бек.

Раньше «смерть поэта» отзывалась если не стихами Лермонтова, то хотя бы вполне пристойными lamentациями или рассуждениями. Теперь не то! Смерть, еще раз «угроханная» на письме постмодернизмом, для носителей которого смерть только игра, — смерть теперь вызывает лишь скрытые и открытые насмешки. А затем и утверждения: смерть поэта никогда ничего исправить не может!

Но «смерть поэта» — всегда знак. И не наш — выше. Этот знак говорит и указывает: скоро — расчет. По всем делам и поступкам. Даже и по мыслям.

Кстати. В советские времена в знаменитое стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта» стали вносить

небольшую, но существенную правку. До революции и чуть позже всегда печатали: «есть грозный судия». В последующие времена стало: «есть грозный суд».

Суда ни в 30—50-е, ни в 70—90-е годы никто у нас особо не боялся. В наши годы — тем более. Так, может, хоть «судии» испугаются?

И — напоследок. Как всегда — «за смертью — жизнь». Да! «Смерть поэта» — это ведь еще и «сигнальный звоночек» для многих из нас. Или, скорей, — два листа: чистый и грязный. Есть, есть возможность сбросить все мерзкие помыслы, все гаденькие и подлые шевеления мозга на грязный лист. Вдруг хоть кому-то из нас удастся начать с листа чистого: крупно, широко, честно.



# Сергей Есин

## БАСКЕТБОЛИСТКА!

Дистанция еще очень мала. Писать о Тане Бек трудно. Она еще в наших литинститутских коридорах, ее голос, облик, ее высказывания еще очень свежи. Еще не перейдена граница меж тем, что было, и тем, что «о мертвых или хорошо или ничего».

Ценил ли я Татьяну Бек как поэта? Да, я понимал ее, признавал, любил; как человек пишущий отчетливо представлял трудности воплощения мысли в слове. Но литература приучила меня к уважению любого движения мысли, а в русской поэзии есть такие глыбы с маститыми вершинами, и масштаб этих вершин так значителен!.. Ее стихи были хороши, когда, перебивая друг друга, мы читали: я чужое, она — свое, когда она с эстрады читала свои «коронки»... А познакомились мы с ней в самом начале перестройки, я — тогда автор нашумевшего романа «Имитатор», она — молодая поэтесса, дочь известного писателя. Роман «Волоколамское шоссе» Александра Бека, ее отца, был замечательным романом, но набирало раскрутку «Новое назначение». Отчетливо помню знаменитую сцену из этого романа: известные советские управляющие вышли после оконча-

## ТАТЬЯНА БЕК



На вечере, посвященном 100-летию отца. С родными:  
брат Михаил Александрович Бек, племянник Александр  
Михайлович Бек. 16 января 2003

ТАТЬЯНА БЕК



Вечер, посвященный 100-летию со дня рождения А.А. Бека ведет главный редактор «Вопросов литературы» Лазарь Ильич Лазарев. 16 января 2003



В окружении учеников. Мастер-класс Татьяны Бек. Суздаль, июль 2002

ТАТЬЯНА БЕК



В гостях у поэта Юлии Качалкиной (она справа) вместе с «любимыми друзьями и всегда первыми читателями» Олегом Клингом и Екатериной Орловой



С поэтессой Ниной Красновой на презентации книги «До свидания, алфавит». Клуб «О.Г.И.Пирого», 19 января 2004

## ТАТЬЯНА БЕК



Выставка «Non/fiction» на Крымском в Центральном доме художника. Представление книги Татьяны Бек «До свидания, алфавит». Слева поэт Максим Амелин, справа издатель Александр Гантман. 30 ноября 2003



Выступает тележурналист Виталий Вульф. ЦДХ, «Non/fiction», 30 ноября 2003

ТАТЬЯНА БЕК



Перст, скорее разъясняющий чем указующий, — Татьяна Бек. Литературный критик, заместитель главного редактора «Знамени» Наталья Иванова внимает поэту. ЦДХ, «Non/fiction», 30 ноября 2003

ТАТЬЯНА БЕК



Литературный вечер в «Иерусалимском журнале».  
С литературоведом Романом Тименчиком. Иерусалим,  
22 марта 2004



На римских раз-  
валинах с Ната-  
шей Ласкиной.  
Кейсария,  
25 марта 2004

## ТАТЬЯНА БЕК



В Дубне – городе физиков. Объединенный институт ядерных исследований. Слева направо: Т.А. Бек, профессор А.Н. Сисакян, профессор М.Г. Иткис, академик Ю.Ц. Оганесян



В Кейсарии с Давидом Маркишем.  
23 марта 2004



## ТАТЬЯНА БЕК



Татьяна Бек и «ас беседы как жанра» Соломон Волков.  
США, сентябрь 2004



С собеседником и многолетним другом Евгением Соло-  
новичем. 2004

ТАТЬЯНА БЕК



С Семеном Пинхасовым, другом детства. США,  
сентябрь 2004

ТАТЬЯНА БЕК



В гостях у Бел Кауфман, чья книга о школе «Вверх по лестнице, ведущей вниз» стала бестселлером в России. Снимок сделан на фоне фотографии знаменитого дедушки писательницы Шолом-Алейхема. США, сентябрь 2004



В США. 2004

ТАТЬЯНА БЕК



Чтение стихов на литературном вечере. Апрель 2003

ТАТЬЯНА БЕК



Нога в гипсе, но, кажется, все не так плохо. Декабрь 2004

ТАТЬЯНА БЕК



По мнению Татьяны Бек, рисунки, эскизы, автошаржи писателей «дают неоценимый комментарий, если не ключ, к их индивидуальным словесным тайнам...»

## ТАТЬЯНА БЕК



Писательница и художница из Перми Нина Горланова подарила Татьяне Бек две своих картины. Любоваться ими можно только поочередно, поскольку они нарисованы маслом на обеих сторонах доски. С одной стороны натюрморт. С другой – «Женщина с совой». 2004

ТАТЬЯНА БЕК



*«Как говорил при мне один латыш русскому художнику, когда тот его изобразил: я весь тут как тут! Вот и я у Вас «тут как тут» – чуть не плачу! Эта гримаса – с детства. А всё равно жизнь хороша, и, в любом случае, интересна. Обнимаю. Ваша модель – Таня».*

Рисунок Марьяны Медник. 2004



## ТАТЬЯНА БЕК



Вы, кого я любила без памяти,  
Исподлобья зрачками касаясь,  
О любви моей даже не знаете,  
Ибо я её прятала. Каюсь.

В этом мире — морозном и тающем,  
И цветущем под ливнями лета, —  
Я была вам хорошим товарищем.  
Вы, надеюсь, заметили это?

Вспоминайте с улыбкой — не с мукою —  
Возражавшую вам горячо  
И повсюду ходившую с сумкою,  
Перекинутой через плечо!

ния какого-то важного совещания, чуть ли не в Кремле, подошли к метро — и обнаружили, что ехать им не на что, денег никто при себе не носил.

Мы с Татьяной Бек познакомились в какой-то писательской поездке между Оренбургом и чуть ли не Ладожским озером. Подумать только, эта молодая женщина — дочь своего великого отца! Разговорились. Вечером, в приволжской гостинице какого-то маленького городка пили чай. Тогда в первый раз и возникло обменивание, жонглирование общими понятиями, когда форму не надо было договаривать, когда имена одних ознаменовывались определенным периодом, а восклицания отражали длинные отношения. Переполненные залы, надежда на новую жизнь, — вот тогда я узнал, что Татьяна еще в университете увлекалась игрой в баскетбол (а университет был тот же, что окончил и я, только разные факультеты: Татьяна журналистский, я — филологический). Про себя я называл ее «баскетболистка». Выходила прекрасная, полная сил, с пленительным голосом сильной забойщицы девушка из интеллигентной семьи, читала свои стихи... Эти прекрасные незабываемые дни, может быть, провисли бы в памяти, но уже в 1992 году мы встретились с Татьяной в Литературном институте.

Единение счастливых тех дней не забывается, хотя мы иногда (даже не иногда, а чаще всего) были по разные стороны идеологических баррикад того времени, но каждый из своего «далека» мог подать друг другу сигнал. При всем том люди одного искусства и одного понимания его силы всегда согласны с тем, где это искусство есть, а где его нет: в Приемной ли комиссии института, в оценке ли дипломных работ студентов — мы всегда выстраивались в одну шеренгу, каждый из нас поддерживал друг друга — и не потому что связаны чем-то, что больше искусства, а потому, что связаны самим искусством и честностью в нем.

У Татьяны были замечательные ученики; она вела семинар вместе с Чуприниным, мы все знаем его, важного, торжественного, неглупого человека, мастера интересных замечаний. Искусство всегда передается только из полы в полу, от учителя к ученику — Татьяна же передавала своим ученикам нечто другое, что иногда важнее точности просодии и энциклопедического охвата поэтического строя. Вот это «другое» меня в ее учениках и привлекало. И недаром сегодня, этой осенью, ее ученик Сережа Арутюнов в качестве преподавателя института набирает семинар. Я считаю, что после ее трагической нелепой смерти мой долг — позвать в институт ее учеников, ведь так важно для художника иметь их, преданных соратников, важнее даже, чем иметь собственных детей.

Сильным ли человеком была Татьяна? Боюсь, что «баскетболистка» имела ранимую, более, чем мы предполагали, душу. Уж кто-кто, а она была хорошей жертвой, чтобы запугать, затравить. Хорошо помню такой эпизод. Когда под нажимом моих «левых» товарищей я баллотировался в Московскую городскую думу, делалось все, чтобы не поменять свою судьбу, не попасть. Но, тем не менее, без денег, без связей, вторгшись в эту кампанию за пятнадцать дней до выборов, я взял второе место, хотя претендовало на него двадцать пять человек. Для этих выборов был сделан плакат с хорошим и точным слоганом: «Думай, а то опять проиграешь». И мой портрет с подписями моих друзей и старших товарищей, которые за меня как бы ручались: Вячеслава Тихонова, Татьяны Дорониной, Виталия Вульфа, Олега Табакова, Валентина Распутина, Сергея Михалкова, Владимира Орлова, Виктора Розова. Татьяна тоже стояла в этом списке. Но кто-то что-то ей сказал. Кто осмыслил наше противостояние по разным лагерям? Когда плакат был готов уже, она позвонила и

передалав свою просьбу снять с плаката ее имя. Сняли. «Мне с этими людьми жить!» И мне очень жаль, что на этом плакате, который висит у нас в деканате, нет ее имени.

Думаю, что она втайне долго мучилась, когда написала одно письмо, не делавшее чести русской интеллигенции. Но что поделать? Слишком большие другие люди подписали этот документ. Это случилось как раз сразу после путча, письмо вошло в историю как знаменитое письмо 42-х. Писатели требовали в нем от правительства решительных действий. Среди сорока двух подписавших было пять преподавателей нашего института. Двоих — Юрия Левитанского и Татьяны Бек — уже нет. Другим я желаю долгих лет жизни.

Недаром говорят, пока живы оставшиеся — жива и память об ушедших. Там, за небосводом (я точно это знаю), меня ждет моя мать, рядом с ней моя собака, там же несколько замечательных друзей, моих родственников. И абсолютно уверен, что там мы снова сядем с Татьяной за один стол и перебросимся несколькими фразами о том, как там оставшиеся справляются без нас... И мы будем знать, что наши тени бродят по излюбленным местам и по коридорам Литературного института.

# Тамара Жирмунская

«С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРИМЕСЬЮ БОЛИ...»

Хватит плакать, сетовать! Гадать, как ушла, почему ушла. Винить виноватых и невиновных в ее преждевременной смерти.

Она ушла в пятьдесят пять лет. В возрасте нашего общего с ней товарища — пронзительного прозаика Юрия Казакова. В возрасте нашего общего с ней духовного отца Александра Меня. Оба покинули этот свет преждевременно. Но оба сбылись в полной мере, каждый в своей области. И она сбылась.

Одна из книг Татьяны Бек называлась «Замысел» (1987). Помню, меня удивило это название. Замысел кого и о чем? К тому времени я уже хорошо знала Таню, ценила ее наследственно-серьезное отношение к работе, подвижническое служение родной литературе и понимала, что такое название не случайно. Книга была из тех (воспользуюсь старым книжным образом), что сродни постоялому двору, где судьба меняет своих лошадей. Поэт прощался с молодостью, с былыми привязанностями, с «незыбле-

мым домом», вдруг показавшимся ей карточным домиком. И прежде далеко не самовлюбленная, Таня в этой книге как будто устраивала себе с собой же очную ставку:

— Ты, рожденная весной  
В мире солнечном и щедром,  
Чем кичилась?

— Кривизной,  
Одиночеством, ущербом.

— А любила ли простор?  
— Нет. Не понятая веком,  
Все искала дивный сор  
По углам и по сусекам...

В другом стихотворении она решительно отмежевалась от себя прежней, вырывалась из тесноты, вдруг осознанной как тормоз, препятствие, остановка, на неведомый, но дающий новые возможности и непредсказуемости простор: *«Не люблю парники и теплицы!/ Признаю лишь открытую местность...»* Однако столько *«обязательной примеси боли»* было даже в этих программных, вольнолюбивых стихах, что становилось ясно: преодоление чего-то привычно-косного в душе и жизни давалось ей нелегко.

«Замысел», «замысел» — от частого повторения слово истрепалось. Но, называя так книгу, не замысел же своих новых сочинений, в стихах и прозе, имела она в виду! Очевидно, высший, Божий замысел о себе и вообще о человеке. Чтобы осуществить его, нужна свобода. И внешняя, и та пушкинская, «тайная», о какой узнаешь не сразу или не узнаешь никогда. Таня с детства мечтала о свободе, потому что жила в детерминированном обществе, в густо населенном литературном мире, впритирку с родителями и их сре-

дой, — и то и другое было прекрасно, на наш взгляд, но диктат прекрасного тоже бывает тяжел для самостоятельной натуры. Не отсюда ли ее раннее пристрастие к «задворкам», «свалкам», «сухим коркам», как сказано в одном стихотворении? Не это ли сформировало в ней «девочку-наоборот», а «голубицу университетскую», спустя как будто благополучно прожитые годы, заставило признаться: «В неродные невода/ Я лечу назло запретам!/ Но не будем никогда/ Разговаривать об этом». И правда, не будем...

Сказав о центробежных порывах неприручаемой души поэта, не забудем об ее верности заветам отца, об ее служении (иначе не скажешь!) поколению родителей с их изжитыми временем, но не ее памятью идеалами. Это была своего рода «сшибка», очень болезненная. Правда, в советском обиходе это слово означало несколько другое: противоречия между жизненной реальностью, здравым смыслом и настырно насаждаемой догмой. Но Таня рано обзавелась всем *своим*, и сшибка у нее тоже была своя.

Она не судила предыдущие поколения. Сопереживала? Да! Умела влезть в их шкуру? Да! Чувства благодарности и невыполненного дочернего долга были в ней очень сильны. Как и Марина Цветаева, она всегда была душой с гонимыми, а не гонителями, жертвами, а не палачами. Не валим ли мы наших предшественников в одну кучу, не слишком ли легко даются нам скептические, чтобы не сказать издевательские насмешки над ними, обманутыми, заблуждавшимися?

Такого обобщенного нелицеприятного портрета *наших соседей* (помните телевизионную передачу?), наших школьных учителей, врачей, у которых мы когда-то лечились, просто друзей и знакомых семьи, — портрета, написанного острым, но великодушным пером, мне раньше не доводилось читать:

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

И шли, и пели, и топили печь,  
И кровь пускали, и детей растили,  
И засоряли сорняками речь,  
И ставили табличку на могиле.

И плакали, и пили, и росли,  
И тяжело просыпались спозаранку,  
И верили, что лучшее — вдали,  
И покупали серую буханку.

И снова шли, и разбивали сад,  
И не умели приходить на помощь,  
И жили наутёк, и невпопад,  
И поперек, и насмерть, и наотмашь.

И падали, и знали наперед,  
Переполняясь ужасом и светом,  
Что если кто устанет и умрет,  
То шествие не кончится на этом.

Особняком стоят стихи о Танином отце, Александре Альфредовиче Беке — писателе, известном своей беспримерной честностью, литературной и гражданской. Она была, что называется, отцовской дочерью (как бывают, по словам М.Ц., материнские сыновья). В ее многогранном творчестве, особенно уже зрелом, видна мужская рука. И это — при женской ранимости, женской жажде личного счастья и материнства, в чем, увы, ей было отказано скупой судьбой.

В начале 2003-го года исполнилось сто лет со дня рождения ее отца. Это был и ее праздник! Она сделала о нем прекрасную телепередачу, прошедшую по программе «Культура». Радовалась выходу его книг, особенно не напечатанного при его жизни романа «Новое назначение». Когда я поздравила ее с фильмом по этому роману, где главную роль исполнял ве-



ликолепный актер Станислав Любшин, благодарно откликнулась электронным письмом:

«Фильм по «Новому назначению» вышел в свет году в 90-м под названием «Канувшее время». Сделал его ныне покойный режиссер из Питера — Соломон (не путать с Савиком) Шустер. Мне этот фильм тоже чрезвычайно дорог. И — волнует. Дивные актеры, стихи Слуцкого, музыка Шостаковича. Странно, что у нас он прошел почти незамеченным. Просто, видимо, в то время было кругом слишком много сенсаций — и он затерялся в контексте».

Небольшой экскурс в прошлое... В середине семидесятых мне предложили вести всесоюзный семинар молодых поэтов. Первую скрипку в руководстве семинаром играл маститый Евгений Долматовский, а я должна была ему подыгрывать. Кажется, сошлись мы в оценке один-единственный раз. Среди провинциальных васильков выделялась девушка-москвичка, похожая на.. *«черную зимнюю почку»* — нелицеприятно, с явным перехлестом в негативную сторону, определила Таня себя двадцатилетнюю. Я так не думаю! Если уж подбирать для сравнения вид растительности, которой богата ее городская поэзия, то на память приходит *«кустарник турецкий»*, пылающий *«ярко-розово-желтым огнем»*. Лицо Тани быстро менялось: вспыхивало и блекло, хорошело от любовного внимания или в ответ на людское безразличие сжимало все свои лепестки...

Поэтических светил из тех наших протеже не вышло — вышла только Таня Бек. Она одна окупила с лихвой все расходы Литфонда на так называемую «работу с молодыми». Впрочем, *работать* с ней и не нужно было: она родилась поэтом.

Велика была моя радость, когда выяснилось, что у Тани есть мои книги, бывала на моих выступлениях, некоторые стихи помнит наизусть.

Годы сгладили разницу в возрасте, и мы подружались. Помню ее на Фатьяновском празднике в городе Вязники Владимирской области. Она была там с любимым человеком, цвела как женщина и как поэт. Ни капли снобизма! Ни малейшего желания отгородиться потомственной культурой (я, мол, дочка писателя, а вы кто?), никакой похвалы своим интеллектом, своей ученостью, своей тихо растущей славой. Детски радовалась знакомым песням и даже подпевала, хлопала вместе со всеми Николаю Рыбникову и Алле Ларионовой, спускалась к роднику и умывала целебной водой свое разгоряченное лицо. И стихи выбирала безошибочные, понятные разношерстной публике.

Началась перестройка. Ну, естественно, обе мы жаждали демократии и свободы — особенно свободы творчества. О том, что в России такой блин всегда выходит комом, мало кто задумывался... В это колоритное время коллеги доверили нам с Таней составлять московский «День поэзии — 89». На каждую пришлось по несколько тысяч стихотворных строк: прочесть, дать краткий комментарий, одно отвергнуть, другое представить редколлегии. Отбор был строжайший, диктовался не столько вкусом составительниц, сколько ограниченным объемом издания. Из десяти стихотворений в печать попадало дай бог одно. Некоторые обиженные авторы подстерегали нас в самых неожиданных местах, грозили по телефону расправой, требовали замены одного стиха другим, а лучше — другими. Главных редакторов у нас было три, в соответствии с *плюрализмом* новых времен: Петр Вегин, Алексей Марков, Дмитрий Сухарев. Считалось, что каждый представляет собой определенное поэтическое и идейное течение. Так это или не так, не знаю, но баталии шли нешуточные. И все-таки сборник получился! С портретом старой Ахматовой на обложке — как раз близилось

ее 100-летие. Здесь был весь московский Парнас. Впервые публиковались на родине поэты, десятилетиями обретавшиеся в нетях: диссиденты, политические заключенные, эмигранты, формалисты, смогисты и прочие. Не сговариваясь, мы с Таней дали в ДП по одному своему стихотворению. Чтобы утешить таких же «одиночников»...

В одну из двух своих последних книг, «До свидания, алфавит», Таня даст коллективное фото нашей редколлегии и, подписывая его, не забудет назвать исправно ходившего на все заседания Владимира Корнилова «главным мотором-энтузиастом», что соответствует действительности. Недавно возвращенный после долгого несправедливого исключения в лоно Союза писателей, Володя буквально набросился на работу. Добывал для нас ранее непубликабельные стихи искусно причесанных или неугодных наверху коллег, например «Прощание» Давида Самойлова, посвященное памяти правозащитника, литературоведа, поэта-переводчика Анатолия Якобсона. Пламенно отстаивал свою позицию. Помогал нам с Таней «пробить» трудные имена. На той же странице книги, пониже группового снимка, обложка нашего «Дня поэзии» с Таниной красноречивой ремаркой: «Мой самый любимый из портретов Анны Ахматовой — работа кисти А. Баталова». Хочется сказать вот еще что: и обложкой, и талантливым дизайном сборник обязан ныне покойному Владимиру Медведеву, тогда главному художнику издательства «Советский писатель».

В ту пору мы регулярно встречались с Таней в Доме литераторов, где в раскаленной от идеологических страстей комнатухе шли бои местного значения между нашими главными редакторами. К счастью, мы с ней отлично понимали друг друга, выступали единым фронтом, считая, что сборник должен быть прежде всего культурным, объективно отражать картину современной поэзии. «Не посраим имен Алек-

сандра Бека и Виктора Жирмунского!» — таким был наш не провозглашенный вслух девиз, и мы ему следовали по мере сил. Все же не обошлось без печального курьеза. Когда пробил урочный час и мы напоследок, по сему торжественному случаю, вшестером собрались в аэропортовской квартире Тани, выяснилось, что после всех обсуждений и тщательных просеиваний, стихов, предложенных в печать, гораздо больше, чем может вместить книга. С таким объемом нечего было и соваться в издательство: нас просто попрут оттуда... Что делать? Все мы от напряжения устали, осовели, плохо соображали. Кто-то предложил пересчитать количество строк. И, о чудо, их оказалось столько, сколько надо... Когда ДП был, наконец, сдан и, к нашей великой радости, принят издательством, мне позвонила взволнованная Таня. Один из нас, сказала она, в тот вечер просто выбросил из окна во двор пачки «лишней продукции». Соседка нашла на земле листы со стихами и принесла ей. Вот тебе и культурное издание!..

Журнал «Огонек» эпохи Виталия Коротича напечатал большую Танину подборку. Она произвела незабываемое впечатление и на меня, и на моих учеников из литературной студии. Редкое это свойство: взбудоражить своими строками как искушенных коллег, так и простодушных любителей поэзии. До сих пор перехватывает горло, когда я читаю про себя:

Ох ты, время лихоеево!  
Выморочная сторонка!  
(Ни посаженного дерева,  
Ни родного ребятёнка.)

Льется песня помертвелая, —  
А когда-то вся звенела:  
— Как же ты, такая смелая,  
Оказалась не у дела?

Он страшнее воя зверьева —  
Этот плач из одиночки!  
Ни посаженного дерева,  
Ни голубоглазой дочки.

Стихотворение — крик души, — как часто мы принимаем его за литературную удачу — и только! А надо бы поспешить на помощь к автору, если он наш друг, немедленно протянуть руку помощи дорогому для нас человеку. Потом? Немного погодя, когда мы переделаем все свои дела? А потом бывает поздно...

Мне были ведомы духовные поиски Тани, ее жажда опереться на что-то такое, что не изменит, ее желание пристать к надежному берегу и высадиться на него, а не качаться у кромки наподобие поплавка. Я почему-то считала, что знакомство Тани с Александром Менем произошло по моей инициативе. Нет, как выяснилось впоследствии, мы пришли к одному и тому же своими путями, Таня — несколько позже меня. Фото, где она снята с отцом Менем и Владимиром Корниловым (о нем была речь выше), сделано Михаилом Пазием 5 марта 1989 года в ЦДЛ, а не на год раньше, как указано в книге. Я обратила внимание Тани на эту ошибку. В своем поэтическом избранном, «Саге с помарками», она ее исправила...

Увы, главного, что Таню по-человечески терзало и мучило в то время, я не почувствовала. С разрешения поэта Александра Зорина, привожу выдержки из его недавнего письма ко мне:

«В Новой Деревне я ее впервые встретил году в 86—87... Тогда же она и крестилась, крестным выбрала Юру Болдырева. А участвовала ли ты в поездке в Черноголовку, куда я собрал почему-то главным образом поэтесс? Была Нонночка Слепакова, жившая тогда у меня, Таня, и, мне кажется, — ты, еще кто-то. О. Александр нас там представлял. Это было году в 87—

88. В пору ее воцерковления, номинального, конечно, мы с ней много общались. У нее тогда был роман с женатым грузином и ребенок, которого она очень хотела оставить. Ребенок не захотел... Она решительно тогда рванулась к Христу. Почти одновременно сошлись ключевые события в ее жизни: смерть матери, крещение, ребенок... И она приняла их как знак свыше. И, наверное, в душе была верна ему».

Чтобы закончить эту тему, добавлю еще один абзац. Со слов самой Тани и из разговора с ее крестной дочерью Ниной Нодия, знаю, что в среду, 5 сентября 1990 года, они вдвоем посетили Новую Деревню в подмосковном Пушкине. Отец Александр их принял, как всегда, с явно выраженным чувством глубокой ответственности за свершение одного из главных церковных таинств: исповеди и причащения. Был доброжелателен, чуть ироничен, ровен. «Опустил» на Таню ангела путешествий — и сколько с тех пор она колесила по свету! Никакой нервозности в нем они не заметили. Через четыре дня он был убит по дороге к храму...

В 90-е годы интенсивность нашего общения с Таней ослабла. Но мы неизменно дарили друг другу свои новые книги, приглашали друг друга на творческие встречи. Помню Танин вечер в Литературном музее. Там я впервые хорошенько разглядела детского и взрослого писателя Юрия Ковалю, «любящего птиц орнитолога», «певчего дрозда», «гения», по мнению увлекающейся подруги, человека, волею судеб просквозившего через всю ее сознательную жизнь. Выбор наших друзей должен быть для нас священен, поэтому в заключение всего два шипящих слова из русского перевода «Гамлета»: «Дальше — тишина...»

Именно в девяностые у Тани вышли полные любви и огня книги стихов: «Смешанный лес» (1993) и

«Облака сквозь деревья» (1997). В начале 2002 года — книга-поперечник, полная горьких предчувствий, менее всего похожая на кроткую молитву: «Узор из трещин». В ней уже отмеченное мной неприятие себя прежней достигает рискованного градуса:

Привыкай — разворачивай — режь —  
Отрывайся — таи — не тревожь.  
Я устала от ваших депеш.  
Я устрою дебош.

Не хватало, чтоб дух лебезил!  
И — как спьяну, дрожа —  
Я булыжник швырну в лимузин,  
Проезжающий мимо бомжа...

Не смирялась ее взыскующая правды душа с уродствами смутного времени! Еще одна сшибка врожденного демократизма поэта с метаморфозами народовластия в отдельно взятой перестроечной стране. Знакомый многим россиянам неотвязный шок.

Книжно-издательская система уже беззвучно развалилась, мало кто из поэтов-профессионалов мог надеяться на внимание быстро переродившихся ококультурных структур, и Таня не случайно публично поблагодарила свою «ближайшую родню», Людмилу и Александра Бек — домашних издателей двух ее книг.

В траурном феврале две тысячи пятого, в интернете, поэт-ровесник, отнюдь не профан, выразив приличествующую утрате скорбь, не постеснялся сказать о «маленькой рюмочке», из которой якобы пила поэтесса, утоляя свою творческую жажду. Очевидно, так у него трансформировалось известное выражение Альфреда Мюссе: «Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана». Решительно не согласна с ним!

Таня Бек начинала как младошестидесятница, трезвая реалистка, глядящая не только вовнутрь своей души, но и вокруг, и за линию горизонта. Это бинокулярное поэтическое зрение никогда не покидало ее. Внутренний зондаж с годами стал глубже, стих сделался обезоруживающе откровенен и бесстрашно точен. Мир внешний, ничего не потеряв в объеме, стянулся в глубь ее яркой личности. Фантастическим образом она претворила в себе опыт поэтов XX века: и акмеистов, которых великолепно знала, и обэриутов, и мэтров военного поколения, и, возможно, своих лучших учеников, — уже из XXI века!

Когда мне говорят «современная поэзия», я вижу первой — не столько в ряду, сколько вне ряда — Татьяну Бек. В наш век всеобщей расхлябанности, что в содержании, что в форме, мало кому дается подобное совершенство строки, строфы, стихотворения в целом. О самом сложном — внятно, о самом туманном — посильно прозрачно. И всегда горячо, заразительно, на крайнем пределе искренности.

Случилось так, что в канун нового века я переехала по семейным обстоятельствам в Германию. Но наша дружба с Таней не пресеклась. В каком-то смысле мы даже стали ближе друг к другу, особенно после того, как у меня появился компьютер. Танины имейлы не все сохранились, но те, что есть, — драгоценный подарок мне на все оставшиеся годы.

Весной 2003-го она приезжала в Германию, в Мюнхен, где я сейчас живу, — спокойно пожить и поработать в международном доме творчества Waldberta («Лесная Берта»), где мы с писательницей из Питера Людмилой Агеевой ее навестили. Никогда не предполагала, что в Баварии есть такое романтическое место, предназначенное для пишушей братии: величественная вилла на берегу Штарнбергского озера, сад, роща. Чтобы подняться в Танину мансарду, надо было пройти через несколько помещений с ка-



минами, картинами, статуями, мебелью, напоминающей музейные экспонаты. Правда, в ее странной по планировке комнате было очень холодно, ибо камины не топились. Питалась она исключительно сухомятку, так как на вилле кормление творческого люда не было предусмотрено. Но настроение у нее было отличное. Она ни на что не жаловалась — наоборот, всем восхищалась. Сама автор шести книг стихов, уже почти закончившая к тому времени уникальную книгу прозаических «вспышек» и писательских интервью, где дан живой срез современной русской литературы, составитель ряда сборников и антологий, доцент Литинститута, лауреат нескольких литературных премий, Таня почему-то была уверена, что приглашение получила только благодаря юбилею отца, а не за собственные заслуги.

Была ли готова к уходу? Считала ли, что подытожила свою жизнь двумя полновесными книгами? Или, выполнив давно задуманное, вынашивала обжигающе новые творческие планы?.. Кто заглянет в святая святых такой по видимости здоровой, но непредсказуемой и сверххранимой души?

Последний год ее жизни (сужу по письмам) был насыщен до предела. Встречи, выступления, публикации, дальние путешествия, стремительная смена климатических зон и кругов общения.

«...Летала в Ханты-Мансийск на Фестиваль одаренных детей... Последнее было весьма интересно — это ведь крайний север Сибири с остатками шаманства и язычества в сочетании с постсоветскими «новыми русскими». Гремучая смесь!» (*письмо от 7 февраля 2004-го*). «Была три дня в Питере. Выступала в Доме-музее Ахматовой (Фонтанный Дом) — был полный зал, правда, небольшой, человек на 70, но все же...» (*от 5 марта*). «В «Новом мире» №6 — и мои стихи, и беседа с Кушнером. Почитай, ладно?»

(от 8 июня). «Я особо никуда не уезжала, разве что на 4 дня в летнюю школу для детей под Суздалем, где красота такая, что просто неправдоподобно(...) Я там провела два мастер-класса с детишками и даже купалась в речке Каменке(...) У меня, кажется, буквально на днях выйдет впервые большая книга стихов — именно избранное — под странным названием «Сага с помарками». Так мне захотелось ее назвать. Так и только...» (от 22 августа).

Вот одно из последних Таниных писем: «Я, как ты знаешь, месяц назад вернулась из Америки — и до сих пор слегка внутренне не в себе. Будто из космоса. Потом расскажу подробнее. Там я кроме того, что очень (слишком) много путешествовала по Нью-Йорку, Бостону и маленьким городкам, — сделала ряд б е с е д в своем коронном жанре.

Одну тебе посылаю — с Бел Кауфман (помнишь?). Она недавно была у нас опубликована в «Независимой газете» и даже имела определенный успех. Особенно у неюных женщин, которые — не сговариваясь — мне говорили, что от этой, мол, беседы идет положительная энергия...

Если тебе интересно, то потом вышлю и только что расшифрованную беседу с Соломоном Волковым (его последняя книга «Шостакович и Сталин...» меня поразила, и не только в позитивном смысле...)» (от 8 ноября 2004-го).

Мне было *интересно*, и скоро компьютерным вложением пришло и то и другое.

Бел Кауфман, внучка Шолом-Алейхема, в свои девяносто три излучала поразительный оптимизм и наследственную крепость духа. Казалось, Таня подзарядилась от нее избыточной жизненной силой...

Но менее чем через полгода, 7 февраля 2005-го, Татьяны Бек не стало...

## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

Прошло слишком мало времени после ее смерти (или гибели), чтобы во всем разобраться и, говоря словами Бориса Пастернака, подвести ей итог на этой земле.

Мне кажется, ушедшего друга-поэта можно окликнуть только любовью. Даже если эфир не донесет ответа, у меня остается пирамидка ее книг, и Танина «Сага», с чрезмерно щедрой надписью, обязательно откроется на подходящих строчках. Таких, как эти, посвященные ее возлюбленному, где хаос побежден гармонией:

Лишь об руку с тобой я вижу мир насквозь —  
В отсутствие твое я делаюсь слепой.  
Когда умру, скажи: «Ей весело жилось —  
Ей будничная жизнь давалась только с бою».

Зато была полна до самых до краев  
Счастливая душа, познавшая лада!  
Когда умру, скажи: «Она ушла на зов,  
А не сошла на нет...  
Оплакивать не надо...»

*Август 2005*

# НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

## До свидания, Таня

Жизнь прошла, но остался постскриптум...

*Татьяна Бек*

Свою книгу «До свидания, алфавит» Таня подарила мне на презентации — в ЦДХ, где проходила книжная ярмарка «Non/fiction» — с надписью: «Наташе Ивановой — на память о та-а-акой длинной и общей жизни, что...

Мы — родня.

30.11.2003», а избранное, «Сагу с помарками», я получила со следующим инскриптом: «Дорогой Наташе Ивановой — с родственным чувством сквозь долгую жизнь... Таня 27.X.2004».

Действительно кажется, что жизнь внутри нашего знакомства была долгой. Но промелькнула очень быстро.

С Таней Бек я познакомилась в самом начале 70-х, когда появилась в «Знамени» в качестве сотрудника отдела поэзии. Время было стабильно-серое, но нас и наших надежд это как будто и не касалось. Мы были очень молоды, очень жизнерадостны, если не сказать веселы. Таню мне представили сразу с двух

сторон — Борис Абрамович Слуцкий и Олег Дмитриев — как талантливую поэтессу, а мой чудесно-веселый молодой муж Александр Рыбаков — как свою «давнюю» хорошую знакомую, если не приятельницу (его отец, Анатолий Наумович Рыбаков, и отец Тани, Александр Альфредович Бек, были много лет дружны).

Таня мне очень понравилась — своей ладностью, аккуратностью, небогемностью. Уже тогда была эта русая челка, эти нежные прямые волосы до плеч, просторный темный свитер. Улыбка переливающихся, зеленоватых, серых, голубых глаз. Поэт и работник, знающий и любящий свое ремесло литературного редактора. Особая черта: внимательность, вслушивание в «другого», — отличная от ее «сестер» и «собратьев» по цеху, как правило, эгоцентрически сосредоточенных на себе, любимых.

У Бориса Абрамовича была такая идея, что ни я, ни Таня не должны ходить в контору, «служить». Что при наших-то способностях мы и так проживем — внештатной работой. Достаточно будет составления разных сборников, предисловий и комментариев (мне) и переводов (Тане). Мы его не послушали, — страшно было существовать совсем без зарплаты. И старались быть хорошими редакторами. Так я и пришла в «Знамя» на место, до меня в 60-е «согретое» сначала Галиной Корниловой, а потом, в начале 70-х, Ириной Янской (она-то как раз и ушла на «вольные хлеба», и место освободилось).

А Таня тогда же появилась в «Воплях» (так мы и тогда звали, и сейчас зовем «Вопросы литературы»), и работа в литературных ежемесячниках тоже нас как-то роднила. Таня работала в отделе современной русской литературы.

Если мне не изменяет память, впервые Таня пришла ко мне в «Знамя» на Тверской бульвар, в особ-

нячок справа от Литинститута, в большую комнату на первом этаже, где «поэзия» сидела вместе с «критикой», с книжечкой в зеленой обложке — «Скворешники» — в руках.

Книжка была полна открытой радости: «Вот бы крикнуть людям: — Вы тащите / Мне свои унынья! Я хочу / Быть вам нужной. Я, как тот точильщик, / С главного наносное сточу» (этим стихотворением, «Точильщик», Таня начала и «Сагу»). «День мой прекрасен и долог» — и требует постоянной и деятельной заботы: «Я красотой наделю пристрастно / Всякие несовершенства эти... / То, что наверняка прекрасно, / И без меня проживет на свете!»

Таня, по складу своему не только поэт, но и филолог (недаром она в течение нескольких лет с удовольствием будет составлять свою «Антологию акмеизма», выпущенную издательством «Московский рабочий» в 1997-м), всегда любила так называемый *мотивный анализ*, раскладывая и разбирая стихи по мотивам, главным и побочным, доминантам и субдоминантам, чтобы прочистить дорожку к сути исследуемого явления. И вот в первой же Татьяниной книге те мотивы, которые станут «несущими», опорными для нее, уже проявились.

В Тане сочетались благожелательность к другим с требовательностью по отношению к себе. Будучи дочерью очень известного отца, она трепетала от этой зависимости вдвойне: она и не хотела, чтобы ее принимали как «дочку», истово жаждала, чтобы ее воспринимали независимо от семейной «легенды», — и, с другой стороны, очень любила отца, и свою память и любовь запечатлела в чуть ли не лучших своих стихах. Может ли человек «унаследовать» литературные способности от родителей? И может быть, это именно — только способности, а не дар?

Она, видимо, сомневалась в своем даре поэта, мучилась, негодовала на саму себя.



бирали «банк данных», то есть подстрочников, современной грузинской литературы — а она, должна сказать, была в полном расцвете в этот период! Назову хотя бы имена прозаика Чабуа Амирэджиби, прозаика и поэта Отара Чиладзе, выдающихся писателей мирового (а не только «союзного») масштаба. Поэты, прозаики, кинодраматурги... А само грузинское кино! А живопись! А музыка! Вообще — удивительная, богатейшая в оттенках, великолепная культура — от народной до утонченно-элитарной, и ведь *без границ*, единая, не расколотая внутри себя на «верх» и «низ». И вот Отар Нодия организовал (с помощью своего друга и коллеги, главного редактора «Литературной Грузии») ежегодные семинары — сначала даже на два раза в год хватало средств: поздней весной мы собирались сначала в Гаграх, а потом уже на Пицунде, когда там открылся Дом творчества, и читали почти две недели подготовленные в Коллегии материалы, собираясь во второй половине дня для их предварительного обсуждения и обмена мыслями и соображениями со своими грузинскими и абхазскими коллегами. Второй раз (а потом — и единственный) собирались в начале ноября, когда пустел Дом и путевки были подешевле для Коллегии. Там уже каждый из нас должен был прочитать серьезный, развернутый доклад: и, должна сказать, готовились мы очень основательно, «провалиться» перед коллегами и друзьями из разных республик никто не хотел. Профессионализм и «уровень» каждого были налицо. Причем «уровень» не только интеллекта — уровень свободомыслия. Да, собирались люди разные, со своими амбициями и прибабасами, но — свободные. «Сидельцы» (как Чабуа) были нашими «гуру»: даже Булат Окуджава держался скромно рядом с лагерными знаменитостями.

Короче говоря, семинар был роскошный, и это просто чудо, что он в нашей жизни был, что мы на него попали.



Таня переводила грузинскую поэзию — и ей в Коллегии много чего поручали. Она подходила к переводам с той же тщательностью и серьезностью, как и к любой своей литературной работе, — но здесь еще и с вдохновением, и даже с романтизмом, чего всегда требует Кавказ от русского поэта. А еще она стала членом редколлегии вновь открытого альманаха «Кавкасион». Но дело не только в этом, а еще и в той радости, которой Таня светилась на пицундском пляже, сидя в купальнике на песочке, согретом майским солнышком, рядом с Андреем Битовым, с Олегом Чухонцевым... Днем — ходили пешком на «большую Пицунду» вдоль реликтовой роши по берегу моря; вечерами пили вино на балконе, читали стихи, смотрели новое грузинское кино. Что-то во всем этом было неправдоподобное, почти райское. Стукнуть должны были на эти дела! Лакшин, Галина Белая, Галина Корнилова, Александр Руденко-Десняк, Аксель Тамм, Павло Мовчан, Алла Латынина, Алла Марченко, Алла Ахундова... Потом Аня Бердичевская, Татьяна Григорьева — прекрасный «японист», специалист по Востоку. Светлана Семенова. Георгий Гачев.

Тщательный шел отбор. Между прочим, Таня даже выучила грузинский — и вчитывалась в переводимые стихи. Учебник грузинского у нее всегда был под рукой (в ее квартире, кстати, всегда был порядок, и книги стояли на своих местах, и бумаги были разобраны, и компьютером она овладела раньше других).

После семинара ездили на пару дней еще и в Тбилиси — завершить дела по рукописям, сходить в гости, погулять по дивному тогда, роскошно-живому, чудному городу. И самолетом — в холодную Москву, но уже — сплоченным братством. Была и любовь. «Я твоего полюбила сына / Всем географиям вопреки».

И в мыслях не было другой кандидатуры, кроме Тани, на «место» в отделе поэзии «Дружбы народов»,

заведовать которым меня пригласили. Несколько лет мы проработали вместе — и, как признались друг другу чуть ли не в последнем в жизни телефонном разговоре, это были лучшие годы нашей жизни: 1986—1991.

В «Дружбе народов» мы помещались в маленькой комнатке — метров восемь — в бывшей конюшне усадьбы на Поварской, 52 (тогда еще улице Воровского). Знаменитое место. Новое время. Головокружение от открывающихся возможностей (для печати). Радость ожидания. Сидим: Таня Бек, Владислав Залещук и я. Таня занимается «самотеком», поэтому должна появляться раза два в неделю; но у нее вечно дела в Союзе писателей или в библиотеке, поэтому приходит чаще. Ходим пить кофе в «нижний» буфет ЦДЛ. Коля Пшенецкий, художник журнала, тоже входит в наш «кабинет» — и начинает водить дружбу с Таней на почве 1) любви к Грузии (Коля — тбилисец) и 2) любви к живописи (Таня, на мой взгляд, вообще была изоодарена, о чем свидетельствуют ее рисунки). Таня «тащит» в «ДН» «своих»: переводчиков, поэтов; сама пишет рецензии, обзоры, сотрудничает с отделом критики, быстро становится абсолютно своим — и любимым, по-моему, всеми — человеком в редакции, которой вообще мы очень гордимся, потому что «ДН» — один из самых, если не самый смелый и принципиально антинационалистический журнал. Это тот редкий в жизни случай, когда и этика и эстетика твоей «конторы» — близка тебе, и люди журнала действительно образуют команду. Другое дело, что Баруздин — человек осторожный, да и Тер (первый зам — Леонид Теракопьян) иногда осторожничает, но «начальству», видимо, так и положено... Баруздин запиывает свою осторожность коньяком, а мы свою «смелость» — кофейком. В нашем содружестве многое успели сделать. Наперегонки предлагали — наилучшее из «закрытого» и запрещенного. Это только теперь ка-

жется, что все шло само собой. Нет, «само собой» ничего не делалось: необходима была энергия, жажда, любовь. И это «двигало» журнальную работу — печатали стихи Ходасевича, Набокова, и всё — впервые для «легального» читателя. Печатали еще запрещенных в республиках поэтов, эмигрантов, диссидентов — освобождали им путь для публикации на родном языке.

В начале перестройки Татьяна напечатала в «Огоньке» одно из самых «позиционных» своих стихотворений — «Смешанный лес», как ответ «угрюмым дуракам», исчисляющим «нацию» — по «крови». Чистота и точность нравственного чувства никогда не подводили Таню. Я бы даже сказала, сверхщепетильность.

Но что еще было — так это щедрость. Щедрость на хвалу — для удачи, на удачу. Радость от чужого дара, открывшегося ей другого таланта. Благодарность за способности, порою Таней преувеличиваемые опять-таки в силу ее доброты. (За это, кстати, ее любили все, о ком она писала. А я поддразнивала ее — ее же словами, цитирую: «Ура, талант!»)

Но нельзя сказать, что у Тани был такой уж легкий и открытый характер.

Она, например, терпеть не могла, когда ей «сваливались на голову», навязывая визит, — благо она жила неподалеку от писательской поликлиники, куда мы все, увы, захаживали.

Она уставала — от одних и тех же людей, от их прямолинейных идей. Терпеть не могла угрюмую злобу антисемита — и ее колотило от глупостей (даже «благо-») аэропортовских идиотов — она часто повторяла полюбившееся ей выражение Рыбакова-старшего, с которым она чем дальше, тем больше дружила, которого очень ценила за человеческую мудрость и независимость позиции.

Когда в «Дружбе народов» произошли перемены, я ушла в «Знамя», а Таня вернулась в «Вопросы лите-

ратуры». А еще и пошла работать в Литинститут. А еще и писала — в «Московские новости», потом — в «Общую газету», потом — в «НГ—Ex Libris». Дело было не только в ее энергии — необходимы были и хоть какие-то деньги на жизнь, Татьяна была самостоятельной во всех смыслах этого слова.

Мне кажется, что внешне она совсем не менялась — все такая же крупная, но легкая, свободно-спортивная, ясная, возраст никак ее внешне не отягощал. Она была человеком увлекающимся, у нее были романы, в том числе (и чаще всего) драматические, не буду их касаться. Скажу лишь, что она очень любила свою кошку Басю, которую завела отчасти «под влиянием» нашей с Сашей привязанности к коту Ларсику. И на очень выразительном портрете работы Владимира Войновича она запечатлена вместе с Басей, смерть которой перенесла тяжело.

Таня очень *вкладывалась* в друзей. Так, она очень вложила в роман Даура Зантария, который мы взяли печатать в «Знамя», — весьма печальный роман об абхазо-грузинском конфликте. Она очень любила Юрия Ковалю. И очень высоко ценила «Суер-выер», и даже его постановку, между нами, не самую удачную (в театре «Эрмитаж» Михаилом Левитиным), в рецензии горячо похвалила. И на выставку живописи Ковалю в редакции «Знамени» откликнулась восхищенным отзывом. Вот эта восторженность (юная!) из Тани никак не уходила. Она-то, я думаю, в конце концов ее и подвела: случилась «сшибка» (первоначальное название романа А. Бека «Новое назначение») между восторженностью и реальной, отвратительной мерзостью, с которой она столкнулась, — и душа, и сердце ее, всегда жаждавшие справедливости, не выдержали.

...Чем дальше, чем ближе к XXI веку, тем мудрее становилась Таня, Татьяна Александровна. Но наивность, честность, чистота никогда ее не покидали.

Обладая сложным характером, Татьяна вступала и в сложные отношения. Неровные — порою она словно исчезала из твоей жизни, — неизвестно на что обидевшись? Не знаю. Эти периоды надо было перетерпеть. А потом — опять раздавался чуть нарочито низкий голос с вопросом по телефону: Наталья? Как ты?

Итак, Пицунда. Октябрь 1984-го. Полдень. Солнце. Все — и Таня — на пляже. Круглая белая спина перечеркнута бретелькой купальника. Блаженный, расслабляющий шорох морских волн. Ожесточенные — между «своими» градус дискуссии особенно повышается — споры.

Тане тридцать пять лет. От нее исходит ощущение полной зрелости, расцвета, ясного спокойствия и востребованности.

Была у меня в архиве фотография — мы все на тринадцатом этаже Дома творчества. Там расположена библиотека, и там же проходят заседания нашего семинара. Заседания — сильно сказано: живые обсуждения докладов (вместе с самими докладами) занимают не более двух—двух с половиной часов. Хотя — кругом сплошные златоусты. Танин доклад разумен, в формулировках точен. Как будто даже и не поэт, а ученый. Потом, позже, я поняла соответствие ее аккуратнейшего почерка тщательно выстроенному анализу. Так ей лучше, внутренне комфортней, — жизнь и мысль без неряшества.

Между Таней пицундской и Таней московской осени 1993 года пролетело всего девять лет. Танины привычки, образ жизни, убеждения остались прежними. Время — изменилось, жизнь поменялась круто. Пришло время, которое, казалось, мы ждали, мы звали, торопили. Ее ощущения, ожидания того, что «радость возможна» — тоже. Но все-таки сам градус ожиданий — понижен. Доминируют совсем другие мотивы.

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

«Одинокий и необычайный,  
Этот путь закончится со мной».

«(Искажение Замысла.  
В землю зарытое чудо.  
Репетиция гибели.)  
Всё это — и обо мне».

«Снова нежеланье жить  
Накрывает с головою.  
Это, туфли истаскав  
По опушкам лесопарка,  
Возвращается тоска —  
Ненавистная товарка».

«...мир меня мучит...»

«Переживай время, которого нету...»

Все это я выписала из книги 1993 года «Узор из трещин».

Прошло еще десять лет — до неожиданной вести о ее смерти оставалось совсем немного. Казалось бы, жизнь была наполненной — преподаванием, учениками, студентами, газетной работой, литературным бытом, а главное — стихами. Еще и необычными мемуарами, складывающимися в книгу «Вспышки памяти», и беседами — все это войдет в замечательно изданную (спасибо Александру Гантману) книгу «До свидания, алфавит». И уже на подходе если не сама «Сага с помарками», но идея книги.

Я своими глазами видела, как радовалась Татьяна своему успеху — на презентации.

И все же, все же, все же — если «уста», то «небезучие»; если «берег», то — «последний». «Повинна и словом и делом, / Я плачу у жизни в хвосте». По гороскопу телец: «упряма, и усердна, и ревнива». Тель-

## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

цы «привязчивы. Но действуют — назло. И зачастую гибнут от безумья». Я перехожу к самой печальной странице — к концу. В декабре 2004-го, спускаясь с «мраморных» ступенек продуктового магазина, Таня сломала ногу в голеностопе. Месяц с лишним не выходила из дома (нога была в гипсе). А потом — потом в печати высказалась отрицательно, с упреком, относительно обратившихся с «нижайшим» посланием к Туркменбаши, диктатору Туркмении, преследующему оппозицию, посадившему пожизненно своих граждан. Из Туркмении были вынуждены бежать — и бежали — поэты, переправленные международным ПЕН-клубом в безопасные страны. Таня была не только знакома — дружила с ними; у одного из них она даже останавливалась по пути на остров Готланд, где она провела месяц в чудесном маленьком международном доме переводчиков. Таню — после ее открытого и четкого высказывания — «герои» откровенно травили.

Осталось несколько страниц,  
Последних и смертельно белых.

До свидания, Таня...

*Июль 2005*

# Бригитта ван Канн

ТАТЬЯНЕ БЕК<sup>1</sup>

Дорогая Татьяна, я хотела бы выступить с этой маленькой речью на твоём юбилее. То, что она написана в память о тебе, бесконечно грустно. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет в живых, — ведь ты была таким Живым человеком. Не как некоторые, абы как проживающие отведенное им время. Напротив, ты была полна жизни в лучшем смысле этого слова: щедрой, открытой, сострадающей, никогда не изменяла себе, своей индивидуальности, своему искусству, своим убеждениям. Ты — как лишь немногие — обладала даром дружбы, и, мне кажется, в этом отношении многие остались твоими должниками.

Когда раз в год-два мы встречались — в Гамбурге, Берлине, Мюнхене, Москве, — мы с завидным постоянством вспоминали, как познакомились четверть века назад на одной вечеринке в Москве, где некий молодой человек упал в обморок, потому что,

<sup>1</sup> Б. ван Канн, славистка из Германии, прислала эту статью на вечер памяти Татьяны Бек, который состоялся 27 сентября 2005 г. в петербургском Музее А. А. Ахматовой (Фонтанный Дом).



открывая консервную банку, порезался. Мы ему страшно сочувствовали, чтобы потом, пока героя врачевали на кухне, с чувством женского превосходства над «сильным полом» вдоволь повеселиться — нежный аноним вправе считать себя виновником нашей Дружбы.

Это было в начале 80-х, иностранцы высоко котиrowались в Москве — для передачи новостей и рукописей, как партнеры для фиктивных браков. Настоящая дружба редко завязывалась в той гнетущей атмосфере страха. Ты отбросила тогда всяческую осторожность и не оборвала контакта со мной. Ты вообще была человеком независимым и редкостного мужества. Свою личную безопасность, свое материальное благополучие игнорировала ты прямо-таки провокативным образом. Возможно, весь этот обременительный хлам ты — задолго до твоего крещения в православие — перепоручила Господу Богу. Я подзреваю это, ведь как еще можно объяснить твою жизненную позицию, если не доверием к Богу!

Твоя «безразличность» к материальному была тебе совершенна ясна. «Я не люблю вещи, — сказала ты мне как-то, — а вещи мне мстят». Многие видели в этом наивность, беспомощность, легкомыслие — и позволяли себе определенную пренебрежительность по отношению к тебе.

Ты была чисто по-детски беззащитна, но ты себя сберегла — в противоположность тем, кто отгородил свою собственность крепким забором и был способен на любую подлость. Твою беззащитность некоторые принимали за недостаток самоуважения — какое заблуждение! Мне неизвестен никто, так знающий себе цену и так отстаивающий свое достоинство, как ты. И, тем не менее, в литературном бизнесе, в коем гранты и премии берутся с боем, ты зачастую оставалась ни с чем. Ты не укладывалась в обычные рамки, и ты отчетливо осознавала — в отличие от многих

твоих увенчанных лаврами коллег, — что не подобает русскому поэту заискивать перед властью и церковью. Ты была неподкупна.

Я знаю, тебе было больно, когда тебя обошли в паре премий, на которые ты возлагала надежды и которые тебе были обещаны. Не о премии как таковой шла речь, ты страдала оттого, что именно многолетние друзья и коллеги, за которых ты не раз ломала копья, бесстыдно тебя обманули.

В своей прямоте ты напоминаешь мне Пнина, греющего сердце героя набоковского романа. Ты — штучный товар, зачастую шутя говорила я тебе, не ширпотреб. Ты тоже ценила это качество в других. Ты обладала редким даром — женским чувством юмора. Ты ничему и никому не завидовала и не ревновала — мелочность была тебе чужда. Для меня ты олицетворяла Россию: широкая натура, русская щедрость и русский размах, русское остроумие и русская поэтичность. Ты любила «быструю езду», как всякий русский. Бесстрашно сидя на пассажирском месте в машине с картами на коленях, ты любила изображать «лоцмана» и руководила мною на немецких дорогах.

С тобой можно было долго и упоительно молчать — как тогда на гамбургском речном трамвайчике на Эльбе. Мы сели на него в сумерках поздней осени. Стался легкий туман, огни набережной выглядели все неправдоподобнее. Мы не произносили ни слова, и мне казалось, что твой поэтический ум был занят сложением стихов. Я всегда забывала тебя об этом спросить.

Ты была щедро одарена талантом. Для поэтессы я находила тебя завидным образом хорошо организованной. В другой жизни, в другое время ты столь же успешно могла возглавлять фирму. Однажды я сделала тебе этот комплимент, ты резко ответила — поэт не обязательно должен быть непрактичным и

бестолковым в быту. Это дурацкое распространенное мнение. Порою ты работала на трех службах — и получала только прожиточный минимум. Но никогда я не слышала от тебя жалоб на тему «слишком много работы и слишком мало денег». Это были неприятности, которых ты лишила возможности завладеть твоей душой и жизнью. До предательства друзей я вообще не слышала, чтобы ты на что-то жаловалась.

Читая некрологи, я еще раз убедилась в том, как много людей тебя любили и ценили. Ты заслужила быть любимой и почитаемой.

Но есть и гнусные нотки. Некоторые мемуаристы полагают за должное отметить, что жизнь твоя отчасти не состоялась, не удалась. Кто дал им право судить? 28-летний Антон Чехов написал в письме своему петербургскому издателю Суворину: «Делить людей на удачников и неудачников — значит смотреть на человеческую природу с узкой, предвзятой точки зрения... Удачник Вы или нет? А я? А Наполеон? Ваш Василий? Где тут критерий? Надо быть Богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибаться...»

*Гамбург  
20 сентября 2005*

# Айлар Кербабаева

«ТАКАЯ ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ДРУЖБА...»

Лето. Запах липы. Двор в доме на Черняховского. В комнате открыто окно, светло-салатные занавески с фигурками игрушечных солдатиков. Таня очень любила эти занавески. Такие детские, из другой, уже оставленной ею жизни. Как только чувствую запах липы — в памяти Танина комната с распахнутым окном.

В 1967 году я поступила на факультет журналистики МГУ: группа наша — РИО (редакционно-издательское отделение) — представляла собой несколько автономное явление на факультете. Я сразу выделила Таню среди других по нескольким причинам: во-первых, хорошо помнила ее стихи, напечатанные в «Юности» за год до нашей встречи, во-вторых, она сразу привлекала внимание своим чувством юмора, потрясающей самоиронией. И внешне она была необычная — «на длинных нерусских ногах» и с каким-то ярким взглядом. Многие искали ее внимания — авторитет отца, Александра Бека, в московских литературных кругах был велик, но я то время ничего этого не понимала. Сдружились мы близко ко второму курсу. Сблизило нас, я думаю, внутреннее одино-

чество и родство душ. «Если слепой поведет слепого...» Со мной, до безобразия беспомощной и неприспособленной, Таня чувствовала себя более «зрячей». Многих мы озадачивали своей дружбой. Но было время, когда мы были необходимы друг другу. Мы нуждались друг в друге и были счастливы вместе. Наверное, это было взаимопонимание? Впрочем, какая сейчас разница. При всей ироничности, Таня была человеком с трагическим мироощущением. В то время ее разрывал внутренний разлад, она терзала себя, не умела и не хотела приспособливаться к реальности. И при этом она была очень цельной и гармоничной натурой. Наверное, ее критический взгляд и самоирония уравнивали смятение ее души.

Сохранились фотографии того времени: июнь 1969 года, мы проходим практику в университетской типографии, той, что находилась под аркой старого университета, где во дворе Герцен и Огарев; на фотографии мы идем через двор и несем синие рабочие халаты. А на второй фотографии мы с Таней сидим на бордюре клумбы в том же дворе. Счастливое лето.

Сейчас вдруг приходит понимание, что банальности очень близки к истине, а тогда мы делали все, чтобы только не быть банальными.

Одно время у нас была расхожая фразочка: «Я знаю грань банальности». Вот за эту грань нельзя было ступить. А истина оказалась банальна и проста — мы учились жить, быть.

У Тани был удивительный дар — все обыденное она одним своим присутствием наполняла смыслом высшим, необычным, неожиданным. С ней интересным становилось все.

Мы много говорили о людях, собственно, только они нас и интересовали. Если это был новый знакомый, которого я еще не видела, то сначала подробно нужно было его описать: на кого похож, рост,

комплексия и т.п. Этого человека нужно было понять, и любые детали внешности становились важны не сами по себе, а как еще одна возможность проникнуть в характер. Сразу моделировалась ситуация: а как он (она) ест, ругается, что читает, как чихает. Все страшно смешно и очень важно — этикие упражнения для Таниного воображения, в каждом анализе так много было творчества. Во внешности она видела не подробности, а детали, которые сразу же наполняли смыслом. Например, описывая мне одного ее знакомого литературоведа, молодого и стильного человека, она сказала: «Понимаешь, он вроде худой, но на боках такие плавники жирные. Это неспроста». Так в нашей аналитике и остался этот подозрительный признак — «плавники». И те, кто был заподозрен в «плавниках», считался человеком ненадежным. Эти разговоры приходились чем-то сродни тому, что значат гаммы для музыканта, или их можно сравнить с набросками к картине, которые делает художник.

Таню очень интересовали люди, но от многих она быстро уставала, особенно если человек был слишком напористым. К Тане всегда стремились самые разные люди, и один раз она воскликнула: «Ну чего ему от меня нужно?» А присутствующий при разговоре знакомый сказал: «К тебе прислониться — все равно что обелиться! Поэтому к тебе все и лезут». Что-то в этом замечании есть.

Мы очень любили играть в ассоциации: ты загадываешь человека, а твой партнер, задав тебе десять любых вопросов (если бы он был деревом, то каким? Если бы книгой, то какой?), должен его отгадать. Кого мы только не загадывали: Таня умела найти выразительные черты в человеке и так же выразительно описать эти черты в любом предметном ряду.

В ассоциации мы играли и когда нечем было заняться, и во время прогулок, а мы много ходили пешком: от «Националя» до Аэропорта запросто. Главное, что нам было интересно друг с другом всегда. Мы никогда не молчали. Редко, когда Таня уже работала в «Вопросах литературы», писала, редактировала дома, то просила меня просто побыть в комнате. Когда я тихонько вставала, чтобы выйти, — сама я не могу работать, если кто-то рядом, — отвлекаюсь, то она обязательно меня возвращала: «Сиди, ты меня успокаиваешь!». Но все остальное время мы разговаривали. Я даже не замечала, что мы постоянно что-то обсуждаем, говорить было так же естественно, как и дышать, пока однажды Таня сама не обратила на это внимание. Мы сидели в кафе «Националь», болтали, и тут Таня заметила: «Смотри на эту пару — они сидят уже час и все время молчат! А ведь это, скорей всего, муж и жена! Мы же всегда находим, о чем говорить, — разве это трудно? Им же скучно друг с другом, а они живут вместе!»

Начиная с четвертого курса, «Националь» стал нашим любимым местом. Ну три раза в неделю мы там бывали точно. На стипендию это было позволительно. Заказывали мы всегда одно: котлету по-киевски, кофе и яблочный пай. Вкусно! А главное, это был уже свой мир, свой угол. Таня рассказала, что Юрий Олеша любил бывать в «Национале», и это создавало атмосферу избранности и посвященности.

Мне в жизни дважды встречались «люди-праздники», люди, с кем никогда не бывает скучно и с кем не нужно напрягаться, чтобы не скучать. Первый человек-праздник — это Таня. Я сказала «не нужно напрягаться» — это смотря в чем. Они, эти люди, наполнят твою повседневную жизнь особым смыслом, с ними интересно все, что в другой раз и не заметишь. Но необходимо, чтобы и им было интересно с

тобой — и тут уж твои проблемы. Для меня в то время, на первом курсе, не очень образованной, очень закомплексованной, стать интересной Тане было не просто. Мне пришлось многому учиться у нее. И она стала таким дорогим и важным в моей жизни человеком, что ее авторитет для меня был первичней, чем преподавателей и всех списков рекомендуемой литературы вместе взятых. Например, помню, что не стала читать одного из поэтов, включенного в университетскую программу, про которого Таня сказала: «Это все равно что читать телефонный справочник!» Или она говорит о ком-то: «Ну вылитый крошка Цахес!» И я сама доискивалась (тоже ведь интересно самой найти), выясняла, кто такой, да и спрашивать очевидные (для Тани) вещи стыдно. Не знать стыдно, а не хотеть знать — просто позор!

Сама Таня очень серьезно относилась к образованию. Это касалось даже не учебы в университете, хотя училась она отлично, а ее взгляда на культуру, понимания профессионализма. Как-то она познакомилась с неким исследователем творчества Сергея Есенина, настоящим фанатом этого поэта. Таня, которая к тому времени особенно не интересовалась Есениным, за несколько дней освоила всю критическую литературу о нем, да так, что, помню, очень удивила этого человека глубиной понимания и знания материала. А ей был тогда интересен не Есенин, а есениновед! Скоро этот интерес иссяк, а знание Есенина осталось. Память у Тани была прекрасная, профессиональная. В то время мы много читали стихов вслух — тех, которые нравились, или просто только что прочитанных. Помню, Таня вдруг «открыла» И. Анненского, и сборник этот всегда был под рукой. Очень любила А. Межирова, Д. Самойлова, В. Соколова. В какой-то момент увлеклась А. Кушнером, и мы читали и читали его стихи. Хочу отметить, что Таня не допускала незнания. Когда она готови-



лась к интервью с Юрием Казаковым, которое провела вместе с Олегом Салынским, работавшим с ней в отделе прозы «Вопросов литературы», она знала о нем все, что можно было узнать, чтобы задавать вопросы, которые могли бы заинтересовать этого уже в то время ценимого и любимого Таней писателя. Кстати одну из курсовых работ на втором или третьем курсе Таня писала по Казакову, и среди наших вполне грамотных, но ученических работ курсовая Тани сразу обратила на себя внимание научного руководителя: помню, что нам в группе даже прочитали часть курсовой как пример творческой работы. Таня уже в университете писала вполне зрелую, интересную литературную аналитику. Ее дипломная работа удивила даже А.В. Западова, ее научного руководителя. Для нее Таня выбрала пародии В. Архангельского. Я тогда впервые познакомилась с пародией как жанром, а уж пародии Архангельского читались нами потом долго. Удовольствие было неописуемое! Надо сказать, что литературный кругозор, литературный вкус, вкус к литературе у Тани был сформирован до университета, на факультет она пришла вполне самостоятельным и знающим ценителем.

Уже тогда меня пленила изысканность Таниной речи, как образно, с неожиданной стороны она трактовала предмет. О чем бы ее ни спросили, о погоде ли, о творчестве Некрасова, ответ был всегда неожиданным. Она все видела по-своему, и эта свежесть взгляда, суждения были по-детски не замутнены чужим мнением.

С родителями Таня познакомила меня, наверное, году в 1969. Собственно, Александра Альфредовича я видела всего несколько раз. Хорошо помню его высокую костистую фигуру: «нос картошкой» и «сверлышки» глаз — по-моему, очень точно подмечено дочерью. Взгляд его производил на меня имен-

но такое впечатление. Был такой забавный эпизод: как-то раз Таня позвала меня к отцу в кабинет и попросила его поговорить с нами. «У нас серьезные проблемы, — начала она. — Нас замуж не берут. Что нам делать?» Мы стояли понуриив головы и давились от смеха. Александр Альфредович оглядел нас с ног до головы. Помолчал. Потом серьезно сказал: «Я вам советую в армию пойти. Радистками».

Театр на Таганке поставил «Гамлета» с Высоцким. И меня Таня пригласила на спектакль. Мы встретились у театра. Таня была с отцом, и с ним все здоровались — наверное, Союз писателей закупил билеты. Таня шепотом мне говорила, кто есть кто. Спектакль, как и все таганские, точнее любимовские, спектакли тех лет, удивлял и заставлял спорить. Помню, как потом перечитывали Б. Пастернака: «Зал затих. Я вышел на подмости...» В те годы «Доктор Живаго» все еще закрытая книга. Один знакомый аспирант с нашего факультета, живший с семьей в общежитии, дал как-то на одну ночь под честное слово никому не показывать роман Пастернака. Я прочла и уговорила его разрешить дать подруге в обмен на что-нибудь тоже запрещенное. Книгу я дала Тане, а она достала, кажется, «Лолиту» Набокова, потом «Верного Руслана» Г. Владимова. Если бы вы знали, как зауважал меня аспирант!

А потом, уже после смерти отца, Таня под большим секретом достала из его бумаг неизданный роман «Новое назначение». Это был второй экземпляр с машинки. Потрепанная синяя картонная папка с тряпичными тесемками. Я сидела в кабинете Александра Альфредовича, читала переплетенные страницы. Звала Таню и зачитывала ей особенно задевавшие строки, мы много говорили о романе. Это был предел доверия. Она очень любила отца и гордилась им.

Она, впрочем, любила обоих родителей и гордилась ими. Очень доверяла матери и никогда не мог-

ла сказать ей неправду. Даже по мелочам, даже когда, кажется, лучше не сказать правду, чтобы ее не волновать. «Мне мама в детстве сказала, что нельзя обманывать родителей. Я не могу ей не сказать, это с детства осталось», — говорила Таня.

В 1971-м на ноябрьские праздники мы поехали в Дубулты, в писательский Дом творчества. Это был не сезон, и Александр Альфредович взял нам путевки. У нас был замечательный номер — двухкомнатный: спальня и кабинет-гостиная. Таня, распаковав сумку, достала салфеточку и постелила на прикроватную тумбочку; я удивилась: зачем она ее привезла? «Для уюта», — ответила Таня. Это было так неожиданно и так трогательно. Кстати, потом я привыкла, что куда бы Таня ни приезжала, она всегда захватывала из дома что-нибудь «для уюта».

Утром за завтраком Таня с любопытством рассматривала постояльцев и рассказывала кто есть кто. Из знакомых — естественно Таниных — в Дубултах оказался Виктор Конецкий, он сидел за столом с Владимиром Максимовым. С Таней они поздоровались приветливо, но держались особняком. Хотя один общий разговор у нас состоялся. Максимов говорил, что честные писатели — только те, что прошли ГУЛАГ, только гонимые имеют право на признание. Я его боялась. Позже мы познакомились с Юлием Крейлиным, человеком очень милым, общительным. Помню, как он с гордостью рассказывал, что у него недавно родился сын — рыжий-рыжий. Он только что закончил роман и предложил нам прочитать — как будущим редакторам. Мы отнеслись к этому серьезно: прочитали с карандашом в руках и даже выписали какие-то замечания. Это не помешало нашей дружбе с Юлием, а следующее событие только ее скрепило. Случилось вот что. На завтрак не пришел Максимов, а Конецкий выглядел утом-

ленным и злым. Крейлин после завтрака шепотом сказал, что Максимов запил. Конецкий был с ним все время, теперь же попросил Крейлина помочь, поэтому днем он будет занят. Дело в том, что нельзя было допустить, чтобы пьяный Максимов вышел на люди, это грозило какими-то серьезными санкциями. И Крейлин попросил нас тоже подежурить. Мы с Таней пришли в номер Максимова: он лежал на диване, на полу, так чтобы можно было достать рукой, стояла початая бутылка коньяка. Мы тихо сидели с книгами, подавленные значимостью своего участия в судьбе русской литературы. Максимов спал; просыпаясь, требовал: «Дай воды!» То есть выпить. Таня подавала ему разбавленный коньяк; выпив, он снова засыпал. Потом из Риги вызвали знакомую Максимова, которая полностью взяла на себя все проблемы. В общем, все обошлось.

В это же время Таня подружилась с Ритой Райт-Ковалевой, известной переводчицей и замечательной рассказчицей. Сколько же ей было лет? Нам она казалась старушкой, но это так, в скобках, так как дружить с ней было интересно — она приглашала нас к себе, много рассказывала. Ей, мне казалось, нравилось общаться с Таней. К Ритуле, как мы звали ее между собой, приезжали в гости местные левые, среди них был молодой человек, пишущий об Ахматовой, и мы тоже присутствовали на этих посиделках.

Несколько раз Таня прилетала ко мне в Ашхабад. Ей очень нравился наш город, нравилась жара. Как-то она была у нас летом и пошла одна гулять среди дня. Кто знает, что такое азиатское лето — белое солнце, струящийся от зноя воздух, — тот понимает, почему по возможности с двенадцати до четырех часов дня лучше отсидеться дома. Вернулась вся обожженная, с арбузом, счастливая. Еще мы ездили с

ней на толкучку, где она покупала туркменские украшения. Однажды мы нашли там пару серебряных браслетов с зелеными камешками довольно необычной для туркменских браслетов формы и поделили их: один мне, один ей. Мой браслет пропал. У меня сохранились черно-белые фотографии: на топчане под виноградной беседкой Таня играет в шахматы с моим младшим братом Батыром. «Умный мальчик», — приговаривает она, делая очередной ход. Ему было лет семь, а ей он был интересен. Удивительная вещь: все мои многочисленные родственники хорошо помнят Таню и с любовью говорят о ней. Я думаю, это потому, что Тане все они были интересны, она точно «хлебала жизнь полной ложкой», жадно всматривалась в нее.

Вот фотографии, где мы в деревне на подмосковной даче. Мы сидим на бревнах, за калиткой, Таня в джинсах и красной цветастой кофте, жестикулирует обеими руками. Вот мы в поле, сидим в траве. У Тани в руках полевые цветы. Моя бабушка долгое время постоянно снимала на все лето дом в Селятине, по Киевской дороге. Таня любила бывать там. Обычно мы покупали торт для моих двоюродных сестреночек и на весь день приезжали в Селятку, так между собой мы называли деревню. А там, пока бабуля пекла пирожки с картошкой, мы уходили в лес, собирали грибы, плели венки, болтали. Вечерней электричкой возвращались в Москву, прихватив пирожки.

...А вот еще одно чудесное лето на хуторе в Эстонии. Это, наверное, год 1976-й или 1977-й. Танин брат Миша (Михаил Александрович Бек) с семьей отдыхал там, они и сняли нам комнату. Это было удивительное место. Очень красивое и какое-то игрушечное, все есть, и все маленькое, аккуратное: небольшой лес, маленькое озеро, крошечная гора. Ут-

ром мы, выпив кофе, уходили гулять в направлении ресторана, это было единственное место, где можно было поесть вкусно, сытно и недорого. Брали там свиную отбивную, огромную, сочную, и гору жареной картошки: мы никогда не страдали отсутствием аппетита, но доесть всю порцию часто не удавалось. Кстати, за эти три недели, что мы там провели, я поправилась на шесть кило. Мы познакомились с мальчиком Андреем, который отдыхал там с мамой и очень привязался к нам. Часто с утра мы уходили на автобусную станцию и уезжали в какой-нибудь город, гуляли по улицам, заходили в магазины. Съездили в Тарту, нашли Тартуский университет. Зашли. В вестибюле было темно и прохладно. Шел прием документов. Мы поднялись на второй этаж. Пустынно. Мы постояли и вышли вон.

Из Таллина мы уезжали втроем, с Андреем, которого нам поручила довести до Москвы его мама. В купе стали играть в стихи. Эту игру мы с Таней придумали сами, и долгие годы она, пожалуй, была самой любимой у нас. Расскажу, как играть: Таня читает: «Я маленький, горло в ангине. За окнами падает снег». Я должна прочесть любые строки с любым словом из этих первых строк: «Вот опять окно, где опять не спят, может — пьют вино, может — так сидят». Таня: «Мы с тобой не будем пить вино, оттого что ты мальчишка озорной» и т.д. Так вот, тогда Таня вспомнила такие строки: «По какому поводу кот помчался по воду?» Андрей веселился, а Таня рассказала, что один известный поэт выпустил целую книгу таких стихов. И мы на спор стали сочинять, кто быстрее. Таня заражала своей фантазией. Стихов набралось много, смешных и не очень, — мы были в ударе. Помню только Танины: «Я. Козловский пиво пил. Я хочу пи-пи, вопил». Много было довольно хулиганских. «А давайте пошлем их поэту!» — пришла кому-то шальная мысль, и нам она понравилась. Мы

отправили с какой-то станции письмо, а Таня смеялась: «Он испугается, решит, что это происки КГБ!»

Таня любила добывать мне книги с автографами, что тоже было своего рода игрой. Я перевезла в Москву все эти книги, вынужденно бросив в Ашхабаде большую библиотеку. «Сегодня я встречаюсь со Львом Озеровым, скажу, что ты его поклонница», — звонит Таня. Вот сборник стихов с его автографом. «У Юдахина вышел новый сборник, пусть тебе подарит». «Я познакомилась с таким человеком! Ты его увидишь. Он уже подписал тебе свою книгу», — рассказывает она о Ю.Ф. Карякине. «Почему ты не попросишь Войновича, пусть тебе книгу подпишет». — «Я стесняюсь». — «Ладно, сама скажу». Вообще-то я с детства привыкла читать книги с дарственными надписями. Нет, не мне, а моему деду — Берды Мурадовичу Кербабаеву. С. Михалков, С. Баруздин, Я. Маршак — детские издания этих поэтов были для меня все индивидуализированы, что ли. Это были книги со своей историей, и уже в детстве я разделяла книги на подаренные и просто купленные. Я любила начинать читать книгу с дарственной надписи, разбирая размашистые почерки, спотыкаясь о неразборчивые подписи... И Таня знала об этой моей склонности.

Вот еще дорогая мне книга — О. Мандельштам. Стихотворения. — М.—Л., 1928. На первой странице синими чернилами небрежным почерком надпись: из книг Александра Галича. А ниже маленькая красная печать. Эту книгу Таня мне принесла после прощания с поэтом, перед его отъездом за границу. Она очень любила песни Александра Галича, и хотя ни музыкальным слухом, ни голосом мы с ней не отличались, с большим удовольствием его пели. Курсе на четвертом произошла даже такая история. Один наш одноклассник — Н. Клюхин, а он был членом

КПСС и занимал даже должность в факультетском партбюро, уговорил Таню достать стихи Галича. За ночь его знакомая машинистка перепечатала их, но и себе сделала копию, да с ней и попалась. У Ключина из-за этого были серьезные неприятности по партийной линии, но Таню он не назвал.

Таня любила разнообразить обыденное, и если ничего смешного не случилось долго, сама придумывала что-нибудь забавное. Как-то на занятие по стилистике мы надели белые халаты, в которых ходили на медицину (правда, как сказал один преподаватель, в них мы больше походили на буфетчиц). С серьезными лицами поприветствовали только что пришедшего к нам молодого преподавателя, достали тетради, учебники, сидим, преданно смотрим на него. Вид у будущего профессора был еще тот! Чего мы и добились.

Когда мы учились на третьем курсе, Таня стала часто рассказывать мне про Зою Межирову, с которой она сблизилась, и та посвящала ее в свои проблемы. Скажу честно, Таня со мной делилась впечатлениями. Зоя более зрело смотрела на жизнь, и мы с Таней многому удивлялись. Позже Таня познакомила меня с Зоей, и она стала завсегдатаем наших вечеринок. Зоя мне нравилась. В то время у нас была своя тусовка, попасть в которую было несложно, сложно было в ней задержаться. Наша постоянная компания: Леня Бахнов, Миша Гребнев, позже в нее вошел Олег Салынский. Миша был самым младшим, но Леня сказал, что с детства был обязан опекать его. Каждый имел право пригласить кого-то. Мальчики время от времени звали своих «дам сердца». Нам было весело и комфортно друг с другом. Собирались мы обычно у Тани, реже у Миши Гребнева. В какой-то момент стало понятно, что мы выросли из этой



полудетской, полуюношеской дружбы. Таня точно подметила: «Юность я износила до дыр, но привыкла — и жалко снимать». Мы свою юность длили, длили... Сейчас это непозволительная роскошь, но то время позволяло, даже располагало к такому непрактичному отношению к жизни.

...Как-то летом 1978 года я зашла к Тане в «Вопросы литературы», и мы отправились ужинать. Мы сидели в полупустом Дубовом зале ресторана ЦДЛ и без умолку болтали как обычно. Вдруг к нашему столу подошел седой человек. «Знакомься, — сказала Таня. — Это Яков Аким». «А можно, мы к вам пересядем? — спросил Аким. — Вам так весело, а мы заскучали с другом». Мы переглянулись, вообще-то это было не очень кстати, но, видно, отказать показалось Тане невежливым. К нам подошел коренастый модно одетый мужчина с бородой: «Юра», — представился он. Так в нашу жизнь вошел праздник. Мы никогда до этого не видели Юру Коваля, и имя его в наших кругах не мелькало. Но с этого дня оказалось, что весь мир вращается вокруг Юры Коваля. Все знакомые стали признаваться, что давно мечтали познакомиться с ним. Алла Пугачева приветственно машет Юре рукой в Доме кино. Белла Ахмадулина ждет его на день рождения. Сергей Михалков пишет предисловие к его книге. По его книгам снимается кино... И вот мы сидим вчетвером, болтаем о всякой ерунде, и настроение у всех отличное. Вечер заканчивать не хотелось, и Юра предложил поехать в кафе. На такси едем куда-то в Текстильщики, где в маленьком, но безумно шумном кафе, кажется «Марсианин», знакомый бармен очень рад встрече с Юрой, называет его «маэстро», угощает «мальборо» (в то время это было круто!), готовит нам «марсианские» коктейли, а мы пьем и пляшем вчетвером. Юра почему-то обращается к бармену «мадам», и это

безумно смешно! Был какой-то буйный вечер, не похожий ни на что. Потом ехали в метро по домам. Юра сидел напротив и вслух решал, куда ехать: домой или к маме на дачу. На дачу далеко, но мама волнуется. Телефона на даче нет. Кажется, решил ехать домой: очень устал. Нам Юра показался странноватым, но забавным. А утром, не успели мы проснуться, раздался звонок: «Привет! Это Юра Коваль. Я тут получил гонорар за перевод. Давайте отметим. Говорите адрес, я к вам подъеду». Потом Юра извинялся за напор. На самом деле он человек скорее стеснительный, чем наоборот, просто очень хотел, чтобы знакомство продолжалось. И он подъехал. Мы начали жарить картошку, Юра настоял, чтобы я показала ему ближайший магазин, где мы закупили колбасы и вина. По дороге домой он меня спрашивает: «Ты что, дура совсем?» — «Не знаю, а что случилось?» — «Ну я же тебе намекаю, что влюблен в тебя». Я смутилась. Что он, смеется надо мной? Тут же выяснилось, что он влюблен вообще. «Да я и в Таньку влюблен!» Ему нужно было быть влюбленным, так ярче жить. В то время он был влюблен и в Арсения Тарковского, много рассказывал о встречах с ним. А мы с Таней стали читать Тарковского с утра до вечера. Его сборники долго лежали у нас в сумках, чтобы почитать в метро.

Про себя Юра говорил: «Я — мужчина общественный». Имел в виду, что принадлежит всем. В то время Юра только получил квартиру в Измайлове и занимался обстановкой. Раз он звонит и говорит: «Сейчас мне привезут мебель, я волнуюсь. Буду звонить». И звонил каждые пять минут, комментируя поэтажно поднятие дивана. В этом он весь: в жизни нет ничего неважного, незначительного. Важно и значительно все, включая и прибытие мебели. «Привет! Как настроение?» — так он всегда начинал разговор. Про настроение они с Таней могли перегово-

ривать раз пять в день. Однажды прислал мне в Ашхабад телеграмму — про настроение. Юра был щедрым человеком, он делился своей любовью к людям, к птицам, к природе, к языку... Он подарил нам все свои книги, с удовольствием их подписывал. Одну («Кепка с карасями») прислал мне в Ашхабад бандеролью.

Вся наша компания была влюблена в Юру. Несколько раз он приходил с гитарой, пел. Кстати, играл на гитаре профессионально, говорил, что брал уроки. Петь он любил, но из всего почему-то помню не очень приличный вариант песни «Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки». Юра пел: «Ехали на тройке... догонишь, а вдали мелькали... поймешь». В это время по его «Недопёску» снимался фильм, и он должен был спеть в фильме песню, которую еще нужно было написать. Сочиняли они ее вместе с Таней. «Я хотел в титрах указать две фамилии, но уж чересчур солидно для такой песенки. Таня не согласилась». Как-то раз мы отправились гулять в парк, по дороге зашли к его знакомому фотографу, и Юра попросил сфотографировать нас. На стене висел большой лист ватмана, и, пока фотограф готовился, Таня с Юрой стали рисовать свои профили, так эти смешные рисунки и стали фоном. Сначала мы встали втроем, затем сфотографировались по очереди. И еще раз — в парке, в каких-то зарослях. Смотрю на эти фотографии: «Какие прекрасные лица, и как это было давно», — Ходасевич сказал это про нас, точно. Пока фотографовались, Юра очень волновался и дергал друга-фотографа, чтобы постарался. «Ты же великих людей снимаешь, ты посмотри, кто к тебе пришел. Это же Таня Бек. Ты хоть знаешь, что это значит?» — преувеличенно серьезно говорил он: друг в наш юмор не вникал и, кажется, не очень был доволен тем, что его заставили снимать.

Погуляв по парку, мы зашли перекусить в парковый ресторан, а там свадьба гуляет. Невеста в белом, жених в черном. Мы стали смеяться: фу, какая пошлость — фата, белое платье... Нет, как говорила Таня, жаме де ля ви. А Юра так серьезно возражает, что если бы он женился, то обязательно по всем правилам: невеста в белом, он — в черном. «Я очень банальный человек, — убеждал он нас. — Я — простой». Мы не верили. Ну потому, что мир так сложен, что хороший человек, по определению, не может быть банальным. «Девки, — уверял нас Юра, — я самый банальный человек. Я считаю, что жена должна борщ варить, котлеты жарить, а не стихи читать!» Думаю, наполовину он лукавил. Как-то Таня познакомила Ковалю со своей подругой детства, немного полноватой красивой молодой мамой, и потом рассказывала, смеясь, как он описывал новую знакомую: «У нее щечки переходят в шейку, шейка в грудку, грудка в животик, а животик в попку». Ну, а о том, что дала эта дружба в творческом плане, Таня рассказала сама и своими стихами, и статьями.

Я не вела дневников, но часто делала кое-какие записи. Вот например, от 22 февраля (год не указан, но, скорее всего, 1976-й): «Вечером читали рассказы Л. Таня с ним вчера вечером гуляла, ее впечатление: “Говорит медленно, паузы, долго подыскивает слова, но не дает себя перебить или помочь досказать. Говорил о моих стихах тоже медленно, слушать трудно. Чувство, сказал, названо впрямую, а должно быть скрыто, но стихи настоящие. Я открыла в себе еще одно качество, не смейся, ты думаешь, что я скажу, что люблю лести. Нет. Мне приятно, когда в меня влюблены! А он считает меня некрасивой!”» Следующая запись 23 февраля: «Вечером говорили о работе. Подчинение всегда несет в себе элемент холопства. В. (сотрудника соседнего отдела) стали тра-

вить, на работе его не оставят. После работы Таня говорила с ним, он очень нервничал. Бросить его так — нельзя. Таня: «Я уйду с работы тоже, я не дорожу ею, я скажу им: вы все холопы, я тоже хотела стать, как вы, но вы превысили свою власть надо мной. Вы меня недооцениваете, я ведь ушла из 10 класса после зимних каникул в вечернюю школу только потому, что не могла видеть этих людей. Я могу не работать — на одежду трачу мало — прохожу в старом, на еду — тоже, буду подрабатывать рецензиями, у меня много друзей, жить могу и не в этой квартире, обменяю ее на барак. Но у меня мать, я терплю из-за нее». Утром продолжили этот разговор. Таня: «Мне В. противен, но я его не брошу, я буду ему помогать». После того как Таня ушла на работу, Наталья Всеволодовна спросила, как Таня, спокойна ли она. Она очень рада, что Таня работает, так как работа придает ей серьезность и уверенность. Я согласилась».

Да, Таня не могла принять чужой подлости, даже по отношению к посторонним людям эта подлость оскорбляла и ее.

...Было это году в 1977-м, летом. Как-то раз в компании мы заговорили, что хорошо бы рвануть в Ленинград: погода чудесная, время есть, настроение тоже. И тут один наш общий знакомый говорит, что его мать может организовать приличную гостиницу. Мы тут же решили ехать втроем. И действительно, нам забронировали номера в знаменитой «Астории», напротив Исаакиевского собора! И вот мы сидим с Таней в своем двухместном номере. Настроение отличное — ведь мы в «Астории», хотя на нашем этаже душ общий, в конце коридора. Мы решили, что каждый занимается своими делами, и поэтому с нашим приятелем мы, помню, раз встретились на обеде в гостиничном ресторане. Манера нашего друга

разговаривать в официантом нам страшно понравилась. Мужчина он был представительный, даже солидный, и вот он этак очень веско произносит: «Мне бутылку “Нарзана”». Официант: «”Нарзана” нет». А ему в ответ: — «Хотелось бы, чтобы “Нарзан” был». И самое смешное, что «Нарзан» появился! Мы потом часто пользовались этой фразой, она была у нас своего рода кодовой. А время мы проводили замечательно — были приглашены на дачу к Даниилу Гранину (Таня прятельствовала с его дочерью Мариной) и провели в гостях целый день, играли с сыном Марины, за обедом слушали умные разговоры о проблемах биологии, о канцерогенах. Побывали у Таниной подруги Иры Цимбал, с которой они дружили уже давно. И, конечно, съездили в Комарово, я там была впервые. Сходили к дому Ахматовой, к ее мемориалу. Таня рассказывала об Анне Андреевне и Иосифе Бродском. Гуляли целый день, долго бродили по кладбищу. Тайна ушедших жизней притягательна. День был теплый, солнечный-солнечный.

Мы часто говорили о семье, о том, что нужно бы выйти замуж. Теоретически у Тани был свой образ семейной жизни. Имея в виду свое отношение к любимому мужчине, про себя она часто говорила: «Я — Душечка». Я удивлялась — ее свободолюбивый нрав никак такого не предполагал. Помню, даже специально перечитала Чехова. Но Таня настаивала и доказывала, что это ее тип и так она хотела бы прожить. И я стала понимать, что Таня действительно хотела бы раствориться или слиться духовно с любимым человеком. Но это вряд ли могло ее удовлетворить. Ее интеллектуальная самостоятельность, скептическое отношение к семейной жизни как таковой делали эти порывы довольно краткими. У нас были семейные прятельницы, и, нужно сказать, они сво-

ими рассказами о семейной жизни давали повод к размышлениям. Они даже не скрывали зависти: мы жили весело, интересно, позволяя себе то, что семейная жизнь исключает. Например, по настроению уехать в Ленинград на день, не готовить обед неделями, весь день проваляться в постели с книгой... Как-то вечером Наталья Всеволодовна позвала нас к себе в комнату поболтать. И, конечно, заговорили о том, что нужно замуж, стали обсуждать потенциальных женихов. Таня стала объяснять, какой ей нужен муж, и Наталья Всеволодовна сказала, смеясь, что это уже было у Гоголя в «Женитьбе» — нос, как у Никанора Иваныча, уши — как у Ивана Кузьмича. Мы не стали спорить.

Таня была очень щедрым человеком, и щедрость эта проявлялась во всем. Ей нравилось радовать. Когда она стала писать для «Литературного обозрения», то тут же договорилась, чтобы и мне заказывали рецензии. Ей было приятно, что я тоже печатаюсь. Готовился к изданию второй сборник Таниных стихов, она постоянно обсуждала порядок их подбора. Помню, как мы искали название. Вариантов было несколько: «Калитка», «Дерево на крыше», «Задворки». Ее стихи я всегда читала сначала как поэтическое произведение, потом — как лирический дневник. Меня притягивала, волновала и очаровывала эта загадка: из пройденной, реальной ситуации рождается формула бытия. Таня превращала в поэзию все пережитое. В стихах она предстает очень живым конкретным человеком, а в жизни с первого взгляда было понятно, что перед вами творческая личность.

Я окончила университет, уехала в Ашхабад, но поступив в аспирантуру, имела возможность жить в Москве. Я приезжала к Тане и жила у нее по три-четыре месяца, потом улетала ненадолго домой и сно-

ва возвращалась в Москву. На многие годы квартира на Черняховского стала и мне родным домом. Я останавливалась в кабинете Александра Альфредовича. Это была большая комната, разделенная перегородкой. Во внутренней части — библиотека, а вторая — непосредственно кабинет. Здесь все было как при его жизни. На письменном столе стояла открытая пишущая машинка, лежала стопка бумаги. Книг в квартире было очень много — весь холл и коридор уставлены стеллажами. Я спала в кабинете на большой тахте, покрытой шерстяным пледом. Танина комната была за стеной, и часто, проснувшись, она стучала мне в стенку, значит, пора пить кофе. Завтракали, как впрочем и обедали, мы в кухне. Сколько часов мы провели за этим столом, стоящим у окна! Это было самое уютное место в квартире после Таниной комнаты. За окном по дороге к метро постоянно шли люди. Мы рассматривали толпу, часто загадывали на исполнение желания: вот, если пройдут трое хромях или, например, трое знакомых, то исполнится. И не уходили, пока не отсчитаем загаданное, — и улица была щедрa на обещания.

Таня в то время была для меня самым главным человеком, дороже нее и любимей не было никого. Это сейчас у меня есть дочь, есть внучка, которые заполнили мою жизнь, стали ее оправданием и смыслом. А тогда — давно-давно — Таня составляла мой мир. Это я была Душечкой, я дышала с Таней одним воздухом, смотрела в ее окно, читала ее книги, я жила ее переживаниями, ее стихами, ее влюбленностями, ее комплексами. Она делилась всем, что ей было дорого: своими знаниями, друзьями, чувствами, жизнью. В последнем письме Таня написала: «Такая это уникальная дружба... Наша дружба останется самым сильным и хорошим куском моей юности».



# ОЛЕГ КЛИНГ

## «ЧТО КАСАЕТСЯ КЕЛЬНА...»

«Что касается Кельна... — так начинается стихотворение Тани, которое в небольшом кругу ее московско-кельнских друзей было паролем, своего рода тайным кодом. Достаточно было произнести эти простые, но, думаю, не только нас завораживающие своей необъяснимой поэтической магией слова, чтобы стало понятно: речь идет о том, что связывало небольшой круг людей, судьба которых пересеклась в январе 2001 года в этом немецком городе. С некоторыми из «кельнцев» и вокруг них общение началось, а потом и продолжилось в Москве. Однажды Таня сказала Кате Орловой: «Кельнская группа...» Здесь, конечно, была и обычная для Тани ирония — в сочетании слов, восходящем к клише советской эпохи, но за всей иронией скрывалась теплота. Ей действительно в непривычно холодном в январе 2001 года Кельне было тепло — по-человечески хорошо, что, как теперь понятно, случалось не так часто.

Но прежде само стихотворение:

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

*О.К.*

Что касается Кельна, — его разбомбили дотла,  
Исключая Собор, потому что служил ориентиром...  
Городское пространство осталось в чем мать родила  
С виноватою каверзой плакать вослед бомбардирам.

Это позже сквозняк запоет меж лесов и стропил,  
Подбивая природу калькировать что потеряла.  
И подумал Господь — и тяжелой печатью скрепил  
Накладные бумаги по поводу стройматерьяла.

...Накануне Крещения выпал такой снегопад,  
Что похоже на бедствие. Впрочем, светло и привольно.  
Начинается эра (какая?) — и птицы не спят,  
А поют в витражах. Вот и все, что касается Кельна.

Как я жалею теперь, что не вел (хотя бы в те кельнские три дня с Таней) дневник. Но ее стихотворение точно воссоздает реалии, в том числе дату. Действительно, Таня приехала в Кельн «накануне Крещения». Мы уговорились еще в Москве: когда Таня будет в Германии (она получила стипендию сэната, которая давала возможность месяц жить в одном из замков под Берлином), обязательно приедет в Кельн (я там читал лекции в университете). Перезванивались между Москвой и Кельном, Кельном и Гамбургом. В Гамбурге в доме у своей любимой немецкой подруги Бригитты ван Канн (ей посвящена проза «Никогда не говори “никогда”», и она одна из героев этого произведения) Таня встречала свой 2001 год. В один из таких телефонных разговоров из Гамбурга Таня сбивчиво и, как это всегда было у нее в таких случаях, с болью от случившегося и от непонимания, как такое могло произойти, прокричала о своем горе... Для нее это действительно было горе — смерть любимой кошки там, в Москве. Это были невидимые миру слезы «кошатницы», а отчаяние че-

ловека, который остался один на всем белом свете. «...Кошка, роднее которой нет», — напишет Таня в стихотворении «О, год проклятый — навет, и змеиный след...», о котором еще пойдет речь ниже.

Из Гамбурга Таня перебралась в уже наступившем 2001 году в Берлин. Начались перезвоны между Берлином и Кельном — и вот я стою на вокзале и жду скоростной поезд «Берлин—Кельн». Стремительно и легко, точнее не легко, а будто освобождаясь от тяжести, груза, видно, что с некоторым даже нетерпением, появляется из вагона Таня — в той самой короткой черной шубке (полушубке), в которой она останется не только в моей памяти, но и в памяти многих, — тех, кто смотрел передачу о ней, показанную на телевизионном канале «Культура». Воротничок поднят, под ним коричнево-красноватый, чуть ржавый, как редкий, исключительно красивый осенний лист, шарф. За Таней — небольшой черный чемодан на колесиках, он почти летит. Чутьем понимаю, что она что-то хочет оставить там, в поезде, в Берлине, что-то не очень приятное, или вовсе неприятное...

Не тот ли «навет» упоминается в стихотворении о кошке? Впрочем, сколько их было — может, и не тот. Это я думаю сейчас так, после всего, когда Тани не стало, а тогда неизвестно мне было то стихотворение, как можно предположить, созданное или начатое в Гамбурге (в нем упоминается видная из окна «портовых огней игра»), — Таня прислала мне его позже. Повторяю, в тот день на вокзале в Кельне я его не знал. Обнимаемся. Тане холодно — для Кельна непривычно морозно, а вокзальный прорезающий пассажиров сквозняк везде одинаков, но она искренне рада встрече. Не берусь воспроизвести ее слова, тем более мы всегда при встрече начинали говорить сразу оба и одновременно и уже не могли остановиться, но чувствую: там, в замке, чуд-

ном, замечательном замке под Берлином, где кроме нее были и другие литераторы из России, ее обидели. Это была «другая» компания, кто-то по пьяни что-то сказал (не хочу воспроизводить *что*, хотя помню, конечно, но не хочу и не могу судить — Господь Бог лишь знает, а не сказал ли что-либо такое, задевающее поэта, и ты), но это не просто царапнуло, а ранило. Видно, Тане поскорее хотелось забыть ночной угар, но для этого надо было несколько раз все это проговорить, выплеснуть из себя. Как обычно, она поражена и все переспрашивает: как можно такое ей сказать, подумать! Ей очень нужно в ответ услышать, что это не так, совсем не так. И это действительно глупо, несправедливо и обидно. Потому не лукавлю, когда все это повторяю вслух. И от души у Тани отлегло.

Тем более что выходишь из вокзала и напротив тебя — Кельнский собор (в стихотворении у Тани — совершенно справедливо с большой литеры: Собор)<sup>1</sup>. Он — отрезанный, без верха. Так близко, что не видишь не только шпиль, но и выше середины. Закопченный. Поезд пришел поздно вечером — зайти в собор сразу, по приезде, не могли. Едем ко мне — точнее, в так называемый «уни-центр» — одна из немногих высоток в Кельне, поодаль, но напротив собора. С балкона небольшой квартирki на одном из последних этажей он виден. С Таней легко и уютно. Хотя ее и много (крупная, сильная личность) и она на глубине проживает свою жизнь в первую очередь как поэт, но только не во внешнем проявлении: не любит позу, роль поэта, особенно с чужого плеча. «Гений со справкой», — говорила она (впрочем, до-

<sup>1</sup> С большой литеры в журнальной публикации стихотворения «Что касается Кельна — его разбомбили дотла...» («Арион», 2001, №3), в «Саге с помарками» — собор с маленькой буквы.

бродушно) о людях иного творческого и бытового существования.

Внизу, под нами, «весь Кельн», про который можно составить целую антологию из русских поэтов и писателей, а помнится из того вечера, как мы жарили свиную отбивную и аппетитно ее ели, запивая сухим красным вином — любимым Таней, но пили совсем понемногу. Рассказы о Берлине, в целом Тани там было хорошо. Близкие люди, которые показывали ей город, заботились о ней. Казалось, «отравление» незаслуженной обидой от каких-то «чужих» прошло. Но ночью Таня курила, и много, и долго не могла заснуть — значит, боль не прошла.

На другой день Таня совсем отошла — ей надо-то было совсем немного, чтобы не тужить. От природы она — веселый, сильный, жизнерадостный человек. Ходим по Кельну, сначала, конечно, в собор. Потом в несколько из двенадцати близлежащих храмов в честь апостолов. Где-то там рассказываю поразившую меня деталь из воспоминаний княжны Васильчиковой, работавшей во время второй мировой войны на «Немецкой волне»: англичане не разрушили знаменитый Кельнский собор не потому, что он чудо архитектуры, памятник культуры, а по другой, более прозаической причине: собор был ориентиром при последующих налетах на уже разрушенный Кельн, где не осталось ни одного из двенадцати храмов и вообще почти ничего. Казалось, Таня не придала этому особого значения.

Ближе к вечеру была объявлена в Институте славистики при Кельнском университете лекция Тани — о современной поэзии. Перед лекцией мы прошли по коридорам института, Таня познакомилась с профессором Б. Целинским, умным, добрым, несколько сдержанным человеком, которого Таня своей «настоящестью», жизнелюбием, хлещущим через край, искренностью моментально покорила.

Лекция была в библиотеке института: преподаватели, студенты, просто интересующиеся поэзией. Таня достала наброски (начала еще в Москве, а в Кельне отшлифовала). Это был безошибочный жест: да, поэт, но в данном случае и исследователь литературного процесса, да еще какой. Незадолго до этого было неловко за одного профессора из России, который решил ограничиться импровизацией на тему. И перед кем? Перед серьезнейшими учеными, студентами, часть которых выходцы из России. Таня выступила, как всегда бывало, блестяще. Сначала волновалась — и голос дрожал, и чуть дрожащие руки выдавали природную робость, но отточенность суждений, сконцентрированная, сгущенная, казалось, до предела мысль, которая в единственно нужный момент подтверждалась примером — читаемыми наизусть стихами, непередаваемая притягательность суждений о литературе человека, который знает о поэтах «все» и к тому же сам поэт, произвели на слушателей сильнейшее впечатление. Многие понимали: вот она, живая, настоящая поэзия. Здесь, рядом.

Некоторые мысли Таня включила затем в прозу, в статьи, например, «Старые жанры на новом витке» — не только о Б. Окуджаве, но и о возвращении жанров в современную поэзию. В конце лекции читала собственные стихи — совсем немного. Особо она тогда дорожила своей «Басней для друга-собачника», недавно написанной. Так «практика» подкрепила «теорию» — такое не часто бывает на лекциях. Аудитория поняла масштаб личности Тани. Ее долго не отпускали: реплики, вопросы. Глаза Тани лучились дивным светом, ее незабываемый взгляд одновременно и весел, и умен, и чуть торжественен от явного успеха, и крайне добр. Любовь — *на* любовь, тепло — *на* тепло, бесконечная приязнь — *на* открытость. Именно *на*, а не *за*. Теперь мы понимаем, как этого ей не хватало.

Мы должны были идти на ужин в гостеприимный русский кельнский дом Порудоминских. Таня знала Владимира Ильича и Надежду Васильевну еще в Москве, а с дочерью Машей и зятем, известным художником-концептуалистом Вадимом Захаровым, познакомилась в Кельне. Но в последний момент Надежда Васильевна слегла от простуды, и мы всей компанией пошли в наше с Таней обиталище. С нами был молодой преподаватель Йенс Хертл, кто-то еще. Скажи в тот вечер, казалось незабываемый (но детали которого выветрило время), что придется писать воспоминания о Тане, никто бы не поверил. Помнится только, что были разговоры, разговоры, разговоры, в том числе об И. Бродском — Йенс писал диссертацию о нем. Обычные «московские» разговоры.

А за окном валил снег. Небывалый для Кельна снег. На следующее утро весь город выбелился до неузнаваемости. Изменилось все пространство. А снег все шел и шел. Сугробы, гололед, буксующие машины. Ошалевшие от радости дети, играющие в снежки, лепящие снеговиков. На Рождество в Германии дети больше всего мечтают о снеге — не о том, что на открытках, а таком, настоящем. И вот это, хотя и с опозданием, сбылось.

Когда я еще был в Германии, Таня прислала стихотворение «Что касается Кельна — его разбомбили дотла...». При чтении мороз по коже пошел... Как же поразительно: ходил, бродил рядом человек, глядел вокруг и не глядел, что-то слушал и не слушал, говорил о том, о чем все мы беседуем. А в это самое время что-то происходило в мире — рождалось стихотворение, в котором были и собор, который «служил ориентиром», и снегопад «накануне Крещения», похожий на «бедствие», свет и привольность, и многое-многое другое, что могла понять и воссоздать лишь Таня.

Может быть, я ошибаюсь, но в Кельне Тане, несмотря на его холод, неожиданный для этого обычно теплого из-за Гольфстрима места снегопад, было тепло и уютно. Она там сошлась душой со многими людьми, вернется в Кельн через некоторое время, но это уже другая история, которую опишут другие «представители» «кельнской группы», а пока см., как пишется в таких случаях, стихи Тани («Geisterzug» — о карнавале, посвященное В.И. Порудоминскому).

У Тани в Кельне произошла перемена в состоянии духа — от безысходности и думы (столь частой у нее) о смерти к началу чего-то нового, столь же присущей ей, как и тема смерти, — неизбывной любви к жизни. Одно составное начало духа Т. Бек — поэта в стихотворении, которое в «Саге с помарками» помещено перед кельнским:

О, год проклятый — навет, и змеиный след,  
И окрик барский, и жатва чужого хлеба.  
И даже кошка, роднее которой нет,  
Под Новый год ушла без меня на небо.

Сквозь крест оконный — портовых огней игра:  
Моя пушистая азбуку неба учит...  
— Скажи: куда мне? Скажи, что уже пора. —  
Молчит, и плачет, и, всхлипывая, мяучит.

Здесь и «крест», пусть и «оконный», но тот самый, тяжеленный, единственный, который несла Таня по жизни, и *азбука неба*, которой теперь она оттуда учит нас, и эта неизвестность, потерянность («...куда мне?»), и ощущение неминуемого конца («пора»). От «азбуки неба», куда зовет «кошка», так мало осталось лет, месяцев, дней до метафоры будущего ухода, отлета от всего земного: «До свидания, алфавит».



Совсем другое состояние и начало духа Т. Бек — поэта отразилось в стихотворении «Что касается Кельна — его разбомбили дотла...». В Кельне Таня явно ощущает присутствие Бога («*И подумал Господь — и тяжелой печатью скрепил / Накладные бумаги по поводу стройматерьяла*»), переживает, скрыто и по-своему, такое великое таинство для любого христианина, как *Крещение*, ждет начала перемен в своей собственной судьбе и всей вселенной («*Начинается эра (какая?)...*». «Эра», да еще с вопросом: «какая?» — не только отголосок споров конца XX — начала XXI веков о том, в 2000-ом или 2001-ом началось новое тысячелетие, но и размышления о своем собственном «летосчислении» — надежде на счастье и покой. В стихотворении «Что касается Кельна — его разбомбили дотла...», как всегда бывает у Тани и у других больших поэтов, несколько тем, в том числе внешняя и внутренняя. Оно, конечно, о Кельне, его уничтожении, о соборе, оставшемся невредимым. Но оно еще и о самой Тани, лирической героине, которую тоже «разбомбили дотла», но душа которой возрождается и остов которой тоже остался, несмотря ни на что, невредим. Не случайно в концовке стихотворения «*светло и привольно*» и «*...и птицы не спят, / А поют в витражах*».

«Вот и все, что касается Кельна...»

Но это далеко не все, что касается Тани, крупнейшего поэта третьего тысячелетия Татьяны Бек. «Вам в привет» — слышится незабываемый, то глубокий, с хрипотцой, то звонкий и летящий теперь оттуда голос Тани.

Сентябрь 2005

# Нина Краснова

## НЕСОВПАДЕНЬЕ С МИРОМ

...Меня всегда восхищали рифмующие женщины, которые, раз вступив на литературный путь, а он тернист и труден, уже никогда не сворачивали и шли по нему всю жизнь. Такими женщинами, такими примерами, такими маяками в поэзии для меня были Анна Ахматова и Марина Цветаева. Такой женщиной из поэтов моего поколения, которое критики называют «потерянным», была для меня Татьяна «с иноземной фамилией Бек, обрусевшей по воле Петра». Дочка писателя Александра Бека родилась в Москве 21 апреля 1949 года, и вся жизнь ее — путь поэта, а книги ее — вехи этого пути. Она издала десять книг: «Скворешники» (1974), «Снегирь» (1980), «Замысел» (1987), «Пятицветная тайна», «Дерево на крыше», «Смешанный лес» (1993), «Облака сквозь деревья» (1997), «Узор из трещин» (2002), «До свидания, алфавит» (2003), «Сага с помарками» (2004)...

В поэзии Татьяны Бек есть, с одной стороны, цветаевская порывистость, взрывоопасность эмоций, незарегулированная страстность и авангардность, а, с другой — ахматовская лиричность, утонченность, гармоничность, камерность и классичность. Но в то

же время всё у нее в поэзии — свое, «татьянобековское», и даже цветаевские и ахматовские интертекстуальные ссылки в стихах, и даже ахматовская шаль, накинутая на ее «баскетбольные плечи» — это приметы и особенности именно ее мира, который ни с каким другим не спутаешь.

Мне нравится эстетика поэзии Татьяны Бек, эстетика антиэстетства. Татьяну Бек как поэта привлекают «задворки», «позабытые богом свалки», «не журавли, а дрянные галки», «улицы те, которые кривы», «лица, которые некрасивы» и «колченогие табуретки». Она как волшебница, как фея, как иллюзионист Копперфилд, то есть как поэт, наделяет красотой пространство и «всякие несовершенства эти»... Главное отличие поэта от непоэта — в том, что он видит красоту там, где ее никто не видит, что он способен превращать в своих стихах некрасоту мира, людей и предметов в красоту и открывать людям глаза на нее: «Вдоль помойки цветут незабудки...», «Лирический поэт лежит в канаве/ И только небо видит над собой...».

Я могу сказать, что мы с Татьяной Бек были литературными подругами. Познакомились в 1979 году, когда выступали с ней в ЦДРИ, в Каминном зале, на вечере молодых поэтов, который вел Андрей Дементьев. Я тогда только что окончила Литературный институт, жила в Рязани и печаталась в журнале «Юность», где печаталась и она. Потом мы участвовали в Фатьяновском празднике в городе Вязники Владимирской области. И там сблизились. Мне было на удивление легко общаться с ней, как будто мы были подругами детства, сестрами, и росли в одном дворе, и играли в одни и те же куклы. Мы начали переписываться, посылать друг другу свои книги и стихи. Одну свою книгу, «Потерянное кольцо» (1986), я подписала ей так:

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИШЕМ...»

Татьяне Бек,  
Молодой московской звезде,  
О которой читаю и слышу везде,  
За которой слежу в телескопище  
И которая в тесном скопище  
Ярких звезд — изо всех одна —  
Мне и глазом простым видна.

А когда я через много лет переехала в Москву, она стала приглашать меня на все свои вечера. Я вспоминаю ее авторский вечер в Ахматовском центре на Ордынке в 1997 году. Она читала свои стихи из книги «Облака сквозь деревья»:

В этом мире — морозном и тающем,  
И цветущем под ливнями лета,  
Я была вам хорошим товарищем,  
Вы, надеюсь, заметили это?

Она была хорошим товарищем всем своим собратям по перу, и мне тоже.

...В «Литературной газете» как-то была развернута дискуссия о поэзии советского и постсоветского времени. Один критик, который участвовал в ней, перебрал и перечислил имена некоторых поэтов «потерянного поколения», и сказал, что среди них нет такого, которое стало бы знаком своего поколения, как, например, у шестидесятников — имена Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Риммы Казаковой... Естественно, среди тех, кого назвал критик, среди каких-то Тютюкиных, такого поэта нет и быть не может. Но вообще он есть, и это — Татьяна Бек.

Она писала не только стихи, но и мемуары, эссе, критические статьи, беседы. Этого «побочного» творчества у нее было больше, чем основного.

Некоторые Танины коллеги считают, что ей легче было идти по литературной дороге, чем им. Потому что у нее отец писатель, с именем, и ей помогало его имя и его связи.

Но оттого, что отец у нее был писатель, а она — писательская дочка, ей было труднее, чем многим, потому что ей приходилось преодолевать влияние отца, влияние его имени на ее имя, вылезать из-под его бренда и доказывать всем, что она ценна сама по себе, а не только как дочь Александра Бека. И она доказала это.

Когда незадолго до Нового года Таня сломала себе ногу, поскользнувшись на обледенелой ступеньке, и сидела у себя дома в гипсе, с костылями, не выходя на улицу, я пришла к ней и принесла с собой фотоаппарат. Она пошутила: «Я мечтала, чтобы кто-то пришел ко мне с фотоаппаратом и снял меня с костылями. Я бы предъявила это Сергею Есину (ректору Литературного института, где она все последние годы вела творческий семинар), а иначе он не поверит, что я сломала ногу и поэтому не хожу в институт». И еще она сказала мне тогда: «Ты молодец, что фотографируешь поэтов. Со временем снимки могут пригодиться». Теперь пригодились те, на которых она сама... На одном из них она стоит под своим портретом, который написал Владимир Войнович. Этот портрет — в стиле дадаизма — передает ее идеализм, ее незащищенность и детскость под взрослой оболочкой.

В тот день, когда я пришла к ней, перед Новым годом, она казалась невеселой.

— Ты слышала, Рейн задумал переводить стихи Туркменбаши? Ему за это заплатят очень много денег... Как ты смотришь на это?

— Он уронит себя в глазах своих друзей и почитателей, которые думали, что он никогда ничего не писал и не будет писать для денег. Но вообще-то в со-

ветское время многие поэты переводили чьи-то стихи не столько по вдохновению, сколько для денег. Тарковский, Пастернак, Ахматова тоже этим занимались. Правда, они старались переводить только то, что им нравится. Но даже и из плохих подстрочников могли сделать хорошие стихи.

— Я у него спросила, зачем ему это, а он: «Мне не на что пельмени купить, поэтому я буду переводить Туркменбаши».

— Тогда он сможет купить много пельменей. И накормит ими и себя, и свою жену, и тебя, и всю Москву, и всех голодающих поэтов.

Таня сказала мне:

— Наши друзья-приятели называют мне с утра до ночи и спрашивают: «Как ты могла позволить, чтобы твой друг Рейн (он же был другом Иосифа Бродского) согласился переводить Туркменбаши?» Упрекают меня, как будто я могу что-то позволить или не позволить ему и как будто это не он, а я собралась переводить этого «классика» ближнего зарубежья.

— Ты-то здесь при чем? Пусть это все останется на его совести. Пусть каждый отвечает сам за себя. А почему ты должна отвечать за него? Если ему нужны деньги и он хочет заработать их таким способом — ради бога... флаг ему в руки.

Вечером 2 февраля Таня позвонила мне очень расстроенная, пожаловалась:

— Многие наши с Рейном общие знакомые требовали от меня, чтобы я как-то прореагировала в печати на восторги его и двух его коллег (тоже захотели заработать денег на пельмени?) по поводу поэзии Туркменбаши. Подбивали-подбивали меня на это, а теперь, когда я написала в «Независимой», они спрятались в кусты и молчок. А сами «переводчики» звонят и кроют меня матом...

«И я умру, исследуя/ Несовпадение с миром», — написала когда-то Татьяна Бек. Она старалась до-

## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

биться совпадения с миром, с людьми, которые окружали ее, и очень переживала, когда это у нее не получалось. Очень страдала от этого.

Она умерла 7 февраля 2005 года. В пятьдесят пять лет, то есть в самом расцвете физических и творческих сил. От чего она умерла? По официальной медицинской версии: от обширного инфаркта, а по сути — от этого самого «несовпадения» с миром и со своими некогда лучшими друзьями. У нее была грубоватая — не Офелиевая — оболочка души, а сама душа была очень нежной, ранимой и хрупкой. Жалко Танечку...

Накануне похорон я позвонила ей домой, чтобы уточнить для себя кое-что, и автоответчик сказал мне ее — живым! — голосом: «Здравствуйте, оставьте, пожалуйста, свое сообщение после сигнала. Всего вам доброго». Мне захотелось оставить ей такое сообщение: «Таня, ты умерла, но ты не умерла... И все тебя любят и плачут о тебе...» Я думаю, она получила это сообщение там, где она пребывает теперь...

*Август 2005*

# Александр Кушнер

## БЕСЕДА С ТАТЬЯНОЙ БЕК

Интерес к жизни, сердечная щедрость и благожелательное отношение к людям, в том числе — к братьям по перу, у Татьяны Бек были столь велики, что нашли свое выражение не только в ее стихах и прозе, но и в тех интервью, которые она брала у поэтов и прозаиков, — я насчитал девятнадцать таких бесед в ее книге «До свидания, алфавит».

Как рассказать о ней самой? Рана, нанесенная ее внезапным уходом из жизни, не заживает, болит. Писать о ней в прошедшем времени, вспоминать былые впечатления от встреч и разговоров просто невозможно — все время кажется, что она позвонит, или напишет письмо по электронной почте, или приедет из Москвы в Петербург и зайдет в гости. Да она и не собиралась покидать этот мир. В предновогоднем, большом и подробном письме, рассказывая о том, что я здесь обойду молчанием, она писала в самом конце: «Надеюсь, что погуляем в Париже» (парижская книжная ярмарка была намечена на март 2005 года) и подписалась: «Ваш верный друг Таня Бек-с-препятствиями» — шутила по поводу заживающей после перелома ноги (гипс уже сняли).



И вот я решил: попробую взять интервью у Тани, воспользовавшись ее вопросами, которые она, будучи у нас дома, задавала мне под магнитофон в феврале 2004 года. Ведь в наших вопросах к собеседнику содержатся или хотя бы просвечивают те ответы, которые мы сами дали бы на них. Тень такого ответа лежит на каждом вопросе, если внимательно прислушаться к нему.

*«... Вы, мне кажется, из тех поэтов, кто несколько раз в течение жизни начинал сначала и резко, даже бесстрашно, менялся. У вас об этом были такие строки: “Я не давал подписку/ Ни сам себе, ни в шутку,/ Дуть, как сквозняк альпийский,/ В одну и ту же дудку...”»*

Думаю, как на этот вопрос ответила бы Таня? Вопрос потому и задан, что она сама менялась, обновляла свой стих — и тоже в надежде «на приближенье к правде». Мне не надо ничего выдумывать за нее, лучше всего об этом расскажут ее стихи.

Прости меня, — скажу. — Прости.

— За что?

— За всё. (Мы будем кратки).

За то, что я взялась расти

Назло первоначальной кладке.

Менялась и прекрасно видела, осознавала вектор перемен: «Но разве мы в ответе (нет)/ За ранний огонь максимализма?» Мимоходом отмечу скобки в стихах — одну из оригинальных примет ее поэтического стиля; эти скобки, напоминающие театральные реплики в сторону, выразительно передают ее стремление к устной, разговорной речи в стихах, порывистость и непредвиденность душевных импульсов. Вообще ее поэтический голос порывист и горяч. Отвергая свой юношеский максимализм («—Ненавижу! Сам дурак, — я чуть не кричала прежде», «Я не

намерена погибнуть в прошлом»), она тем не менее оставалась требовательной к себе и людям, не могла смириться с несправедливостью, злом и коварством жизни: «Я устала от ваших депеш,/ Я устрою дебош», «Я булыжник швырну в лимузин,/ Проезжающий мимо бомжа».

Ее изначальная поэтическая позиция и повадка представляются мне близкими к романтическому мировоззрению, а постепенный, трудный для нее переход к реалистической установке давался ей нелегко (слова «романтический», «реалистический» — разумеется, условность, и обращаюсь я к ним лишь по необходимости, как к более или менее принятому и понятному определению). Росло в ее стихах количество точных деталей и примет, взгляд становился зорче и внимательней, но «огнь максимализма» оставался при ней и делал ее стихи узнаваемыми — то был ее поэтический (и врожденный человеческий) почерк: «Нет, я за то, чтоб были пламенны/ жестикуляция и речь». Эта «пламенность» составляет отличительную черту поэта Татьяны Бек — и никакой «реализм», никакой «акмеизм», который она так полюбила в зрелом возрасте, этой пламенности, слава богу, не отменил.

Приведу здесь полностью еще одно стихотворение, в двенадцати строчках которого разворачивается эта борьба с самой собой, эта схватка двух подходов к жизни, двух поэтических устремлений. Мне кажется, оно лучше всяких объяснительных слов скажет главное о поэте:

Даже если печаль глубока,  
Не хочу, чтобы сладко глядели, —  
Ибо я не гожусь для лубка  
В отдаленные даже модели.

ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

Ибо жизнь ненавидя свою, —  
Так холопы громили поместье —  
Я упрямой башкой раскрою  
Умиление с примесью лести!

Но весною... Когда соловей...  
Но едва лишь кусты на могиле...  
Я, не слыша гордыни своей,  
Так хочу, чтобы просто — любили.

Собственно, здесь все и сказано. Стихи (если они настоящие) — самая живая, самая искренняя речь, и ни в каком автокомментарии, ни в какой беседе поэт не раскрывается так, как в лирическом высказывании: выдает себя с головой!

Но я обещал выстроить нечто вроде беседы — и постараюсь сдержать обещание.

*«Есть расхожее мнение (я с ним абсолютно не согласна), что поэзия, дескать, дело исключительно молодое. Один поэт советских времен писал, что “до тридцати поэтом быть почетно, и срам крошечный после тридцати”».*

В ее вопросе уже содержится ее ответ, не правда ли? Он взят ею в скобки («абсолютно не согласна»). Но то же самое она сказала и всеми своими последними стихами, которые писала все ярче, все лучше: в них она видит и «мелких улиток, закрученных туго», и «дальние звезды размером с подсолнух» — как это замечательно увидено, как точно сказано!

Я — в венке из еловых иголок  
Не без шишек — стою не у дел...  
Как не любящий птиц орнитолог,  
Ты зачем на меня поглядел?

Да, пылкость, да, «пламенность», но одновременно и поэтическое внимание к подробностям и мело-

чам, которую Мандельштам назвал «доблестью лирического поэта».

*«У вас были и периоды страстно-взаимной любви с читателем и критикой, а бывали и моменты некоторого отчуждения. Вы от этих перемен зависели психологически? Вам надо быть любимым?»*

Зависела, еще как! Быть любимой? Конечно, хотела! И читателем, и близкими людьми. «Время горит, как Мария Лазич:/ Спичка — отвергнутая любовь». Упомянутая в этих стихах возлюбленная Фета, брошенная им и сгоревшая не в метафорическом — в буквальном, гибельном огне, — ее, Тани Бек, сестра по духу и трагическому отношению к любви и жизни. Любила, не считаясь с обидами и страданиями, верно и самоотверженно: «И любила троюбенца, как отпетый однолюб». Но издеваться над собой, помыкать собой не позволяла. Был некий предел, черта, за которую не позволяла перейти никому, ни в любви, ни в дружбе: «Ты — моя бывшая радость,/ Моя прошлая страсть и ярость,/ Преодоленный хаос.../ Всё! Я тебя разлюбила». На том же принципе, тех же условиях были построены ее отношения с читателем. Вот уж кто не презирал его, не отвергал, не прикидывался сверхчеловеком, не нуждающемся в читательском отклике. «Я завишу вдрызг от чужого слова,/ От хулы и лести в казенном доме...». И разве это не признание в любви к читателю и своей кровной связи с ним: «До свидания, Божий табор./ Я была из твоих цыган». Но и здесь сочувствие и сердечное расположение к нему никогда не переходили в унизительную зависимость от него.

Я аскезой себя изувечу,  
Замурую и выход  
И вход и не сделаю шагу навстречу, —  
Если эхо в ответ не поет.

Мне очень нравятся эти стихи.

*«Помните ли вы отчетливо то мгновение, когда вдруг поняли: «я — поэт»? Или так: «я влип». Сколько лет вам было?»*

«Первые в жизни стихи я написала лет в шесть:

На лугу растет цветок —  
Очень синий василек.  
Я сорву его букет  
И поставлю вам в привет.

Так вот и сказалось: вам в привет. Следующие стихи были более публицистические, на злобу дня». Этот ее «ответ» взят мной из ее автобиографического очерка «Вам в привет».

Таня перешеголяла меня: я-то первое стихотворение написал в восемь лет, и было оно, увы, «публицистическим». А Таня, как видим, начала с лирики! Мое давнее убеждение: поэтический дар, как музыкальный или математический, проявляется в раннем детстве. Поэт, начинающий писать стихи в двадцать, а то и в сорок лет (как это сейчас нередко случается), обречен на поражение. Он упустил время. Он не поэт, а только хочет им быть. В детстве мы овладеваем стихотворными азами, проходим стадии червячка, рыбки, ящерицы и т.д., пишем оды, послания, басни, чтобы в раннем возрасте пройти и преодолеть жанровую поэзию, а уже к 17—18 годам вырваться к лирике, которая и составляет суть искусства.

*«Вы из тех редких поэтов, кому важно или даже необходимо думать и писать о чужих стихах. Это дано далеко не всем».*

Ей это было дано и свойственно в высшей степени. Работая в Литинституте, помогая и поощряя молодых поэтов (назову хотя бы Леонида Шевченко, Ивана Волкова), она заинтересовалась и петербургской по-

эзией. С моей «подачи» отозвалась на книги двух талантливых, Москве не известных поэтов — написала рецензии о сборниках Ивана Дуды и Александра Танкова. Помню, как меня обрадовала эта ее готовность поддержать одаренных людей — мгновенный, неразумывающий, горячий отклик. Спасибо, Таня.

*«Когда-то, в 70-е годы, я очень полюбила ваши эссе «Переключка» и «Стихотворная ткань»... Эссе не устарели. Чем же продуктивная переключка отличается от постмодернистской центонности? Где грань? (Вы, кстати, в той статье 1976 года предсказали появление в стиховом пространстве таких пересмешников, которые создадут ситуацию, когда в поэзии все со всеми будут перемигиваться и аукаться...)»*

Для Татьяны Бек переключка с предшественниками, опора на традицию — одна из неотменяемых и конструктивных основ поэзии; без нее, на выжженной земле, ничего нового, своего создать нельзя, — в этом все дело. Потому ей и понравились, и запомнились те статьи.

«Чудь чудила и мерила меря...» — с такого, блоковского, мотива начинается одно из ее стихотворений, а заканчивается тоже видоизмененной блоковской цитатой: «Без конца и без края весна». И снова к Блоку — любимому поэту — обращается она в стихах о любви.

Ненароком оставшись в живых,  
Я себя ощущаю каверной.  
*Мой любимый, мой князь, мой жених,*  
Погадаем на гуще кофейной.

Можно сказать, певческий, соловьиный голос Блока был постоянно у нее на слуху.

Но и цветаевский, неистовый, эмоционально взвинченный — тоже, и это так понятно (об исходном, романтическом, «пламенном» тоне ее стихов уже было сказано).

ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

Океана посередине,  
Хочешь гибели — озоруй!  
Уплыву от тебя на льдине  
В направлении теплых струй.

Конечно же, эти стихи отсылают нас к Цветаевой, и в них же, несколько дальше, — типичный цветаевский жест и словцо:

Но во все времена безумца  
Распирало желанье — *бечь!*

Т.Бек — профессионал, поэт, искушенный в таких вещах, как переключка, и совпадения с Цветаевой у нее — осознанный прием:

«Прощевайте!»  
  ...тем не менее  
кланяюсь тебе, Земля,  
тихо уходя под пение  
(с неба) Юры Коваля.

Цветаевской «прощевайте!» здесь совершенно необходимо и не кажется чужеродным, случайным вкраплением. И уж конечно это не «пересмешничество», не игра в цитаты: цветаевская интонация сознательно использована здесь в страстных стихах о человеческом горе и отчаянии. Иногда Татьяна Бек решается и на более виртуозную, двойную переключку:

«Жизнь прошла  
  как с белых яблонь  
(Закавычиваю) дым»...  
Смысл опустошен и явлен  
В назиданье молодым.

Здесь есенинская цитата подана в цветаевском интонационном ключе — и сделано это очень искусно, хочется сказать, «в назиданье молодым», хотя, конечно, тематически Таня имела в виду совсем иное.

То, о чем я здесь пишу, не имеет отношения к воспоминаниям, но, думаю, Тане прочесть эти несколько страниц было бы интересно; как говорил еще Маяковский: «Я поэт, тем и интересен». Надеюсь, что читатель, любящий стихи, тоже отнесется к этим заметкам благосклонно.

Здесь уже говорилось о двух составляющих ее поэтики: одна — романтическая, эмоциональная, — не назвать ли ее московской? — другая пришла к ней позже — акмеистическая, петербургская.

Отпела и отгорела...  
Когда ты меняпустишь,  
Бессонница без Гомера —  
Мучительная, как пустошь?

Радует эта смелая и неожиданная перелицовка мандельштамовского мотива. А вот и ахматовская нота: «Ты мне даришь букет иван-чая./ Всё как прежде: “хула-похвала”». У Ахматовой: «От тебя и хула — похвала»). И еще: «И, представь, снегирь красногрудый/ Сидел на служебной табличке» (у Ахматовой «красногрудая птичка» примостилась «на медном плече Кифареда»). Помню, в журнале «Звезда» несколько лет назад была опубликована подборка Тани, про которую я ей сказал, что она всей своей сдержанностью тона и точностью деталей напоминает «петербургскую школу». Ее приезды в Петербург, выступление в музее Ахматовой, интерес к петербургской, в том числе и современной поэзии — не случайны.

Меньше всего я хочу, чтобы эта «перевернутая» беседа превратилась в панегирик, да и Тане, ценившей



в людях искренность и правдивость, неумемное восхваление было бы неприятным. Осенью 2004 года в Липках, где мы оба вели поэтические семинары, я ей прямо сказал, что, будучи в жюри Пушкинской премии, голосовал за Олесю Николаеву, а ее, Таню Бек, поставил на второе место. Таня не обиделась — замечательное и очень редкое свойство.

Что меня не устраивало в ее стихах, какой каплей дегтя был разбавлен ее мед? На этот вопрос попробую ответить, воспользовавшись ее вопросом о Хлебникове и неологизмах.

*«Да, у вас я никогда не встречала неологизмов. (...) Еще у вас совсем не ощущаю хлебниковской линии, хотя вы очень отзывчивы и к далеким просодиям».*

У нее неологизмы нередки, а я склонен видеть в них некоторый инфантилизм и самонадеянность художника. Достаточно вспомнить какое-нибудь «громасьё» у Маяковского. Или его же «мастерская геньина» — от слова «гений» — бр... Такие слова остаются, как правило, на совести поэта и почти всегда ощущаются как провал вкуса. Маяковского Таня не любила: «А Маяковского с тех пор (с трех лет, когда его читала ей советская няня. — А. К.) не люблю — вплоть до несправедливой агрессии». Но Хлебникова, как видно из ее стихов, признавала: «Но дух свирел и свирепел/ По наущенью Велимира!» (что такое «свирел»? неужели производное от «свирили»? — в этом мне слышна явная натяжка. Мне и хлебниковские «смехачи», что «смеются смехами, что смеяньствуют смеяльно», кажутся скучными и вымученными).

Но вот и другие ее неологизмы — явная принадлежность «московской школы» («петербургская» их обходит стороной, а если изредка обращается к ним, то как же они естественны и незаменимы: «китайчатые платица и блузы» — у Мандельштама): «В Македонии воздух —/ И тот перепальчатый, турко-славянский»; «отдельничать в норах»; «я куролешу», «я



ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

Ксюша — это, по-видимому, Ксения Некрасова, поэзию которой Тая Бек так любила. И еще один, последний пример:

...Разучилась писать по-русски  
И соленым словцом блистать:  
Рыбы, водоросли, моллюски —  
Собеседники мне под стать.

...Звуков мало, и знаков мало.  
Стихотворная строчка спит...  
Я истаяла. Я устала.  
До свидания, алфавит.

# Лазарь Лазарев

## Я НАЗЫВАЛ ЕЕ ТАНЕЙ...

Да, я так обращался к ней: Таня, Танюша, и сейчас в этих заметках буду ее называть, как было в жизни, по-другому язык не поворачивается.

Всегда так называл. И когда она была школьницей, студенткой, молодым дарованием, с которым связывали серьезные надежды. И в последнее время, в нынешние годы, когда она все чаще попадала в престижные списки, перечни, всевозможные солидные жюри, что означало маститость, хотя никаких внешних признаков маститости — солидности, повышенного самоуважения в ней не было, скорее было что-то неистребимо девичье: быстрая реакция, непосредственность суждений, смущение от похвал (их было много) и горько переживаемые изредка достававшиеся ей обиды. Ее уже называли Татьяной Александровной. Выходили у нее книга за книгой, в одной из последних был даже подзаголовок «Стихи недавних лет» — это означало, что автором уже много сделано, он известен и у него есть право даже предложить отдельной книгой свои последние стихи. Прошло несколько ее вечеров, на которых всегда было много слушателей — ее знали;

это были ценители ее стихов. Она была обозревателем литературы в «НГ — Ex Libris» и отлично справлялась с этим очень непростым делом. С ее мнением считались — кто-то радовался, кто-то обижался. Ее полюбило телевидение — и не зря, она говорила умно, ясно, просто. У нее появилась целая когорта боготворивших ее учеников — студенты семинара, который она вела в Литературном институте.

Я же по-прежнему называл ее Таней, говорил ей «ты», а у нее — вот что важно, что ее характеризует, поэтому об этом и говорю — не возникало желания, что было бы вполне естественно, как-то «уравнять» наши долголетние отношения.

Издавна существует это поверье — видимо, для этого были какие-то преподносившиеся жизнью серьезные резоны: поэты обладают даром провидения, случается, в стихах они могут даже (не намеренно, конечно) угадать свою судьбу.

«Сердце рвется к выстрелу», — написал в молодости Маяковский. «В зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь», — это Есенину мерещилась его судьба. «Мы не от старости умрем — от старых ран умрем», — вернувшись с войны, вскоре после победы предсказал себе Гудзенко. Все у них так и случилось...

У Татьяны Бек есть стихотворение, которое она любила, часто читала, когда приходилось выступать, — в нем была в этих случаях и прелесть контраста, и в своей самой толстой, самой солидной книге «Прощание с алфавитом», где представлены не только ее стихи — все, чем она занималась в литературе, оно поставлено ею как эпиграф. Вот это подсвеченное органически присущей ей самоиронией стихотворение. Сегодня нельзя его читать без великой печали:

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

Я буду старой, буду белой,  
Глухой, нелепой, неумелой.  
Дающей лишние советы...  
Ну, словом, брошка и штиблеты.

А все-таки я буду сильной,  
Глухой к обидам и двужильной —  
Не на трибуне тары-бары,  
А на бумаге мемуары.

Да. Независимо от моды  
Я воссоздам вот эти годы  
Безжалостно, сердечно, скупое...  
Я буду честная старуха.

Увы, Таня в данном случае не оказалась провидцем: не удалось ей осуществить запланированную жизненную и литературную программу, такую, казалось нам всем, ясную, так много в будущем обещавшую — не добралась до пожилых лет, не продолжила свои мемуарные очерки (не раз мы вместе с ней обсуждали, как вести ей дальше свои воспоминания).

К нашему горю, ушла из жизни раньше — до срока...

Кажется, я впервые увидел ее в Малеевке маленькой школьницей. Она приезжала к отцу Александру Альфредовичу, с которым я нередко пересекался там в зимнем, заснеженном доме творчества. В сущности, это не было знакомством, знакомство с ней состоялось позже. Я только запомнил тогда, что у Александра Бека есть дочка.

Я был одним из поклонников Бека — еще с военного времени высоко ценил «Волоколамское шоссе», а потом, позднее, «Новое назначение»; похоже, что заварившаяся вокруг публикации этой вещи гнусная, очень характерная для тогдашнего правящего режима история свела его в могилу.

Здесь придется сказать об Александре Альфредовиче несколько слов — это имеет к Тане прямое отношение. Отец был для нее примером и образцом и жизненного и литературного поведения. Часто повторяла фразу отца: «Много не нахапаешь, а некролог испортишь». Фраза эта одно время гуляла по литературной Москве как нравственный императив, как формула противостояния попыткам официозного подкупа. Таня очень любила отца (об одном нашем покойном друге она написала, что он был не менее добрый человек, чем Александр Альфредович, — хорошо знаю, что в ее шкале ценностей это была самая высокая оценка). Она многое у отца вполне сознательно и целеустремленно переняла, тщательно занимаясь разбором его архива, изданием его книг, готовила очень основательные к ним комментарии. В связи с этой ее работой мы много раз подробно говорили об Александре Альфредовиче, о его книгах. Кстати, она мне дарила не только свои книги. (Они у меня все, кроме последней, «Саги с помарками», вышедшей в издательстве «Время». Она тогда сломала ногу, долго должна была безвыходно сидеть дома, говорила, что довольна этим обстоятельством, существованием без суеты — надо туда, надо сюда; договорились, когда она будет уже на ногах, обменяться книгами — у меня тоже вышла; увы, не получилось, ее смерть помешала.) Дарила и выходившие книги отца. По ее просьбе я вел в ЦДЛ юбилейный вечер Александра Бека — отмечалось его столетие. В другой раз она попросила написать послесловие к сборнику Бека, в который вошли три его вещи — романы «На другой день» и «Новое назначение», повесть «Такова должность». Сохранилось у меня даже ее письмо по этому поводу, уточнялся состав сборника. Несколько раз в «Вопросах литературы», когда приносили материалы о Беке — воспоминания, письма, Таня говорила, что не может взять на себя решение

их судьбы — не хочет, чтобы думали, что это она их пробивает. Я ее успокаивал, говорил, что ответственность за все эти материалы несу я, пусть не придумывает глупости... Помню, как Таня была возмущена, когда один критик написал, что Бек был лауреатом Сталинской премии. Сделал он это то ли по легкомыслию, то ли спутав два бытовавших тогда в оценках литературы счета — официозный и подпольный, «гамбургский», по которому Бек справедливо занимал высокое место, но почему-то приписал «гамбургскую» высокую оценку официозу, где Бек был объектом постоянных нападков и ни о какой премии, понятно, речи не могло быть. Естественно, что Таня восприняла это как покушение на доброе имя, на безукоризненную репутацию отца.

Я очень любил беседовать с Александром Альфредовичем — это было необычайно интересно. Однажды (кажется, это было после долгого разговора о мемуарной и документальной литературе о войне) он подарил мне высоко ценимое мной «Волоколамское шоссе» с приятной надписью: «Дорогому Лазарю Ильичу Лазареву с симпатией и благодарностью за многое». Что касается симпатии, то тут мне все ясно — она была слабым эхом того душевного расположения, которое я испытывал к нему. А вот за что он меня благодарит, были ли для этого какие-то основания — не помню.

Но перед глазами и сейчас стоит он в Малеевке — в больших валенках, с шарфом, который никогда не бывал на положенном ему месте, в ушанке-ветеранке. У вновь приехавших он с самым серьезным видом спрашивал: «Вы не слышали, что говорят о моем романе в Москве, не собираются ли печатать?» Разумеется, это была игра — мне кажется, не только для публики, но и для себя он устраивал эти маленькие спектакли. Это, видимо, был давно выработанный способ не поддаваться тем тяжким обстоятель-



ствам, которые в изобилии преподносила ему жизнь и которые он одолеть не мог.

По вечерам после ужина и перед началом кино на втором этаже у приемника собиралась большая компания для коллективного прослушивания «Би-би-си» или «Свободы». Комментировали и обсуждали последние известия. Александр Альфредович с совершенно невинным видом, явно потешаясь, задавал простодушные вопросы, выявлявшие кафкианский характер нашей действительности и тупоумие завравшихся властей.

И еще один навсегда запомнившийся эпизод — уже не малеевский. На собрании в ЦДЛ мастера изящной словесности — те, что явно выполняли спецзадания каких-то высоких властных структур, — сообщают о готовящейся страшной идеологической диверсии: рукопись «Нового назначения» Бека оказалась за рубежом и скоро будет издана. Обвинения и угрозы еще не персонифицированы: «Надо выяснить, каким образом рукопись туда попала, кто передал!», но нацелены, конечно, на Бека. «Птицы ловчие», как называл их Твардовский, в ожидании легкой добычи уже выпустили когти. И тут слово просит Бек и говорит, что знает, кто переправил за границу его роман. Сидящие в президиуме как по команде повернулись в сторону оратора и насторожились. «Я не передавал роман, — сказал Бек, — редакция «Нового мира», я точно знаю, не передавала». Здесь он остановился, все замерли. И после паузы сказал: «Это сделал Главлит, они дали читать верстку посторонним людям». Немая сцена: лица чинов, сидящих в президиуме, не могут скрыть разочарования...

После кончины Александра Альфредовича Таня написала о нем прекрасное стихотворение, которое, как мне кажется, вместило в себя не только ее собственные слезы, ее неизбывное горе, но и жажду

справедливой памяти, справедливой оценки. У этого стихотворения душераздирающая концовка:

На морозе папа-холмик...

Я скажу

чужим

словам:

— Был он ерник, и затворник,

И невесть чего поборник,

Но судить его — не вам!

Настоящее мое знакомство с Таней произошло не в Малеевке, хотя тоже по воле случая. Правда, сколько их, таких случаев, бывает в нашей жизни. Промелькнут и уйдут в пустоту, в никуда. А этот стал основой долголетних отношений. Все последовавшие за ним годы мы прожили рядом, в сущности, почти в родственной близости.

Начало же, случай, о котором идет речь, был таким: Таня и моя старшая дочь Ирина — в ту пору школьницы — занимались лечебной физкультурой у одного и того же врача в литфондовской поликлинике. И стали подругами — на всю жизнь... Таня посвятила ей свои мемуарные очерки «Вам в привет» в упоминавшейся уже мною книге «До свидания, алфавит»... Поэтому я Таню часто видел, знал, что она делает, как живет. Знал, что в последнем классе или классах (точно уже не помню) она перешла в так называемую школу рабочей молодежи — неохота было тратить время на подготовку уроков по предметам, которые были ей, как она считала, не нужны. И поступать после школы стала не в Литературный институт, хотя считалось, что именно там ей место, а на факультет журналистики Московского университета.

Хорошо помню, как стихи Тани были напечатаны в «Новом мире». Александр Твардовский и Алек-

сандр Бек были близкими друзьями еще в довоенную пору. Но родственная, «клановая» близость была для Твардовского фактором явно отрицательного свойства. И то, что при этом он напечатал стихи Тани, — это было настоящим признанием ее способностей. И для Тани было очень важно, что он напечатал ее стихи не потому, что она дочь Александра Бека, а потому, что стихи ему пришлись по сердцу, заслуживали, по его мнению, публикации. В мемуарных очерках Тани есть такой эпизод. Отец показал ей на спящего у него в кабинете принявшего лишнее Твардовского и сказал: «Дочка, запомни этого человека. Перед тобой великий поэт». После этого Таня пишет: «Я запомнила». Я к тому вспомнил эту историю, что признание Твардовского для нее (и не только для нее) очень много значило...

Я, увы, уже довольно давно в том возрасте, когда новые стихи запоминаются плохо, не задерживаются в памяти. А вот некоторые стихи Тани запечатлелись, врезались в память, помню их хорошо. Да, она очень скоро стала признанным, состоявшимся поэтом. Но я стихов многих признанных не помню, прошли мимо меня, не затронули. А стихи Тани, когда они появлялись в журналах, выходили книгами, всегда читал. И не только потому, что хорошо знал ее и мне было интересно, что из ее духовного опыта переплавляется в стихи, — разумеется, это свою роль играло, — но главное все-таки в другом. В стихах Тани, видно, есть что-то для меня очень важное, задевающее за живое, касающееся и моей жизни. Гейне писал, что мир расколот и трещина проходит по сердцу поэта. Переверну эту столь часто цитируемую формулу: поэзией стихи делает низкий болевой порог автора, чутко откликающегося на беды, несправедливости и несовершенства мира, в котором мы живем. Поэтому Таня и была поэтом, и в стихах ее удивительным обра-

зом сплавились непосредственность, какая-то прозрачность и чистота с глубокой интеллектуальной рефлексией.

Другое дело, что это свойство, о котором писал Гейне, делающее из рифмоплета поэта, в нашей повседневной, обыденной жизни, в быту может приносить много боли его обладателю, его тяжело ранят равнодушие, эгоизм, мелкие предательства близких, которые за собой часто даже не замечают этого: что особенного, какие обиды — пустяки, такова жизнь. Я пишу об этом потому, что здесь, мне кажется, одна из роковых причин раннего ухода Тани из жизни.

На журфаке выяснилось, что Таня обладает и критическими способностями, может заниматься и литературоведческими исследованиями. Потом все это подтвердилось самым блистательным образом. О ее работе литературным обозревателем я уже вспоминал. Стоит напомнить и о составленной ею антологии акмеизма, вышедшей в «Московском рабочем» в серии «Библиотека студента» — такого издания у нас не было. Она была составителем и комментатором тома Константина Симонова, выпущенного в большой серии «Библиотеки поэта».

В университете так случилось, что меня, вероятно потому, что когда-то принимал участие в сочинении пародий, пригласили в качестве оппонента при защите Таней диплома. Диплом был посвящен творчеству нашего знаменитого пародиста Александра Архангельского. Очень толковая работа, некоторые фрагменты которой потом были напечатаны.

Уже в наши дни Таня вместе с моей женой Н. Мировой, преподавателем литературы, составили и выпустили в серии «Для ученика и учителя» две книги: «Серебряный век» и «А. Фет, Ф.Тютчев». Вот такие образовались у нас прочные связи.

А теперь самое главное. Вместе с Таней я проработал в «Вопросах литературы» с одним перерывом два

с лишним десятилетия. Изю дня в день наблюдал ее, как говорится, в деле. Это замечательная возможность составить себе ясное мнение о способностях и «тягловой силе» человека...

Когда говорят о «Новом мире», всегда вспоминают главного редактора журнала — Твардовского — все правильно, иначе и не может быть... Но иногда при этом всплывает имя Аси Берзер, которая вела всю лучшую прозу журнала. И это справедливо. Я же напомнил об этом, потому что хочу сказать, что лицом «Воплей» была Таня. Она олицетворяла самое лучшее, самое серьезное, что появлялось на страницах журнала. Горячо любимый Таней современный поэт (знаю, что, сказав это, не допускаю ошибки) Борис Суцкий писал: «Есть кони для войны и для парада. В литературе тоже есть породы». Таня была из той «породы», что для «войны», она беззаветно служила литературе. Это все определяло. Она всегда трудилась не покладая рук. Конечно, надо было зарабатывать на жизнь — прочного тыла у нее не было. Но все-таки не это было главным, просто без дела, без машинки или редактирования она не могла существовать — жизнь теряла смысл. Она была литератором поразительно широкого профиля и самого высокого класса, умела все, за что бралась.

Занималась не только своими, но и чужими делами. Впрочем, эти чужие дела, когда это были серьезные дела, становились для нее своими. Приехала ненадолго из США Ирина Винокурова, чтобы подготовиться к сдаче архив своего отца Евгения Винокурова, — Таня, конечно, ей помогала, а ведь дело это непростое, весьма канительное. Задумали выпустить книжку, посвященную Камилу Икрамову, — Таня стала главным действующим лицом этого проекта. А как она занималась творчеством Юрия Ковалева! Это только то, что происходило на моих глазах, что первым пришло в голову. Таня была проницатель-

ным и строгим редактором, помогавшим авторам выстроить повествование, избавиться от шелухи и мякины. И всегда, когда надо было отстаивать правду — и жизненную, и эстетическую, — она готова была действовать. Даже такой нынче расхожий газетно-завлекательный жанр, как интервью, где современные бойкие интервьюеры озабочены лишь тем, куда поскорее вставить дурацкий вопрос о творческих планах спрашиваемых, Таня превратила в основательное исследование жизни и литературы (может быть, здесь свою роль сыграл и замечательный опыт отца — Александр Бек любил называть себя «беседчиком» и блестяще это умел делать). Каких разных писателей ей удалось разговорить, а ведь не все из них были словоохотливыми. Надо было найти к каждому свой подход, надо было хорошо знать их творчество, надо было подготовить серьезные вопросы, потому что только такие вопросы рождают серьезные ответы. У Тани это получалось очень хорошо, и ее интервью с писателями потом часто цитировали. Назову лишь некоторых ее «собеседников»: Юрий Казаков, Наум Коржавин, Владимир Войнович, Владимир Корнилов, Генрих Сапгир, Виктор Ворошильский, Валерий Попов, Дмитрий Сухарев, Светлана Шенбрунн, Нина Горланова, Олег Павлов, Бора Чосич...

В последние годы она много ездила, вообще была легка на подъем. И по России (как-то я ездил с ней в Иваново и могу засвидетельствовать, что она безотказно выступала, читала стихи, отвечала на вопросы и в университете, и в маленькой библиотеке на окраине города). И за границу — в Германию, Швецию, Югославию, Италию, Швейцарию, Израиль. Она была человеком любознательным и, как нынче говорят, контактным, ее интересовали не столько новые места и достопримечательности, сколько новые интересные люди. Из каждого путешествия она

## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

привозила такого рода очень важные для нее открытия.

Какое количество писателей и журналистов говорили и писали о ней после ее смерти — на радио и телевидении, в газетах и журналах! С великой печалью я все это слушал и читал — не покидала, не давала покоя безнадежная, тупиковая мысль: как это обидно, как несправедливо — ведь она этого не услышит, не увидит, не прочитает...

# Наталья Ласкина

## «ПУТЕМ ВЗАИМНОЙ ПЕРЕПИСКИ»

Я очень люблю Таню. Никак не могу приноровиться жить без нее. Скучаю по ней.

Такая беда, что ее нет больше.

Никак не хочу влезать в чужие воспоминания о Тане, но знаю наверняка — ошибаются те, кто думают, что ее силы были неравны силам зла, что ее не стало, потому что запасы ее жизнелюбия истощились: она не собиралась умирать, ее смерть при всей предешенности — нелепость и случайность. И ее слова «до свидания, алфавит!» все-таки не нужно трактовать как предвидение, предчувствие, рок. Она и впрямь устала, но предполагала жить, я уверена в этом, я это знаю.

Мы познакомились давно, в 1957 году, в мои пять и ее семь с половиной лет во дворе нового дома на Аэропортовской улице. Мне сразу очень понравились в ней несколько вещей: она была старше, она была отважная в непослушании и в нарушениях всего запретного и очень, очень веселая и смешная. Через самое короткое время Таня стала самым моим обожаемым товарищем. Мы вместе ходили в разведку — в подземное бомбоубежище в соседнем дворе,



запертое на огромный замок, который требовалось открыть, а до этого — украсть достаточно спичек, чтобы освещать свой путь по подземелью. С собой брали сушки, нанизанные на прыгалки. Таня была идеальным другом, ни с кем не было так весело и хорошо «пробовать», а точнее — таскать семечки и соленые огурцы на соседнем Инвалидном рынке.

В школе нас разделило целых три класса, одноклассницей Тани стала моя старшая сестра Лена, меня временно отставили, я очень ревновала и злилась. Но неравенство быстро прошло, наконец-то и я пошла в школу, а когда перешла в класс пятый-шестой, смогла, наконец, вместе с Таней прогуливать эту самую школу, например, ездить на 23-м трамвае в Петровско-Разумовский парк или на метро — на Каляевскую за горячими бубликами. Вся наша обшая жизнь шла под знаком ее тогдашних строчек:

...И сказать: «Любой дурак  
Весел в день удач, но все ли  
Знают главное веселье —  
Веселиться просто так?»

Я с первых подаренных мне ею стихов, написанных от руки, знала, что Таня — необыкновенный поэт. К моей любви прибавилась гордость за нее, причем появилась она задолго до того, как Таню стали читать, печатать и хвалить. Поэтому ее первая книжка «Скворешники» была надписана мне так: «Дорогой Тузик! Ни я, ни мои стихи вовек тебе не забудем, как ты в нас верила. Танёк. 8 апреля 1974 года». А еще раньше, до книжки, я то и дело по Таниной просьбе писала ей расписки, в которых заверяла, что Таня точно станет знаменитой, и очень скоро.

Всю нашу молодость мы очень близко дружили, на глазах друг у друга и при горячем взаимном участии

протекали все наши романы, явные и подпольные, краткие и не очень замужества и прочие жизненные обстоятельства... Всегда мы были рядом, такой вот мне был подарок судьбы.

Потом что-то маловажное и случайное наши отношения омрачило, и я обиделась, повела себя глупо и принципиально, тем самым украла сама у себя несколько лет общения с Таней, ну а в 1990 году вышла замуж за Давида Маркиша и уехала к нему в Израиль.

Мы не виделись с Таней годы, я жила далеко от нее, хотя всегда читала все ее и про нее из того, что попадало в интернет. Напечатала себе на принтере ее портрет, который нарисовал Войнович, она мне на нем очень нравилась, она там улыбается своей кривой смешной улыбкой. Ну а потом мы увиделись с ней во Франкфурте на книжной ярмарке, и с этого момента до самой смерти Тани уже не расставались.

В последние три года своей жизни она очень много мне писала, почти каждый день. Она все про меня знала, любила меня, делала мне замечания, командовала, ей было на меня не наплевать. У меня сотни ее писем, таких родных и необыкновенных. Я отвечала, а когда совсем уж скучала, ей звонила.

Вспоминать можно про встречу с замечательным человеком, про какой-то важный разговор, про поездку куда-то, а рассказать про всю свою жизнь я не берусь. Мне проще взять наугад несколько отрывков из Таниных писем. Комментировать в них особо нечего. Разве что имена: я ее звала «Танёк», а она меня моим детским прозвищем. Ее подпись ЦКТБ расшифровывается просто — «целую крепко, Таня Бек».

*« 30 июля 2004*

...Соседка, которая выписывает «Книжное обозрение», мне вдруг звонит и сообщает, что моя книга

«До свидания, алфавит» вошла в шорт-лист Открытого конкурса (к Международной книжной ярмарке) «Лучшая книга года». Из тысячи — всего-навсего двадцать пять книг. Абсолютно неожиданно и для меня, и для моего издателя. Даже если я не войду в окончательные лауреаты (наверно, не войду — как у меня обычно), это уже большая победа и, как говорится, рейтинг. А самое приятное — что по-честному, без пиара, лоббирования и писем Путину...»

*«3 августа 2004*

...Отстояла огромную очередь в регистратуру. Публика — типа фильма «Небеса обетованные» (смотрела ли ты — рязановский фильм про маргиналов конца застоя?). Несчастные, нищие, психически больные люди. Надо было записать на диктофон их разговоры и базары между собой и с регистраторшей. Это даже трудно передать. По сто раз — одно и то же. Крики: «Неуважение! Понаехали! (Кто? Куда? Откуда?) Я за сто километров стремился... Мне лекарство нужно... Обнаглели...» И так далее. Я имела глупость «включиться» с репликой на одного мужика: «Скандалист!» Вот это была ошибочка. Вся очередь прямо оживилась, что эта непонятная тетя с газетой (я) тоже на ша. Стали орать: «Вы тут первый раз — и не лезьте... Вы ее (регистраторшу) не знаете...» А один совсем старый экс-интеллигент (смесь Тишкова и Рафика) заорал помногу: «Вы тут нам не утрируйте!» Я язык прикусила.

Завтра опять туда переть за каким-то талоном к девяти утра. Но я это дело доведу до победного конца.

В остальном всё, насколько это возможно, в норме...»

*«9 августа 2004*

Да. С гениями — интереснее (потому я так любила и терпела Ковалю или Войновича), но и больнее,

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИШЕМ...»

страшнее, неблагодарнее. В них почти всегда есть нечто разрушительное. И, главное, они считают, что имеют на эту разрушительность право. И даже, что такая опасность есть плата, что ли, за кайф быть ими выделенной...»

*«24 августа 2004*

...И скажу я тебе, друг мой, не сочти за самоуверенность, поняла я, что я полностью эту среду переросла, что я как-то все эти годы развивалась и работала — пусть и неровно (Митя Сухарев назвал меня однажды «Бек с препятствиями»), а они — нет. И мне все это та-а-ак скучно... Так неактуально! А ведь когда-то я считала, что это лучшие люди в Москве — левые, прогрессивные, интересные. И по-настоящему страдала, как бы им посильнее понравиться...»

*«25 августа 2004*

...Тузичек, золотые твои словечки...

Я и стараюсь отползать в кусты, но — ты верно заметила — «меня заметно».

Что произошло на ночь? Только я прилегла, чтобы посредством сна восстановить подточенные силы, звоночек. Около полуночи. Акцент кавказский.

— Татьян Александровн, ви помнишь меня, Аслан, я на вечер Гантман вина приносил?

— Да, Аслан, припоминаю. (А я и впрямь припоминаю, что мой издатель Гантман на мою презентацию зимой принес пару баков красного грузинского вина, которые он по дешевке покупает иногда у некой грузинской колонии, и что был там тридцатилетний толстячок, работающий агентом — типа — при кино и при вино, с которым я выпила пару бокалов и поговорила о своей давней любви к Грузии. Вот и всё).

— Татьян Александровн, простыт, что так поздн. (Видно, винца попил без ограничений.) Мне над с вам встретитс — очен на душе накопил. А ви журналист и любит Кавказ, в Грузии презэдэнт — подлэц, стрелят собак в наших домах, дениг нет, люди плакать...

Всё, устала передавать его речевой колорит. Сокращаю до аннотации.

Современная политика, сказал полугрузин-полуабхазец Аслан, ужасно антигуманная к простым людям. Им из Грузии не дают годовую визу в Россию и грубо с ними разговаривают тут, в наших ведомствах. Интеллигенция (там) боится очень плохого президента (и своего, и нашего) и сидит тихо. Поэтому я (я — Т.Бек) должна обо всем этом написать, а он мне при встрече многое расскажет, хотя на радио «Эхо Москвы» ему уже отказали.

Я (накаляясь): — Вы напишите все сами, а я вам дам телефон в «Независимой газете», где есть приложение «Регионы». Если напишете хорошо, то, возможно, они напечатают.

Он: — Я писать не люблю. Я все расскажу, а вы напишите — мне нравятся ваши заметки.

Я: — Но я пишу о литературе, а не о политике. Пускай, если вы не можете, напишут ваши товарищи из грузинской интеллигенции.

Он (опять передаю речь): — Они немножко трусоват, нэ хотят терят дома, деньга и работ.

Я (накалившись после тяжкого трудодня): — И поэтому надо это дело переложить на меня? Но ведь такие отважные дела должны делать мужчины...

Он (вот тут гениально): — Татьян Александровн, я разве вам обидэл? Просто мужские люди немножк боятся — и я тогда решил обратит к женские люди.

Я попросила его перезвонить через пару дней — и заснула в отрубе.

Считаю, что это — новый термин, который войдет в наш оборот. Мужские люди и впрямь маленько приустиали, а мы, женские люди, должны теперь им во всем помочь — и президентов снять, и домики сохрानить, и винца попить... Так я поняла?»

*«29 августа 2004*

...Хорошее — то, что у меня в пятницу вышла книжка. Поэтическая. Избранное. 400 страниц. Очень красивая. Мне позвонили в конце описываемого дня часов в шесть, чтобы я срочно приехала в издательство (это возле метро «Новокузнецкая») — привезли, мол, пачки из типографии. Я так взволновалась (и вообще — сумасшедшая), что надела брючный костюм из сжатого темно-синего шелка (типа шелка — я в нем у вас ходила) — и рванула со всех ног. Сидя в метро, обнаружила, что брюки надела наизнанку. Как тебе? Просто там талия на резинке, а изнанка не отличается от наружной ткани. Но швы! Но подшивка внизу! Ты меня поняла? А я еще с букетом роз — главной редакторше.

«Красота — это страшная сила», — как говаривала героиня Раневской.

У метро, слава богу, заскочила в туалет — и явилась в издательство более-менее в норме. (Есть примета: одёжа наизнанку — значит, побьют.)

Книга хороша собой необычайно (пришлю при первой оказии), но пока у меня (так бывает) некое опустошение и нет должного кайфа.

В издательстве я узнала потрясающую негативную новость (вот как Бог испытывает — в руках книжка: победа, а параллельно — гадость): помнишь, я тебе писала, да и многим хвалилась, что моя толстая книга вошла в краткий шорт-лист «Лучшие книги года», подготовленный к Международной ярмарке. Я об этой радости узнала из газеты «Книжное обозрение»

и очень гордилась, что я никогда ничего не органи-  
зую, не лоббирую, а все у меня стихийно и по-чест-  
ному... Редакторша (забыв, что я тоже была там) ска-  
зала, что тот шорт-лист свыше (с какого выше, я по-  
ка не знаю) дезавуирован и аннулирован. Что «КО»  
неделю назад дало странное (всё — как при совет-  
ской власти) опровержение: дескать, то был проме-  
жуточный и сырой вариант, работа завершается,  
просьба считать, мол, тот шорт-лист просто списком  
предпочтений КО). Всё. Точка. А окончательный ва-  
риант уже не в открытую, а по служебным факсам  
разослали дня четыре назад по основным издатель-  
ствам. Каких мне стоило сил не показать там в ре-  
дакции свой отпад и шок!...

...Вопрос общебытийный: как соблюдать с м и р е -  
н и е , не утратив д о с т о и н с т в а ? Понятный во-  
прос? Он — вообще — чрезвычайно важен.

Пока прощаюсь. Поеду в «Экслибрис» — отвозить  
книжки для очередной полосы. Вечером напишу еще  
и пришлю несколько новых стихей.

Люблю, целую, благодарю за терпение при выслу-  
шивании ...»

*«31 августа 2004*

Стихи мне самой не очень — посылаю их тебе про-  
сто как странички из дневника. Последние два —  
объединенные настроением и тем, что написались  
вместе, подряд, — они обобщенные, без конкретных  
прототипов, вообще о конце жизненной поры и о ис-  
сякании влюбленности... Их я прямо-таки не сочиня-  
ла, а просто застенографировала (как Давида или Эп-  
пея) *кого-то*, кто мне их продиктовал. Клянусь.

Жара дикая. Я пришла мокрая. Пойду полежу под вен-  
тилятором и читаю газетки, которые купила в метро.

Очень жду вестей, отчетов и простотакизмов (от  
«просто так» — мой неологизм!).»

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

*«3 сентября 2004*

...Я сегодня днем смотрела долго репортаж из Осетии про захваченную школу и плакала конкретными слезами. Наша страна катится в тартарары — теперь уже безо всяких метафор. И все наши с тобой эмоциональные обиды и недомогания — мелочь на фоне общего апокалипсиса.

Пойду лягу спать, а утро вечера мудренее.  
Очень ЦК просто ТБ».

*«29 сентября 2004*

Дорогой Тузик, привет из Америки... У меня все хорошо, по крайней мере — очень насыщенно и содержательно. Подробности при встрече. Посетила славный город Бостон. Что еще? Вчера с Семей ездили на машине на Атлантический океан, где целый игорный город. Я проиграла долларов 20 в казино, Сема меня еле оттащил от места действия. Оказалось, что этот ген — ген игрока! — мне не чужд. Потом на полпути к Нью-Йорку заехали как бы на экскурсию в Принстон. Лучшее, что есть в Америке, это университеты, целые университетские городки. Удивительно красиво, разумно и «социалистично»...

Подробности — по приезде. Сделала огромную беседу с Соломоном Волковым — думаю, что вполне сенсационную. Только — вот жалость — почти треть напечатала в одно длинное свободное утро, а оно возьми и сотрись (каверзы чужого компьютера)...

Повторю уже дома.

(...)

Я просто в отпаде от американского образа жизни (высокого даже на уровне лестницы и улицы), но дико раздражает их повсеместное хвастовство и чувство американской исключительности. Сразу хочется



все критиковать назло и охватывает закомплексованная любовь к своему.

(...)

Черкни в двух словах: что — где — когда — почему?

Как Давид на Южном полюсе? Как Митя?

Очень жду твоего ответа.

Сегодня вторник — я буду дома ровно через неделю. Но ты мне напиши непременно сюда. Ладно?

ЦК ТБ».

*«11 ноября 2004*

...Но к утру проснулась просветлевшая и какая-то помудревшая. Пришла к твердому выводу: чужих людей вообще нельзя принимать близко к сердцу — иначе неизбежно скатываешься в их хаос. А тут со своим бы справиться!

А как было Ахматовой (уговариваю я себя) — сколько ее и предавали, и бросали, и — мягко говоря — удивляли?

А как было нашим родителям?

А как было Степановой с Фадеевым и Эрдманом?

А как вообще всем со всеми?

Я дала сама себе слово не выяснять отношения, даже про себя и на расстоянии. Он сейчас меня за что-то не любит, я его очень раздражаю не пойму чем...

Никто никого не может исправить и внушить тому свою модель мира.

Выход — достоинство и закрытость.

Как ты думаешь: я справлюсь?

Очень не хотелось бы делать людишкам подарок и превращаться в чудачку на букву «м»...

Такие вот мои бытийные выводы.

Жду от тебя письма — хоть коротенького.

Люблю — целую — верю в нашу удачу.

Все — в наших руках.

Танёк».

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

«26 ноября 2004

Тузичек, все будет отслежено и изображено резвым (моим) пером в отчете...

Я жива — и на том спасибо.

Вроде бы совсем выздоровела, а сегодня ка-а-ак опять пошел насморк. Прямо кошмар какой-то.

Людишки по-прежнему не радуют, но уже почти не удивляют.

Вчера я так устала в беготне по городу, что просто была на грани настоящего обморока. Деловая встреча с одной бабой, потом отсылка писем на почтамте, потом «Экслибрис», потом — «Лехаим» (это всё — расстояния), где, у евреев, я обнаружила, что фотографии Соломона Волкова (ценнейшие), из-за которых я в «Лехаим» и перлась зигзагами, я просто так показывала одному мужику в «Экслибрисе» и там забыла... Хорошо, что не сперли. Пришлось ехать обратно. Троллейбус застрял в дикой пробке — и старики в этом троллейбусе устроили типа митинга со стонами, слезами и криками, что жить стало невозможно, на что чуть более молодые граждане, москвичи и гости столицы, им орали: «А на хера вы из дому выходите? Вызывайте труповозку». Типа.

В «Экслибрисе» взяла пакет — и обратно на метро к евреям. Уже темнело, был дикий гололед и шел мокрый снег... Представляешь, как я к концу дня выглядела?

Ох, не по возрасту мне вся эта журналистика... Но и отказываться нельзя.

Вот и маюсь...»

«4 декабря 2004

...Хожу по квартире на одной ноге (Накануне, 3 декабря, Таня сломала ногу. — *Н.Л.*), костыль освоить

не могу, не знаю, как буду мыться... Только вот так, споткнувшись, и в прямом, и в переносном, понимаешь, сколько человек, не замечая, делает в день ритуальных движений и «ходок»: сбегать за почтой, выбросить мусор в мусоропровод на лестнице, сварить, согреть, помыть... И это только — не выходя из дому.

С другой стороны, какое счастье, что я не попала в больницу, в палату с другими людишками и вытекающими ощущениями.

Наверно, мне это послано свыше, чтобы я малость пересмотрела свой образ жизни и не бегала по городу как юный курьер.

Если все через месяц обойдется и я (постоянно молюсь) не охромею, — буду умней и солидней.

Справлюсь. Надо справиться...

Господи, зачем ты нас мучаешь?

...Туз, как ты думаешь — я буду такая, как раньше? Меня очень пугает инвалидная перспектива.

А месяц я выдержу и даже постараюсь перевести минус в плюс, отдохнуть от привычного бега, почитать классику, может быть, посочинять «философскую лирику».

Пиши мне по возможности ежедневно.

Очень люблю. Целую. Понимаю.

Танёк».

*«4 же декабря 2004*

..Я привыкаю к новому положению — минимум месяца на полтора.

Справлюсь. Справлюсь. Справлюсь.

Сегодня днем полудремала и вдруг вспомнила изумительные строки Рейна:

...Не оставляй меня мертвого в поле,  
Даже когда мы друг друга разлюбим.

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

Здорово, да?

Порой мне хочется плакать. Но слез нет.

Пиши чаще. Мужайся. Правда на нашей стороне.  
Танёк».

*«10 декабря 2004*

... Ложусь спать.

Как говорил кто-то в нашем детстве (не Хрипкина ли? или Граня Каурикова?) (Наташа Хрипкина — моя няня, Граня Каурикова — няня Тани; обе неизбежно смешно говорили по-русски. — *Н.Л.*): «Утро вечера мудренее».

Когда и мы все помудреем?

Твой раненый, но живой друг Танёк».

*«11 декабря 2004*

Дорогой Туз!

Как спалось?

Я всю ночь почему-то не спала и написала стих<sup>1</sup> (очень давно они ко мне не приходили, и я волновалась, что не придут никогда). Прочти его (ниже) — он отражает мое нынешнее интуитивное самоощущение. Типа пьесы Погодина (я ее не читала и не смотрела, но название гениальное действительно) — «Оптимистическая трагедия».

Не забудь, что я очень надеюсь на нашу встречу в Париже...

ЦК ТБ».

А заканчивается стихотворение так. Это очень важно:

<sup>1</sup> Стихотворение «И не просто вьюга ревет, и дразнит...» см. среди последних стихов Т. Бек на с. 16.

ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

Впрочем, вру. Осталась шальная вера:  
Захочу — и прыгну с последней вышки,  
Чтобы свет померк, и вода взревела,  
И меня от смерти спасли мальчишки!

*Тель-Авив  
сентябрь 2005*

# ЕВГЕНИЙ ЛЕСИН

## РАСПАТРОНИТЬ И РАЗДРАКОНИТЬ, или Памяти ТАБ

Пятнадцать лет она меня всюду водила. Даже и теперь, после смерти. Первая моя публикация в «толстом» журнале — тоже от нее, прощальный «подарок». Ну, типа как выпивка на поминках.

Перво-наперво она меня «поступила». В Литинститут. Там ведь раньше сначала собеседование было. Ну, то есть первым делом «творческий конкурс», а потом уже для тех, кто прошел, — собеседование и экзамены. Ну, вот там я ее и увидел. Она на каждый экзамен потом приходила, к «своим». Все-таки то ее первый набор, первый семинар в Лите. А институт для меня был уже не первый, к экзаменам я привык, но все равно — конкурс, то-се... А тут еще я то ли тройку получил по какому-то экзамену, то ли четверку — не помню точно, помню лишь, что в «проходной балл» не укладывался. Она успокаивала — «да прошел ты, прошел, Я тебя уже в з я л а». Ага. В тот же год, кстати, и Лелик поступал Чесноков. Приятель (по медицинскому) Сережи Варакина, покойного Варанчика, Сергея Викторовича. Лелик только год всего и проучился («Самый талантливый на моем семинаре», — говорил про него Есин) — забухал.

А тогда на вступительном экзамене по русскому пример привел. Не помню уже, что за правило. Но вроде бы: правописание «рас-» и «раз-» перед глухими и звонкими. Пример такой: распатронить и раздраконить.

Приняли нас, короче. На семинар Сергея Ивановича Чупринина и Татьяны Александровны Бек. Мы как-то почти сразу разделились — условно, конечно, — на бековцев и чупрининцев. Мы с Юркой Соловьевым были бековцами. Хотя он и «фашист». И даже мистик и мракобес (а теперь и вовсе не пьет). Все равно она, когда уже все закончили и поразъехались, всегда о нем спрашивала: ну как, мол, гад из Брянска поживает. Плохо, говорил я, поживает, в Брянске сидит, не бухает, сволочь.

Так вот, разделились. Может, и не разделились. Просто СИ в журнале «Знамя» работал, ну и печатал студентов потихоньку. Правда, не всех. Правда, я мог бы и сам предложить. Другие ж предлагали.

Зато ТА просто брала «за ручку» и вела в журнал. Она и Юрий Владимирович Томашевский. Он — в «Юность», в «Магазин» Иртеньева, ТА — в «Вопли», в «Арион». В «Юность», впрочем, Томашевский не повел: э, говорит, да ты на ногах не стоишь, давай уж лучше я сам отнесу. А как напечатают — тогда уж можешь и пьяный туда идти. Только смотри: не усни там, не сблеви. Они привычные, конечно, да я про тебя сдуру наговорил всякого. В смысле хорошего.

Томашевский умер в 1995-м. Первые мои «литературные» похороны.

А я уж тогда в «Книжном обозрении» служил. А в «КО» меня — опять «за ручку» — ТА отвела. Печаталась там, помню. И покойный Лев Адольфович Озеров печатался. И прочие «старики». Их — чуть ли не раз в два месяца — машиной возле редакции сбивало. Дорога была жуткой, без переходов, поход в

«КО» — для пожилых литераторов — чуть ли не смертельный риск.

Ничего, ходили, носили бумажки. С помарками, на машинке. Носили и взятки — бухлом, конечно. Многие требовали, чтоб прямо немедленно с ними садились и выпивали. А приходили-то когда вздумается. Кто в одиннадцать утра, кто в двенадцать... Щуплов (тогдашний начальник мой) всегда расстраивался. Мне, говорил, бухать нельзя еще — на летучку идти надо, газетку делать и все такое — так что, садись, сволочь Лесин, пей с писателем. Ну, мы к окошку, пьем, дружелюбно смотрим в мужественную щупловскую спину. Слушаем музычку — как он по машинке колотит. Да, тогда у нас машинки печатные были, Щуплов так, по-моему, компьютеров и не застал в «КО».

В Союз писателей тоже... Три рекомендации у меня было. От Татьяны Кузовлевой, от Риммы Казаковой и от — Татьяны Бек. Забавно, право.

А как они ссорились! Три мушкетера: Бек, Шаталов, Щуплов. Звонки, стоны, плачи, не разговаривают друг с другом, а Бек Щуплову Шаталова хвалит, Шаталову — Щуплова. А Щуплов все в корректорскую бегаёт, обновки мерить, а Шаталов тогда у «Гаваны» жил, возле «КО». А Бек в кресле сидит, ногой качает.

Она и в «Независимой», в «Экслибрисе» качала. Туда меня ТА не водила. Хотя как сказать. Да, Вознесенский (Александр, для меня именно он «поэт Вознесенский») умело интриговал, но привел-то, интриган, к Шохиной, ближайшей подруге Бек. Понятно, мир тесен, прослойка узкая, но и тут тоже без ТА так или иначе не обошлось. Потом она стала у нас работать.

Ногой качала, сидя в кресле.

Богема богемой, поэт поэтом, а работник — старательный. Наши ведь — и те, которые уже много лет



в «НГ» — как работают? Истерично, кусками, сегодня статью, завтра — заголовок, послезавтра — подзаголовок, потом — правка, а там и вовсе — замена. И ведь пишут, гады, дома. Ну неужели трудно: доделал до конца — тогда и приноси. Нет, надо всё делать... а, ладно. Бек приносила всё и сразу. И Вознесенского к себе в семинар взяла. Он уже больше десяти лет пытается в Лите доучиться. Ну и где ему теперь образовываться? Чупринин ведь тоже ушел.

А еще она говорила «берэт».

А мы с поэтом Дмитрием Полищуком из-за нее подрались. Чуть не подрались. Сидим где-то, выпиваем, понятное дело. Он тогда тоже в Литературном учился. Ну, и как обычно: подвыпили и давай... меряться. Только не сами знаете чем, а — учителями. Он говорит: Олеся Николаева лучше, чем Татьяна Бек. А я говорю: нет, Татьяна Бек лучше, чем Олеся Николаева. Дурацкий спор. Никто никого не лучше и не хуже.

*Ни кагда ни лъзя ругать ни ково ни зашто.* Младенец мой написал. Правильно написал. Точно и без единой, я считаю, грамматической ошибки.

Ну что? Про смерть? Не хочется. И, главное, нет у меня четкой уверенности ни в чем, как, скажем, у Шохиной. Я любил и продолжаю любить и уважать Сергея Ивановича Чупринина, что бы про него ни говорили. Мне симпатичен Синельников. Рейн... Его я практически не знаю. Могу сказать только, что у него хорошо интервью брать: говорит громко и четко. Без всяких там «бе...ме...». Готовые, ладно скроенные фразы. Расшифровал и печатай, не правя.

А в истории смерти ТА виноваты все-таки все. Одни — тем, что звонили все время. Другие — тем, что не звонили. Просто никто не думал о финале. Таком финале. Она же приходила, садилась в кресло, улыбалась. Надоело, говорит. Ну так все говорят: надоело.

У всех трудности, неприятности. Все ссорятся и мирятся. С друзьями. Я каждый день ору на Вознесенского: сволочь, кричу, ненавижу тебя, убью табуреткой. А он, флегматик, губами шлепает. Что, спрашивает, слышно? Ничего не слышно: я уже поистерил, убежал в другую комнату еще на кого-нибудь вопить.

Не люблю «воспоминаний». Потому что они всегда не о том, про кого вспоминают, а о том, кто вспоминает. И я такой же. Так устроены люди, сограждане наши. Однопланетяне.

*Ни кагда ни лъзя ругать ни ково ни зашто.*

ТА нравилось преподавать.

Любила она и интервью. Сидят, разговаривают. Милое дело. Я вот интервьюируемого хочу убить на второй минуте. А она ничего, терпит.

Кошки. Все время пыталась подарить кошку.

А ездила к нам в газету, в «Экслибрис» я имею в виду, на троллейбусе под номером 12. Он идет из самого центра почти до Тушина.

Вознесенский, лучший книжный журналист мира, написал про ТА: «Был человек и нет человека».

*Ни кагда ни лъзя ругать ни ково ни зашто.*

«Я буду честная старуха», — писала Бек. Так и не стала старухой. Так и осталась девочкой. Сидела, ногой качала, говорила «берэт», кошек любила, стихи сочиняла. Вот так.

# Афанасий Мамедов

## СВЯЩЕННИКИ, ВОИНЫ, ПОЭТЫ

### ВСПОМИНАТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Друзьями мы не были, приятельские отношения только складывались, тем не менее вышло так, что при жизни я называл ее Татьяной, — но после 7 февраля 2005 года что-то осекается внутри, сейчас она для меня — Татьяна Александровна Бек, поэт, литературовед, педагог, человек, которого большая часть знавших ее людей любила и уважала.

Для многих, кто входил в литературное окружение Татьяны Александровны, ее преждевременный уход из жизни явился не только неожиданным — но еще и знаковым: провел пограничную черту в современной русской литературе, знаменующую собою окончательную смену эпох. Кончились относительно демократичные 90-е с их большими надеждами на будущих олигархов. Надвигающаяся новая эпоха, чем-то напоминающая реставрацию еще не вполне забытого советского прошлого, с его разобщенностью, пришибленным индивидуализмом, поддельным патриотизмом и устоявшимся перечнем имен у контролируемых кормушек, похоже, ни нам, ни алфавиту нашему, с которым мы пока еще играем, а она уже успела проститься, — не сулит ничего доброго.

Отношения с новым веком, которому так идут фейерверки, отмытые деньги и оседающая пена заморского шампанского, у Татьяны Александровны были непростые. Вроде бы, с одной стороны, радовалась успеху, выходу двух самых значительных книг — «До свидания, алфавит» и «Сага с помарками», с другой — очень многое не могла принять, со многим не хотела соглашаться. Хотя и была хорошо знакома с правилами околотитературных игр, на компромиссы шла очень неохотно. Ей легче было сказать «прощайте», «до свидания», нежели перейти границу, через которую порядочный человек переступить не должен. А поскольку Татьяна Александровна была не из тех людей, кто считал, что живет понарошку, боли, — когда скрытой, когда прорвавшейся — от этих участвовавших «прощайте» и «до свидания» хватало с лихвой. Одним из самых серьезных и трагичных ее прощаний оказалось прощание с алфавитом. Возможно, — кто знает? — под это прощание подверстывалась история ее последних дней. А может, она предвидела все события наперед?

Название книги «До свидания, алфавит» у меня уже ассоциируется не столько с прощанием, недоговоренностью, свойственной любому «последнему прости», сколько со следующей скорой встречей, оглашением чего-то очень важного для нас всех. В том, что эта — главная — встреча читателя с Татьяной Бек состоится, у меня сомнений нет. Какими-то из своих стихотворений, очерков, эссе, интервью, литературоведческих работ она, вне всякого сомнения, останется в нашем алфавите на долгий срок.

Я мог бы свести с ней знакомство раньше года на три-четыре: было много общих друзей и приятелей. Помню, как после какого-то литературного вечера, на который я должен был пойти, но почему-то не пошел, позвонила мне Ирина Ермакова и сказала, что Татьяна говорила ей: «И где же обещанный то-

бой Афанасий?» Я тоже сожалел, что не вышло тогда нам познакомиться. Хотя раскланивались мы с Татьяной Александровной давно на разных литературных углах и перекрестках. Один из них — журнал «Вопросы литературы», в котором она работала.

Холодная зима прошлого века. Я поднимаюсь по скрипучей деревянной лесенке в агентство по авторским правам Эндрю Нюрнберга и вижу ее в полуоткрытой двери «тайного» кабинета «Воплей». Она сидит за маленьким столиком, очень похожим на кухонный, в накинутом на плечи пальто и что-то пишет не поднимая головы. Случайно подсмотренная картина отсылает к кадрам военной хроники, кажется, будто Татьяна Александровна сидит в медицинском эшелоне, следующем на восток, и под монотонный перестук колес ведет дневник потерь. На обратном пути, когда я вновь проходил мимо полуоткрытой двери, она на мгновение оторвалась от письма, и я успел с ней поздороваться кивком головы. Как у всех людей, сосредоточенных на чем-то очень своем, глаза у нее были не здесь — где-то там, далеко-далеко, где поезд уже превращается в мушку и не слышно пронзительных гудков. После ответного полунемого «здрасти» Татьяна Александровна поправила сползшее с плеча пальто, и мне снова почудилось в ее зябком движении что-то фронтовое, позаимствованное у отца — Александра Бека.

Познакомились мы на нашем совместном с Максимом Амелиным вечере в МГПУ. Сайт Московского государственного педагогического университета подсказывает точную дату — 18.12.03. Максим читал стихи, я — рассказ «Письмо от Ларисы В.», затем оба отвечали на записки из зала. Все записки я сохранил, думаю, среди них может быть и написанная рукой Татьяны Бек. Я помню, как она внимательно слушала нас, с какой поощрительной живостью откликалось ее лицо на амелинские стихи, на мою прозу, на удач-

ные вопросы и удачные ответы. Мне даже показалось, что это было одним из проявлений ее несомненного педагогического дарования, знаками солидарности с собратьями по перу. Но я ошибался, мне еще предстояло узнать, как умела сказать «нет» Татьяна Александровна, когда что-то ей не нравилось, приходилось не по душе. В тот вечер я подарил ей свою книгу, а спустя несколько месяцев Татьяна Бек написала рецензию на «Слона». Статья называлась — «Горловой сгусток беды», предшествовала ей репродукция изображения древнегреческой богини Фортуны, сопровождаемая словами: «От судьбы не спрячешься». На богиню я, честно сказать, внимания не обратил, зато вот отметил, что Татьяна Бек в своей тонкой, изящной рецензии несколько раз упоминала карабахскую тутовую водку. Очень захотелось угостить ее этим легендарным продуктом, благо дома в бутылочке из-под соевого соуса стояло граммов триста настоящей тутовки, какую в магазине ни за что не купить, ни за какие деньги. Ну вот и очень хорошо, подумал я, и, воспользовавшись предложением, пригласил Татьяну Бек в гости вместе с Максимом Амелиным и Ириной Ермаковой. От семидесятиградусной шелковицы Бек отказалась сразу, только пригубила чуть-чуть, да и то после того, как я сказал, что есть напитки, по которым можно смело сверять ход часов того или иного народа: итальянская граппа, македонская мастика, шотландское виски, и, конечно же, — карабахская тутовая. О чем только не говорили мы в тот славный, дивный, неповторимый апрельский вечер, неспешно, по-восточному, поглощая приготовленные моей женой салаты и жульен, мамой — кутабы, долму, плов!.. Понимали друг друга с полуслова. Татьяна в узком нашем кругу казалась не просто обаятельным человеком, но еще — своим человеком. И мне тогда почему-то казалось, что встреча эта в моем доме не будет последней. Так казалось.

Мы встречались еще по разным поводам, в разных местах, — все те же самые литературные углы-перекрестки, от которых не уйти, не спрятаться, потому что они — часть литературного процесса. Осенью у Татьяны Бек вышла книга стихов «Сага с пометками», и мы скромно отмечали выход книги на ярмарке «Non/fiction». Вскоре после этих посиделок в кафе на Крымском валу она и сломала голеностоп.

А мог я предположить, что когда-нибудь, через много-много лет, всплывет в памяти моей эта историко-революционная картина из далекого бакинского детства, висевшая в музее имени Ленина?

Всесильная древнегреческая богиня заставила вспомнить, как нас, пионеров, каждый год вели строем через весь Баку к огромному серому дому с колоннами и развевающимся красным флагом на куполе, как подводили к этому художественно-документальному полотну и как мы рассыпались вокруг него, шепотом решая свои скромные школьные проблемы, в набор которых, помнится, входили уже любовь, зависть, предательство...

Картина была во всю стену, то есть никак не уступала в своей грандиозности «Явлению Христа народу», изображено на ней было убийство 26 бакинских комиссаров на 207-й версте Закаспийской железной дороги. Судя по всему, картина копия той, что, кажется, и теперь хранится в Третьяковке и автором которой является небезызвестный многим исследователям и ценителям советского прошлого Бродский Исаак Израилевич.

Помню, как школьные учителя, словно молитву, читали нам: «Свет небес все синей/ И синей./ Молкнет говор/ Дорогих теней./ Кто в висок прострелен,/ А кто в грудь./ К Ахч-Куйме/ Их обратный путь...// Пой, поэт, песню,/ Пой,/ Ситец неба такой/ Голубой.../ Море тоже рокочет/ Песнь./ 26 их было,/ 26».

На воссозданном в памяти спустя многие годы полотне снова англичанин-интервент, этакий лохотный армейский денди, суетливые эсеры в кожанках, алчные грабители, не имущие страха пред Всевышним, туркмены в мохнатых папахах и в пестрых стеганых халатах до пят, расстреливающие залпами из винтовок наших бакинских комиссаров и... тот самый песок, их песок.

Много-много их песка...

Нет, не мог я представить себе, что 10 февраля 2005 года, через десять месяцев после наших теплых домашних посиделок, буду стоять у гроба Татьяны Бек и песок, их песок, с того берега Каспия, будет сечь мне глаза. Песок, так и не превратившийся для кое-кого в золотой: нашлись люди, помешали нахлестать зелененьких. Одним из этих людей оказалась Татьяна Александровна Бек.

Так вышло. Так получилось.

Картину Бродского Исаака Израилевича можно при желании переписать, ну, скажем, слегка обновить в духе нового века и тысячелетия. Превратить англичанина-интервента в какого-нибудь благообразного столичного чинушу от литературы, эсеров упаковать в костюмы от Версачи и Диора, мохнатые папахи и стеганые халаты заменить на клевую джинсу, а мусинские винтовки — на новейшие телефонные трубки, но суть полотна останется той же, потому как она являет нам всю низость человеческих чувств, с одной стороны, и... Тут, пожалуй, стоит отметить: героизм комиссаров — самое слабое место Исаака Израилевича. Он какой-то уж больно декоративный, ненатуральный, партийно-плакатный, непроизносимый в среде порядочных людей. Героизм по заданию, героизм, спущенный сверху. Почему? Скорее всего, дело в том, что Исаак Израилевич то ли забыл, то ли не видел, как умирают люди, то ли слишком откровенно подыграл коммунистам,



ведь в жизни нашей брэнной, с ее игрой без правил и волчьими повадками, очень часто героями могут оказаться люди слабые, ранимые, порою даже молящие о заступничестве. Одним словом, мало готовые или вовсе не готовые к героической миссии. Героев выбирает себе и кует для себя Большая История. Именно она оставляет их в одиночестве, лишая диалога и выбора: не заступились, не помогли, у кого-то оказался занятым телефон, кто-то вообще живет в другой стране — и вот уже новоиспеченный герой, в котором мы раньше не подмечали ничего героического, неожиданно падает в желтое море песка, приправленное верблюжьими колючками, или в ту самую гумилевскую ночь, в тот самый расстрельный овраг, что весь в дурманящей черемухе, фактом своего падения проводя черту между миром низким, бездушным, зловонным и миром большого сердца и человеческого поступка.

Я виделся с ней по московским меркам незадолго до смерти — 18 января. Татьяна Бек пригласила меня к себе в гости. Встреча оказалась не только памятной для меня, но и судьбоносной. Встреча, впоследствии заставившая многое переосмыслить, на многое взглянуть иначе, во многих и многих разочароваться и отнестись с симпатией и уважением к тем, кого раньше не замечал.

Предварительный звонок Татьяне Александровне. Она казалась веселой, жизнерадостной и, как всегда, доброжелательной. Решено было, что я зайду к ней: «Посидим, поговорим, заодно и книги мне принесете». Дело в том, что «Сагу с помарками» опубликовало издательство, в котором я только начал работать, и пока Татьяна Александровна сидела дома с поломанной ногой, она раздавала книги всем навесившим ее. Друзей и приятелей у нее было много...

По дороге прихватил фруктовый торт, только потом сообразив, что у Татьяны Александровны, долж-

но быть, тортами от друзей и приятелей уже весь холодильник забит и что, может быть, разумнее было бы купить цветы.

Помнится, долго набирал код: торт все мешал, а когда, наконец, проник в «интеллигентный» подъезд писательского дома, меня встретил молодой человек восточной наружности (сразу угадал в нем земляка), спросивший не к Татьяне ли Александровне иду: «Она попросила встретить вас».

Молодой человек представился Валехом, учеником Татьяны Бек. Пока ехали в лифте, молчали, хотя меня так и подмывало хоть немного поговорить на азербайджанском: спросить, откуда Валех родом, если из Баку, то из какого именно района.

Бек уже стояла в дверях с той самой палочкой, о которой успела поведать по телефону с какой-то детской гордостью.

Уселись на маленькой «аэропортовской» кухне.

Заговорили о стихах Валеха Салехоглы. Тут я и вспомнил, что не так давно читал его стихи в филатовском сборнике молодых писателей. Вспомнил и как умело, тонко предварила Татьяна Александровна небольшую подборку ученика. Не знаю, случайно ли так вышло, что за столом оказались двое играющих с русским алфавитом бакинцев, но Татьяне Александровне было приятно наблюдать за нами, и она явно гордилась Валехом, когда я отметил его верлибры. Странно, но, имея ярко выраженное «восточное преимущество» за этим кухонным столом, мы тем не менее о Баку, о Востоке, помнится, ни словом не обмолвились, хотя о чем только не говорили. Самая большая странность того вечера — время текло необычно: был ведь в гостях не больше часа, а потом оказалось — столько не наговаривают люди за одну встречу: время расширило привычные границы почти как в той знаменитой притче о воздушном путешествии Магомета, когда Барак, резвая кобылица

пророка, поднимаясь к престолу Бога, задела кувшин с водой, а Магомет, вернувшись с пятью заповедями, совершил невозможное — успел подхватить кувшин, так что из него и капля не упала.

Мы не переходили, мы перелетали от одной темы к другой. Начали с Литературного института, потом я поделился впечатлениями от публикации молодого монгольского поэта в журнале «Иностранная литература», который тоже учился в нашем институте, Бек сказала, что помнит его, потом заговорили о предстоящей французской ярмарке. Я понял, что для Татьяны Александровны это очень важный момент в ее жизни, и она внутренне готовилась к нему.

— Скажите, Афанасий, неужели все будет, как в советские времена?

Мы посмотрели друг другу в глаза. Кажется, я ответил:

— Похоже, что так.

Вдруг, совершенно неожиданно, Бек спросила:

— Роман «На круги Хазра» вы же посвятили памяти вашего учителя, верно?

Я кивнул.

— Не смогли бы вы описать его, что это был за человек?

Немного удивившись, я быстро набросал портрет Юрия Владимировича Томашевского: интеллигентнейший человек, специалист по Зошенко, любили студенты...

Бек улыбнулась грустной улыбкой, словно ждала от меня именно этих характеристик.

Я почувствовал, что, отвечая на вопросы Татьяны Александровны, чего-то недопонимаю, почувствовал, но не придал значения. Лишь подумал, что непременно посвящу ей какую-нибудь из своих новых вещей.

Литературный институт доминировал в нашей беседе, но вскоре мы незаметно перешли от Юрия Влади-

мировича Томашевского к Виктору Пелевину. Татьяна Александровна, похоже, по-новому открыла его для себя, почти восторгалась, пробовала отстоять, когда я накинудся на пелевинский стиль и народный буддизм, призывая на помощь «Девять рассказов» Дж. Д. Сэлинджера. Я говорил о пробужденном сознании — сатори, без которого невозможно написать объемный и многомерный текст, о перевозке и «Девятивратном граде», теории раса — «главных чувств», о колокольном отзвуке, о дзен-буддистских коонах и их предположительном назначении... Вспомнил о замечательной книге Ирины Львовны Галинской «Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. Сэлинджера», которую вместе с «Хроникой Российской саньясы» Владислава Лебедько обещал как-нибудь закинуть Бек. Думаю, что в эту минуту я просто ревновал к Пелевину, и ревность моя была очевидна и для Валеха, и для Татьяны Александровны. Не зря она, чуть прищурившись, скрывала огонек интереса к моему не совсем чистому чувству.

Позволив мне выговориться, не вступая в спор, Татьяна Александровна спросила, верю ли я в знаки судьбы, связь между двумя мирами, предопределение, и случилось ли со мною то, что называют откровением.

Я, конечно же, знал, что говорить на такие темы, не соскочив в элементарное суеверие, бытовую пошлость — практически невозможно. Однако вот, почему-то поддавшись вопросу, коротко, без подробностей, обрезаая и недоговаривая где только можно, рассказал о том, что случилось со мной однажды много лет назад. Закончив свой рассказ, удивился, что он не показался пошлым, а я в какой-то степени смешным, ожидаемой неловкости не возникло, более того, рассказ мой, кажется, как-то сблизил нас троих, вывел на новый виток откровенности. Говорили мы о том, о чем всегда будут говорить люди, обладаю-

шие даром воспринимать поэзию как реальность. И нет ничего удивительного, что я вспомнил строки из дневника Бодлера, утверждавшего, что ближе всего к Богу — священники, воины и поэты.

Татьяне Александровне эти слова страшно понравились.

— Как вы думаете, что он имел в виду? — спросила она.

Поскольку я об этом размышлял, ответил без заминки:

— Наверное, именно священники, воины и поэты ближе всего к смерти, к пределу человеческого.

— Вы ручаетесь за точность цитаты?

Снова несколько удивившись, я ответил, что да, ручаюсь.

— Мне это может пригодиться для одного текста.

Я не стал уточнять, для какого именно: и так уже было приятно, что эти строчки из Бодлера могут каким-то образом пригодиться Татьяне Александровне.

Занимала Татьяну Александровну в ту последнюю встречу прозрачная пелена, отделяющая этот мир от мира иного, пелена, на которой выступают порою знаки-символы, которые мы, многогрешные, почти всегда расшифровываем с роковым для нас опозданием.

Уходить не хотелось, казалось, не договорили.

Выходили вдвоем с Валехом. Прощались легко и естественно, без свойственных многим московским прихожим тяжеловесных банальностей.

По дороге к метро кольнуло: мог бы, между прочим, купить во «Времени» ее «Сагу с помарками» и попросить автограф. Ладно, успокоил я себя, как-нибудь в следующий раз.

Те, кто по много раз перечитывают одни и те же книги, как правило, не очень жалуют газеты. В лучшем случае перелистывают где-нибудь за столиком в

кафе или же в метро, осведомляясь в первую очередь о курсах американской и европейской валюты, погоде, затем о подвигах любимой футбольной команды, то есть о том, что превращается в прах, стоит лишь выйти из кафе, метро или каких-либо других пригодных для чтения общественных мест. Я отношусь к категории людей, с удовольствием перечитывающих книги. Многолетнее, стойкое недоверие к газетам у меня возникает уже от одного их названия. Я не покупаю и не замечаю газет еще и потому, что они исключают возможность иного существования во времени, иных персональных миров. В мое поле зрения газеты попадают уже в виде внушительной пыльной стопки на рабочем столе, то есть тогда, когда их единственное назначение начисто пропадает. Так было и в этот раз. В издательстве на моем столе образовалась стопа в рост компьютера. Решив, что скоро работать за столом будет невозможно, я начал обрабатывать ножницами газеты месячной давности. Особое внимание уделяя «Книжному обозрению» и приложению к «Независимой газете», печатной продукции менее всего адресованной людям фаустовой культуры. Остальное быстро летело в корзину.

Вдруг натыкаюсь на статью Яна Шенкмана «Писатель и все такое», с подзаголовком «Памяти безвременно ушедшего от нас Сэлинджера, с любовью и всякой мерзостью».

Первое что пришло на ум: «Не может быть, уж кто-кто, а я бы почувствовал его уход из жизни». Сlišком многим обязан. Откуда была такая уверенность, с чем связана, объяснить не могу. Не читая статьи, кинулся в интернет, — все спокойно, как и думал, ни намека о кончине Сэлинджера. Да, спокойно, но только не у меня на душе: чувствую — что-то должно случиться, чего остановить не дано никому, и что каким-то боком это страшное «что-то» связано с Сэлинджером и с нашим разговором на кухне у Татья-

ны Александровны. Принялся за статью Шенкмана, по ходу уже понимая, какую хитрую, крученную задачу выдал Ян на сей раз. Оказывается, умер другой Сэлинджер, политический деятель, соратник Джона Кеннеди. А, ну раз другой... И забываю то главное, чему учила знаменитая проповедь Джона Донна о смерти: других смертей не бывает в принципе.

После концовки шенкмановской статьи: «Там живут не старея и подолгу медитируют над загадочными предметами. Там нет времени, а есть только молчание и покой. Там отказываются от самого себя, своей примитивной логики и человеческих, слишком человеческих слабостей... На границе с этой вселенной кончается литература», — почему-то решаю, обязательно, без проволочек позвонить Татьяне Бек и занести ей обещанные книги. А еще — продолжить наш разговор о священниках, воинах и поэтах: я сомневался в точности цитаты, мне показалось, что у Бодлера на первом месте были воины.

Придя домой, нашел книги на полке, отложил, готов был звонить Татьяне Александровне и договариваться о новой встрече, но...

Позвонил Максим Амелин, сказал, что Татьяна Александровна Бек скончалась.

— Не выдержало сердце. Они добились своего, — затравили ее!

Спросил кто «они», и он рассказал мне, взволнованно, сбивчиво, все, что предшествовало ее кончине.

Трудно сказать, чего было больше во мне, скорби или негодования. Каюсь, грешен, думаю, в первые недели — негодования. Причем росло оно день ото дня, стоило только узнать, самому увидеть, как почтенные, много лет завоевывавшие себе имя литераторы уходят в тихую гавань, чтобы переждать бури, отмолчаться-отсидеться где-нибудь на подмосковной дачке, в каком-нибудь издательстве делают вид,

что ничего не случилось, ничего не произошло...

Сие есть не дипломатия, которой успешно прикрываются эти люди в расчете на то, что время все спишет, сие — трусость, низость, подлость, предательство... Они не берут в расчет, что служить одновременно и Богу и мамоне невозможно, за все придется платить, и очень скоро, намного быстрее, чем им кажется.

Никогда не забуду, как один молодой поэт, которому Татьяна Бек написала предисловие к книге и которую он при жизни боготворил, трясаясь от страха, говорил мне: «Простите, Афанасий, но я ничего не хочу знать, я хочу быть в стороне от всего этого», а замечательный критик N, который однажды в подпитии уверял меня в своей полной независимости: «Я никогда и никем не был ангажирован», сказал мне в одном длинном-длинном коридоре: «Ну, умерла, ну и что?!» Глядя на удаляющуюся фигуру много работающего критика N, я подумал: «Вот где кончается наша литература — в длинных-длинных коридорах: три шага, и сгибается прежде неподкупная спина». А еще я понял, почему полотно Исаака Израилевича Бродского столь внушительных размеров. Как же, ведь оно без конца заселяется все новыми и новыми персонажами.

Не знаю, куда качает мир вместе с нашими литературными ульями, вправо или влево; последнее время, кажется, болтает его, как последнего алкашашаромыгу. Эти болтания у нас отмечаются знаками свыше. Сначала новая эпоха впервые, пожалуй, попробовала официально отметить юбилей Иосифа Бродского, крутила знаменитый венецианский фильм: авось поэт сгодится, послужит. Вышло не очень. Иосиф Александрович Бродский, в отличие от Исаака Израилевича Бродского и многих ему подобных, никогда не умел ни служить, ни прислуживать. И вел себя более чем несерьезно. Ну разве сле-



дует так себя вести нобелевским лауреатам?! Иосиф Александрович отказывался понимать, что время изменилось, что нынче бронза снова в чести: то о любимых сигаретах Одена молвил, то о каких-то вольных поселениях и трактористах, то итальянскую виноградинку подбрасывал и ртом ловко ловил, и все ведь это на глазах у своего учителя, внезапно (внезапно ли?!) возлюбившего в новом времени всех стукачей, полковников запаса и тиранов. Да-с!.. А потом и того круче события грянули, потом обесточенная столица вручала премию первому поэту. Выглядело это так, будто нашли единственную батарею «на ходу». Ну как Высоцкого не вспомнить: «И все в передничках! С ума сойти!»

Кто вручал премию, зачем и кому в виду произошедшего ЧП большого значения не имеет, ушедший в мир иной великий поэт, конечно же, не несет никакой ответственности за содеянное своим учителем. Кто ближе к Богу на сегодняшний день, священник, воин или поэт, сказать трудно. Есть подозрение, что Бодлер не учел ряженых. Ему бы следовало уточнить — *настоящий священник, настоящий воин, настоящий поэт*. В одном у меня нет сомнения после ухода из жизни Татьяны Александровны Бек: ближе всего к Богу те, кого выбирает Большая История, кто гибелью своей как бы отмечает границу между миром вчерашним и сегодняшним.

# ДАВИД МАРКИШ

## КАФЕ В ПОЛЕ

Это поле начинается у обочины проезжей дороги, по которой идут машины с севера на юг округа Дан — центральной части израильской земли, выходящей к морю. С одной стороны зелёное пространство ограничено белыми домиками посёлка, с другой — невысокими зарослями тамариска и бугенвиллей. Небескрайняя земля, неширокое поле, посреди которого под пальмовым — от солнца — навесом стоят на каменной площадочке несколько деревянных столиков придорожного кафе. Тишина, сродни, наверно, библейской, висит над полем и харчевней, тишина и полнейшая отъединенность от близкого Тель-Авива с его небоскребами, лавками и толпой.

Сюда с Таней Бек мы пришли посидеть, поговорить.

— Здорово здесь... — сказала Таня. — Как называется кафе?

Я не знал: кафе и кафе.

— «Кафе в поле», — сказал хозяин, подошедший принять заказ. — Вон там написано, у дороги.

Мы говорили обо всей жизни, ее и моей, о сорока без малого годах нашего знакомства. События, в той или иной степени значительные для каждого из нас, выныривали из стремнины времени, как шапочка поплавка: Таня собиралась публиковать интервью со мной, мы касались самых разных тем и, без отступлений и разъяснений, понимали друг друга, действительно, с полуслова. Удивительно много разноцветных ниточек пересекалось в нашем прошлом, сотканном из общих профессиональных интересов, общих знакомств, из дальних воспоминаний, которые, оказывается, с годами спрессовались в перекрестья судьбы.

Со школьных, а, скорее, дошкольных лет Таня была ближайшей подругой, наперсницей, как сказали бы прежде, моей жены Наташи Ласкиной. Да это и не важно, с какого дня, с какого месяца они были знакомы. Ужасно, когда, оглядываясь в прошлое, мы тщимся разлить Время в формы — в часы, в минуты. Бог придумал Время, а не часовые стрелки. Таня и Наташа были близки друг другу всегда, мне это хорошо было видно со стороны, иногда издалека. Таким образом, Таня Бек неотъемлемо присутствовала и в моей жизни.

В израильском поле мы говорили чудесным образом о Пастернаке и Пушкине, о Бунине и Платонове, о Хемингуэе в Париже и Гоголе в Риме. Таня была погружена в литературу, как корни дерева в почву. На какую бы ответвленную тропу ни забредал наш разговор, тропа эта упрямо сворачивала и возвращалась к литературному стволу.

Такая всецелая, естественная приверженность своему делу встречается не у всякого писателя — раздергивает быт, измельчают желания.

Мы говорили об удивительной жизни русского языка, похожей на жизнь вдумчивого задорного человека — взрослеющего, но не ветшающего. О смеш-

ных сленговых соринках, прилипающих к языку, а потом отбрасываемых и исчезающих без следа. О темной страсти писателей к неологизмам-однодневкам. О маниакальных, строго говоря, попытках воскресить, как Христос Лазаря, и запустить в литературный оборот почившие в бозе архаизмы, извлеченные из саркофагов старых словарей. О том, что русские писатели, надолго оказавшиеся по тем или иным причинам вне сферы родной речи, либо утрачивают детскую тайну языка, либо — как Бунин — достигают в нем нового блистательного слоя. А почему? Да кто ж знает... Если на все в мире вопросы будут выработаны категорические ответы, наша жизнь уподобится таблице умножения.

Рассуждая о литературной почве, Таня, мне кажется, охватывала взглядом пространства куда более широкие, чем землю от Смоленска до Владивостока. Литература, на каком бы языке ни была она написана, становится интеллектуальной собственностью тех любознательных, кто ее читает в нашем круглом мире. Мировая культура — крепкий дом писателя, а национальные литературы — комнаты в нем, коридоры или мансарды. Под изумрудной крышей этого общего дома Таня Бек была не временной жиличкой, а полноправной хозяйкой. И такой останется.

Так мы сидели в поле, листая жизнь. Тане нравилось здесь, это было не данью вежливости. Нравилось смотреть, как за дорогой слетались со всей земли самолеты к аэродрому, как невдалеке, продвигаясь чуть не ползком, крестьяне прореживали сочные огородные грядки.

Таня спросила:

— Это евреи?

Я пожал плечами: может, евреи, может, и нет — какая, в сущности, разница? Потом вспомнил: тридцать с лишним лет назад, навсегда приехав в Изра-

иль (ПМЖ — это, все же, диковато звучит! ПМЖ, ВОВ, чуть лучше БОМЖ), как я счастливо озирался, отмечая в поле зрения вкалывающих евреев — строительных рабочих или крестьян! Может, и Таня, русский поэт, впервые и ненадолго оказавшаяся здесь, переживала нечто подобное.

Русскоязычный писатель, или израильско-русский писатель, или израильский писатель, пишущий по-русски — что это за птица такая с бирочкой на шнурке? Таня хотела разобраться в этой абракадабре, я старался ей помочь. Да нужна ли писателю бирка? Вряд ли. Язык определяет принадлежность писателя — но к чему? А как же Набоков? Гражданство определяет? А если у «русскоязычного» писателя два паспорта в кармане или даже три? Не лучше ли обойтись без слов-инвалидов и, оставив спесь, назвать писателя — писателем? Литературы есть разные, но создают их литераторы, питающиеся из одного источника.

За примером не понадобилось далеко ходить. Таня знала, что ее отец, прозаик Александр Альфредович Бек, более чем известен в Израиле. Ей приятно было услышать, что роман Бека «Волоколамское шоссе» служил учебным пособием в израильских офицерских школах: горстка отважных людей против бронетанковой кувалды. Заговорили, глядя в поле, о родителях, и теперь мне было приятно, что наши с Таней отцы поддерживали приятельские отношения, а матери дружили.

— Знаешь, — сказала Таня, — мне бы хотелось встретить мой день рождения здесь, в этом кафе.

Это, правда, было бы так хорошо.

Мы вернулись домой — в тот приезд Таня жила у нас с Наташей. На завтра мы поехали в римскую Кейсарию, потом в Иерусалим — там «Иерусалимский журнал» устраивал Тане литературный вечер. Таня читала, слушатели просили продолжать, и для

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИШЕМ...»

публики это была не встреча с прошлым, оставшимся далеко за бугром, — потому что у хорошей поэзии нет прошлого, а есть только будущее.

День рождения в том кафе понемногу приближался, готовясь стать реальностью: 21 апреля Тане должно было исполниться 56 лет, мы ждали ее.

Она погибла за два с половиной месяца до этого дня.

*Тель-Авив  
сентябрь 2005*

# ЕКАТЕРИНА ОРЛОВА

## «...КАК СПИЧКА ВСПЫХИВАЕТ В ДЫМКЕ»

«Мне нравится вспоминать вспышками без сюжета. Как в детстве — зажигаешь спичку — чирк — и на пол. Чирк — и на пол». Так сказано в Таниной книге «До свидания, алфавит». И в стихах:

Вот человек с высоким лбом —  
Из категории крылатых —  
Листает свой фотоальбом,  
Готовый на четыре пятых.

Почти старик, сощура глаз  
И жадно вглядываясь в снимки,  
Он не един. Он всякий раз,  
Как спичка вспыхивает в дымке.

Вокруг нее всегда было много людей. Не все орбиты соприкасались, не все ее друзья были даже знакомы друг с другом. Гораздо раньше, чем ее саму, я знала и любила ее стихи, стараясь отловить как можно больше. Отловить — потому, что это не так просто было сделать. В магазинах ее книги долго не лежали, а, например, в библиотеке МГУ «Снегиря» не

оказалось, хотя в каталоге он числился. «Книги нет на месте» — значилось в «отказе». Однако это было то время, когда наша Научная библиотека МГУ (в просторечии — «горьковка», потому что имени М. Горького) отличалась полнейшим порядком, ее сотрудники любили свое дело и знали его превосходно (и сейчас там немало таких людей). Книги у них не терялись, это было исключено. И формулировка «нет на месте» могла означать только одно: книгу скорее всего *зачитали*. Случай крайне редкий. Ну, значит, Снегирь улетел... оставалось надеяться только, что к тому, кому он действительно был очень нужен. То ведь была еще и эпоха без ксероксов. Переписывай от руки — или бери, что называется, без отдачи. Так Снегирь выпорхнул из горьковки.

Известно было, что Татьяна Бек работает в журнале «Вопросы литературы». Помимо того что это был лучший литературоведческий журнал, напечататься в котором было мечтой для каждого аспиранта, может быть, еще и встретить там ее?.. Возможно, даже познакомиться... На каждую попутчицу в старом, с металлической сеткой, медленном лифте косилась с замиранием: а вдруг это она? Хорошо бы сказать сразу что-нибудь умное, не поддаться робости, дикости...

Все получилось гораздо проще. Благодаря самой Тане, конечно. Казалось, она готова сразу принять и полюбить весь мир и каждого человека в отдельности. И потом много раз — в интонациях голоса, в лучении длинных глаз — виделось и слышалось отчетливо... что? как это назвать? Радостное удивление. Или удивленная благодарность. Например, в ответ на интересный рассказ кого-то из посетителей — авторов или просто друзей журнала. Или когда я напоминала ей ее же стихи. Ей как будто было невдомек, что для многих людей ее поэзия становилась смыслом жизни, ее оправданием и утверждением, той жи-



вой душой, вдохнув которую в повседневность только и можно выживать в ней. А иногда казалось, что она и сама это все понимает. Может быть, так: в стихах — да, в жизни и применительно к себе — нет. Она не любила «гениев со справкой» (ее формула), мнящих, что могут себе позволить в жизни что угодно по причине своей гениальности. И всегда работала очень много, и работы свои любила (это для нее не были «службы», где бы просто отбывала время). А еще бесчисленные творческие вечера, на которые ее просили прийти (она мастерски вела многие из них). Однажды пожаловалась, что от этого устала. «Но ты же домочадец литературы», — напомнила я ей определение Мандельштама, имея в виду все лучшие смыслы этой формулы. Ей понравилось, даже как-то утешило. Да, домочадец, и потом она сама себя так называла.

Но дело было не только в том, что она была прекрасным ведущим или всегда умела выступить так, чтобы сказать то самое слово, которое еще не сказано, но которого ждут многие. Ее присутствие уже само по себе как бы становилось гарантом того, что все пройдет достойно, атмосфера благородства, казалось, сама собой возникает в зале и на сцене. И при этом без тени чопорности или деланности. Острое словцо тоже было ей прекрасно ведомо.

Языком она владела прекрасно. И любила вспоминать, «голубица университетская» (так однажды сама себя не без иронии назвала), как на первом курсе Людмила Игоревна Рахманова, преподававшая лексику и орфографию, отозвав ее в сторонку, сказала: «Вам, Таня, в жизни придется писать много любовных писем. Нельзя, чтобы в них были ошибки». Это был гениальный, неотразимый аргумент — тогда. А потом Таня удивлялась: но откуда Людмила Игоревна знала? Ведь да, пришлось, и действительно много... И всегда эту историю благодарно помнила.

Об университете. На факультет журналистики, который сама окончила, всегда приходила, сразу соглашаясь. Первокурсники, которым очень хотелось «увидеть настоящего живого писателя» (это правда, так и сказали), готовились, ждали. Потом хвалились друг перед другом ее дарственными надписями на книжках, сравнивали: «А что у тебя?», «А тебе что написали?». Все надписи были разные, личные, несмотря на то, что знакомство ведь только-только состоялось.

Представляю им Таню и «Смешанный лес», показываю: имейте в виду, дети, так издают у нас (был 1993 год) только лучшие книги: серая обложка, желтая бумага... Таня замечает: звучит как начало стихотворения. Повторяет последние слова. Много времени спустя понимаю: «Татьяна Бек» — тоже ведь звучит как две стопы ямба. Она это знала? Но она вслушивалась в звучание имен других поэтов, ей нравилось, когда «подходило».

Другая вспышка. Помню, как, открыв наугад «Узор из трещин», студентка читает: «Уезжаю ночной телегой / Мимо Митина, мимо Свиблова...» И пищит, именно пищит (пусть простит меня за это слово): «Ой, а я там живу! Свиблово!» Радуетя как маленькая. А другая за ней (читает через плечо): «А я — в Тушине!» («Мимо Тушина, мимо Сокола...») Счастливы обе, что это как будто про них написано. А вообще-то чувство совершенно точное. Только топография и конкретные адреса тут, пожалуй, и ни при чем.

В Севастополе, в Черноморском филиале МГУ на лекции по теории литературы по памяти читаю как пример звучания стиха «Я говорю, что я ничья...». После лекции подходят, спрашивают: как называется книга, где можно купить? Что я им могу сказать?.. Снова негде. Переписываю для них от руки.

Презентация «Саги с помарками». Снова студенты — журналисты и Литинститут. Журналисты потом пишут о вечере. (Это наша практика, «профстудия».) Читаю в одной работе такое. Надо идти на какую-то презентацию. Там все умные. Я не хочу. Мне одиноко. На улице дождь. Я ничего не знаю. Я не буду читать. Залезаю в маршрутку. Я не бу... Книга открывается сама, случайно. Не хочу, но начинаю читать. И — все сразу другое. Я вхожу в этот мир. По нему бродит она, героиня и автор («Разом — безумица и хроникер»). И — книга уже не отпускает от себя. И мир меняется, окрашиваясь этой поэзией.

(Передаю не точно и своими словами: тексты, с согласия авторов, отдала Тане еще тогда.)

Кстати, о книге, раскрытой наугад. Таня сама любила это делать. И в стихах: «И на ощупь гадала по Торе», «Погадаем на томике Сабы...». И в жизни. Еще вспышка: сентябрь или поздний август 2004 года, только что вышла «Сага с помарками». Сидим у метро «Профсоюзная» на краю давно не существующего (то есть без воды) бетонного бассейна. Но бетон у нас за спиной, а пейзаж перед нами Тане должен нравиться: трава, репейники дикие, некошеные. Она привезла «Сагу с помарками». Гадаем. Ей открывается:

Какое счастье, что любовь — чашоба,  
Чашоба, а не стриженный газон.

Радует. «А хорошо, что я это тогда написала». Ждет любви.

Несколько месяцев спустя, в ноябре не то декабря того же года, в Литинституте толкую перед студентами о связи ритма и смысла, о значении стихотворных размеров. Таня умело превращает лекцию в беседу. (В том числе о своем любимом анапесте,

но который нельзя слишком эксплуатировать: он обязывает, он должен быть внутренне обеспечен...) Потом сидим с ней в кафе. Ей все нравится: интерьер, неумело стилизованный «под Восток», невкусные баклажаны и, может быть, больше всего — стеклянная стена, выходящая на Пушкинскую площадь. Договариваемся как-нибудь потом специально продолжить разговор о стихоритмах, а сейчас речь заходит о студентах, о том, что трудно быть молодым и что мы благодаря возрасту стали, пожалуй, свободнее: можно уже позволить себе не следовать моде, одеваться как нравится, а также многое другое, более важное. Что старость может быть достойной и даже красивой. («Какая иллюзия!» — с нежным смешком, относившимся к нашей наивности, потом сказала мне одна восьмидесятилетняя дама, чьей красотой и сейчас еще восхищаются.) Таня приводит в пример чету Ревичей. Собираемся жить долго.

Как передашь ее разговоры? Иногда без остановки, залпом, запоем. Вот в Тарусе. В Оке мы тогда с ней не плавали. Зашли в воду, так и стояли, только течением сносило. Тогда она говорила. И потом, весь вечер, лишь проверяла умно поставленными вопросами — слушаю ли ее? Убеждалась, что — да, и опять в рассказ. Вообще они с Олегом Клингом иногда в конце вечера спросят: «А что-то ты, Катя, сегодня молчаливая?» — «С вами двумя попробуй вставь слово». Смеются: это правда.

В героев ее стихов невозможно было не влюбиться. «А он ходил в военной робе, / Нося ее как знак богемы...» Или тот: «О, как гордо держал он иглу, / Зашивая потомственный китель!» Но как-то было понятно: сюжеты жизненные и сюжеты лирики не всегда совпадали. Хотя она почти ничего не рассказывала о них,

даже ушедших. «Правда вымысла» — так написал о ее воспоминаниях Олег Клинг. Но зато в стихах она их всех обессмертила. С этим даже она, всегда самокритичная, пожалуй, склонна была согласиться.

А эту историю я пишу для будущих комментаторов, для научной полноты, преодолев смущение от того, что стихотворение посвящено мне.

В редакции поэтического журнала мне предложили написать статью о Татьяне Бек. Хочу ли я?! Я иду к этому уже много лет, и потому статья пишется за несколько дней. Потом долго лежит не отосланная. Историк литературы привык ведь писать о тех, кому уже не пошлешь ничего, а тут... Но редактор сам проговаривается Тане, что есть статья. Робея хуже, чем при мысли о знакомстве, отсылаю.

В ответ — письмо. И стихи. (Кажется, уже позднее последовал рассказ о том, как они с Олесей Николаевой были в храме, где висит икона святого Феодосия Черниговского, а под иконой так и написано: «Лекарь от нервных болезней». Что еще пристал там к ним некий Рома, что был он пьян и просил денег на поездку в Новый Афон. Было понятно, что он, конечно, никуда не уедет, а все проплет, но денег они ему, конечно же, дали.)

А стихотворение начало тогда писаться, а потом надолго перестало, и вот теперь написалось за несколько дней. «И если ты не возражаешь, я посвящаю его тебе». «Если ты не возражаешь»!..

*Е. Орловой*

Вы меня похороните с позднеязыческой песней,  
Но покуда еще мне достанется сотня плетей...  
Феодосий Черниговский — лекарь от нервных  
болезней —  
С неизбывной загадкой (икона) глядит на людей.

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

А на улице — месиво: оттепель вместе с метелью.  
Завсегдатаи воздуха подняли птичий галдеж...  
— Ты сегодня трясешь погремушкой над колыбелью,  
А назавтра румянишь и в ящик щелястый кладешь. —

Суеверие — грех, но я дома повешу подковку.  
А еще остается покорная выдумке речь, —  
Где слова, точно яблоки, можно засунуть в духовку  
И до нежного панциря (стало быть — насмерть)  
испечь.

У меня за спиной — ошибка такого объема,  
Что ее не опишет на проза, ни даже стихи...  
«Мы поедем в Сухуми, — сказал мне юродивый  
Рома, —  
И в пещере (...невнятица...) ваши замолим грехи».

Фотография выцвела: девочка в ботах и с муфтой  
На грядущие ужасы круглый разинула рот.  
...С головою накроюсь лоскутной и дырчатой смутой,  
А юродивый Рома плацкарту, ликуя, пропьет!

*3 — 12 декабря 2000*

В 1920 году Максимилиан Волошин писал одной своей знакомой: «Мне бы так хотелось увидаться с Вами... Письма я разучился писать... С тех пор, вероятно, когда понял, что главное говорится между людьми молчанием, а не словами и что в поэзии слова только рама для молчания, которое наступает после».

В молчании слышу ее голос, который явственно звучит в подписи под письмом: «Твой друг Таня Бек». Наверное, многие это вспоминают, как и неподражаемое, кажется, лично к тебе обращенное на автоответчике: «Всего вам самого доброго!»

...Снова Волошин. Получаю в подарок от друзей из Коктебеля его книгу, которую давно хотела. Не гадаю, как Таня, а, как она же любила делать, просто открываю наугад. Статья «Судьба Льва Толстого»:

«Конечно, сейчас в России есть много людей, для которых смерть Льва Толстого представляет всю горечь потери лично близкого человека. Для них драгоценны и каноническая пышность надгробных речей и пафос народной скорби.

Но для миллионов людей в этой земной смерти великого писателя нет ни разрыва, ни окончания, ни безвозвратной потери. Для тех, кто знал Толстого через слово, смерть не может являться утратой. Он остается им таким же живым и близким, как и при жизни. Даже больше: смерть художника не только не лишает нас чего-нибудь, она обогащает, давая фигуре человека тот последний, окончательный удар резца, который завершает лик и придает ему трагическое единство.

В судьбе человеческой нет случайностей... Когда гаснет лик живого человека, лик его судьбы вдруг озаряется. Когда отмирает земное, мятущееся и волящее тело, тогда начинает жить не человек, а судьба человека. Это совершается так незаметно, что большинство, не постигая смысла перемены, говорит: как он вырос по смерти!..

Такова доля всех тех, которые еще при жизни стремились выявить и определить лик своей судьбы, т.е. художников».

И снова он прав, Волошин. Но должно пройти еще время, чтобы это принять.

Психологи любят говорить: жизнь человека — это только лучезарная вспышка, светящееся мгновение. Этой-то мгновенностью и свечением и ценна она.

«Как спичка вспыхивает в дымке?»

# СЕМЕН ПИНХАСОВ

## Танёк

Так ее звали в школе... Мы познакомились с Таней, когда учились в девятом классе. 152 школа, за метро «Аэропорт», была для меня новой, а она пришла туда уже несколько лет назад. Нет, мы не сразу стали друзьями — стать ее другом было непросто, и не потому, что она к себе никого не подпускала, — напротив, всегда была общительна, но дружба ведь совсем другое дело: человек должен быть чем-то интересен тебе, чем-то тебя «зацепить». Признаюсь, в девятом классе мне пришлось претерпеть от нее множество издевок и насмешек, я даже являлся объектом ее сатирических стихов, но никогда не обижался — переносились ее «преследования» легко и даже весело, потому что в них были острота ума, наблюдательность и уже тогда — талант, но при этом — ни капли злости. Да, она была очень доброй, доброй до простодушия, и легко делилась с окружающими тем, что у нее было...

Для нас, одноклассников, Таня была непререкаемым авторитетом в вопросах выбора чтения — ее суждение о той или иной литературной новинке было окончательным и не подлежало никакому сомнению, и не потому, что она была «писательской дочкой» — писательских детей у нас в классе хватало. Просто мы чувствовали, что она знает предмет лучше, чем все мы.



А ее литературная одаренность была для нас совершенно очевидна, потому что мы знали ее стихи, и однажды за их исполнение на каком-то конкурсе я даже получил грамоту. До сих пор помню строчки:

Я улягусь, и всё уляжется.  
Завтра мудрость в дверях покажется.  
Я во всем разберусь при ней —  
Утро вечера мудреней.

После школы Таня поступила на журфак МГУ, а я в медицинский. Учась, я подрабатывал лаборантом в больнице на Большой Пироговке. Несколько раз Таня просила меня провести ее к самым тяжелым пациентам. И вот вечером, когда в больнице оставалось совсем мало сотрудников, пользуясь своим «служебным положением», я вел Таню в реанимационные палаты. Она внимательно всматривалась в лица больных (многие были без сознания); похоже, она старалась запечатлеть в памяти все детали — разглядывала аппараты искусственного дыхания, капельницы, мониторы. Наверное, на каком-то своем, писательском, уровне она хотела понять тайну жизни и смерти... Так, во всяком случае, мне казалось. Она менялась в эти моменты — обычная ее эмоциональность, открытость исчезали, она становилась сосредоточенной, будто фокусировалась на чем-то внутри себя. Тогда, наверное, я впервые задумался о том, как трудно писать, — не халтурно, а по-настоящему, пропуская через себя все жизненные впечатления, вот так всматриваясь в эту грань между жизнью и смертью.

В середине семидесятых мы расстались — я с семьей уезжал из страны. Она пришла проводить нас и не осуждала за то, что мы решили эмигрировать. Тогда казалось, что расстаемся навсегда, но жизнь распорядилась иначе.

В Америку Таня приезжала три раза. Первый раз в 1990 году на симпозиум (в нем участвовал и Иосиф

Бродский), и мы впервые встретились после долгого перерыва. Переписка к этому времени между нами уже велась довольно активно, и я знал, по ее письмам, как она жила и что делалось в ту пору в стране. Приведу несколько отрывков из Таниных писем начала 90-х.

«...Сию я сейчас в деревне Штокдорф (в вольном переводе на русский — Палкино) под городом Мюнхеном, на кухне у Войновичей и пишу вам письмо. Из Москвы не писала, поскольку почта либо ходит со скоростью минус-бесконечность, либо вообще пропадает. К тому же ненавижу саму мысль, что мои письма — даже самые безобидные — читают наши чудесные чиновники. Посему все длинные послания своим друзьям, живущим за рубежом, я сочиняю, попав в очередную вояж...

Сёма! Я бесконечно тронута твоими добрыми словами о моих скромнейших на самом деле способностях и твоим равнодушием к моей творческой судьбе. Спасибо. Мне это дороже всяких карьерных и официозных признаний. Ты верно рассуждаешь о том, что русский литератор не должен замыкаться и что нужно осваивать новые духовные и жизненные пространства (я сейчас по памяти пересказываю и, наверное, несколько опрощаю твою мысль, но так она мне запомнилась). Я сама все время об этом думаю. Но пока мне там не стреляют в лоб и пока — тем более — есть возможность относительно часто видеть другие точки мира, — я остаюсь на месте. У меня в Москве завоеванный годами авторитет, имя, возможности; теперь уже даже ученики; у меня, наконец, ответственность за те взгляды, которые я последнее время страстно и даже агрессивно отстаиваю, — а без всего без этого я буду жалкий ноль. А вообще, страшная страна, самый несчастный в мире народ и в перспективе полнейший и мучительный тупик...

*23 мая 1991 г., Германия».*

«...Мои собственные книжки в двух местах сейчас застопорились (полный кризис в стране с бумагой), но я не грущу. Я вообще смотрю на ужас нашей жизни с удивляющей меня самой мудростью. Во-первых, на фоне социальной гибели и вони еще притягательнее и ценнее — проявления любви, дружбы, красоты. Словом, того, что не смогли выправить даже они. Во-вторых, а почему мне должно быть хорошо, если другим плохо?»

Мне очень помогает вера.

...Кстати. Представляешь, Сёма, примерно месяц назад возле нашего метро встретила я страшное существо. Это был Слава Митюшин. Он выглядел как наш дед. Абсолютно седой (а был, помнишь, ярко-рыжий), ни одного зуба и вообще нет голоса. Пропил. Я его понимала только по губам.

Полнейший алкогольный распад, нигде не работает. Я передала привет от тебя, он просипел: «Пускай выпишет меня к себе...» Вот так...

*22 июля 1991 г., Москва».*

«...Ты просишь рассказать «как все было». Все было без меня, я в эти дни отдыхала (конечно, узнав о путче, уже не отдыхала, а сходила с ума) на Украине. Приехала лишь 22 августа и ходила на траурный митинг по убиенным трем мальчикам. На трибуне Манежа стояли рядом Горбачев, Боннэр, православный священник и раввин. Не правда ли, странно?»

В нашей стране странно все, и все перемешано — высокое и низкое, осмысленное и абсурдное.

Экономически мы сейчас в таком низу, что даже трудно описать. Килограмм колбасы может стоить 150 рублей, на рынок лучше не ходить, на ряд товаров введены талоны, но и их нельзя отоварить. Очень многие люди (я пока нет) впадают в страшную панику, истерику, депрессию. Просто, как говорится, «не справляются с жизнью».

...Инфляция растет ежедневно — со страшной жестокостью. Каково, представь, тем, кто живет ис-

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

ключительно на маленькую зарплату и должен содержать детей ли, стариков?

Не знаю, на что надеяться, но почему-то надеюсь на чудо, историческое самодвижение разума, Бог знает на что еще...

*9 ноября 1991 г., Швейцария».*

«Что написать о нашей жизни? Очень непонятно, очень трудно, очень тревожно. Хотя о голоде говорить (как это делаешь ты) еще не приходится. Это не голод, просто очень убогий, унижительный и нестабильный образ жизни. Я мало что понимаю во всем этом с точки зрения н а у ч н о й — знаю только, что людям моего (громко говоря, «творческого») плана скоро придется очень трудно. Кругом ставка на б и з н е с , даже в искусстве, а я — ты же знаешь! — приспособлена для этого меньше, чем для балета...

Но пока веду семинар в Литинституте и — отдел поэзии в одном новом журнале. Ни я, ни люди моего круга с голоду не умирают — это я повторяю, чтобы ты не мучился, но радости и псих. уравновешенности у нас действительно мало...

*14 марта 1992 г., Москва».*

Второй раз, в 1995 году, Таня была в Америке по приглашению Корнеллского университета, а в 2004 году приехала ко мне в Нью-Йорк. Последняя поездка длилась всего десять дней, по-другому нельзя было, ее преподавательская работа не позволяла ей отлучиться из Москвы надолго.

Вообще последние годы Таня была очень увлечена преподаванием, мне кажется, в ней открылся настоящий талант педагога. Она искренне любила студентов и, стараясь передать им свой профессионализм, свои знания, опекала их еще и чисто по-матерински, входя в подробности их жизни. Она часто рассказывала о своих учениках; я уж не говорю о том, как

много она писала о них в газетных и журнальных публикациях, радовалась их творческим удачам. Думаю, что и студенты ее любили. Доброта ее по отношению к молодым была деятельной. Вот отрывок из письма уже конца 90-х.

«...У нас — очередной конец света, но мне, слава богу, терять нечего. Я страдаю только из-за состояния ряда своих близких, потерявших большие деньги, или работу, или разум.

...Я без спросу (извини) дала ваш телефон одной замечательной молодой писательнице — Насте Гостевой. А может, ты ее и видел в Москве года два назад? Кажется, я ходила в цирк с нею и с каким-то вашим молодым другом. С Дэвидом? В голове — смутное воспоминание. Так или иначе, она будет в октябре в Нью-Йорке (поехала в Америку по писательскому гранту, есть у нас теперь такая форма иностранной помощи творческим личностям как «голодающим Поволжья»), и если у Миши (мой сын. — С.П.) выкроится немножко свободного времени, у меня к нему просьба: прогуляться с Настей, ну, например, по Бродвею. Она — умница, русская красавица, в свои 24 закончила физфак МГУ и дважды напечатала чудесные полухулиганские повести в «Знамени». Думаю, и ему будет интересно, и ей...

*5 сентября 1998 г., Москва.*

За те десять дней в 2004 году, которые Таня провела в Нью-Йорке в моем доме, она успела немало — взяла несколько интервью, выступила на телевидении, дважды встречалась с читателями и побывала в Корнеллском медицинском центре, где ей передали две большие коробки с медикаментами для лечения детей, пострадавших в Беслане.

Особенно мне запомнилось интервью с Бел Кауфман, автором известной в России книги «Вверх по лестнице, ведущей вниз», а еще внучкой Шолом-Алей-

хема. Девяностотрехлетняя дама была неотразима, но об этом — о ее жизнелюбии, остроумии, элегантно-сти — читайте в Таниной беседе с ней. В конце встречи Бел предложила сфотографироваться. Сначала я снял их вдвоем, а затем Таня запечатлела меня с хозяйкой в обнимку. «А жена не будет вас ревновать?» — кокетливо спросила Бел. Я ответил, что будет. «Надеюсь!» — радостно рассмеялась Бел.

Один день мы всецело посвятили отдыху и праздности, и чтобы полнее насладиться этим состоянием, поехали в Атлантик-Сити играть в казино. И там, в казино с романтическим названием «Тадж-Махал», мне удалось увидеть, как Татьяна Александровна Бек превратилась в девчонку из моего класса. Она оказалась очень азартной и хотела во что бы то ни стало обыграть «однорукого бандита»... Потом мы поехали в Принстон, гуляли по парку в кампусе, зашли в университетский музей изобразительных искусств, кормили белок, глазели на студентов. «Хочешь поговорить с кем-нибудь из них?» Мне показалось, что Тане интересна эта молодежь — ведь она была преподавателем, и ей, наверное, хотелось сравнить своих студентов с принстонскими молодыми людьми. В результате мы пообщались с пятью, и один из них даже пытался отвечать на Танины вопросы по-русски. Она спрашивала, почему они выбрали именно этот университет, в каких семьях выросли, кто оплачивает их учебу, какой профессии обучаются, что знают о России. Ребята охотно отвечали на ее вопросы, особенно узнав, что она русская.

Такой она мне и запомнилась — внимательной слушательницей, пристально вглядывающейся в жизнь. Ведь все, что она видела, ей предстояло трансформировать в стихи, статьи, лекции...

*Нью-Йорк  
август 2005*

# АЛЕКСЕЙ СИСАКЯН

## ДУБНА

Меня долго терзали сомнения, имею ли я моральное право предлагать свои записки в книжку памяти Татьяны Бек — ведь я лично знал Татьяну Александровну лишь последние три—четыре года ее жизни. Интересны ли будут хоть кому-нибудь мои наблюдения, вынесенные из общения с Татьяной?.. Но помогла преодолеть мои терзания мысль, что без этих заметок вряд ли известно станет о дружбе Татьяны Бек с физиками-лириками Дубны, и тогда одна из страниц (пусть не главных!) ее жизни останется за кадром, и тогда неполным будет портрет Татьяны — удивительного поэта, милого и тонкого человека.

И еще я подумал, что Татьяна наверняка обрадовалась бы, узнав, как ее любят и помнят в городе физиков. А эти строки могут явиться подтверждением, что так оно и есть...

Имя Татьяны я знал задолго до нашего знакомства в 2001 году. Мне всегда очень нравились ее стихи, и, к тому же, я был поклонником книг ее знаменитого отца Александра Бека. Как потом выяснилось, Татьяна тоже считала, что мы были заочно знакомы гораздо раньше, чем произошла наша первая встреча, —

она слышала обо мне от своих старых друзей-дубненцев: Александры Шкоды, руководительницы дубненского отделения Российского фонда культуры, и Генриха Варденги, физика и поэта, директора музея Объединенного института ядерных исследований.

Генрих Варденга и познакомил меня с Татьяной. Я пригласил ее и Евгения Рейна приехать на несколько дней в Дубну. Это было летом 2001 года.

Уже во время первой встречи у меня возникло удивительное ощущение, что Татьяна — моя старая приятельница. В разговоре постоянно всплывали какие-то схожие родственные образы, жизненные параллели (резонировали души!)... Мы вспоминали эпизоды из детства, поочередно удивляясь: ой, почти то же самое было со мной... У Татьяны сестра и брат, и у меня — сестра и брат. Отец и мама — примеры на всю жизнь! Ностальгия по детству, по Москве пятидесятых—шестидесятых годов... Татьяна признается, что иногда несколько дней не может написать ни строки и начинает нервничать: вдруг Господь больше не пошлет вдохновения? Мне тоже знакомо это чувство:

Какое чудное мгновение,  
Когда приходит вдохновение!  
Какой невыразимый гнет —  
Ждать: вдруг Он больше не вдохнет...

Потом это четверостишие вошло с посвящением Т. Бек в мой сборник стихов «Куст на теплотрассе», который составила Татьяна, предварив его своим предисловием.

Творческая личность сосредоточена, как правило, на себе. Татьяна была исключением. Меня всегда поражала ее способность глубоко вникнуть в чужую работу, «обременить» себя чужими стихами, к которым она относилась требовательно, но деликатно, по-доброму.



Бережно храню ее записки на полях моей рукописи («разбор» в Татьяниной терминологии), ее удивительные имейлы и письма, написанные легким, летящим почерком.

Проанализировав, блестяще «разобрав» мою рукопись (что было громадной работой), Татьяна в своем письме пишет:

«Вы, когда будете составлять свою новую книгу, не ориентируйтесь, пожалуйста, на мой — очень уж личный — отбор полностью. Если в мой список не попали стихи, Вам лично чем-то дорогие, непременно их вставляйте... Я — лишь одно из возможных читательских зеркал...»

Ни малейшего профессионального высокомерия, категоричности. Мастер, тонкий знаток и педагог скромно идентифицирует себя с «читательским зеркалом». Думаю, что великодушие и доброжелательность были отличительной особенностью души Татьяны, редкой особенностью, которая может быть присуща только действительно крупной личности...

Название для той книги стихов — «Куст на теплотрассе» — подсказала мне тоже она:

Энергия неразделенной страсти  
Мне придает внезапно много сил.  
Я словно куст, обманутый на теплотрассе,  
Под первым снегом почки распустил.

Татьяне понравились эти строки. Она говорила, что они не только про неразделенную любовь, но и про поколение «шестидесятников», обманутое искусственным теплом...

Татьяна была ранима, поэтому открывалась она порывами, под настроение, когда чувствовала, что ее открытостью не воспользуются. Мне самому легко было открываться в разговорах с ней. Взахлеб рассказываем друг другу про то, что бы нам хотелось ус-

петь еще сделать в этой жизни. Идеальное идет вперемишу с прагматичным... И в какой-то миг прорывается что-то очень интимное, очень сокровенное.

Ты вдруг сказала мне,  
Прервав беседы нить,  
Коснувшись невзначай  
Сиреневою веткой,  
Что хочется тебе  
Кого-нибудь любить,  
Пусть даже безнадежно,  
Безответно.

В Дубне любили Татьяну Бек, ждали ее выступлений на поэтических вечерах в Доме ученых. Студенты и преподаватели Университета «Дубна» с замиранием сердца слушали ее лекции о Серебряном веке русской поэзии... С 2001 года она несколько раз приезжала в Дубну, иногда в обществе Евгения Рейна... Генрих Варденга, Олег Кузнецов, ректор Университета, и его помощник Марта Молодоженцева были организаторами цикла бесед из истории русской поэзии, которые Татьяна Бек и Евгений Рейн провели в стенах Университета. Во время одной из таких бесед родилась мысль подготовить и издать антологию поэзии физиков Дубны.

И опять главную тяжесть по составлению и написанию предисловия к книге «Физики-лирики», изданной в Дубне в 2002 году, берет на себя Татьяна Бек. Берет бескорыстно, очень бережно относясь к любому проявлению поэтического начала в человеческой душе. Она героически перелопатила целую гору рукописей, которые мы, дубненские стихоплеты, ей принесли. А ведь еще были ее собственное творчество, педагогическая нагрузка, работа в периодических изданиях. В это же время Татьяна много делала для подготовки телепередач, статей, вечеров к

100-летию своего знаменитого отца. Первые дни работы над книгой она неистово страдала, пытаясь в море дневниковых, альбомных, «датских» зарифмованных строк выловить подлинные стихи. А потом успокоилась — выбрала жанр «физики Дубны (не будем спорить: мистика места существует и нашу жизнь таинственно окрашивает) как лирики!». «Пусть каждый будет представлен в этой книге хотя бы одним четверостишьем. Расслышать эти голоса во всей их непритворной честности и самобытности — это уже во власти читателя», — решила она.

Примерно в начале 2004 года Татьяна попросила показать ей лаборатории Объединенного института ядерных исследований Дубны (до этого приезды ее ограничивались сугубо лирической обстановкой встреч с друзьями и читателями). В Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова она общалась с академиком Ю.Ц. Оганесяном и директором лаборатории М.Г. Иткисом. Ей показали ускорители и рассказали об открытии острова стабильности в мире сверхтяжелых элементов. В Лаборатории теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова я постарался описать Татьяне, как работают теоретики.

«О интеграл! Ты — заиграл» — Татьянин экспромт на подаренной мне книге ее стихов.

«Я рада, что сделала что-то хорошее для этих людей», — призналась мне Татьяна после экскурсии по лабораториям Института.

А один интересный замысел (если бы только один!) остался нереализованным: Татьяна очень хотела начать выпуск альманаха (или журнала!) — трибуны для ученых и поэтов. Не совсем «физики-лирики», а ученые и поэты — единомышленники. Мы обсуждали, что хорошо бы привлечь к этой затее Владимира Захарова, Дмитрия Сухарева, Валерия Миляева, Михаила Пекелиса и других ярких ученых и самобытных поэтов.

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИШЕМ...»

Февраль 2005...

В день, когда Пушкин был ранен на дуэли, пришла в Дубну внезапная и невыносимая весть — не стало Татьяны Александровны Бек. Не выдержало ее сердце, доброе и ранимое.

Траурный зал Боткинской больницы. Много народа. Татьяна лежит в платке — красивая. Проводы, поминки, разговоры вокруг внезапного ее ухода... А воображение упорно рисует одну картину: лето, Дубна, набережная Волги, и она — улыбающаяся и радостная в окружении любящих ее друзей.

Прости и прощай, милая талантливая Татьяна.

Дубна помнит и любит тебя — как верного друга физиков-лириков....

*Дубна  
сентябрь 2005*

# ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ

## ДОРОГОЙ ПОДРУГЕ ПО НЕСЧАСТЬЮ, ОНО ЖЕ — СЧАСТЬЕ...

В прошлом году я на несколько месяцев согласилась возглавить глянцевого журнальчик, посвященный программе телевизионных передач. В редакции в беспорядке валялись случайные запятые и придаточные предложения, разгром русского языка был завершен — наступила понятная эпоха семантического беспорядка и синонимической нищеты. Издатели ходили с еще не зажившими шрамами от фронтальной лоботомии. Один из них постоянно повторял: «Будем делать журнальчик на уровне плитуса!»; второй, закончивший на отлично курсы бальных танцев и имеющий бабушку — учительницу начальных классов, предъявлял претензии более высокие: «Зачем вы завели рубрику «Игра в бисер»? Даже моя бабушка сказала, что разводить в солидном журнале курсы кройки и шитья не годится!»

И все-таки несколько моих друзей — Николай Крышук, Самуил Лурье, Виктор Кузнецов, Алла Мелик-Пашаева и Таня Бек согласились печататься в этом журнальчике только для того, чтобы поддержать русский алфавит.

Таня писала в это время воспоминания «Вспышки памяти», в которых угрюмая тоска детства, оби-

да на мать, жалость к отцу, — из всего этого и выростала, наверное, угловатая и упрямая поэзия Татьяны Бек, — перемежалась смешными новеллами о друзьях-литераторах... И вдруг проскальзывало ужасное недовольство своей внешностью. С тревогою хористики всматривалась она в зеркало и, прекрасно зная, что не в этом дело, все-таки именно в этом находила ответы. Цитирует знаменитого критика (у него отвратительная жена, прогуливающая норковую шубу на митингах; Татьяне Бек она советует: «Если хочешь творчески влиять на их (студентов. — Е.С.) развитие, то нужно стричься у более дорогого парикмахера»): «Поэтесса должна быть обязательно красивой. Если бы Ахматова не была стройной и красивой, ничего бы из нее и вообще из акмеизма не вышло». Вспоминает, как Раневская за удобу и вытянутость на грани шаржа называла ее мадемуазель Модильяни и добавляет: «Теперь я уже ближе к мадам Рубенс». За несколько дней до смерти Таня, страшно переживавшая из-за перелома ноги, написала, что один из приятелей утешал ее так: «Поэтессе совсем неплохо иметь что-то от Черубины де Габриак...» И боялась стать старушкой с палочкой...

В глянцево-журнальчике, где большинство авторов разговаривали примерно так, как разговаривают рыбы, превращаясь в уху, Танины тексты вызывали раздражение и желание дать им отпор по всем абзацам. Николай Крышук прокомментировал это так: «Мы со своими изысками вечно выглядим дураками перед идиотами». Я смогла Таню, как и других моих друзей, опубликовать только два раза; тут, впрочем, и меня выгнали в назидание тем, кто пытался приподняться над плинтусом.

Таня немедленно предложила мне не унывать, а печататься в изданиях, где она служила, — сначала в «Вопросах литературы», а потом в «Независимой».

Из журнала она, приняв несколько моих материалов, уволилась, а в газете даже один раз успела меня опубликовать.

В марте прошлого года Таня писала еще почти весело и готова была к удивлению и впечатлению...

«Дорогая Лилечка!

Прочла Ваши стихи и дневник. Мы с Вами — очень близкие и в чем-то похожие люди...

Пишите чаще и меня не забывайте.

...Я, наверное, в ближайшее время поеду впервые на десять дней в Израиль. К друзьям. Представляете?

Даже волнуюсь.

Кстати, эти стихи в Ваших стихах («Мы с тобою вместе мечтали пошляться по Таврии/(Ну, по Крыму по-русски),/ А шляемся по границам...») — были в юности из моих самых любимых...

С Женским Вас днем имени Клары Цеткин. Он идиотский, но все же существует и ни в зуб ногой.

*Ваша Таня Бек».*

Впервые Таня написала о моих стихах в 1979 году, в журнале «Литературное обозрение», и с тех пор у нас у обеих было непрерывное чувство родства, то вспыхивающее письмами, то затихающее до приветов через общих знакомых. Посылали друг другу стихи. Однажды в моем длинном стихотворении Таня выделила:

Мне отсюда кресты на кирхах  
Славно блещут, как якоря.  
Листья машут земле: земля!  
В плащ-палатках солдаты-опята.  
Раскрывай ворота-объятья,  
да пошире...





## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

«Сюда!» Погодите до срока.

А ныне

В казенном жильё

Я проклята. Я одинока.

Я лампу гашу на столе.

Она настаивала на том, что ничего документального в ее стихах нет, что все это метафоры и образы, и пыталась бодриться и радоваться жизни и ценила по-настоящему только бессмысленно-счастливый разговор о литературе, но в какие-то моменты откровения или слабости сознавалась, что все до последней буквы правда, и никакой другой правды, кроме правды стихов, и не существует на свете. Да, она была одна, и бывший муж, как-то заглянув к ней в гости, сказал: «Да.. Бедновато живут поэтессы!» И в том, что Таня выделила эту фразу, придумала или запомнила, была такая понятная женская обида, вытряхивающая стихи в жизнь, была та физиологическая правда, которую сразу чувствуешь по запаху строчки. А бывший муж, на самом деле, рассказывает, как был счастлив с ее стихами, как дышал ими и жил, как любил ее в стихах, боготворил, но реальность помешала... та реальность, которую она опять вздернула на виселицу стиха.

Любовь она сразу и навсегда приняла как трагедию. Как трагедию одиночества.

На одной из книг Таня написала мне: «Дорогой Лиле — от подруги по несчастью (оно же — счастье) писать стихи». Там строчки:

И Крылов, изнывая в камне,

Над парадом царил зверья.

...Вся навырост,

вся велика мне

Исступленная жизнь моя!

О, — немедленно откликнулась я, — так и у меня же есть! «В летних сортирах укрылись фигурки в Летнем саду. Дошчатые щели желтеют на белом снежке. Только дедушка Крылов сидит открыто, один. Всё ужинает и ужинает, пока не отобедает. Скоро снег растает, и увидишь варежку с задумчивой прорехой. Такая задумчивая, что спит».

Какая тут связь? Не знаю. Никакой. Но несчастье почему-то точно одно.

За полтора месяца до смерти Таня попросила меня написать рецензию на антологию женской поэзии «Московская муза». Я, как всегда, начала писать о себе: «Пахнет пудрой, кольдкремом, папильотки рожками торчат. Чехов, проходя, злобно говорит: «Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку да спала бы в погребе...» И-и-и, не извольте беспокоиться, и вовсе не спала, и утром мертвой встанет, а если останется в ней хотя бы пригоршня жизни, то тут же истратит на рассвете — на расстреле, например, в душевой газовой камеры, в самую последнюю долю секунды успев еще сравнить с серым мертвым подсолнухом, отвернувшимся от солнца, дуршлачок душа... Женщины, сбившиеся в крик, в колтун, в ненастье слов, ведомые за собой слова, как детушек, крепко сжимая в ладонях приставки и суффиксы...» И вдруг уткнулась, как в тупик, в Танины строчки:

Я на вашем бы месте молчала, —  
Жадно пьющие воду с лица!  
Мне юродство открылось, как чара,  
Как последняя воля бойца —  
Захочу, прочитаю с начала,  
Захочу, начинаю с конца.

Нет, я не ошиблась: тема внешности звучала все сильнее, все обидчивее.

«Лилечка, привет...

...А я тем временем дико сломала ногу дней пять назад. Подробности опускаю. Гипс — под названием «сапог», до колена. Костыль под мышкой. Домашний арест (хорошо, что не больница) минимум до Нового года.

Ладно. Надо и это пережить с достоинством. Зато вынужденно малость остановлюсь в своей беготне по городу и, может быть, сосредоточусь в вынужденном отшельничестве.

Хотя отшельничать тоже не выходит — «идут ходочки к Ленину...», а я им открываю дверь, прыгая на одной ноге.

Как Вы? Какие новости?

Остаемся на связи.

*Ваша Таня Бек».*

«Дорогая Таня! Писала ли я Вам, что в феврале сломала обе руки? Это я к тому, что Ваше состояние мне очень и очень понятно. А то, что Вы прыгаете, даже хорошо — эти неудобства помогут Вам сохранить физическую форму к моменту снятия гипса. Словом, держитесь!!!

*Сердечно Ваша Лиля».*

«Лилечка, руки Ваши зажили?

Я ужасно боюсь остаться хромой на старости лет, с палочкой... Один мужик мне сказал: поэтессе не повредит немножко от Черубины.

*Целую. Таня».*

Перелом совпал с разрывом с самым близким товарищем. Таня писала об этом разрыве с такой болью и ужасом, что почти не было слов ей отвечать.

«Дорогая Лилечка!

Мне через три дня снимут гипс — и с трепетом жду: что под этим гипсом обнаружится? Полное исцеление или нечто недозажившее, сросшееся вкривь-вкось?

Надоело шататься по квартире на костылях и — хотя я ужасно стараюсь НЕ, — но обременять близких.

Что касается NN: то, что нас всегда резко различало, но — компенсировалось общим восторгом перед поэзией и иными загадками нелепого бытия, — внезапно поменялось местами и вошло в невыносимую пропорцию. Раз — и отрезало. У Вас так бывало? Пишу Вам еще и потому, что NN всегда о Вас очень хорошо отзывался. Впрочем... все это уже как из другой жизни.

*Пока — пока! Ваша Таня Бек».*

«Танечка! Долго думала над Вашими словами о том, как разом рвутся отношения. Мои отношения с людьми чаще всего заочные — мы созваниваемся, переписываемся, редко-редко встречаемся. Я мало знаю своих близких. Иногда, конечно, подойдешь к человеку вплотную — ужас охватывает. Я не люблю обнаженности — душевной неряшливости, простоволосых жалоб, истерик, криков, вседозволенности откровений. Мне делается стыдно, душно, нехорошо. А без этого дружба редко бывает. Я сама страдаю всеми пороками дружбы, вечно жалуюсь, звоню в три часа ночи и требую помощи, шантажирую безнадежностью состояния, зато другим этого не прощаю, злюсь... Еще между мною и моими друзьями порой стоят их жены — нервные индюшки, которые никогда не ревнуют — может, это и обидно, но не мне, — но умеют как-то все-таки портить отношения. Иной раз возникает ощущение, что все хорошее от той или этой дружбы ты уже получил, оно в тебе, а осталось только плохое, а бывает несовпадение ритмов — твой товарищ требует от тебя бешеной энергии, а тебе хочется лежать на

диване и мечтать о прошлом. Я знаю, что NN очень высоко Вас ценит, любит и по-настоящему уважает, мне кажется, Ваш с ним внутренний разрыв зарастет, останется шов, но дружба все-таки восстановится.

*Обнимаю. Ваша Лиля».*

Потом Таня как будто успокоилась...

«Лилечка!

...Я живу хорошо, к костяной ноге приспособилась, во всем есть свои плюсы. Я что-то последнее время неадекватно забегалась по ненужным мне делам и навязанным тусовкам.

А теперь я — законный и почетный инвалид.

Когда исцелюсь — все равно обратно включаться в беготню не буду. Хватит.

*Пишите. Ваша Таня».*

«Дорогая Таня! У нас «Провинция справляет Рождество», из моего окна слышен запах глинтвейна и хвои. Моя мама обожала глинтвейн, варила его и уверяла, что его можно и даже нужно пить чайными чашками, хотя, по-моему, это просто сорт домашнего портвейна. Как Вы себя чувствуете? Как, главное, нога?

Поздравляю Вас со всеми праздниками, прежде всего с наступающим Новым годом.

*Лиля».*

«Лилечка! С Рождеством и с Новым годом...

Нога выздоравливает. Надоело страшно.

Надеюсь, что под Новый год гипс снимут, а там и все устаканится.

Эти четыре недели войдут в мою личную историю как очень своеобразное и, по сути, счастливое время жизни. Я — отдохнула от привычной беготни, опять стала писать стихи, много просто слушаю музыку или смотрю видик...

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

Убедилась в изумительной доброте многих людей по отношению к себе, грешной...

Короче, нет худа без добра.

*Остаюсь Ваша Таня Бек».*

Она была прекрасна, но ей хотелось быть красивой. Жизнь убийственна; диагноз: обширный инфаркт.

Где я мяла себя и несла  
В одинокий свинец поднебесья.  
...Что мне, недруги, ваша стрела,  
Если самоубийственна песня.

Однажды мы с Таней договорились созвониться. Она сняла трубку и как-то хлопотливо и даже нервно попросила перезвонить через полчаса, поскольку у нее внезапный посетитель. Я со свойственным мне педантизмом перезвонила именно через тридцать минут. Таня опять перенесла разговор на полчаса, объяснившись навязчивым гостем. И вновь я была точна. И в третий раз разговор был перенесен. Четвертый раз я позвонила с обидой и готовностью к разрыву. Таня развеселилась: «Лиля, да мы тут просто выпиваем, и всякий раз по последней, и ваши полчаса — важнейший рубеж, который мы клятвенно договариваемся не переходить».

В зеркало смотришь — оно пустое.  
Сны полоумствуют. Явь крива.  
...Много ли проку в твоём настое:  
Слёзы, и водка, и трын-трава?

«Лестничный пролет между этажами. Тусклый зимний солнечный свет со двора в окно. Тайные срамные игры. Разоблачают. Наказывают. Лишают елки. Страх, что «все узнают» (— А почему ты в этом

году без елки?), синяя юбка «плиссе», а верх как матроска, короткие чулки в резинку, сказки братьев Grimm, манная каша с рыбьим жиром, тетя — моя любимая Мика, — с которой мы разучиваем на ненавистном пианино ненавистного Гедике.

А лет двадцать пять спустя мама, искренне изумляясь, спросила не без обиды:

— Откуда у тебя в стихах словосочетание «ужас детства»?

— Оттуда».

Господи, да разве не у всех было именно так: летом во дворе рос куст с зеленым, плохо выбритым крыжовником, зимой его ветки становились похожими на провода в белом блестящем токе снега, искрили; мальчик по имени Феликс катал на финских, с высокой спинкой андерсоновских санях, прошептал: «Их либе дих!»; примчалась домой, мама у печки гладила белье, ударила плечиками для крепдешинового платья и закричала отцу: «Иди полюбуйся на свое воспитание!»

Так все и начинается... Много лет назад Эдвард Радзинский сказал мне, что возвращенческий ужас Цветаевой был помножен на бессилие возраста: она уже была седой, измученной, она уже не могла бросить им в лицо свою красоту, а для женщины это означает полную гибель всерьез. Я не поняла тогда. В молодости мне не раз говорили в редакциях, что, мол, известно каким способом хотят проникнуть в литературу хорошенькие поэтически и я, капризная, мечтала о тех временах, когда меня будут встречать и провожать только по строчкам. По строчкам и провозжают.

Еще молодой Татьяна Бек написала:

...Я воссоздам вот эти годы  
безжалостно, сердечно, сухо...  
Я буду честная старуха.

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИШЕМ...»

Эмма Герштейн в недоброй книге воспоминаний пишет, что Ахматова однажды надсадно и неискренно прокричала ей: «Эмма, я хочу внука!» Конечно, не хотела. И Цветаева никакого сказочного внучонка Егорушку захотеть не могла — только в стихах, да и то с лукавым, притворным ритмом. И Татьяна Бек не верила в свое старушество, скорее в смерть.

Она была талантлива, а талант — это, к сожалению, незаразно.

*Таллин*



# ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ

...ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

На книге своих переводов из итальянской поэзии, подаренной несколько лет назад Татьяне Бек, я, как водится, после даты или перед датой указал место «дарения», обозначив его так: «Мурманск — Москва — Малеевка — Рим — Флоренция — Москва, далее везде». Привожу «географию» по памяти, допуская возможность иной последовательности или отсутствия в указанном маршруте одного или нескольких «транзитных» пунктов (хотя, скорее всего, в автографе их было меньше). Но за «Мурманск» и «далее везде» могу поручиться.

Таню мне представила ее мама, сначала представившись сама, на перроне Ленинградского вокзала, у вагона поезда Москва — Мурманск. Это было осенью 1967-го года. Бюро пропаганды советской литературы при Союзе писателей составило небольшую группу для участия в областном молодежном фестивале в Мурманске (то ли «Северные зори», то ли «Северное сияние»). Из членов группы, в которую входили, включая меня, пять человек, я знал только одного — своего друга Николая Борисовича Тома-

шевского, критика-итальяниста; второго товарища по группе, поэта Игоря Жданова, я видел до этого лишь раз в большой компании, так что мое знакомство с ним трудно было назвать даже шапочным, а Таню Бек и руководительницу группы, редактора издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», чью фамилию давно забыл, мне предстояло увидеть если не на перроне, то уже в поезде.

Мы с Томашевским курили у входа в вагон, когда к нам подошла незнакомая женщина и спросила, кто из нас Женя Солонович. «Я мама Тани Бек», — объяснила она и, извинившись перед Николаем Борисовичем, отвела меня в сторону (сама Таня в это время смущенно топталась поодаль). «Я слышала о вас как о порядочном молодом человеке, — доверительно сообщила мне Наталия Всеволодовна, — и хочу поручить вам мою дочь. Она еще маленькая, вы уж, пожалуйста, присмотрите за ней», — и подозвала Таню. Скорее всего, слова были другие, но смысл — в точности такой. О причине маминого беспокойства я догадался сразу: репутацию двух моих товарищей по предстоящему путешествию трудно было назвать репутацией трезвенников, и хотя я тоже употреблял не только безалкогольные напитки, «информаторы» Таниной мамы, должно быть, рекомендовали ей меня как наименьшее зло.

Таня училась тогда в десятом классе. Она уже печаталась — ее стихи публиковали «Юность» и «Новый мир». Одну из публикаций я до этого видел, но по-настоящему с Таниными стихами познакомился, что называется, на слух во время поездки по Кольскому полуострову. И на слух они мне понравились больше, тронув той безусловной искренностью, которая со временем сделала Поступком каждое публицистическое выступление Тани, каждую ее рецензию и, разумеется, каждую новую книгу стихов.

Мужская часть группы сразу прониклась к Тане симпатией, и до конца поездки мы делали все для того, чтобы рядом с нами Таня чувствовала себя комфортно и, главное, уверенно. Наше расположение к Тане и та трогательная естественность, с какой она вписалась в мужскую компанию, вызывали ревность у руководительницы группы, и я слышал, что по возвращении в Москву строгая сотрудница издательства ЦК ВЛКСМ дала Тане не очень лестную характеристику в казенном отчете о наших мурманских «гастролях».

Мы выступали в Мурманске и в Североморске (на военных кораблях), нас возили еще в какое-то место, где Игорь Жданов (он мужественно вызвался подняться на сцену первым) читал стихи в пустом клубе: в заднем ряду, съезжившись от холода, сидела единственная слушательница, местная старушка, и мы дружно решили, что с нее хватит одного поэта. Клуб, как нам сказали, был в двух шагах от колонии для малолетних преступников, и, вспоминая неблизкий путь на уазике в два конца по тряской дороге через темную тундру, Таня годы спустя любила упомянуть при случае, как она читала стихи малолетним правонарушителям, да и меня не раз спрашивала, помню ли я, с каким интересом они нас слушали. И хотя я уверен, что выступление в самой колонии — плод Таниной фантазии (у Тани была прекрасная память, чему за годы нашей дружбы я получил немало подтверждений), я подыгрывал ей неизменным: «Конечно, помню!»

Сколько времени мы провели на Кольском полуострове? Неделю? Чуть больше? В любом случае, о том, что мы побывали там, никто из нас (включая, думаю, нашу руководительницу) не жалел. Нам было интересно и весело. Уже через много лет Таня (а вот и пример ее хорошей памяти) напомнила мне, как едва ли не прямо с поезда нас привезли знако-

мать с секретарем Мурманского обкома то ли партии, то ли комсомола, и как нас 마리новали в его приемной, и как я, произнеся «первый блин обкомом», отправился в соседнее кафе, к радости последовавших за мной Николая Борисовича, Игоря и Тани. Походов в кафе было много, и согревались мы там не только чаем: при двух-трех выступлениях в день нам требовался традиционный российский допинг. Слушая друг друга по много раз, каждый, естественно, уже на второй день знал наизусть «репертуар» другого, и одной из наших любимых шуток в те дни стало обсуждение предложения (неважно, чьего именно) меняться авторством, чтобы Таня, например, с мужественным напором читала стихи Игоря: «На сейнере нас было семеро...», а Игорь — нараспев, ностальгически-трогательно, Танино «Я хочу обратно в детство, в дом на улице Песчаной...». Но на очередном выступлении стихи про сейнер на Севере я в очередной раз слышал в чтении Игоря, а на Песчаную, в свое детство, меня опять возвращала Таня...

Через много лет Н.Б. Томашевский, Таня и я с удовольствием вспоминали Мурманск в Риме, где мы оказались независимо друг от друга: Таня приехала в Италию с Михаилом Пляцковским для участия в международных вечерах поэзии, Николай Борисович — погулять (под каким-то предлогом, признанным в Союзе писателей СССР серьезным), а я — на международную конференцию, посвященную итальянскому поэту Джузеппе Унгаретти). Мы с Николаем Борисовичем зашли за Таней в гостиницу и, не очень вежливо отшив безобидного Мишу Пляцковского, повели ее на Кампо деи Фьори, площадь, где в 1600 году взшел на костер Джордано Бруно. О чем говорили во время довольно долгой прогулки, не запомнилось, а то, как жадно Таня смотрела по

сторонам, помню хорошо. В Таниных стихах об Италии, последнее из которых она посвятила мне, нет дежурного туристического набора, а есть обычное для нее как поэта соотнесение себя с миром людей, где бы судьба ни свела ее с ними, — за столом собственной кухни или на римской улице.

В апреле 2005 года несколько Таниных стихотворений, посвященных Италии, опубликовал в итальянском переводе миланский журнал «Poesia». Номер престижного итальянского журнала с ее стихами и фотографией мог стать хорошим подарком Тане ко дню рождения, но, когда этот номер вышел, Тани уже не было в живых. Танины стихи любовно перевела Мирелла Меринголо, которая стажировалась у меня в Литературном институте и которой я посоветовал ходить на поэтический семинар, который Таня вела в институте вместе с Сергеем Чуприниным. Придирчиво читая Танины стихи в переводе Миреллы, я вспомнил вопрос, однажды заданный мне Таней: «Помогает ли тебе при переводе личное знакомство с переводимым поэтом?» Вариант ответа мог быть только один: «Конечно, помогает». И думаю, что, переводя Танины стихи, Мирелла слышала в душе ее голос и вспоминала, как Таня (для нее Татьяна Александровна) анализировала на литинститутских семинарах строки своих учеников, опираясь на прекрасное знание русской поэзии и на собственный поэтический и литературоведческий опыт, обогащенный опытом читательским.

Я знал, что Таня любит Слуцкого, и помню, как она обрадовалась, когда я однажды, лет пять назад, спросил у нее, что нового об этом большом поэте, одном из крупнейших русских поэтов второй половины XX века, появилось за последнее время в нашей критике. Исчерпывающий ответ на мой во-

прос Таня сопровождала своим вопросом: «А ты знаешь, что Слуцкого высоко ценил Бродский?» Не думаю, что отношением Бродского к Слуцкому Таня хотела «оправдать» свою любовь к поэзии Слуцкого: по мне, в ее вопросе звучало торжество сопричастности.

В 1999 году Таню пригласили во Флоренцию для участия в вечере из цикла «Поэты во Флоренции». Куратором цикла был мой друг миланский поэт Маурицио Кукки, который попросил меня порекомендовать кого-нибудь из русских поэтов для программы очередного вечера, добавив, что предложенного мной поэта должен буду представить публике я (в мою роль будет входить слово о поэте, чтение переводов его стихов на итальянский, а также языковая поддержка его общения с залом). Почему я предложил Танину кандидатуру? Ну, во-первых, во-вторых и в-третьих, потому, что считаю ее безусловно хорошим поэтом. А в-четвертых, помня мурманский опыт, я знал: среди известных мне поэтов лучшего спутника не найти.

Мое предложение итальянцы приняли. Итак, я выбираю и перевожу стихи, которые, на мой взгляд, наиболее подходят для чтения в итальянской аудитории. Обсуждаю свой выбор с Таней. Обдумываю, как представлю ее флорентийцам. Я уже знаю, что вместе с Таней должны выступать американец Марк Стрэнд, которого будет представлять его итальянская переводчица, и итальянец Валерио Магрелли. Оба — известные поэты, а стихи Стрэнда к тому же высоко ставил Бродский.

Встречаемся с Таней во Флоренции (она прилетает из Германии, куда поехала раньше — кажется, поработать в Доме творчества под Берлином, я — из Москвы). По теплоту во всех отношениях городу гуляем уже втроем: из Милана приехала повидаться со

мной моя коллега и добрая приятельница Ляля (Елена) Костюкович.

Боясь ошибиться, я не перечисляю стихи, прочитанные Таней на поэтическом вечере во Флоренции. С уверенностью могу сказать, что про честную старуху — было. И что было про итальянских старух («В Италии живут могучие старухи, / Которым нипочем душевная болезнь!»). И что было также «Вечно манили меня задворки...» — гимн скромной красоте внешне несовершенных форм, свидетельство душевной зоркости и щедрости автора:

Я красотой наделю пристрастно  
Всякие несовершенства эти...  
То, что наверняка прекрасно,  
И без меня проживет на свете.

В книге «До свидания, алфавит» Таня привела отзыв слушателей о стихах, которые она читала в переполненном зале флорентийского фонда «Фьоре»: «В 1999 году я выступала во Флоренции на поэтическом фестивале. Переводил меня сам Евгений Солонович (он подтвердит) — по окончании читки ко мне подошла группа итальянских товарищей и устами некоего лидера с футуристическим шарфом вокруг шеи сказала (Е.С. перевел):

— Ваши стихи легли нам на душу, как сыр на спагетти».

С удовольствием это подтверждаю, позволив себе маленькое уточнение: был назван сорт сыра — знаменитый пармезан.

# РОМАН ТИМЕНЧИК

## НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ ТАНИ БЕК

Таня еще не отошла в область воспоминаний. Еще длится тот год, с приходом которого она писала по электронной почте:

«Итак, (...) встречаем Новый год Петуха. Говорят, он, сей Петух, будет постоянно нести золотые яйца. Одним из радостных моментов в 2004 году была для меня поездка в Израиль. Быть может (тьфу-тьфу!), прилечу и в 2005-м... Вы меня не забывайте, мои дорогие! Вся Москва (и я тоже) помешалась на теме «Туркменбаши». Рекордная гримаса мистической Обезьяны уходящего года, не так ли?»

Она жила в литературе — уж какая выпала на ее век, — и приглядывалась к тому, о чем сказано «мимо, мимо!», — но может вдруг зачем-то пригодиться будущим историкам литературы. Письмо апреля 2004-го:

«Премия имени Пастернака прошла в Бетховенском зале Большого театра, который, я думаю, при всем своем советском опыте та-а-акого маразма не видал.



Каждый из премиантов (включая моего бывшего студента) говорил речь. Демидова читала «Гамлета». Пианистка играла Шопена... Это-то все ничего. Но в зал пришли с опозданием Пал Палыч Бородин, а потом и Церетели. Их приветствовал со страстью В., сравнивая себя с Юрием Живаго, а их с Живагиным родственником, который «поддерживал Юрия в трудные дни». О, надо было видеть страдальческое лицо Евгения Борисовича [Пастернака], сидящего в зале.

Гаспаров — чудо красоты и скромности. Он сидел в первом ряду и был непроницаем.

Я же сидела в президиуме, а Церетели принял меня за знакомую грузинку (так я была экипирована плюс длинный нос) и дико мне махал рукой, а на фуршете сказал: «Рад вас наконец снова видеть, и как наши в Тбилиси?» Я не стала его разочаровывать и просто улыбалась.

Но главное не это. Главное, что, выпив рюмочек десять водочки, молодой поэт (весьма одаренный и неуравновешенный) с диким криком «вы — хам» бросился на редактора одного журнала, который раза в два старше, и вообще хамство — еще не повод для драки в Большом театре. Он в грязь лицом не ударил — ответил. Полетел на пол огромный поднос с закусками, поэт и редактор покатались по паркету, очки разбились, косточки захрустели... Все полетели к ним поближе, а З. на крыльях любви с криком: «Только не моего!» (в смысле деритесь в свое удовольствие, только бейте не моего). Подоспели охранники. Всех разняли. Снова выпили. И закусили.

Таким образом, как сказал кто-то из гостей, «есенинские традиции возобладали над пастернаковскими»».

Или:

«NN получил очередную премию и, говорят, — кто видел по TV, при вручении сжимал в объятьях и це-

ловал П. как молодой любовник. Каково? Неисповедимы пути Господни...»

Когда Таня бралась за историю литературы недавнего прошлого, она делала это осторожно, я бы сказал, деликатно, и ненавязчиво обозначала свое отсутствие во временах и обстоятельствах, о которых писала. Она, мне кажется, культивировала в себе дистанцию недопонимания и любила обставить нервный комфорт исторического алиби всякими пустяковыми и мнимо необязательными деталями прошлого. Последние она умела извлекать из людей. Среди ее литературных субпрофессий была и та, подходящее название для которой еще не устоялось. Конечно, не «интервьюер», но кто? — вопрошатель? совопросник? — профессионал, который может побудить человека рассказать то, что тому кажется несущественным, личным. Таня писала мне:

«Я это делаю — как только чувствую некий внутренний драйв и кураж. Без них ничего не получается — и «они» мне не исповедуются. А когда я в провокативной форме, — раскрываются как миленькие. Это у меня от папы, про которого Шкловский сказал еще до войны (был такой «Кабинет мемуаров», где они все подрабатывали): «Бек вскрывает людей, как консервные банки!» Жаль только, что баночки в основном — с килькой в томате, ежели не совсем пустые».

Работа эта («беседы в моем стиле») была, по ее словам «очень интересной, но соковыжимательной».

Весной 2004 года она прочитала кусок из моей книги об Ахматовой.

«Как там много всего — с диалогами, тайными монологами, снами и сюжетными всплесками. ...Она

сама любила любовь, как бы это сказать, не несчастную, но не синхронную, когда чувства любящих не совпадают во времени. Потому они так часто общаются через сны, предвидения и прочее. Такой напряженный коллаж времени, что становится дурно и что удивляешься: как люди все-таки выжили, не озверели окончательно, даже что-то в себе сохранили человеческое... Мне очень хочется помочь тебе в этой работе».

И Таня стала мне помогать. Один поэт, по Таниной аттестации «весьма характерный графоман с имитацией стихотворной техники», на один из заданных ею по моей просьбе вопросов ответил: «Полагаю, это едва ли может заинтересовать пытливого исследователя». И Таня написала: «...я теперь тебя буду называть Пытливый Исследователь, да?», а письма подписывала *«Пытливая Последовательница Пытливых Исследователей»*.

Я просил ее встретиться и «разговорить» разных людей, знавших Ахматову. Разных — это слово здесь значимо. Люди были именно что разные. Один — цитирую Таню, — «говорливый старик — милый, не большого, но все же очевидно крепкого ума, “коммунист с человеческим лицом”», другой — «...родственники с ним не разговаривают (он мне на это жаловался). Он давай засыпать меня постоянными звончками по теме «Мы пахали...» или «Скажи-ка, дядя...» Намеки на мою некоторую занятость он пропускал мимо ушей и пару раз по-гебешному рывкал. Пришлось мне артикулировать ему наше экзистенциальное отчуждение!»

За умение «разговорить» приходилось расплачиваться. Мне, естественно, было неловко, что из-за моей просьбы Таня оказывалась подвергнутой совершенно ненужным ей телефонным налетам («Вчера я послала очень жестко некую русскую кра-

савицу, один голос которой вгоняет меня в ужас. Она звонила сообщить, что у нее есть 2 папки материалов, но она, мол, не получила какой-то грант и не могла бы я... У нее такой голос, будто ей все должны и будто она тянет из тебя “пункцию энергии”»). Утешал я себя тем, что зато, может быть, когда-нибудь она сделает на ахматовскую тему книгу «бесед в ее стиле», когда она, по ее словам, «выживала зерна из дикого изобилия иной породы».

В Таниных записях интересна даже не фактографическая информация («зерна»), сколько созданный цепко зафиксированными легкими речевыми жестами портрет каждого опрошенного. Вот беседа с бывшим советником по вопросам культуры и информации в советском посольстве в Англии:

«Вы дочка того самого Бека? Хороший был писатель и журналист. Я его книжку помню во время войны — она была издана как брошюра.

Вы ко мне можете приехать — я буду рад, — но полчаса я смогу на эту тему говорить (ответ на мою реплику, что, дескать, повспоминайте полчаса) только с учетом того, что я делаю большие паузы и постоянно повторяю одно и то же. Старость, знаете ли...

Послом тогда был Солдатов, великий посол в Англии, всем послам посол. Умница, прекрасно знал литературу. И была у него чудесная жена — Руфина Борисовна Солдатова, она и сейчас жива. Я помню обед в посольстве у Солдатова, специально организованный в честь Анны Андреевны. Был Солдатов, Руфина, я, Ахматова и молодая девушка, наверно, ее сопровождавшая. У нее сколько мужей было? Так вот это родственница того, которого репрессировали. (Я поясняю.) Да-да, Пунина. Ее падчерица.

Да, было это уже 40 лет назад. Я еще был молодой. По сравнению с Ахматовой. В 18 лет я был гвардии лейтенантом, командиром взвода...

Когда Ахматова приезжала, я, как ни странно, оставался очень стеснительным и робким. И вообще, в присутствии посла говорил он, а не я.

Я больше общался с ее сопровождающей. Да, за-был ее имя-отчество. Мне тут недавно передали, что по телевидению был фильм об Ахматовой и что там сказали, что на перроне их встречал я, я понял: автор — только она. Пунина. Вы учтите: я с 17-ти лет в армии, в 21 год был ранен немецкими танками...

Да, на перроне в Англии.

Когда они были в Лондоне (собственно — один день, потом они поехали в Оксфорд получать мантию), то оттепель уже кончалась... Она кончилась со смертью Хрущева, но он и сам, еще будучи у власти, начал ее сворачивать... Позорный разгром художников...

А эта Пунина, по моим сведениям, потом защитила докторскую. Вот с нею я больше общался, чем с Ахматовой. Вечером в гостиницу заезжал, в машину сажал, ездили по пабам. Пили, наверное, джин... Или виски... (*раздумчиво и ностальгично.*) Анну Андревну мы поместили в очень хорошую гостиницу. Названия теперь не помню, но в ней позднее жил Косыгин, когда он в Англию приезжал. Она вечером осталась в гостинице и там сидела, а мы с молодой гуляли...

Мне кажется, англичане ее сделали почетным членом лет за 10 до этого... Все это (*с самоиронией*) — при нас, при большевиках...

На другой день она поехала в Оксфорд. Стала Почетным членом... Да, вы знаете, что Нобелевскую премию это я Шолохову сделал?

Я хорошо помню тот момент, когда мы с Ахматовой понравились друг другу. Какой именно момент? Я ей говорю в ходе разговора за обедом: «Я уже здесь, в Лондоне, два года. А когда я сюда приехал, у меня возникло много вопросов, которые были трудно разрешимы... Например, пабликскул — платные школы...» Она и спрашивает: «А как теперь —

спустя два года?» Я ответил: «А теперь еще больше непонятных и неразрешимых вопросов». Ей этот ответ очень понравился. Я почувствовал. Тут и Солдатов стал ей меня хвалить...

Я их провожал — от посольства — на поезд обратно. Из Лондона надо было проехать севернее не более часа, потом на пароходе (до Голландии) в Европу, потом в Москву.

Было в то время такое дурное постановление для дипломатов — ездить только на поезде, а не летать на самолете. Так дешевле (*сказал не «дешевле», а «дешевше» — с сарказмом*).

Я потом, после Англии, работал в Госкомитете по культурным связям с зарубежными странами. А мой брат-близнец был замминистра... Я дружил с Шостаковичем... Если учесть, что мы с братом оба были провинциалы, то мы немалого достигли. Он умер 18 лет назад, а для меня это до сих пор непереносимо...

Да. Обед был в посольстве. На другой, насколько я помню, день после их приезда. У посла Солдатова. Когда мы обедали, мне было стыдно перед Ахматовой за свою страну... Она же была такая патриотка! Какая ошибка — постановление Жданова. И борьба с космополитами — тоже. Какой вред для нашей страны! Сталин был не коммунист, а антикоммунист. Хотя теперь вот и Яковлев нас учит (я прочел его книгу), что это идет уже от Ленина... Не знаю.

А мне было стыдно перед Ахматовой за все... Но говорил я, конечно, гордые слова».

Монолог кажется сам собой льющим, но движение рассеянной мысли собеседника отрежиссировано, и само это движение является наиболее информативным — ибо не меньше, чем ответы на вопросы, говорят нам об ахматовской жизни не-ответы, уклонение от ответов:

«Но — что характерно, — когда я его «ненароком» спросила, не встречалась ли А.А. с кем-либо в Лондоне или в Оксфорде помимо них самих, он вдруг мгновенно мобилизовался и совершенно профессионально отчеканил: «Наверное, встречалась, но нас это совсем не интересовало...»»

Как заметила Таня по другому поводу, «вообще, что-то главное в наших краях не меняется категорически. И в этом есть даже некая метафизическая верность своему нелепейшему ядру (я — о родине)».

Профессионал, погружающийся в материю живой исторической памяти (и, опять-таки, термина для обозначения этого занятия пока еще нет — «мемориалист»?), в поисках памяти наталкивается прежде всего на забвение. Непреложность этого правила, впрочем, не избавляет сталкивающегося от огорчения. О своей давней знакомой и ровеснице, дочери переводчика-китаиста, который встречался с Ахматовой, Таня писала:

«Она меня расстроила. По образованию и по профессии — искусствовед, вообще — вроде бы была нормальная особа. А теперь... Ей все до лампочки... Ничего она не помнит и, главное, вспоминать не хочет. Весь архив отца погрузила, не читая, в мешки и давно закинула на антресоли. Помнит, что была с дарственной надписью книжка ахматовских переводов, но вряд ли ее найдет в книгах... Она сказала, что родители не раз навещали А.А. у Ардовых и что ее мама, вернувшись в первый раз, была потрясена, что (записала дословно) «так бедно одетая женщина может выглядеть столь царственно»... Большого штампа не придумашь, да? Еще под конец смутно припомнила, что однажды была в гостях у А.А.А. с родителями, но абсолютно ничего не помнит. «Мне ведь было всего 16 лет», — сказала она мне, а я про

себя подумала, что в 16 уже можно было *Ахматову* разглядеть. Ну да ладно...

А о смерти ее отца мне рассказала Ирина Федоровна Огородникова: он был с делегацией китайцев где-то на Кавказе, они попали в страшную автокатастрофу и вместе с машиной сгорели. Ужас финала усугубился тем, что по китайской религии человек сгоревший получается вроде проклятого. Его душа тоже считается сгоревшей. Представляешь?»

Что значил для Тани ее отец — об этом она рассказала в стихах и прозе. Имя отца помогало ей и в этой работе, открывая двери к людям иного поколения, проживших жизнь отличную от той, к которой принадлежали любимые Танины старшие друзья. Вот ее письмо после разговора с телекомментатором Зориным, адрес которого было так неожиданно встретить в ахматовской записной книжке:

«Нашла Валентина Сергеевича Зорина. Ответ записала от руки, но почти как магнитофон — дословно:

«Да, конечно, в записной книжке Анны Андреевны — я. И я там не случайно. Мы познакомились в Комарове (год точно не помню), где сидели за соседними столиками. Я на нее смотрел влюбленными глазами. Как-то решился и продекламировал: «Я с тобой не буду пить вино...» Ей это явно было приятно. Еще я был фанатичный поклонник Маяковского и знал его всего наизусть. Мог часами читать наизусть «Флейту...» или «Облако...». Ей это импонировало, хотя она и говорила, что она не такая его поклонница.

Я тогда был еще просто молодой (*добавил: самый молодой в стране*) доктор исторических наук. Профессор МГИМО. Мой телевизионный успех только начинался. Мы так открывали стране Америку. Потом я сделал около тридцати (по часу) телефильмов об Америке.



Она их смотрела. И когда бывала в Москве у Ардовых, то несколько раз мне звонила и говорила добрые (или не вполне добрые) слова. Она говорила: «Телевидение я смотрю мало, я для него не приспособлена, но ваши фильмы смотрю».

Тут я его — постаравшись как можно деликатнее — спросила:

— А у вас с А.А. не возникало дискуссий по поводу официальной политики и вашей подачи Америки?

Он меня прекрасно понял (человек явно понятливый) и ответил:

«Какие могли быть дискуссии у Зорина с Ахматовой? Смешно. Я ее боготворил, смотрел с придыханием, ненавидел ждановскую кампанию. Порою она мне задавала ехидные вопросы в связи с политикой на телевидении. На что я ей говорил, что у меня своего собственного телевидения нет — и я, за неимением своего, работаю на государственном. Издержки — это «плата за страх», за то, чтобы протащить об Америке то, что мне важно.

Кажется, она меня понимала.

С Ардовыми и с Надеждой Мандельштам ей было проще, они были полностью свои. А ей было интересно и прощупать, какие они такие — молодые и другие...»

Еще он просил передать, что поражен мистикой. Только что вернулся из санатория, расположенного в районе Домодедова, где скончалась Ахматова. Санаторий называется «Подмосковье» — раньше он назывался санаторием Четвертого управления, а теперь — Администрации президента. Так вот. Под его окном — прямо непосредственно под — висела мемориальная доска, сообщающая, что тут тогда-то умерла ААА. Так что он каждый день об этом думал. И вдруг — мой звонок.

Вот так. «"Есть многое на свете, друг Горацио..."».

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИШЕМ...»

Среди того многого, что есть на свете, бывают и мелкие чувственные метаморфозы после ухода некоторых людей из жизни. То, например, о чем сказано у поэта, — «и странно изменился вкус вина». Для меня шампанское — столь значимый в истории русской литературы напиток — окрасилось вкусом Таиной приписки:

«...Как настроение? У меня — переменное. Завтра — день рожденья, а я давно эти деньки недолюбиваю. Пойду в Консерваторию, где выпью шампанского».

*Иерусалим  
сентябрь 2005*

# ИГОРЬ ШАЙТАНОВ

## Путь, пройденный по восходящей

В крупнейшем книжном магазине «Библио-Глобус» мне долго искали «До свидания, алфавит». Теснота, сутолока открытого доступа. Кто автор? Татьяна Бек?

Такие ли прежде бывали продавщицы в отделах мемуаров или поэзии! Они знали всех и вся. Но теперь и отдела поэзии как такового нет — то ли стенд, то ли тележка с книгами.

А что она пишет? Стихи, мемуары, эссе... В компьютере значилось, что избранные стихи «Сага с пометками», выпущенные издательством «Время» (2004), уже распроданы, а вот «До свидания, алфавит» (Б.С.Г.-Пресс, 2004) еще должны быть. И наконец, распластавшись по полу, откуда-то с нижней полки продавщица извлекла экземпляр.

С такими трудностями я покупал — впервые — книгу Татьяны Бек. Прежде она мне их дарила. Эту не успела: несколько месяцев мы договаривались о том, что передача книги должна произойти не на бегу, что нужно сесть, поговорить в кафе на Маяковской, где мы иногда пересекались в последние годы. Но то оказывалось некогда, то встречались случай-

но. А книга была важной и необычной, собравшей мемуары, эссеистику, интервью, взятые за многие годы у разных писателей, а также — «стихи вдгонку». Книга подвела итог, а о названии потом скажут — то ли предчувствовала, то ли напроорочила: «До свидания, алфавит». Так что и хотел бы написать рецензию, но она невольно превращается в статью о творчестве и в мемуары об авторе.

Мы познакомились более четверти века назад в «Вопросах литературы». Журнал нас не только познакомил, но многие годы связывал общим делом. Сначала Таня была моим редактором, а потом стала одним из инициаторов моего прихода в журнал. Она была очень настойчива в том, что именно так я должен поступить, отложив другие дела и обязанности. Получилось, однако, что вскоре после моего прихода сама она ушла из журнала...

Кроме отношений, где я выступал автором, она — редактором, подразумевались и другие, где она была поэтом, я — критиком поэзии. Отношения подразумевались, но их практически не было. Получая книги, я прочитывал, благодарил, говорил достаточно общие слова. А потом возникло ожидание чего-то близящегося, уже почти свершившегося, по отношению к чему все прежнее было лишь подготовительным. Так и произошло, но только явление поэта мы осознаем после его смерти.

Мне не раз приходилось в статьях говорить о том или ином стихотворении Т. Бек, но о ней я сказал, пожалуй, лишь однажды в связи с выходом в свет сборника «Облака сквозь деревья» (1997): «...лучшая книга современного поэта за последние годы. Ей свойственны черты столь редкого теперь классического стиля — память, достоинство и свобода; свобода не от кого-то или чего-то, свобода не против, а свобода для — для себя, для своей поэзии». В подтверждение я цитировал:

## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

Назло хороводу, отряду, салону  
Я падаю, не подстилая солому,  
И в кровь разбиваюсь, и тяжело дышу.  
Химическим карандашом по сырому  
Обрывку бумаги письмо напишу

Тому, кто в отряде, в плеяде, в салоне  
По струнке стоит и к сороке-вороне  
Ко мне — безучастие кажет свое,  
А сам обмирает — как стиснутый в зоне  
На вольное в небе глядит воронье...

То, что именно эти стихи были отмечены, автора удивило и порадовало. Татьяна Бек сказала, что не писала ни программу, ни манифест, а по вполне конкретному поводу. Однако согласна, что звучит стихотворение принципиально для ее позиции и места, выбранного в литературе. Об этом — о месте и о позиции — мы говорили не раз. О том, насколько литература обусловлена средой, бытом. Куда от него денешься, а куда-то деться очень хочется, поскольку быт подминает, навязывает литературе свою иерархию, свои правила игры, которым никак не хочется следовать: «Назло хороводу, отряду, салону...» Мы именно так общались, предпочитая — один на один — долгие разговоры, растянувшиеся в июне 2003 года на три дня поездки в Новгород, куда мы вдвоем отправились от Фонда С.А. Филатова на поиск молодых дарований.

То мое мнение о стихах Татьяны Бек отозвалось и в устных реакциях, и в интернетовских, и в печатных. Похвалу сочли неуместной, обращенной совсем не по адресу: та, кого похвалили, не заслужила, а тот, кто хвалит, обнаружил свое непонимание актуального литературного процесса. Пересмешники и иронисты, напрочь теряя чувство юмора, при имени Татьяны Бек впадали в нешуточное озлобление. Однако так реагировали не только «отряд и салон», Бек враждебные,

для кого она выступала хранительницей традиции, которую они торопливо, поспешно хоронили и весело поминали. Как будто бы благополучная литературная судьба Бек внутренне ощущалась ею как сопровождающаяся непониманием и несправедливостью.

Татьяна Бек рано начала печататься, рано появилась в престижных изданиях и была замечена, на что понимающе кивали: дочь Александра Бека, «аэропортовские» связи. Девочка талантливая, но все это очень литературно и не по большому счету... В связи с «большим счетом» вспоминаю несколько раз слышанный рассказ о Давиде Самойлове. Теперь он напечатан в «До свидания, алфавит». Сначала мэтр похвалил, в другой раз, «...будучи в подпитии, сказал твердо:

— Ты — девочка хорошая. Тебе стоит быть только как Ахматова или как Цветаева, остальные варианты для тебя не имеют смысла. Бросай стихи!

Я стихи, конечно, не бросила (еще чего!), но теперь думаю: «А почему для себя он допускал «иной вариант», чем Пушкин или даже Пастернак?» Эх, не было на него тогда западных феминисток — они бы ему показали, где раки зимуют!..»

Если один мэтр требовал, чтобы была не ниже великих, то другой подозревал в подражательстве. Старая московская встреча с еще не уехавшим тогда Иосифом Бродским дурным предчувствием сопровождала Бек на пути в Нью-Йорк. Когда-то в Москве Бродский, испытывая отвращение к «здесь и теперь», всех видел постриженными под одну гребенку: «Девочки типа вас остригают челочки, сами не зная — под кого: под Ахматову или под Цветаеву».

Однако в Штатах все обошлось, а закончилось и во все удачно — совместным с Бродским чтением стихов Бориса Слуцкого. Поводом послужила записка о том, не слишком ли легко современная русская поэзия

впитывает «нелирические функции». Бек начала читать Слуцкого, Бродский подхватил и закончил.

Покуда над стихами плачут,  
Пока в газетах их порочат,  
Пока их в дальний ящик прячут,  
Покуда в лагеря их прочат, —  
До той поры не оскудело,  
Не отзвенело наше дело,  
Оно, как Польша, не згинело,  
Хоть выдержало три раздела....

В поэтической родословной у Бек и Бродского не так много общих имен, но Слуцкий для обоих — в числе самых значительных. Воспоминания о той встрече Бек назвала «Борис и Иосиф». Этим названием она причислила Бродского к тем, кого считала «своими». Слуцкий для нее — великий поэт.

По времени вхождения в литературу — семидесятница, но такого собирательного хронологизма не существует, видимо, оттого, что собирать некого, так как сами не собрались, не самоопределились. Сейчас в ходу (с негативным и несколько уничижительным оттенком) — «младошестидесятники». Это о тех, кто не вполне успели по возрасту, но продолжили по духу. В определенной мере для Татьяны Бек это верно, поскольку она чувствовала себя ближе со старшими, чем со сверстниками, а поэтически важнейшие для нее связи уходили поверх 60-х — в предшествующую эпоху.

Оттуда и ее ощущение жизни — из послевоенного, позднесталинского, послесталинского детства. С воспоминаний о нем и начинается «До свидания, алфавит». За его пределами воспоминательный раздел включает в основном лишь мемуарные портреты. А эпоха — именно та, одарившая отнюдь не сентиментальной памятью о чем-то безбедном и идиллическом:

Строились разрухи возле.  
Вечный лязг, и треск, и гром.  
Даже летом ноги мерзли  
В помещении сыром,

Тесном и полуподвальном,  
Где обоев цвет несвеж...  
В этом братстве коммунальном  
Мы росли эпох промеж.

Этим стихотворением в 1987 году Т. Бек открыла свою третью книгу стихов — «Замысел». Подробно-сти — в прозаических воспоминаниях, но суть — в стихах, где предстает эпоха.

Эпоха строгих правил, воспитания через принуждение, быта, наполненного некрасивыми вещами, повязанного всеобщей нищетой. Но как поэтический результат — не попытка отстраниться и забыть. Напротив, тоска воспоминания и желание различить красоту некрасивого. Это осталось навсегда.

Именно с такого рода стихотворений начинается раздел «Стихи вдогонку» в «До свидания, алфавит». Менее полусотни текстов — преимущественно дополняющих воспоминания. Но у Бек едва ли не все лучшие стихи таковы, так что раздел представляет собой максимально отобранное избранное. Первые в нем — стихи из второй книги «Снегирь» (1980), которой Бек, в общем-то, и заявила о себе. Одно из лучших и знаменитых ее стихотворений — об отце («Снова, снова снится папа...»). Здесь же «Одиночество в душном кафе» и ранний манифест (1971), не утративший своей силы и в зрелые годы:

Вечно манили меня задворки  
И позабытые богом свалки...  
Не каравай, а сухие корки,  
Не журавли, а дрянные галки.



Улицы те,  
    которые кривы,  
Рощицы те,  
    которые редки,  
Лица,  
    которые некрасивы,  
И — колченогие табуретки.

Я красотой наделю пристрастно  
Всякие несовершенства эти...  
То, что наверняка прекрасно,  
И без меня проживет на свете!

Эти поэтические сюжеты и темы, их трактовка возвращают к самому началу второй половины XX века, на рубеж 40—50-х — к «Некрасивой девочке» Заболоцкого, к рабочей столовке Смелякова... Но у Бек по этому далекому прекрасному царству есть свой гид — Арсений Тарковский. Воспоминания о нем относятся к детству, к семейным обедам и семейной дружбе, к чтению им стихов, среди которых обязательно «Кактус» и «Верблюд», «любимые поэтом именно в качестве *приемышей чужбины и отходов творения*». «...Тарковский в стихах, как никто другой, умел воспеть красоту некрасоты». Вероятно, вспоминая о нем или просто свидетельствуя о родстве вкуса, Бек напишет позже свой «Кактус».

Имя Тарковского как будто бы открывает ход к последним живым связям с классической традицией, к Ахматовой, акмеизму, антологию которого составила Бек, тем самым расписавшись в своем поэтическом пристрастии... Это и так, и не так. Тарковский сказался (и вспомнился) более всего как певец некрасоты. Акмеисты, читаемые и любимые, ощущаются в стихах не так уж сильно. Они важны скорее как знак более общей связи с началом XX столетия. То столетие, в котором Татьяна Бек прожила большую часть своей

жизни и которое пережила так на недолго, — ее поэтическая родина. Свой век объят полностью, от начала и до конца. Все остальное лишь опосредованно — в нем и через него. Именно в этом смысле, — не как влияние, а как общее начало, — выступает Александр Блок. Стихи Бек, чем далее, тем чаще, напоминают об этой линии родства интонационно, цитатно.

Возникшая в годы после революции формула русской классики «От Пушкина до Блока» не только верна, но исчерпывающа, поскольку не ограничена поэзией. Поэзия Блока наследует русскому роману. Завершает его темы. Заново аранжирует их с романсовым надрывом. У Блока роман встречается с романсом. Эта встреча определяет многое в русской поэзии на столетие вперед — интонацию, сюжетность, многофигурность, избыточность. В том числе смысловую избыточность.

Татьяна Бек вспоминает, как ей позвонил любимый ученик — талантливый, рано погибший Ленья Шевченко: «Татьяна Александровна, я давно хочу и не решаюсь сказать вам, что ваши стихи отравлены смыслом...» Я на мгновенье задохнулась, ощутив себя Максим Максимычем при Печорине, но сама на себя цыкнула и констатировала: ученик оборотился в нельстивого, и несентиментального, и, наверное, справедливого учителя».

У всякого явления есть свой опасный предел. Иногда он — на грани смысловой темноты или пустоты, иногда — в отравленности смыслом. Это сладкая отравка. Ей поддались многие. Можно сказать больше — русская поэзия XX века, путь которой теперь завершён. Есть ли для нее исчерпывающая двусоставная формула? «От Блока до Бродского»?

Проницательный ученик поставил верный, но не индивидуальный диагноз. Он просто указал на поэтическую традицию, из которой Бек вышла и одним из завершителей которой ей было суждено оказаться. В ее стихах разнообразно доминирует и сказывается

смысловая нагруженность стиха: сюжетом, воспоминанием, афоризмом... Даже целый сборник может быть спланирован романно, например «Замысел». Это замысел книги о собственной жизни, не той, что течет сейчас, а всей — от детства до старости. В соответствии с этим замыслом первым в книге стоит уже процитированное «Строились разрухи возле...» — о детстве. Завершает ее самое расцитированное стихотворение Бек: «Я буду старой, буду белой...»

Между этими двумя стихотворениями — сюжет сборника. Романность и в прозе имеет склонность к избыточности описания, деталей, повторяющихся впечатлений. В стихе избыточность этого рода почти обречена проговориться монотонностью интонации. Тогда, как и в романе, спасение в том, чтобы впустить в свою речь собеседника или, во всяком случае, слушателя, подразумеваемого оппонента. Почти во всех лучших стихах Бек так и происходит. Лирический монолог перебивается если и не введенной в текст стихотворения, то воспринимаемой поэтическим слухом чужой речью, требующей ответа. В стихах об отце:

На морозе папа-холмик...  
Я скажу  
        чужим  
        словам:  
— Был он ерник и затворник,  
И невесть чего поборник,  
Но судить его — не вам!

О себе — «Начинается повесть...» (из сборника «Замысел»):

Как хотите, а я не могу!  
Это я, а не образ из ребуса,  
На московском нечистом снегу  
Ожидаю 2-го троллейбуса.

Это я. Это слезы — мои,  
И моя виноватость недетская.  
А была: из «хорошей семьи»,  
Голубица университетская.

И здесь, и в других текстах (хотя бы приведенный выше — «Назло хорооводу, отряду, салону...») появление собеседника обостряет речь, течение которой нарушает монотонию правильного размера, ломает расстановку ритмических пауз, переплескивает из строки в строку. Позднее признание: «Я завишу вдрызг от чужого слова...» («Постбасня», 2003) — имеет объясняющую силу и для гораздо более ранних стихов.

В этой речевой поэзии нет сильных, резких поэтических приемов. Смысл порождается тем, что когда-то было названо «колеблющимися значениями» (Ю. Тынянов о Блоке). Колебание смысла обусловлено складом речи: тембром, интонацией, перепадом стиля, ускользящего от поэтических штампов, но не увлеченного погоней за модной идиомой. Встречи слов неожиданны, однако когда они происходят, то оставляют впечатление речевых находок, не поражающих воображение, но звучащих точно и умно. Именно таковы словесные портреты — жанр, особенно удающийся Бек, — живых и ушедших друзей, родных. В них мгновенно узнаваемые подробности соседствуют с прозрением остро схваченной человеческой сути, быт — с творчеством:

И мотался по снегу, и детские губы кусал,  
Одержимый талантом, и порчей, и вечной изменой,  
И свою неудачу, как гордую сагу, писал  
Меж исколотой веной и плачущей в голос Каменной.  
«Памяти Даура Зантария», 2001

Если романная многофигурность была характерна и для первых книг, то в сборниках «Смешанный лес»

(1993) и «Облака сквозь деревья» (1997) человеческий фон хотя и становится насыщеннее, но отношения — проще и напряженнее, поскольку мелочное отступает перед фактом расставания и смерти. Человеческое сближается с природным, растворяется, откликается в нем, и это сближение меняет образный ключ поэзии, заданный названиями новых книг.

В названиях первых двух сборников («Скворечники», «Снегирь») природная метафора взлетала с птичьей легкостью. Кстати, нужно сказать, что природное в стихах Бек не только источник метафоры, но предмет наблюдения и знания. Об этом есть в воспоминаниях об одном из самых близких друзей — Юрии Ковале: «Скромная моя книга «Снегирь»... всей собою — включая название — обязана Ковалю. Он, как вожатый, водил меня по заснеженным лугам и полям дальнего Подмоскovie и вслух, как школьный преподаватель естествознания — занимающийся с двоечниками, распутывал следы: ласки ли, кролика, зайца, лисицы. Это были его личные иероглифы и его персональные охранные знаки». Слово «знак» не раз встречается у Бек — как жизненная метка, подсказанная природой и распознанная человеком.

В четвертом и пятом сборниках пейзаж распахнулся, охватывая земное, растительное — лес и небесное, ускользающее — облака. Оба символа имеют расшифровку в стихах (хотя в обоих случаях это лишь первая подсказка). Лес — то, что живет, уходя корнями в родословную, отмеченную смешением многих кровей: «Мне повезло / Быть *широким* и *смешанным* лесом». Облака — то, что видится сквозь и поверх деревьев: «Наши бедные мамы и папы / Облаками попарно бредут».

Сентиментально строка у Бек может прозвучать лишь вне контекста. Ее лучшая лирика пронзительна, но не сентиментальна. Ее лирическая ситуация — разлука, прощание, одиночество:

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

Брошенный мною, далекий, родной, —  
Где ты? В какой пропадаешь пивной?

Вечером, под разговор о любви,  
Кто тебе штопает локти твои

И расцветает от этих щедрот?  
Кто тебя мучает, нежит и ждет?

По желудевой чужбине брожу  
И от тоски, как собака, дрожу —

Бросила. Бросила! Бросила петь,  
И лепетать, и прощать, и терпеть.

Кто тебе — дочка, и мать, и судья?  
Страшно подумать, но больше — не я.

Очень рано в эту лирическую ситуацию вошла мысль о смерти. Сначала были прощания с ушедшими, поэтические воспоминания. Потом эта мысль сместилась в настоящее и сделалась постоянной спутницей: «Я мысль о смерти сделаю настольной, / Как лампа, — без которой не могу» («Я надышалась — и за мною выдох...»).

Ведь и стихотворение, давшее название итоговой книге, было написано еще в 1995 году:

Звуков мало, и знаков мало.  
Стихотворная строчка спит...  
Я истаяла. Я устала,  
До свидания, алфавит.

«Я с руки накормлю котенка...»

Ощущение усталости, как о том свидетельствуют стихи, однажды возникнув, не отпустило Татьяну Бек. Оно и в сборнике «Узор из трещин» (2002), и в

разделе избранного «Отсебятина», куда вошли стихи самого последнего времени. Можно цитировать бесконечно: «Дух бодрился и выдохся...», радость, страсть и ярость появляются в сопровождении эпитета «бывшие» («Ты — моя бывшая радость...»). Душевная усталость подтверждена не только признаниями, но элегической вязкостью стиха, когда взятая интонация, как колея, из которой невозможно вырваться. И это притом, что звук крепок, подвижен, мастерски осмыслен:

Прозренья мои — как урки,  
Присевшие на пригорке.  
Курила всю ночь. Окурки  
Страшнее, чем оговорки.

Еще я пила из кружки  
Чифирь смоляного цвета,  
А кошка вострила ушки,  
Не видя во мне поэта.

Отпела и отгорела...  
Когда ты меня отпустишь,  
Бессонница без Гомера —  
Мучительная, как пустошь?

Внешние обстоятельства жизни в последние годы складывались благополучно. Т. Бек стала обозревателем в газете, постоянно появлялась на телевидении, вышли новые книги, преподавала, учила молодых на семинарах и в Литературном институте. Это общение было особенно важным, ибо давало ощущение продолжения, равновесия между прошлым, всегда столь для нее значимым, и будущим, которое, оказывается, совсем не обязательно за теми, кто примелькались на тусовочной поверхности.

В церкви Боткинской больницы, где отпевали Татьяну Бек, и вокруг было очень много народа, самого разного, людей, которые в жизни никогда не встретятся. Было много литераторов. Говорили потом: чьи еще похороны всех соберут? Наверное, больше ничьи. Остро переживалось чувство боли, но никак не удавалось взять торжественный и траурный тон. Продолжали разговаривать и договаривать. Как будто раньше и не подозревали, какое большое место занимала Т. Бек в современной литературе, на каком бойком месте прошла ее собственная жизнь.

Осталось чувство незаполнимой пустоты. И не только от того, что столь во многих, как теперь говорят, литературных проектах была занята Татьяна Бек. Утратой стала она сама, напомнившая простое и почти забытое: что путь, творческий и человеческий, может быть становлением — к мастерству, к зрелости, по восходящей.



# АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ

## НА СКВОЗНЯКЕ

1

В Нью-Йорке была весна. Хотя на самом деле — зима, конечно. Все цело, было солнечно. Так что нет, все же весна. Мы договорились встретиться заранее. Думали — где? Решили — у Централ-парка, тем более что Татьяна остановилась совсем рядом. Жила в доме своего еще московского друга.

Пришла в легком синем плаще. Возбужденная. Ей все вокруг нравилось. Толпы людей, сутолока в магазинах, легкий сквозняк, который продувал Манхэттен насквозь. Собственно — прогулка по новому городу — она и сама по себе возбуждает. Так что поиному и быть не могло. Я сделал тогда несколько фотографий. Одна из них мне до сих пор нравится. Татьяна, размашисто идущая мне навстречу по Бродвею. Снимок немного смазан, что придает ему определенную динамику. Не помню, о чем конкретно мы говорили. Болтали. Заходили в какие-то художественные лавки. Потом спустились в Чайна-таун. Купили там китайские желтые чашки с драконами и такой же чайник — они еще потом долго стояли на ее московской кухне. В китайском же ресторане нам



блокноте: «Публика была сплошной Брайтон-Бич, и поэт казался ужасно несчастным. На очередную идиотскую записку: “Вы каких женщин больше любите — умных или красивых?” — он ответил умирающим голосом: “Я все-таки не Карл Маркс”. Таня отмечала потом, что ее поразило его несовпадение с залом. Ответы на вопросы зрителей были трагичны, а люди невпопад смеялись... Несколько раз он даже сказал: «По-моему, я не говорю ничего смешного».

Но были и интересные вопросы, например, не губителен ли для поэта разрыв с языковой средой. На это Бродский ответил, что именно в эмиграции он остался тет-а-тет с языком... В Вене, в первый день эмиграции, его охватила паника, когда он не смог найти рифму к какому-то слову, но на второй день рифма нашлась, барьер был преодолен. Еще он упомянул, что преподавание — это редкая возможность говорить на темы, которые его волнуют. Очевидно, ему не хватало все же русской литературной среды, общения. На вопрос, почему он не хочет вернуться на родину и тем самым повторить судьбу Цветаевой и Солженицына, он ответил, что не хотел бы повторить судьбу Цветаевой, а Солженицын ему не так близок, чтобы мечтать повторить его судьбу. И что его жизнь — это его жизнь, а не жизнь литературных традиций.

У меня все это уже вылетело давно из головы (то, что выше, воспроизвел по Таниной книге). Осталось только странное впечатление: переполненный равнодушный зал и случайно оказавшийся среди этого зала поэт. После вечера мы дождались Бродского на улице. Он был легким и радостным. Прозрачным. Сверкал очками. Как-то очень нежно и по-доброму улыбался Татьяне и расспрашивал об общих знакомых. Тонкие рыжеватые (все же) волосы (с заметной проседью, от чего цвет их стал призрачным) легким нимбом светились над его головой. Все вместе создавало ощущение непринужденной весенней истории.

Рядом с Бродским уже стояли какие-то дамы, все время дергавшие его за рукав. Было это 2 апреля 1995 года. Он позвал ехать вместе с ним в «Самовар», мы вежливо отказались, а он и не настаивал.

Так что Людмила Штерн ошибается, когда пишет, что Бродский до 9 апреля, его последнего выступления в Бостоне, на котором она присутствовала, давно не выступал перед русскоязычной аудиторией. Его репетиция перед бостонским вечером (тоже с довольно специфичной аудиторией) была вполне успешной.

## 2.

Созваниваться по утрам у нас с Таней вошло в привычку. Обсуждали ТВ, обменивались мнениями о том, что происходит в литературе и журналах, просто говорили о знакомых... Не столько личное, интимное общение, сколько адаптация к окружающей среде. Впрочем, иногда и личное, конечно. То есть — о личной жизни. После очередного выпуска «Серебряного шара» с ней обязательно созванивался Виталий Вульф. Таня была пристрастным зрителем, и ее суждения всегда оказывались полезными. С ней можно было не соглашаться, но выслушать ее всегда было интересно. С Вульфом они говорили часа по два. Зная Виталия Яковлевича, думаю, он пересказывал ей историю создания программы и те любопытные нюансы, которые по деликатности в ней не использовал. Чтобы никого не обидеть. Получалась история с продолжением.

Главной составляющей Таниного характера была доброжелательность. Но она же и провоцировала окружающих обходиться с ней жестоко.

Незадолго до смерти она рассказывала мне, почему была вынуждена уйти из журнала «Вопросы литературы», в котором проработала долгие годы. Именно для этого журнала она сделала большинство своих интервью, относясь к ним как к особенному

литературному жанру. Обсуждая возможную будущую книгу, мы прикидывали, с кем еще правильно было бы сделать беседы, чтобы в результате выстроить некую историю отечественной словесности. А еще раньше решали, как помочь «Вопросам литературы», когда у журнала возникли проблемы с помещением: его хотели оттуда выселить. Придумали. Она ходила хлопотать. И выхлопотала.

Денег в журнале платили совсем ничего. Долларов сто пятьдесят в месяц. Незадолго до трагедии, стесняясь своей меркантильности, Татьяна робко спросила об увеличении зарплаты. Ей отказали.

Впрочем, с деньгами всегда было сложно. Единственный недолгий период, когда все обстояло почти нормально, совпал с началом перестройки. Вышло собрание сочинений Александра Бека, за которое выплатили приличный гонорар (на всех наследников). Но скоро случился дефолт — и денег вновь не стало. Я тогда работал в «Вечерке» и как-то уговорил Таню по случаю редакционной распродажи купить ковер. Ковер был дагестанский. Ручной работы. Темно-красного, почти малинового, цвета. Эта случайная покупка — единственное применение тех больших средств. Кстати, ковер оказался и единственной дорогой вещью в ее доме. Это я все о Танином идеализме. За работу в Литературном институте она получала примерно такую же сумму, что и в журнале. Однажды ее спросили об этом на презентации книги:

«Всю жизнь, начиная с грудного возраста, я жила среди гениев литературы, тех, чьи произведения вошли в хрестоматии. Все эти всплески и откаты проходили на моих глазах. Поэтому имею право сказать: в литературе, искусстве остаются только те люди, которые не могут без этого жить. Даже когда оно не модно и не выгодно. Да и работа в Литинституте это подтверждает: там учатся только те, для кого это действительно важно. И они готовы ради этого нищен-

ствовать, быть нелепыми, немодными. Последние годы мне приходится много ездить за рубеж — неоднократно бывать и в Германии, и в Италии, и в Швеции, и в Америке. И когда меня спрашивают, сколько получает доцент Литинститута, и я называю эту цифру, они уточняют: «Это за день работы?» Нет, отвечаю, в месяц. Мои собеседники недоуменно отходят, глядя на меня как на городского сумасшедшего».

Если работа в журнале воспринималась в качестве общественного долга, то Литературный институт был для нее отдушиной. Общаясь с молодыми, пусть звучит банально, она заряжалась их энергией. Хотя Литинститут довольно специфическое учебное заведение. Там трудно было ожидать излишней доброжелательности и со стороны коллег, и со стороны тех же студентов. Сергей Есин (ректор Литинститута) тоже всегда ворчал, ругался, но в трудные моменты был единственным, кто помогал.

Так, кстати, было с историей, когда у Татьяны в очередной раз обокрали квартиру.

Привожу записи из дневника Сергея Есина, опубликованного в журнале «Наш современник»:

*«16 февраля 2000, вторник.* Читал этюды к сегодняшнему семинару. Постмодернизм наложил на нашу литературу мертвенную печать. Никто не хочет заниматься спокойным и медленным текстом.(...) Вечером позвонила Таня Бек: у нее обокрали квартиру. Вытащили компьютер, телевизор, духи; как ни странно, не нашли 200 долларов, которые у нее хранились где-то в книгах.

*19 февраля 2000, четверг.* Тане Бек вставили в дверь замок, ездил Денис, наш институтский плотник. Татьяна задает вопрос, почему обокрали именно ее, самую бедную в подъезде. Поэтому и обокрали; но еще это означало, что судьба от нее что-то хотела. Как от меня отвела, с кражей Алексеем денег. О его поступ-

ке я думаю постоянно. Он не укладывается в мои представления о человеческой бытовой этике. Значит, эта этика исчезла? Значит, она существует только в моем воспаленном литературном сознании? Татьяна, полупьяная, позвонила вечером и сказала, что я самый лучший человек, потому что единственный сразу же предложил действенную помощь. Как же люди обозлены и изверились, если естественную реакцию руководителя принимают за его исключительные качества».

...Моменты разочарования. Они накапливались. С одной стороны — у Бек вышли, наконец, две новые книги. Замечательные и полноценные. Она — в жюри Букеровской премии. Стала вести постоянную рубрику в «Независимой газете». Чаше ездить за границу. Но вот какое-то разочарование, оно тоже чувствовалось. Кто-то из знакомых едко заметил ей, что она скоро «превратится в дамочку с кошкой», имея в виду, что кошка заменит ей близкого человека.

### 3.

Вспоминаю время дебюта Татьяны в литературе.

«На маленькой кухне четыре грядущих поэта/ Вокруг сковородки и темно-зеленой бутылки/ Стихи о печали кричали, тянули, бубнили.../ А было за окнами светло-зеленое лето! /Четыре поэта — четыре полета гордыни,/ Которая верит: «Я лучшее соло сыграю!/ На старославянском. На полублатном. На латыни»./ (О, я без иронии! Я же — четвертая с краю.)/ ...Далекая эта примета: тайком сигарета./ Мои баскетбольные плечи — в ахматовской шали./ Я звонко читаю стихи о «вселенской печали».../ Но в форточку с улицы льется — счастливое лето».

В семидесятые стихи Татьяны Бек воспринимались как вызов. Сейчас это даже трудно понять. Но в поэзии преобладала деревенская тематика. Село. Труд.

Май. Издательства «Молодая гвардия» и «Современник», выпускавшие сборники молодых авторов, откапывали каких-то уродских самородков из глухих деревень братских республик и выращивали из них русских «письмэнников». Оттого до сих пор русская проза пишется с каким-то оттенком визгливого малороссийского говора. Городская тема была редкостью в литературе. Татьяна же писала о городе. И это уже само по себе выглядело необычно. Ее друзья, ее окружение — все оно шло с детства. Это те, кто знали ее отца, кто приходили домой, чьи книги она читала в рукописи. Анатолий Рыбаков и — естественно — «Дети Арбата», Юрий Трифонов и — «Дом на набережной», Борис Слуцкий и Дмитрий Сухарев, Юрий Коваль и Камил Икрамов... Точный круг.

Мне ее стихи были близки. Нравится вообще такой тип женщин — с высоко поднятым подбородком, с чувством самоуважения... Уж вовсе не согласен с тем, что Таня была некрасива. Чушь. Ее просто мучили комплексы, внушенные ей с детства. Татьяна была очаровательной и очень красивой женщиной. Может быть, с излишним чувством собственного достоинства, чего не очень любят мужчины.

У меня есть стихотворение, посвященное Татьяне. Оно написано тогда, когда мы не были коротко знакомы. Я встретил ее весной, идущей к метро у станции «Выхино». Уверенная, счастливая, в запахе мимоз. Мы поздоровались и пошли дальше вместе.

*татьяне бек*

звонят за окошком трамваи  
полощется в небе белье  
шалишь но в ахматовской шали  
похожа и впрямь на нее



## ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ

накинешь пальто и беспечно  
по жиже вишневой легка  
смеешься «как жизнь бесконечна»  
а слышится «как коротка»

глаз режет весенняя свалка  
и слепит лимоновый свет  
московская провинциалка  
тебе улыбнется вослед

вперед сквозь московскую слякоть  
дворами знакомыми чтоб  
вновь как апельсиновая мякоть  
входил в твое горло озноб

пусть слезы к глазам подступают  
когда словно грязь из щелей  
из памяти детской всплывают  
портреты народных вождей

не плачь говорю и не путай  
себя и других пожалей  
да горло получше закутай  
ахматовской шалью своей

1987

Позже Татьяна написала послесловие к моей книге. Она сама предложила это сделать. Жанр послесловия довольно сложный. Читать о себе, как и смотреть на себя со стороны, не всегда — приятно.

«Стихи Александра Шаталова — трагичны. Впрочем, существует по меньшей мере два рода лирической трагедийности. Первый — прилюдная самоагрессия, творческое нагнетание хаоса и ужаса, наслаждение болью и ревностью, слезы в три ручья и празднество горя (вершина — Цветаева). Второй — за-

крытая бездна; все щели замуровать, погибельный трепет обуздать, зубы сжать, холодом интонации отвлечься и отвлечь от невыносимого внутреннего огня (вершина — Ходасевич). Стихотворцы второго рода, а автор поначалу был скорее из них, требуют чтения особенно внимательного и сострадательного. В этой поэтике огромную важность обретают оговорки, обмолвки, описки, запинки и рассеянно оброненные подсознанием сквозные, навязчивые, повторяющиеся образы — то, что Ин. Анненский называл «словами-тиками». У Шаталова это: *воздух, кровь, бритва*.

Даже возраст в этой странной лирике есть «воздух, скользящий меж губ». *Ветер, сквозняк, дуновенье, дыханье* — синонимы жизни. *Бритва, лезвие, нож, осока, острые грани воздуха* — постоянная угроза, исходящая от смерти, каковая является источником невероятной остроты его зрения. Если перефразировать знаменитую цветаевскую формулу, то Шаталов пишет при «свете смерти». Кровь — пульсирующая влага слияния жизни и смерти «на пороге как бы двойного бытия».

Предельность этого мироощущения, когда человек, готовый умереть и утратить любимых каждую минуту, лелеет свою кровотокающую рану, свою боль как наиболее полное проявление пока еще жизни, — не нова. Она вся закодирована, скажем, в пастернаковской фразе: «А в наши дни и воздух пахнет смертью:/ Открыть окно что жилы отворить». Но современный поэт заново ищет своего Вертера, открывает окно, вдыхает смерть как апофеоз жизни, отворяет вены своей косноязычной исповеди...

Кстати, о лирическом косноязычии Шаталова. В новых стихах автор сделал рискованный шаг от внятной стиховой повествовательности к смутной суггестивности: отсюда «речь из одних запятых» и признание — «в косноязычии прелесть такая», и уверенность в том, что сокровенное таится «за потоком незначущих слов», и

установка на «то, что скрыто в намеке, вопросе, в чем бессильны бывают слова». Любовь в этой лирике лишь попытка побега, ускользания, эскапизма, отсрочки («целовать — это значит отвлечься»). Поэт не в состоянии уйти от смерти, потому его чувство жизни исполнено такого напряжения и волнения».

Она же рекомендовала меня в ПЕН-Центр. Она же отнесла мои стихи в «Новый мир» к Олегу Чухонцеву, который их вскоре и напечатал. Она же мне заказала статью о прозе Юрия Юркуна для журнала «Вопросы литературы». И сама ее опубликовала. Тания всегда заставляла меня писать, работать, не отвлекаться на ТВ, которое занимает время и эмоции, ничего не давая взамен... Но то же самое она делала для многих и многих людей, которых я хорошо знаю. Пристраивала их рукописи, куда-то рекомендовала, пробивала книги. Их книги. Не свои.

#### 4.

Поэзия в газете — вещь не частая. Но, работая в «Вечерней Москве» и ведя там раздел литературы, я все же захотел опубликовать Танины стихи.

Надо сказать, что «Вечерняя Москва» в 80-е годы была очень популярной газетой. Возглавлял ее г-н Индурский, человек, начавший там работать, кажется, курьером и дослужившийся до должности главного редактора. Когда я предлагал к публикации рассказ, стихи или интервью с каким-либо писателем, то должен был сопроводить свое предложение справкой об авторе — общественная нагрузка, членство в партии... Понятно, что непартийных писателей партийная газета не печатала. Один лишь пример: только в 90-е на страницах «Вечерки» оказалось возможным упомянуть имя Ахматовой. Партийное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» не было отменено, а значит, ее имя вычеркивалось даже из платной репертуарной рекламы.

Имя Бека-отца было Индурскому знакомо. Так что к его дочери он отнесся положительно. Публикация Татьяны Бек вышла под Новый год. Пять — что ли? — стихотворений. Стихи прочитали и все ее подруги, и бабушки в подъезде, и монтер, и дворник, и продавщицы... Те, кто обычно стихов не читает. Стихи пошли «в народ».

В какой-то момент возникла насущная потребность выпустить новую книгу Татьяны Бек. Ведь стихи нельзя писать исключительно «в стол». Это понятно. У всех ее коллег выходили новые и новые сборники, а у Татьяны — нет. Надо было что-то делать. История издания книги «Облака сквозь деревья» такова. Сначала мы с Таней наивно пытались найти спонсора для будущей книги. Обратились с этой целью в Фонд Сороса к Екатерине Гениевой (она его тогда возглавляла). Гениева обещала помочь. Однако комитет, который рассматривал заявки, нашу просьбу отклонил. В него входил тогда писатель-фронтовик Георгий Бакланов. При обсуждении заявок он сказал: «Ну что же это, так мы будем всем, что ли, деньги давать?» «Все» молча согласились. Эта фраза особенно поразила Татьяну: Бакланов считался другом ее отца. Она всегда считала, что «должна же быть какая-то справедливость». Книг к тому времени у нее не выходило уже много лет (если не считать небольшого «домашнего» сборника, изданного на деньги ее племянника Саши Бека).

Надо было выпускать сборник самим. Послесловие к нему она попросила написать меня:

«Новые стихи Татьяны Бек вызывают естественное желание по-новому взглянуть на ее прежние опыты, вычленив то, что было разбросано по разным циклам или поэтическим подборкам и теперь должно собраться в плотное и жесткое пространство, которое можно называть уже путем или судьбой, как кому ближе. Ранние стихотворения Татьяны Бек отли-

чаются детальным описанием окружающей жизни. Однако в контексте поэзии 70-х годов они воспринимались вполне отчужденно от магистрального направления развития советской поэзии — тема отца, писателя и фронтовика, его трагической судьбы приносила в восприятие стихотворений поэтессы, как это ни звучит парадоксально, оттенок некоторой скрытой оппозиции, как в оппозицию к доминирующим в эти годы безумным фольклорным мотивам в творчестве бесконечного количества убогих стихотворцев уже сами по себе становились тексты, отображающие переживания человека городского и даже интеллигентного... «Юность я износила до дыр, но привыкла — и жалко снимать», «А не то уеду в Питер. Руки в брюки, красный свитер...», «Мои баскетбольные плечи — в ахматовской шали», «Как руки мои постарели, а мало месили-стирали», «Я буду честная старуха»... Эти легко запоминающиеся строки не вписывались в традиционное для тех лет поэтическое русло. Вместе с тем они еще вполне существовали в рамках советской поэзии. Практическое отсутствие афористичности отличает последние стихи Т. Бек. Это может разочаровать читателя, ожидающего от автора все еще продолжения его романа — того бытового контекста, из которого должны расти стихи, то есть именно быта ожидающего, а не стихов как таковых. Но именно этот процесс перехода от ясности первичных текстов, «прямоты суждений», к условной темноте содержания и эмоций составляет главное достоинство этой книги.

В новых стихах происходит естественное смещение жизненных вех — вместо ожидания того момента, когда «рады прорежутся», происходит острое чувство временного потока, не времени, в котором пребывает отдельная личность, а именно чередования столетий. Жизнь и смерть остаются при этом лишь зарубками на дверном косяке, череда

персонажей, населяющих ее ранние книги, превращается в невольное мелькание кадров, поскольку их жизни именно и складываются в этот вечный уже видимый ей временной поток. Открывается пространство и ощущается собственная ее незащитность перед этим пространством.

«Все вы прежние: /Всё вы жалуетесь/ На жизнь», — с укоризной пишет она в первой книге. Любите — отвечает она, но не жалуйтесь. И вдруг оказывается, что любить недостаточно, потребность в сочувствии — обратная сторона неблагополучия. Не может быть поэт благополучным ни при каких условиях, даже внешне вполне слаженных. «Хватит ладони, достанет пяти/ Пальцев — обиды мои перечесть!», «И родина — в снегу ль, в траве —/ Меня оплачет волчьим воем», «Я женщина с истерзанным лицом...» — чувство одиночества и собственной ненужности, неуместности в этой жизни — сквозная тема стихотворений Т. Бек».

Позже я выпустил и составленную Татьяной Бек книгу стихов Александра Межирова.

Таня еще в Москве дружила и с ним, и с его дочерью Зоей Велиховой, тоже поэтессой. После вынужденной эмиграции Межирова в Америку его стихи перестали издавать. Таня договорилась выпустить их в серии «Самые мои стихи», которую вела в издательстве «Слово». Они с художником Владимиром Медведевым придумали роскошную коллекцию поэтических книг с большим количеством фотографий, автографов, рисунков, с комментариями на полях. Таня перед этим составила для этой серии книгу Ксении Некрасовой. И вот договорилась о книге Межирова. Тот прислал рукопись и потом часа по два в неделю звонил — разговаривал о жизни и этой будущей своей книге. Однако и это издательство вдруг передумало выпускать Межирова («Я чувствую, что Россия меня не принимает», — говорил он

ей). Так получилось, что выпустить Межирова в Москве мог в это время только я. Что мы с Таней и сделали.

Потом уж в Нью-Йорке я встречался с поэтом, привез ему его авторские экземпляры. С ним мы тоже, как и с Татьяной когда-то, ходили в китайский ресторан, потом в бильярдный клуб — Межиров объяснял, как отличить игроков, которые играют для баловства, от тех, кто играет на интерес (Межиров славился своей игрой на бильярде). «Я, конечно, старый, но расклад в голове все же держу, — рассказывает Александр Петрович. — Захожу в Портленде в большой спортивный клуб и вижу, что в углу сидят какие-то мужики. Подхожу. Вижу — идет игра. Я и примостился с уголка. Не удержался. Долларов восемьдесят или сто выиграл. Нет мне, дураку, на двадцатке остановиться. Черт попутал. Они на меня так покосились осторожно. И больше уже к себе не приглашали. А ведь как хорошо было бы, какая регулярная добавка к пенсии могла получиться». Межиров рассказывает медленно, с одышкой, так же медленно, как идет по улице, поднимаясь вверх по Бродвею. Непонятно, то ли он шутит, то ли проверяет меня, то ли действительно сожалеет о своей оплошности...

## 5.

Круг общения Татьяны Бек был реально обширен. Она дружила с Вениамином Смаховым, актером и замечательным прозаиком, с режиссером Юрием Любимовым входила в жюри премии Бориса Пастернака, придуманной Андреем Вознесенским. Солонмон Волков посылал ей из Нью-Йорка свои книги... В то же время мир вокруг нее был домашним. Евгений Рейн постоянно что-то бубнил ей по телефону. У него вообще трубный голос. Когда очередная жена выкинула на помойку все его старые фотогра-

фии — чтобы ничего не напоминало о прошлом, он приходил плакаться к Тане. С бутылкой, конечно. А когда лечился в психушке, то отпустил длинную бороду и советовался с ней: «Может быть, такую и оставить навсегда? Буду как Толстой...»

Вот некоторые записи из моих дневников:

*«8 апреля 1997.* Вечером ходил с Таней в гости к Войновичам. Это в районе проспекта Мира. Владимир Ник. показывал картины. Ира угощала. Говорили о соседях по дому. Внизу живет Камбурова. Ну и т.п.

*7 апреля 1997.* После выхода «Облаков» Тане Бек звонили Лиснянская, Кувалдин («вы ассоциируетесь для меня с Ахматовой»); Л. Лазарев сказал ей, что мое послесловие в книге чересчур «заумное» и что Таня пишет лучше, чем Лиснянская. Еще звонили Рейны.

*13 апреля 1997.* В субботу в музее Ахматовой прошел вечер Тани Бек. Люди стояли в проходе. Таня сказала, что никогда еще не ощущала такой любви и такого внимания к себе. Была счастлива. Потом ей позвонил Межиров. Сделал замечание по ее стихам, сказал, что она, как и Цветаева, слишком открыта, ясна в своих эмоциях. Еще сказал, что теперь может спокойно умереть. «Я знаю, что мне осталось жить совсем немного. Вы просто не представляете, что для меня сделали. У меня никогда не было такой книжки. Она очень хорошо, — повторил, — очень хорошо составлена». Еще Тане звонил Семен Липкин. Сказал, что даже два ее стихотворения хотел бы присвоить. Но очень ругал за «гадание по Торе». «Еще по Библии гадать можно, но по Торе — кощунство, самый большой грех...»

*13 декабря 1997.* Вчера были съемки четырех оставшихся до конца этого года программ. Потом снял комментарии к сюжету о литературных премиях для



«Положения вещей» на канале «Культура». А к 19 часам поехал в гости к Чухонцеву. Кроме меня там были также Таня Бек (которая меня, собственно говоря, и взяла с собой), Алехин с женой, Ольга Кучкина с мужем, какой-то художник и Илья Дадашидзе («Радио Свобода»). Постараюсь вспомнить, о чем шла речь. Ч. хвалил Евтушенко — говорил, что независимо от того, какие его стихи, он сделал для культуры куда больше, чем многие другие. Вспомнил, как подходил к нему в ЦДЛ, хотел извиниться за свою пародию на него. «Женя, можно тебя на минутку...» — тот уже сбежал по лестнице вниз. «Да, только не по поводу квартиры». Кто-то вспомнил о вечере, который вел Евт. в Доме медика в 83 году. Он представлял Кудимову и Рейна. Кудимова хорошо прочитала фрагменты из своей поэмы, а Рейн был в приподнятом настроении, только что вернулся из-за границы, и начал в присущей ему манере «трубить». Публика не понимала и стала выходить из зала. Тогда Евт. подошел к Рейну, взял книгу и стал читать его стихи за него. Рейн с улыбкой взирал на это, не понимая, что происходит. Зал замолчал. Напрягся. Через минут пятнадцать Евт. понял, что зал попал под обаяние стихов Рейна, — а читает Евт. прекрасно, — и тогда он, чувствуя, что энергия зала направлена уже не на него, Евт., а на Рейна, делает картинную паузу и раздумчиво произносит: «Ну вот, хороших стихов сегодня, к сожалению, не прозвучало...» Ч. вспоминал, как Мориц принесла ему в 63-м стихи Тани Бек. Возник спор и о русском этносе, Ч. рассказывал, как его травили за интерес к русскому фольклору и менталитету, чуть ли не называя «черносотенцем».

Где-то в эти же годы, благодаря подругам из Германии, Татьяна начала ездить в западные дома творчества. На Готланде — шведском острове в Балтий-

ском море — написала цикл замечательных стихотворений. На обратном пути побывала в Стокгольме. Привезла в подарок прозрачную синюю вазу — их там выдувают на глазах у покупателя. Потом была в Берлине, где писала о прозе отца. Выступала в Италии, куда ее пригласили.

Этот европейский контекст помогал оторваться от повседневных проблем. Надо сказать, что в командировки от отечественных литературных организаций, будь это ПЕН-Центр, Литературный институт или Союз писателей, она не ездила. Ей отчего-то такие командировки не предлагали. Видимо, со стороны она воспринималась очень благополучной. Успешной. Не ноющей. Но разве это плохо — не ныть?

Вот одно из писем, которое я получил от нее из Германии.

«Дорогой и милый Сашуля!

Как приятно было вечером, придя с ужина, получить твой русско-латинский имейл. Я же ответить имейлом не могу — он тут только общий, в «регистратуре», доступ ограничен, а тем более мне надо было бы пыхтеть и учиться.

Надеюсь, письмо дойдет быстро. Я в восторге от этого своего отдыха — то, что было нужно моей измученной душе и измученному телу. Замок, принадлежавший некоей Беттине фон Арним, подруге Гете (блин!), — он та-а-акой красоты, что могу сравнить его лишь с дворцами под Санкт-Петербургом в Царском Селе, в Павловске. Он выходит в парк (статуи, пруд с лебедями, цветники, галереи и т.д.), который, в свою очередь, переходит в густой *смешанный лес*: столетние дубы, клены, хвоя, вереск (он еще цветет), желуди, птицы самых разных пород, косули, белки. То есть, я попала в сердцевину живой и столь милой, как ты знаешь, мне природы, чего уже давно не могу сделать «по месту жительства»... Очень много гу-

ляю, ежедневно езжу на велосипеде по окрестным шоссекам, читаю «Былое и думы». И Света (Алексиевич. — А. Ш.), и Люся (Улицкая. — А. Ш.) оказались замечательными соратницами по отдыху — мы общаемся, дружим, много разглагольствуем, жить друг другу не мешаем. Они обе пишут новые книги.

Публика тут занятная — Дом творчества не писательский, но универсальный. Есть мастерские для художников и салон с роялем для музыкантов.

Мы с особым удовольствием общаемся с 30-летним болгаринном: вдохновенный (действительно!) композитор и дирижер. Пишет странную, сильную музыку (он нам ее «показывал») — фольклорно-авангардную. Как бы плач Ярославны в аранжировке Шнитке. С ним ужасно интересно разговаривать: он читал все на свете — и более того, имеет свою теорию звука, в общем — «гений»!

Еще есть сверкомический персонаж — негр из ЮАР (ихний Есенин), корейцы, турчанки, австрияки, словак и скульптор из Шотландии по фамилии аж *Шекспир*. Дважды я была в Берлине — классный город! Но отсюда добираться до города непросто — на перекладных. Км 20 до города Jüterbog'a (это вроде нашего Серпухова) — автобус ходит только 2 раза в день, а в выходные не ходит совсем (тут буквально у любого крестьянина — машина), или такси, но дорого, затем — электричка 1 час 15 минут. М.б., это и к лучшему, а то я бы пропадала в Берлине, а так получается некая санитарно-оздоровительная с с ы л к а .

Кормят скромно и вкусно — «шведский стол». Масса овощей, каких-то сугубо немецких тефтель, паштетов, протирушек, оладий, соков. Короче — витаминизация!

Я здесь уже 2 недели, а эффект — налицо. Успокоилась, поздоровела, гармонизировалась. Все время было тепло, солнце как летом, ранняя золотая осень. Но вчера очень похолодало, и пошел бесконечный

дождь. Впрочем, я так люблю осень, что меня и этот расклад устраивает.

Сегодня (пятница, утро) приедет на 2 с половиной дня на машине из Гамбурга Бригиттка (во друг!) (немецкая руссистка Бригитта ван Канн. — А. Ш.) — пообщаться и покатать нас по окрестным старинным городам: Киль... Росток... Вообще, место, где я живу, бывшая ГДР, и это очень ощущается. Люди менее свободны (даже в движениях и мимике), нарядны, легки, чем в западной части. Неволя и бедность до конца не вытравлены. Даже от полей (в отличие, скажем, от округа Гамбурга или Мюнхена) веет некоей «совхозностью». Есть этот постсоциалистический нюанс и в нашем доме — несмотря на все флюиды и комоды Беттины фон Арним. Интересный эффект, правда?

Во Флоренцию я лечу с 7-го по 10 октября. Билеты уже при мне. А когда ты будешь во Франкфурте? Позвони мне оттуда обязательно. После 9-ти вечера тут, в рамках Германии, звонить — совсем дешево. Если захочешь сюда на несколько дней приехать, — то в Доме можно снять прекрасную комнату, как в отеле, вместе с трехразовым питанием — 60 марок в день. Я все организую.

Кстати, на книжной ярмарке будет Люся Улицкая. Найди ее.

В любом случае — позвони.

Посылаю тебе буклет Дома, с фотографиями, отдаленно передающими его прелесть, — на обороте программа культурной жизни. См. «меню» на 24.Х. Я очень волнуюсь — это будет серьезный лит. вечер, Бригиттка к нему должна перевести 5 моих стихотворений. И «команда» непростая. ...На этом же буклете — все тутошные координаты.

Обнимаю. Татьяна фон Бек.

*1 октября 99 г.  
Wiepensdorf, Германия.*

6.

Неожиданно для себя в следующем, 2000-м году поздравление с очередным днем рождения я получил от Тани по e-mail. Оно висит у меня над столом и напоминает историю «компьютеризации» Тани.

Отношения с техникой у женщин обычно не складываются. Видимо поэтому «в хозяйстве» время от времени заводятся какие-нибудь рукастые коренастые мужчины, способные прибить гвоздь, починить розетку и застеклить окно. У Тани был, например, любимый дворник, которому посвящено ее эссе «Моя прелесть». Он был татаринком. Выпивающим. Когда выпивал, то заходил к ней с бутылочкой и закуской, и они долго говорили о смысле жизни. Кстати, ее рассказ об этом дворнике в журнале «Огонек» был проиллюстрирован фотографией, на которой запечатлен я в пионерском возрасте. Беспросветное детство. Грязные коленки. Чумазое лицо. Впечатление, что это фото сороковых годов (о которых у нее идет речь), хотя на самом деле снимок был сделан лет на тридцать позже.

Для человека гуманитарного склада, каким была Татьяна, компьютер был чем-то непостижимым. Но работая со студентами, помогая многочисленным немецким друзьям переводить тексты, делая для них комментарии, нужно было быть оперативной. И я начал методично убеждать Бек, чтобы она купила компьютер. Ее пишущая машинка выводила уже меня из себя. Мне хотелось видеть Татьяну эдаким прогрессивным пользователем современной техники, наподобие западного продвинутого слависта. С помощью ее брата компьютер в доме все же появился. Он был покрыт кружевной салфеткой (как в одной из инсталляций Дмитрия Пригова) и занял свое видное место на письменном столе. Настал следующий этап — учебы. По телефону и личными занятиями мы добились вскоре того, что «лексикон» (так назы-

валась самая простая компьютерная программа) был ею освоен. Как Таня радовалась!.. Началась оживленная переписка, и главное, она смогла набирать в компьютере свои тексты, упростив ведение архива. Но к тому времени «лексикон» уже тоже устаревал. Надо было вновь браться за учебу. Каждый мой звонок она воспринимала как напоминание о том, что пора браться за Word. Думаю, это было сродни эффекту зубного врача, постоянно намекающего на то, что пора опять лечить зубы. И все же получилось. Стихи, отправленные по «мылу», тому подтверждение:

Сашечку Шаталова  
Друга небывалого  
Поздравляю с днем рожденья  
Желаю быть везде  
Самым первым и крутым  
И от счастья пьяным в дым

Верная тебе навек  
Татиана (Таня) Бек.

7

Татьяна была человеком социально активным. Можно сказать — равнодушным. Но это со временем стало выливаться в какие-то излишне прямолинейные формы. В прессе начали появляться письма от имени писателей, в которых они выражали свое мнение по отношению к разным общественным событиям. Истории с коллективными письмами напоминали те времена, когда при советской власти различные «группы общественности» апеллировали к руководству страны, представляя собой «общественное мнение». То есть — наступило время социальных баталий. Большинство «подписантов» были люди неизвестные и неталантливые. Но под коллектив-

ным письмом нужны были имена. Не каких-то критиков или публицистов, не известных ни до, ни после. А именно имена. Имя стоило дорого. Дороже денег. Мне казалось это неверным, и я уговаривал Таню оставаться немного в стороне от всего этого. Держаться вдали. Однако Тане всегда было свойственно ощущение своих — чужих. Ее было легко «завести на справедливость».

На одном из собраний писательской организации очень сомнительный литератор (точно не помню, кто), публично заявил, что «проломит» Тане «башку». Да-да. Так и было сказано.

Таня вступилась тогда за Владимира Корнилова, поэта, с которым очень сдружилась. Причем она была единственной, кто поддержал тогда его позицию. Суть дела была в том, что в начале перестройки организовалось писательское демократическое движение «Апрель», которое ввело Корнилова в какой-то совет или президиум этой организации. Как вспоминает вдова Корнилова Лариса Беспалова: «Для начала он увидел свою подпись под неким очень агрессивным меморандумом, который совершенно не хотел подписывать. А потом увидел, что в тот же президиум избран некто Александр Рекемчук. Литератор, прославившийся, в частности, своим участием в репрессивных акциях по отношению к диссидентам, один из тех, кто исключал из Союза писателей Чуковскую, Галича, Войновича и самого Корнилова. Эти хорошо известные его дела их не смущали, Рекемчук занял место среди борцов за демократические реформы. А Корнилов ушел и больше ни к каким общественным мероприятиям не приближался. И более того, этот, может быть, незначительный факт — избрание Рекемчука — стал для нас знаковым. Он обозначил тщетность интеллигентских надежд. Это было тем более болезненным, поскольку для Володи всегда было важно это понятие — “русская интеллигенция”».

Вот единственной, повторюсь, кто выступил тогда против этого решения, в поддержку Корнилова, и была Татьяна. За что ей сразу же публично пообещали проломить голову. Писатель-мужчина часто схож с истеричной женщиной: он с легкостью позволяет себе интриги, скандалы, капризы и визгливые нотки в голосе.

Если покопаться в архивах, то коллективных писем, подписанных писателями в то время, было очень много. На некоторых из них стояла и Танина подпись.

На какое-то время мне удалось убедить ее быть разборчивее. Не принимать все сразу на веру, не ввязываться. На какое-то. Последний такой всплеск ее социальной активности вылился в драму, которая оказалась в ее жизни последней. Я имею в виду, конечно, конфликт с переводами поэзии Туркменбаши на русский язык. В числе тех, у кого возникла из-за этого с Татьяной ссора, оказались ее коллега по Литературному институту (они вели один семинар поэзии) Сергей Чупринин, старый друг, которого она всегда очень любила, — Евгений Рейн, довольно склочный поэт Игорь Шкляревский, и ее вечный недоброжелатель Михаил Синельников.

История известна. Татьяну спрашивали, почему ее друг оказался любителем поэзии восточного деспота. Она не выдержала и высказала свое отношение к заискивающему письму в адрес Туркменбаши, подписанному тремя поэтами — Рейном, Шкляревским и Синельниковым. То есть — позволила втравить себя в эту историю. Писательница Юлия Беломлинская высказалась довольно едко на эту тему:

«Меня Рейн, кажется, лично принес из родильного дома. Это была одна компания. «Ахматовские сироты» и мои родители. Когда-то компания друзей. Рейну всегда и все прощали. За стихи. Что бы ни писал Виктор Леонидыч Топоров, стихи у Рейна заме-



чательные. Но человек он всегда был не вполне приличный. Многие списывали на маниакально-депрессивный психоз. Для меня он был больше, чем просто друг родителей. Скорее родственник. И примерно с восемнадцати лет я уже сама с ним дружила — вне родителей. Он с удовольствием общался с моей компанией театральных художников. Читал нам стихи, и мы его любили. Вот известное его стихотворение, как он просыпается утром в помещении Малого оперного, вылезает на крышу и смотрит сверху на площадь Искусств, вспоминая свою питерскую юность, — это он проснулся в мастерской моего приятеля, художника Семена Пастуха. Пастух тогда был главным в Малом, и мы вечно квасили в его роскошной мастерской...

Лет пятнадцать назад Рейн обзавелся очередной супругой с романтическим именем Надюша. Она распугала всех его знакомых. Посадила его на всякие-разные таблетки. Результат я недавно наблюдала тут, в Питере: Рейн читал в «Бродячей собаке» — прекрасные стихи. Почти в пустом зале. Но зато при каком-то наборе «нужных и полезных». Многие разбежались от Надюшиного хамства. Но Татьяна Бек оставалась подружкой, другом. Слишком многое было за спиной. История с Туркменбаши — простая, понятная. Ребята ведь не знали, что их письмо к «великому туркменскому поэту» будет обнародовано. Сидели, наверное, сидели и придумали, как бабло срубить. Хорошее и по-легкому. Накатали письмишко. А Туркменбаши не удивился. Его ж недавно перевели французы и немцы, кажется. Им нужно было получить какие-то там конфессии — то ли на газ, то ли на хлопок... Туркменбаши обрадовался и из лучших побуждений, а вовсе не с целью валить ребят, откинул их письмо в свою русскоязычную газету. Оттуда письмо попало в сеть. Ну и началось. Ребят вызвали на собрание ПЕН-клуба и стали отчиты-

вать. Рейн кричал: «Вы затравили Пастернака, Бродского, теперь хотите затравить и меня! Мне пачку пельменей не на что купить!» Вот в это я верю. Помню, в Америке они жили у моих родителей, и Надюша попросила отвести ее в «Лорд энд Тейлор» — покупать свитера: «Потому что шерстяные я носить не могу, а только кашемировые». Я тогда удивилась. Нет, конечно, женам русских поэтов не заказано носить кашемировые свитера, только мы их покупаем в секонд-хэндах, куда их сдали, немного поносив, жены бизнесменов. Это и есть естественный круговорот одежды в природе. Но жена русского поэта Рейна сказала, что это дурной тон — носить вещи из «секонда». Конечно, после «Лорд энд Тейлора» на пачку пельменей уже не наскребешь. Туркменбаши, видимо, был у Надежды Рейн последней надеждой.

А дальше было вот что. Таня Бек, друг-подружка, потрясенная всей этой историей, напечатала статью в московском «Экслибрисе». Я ее читала. Такой мягкий увещательный тон. Как воспитательница разговаривает с нашкодившими детками, вот так она объясняет своим друзьям, взрослым дядькам, что Туркменбаши — злодей, режим у него что-то между Угандой и Родезией, что неэтично переводить его, — это все равно что картины Гитлера выставлять, и что Арсений Тарковский, на которого они пеняют (ему в сталинские времена было велено однажды перевести стихи Сталина), делал это не по своей воле. Вот такая статья. Типа: «Ну что же вы, братцы, нельзя же так». В ответ началась травля. Организованная отнюдь не клеветами Туркменбаши, которому, ясное дело, все это до катманды глубокой. Нет. Сама троица «переводчиков» занялась Таней Бек вплотную. Они звонили ей днем и ночью каждые пару часов. С трехэтажным матом и угрозами. Психологическая атака. На одинокую интеллигентку возраста за пятьдесят. Бывшие друзья. Бывшая своя компания.

«Некст дор бойс». ...Представьте себе девочку, которая выросла в центре Москвы. В доме писателей. Среди самого чистого и светлого, что было в ту пору в русской культурной среде. Хорошая школа, понимающие родители. Друзья — шестидесятники. И двор ей достался тот — «арбатский», из Окуджавы (Хотя и на «Соколе» с «Аэропортом». — А. Ш.). Татьяна Бек выросла идеалисткой...

Последний звонок был от Рейна — в три часа ночи.  
— Х... тебе в ж...!!!

Вот такое он зарычал в трубку идеалистке.

На следующий день она сказала своей подруге:

— Как ты думаешь, если я умру, может быть, им тогда станет стыдно?

Подруга, конечно, не восприняла это всерьез. Сказала, что этим ребятам ни от чего и никогда не может быть стыдно. Татьяна Бек пошла домой и ночью умерла... Да, вот так, слабовата оказалась русская интеллигентка, поэтесса, писательская дочь. Ну, не довелось ей вырастать в моем дворе. Дожила вот до шестого десятка, так и не узнав, что значит травля, бойкот, «прописка»... Так и не поняв, что не только окраинный двор с сильно пьющими рабочими-лимитчиками, но и писательская среда — «банка с пауками», это тоже — армия, камера, зона... В общем, я тут пошучиваю, манера у меня такая — смеяться, чтоб не заплакать. А история-то жуткая. Глубоко омерзительная. И очень стыдно, что один из ее героев — человек, с детства близкий. Свой. Из «ахматовских сирот». Из питерских мальчиков. Из русской поэзии. Просто завал...»

8

Маршрут двенадцатого троллейбуса проходит по Тверской и дальше в сторону «Сокола». Не знаю точно, как сейчас, но раньше троллейбус делал петлю у Центрального телеграфа. Там у него была ко-

нечная. Если подойти к телеграфу, то троллейбус оказывался совершенно пустым, в нем можно было свободно сесть у окна и долго с удовольствием ехать по намеченному маршруту. Удобно. Татьяна Бек, когда у нее бывало свободное время и желание побыть наедине с собой, любила именно так возвращаться с работы домой. Чтобы потом неспеша и не много свысока наблюдать за прохожими.

Я помню ее в разные времена года, но ярче всего — весной, решительно шагающей через лужи на московской окраине. «Юность я износила до дыр, но привыкла — и жалко снимать...» Многие ее строчки застревают в памяти как занозы. Воспоминания прихотливы — то одна история вдруг всплывет, то иная. Не случайно говорят — ткань воспоминаний. В критике принято рассуждать о «потерянном поколении» в поэзии. Татьяна была одним из самых ярких его представителей. «Я не дам себя в обиду. Грозная, большая с виду, я ему отвечу так: — Ненавижу! Сам дурак!» Или: «Я буду честная старуха!» — это продекларировано в юности. Она была прямодушной. Прямой. Удивительным образом впаянной в эту жизнь. Я бы сказал, что не она нуждалась в помощи, а скорее все остальные ждали от нее поддержки. «Я не дам себя в обиду!..» Оказалось — декларация. Прочная смычка с романтикой шестидесятников. Романтика в ее случае не могла уже превратиться в рассудительную мудрость. Потерянное поколение, застывшее на сыром морозном сквозняке начавшегося века.

Незадолго до смерти она звонила знакомым, звонила и мне, мы договаривались, что она передаст свою последнюю книгу. Я был в отъезде. Внезапно образовавшееся пространство вокруг нее оказалось губительным. Телефон обрывали некогда близкие люди, которых она не могла такими знать. Не хоте-

ла. Ей было легче уйти, чтобы не слушать их постыдные речи.

Наблюдая небес полыханье  
И обиду прощая врагу,  
Посидеть у разбитой лохани  
На последнем своем берегу.

Перейдя постепенно на шепот  
(«Тише, мыши, — кузнечики спят»),  
Благодарствую: все-таки опыт,  
И руины, и поздний закат.

И деревья стоят при параде  
Увяданию наперекор.  
И негоже просить о награде,  
Потому что и так — перебор.

Это последнее стихотворение из ее последней книги.

*Сентябрь 2005*

# ВИКТОРИЯ ШОХИНА

## ОНА БЫЛА ТАКОЙ КРАСИВОЙ

Воспоминания, письма, сны,  
ПОСТСКРИПТУМ

Наше знакомство произошло зимой 1967 года. Первый курс журфака МГУ. Все раскиданы по разным группам, согласно специализации. Самым престижным считается телевизионное отделение. Еще есть особая международная группа — там только мальчики и две девочки, по большому благу.

Таня на редакционно-издательском отделении, самом скромном по творческим притязаниям, но зато с изучением шведского. Я — на газетном, классика журналистики. Времени с начала занятий прошло мало, общаемся в основном с одноклассниками. И вот зима. Раздевалка на Ленинских горах, куда мы ездили на физру, на лыжи. Высокая длинноногая девочка. Видна порода. Веселые синие глаза, улыбка лукавая. Вся — открытая, доброжелательная. И очень быстрая, легкая — в движениях, в речи. На ней классная дубленка — редкость по тем временам, и она с удовольствием всем дает походить в этой дубленке... И мы — высокие, невысокие, худые, толстые, в диапазоне от 42 до 56 размера, — по очереди носим ее дубленку: выходим на улицу, делаем кружок—другой. Я тоже.

Потом я узнала, что сразу после *шаромыги* (так называли школы рабочей молодежи, в которых мы предпочитали завершать среднее образование) она поступала в Литинститут. У нее уже была публикация в «Новом мире», причем: три стихотворения известнейшего Евгения Евтушенко и пять (!) — 16-летней Татьяны Бек. Тем не менее в Литинститут ее не взяли. Пропустила год. И пошла на журфак. Здесь тоже не обошлось без неприятного недоразумения: кто-то в приемной комиссии выразил сомнение в том, что опубликованные стихи — ее. Сказали: это отец написал, Александр Бек. Тане почему-то везло на такие штуки. «Представляешь, — говорила с обидой, — отец! Отец в жизни ни одного стихотворения не написал!»

Осень 1968-го. Нас, второкурсников, посылают на *картошку* в совхоз «Приокский». Селят в пионерлагере — в одноэтажных деревянных корпусах типа «барак». В одном из корпусов — филфаковцы, первый курс. Мы относимся к ним с легким презрением: там по преимуществу тихие девочки, несколько домашних мальчиков и два взрослых, отслуживших армию мужика, члены партии... У нас же народ *творческий*, то есть безбашенный, богемный, хулиганистый.

Наш девичий корпус человек на шестьдесят. В разных углах образуются компании. Моя компания справа от прохода, Танина — напротив, слева. Рядом с Таней — Айка Кербабаева и другие девочки с редакционно-издательского. Мы иногда задираем их, довольно тупо, надо признать. Кричим: «Кер-ба-баева! Кер-ба-баева! Бе-е-е-к! Бе-е-е-к!» Впрочем, скоро возникает взаимная симпатия, притяжение; ходим друг к другу в гости через проход.

Царит всеобщее буйство. Водка из сельпо, вечерами в клубе — танцы. Драки с филфаковцами, которые члены партии. Таня на танцы не ходит, стесняется. Ее

коронный номер: в небольшой компании выдать вдруг соло. Она буквально впрыгивала в середину и плясала вся. Заводно, энергично, с напором, как будто что-то доказывая, в быстром причудливом ритме. Так же внезапно останавливалась, выпрямлялась, кланялась — и возвращалась в себя обычную. Называлось это у нас «Половецкие пляски Тани Бек».

...В гости к Тане приходит филфаковец, она его опекает, как младшего братика. Смешной такой мальчик, невысокий, кругленький. На спине свитера домашней вязки, в резиночку, вышито крупно: «The Nirru». Это Юра Гинзбург, сын известного переводчика. У нас, журфаковцев, возникает дикая дразнилка. При виде этого «The Nirru», надо крикнуть с укоризной: «Гинзбург, зачем ты убил Пушкина?» Все смеются, Юра краснеет, чуть не плачет, Таня вступает за него, утешает, угощает яблоками и конфетами.

К самой Тане постоянно цепляется Дуда (Игорь Дудинский). Он приходит в наш барак, садится на койку напротив нее и начинает трындеть. *Александр Бек — советский писатель, а ты — дочь совписа. Твой отец «Волоколамское шоссе» написал. стыдно быть дочерью совписа.* И т.д. и т.п.

В моде все несоветское. У нас в большом почете декаданс и чернуха. «Мелкий бес» Сологуба, с упоительным эпиграфом: «Я сжечь ее хотел, колдунью злую». Стихи Гиппиус и Фофанова, Лохвицкой и Северянина. Наш кумир — Юрий Витальевич Мамлеев. Его жутенькие рассказы передаются изустно. Песни типа «Ах, ах, ах, ах, хорошо лежать в гробах, крышку гроба целовать, о любимой вспоминать». Плюс «Поручик Голицын» и вслед — «Боже, царя храни», все встают...

А с Дудой Таня подружилась, и надолго.

Таня приезжает ко мне в гости, на 7-ю Парковую. Рассматривает мою библиотеку. С удовольствием от-



мечает два тома из академического собр. соч. Герцена (я только начала его собирать). «Надо же, ты тоже Герцена читаешь». Но особенно удивилась, увидев книги Александра Шарова — про Януша Корчака и «Волшебники приходят к людям». «Обязательно ему расскажу, он будет просто счастлив, что у него есть поклонницы».

Оказывается, Шаров — первый муж ее матери, Натальи Всеволодовны Лойко. Познакомились они в Школе-коммуне, основанной в Москве в 1919 году Лепешинским (про школу — «Республика ШКИД»). Потом поженились. Потом была война, а после войны Шаров несколько съехал. Он заставлял Н.В. с детьми вставать к стене и с пистолетом в руках грозил застрелить. Я, кричал, русский офицер, мне не нужна жидовка с жидовскими детьми... Самое смешное (если это смешно), что Шаров был, что называется, чистопсовым евреем, а у Н.В. было намешено много кровей, в том числе и еврейская. Но и белорусская, и польская...

Короче, Шаров бросил Н.В., а потом, в 1948 году, она вышла замуж за Александра Бека. И в 1949 году родилась Таня. У Шарова в другом браке родился сын, Владимир Шаров, сейчас известный писатель.

Прошли годы. У Шарова в голове все перепуталось: он ходил по Аэропорту и рассказывал всем, как Александр Бек, став знаменитым после «Волоколамского шоссе», увел у него жену...

Таня общалась с Шаровым и с Анной Михайловной, его второй женой. В Шере — так звали Шарова свои — ей нравилось всё: его рассказы, жизнь, перенасыщенная событиями, красочная пьянка, чисто русская забубенность... В Анне Михайловне — умение ладить быт и умиротворять мужа.

\*\*\*

Советский писатель Бек, *несоветский* — вопрос бессмысленный. И глупый. Но в те времена антиномия

советский/несоветский (антисоветский) была в ходу. Особенно в писательской среде. Быть советским считалось не комильфо. Притом антисоветчиком мнил себя каждый второй, не исключая членов партии, извлекавших из членства немалые преимущества. Александр Бек, кстати, членом партии не был.

Его роман «Новое назначение» (откуда Гавриил Попов потом выведет административно-командную систему) был объявлен «Новым миром» к публикации в 1965 году. Но так и не напечатан. Зато в 1972 году роман вышел за рубежом, в *тамиздате*. Помню обложку: девушка держит блюдо с отрубленной головой (перепев мифа о Саломее). Генерал КГБ Виктор Ильин, куратор писателей, сам прошедший через ГУЛАГ, принес умирающему Александру Альфредовичу экземпляр — чтобы порадовался. «Это был поступок», — говорила Таня с уважением.

Выход «Нового назначения» за границей осложнил Тане жизнь. Она тогда серьезно занималась творчеством пародиста Александра Архангельского, писала по нему диплом и должна была остаться в аспирантуре. Но, как намекнул ее научный руководитель, *теперь нельзя*. И тут ничем помочь не мог даже генерал Ильин. Таня пошла работать в Библиотеку иностранной литературы, там работала ее тетя — великий библиотекарь Маргарита Ивановна Рудомино.

Танино письмо от 9 августа 1972 года. Послано мне из Москвы на Юг.

«Москва-сортировочная

Мой милый друг! В Вашем лице приветствую всю ненавистную мне отныне тунеядствующую молодежь!

Вот уже третий день я хожу в присутствии: печатаю на машинке мною же составляемые библиографические описания различных буржуазных изданий. Это весьма трудо-

емкое занятие с жалкой долей интеллигентности... Скоро куплю себе соломенную шляпку — спецодежду большинства моих коллег.

Не радуется также восьмичасовой рабочий день, вставание «с петухами» и возвращение «со звездами». Как сказал поэт: Я люблю твой замысел упрямый,... Но на этот раз меня уволь.

Что до общих и необщих знакомых, то, как бы мы ни относились к вульгарному материализму, — бытие-таки определяет сознание, по крайней мере, может в определенных ситуациях свести мощь и вольный полёт последнего до минимума. То есть, говоря проще, после работы мне никого не хочется видеть, а только, как сказал вышеупомянутый поэт, — «спать, спать, спать и не видеть снов!» Любовь к самоанализу, самопознанию, самообразованию и самоутверждению тоже притупилась... (...)

Каждый раз, радостным смехом встречая набегающую волну, восход солнца и его закат, плеск рыбы и крик птицы, — вспоминай обо мне и радуйся за двоих.

Встречу обмоем.

Целую крепко,

*Твоя репка. Т.»*

Маргариту Ивановну отправили на пенсию в 1973-м — потребовалось место для дочери председателя Совмина СССР. Таня тоже ушла. Занималась архивом отца, готовила к публикации его книги, потом стала работать в журнале «Вопросы литературы». В 1990 году ВГБИЛ было присвоено имя Рудомино. «Бывает же так! Сначала выгнали, а теперь вот обесмертили! — говорила Таня. — Никогда нельзя отчаиваться». И смеялась.

В 1974 году мы ездили в Терскол. Был декабрь, время сессии, но мы почему-то об этом забыли и по-

ехали по чужим студенческим. Ясно, что первый же контролер нас подсек. Пришлось оплатить билеты да еще заплатить штраф.

Терскол — это *нечто*, как выражались мы тогда. Другой мир, Кабардино-Балкария! В одной из многочисленных шашлычных Татьяна обнаружила родственные души — кабардинцев (или балкарцев?) — сошлись на любви к поэзии северо-кавказских народов (Таня занималась и переводами). Ночь до утра Таня и шашлычники читали стихи и провозглашали тосты — за горы, за Расула Гамзатова, за дружбу между народами.

Жили мы там в блоке: комната на четыре койки наша, на две — каких-то мужиков из Свердловска. Общий душ и туалет. Когда познакомились, оказалось, что соседи — журналисты. А один из них, сильно пьющий Толя Н., называл себя еще и «двойником Андрея Битова», где-то их пути пересекались. Конечно, мы повелись: ну как же — двойник самого Битова! Кроме того, был в Терсколе замечательный тип — Ваня Полуэктов. Когда мы спускались на подъемнике, он внизу катил на лыжах и кричал: «Девочки, раздвиньте ножки!» И читал стихи, вроде бы собственного сочинения: «Ты Таня, ты Тайна, ты Таня, ты Тайна...» Простенько и с подвыванием. Все это очень забавляло, но чтобы продолжить знакомство в Москве — об этом и речи быть не могло. Зачем? Однако оба этих персонажа разыскали в Москве именно Таню и еще лет двадцать доставали. «Двойник Битова» приезжал из Свердловска, нажирался и с красной рожей шел к ней прямо в «Вопросы литературы». Полуэктов жил в Москве и возникал на горизонте еще чаще. Таня продолжала общение с ними, иногда, правда, восклицая: «На что я трачу свое драгоценное время!» Но отказать не могла. (Наличие свердловского «двойника» Битов, кстати, Тане подтвердил.)

У нее была «жадность до людей», если воспользоваться образом когда-то любимого ею Евтушенко. Надо сказать, что наши с ней литературные вкусы в молодости совпадали редко. Ее главный поэт был Евтушенко, мой — Вознесенский. Ее главный прозаик — Юрий Казаков, мой — Аксенов. Воннегута она не любила, предпочитая ему Хемингуэя и Томаса Манна. А вообще, говорила, для меня лучше всего Бунин...

Маяковского отвергала напрочь, в ее глазах он был первым, с кого началось растрление советских писателей — машинами, границами, деньгами. Я же Маяковского любила.

Сходились на Блоке и Пастернаке. У меня до сих пор хранятся стихи из «Доктора Живаго», напечатанные на машинке с мелким шрифтом, почему-то красным, — Танин подарок.

Машинка с мелким шрифтом принадлежала отцу, Александру Альфредовичу Беку. Отец был самой главной любовью в жизни Тани. Ей, папиной дочке, нравилось, что она на него так похожа.

Про какие-то черты своего характера с удовлетворением говорила: «Это у меня от отца!» Она бросалась на его защиту, как птица, защищающая птенца. Надолго обиделась на Бродского, позволившего себе непочтительную реплику по адресу Бека... И в стихах это есть: «На морозе папа-холмик.../ Я скажу/ чужим/ словам:/ — Был он ёрник, и затворник, / И невесть чего поборник, / Но судить его — не вам!»

Классических атрибутов совписовского благополучия у семьи Бека не было. Никогда не было у них дачи — ни в Переделкине, ни еще где-то. Не было и машины. К тому же, в семье царил культ «честной бедности». Таня объясняла это военно-коммунистическими идеалами родителей. Из-за этих идеалов ее в детстве и отрочестве одевали кое-как. И на фоне буржуазных обитателей аэро-

портовского «гетто» она ощущала себя бедной Золушкой, отчего страдала неимоверно. Даже вспоминая, страдала.

Впрочем, и сама Таня исповедовала культ «честной бедности». Мы с ней часто спорили по этому поводу. Меня богатство не раздражало. Ее — бесило. Она, например, считала, что «мерседес» Высоцкого — это неприлично. Равно как и неприличен настоящий «стетсон», который писатель А. привез сыну из США. И она противопоставляла сыну писателя А. другого молодого человека, который ходил в потертой куртке и каком-то нелепом берете. Правда, когда наступил капитализм, этот молодой человек, носивший нелепый берет и потертую курточку, проявил недюжинную хватку, стал бизнесменом средней руки. И Таня решила — нелепый берет может ничего не значить.

Эпитет «нелепый» был одним из самых употребительных в ее словаре. Причем именно как трогательный, симпатичный и априори положительный. Еще она любила *юродивых, блаженных*. Под которыми понимала людей бескорыстных, бедных, честных и, разумеется, в чем-то *нелепых*. Не обладающих социальной витальностью. А главное — социальной агрессией. Безбытных. Сопереживала Цветаевой как мученице быта.

Ее героем был Владимир Корнилов — поэт и человек детской честности, непосредственный и прямой. Корнилова она любила по сродству душ. И за стихи, в которых была прекрасная ясность. За идеализм. За то, что он, будучи исключенным из Союза писателей, не рванул за бугор, как другие. Остался, работал дворником, сторожем, делал переводы под чужими именами.

Вообще Володя и его жена, известная переводчица Лариса Беспалова, были для Тани высоким образцом социального поведения. Ее восхищало безупречное достоинство, с которым они переносили перипетии судьбы. «Представляешь, — говорила она, — Лара выходила замуж за знаменитого поэта (слава пришла к Корнилову после поэмы «Шофер», напечатанной в «Тарусских страницах»), а прожила большую часть жизни с изгоем, с дворником... И никогда не жаловалась!»

Еще Таня благоговела перед Ксенией Некрасовой. Блаженной, юродивой, странной, нелепой — и бесконечно талантливой.

Иногда, впрочем, пожалуй, даже часто, Таня ошибалась, точнее — обманывалась. Видела благородное юродство там, где его и в помине не было. Как бы верила на слово. Уже в нулевые годы она познакомилась с весьма благополучным филологом К. Человек он хваткий, ушлый и, если по большому — по Таниному же! — счету, вполне буржуазный. Но поскольку сам К. подавал себя как юродивого и блаженного, она так и считала — юродивый и блаженный. Я не спорила, юродивый значит юродивый... И вот Таня рассказывает: сидят они с приятельницей в кафе и туда подкатывает К. на новой машине. «Тань, а какая у него тачка?» — спрашиваю. «Я в иномарках не разбираюсь», — говорит она раздраженно. И через некоторое время задумчиво так: «А он, наверное, не совсем юродивый...»

Потом у нас сочинился такой анекдот. Подкатывает к Тане Бек мэн на крутой тачке, пальцы веером, на шее гимнаст, золота грамм на двести, и говорит: «Я — юродивый и блаженный!» «Смотрите, юродивый!» — восхищается Таня Бек.

Удивительное сочетание: мощный ум и простодушные подростка. Что у Тани, что у ее отца.

Год, наверное, 1982-й. Мы с Татьяной стоим в очереди на такси, напротив Аэровокзала. Очередь движется медленно. Два крепких парня отдыхают на заборчике. Когда происходит движение вперед, кто-нибудь из них просит: «Девочки, перенесите чемоданчики». И мы, увлеченные разговором, послушно перетаскиваем здоровенные чемоданы. Раз примерно на четвертый Таня спохватывается: «Слушай, а чего это мы их чемоданы таскаем?» «Не знаю», — пожимаю я плечами. На следующую просьбу перенести чемоданы Т. категорично отвечает: «Сами несите! С какой это стати мы ваши чемоданы таскать должны!» Парни довольно смеются. А мы еще долго обсуждаем ситуацию: какие, дескать, наглецы... Пока до нас не доходит: сами виноваты! Так в нашем обиходе появилось выражение *таскать чемоданы*. То есть позволять себя эксплуатировать внаглую.

Еще одно наше выражение: *без черемухи*. Так называется рассказ Пантелеймона Романова. *Без черемухи* — значит, без романтического флера, без эмоций, без сантиментов, тупо, плоско, прагматично. Может относиться к чему угодно: к ситуации, к человеку.

Танин круг общения был невероятно широким. С кем-то она сходилась, потом расходилось, кто-то исчезал из ее жизни вроде бы навсегда. А потом, спустя годы, возвращался. Но были люди, которые не исчезали. И среди них — Рафик. Рафаил Сабитов (о нем очерк «Моя прелесть» в книге «До свидания, алфавит»). Татарин. Родился в Бутырской тюрьме, родители сгинули в нетях ГУЛАГа. Рос в детдоме. Приходил к Тане и к ее знакомым помогать по хозяйству



(умел делать все!) за скромную плату. Пил, конечно. Но особенно любил поговорить о литературе и истории. Таню называл уважительно: «Татьяна Бек». Только так. Звонит, например, мне и говорит: «Я был вчера в гостях у Татьяны Бек, и Татьяна Бек сказала, что вам нужно что-то починить».

Рафик ходил на все ее вечера, если не был в запое. Когда Таня читала посвященное ему стихотворение — плакал. Там есть строки:

Обращаюсь к тирану, который кровав и коварен:

На имперском Олимпе уместны любые уловки.

Только что тебе сделал неграмотный

дворник-татарин

И подруга его, убиравшая снег на Петровке?

И еще: «Я историю вижу как битву тирана с мальчишкой». Это я к тому, что Таня будто бы не интересовалась политикой. Очень даже интересовалась.

Поссорились мы с ней только один раз. И именно из-за политики. Из-за событий октября 1993 года. Она подписала «Письмо 42-х», поддерживающее расстрел Белого дома (было опубликовано в «Известиях»). Мне это не понравилось. Долго спорили, ругались, кричали друг на друга, чего никогда прежде не было. Прошло время, все отлегло, а помириться как-то все не получалось. И тут вмешался Войнович. В ЦДЛ, на своем юбилее, подошел ко мне и сказал на ухо: «Помирись с Таней. Она этого очень хочет». «А как?» — спрашиваю. «Просто подойди к ней и скажи: «Таня, я тебя люблю»». Я так и сделала. «Я тебя тоже очень люблю», — ответила Таня. Мы расцеловались, и все пошло как раньше.

Как ни странно, но многие пытались навязать Тане свою волю, переломив ее. Не понимая, что вот

это как раз нереально. Ее легко можно было обмануть, взять на жалость, на лесть наконец. Но как только она чувствовала, что начинается давиловка, так тут же бунтовала.

«Ненавижу властолюбцев!» — говорила всегда. И еще: «Они же не понимают. Я как тот хохол: бачу, бачу, а потом как о...у». Но, ненавидя, внимательно вглядывалась в сам феномен власти, в тягу к властности. И на государственном уровне, и в бытовом проявлении. Она все перечитывала роман отца «На другой день» — о том, как Ленин сдал власть Сталину. Хотела понять, что чувствуют люди, обладая или стремясь обладать властью над другими. Хотела увидеть сокрытый движитель властолюбия. Вроде бы уже поняла: «Властолюбие — темная ересь, /Превращенная похоть и месть...» Но все равно всякий раз, сталкиваясь, удивлялась, как впервые.

В январе 1990 года — эпоха первоначального накопления капитала и борьбы за демократию — в ЦДЛ проходило заседание ассоциации «Апрель» («Писатели в поддержку перестройки»), в котором участвовала и Таня. В зале каким-то образом оказались люди с мегафоном и с антисемитскими плакатами. То ли члены «Памяти», то ли — еще чего-то. Вышел громкий скандал с элементами драки.

Потом был суд над Осташвили, и Таня выступала на суде как свидетель. Осташвили ей сказал: «У вас с интеллектом проблем нет». Т. веселилась, вспоминая эту его реплику: «Ну уж если Осташвили сказал, значит, я не такая дура». И вот сидим мы у нее дома, и ей звонит адвокат Макаров — он был общественным обвинителем на этом процессе. Смотрю, лицо у Т. вытягивается, она мне показывает знаками: возьми трубку на кухне. Я иду на кухню, снимаю трубку и слышу, как Макаров делает Тане втык. Оказывается, она неправильно ведет себя на суде. Вы, говорит Макаров, смо-

трите на Осташвили как на человека, а надо смотреть на него как на стул. Но ведь он человек, возражает Таня. Вы ничего не понимаете, сердится Макаров, нельзя быть такой наивной...

После беседы Таня сникает: «Ну как я могу смотреть на человека как на стул». И задает свой главный, вечный, роковой и наивный вопрос: «Чего им от меня надо?»

Когда Осташвили погиб в тюрьме (темная история: не то повесился, не то повесили), Таня очень переживала. Жалела его, говорила, что чувствует себя виноватой.

Я не знаю другого такого человека, которого бы так мучило чувство вины. Таня чувствовала вину перед всеми: перед матерью, перед друзьями, перед случайным знакомым... Конечно, этим многие пользовались, интуитивно чуя, на каких струнах тут можно поиграть. Ей внушали чувство вины — и она *вела*сь. Психологи называют это виктимностью. В наших долгих разговорах мы раскручивали ту или иную ситуацию, раскладывали все по полочкам — получалось, что она ни в чем не виновата. Но потом кто-нибудь попрекал ее — и все по новой.

«Я так старалась быть хорошей», — говорила. Или: «Я буду хорошей».

*Быть хорошей* в ее представлении — значит, поступать честно, не отказывать в помощи, даже если тебе это внапряг. Один из ее комплиментов: этот человек *с понятиями*. Имелись в виду *понятия* в старом смысле слова. Честь, достоинство, игра по правилам.

Некоторые из преуспевших знакомых любили тыкать ее носом в пепельницу: так, дескать, жить нельзя... *Ну что, не купила еще дачу? Не сделала евро-ремонт?* И ей становилось стыдно, что она такая неудачница. Притом само безденежье она переносила

очень легко. И если бы не разговоры о том, что нищей быть неприлично, вообще бы не задумывалась о нем. Когда появлялись деньги, она легко, даже радостно давала в долг, иногда понимая отчетливо, что это только так называется — «в долг».

Скромные выплаты — например, за работу в «НГ-Экслибрисе» — воспринимала как огромное богатство: «Едем на моторе, а потом в ресторан. У меня куча денег!» Спрашиваю: «Сколько?» «Две тысячи (рублей)», — отвечает гордо. Это 2004 год.

Как-то мы поехали *на моторе* с Мясницкой до Аэропорта. Машина нам попалась скромная — такая хорошо пожившая «копейка». Впрочем, увлеченные, как обычно, разговором, мы в нее и не вглядывались. Едем, и хорошо. Главное — успеть обсудить как можно больше. Пересекаем Садовое, в начале Олимпийского проспекта вдруг встаем. Водитель, невысокий сероглазый паренек, абсолютно невозмутимый, вышел что-то там чинить. Я заметила, что с моей дверью проблемы, не закрывается. Дергаю, дергаю — и ни фига... Таня сидит сзади. И объясняет: «Тебе ее не закрывать надо, а вставлять. Она же выпадает...» Тут мы посмотрели по сторонам и увидели, что «копейка» эта прямо с кладбища автомобилей взята. Еле, наверное, из-под пресса успели вытащить. Руль — голое железо. И все остальное в том же духе. «А ничего, — говорит Таня, — доедем. Смотри, водитель какой спокойный. Ты только дверь держи, чтобы на ходу не выпасть». И ведь доехали.

В ней был какой-то безусловный позитивный заряд. Хорошая светлая энергетика. И она легко и охотно делилась ею. Помню себя в один из поганных моментов жизни. Сажу перед грудой книг и вещей и не знаю, что делать. (*Полный амок*, констатировала Таня в таких случаях, это из Стефана Цвейга.)

«Ничего, ничего, — говорит Таня как мудрый старший наставник. — Сейчас мы все сделаем. Это просто. Я знаю, что надо делать. Это очень просто». И начинает методично все упаковывать, сортировать. Через недолгое время хаос буквально на глазах упорядочивается. Жить можно!

Однажды мы гуляем с ней по бульвару, что в середине Ленинградского проспекта. Поздний вечер, сугробы, мороз. И вдруг видим: в сугробе кто-то скрючился. Бросились поднимать, растолкали, отряхнули от снега, посадили на скамейку, расчистив место. Скрюченный очнулся, оказавшись пьяненьким мужичком, невысокий такой, щуплый. А мы с Татьяной обе, что называется, корпулентные. Мужичок посмотрел на нас мутным взором и говорит: «Девки, не обижайтесь, двух не потяну. Вы уж сами меж собой договоритесь — кого е...ь». «Какой нахал! — возмутилась Таня. — Мы тебя от смерти спасли, а ты?» А он все бубнит: «Двух не потяну, разберитесь меж собой...» Эпизод этот тоже вошел в наш обиход. Как пример мужского шовинизма и самомнения.

В последние годы Таня стала употреблять выражение «мужской мир». То есть жестокий, безжалостный, подлый, коварный, живущий по закону джунглей. Ее действительно часто обманывали и подставляли. Ее большой друг, поэт Рейн, например, узнав, что Таню пригласили в Венецию, бежал к организаторам и убеждал их, что ехать должен он. И ехал... И так не один раз. Таня на Рейна не обижалась. Она его считала гениальным поэтом и тоже отчасти юридическим. Хотя вполне прагматические свойства Рейна были налицо. Но раз он такой безумный и гениальный, ему все можно простить.

И потом там была многолетняя дружба — с Рейном и с его женой Надей. Таня считала, что это высокая дружба. Настоящая. Так оно, наверное, и было...

Да, у нее была жадность до людей. И доверчивость к людям. Сквозь годы откуда-то всплывали случайные и неслучайные знакомые. Рассказывали свои истории. Когда требовалась помощь — Таня помогала. Столько общений трудно было вынести. Иногда она бывала выжата до капли. Проклинала всех и вся. Но полегит денек-другой — и по новой.

Она влюблялась в людей. Независимо от пола, возраста, рода занятий и т.д. Главное, чтобы в человеке была хоть какая изюминка.

Охотно отвечала на потребность в ее дружбе, в ее опеке. По-матерински заботилась о своих студентах. Кому никогда не могла отказать (как бы ни устала) во встрече — так это студенту.

Таня возлагала на себя слишком много обязательств перед миром. И с немецкой — датской! — педантичностью исполняла их. Парадоксально: по природе истинный поэт — стихия, бездны, страсти, парения, падения, снова парения — она при этом была идеальным работником. Держала корректуру, редактировала, в безкомпьютерную эпоху аккуратно подклеивала рукописи. Никакую работу не считала зазорной. Мне, например, перепечатывала огромные статьи — как простая машинистка. Да еще редактировала. С удовольствием расшифровывала многочасовые интервью.

Долго не могла научиться работать с компьютером — техника не ее стихия — мучалась, плакала и все-таки научилась.

У Тани было много романов и один брак. Недолгий, с Сережей Калединым. Расстались они мирно, по-товарищески. И вот проходит какое-то время, Таня мне говорит: «Каледин на тебе хочет жениться». «С какой стати?» — спрашиваю. «Ну, ты ему подходишь. Как редактор и вообще». «Таня, — говорю я, —

для меня мужик подруги — не мужик». «Нет, — говорит она строго, — это неправильно. Я ему обещала, и ты должна поехать на смотрины». Больше всего она беспокоилась о том, как бы Каледин не подумал, что она из ревности до меня его дикую идею не донесла. Кстати, девяносто процентов женщин так бы и поступили. Но у Тани были очень четкие представления о правильном и неправильном. Если она и испытывала в этом случае уколы ревности, то никак этого не показывала. А Каледин вскоре женился на чудесной Оле Ляуэр. И устраивал свои дни рождения таким образом, чтобы присутствовала Таня как бывшая жена, я как несостоявшаяся невеста и реальная жена Оля. И как-то это было все мило, весело.

Была ли Таня ревнивой? Не знаю... Могу сказать точно, что это не была обычная женская ревность. От чего она страдала сильнее всего, так это от предательства. Или от того, что воспринимала как предательство. Скажем, в дом одного ее любимого человека приходили его друзья, с которыми у Тани сложились напряженные отношения с отрочества. То есть Таня была еще неуклюжим подростком, а люди эти — взрослыми, и к тому же с аэропортовским снобизмом. Так вот, когда они Таню шпыняли (а происходило это на протяжении лет тридцати!), ей казалось, что любимый человек за нее не заступает и тем самым — предает. Я ее потом уконтрапупивала: «Ну как ты себе это представляешь? Что, он должен морду им бить?..» «Не знаю, но это предательство». Может, она была права.

Семейная жизнь в традиционном формате была для нее невыносима. Если бы Таня захотела, то имела бы нормальную семью. Но она — на глубинном уровне — этого совсем не хотела. Самый долгий ее гражданский брак был долгим только потому, что

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

она и ее возлюбленный жили в разных городах. А когда периоды совместной жизни затягивались, Таня начинала страдать.

Письмо от 13 марта 1985 года:

«Виктория, душа моя!

Пишу коротко и энергично.

Как В.Шкловский.

Где твои письма?

Море в Гаграх холодное, но голубое.

Лечу зубы — в конце недели буду коронована.

Человек — я — ничтожен и глуп. Нет любви — ищет, есть — капризничает.

Жажду одиночества!

В номере очень уютно, но живет мышь. Я к ней привыкла.

З. ревнует меня даже к зубному врачу, что меня бесит, хотя об этом я много лет мечтала.

Но, в общем, все очень хорошо.

Пожалуйста, напиши мне письмо любой длины и содержания.

*Твоя Т.».*

Письмо от 23 марта 1985 года:

«Любимая Виктория!

Мой монолог продолжается уже без надежды на диалог.

Я — сумасшедшая.

Хотя это не новость.

Я имею все, о чем мечтала. Любимый человек рядом и добр; мосты (в полости рта) поставлены; работа идет.

Но часто (особенно утром, пока не встану) я так несчастна, словно он меня бросил, зубы все выпали, двух слов на бумаге связать не могу. Начинаю подыскивать к этому состоянию причину — вспоминаю всех прошлых обидчиков, или виню во всем свою



толщину (не могу похудеть и все тут), или еще много чего.

Все, что меня бесит в моей матери, я обнаруживаю в себе...

Нельзя быть неблагонадежным нытиком, а то жизнь разозлится и надает п.....й!

Не буду.

Наши отношения с Ж. такие хорошие и прочные, что, по-моему (тьфу-тьфу), даже я их не испорчу. Я очень стараюсь быть мудрой и поменьше «самовыражаться». Для этого есть подруги (т.е. ты) и поэтическая речь.

В Москве буду 15 апреля — жажду встречи.

*Целую, Т.».*

Да, когда у нее все было хорошо, она мучалась от того, что «не узнает свою судьбу в лицо». Судьба казалась ей строгой, требовательной наставницей, которая должна выйти из-за угла, погрозить указкой и спросить: «Что это ты расслабилась, девочка? За работу...» Расслабляться было нельзя — это она усвоила. Но ведь и жить в постоянном драйве тоже нельзя, правда?

Однако она жила в постоянном драйве. Драйв был у нее в крови.

«Еду в Мураново... На следующей неделе я в Нижнем Новгороде... Завтра лечу в Ханты-Мансийск, знаешь, как его называют? Понты-Мансийск! Клево, да?»

Все куда-то ездила, в чем-то участвовала, считала невозможным не прийти, когда ее приглашали на чей-то вечер, писала, составляла книги, да много чего...

В сентябре 2004-го, поднакопив денег, помчала в США, по приглашению своего школьного друга Семена Пинхасова, Семы.

Письма из Америки приходили по электронке.

«29/09/04. Викушка, привет из Америки, с твоей родины... У меня все хорошо, по крайней мере — очень насыщенно и содержательно. (...)

Позавчера сюда, к Семе, приходил Ефим Лямпорт с очаровательной женой и сыном. Они мне все очень понравились, только мне saddается, что Ефим — совсем не для этой жизни... Ему тут мало сказать — трудно. Даже не то слово (...) Он очень хочет тебе что-то прислать — и советовался со мною, что тебе нужно. А я не знаю. Срочно напиши — и ему и мне, — есть ли заказы, чтобы избежать никому не нужных сувениров. (...)

Сегодня (Сема переводил) сделала беседу с одной милейшей американской писательницей, которая пишет типа ЖЗЛ про знаменитых ученых-атомщиков. Сема просто ей хотел сделать приятное, но получилось и для меня, и для журналистики небезынтересно. Она — американская еврейка, и можно будет сдать эту небольшую беседу (с Волковым — огромная) в «Лехаим». Но в ней наиболее на самом деле интересное, что эта Роберта (ей под 70) — личная студентка твоего любимого Набокова. Он ей преподавал в семинаре историю литературных шедевров в университете Корнель. Это было еще до его славы. Но (она так говорит) студенты уже ощущали, что «все преподаватели живут в туннеле, а Набоков — в мире» (хорошо сказано, да?). Он часто приходил на занятия с сачком, а жена Вера тоже с ним приходила всегда в черном платье. Садилась сзади его стула. И никогда не улыбалась. В Корнеле имели место слухи, что лекции за В.В. пишет Вера...

В пятницу мы пойдем к ней в гости (сегодня она была у Семы) — и она даст мне эссе об этом набоковском семинаре, на английском, страниц на семь. Если захочешь, найдем переводчика и дадим в «Кафедру». Но сначала надо прочесть.

Еще мы сегодня с утра пораньше были с Семкой (такой вот у меня плотный график) в огромном гос-

питале, в ожоговом центре. Привезу посылку с антиожоговыми делами... Поражает то, как у них все продумано, чисто, высокотехнично и абсолютно не воняет! Вот бы нам так...

(...)

Ладно. Это все пока так... тезисы... (...) Как Коля? Какие новости?

Скоро увидимся...

*ЦК ТБ».*

«30/09/04. Виктория, привет...

Как было приятно получить твое письмо. «Здравствуй, родина!»

Сегодня ходила с Семой (он и впрямь гений дружбы) в магазины. Кое-что себе купила, но размеры — удручают (меня — мои), и после верчения с отвисшим пузом перед американскими зеркалами хочется заснуть и долго-долго спать...

И себе и тебе приобрела по дивному американскому п о н ч о: очень и очень скрадывает нежелательные отложения...

Сема же купил мне в подарок огромный и очень смешной чемодан, то, что раньше называлось «саквояж». Я в нем повезу на родину «антиожоговые атрибуты», но саквояж потом оставляю себе. Такой вот гешефт. Семка потом поспешил домой, чтобы с кем-то говорить по телефону (он, вроде нас, в основном бескорыстный и полубессмысленный гуманитарусчелнок), а я посидела одна на Бродвее в открытом кафе. Пила «несладкий кофе» и свежавыжатый морковный сок — и наблюдала за потрясающе колоритным негром-наркоманом, который попрошайничал деньги в шляпу. Прохожие — давали.

Сейчас (тут 16 часов дня) к Семе приедет его племянник Володя Фельцман, типа гения-пианиста, и я сделаю с ним беседу.

Завтра поедем с Семой за город на их русское для американцев (я говорю — Сема переводит, типа) те-

левидение — как бы при радио «Свобода». Мне будут задавать провокационные вопросы, а я постараюсь и в грязь мордой не ударить, и не показать себя в виде Новодворской. Мы с Семой решили, что надо сочетать правдивость с лукавым чувством юмора. Типа, «раньше были ножки Буша-старшего, а теперь к нам протянулись ручки Буша-младшего» (моя игра слов!).

Сколько же тут на улицах педиков и даже трансвеститов! Особенно их много среди продавцов больших магазинов... В общем, нет мира под оливами.

Войновичам, м.б., лучше тебе и позвонить, ибо Оля уедет до моего приезда (я вернусь 5 октября, в день ее рождения). Напоминаю их телефон: (...) Позвони дяде Вове (он тебя обожает) и скажи, что вот тут, мол, есть некая книжка, которую Таня заказывала для Оли, но поскольку Тани нету, то не хочет ли Оля эту книжку взять? И пускай сама куда надо подойдет. Или вы с Колей сходите к ним в гости...

У меня, как всегда, внутри легкая (на что?) обида и неуверенность, что о н о — длится... Ну да ладно. «Грядущее покажет будущее».

Очень скоро увидимся и услышимся.

Напиши еще хоть пару слов.

В пятницу я встречаюсь на улице (опять же посидим в открытом кафе) с Инной и ее Петенькой. Она принесет мне сувениры от нее и Ефима для тебя и Есина. И просто помелем языками.

Да, забыла... Как там мой старик-компьютер? Операбелен ли он? Если нет, то на «нет» спросу нет. Пусть разберут его на запчасти, а я, приехав, куплю новый. Америка, кстати, учит легче относиться к вещам, покупкам, тратам и вообще «смене вех» (и — опять игра слов — «смене всех»). Надо долго ли хватит?

*ЦК ТБ».*

После Америки увлеклась Пелевиным, которого раньше не воспринимала, считая, что это *не ее*. Читала «Священную книгу оборотня» и восхищалась: «Он просто гений!» Причем читала не просто так, а с выписками, чтобы донести до своих студентов.

Я ей рассказала про принца по имени Сиддхартха Гутама Шакья-Муни. Он имел все, что может иметь человек, и не видел горя. А когда узнал, что на свете есть обездоленные и несчастные, то дал себе обет найти способ избавить людей от несчастий. Бросил все свое благополучие и стал потом Буддой... Таня внимательно выслушала и сказала задумчиво: «А знаешь, он мне нравится, этот принц... Может, мне принять буддизм?»

В середине декабря 2004-го возник сюжет с Туркменбаши. Таня была в курсе всех подробностей — ее младший друг-поэт пересылал ей всю информацию. Когда мы эту историю обсуждали, у меня появилась было мысль написать заметку, но я мысль отогнала. Решила сэкономить энергию. И вот наступает суббота, 18 декабря, Татьяна никак не может успокоиться и говорит: «Об это писать надо, но кто же напишет, все боятся...» И тут я понимаю: не писать нельзя. Ну и пишу как умею. Моя статья «Поэты и государство» выходит 20 декабря в «НГ». Говорю Тане: «Реакция на твои слова: кто об этом напишет, все боятся... Так что ты — соавтор!» Она: «Соавтор это ерунда... Я сама должна об этом сказать. А если не скажу, как буду глядеть в глаза своим студентам? И тем людям, кто бежал из Туркмении?»

Ну, в общем, она сказала. Корректно, но притом наотмашь. Один раз, отвечая на предновогоднюю анкету. Потом — 13 января, в своей колонке «Исподлобья». После этого все и началось.

Звонок Рейна был первым. Поэт начал с уголовного заклинания: «Х.. тебе в рот, чтобы голова не кача-

лась». И дальше: климактеричка, сбесилась от одиночества, от нищеты... Потребовал вернуть пятьсот долларов, которые Тане заплатили за выступление, когда Рейн получал Пушкинскую премию фонда Тепфера. Продай, кричал, шубу и верни деньги. Это деньги Арьева...

Она меня позвала. Прихожу и вижу: Таня вся белая, растерянная. Повторяет: «Что это было? Нет, ты объясни мне, что это было? Деньги я сегодня же вышлю». Разобрали кое-как ситуацию, решили, что Рейн в аффекте. Что он опомнится и даже, возможно, извинится. Потом вмешался Битов, позвонил Рейну, тот оправдывался. «Я его, наверное, прощу, — говорила Таня. — Все-таки он большой поэт».

Вторым был Чупринин. Он не кричал. Говорил размеренно. О том, что нельзя предавать старую дружбу, старых друзей. *Да будем мы к своим друзьям пристрастны, да будем думать, что они прекрасны...* Когда Таня пыталась вставить слово, обрубал: «Я говорю!» Это произвело на нее более гнетущее впечатление, чем крики Рейна. Позвонила мне, уже плача: «Я только что побывала на допросе у следователя КГБ. Теперь я знаю, что это такое». Попросила объяснить Чупринина, «ты же его лучше знаешь»...

Третьим был Синельников... Вы выбрали неправильную позицию. Времена меняются, уже изменились. Вы даже представить не можете, что вас ждет, какая бомба... Его звонок как бы поставил точку. Потому что если с Рейном и Чуприниным Таня общалась, то Синельников ей был человек совершенно посторонний. Никогда ей не звонил. И стало понятно, что это не случайность, а система.

К тому же в «Литературной газете» появилась безымянная заметка, сообщавшая: «Один из наших корреспондентов, например, выражает удивление, что против Е. Рейна резко ополчилась его знакомая поэтесса, которая в течение многих лет использовала имя поэта,

его влияние, товарищескую помощь в своих целях». Кто-то Тане сказал об этом, она позвонила мне и попросила зачитать текст. «Да чепуха все, не стоит вни-мания», — попыталась я увильнуть. «Нет, читай, — сказала она твердо. — Я все должна знать».

Каждый день мы обсуждали с ней Рейна—Чупри-нина—Синельникова, «ЛГ» и т.п. Часами. «Вот по-говорила с тобой, и мне легче стало».

Но легче становилось ненадолго. Говорила она не только со мной, еще с множеством других друзей и знакомых. Все не могла понять, как это люди, кото-рых она воспринимала как единомышленников, как свою референтную группу, могут так поступать с ней. Все надеялась: вот сейчас они опомнятся... Я с трудом уговаривала ее съесть мандаринку, выпить сока. Она только курила.

Спрашивала: «Если я умру, им станет стыдно?» Брала с меня обещание написать некролог. И тут же отступала: «Не бойся, у меня нет гена самоубийства, ты же знаешь». (Мы часто говорили о самоубийцах, Таня их осуждала.)

Приближалось 8 февраля — день ее выхода в Лит-институт. Каждый день она мне говорила: «Имей в виду, я в Литинститут не пойду, потому там Рейн и Чупринин». Я звонила Сергею Есину, ректору, он Таню любил и, конечно, что-нибудь бы придумал. Но его не было в Москве.

7 февраля у меня кончался отпуск, я попробовала отпроситься, но не получилось. Перед работой я ло-жусь рано, и мой сын Коля знает, что сон мамы — святое. Таня позвонила в час ночи и попросила Ко-лю меня разбудить. Он будить не стал... Каждую свободную минуту на работе я ей звонила: не отве-чал ни мобильный, ни обычный. Сначала я думала, что она отсыпается, но во второй половине дня мне стало не по себе. Звонила ее брату Мише (у него ключи), но там никого не было.

Мише я дозвонилась где-то в половине седьмого вечера. Когда он вошел в квартиру, сразу позвонил мне, сказал: «Она лежит на полу в ванной голая. Что делать?» Я сказала: «Срочно вызывай “скорую”». Стала вспоминать, где врач поблизости, и вспомнила о Даше Корниловой. Даша туда побежала, пыталась делать искусственное дыхание... Пузырек из-под таблеток был пустым, на запястье был надрез. Всё.

Она была такой красивой. В последнее время ее все время звали во всякие ТВ-шоу. Она так здорово смотрелась, так классно выступала. Хотя потом в своей обычной манере говорила, что урод. А фильм, который про нее сняли в 2002 году, — она там просто супер.

Вот у меня на столе карточка: Таня и Соломон Волков. Это сентябрь 2004-го. Красавица! Соломон звонил мне не так давно, специально нашел мой телефон (мы не были знакомы), и мы с ним проговорили два часа о Тане. Соломону показалось, что она была влюблена в Рейна. Потому что Таня с ним о Рейне все время говорила. Я ему объяснила, что Таня страстно переживала отношения с людьми, независимо от того, мужчины это или женщины. И дружбу переживала порой даже сильнее, чем любовь.

Кстати, о внешности. В январе 2005-го к ней на улице стал клеиться какой-то мужик. Как она говорила: «Маленький, не то еврей, не то грузин, короче, мой тип...» «Ее тип» долго бежал за ней и просил телефон. Вот такой у нее был sex арреал, хотя и не девочка... И все эти разговоры об одиночестве — хрень полная. Другой вопрос, что Таня к себе относилась слишком критично. И еще боялась, что кто-то будет считать ее неудачницей. Но она — поэт, а это особое восприятие жизни. Другое. Она была и очень сильной (говорила: «Не бойся, я



сильная, я выдержу»), и очень уязвимой. И эти скоты знали об этом.

О чем мы говорили на протяжении долгих лет? Да о чем угодно. Обсуждали мужиков, спорили о литературе, вникали в политические игры... Гадали друг другу. «Ну что, раскинем картишки», — говорила Таня. И раскидывали: сначала она мне, потом я ей... Был еще способ блиц-расклада: задать вопрос и вытащить наугад три карты. Толковали сны, не по Фрейдю. Таня звонила и просила: «Ну-ка, открой свой сонник». Перед тем, как Каледин сделал Тане предложение, ей приснились маленькие девочки, числом пять. Мы сразу поняли: быть диву! Перед взрывом на Павелецкой ей приснился страшный сон: груда тел, кровь.

В последнее время Тане часто снилась мать, Наталья Всеволодовна. Она ее наставляла: «Сойди с автобуса! Он тебе не нужен». Таня смеялась: «Мать даже оттуда продолжает мною руководить». Но о том, чтобы «сойти с автобуса», то есть порвать некие затянувшиеся отношения, задумывалась всерьез. Еще ей часто снилась Ира Войнович, которая умерла в январе 2004-го. Иногда Тане казалось, что Ира будто зовет ее к себе...

В то, что между мирами — тем и этим — нет непроходимой границы, мы верили. Я и сейчас верю.

Мне снилось четыре сна о Тане. Первый — между гибелью и похоронами, точнее — накануне похорон. Будто где-то на Красноармейской мы с ней стоим. Она после ванны, обмотана махровым огромным полотенцем, как туникой. Босая. Прекрасное тело, очень красивая! А перед нами зеленый грузовик (в таких солдат возят), задом к тротуару, борт откинут. И в грузовике Войнович и мой сын Коля, они на нас сверху смотрят. И доносится запах приготовляемой

еды. Таня говорит: «Надо срочно сказать Мише, что я жива! А то он торопится, поминки уже устраивает. Миша всегда торопится!»

Накануне сороковин. Она мне звонит и говорит, что надо встретиться, книжки какие-то передать. Мы встречаемся опять на Красноармейской. Таня в синем пальто, велюровом. На плечах шаль цветастая, но темная, чуть наискосок повязана, очень стильно. Через плечо сумка, в руках какие-то бумаги. Волосы рыжие, лицо осунувшееся, чуть похудевшее. И все время меня успокаивает: «Я понимаю, что ты можешь бояться. Не бойся, не надо бояться...» Говорит, что у нее осталась статья, которую она хочет напечатать в каком-то журнале. Я спрашиваю: «Тань, а почему не в Экслибрисе?» Она усмехается озорно и говорит: «Ну, знаешь, при моем нынешнем положении это будет выглядеть несколько экстравагантно, согласишься». Звучит песня: «Ты не грусти, может быть, еще встретимся...»

Июль. Я воровским образом пробираюсь в Танину квартиру. Ищу записные книжки, дневники, которые она вела. И нахожу. Стопками с подоконника кидаю себе в сумку. Радуюсь, что у меня получилось. И вдруг вижу Таню. Она в пальто. Я кричу: «Таня, ты жива! Как здорово! А я вот за твоими записями полезла». Она говорит: «Да, я жива. И надо срочно сказать об этом моим родственничкам». Мы спускаемся в метро, станция «Аэропорт», чтобы добраться до родственников. Таня говорит: «Представляю, какие у них будут рожи, когда они узнают, что я жива! Я им покажу!»

Август. У меня звонит домофон, я выхожу на площадку и вижу где-то там внизу Таню. Она во всем светлом — брюки и кофта с коротким рукавом. Сумка через плечо. В руках не то букет, не то бутылка. Ну как в гости ходят с чем-то. Веселая. Возле нее ярко-синий куб. Как детские кубики, толь-

ко огромный. И она никак не может пройти мимо него.

P.S. Всякие странные люди выводят из названий Таниных книг и циклов стихов предчувствие судьбы. Названия, дескать, упрямая вещь, в них гибель была давно предсказана. Что ж, последняя ее книга называлась «Сага с помарками». Она не собиралась умирать, ведь помарки требуют исправления.

*Сентябрь 2005*

# ИРИНА ЩЕРБАКОВА

## ПРИВЕТ ВАМ, ПТИЦЫ...

Писать о Тане, когда еще и года не прошло со дня ее гибели, для меня почти невозможно. Я совсем недавно перестала наконец, сняв трубку, автоматически набирать номер ее телефона. Мы по старинке мало разговаривали по мобильному, и по электронке писали друг другу только что-нибудь быстрое и деловое. А так все сорок четыре года нашей дружбы — по телефону контрольный звонок утром и потом более спокойный и длинный вечером.

Я очень хорошо помню, как в первый раз ее увидела — в литфондовской поликлинике на лечебной физкультуре, куда нас всех почему-то загоняли. Такое поветрие было — детям осанку исправлять. Осанка у всех была, конечно, отвратительная, и в нашей группе оказались три совершенно разных персонажа: Таня — высокая и худюшая, очень смешная маленькая пухленькая Ира Гинзбург и я — еще ни рыба ни мясо...

Мы были так называемыми «писательскими детьми». Были мидовские, академические и многие другие... Все в той распределительной жизни были к чему-то прикреплены.

И писательские — к литфондовской поликлинике, к писательскому кооперативу на Аэропортовской, к домам творчества в Малеевке и в Переделкине на зимних каникулах. А летом к Коктебелю или Дубултам. Танины родители любили Комарово.

Но в каком-то смысле про нас и в самом деле можно было сказать, что мы писательские дети, потому что — и Таня и я (Таня гораздо больше, и понятно почему — вся ее жизнь стала жизнью в литературе) — жили у родителей «на хвосте». Мы слушали их разговоры с друзьями, впитывали литературные и политические споры 60-х годов, рыскали по родительским «захоронкам» в поисках запретного самиздатовского чтения.

Я недаром точно помню дату нашего знакомства: в поликлинике меня ждала мама, которая читала сероватый номер «Нового мира», где был наконец напечатан «Один день Ивана Денисовича». Эти серые новомирские тетради представлялись нам чем-то сакральным: напечататься в НМ было как попасть в высшую лигу, в элиту литературы. Танина публикация там — ее первая стихотворная подборка — казалась чудом, я просто раздувалась от гордости за нее.

В восьмом классе я перешла с Арбата в школу на Соколе и очень часто после занятий пешком шла к Тане на Аэропорт в писательский дом, в их квартиру над поликлиникой. В этом подъезде, да и во всех остальных подъездах, обитали знакомые взрослые и дети (по Малеевке, Коктебелю). Мне это казалось забавным, я жила на отшибе на Арбате без всяких писателей.

Надо сказать, что благополучие и «сытость» многих жильцов этого дома, внешний лоск самих писателей, их жен и детей мало соответствовали вкладу их в литературу. И жить тут Тане было иногда ужасно трудно — ей казалось, что ее считают нелепой, некрасивой, плохо одетой, и эти детские комплексы

не оставляли ее всю жизнь — именно по отношению к этому месту и к этой среде.

Таня, ее отец в аэропортовскую среду абсолютно не вписывались. Александр Альфредович на меня в детстве производил впечатление настоящего чудака. Я, конечно, с самого начала знала, что он известный писатель и даже прочла «Волоколамское шоссе», но прошло много лет (когда роль интервьюера стала частью моей профессии), прежде чем я по-настоящему поняла и оценила эту книгу. Кстати, нас с Таней еще и очень объединяла передавшаяся нам память о войне, потому что хоть наши отцы принадлежали к разным поколениям, война сыграла в их жизни главную роль.

Помню хорошо голос и интонацию Александра Альфредовича. Он часто пошучивал в адрес ближнего, но с таким простодушным видом, что придраться к нему и обидеться было трудно. Помню и ужасно комичную сцену с Таниной мамой Натальей Всеволодовной, которая, вдруг войдя на кухню, где мы пили чай, с пафосом произнесла: «Какой ужас, у нас кроме Солженицына совсем нет честных писателей!» На что Танин отец, удивленно подняв брови, сказал: «Как нет? А ты, Наточка?» Мы прыснули, а Наталья Всеволодовна (писавшая книжки для юношества) оказалась в трудной ситуации. И сказать нечего, и обижаться глупо.

Эту манеру задавать риторические вопросы, которые на самом деле обнажали безобразия и глупости жизни, Таня если не унаследовала, то уж точно переняла. Я потом, много лет спустя, в ответ на ее вопросы вроде: «А почему богатые не поделятся с бедными? Ты мне, Ирок, скажи как историк», — ей отвечала: «Ну вот, Александр Альфредович прорснулся».

Всегда было смешно, когда она мне говорила: «Ты им так и скажи, Ирок...», — так сказать, обращаясь

к человечеству. Кому скажи? «Ты им так и передай...» Кому передай?

Но как рассказать о том, что составляло вместе с Таней большую часть моей жизни, — не знаю. И как передать то ощущение тяжести от наступивших свинцовых времен, ощущение, которое Таня в последний год испытывала особенно остро? И при этом поразительно, что ее собственная жизнь внешне казалась гораздо более благополучной, чем в начале 90-х.

Я очень сердилась, когда Таня говорила мне: вот ты увидишь, я скоро умру. Потому что это она мне говорила едва ли не с первых дней нашей дружбы. И в ответ я всегда ей: ты думаешь, это так легко? Я, не смотря ни на что, была совершенно уверена в ее душевной и физической крепости.

Но всю эту «мусть и наволочь», снова поднявшуюся со дна, она, как выяснилось, просто физически не смогла перенести. Не смогла пережить того, как под влиянием вовсе не смертельных обстоятельств самым скверным образом менялись близкие ей когда-то люди.

Таня любила писать письма, а я очень любила ее письма читать. И сохраняла их, и думала, что вот придет когда-нибудь время, она мне будет читать какие-то куски из своих дневников (я часто даже как эгоистка ей напоминала: ты это записала? запиши вот это), а я ей из ее писем, и будем вспоминать нашу жизнь, но что будет это еще очень не скоро.

В 98-м году я на семь месяцев уезжала в Вену, и Таня писала мне — железно — два-три раза в месяц длинные письма. Из них я выбрала четыре, против публикации которых Таня, как мне кажется, не стала бы возражать.

«Дорогой Ирочек! Пользуюсь оказией и пишу срочно. Потому письмо будет недлинное, сбивчивое и сумбурное. Просто чтобы ты меня не забывала и обязательно тоже писала.

Жизнь не плохая, но и не хорошая. Была восемь дней в Гатчине. Ходила везде парой с Рейном (посылаю фото — оба красавцы, да?), пребывавшим не то чтобы даже в депрессии, а хуже. Уже — старческий ужас перед жизнью, смертью, безденежьем (идея фикс, абсолютно не связанная с реальным положением его вещей), бытом и прочее. Качал мою энергию литрами и тоннами.

Имел место ряд прекрасных экскурсий: домик Арины Родионовны, набоковское поместье на реке Оредежь (которое пару лет назад наполовину сожгли нетрезвые реставраторы, русское ку-ку), дом-музей Рериха, Царское Село, Павловск.

Выступали раз пять в местных и близлежащих (поселковых) библиотеках, которые уже года три вообще не финансируются и не пополняются. Бедные и самоотверженные библиотечарши живут на огороды и как могут интеллектуально трепыхаются. Фильмы были в основном наши, плохие, глупые, банкеты были в стиле застойных «декад», шикарные, но все это для меня лично давно декаде и малоинтересно.

Потом два дня провела в Питере, у Иры Цимбал, которую я бесконечно люблю. (...) Очень много разговаривали, ныли, смеялись, вспоминали «другую жизнь и берег дальний». Ходила в Эрмитаж — там чудесная выставка Матисса из некоей датской коллекции. Все-таки, это мой любимый город в мире!

Один вечер провели с Рейном у Кушнера и его жены Лены Невзглядовой. По крайней мере внешне, они — самая нормальная и психически здоровая пара, которую я видела за последние годы (пожалуй, еще твои родители).



Словом, у меня в любом случае получился неплохой отпуск на халяву— я отдохнула благодаря просто-напросто резкой смене обстановки. Вернувшись, с энтузиазмом взялась за работу — и ту и другую (Таня преподавала в Литинституте и работала в журнале «Вопросы литературы». — *И.Щ.*).

Еще набрала огромное количество всяких заказов в новый литературный словарь, для «Ариона», какие-то рецензии и так далее. «Что ж, пора приниматься за дело, за старинное дело свое...» — как писал Блок. Правда, рабочие батарейки слегка как бы сели. Но я себя заставляю....

Привет тебе от моей кошки Баси. Она стала очень толстая. Мы с ней живем дружно. Пока все. Перефразирую «Гамлета» — «живи, живи, но помни обо мне...»

Сжала губы полубантиком,  
Полунищим узелком...  
Полно мне кружить лунатиком,  
Нытиком, еретиком!

Не приемля всеми жилами  
Новый паводок и слог,  
Напишу большими вилами  
По водице — некролог.

Дескать, жили, были, канули:  
Мы — без кузни и казны,  
Не совпавшие с лекалами  
Небывалой кривизны.

«Прощевайте!»  
...Тем не менее  
Кланяюсь тебе, Земля,  
Тихо уходя под пение  
(С неба) Юры Коваля.

Такое вот странное стихотворение я сочинила сегодня ночью. Это чтоб ты знала (впрочем, ты и так знаешь) мое подспудное настроение. Т.

*17.3.1998».*

«Дорогой Ирочек! Набубню тебе всякие глупости, ибо в голове некоторый хаос. Не то чтобы безумие, а серединка на половинку... Как писал замечательный поэт В. Блаженных (он же Айзенштадт), о котором я только что закончила статью — предисловие к книжке в издательстве Алехина: «Все дома, но в доме бушует огонь».

Недавно пошла в воскресенье утром в церковь «поднять дух». Уже входя, услышала дикие крики. На меня с лестницы (а молитвенный зал на втором этаже, где раньше был театр МГУ) несли на подстилке мужика наших лет, который бился в конвульсиях и кричал: «Господи! Господи! Господи!» Молитвенная эпилепсия, вызванная, видимо, помимо прочего — и постом, который идет к завершению.

Часа через два еще один юноша упал замертво страшно бледный и бездыханный. Его откачивали и кропили водой. Потом поднялся.

Так что с подъятием духа у меня получилось не очень, а главное произошло дальше. Когда я, совершенно усталая, вышла после трехчасовой службы на улицу и пошла вдоль Александровского сада (ох, Ирочек, все ведь места нашей студенческой юности, да?), то уже издали поняла, что возле Музея Ленина митинг стариков-коммуняк. Они там всегда тусуются, спорят, торгуют газетами — и у них совершенно особые, сразу узнаваемые интонации. Тем более — на крике. Ну да ладно, иду дальше. И вдруг — о боже! — прямо и конкретно на меня от гостиницы «Москва» идет совершенно живой и реальный Ленин. Кепка, борода, пальто, походка, жест рукой. Но главное — близнецовое сходство в чертах морды

лица. Как говорится, «тушите свет». Коммуняки же к нему бежали с объятьями и горячими приветствиями.

Был момент, когда я усомнилась в своем псих. здоровье и хотела сама себя пощипать. Потом я выяснила, что это — очень известный в Москве персонаж. Дядька, действительно до патологии похожий на В. И., постоянно выступающий, как актер, за хорошие гонорары на таких вот сходках, а порою вдребодан с политическими дружками напивающийся и прямо на булыжники под вдохновенные овации падающий. Оказывается, про него даже была передача во «Времечке».

Как тебе?

Словом, я так от всего этого похода притомилась, что долго лежала на тахте, глядя в родной потолок, и с трудом восстанавливалась.

А ты там все тоскуешь по Родине... Погоди, вернешься — и вдоволь поржешь и поплачешь. Вернее, сделаем это вместе.

Больше, подруга, пока никаких особых сенсаций нет. Очень много работаю. Никого (в смысле мужиков) не люблю: некого и незачем.

Сегодня вечером пойду в театр — гастроль Р. Стурра, какая-то грузинская классика. Пригласили (билеты достать невозможно) новые новгородские товарищи, с которыми я познакомилась в той поездке, а теперь они сюда подъехали на некий телефестиваль, — я согласилась, хотя жутко лень. Для меня, чем дальше тем сильнее, — любой выход не в кайф, а в энергетическую нагрузку. Но я борюсь. Не то чтобы убиваю, однако сильно маскирую в себе Обломова.

Шлю тебе зачем-то статью Климантэ о Губанове (Имеется в виду очерк Н. Климонтовича, посвященный поэту Леониду Губанову. — *И.Ш.*), она очень противная, циничная, плоская, но все же колорит времени, из которого мы вышли, воссоздан верно.

Думаю, что тебе (особенно в контексте ностальгии) будет небезынтересно.

Ирок, не забывай меня и мою к тебе любовь.

Пиши — звони — телефонируй — телепатируй...  
Приезжай скорей!

16.4.1998».

«Ирочек, привет тебе из Крыма! (Письмо, конечно, не из Крыма, это просто наш обычный шуточный стиль. — *И. Щ.*) Писать особо не о чем, просто чтобы ты там меня не забывала, во-первых, во-вторых, чтобы поздравить тебя с день-Роженьем; наверное, письмо как раз к нему и подоспеет.

Я тебе уже, кажется, сказала по телефону, что у нас с тобой — по буддийским понятиям — чудная дата: семь семилетий — и (привет вам, птицы!) *трансформация* в новый жизненный этап. Хочешь верь — хочешь не верь.

Я, слава Богу, вообще нынче ничего не справляла, кое-кто зашел в течение дня по отдельности и безалкогольно: Познанская, Миша, племяши. Если бы так прошел и весь год, я была бы не против.

Небольшая сводка новостей (сумбурно и неаналитично).

Умер Миша Ландор (Переводчик, сын германистки Т. Мотылевой, живший на Аэропорте. — *И.Щ.*) (или я уже писала?). Упал пьяный на улице, и к нему долго не подходили, полагая, что он просто отдыхающий бомж. Я была только в морге, в Боткинской было много народу, в основном — его соученики по пединституту (он же учился на одном курсе с Ковалем, с Ю.Кимом и др.), какая-то странная, густо-рыжая и даже по-своему красивая дочка... Миша лежал в гробу впервые чистый, в хорошей рубашке и приличном пиджаке, с породистым, ум-

ным и каким-то, я бы сказала, достойно состоявшимся лицом.

Очень загадочная и печальная штучка — жизнь. Да, Ирок?

Опишу тебе просто так, в виде сухого отчета, свои три последних дня, дабы ты вживую почувяла, куда скоро вернешься.

*Среда.* Пошла в «Вопли», где все та же, что и 20 лет назад, компания справила день рождения — мой и сеструхи Львовой, бухгалтера Татьяны Константиновны (60 годков). «Обе Татьяночки!» — как постоянно отмечал нетрезвый Толя Кабанец (Многолетний технический сотрудник журнала «Вопросы литературы». — *И.Ш.*).

У С. шизе углубляется: вообще не моется, не стрижется и не врубается.

Мне подарили книгу эссе Г. Адамовича «Одиночество и свобода» (это в точку!), а Татьяне Константиновне — хрустальную миску для конфет (тоже в точку). Хорошо посидели.

Потом, в полпятого, я двинула в «Новый мир» читать верстку и пообщаться с О.Ч. Помнишь, как он страшно заорал: «Я им не позволю!», — и мы с тобой подумали, что он хочет кончить жизнь самосожжением или типа того, но речь шла всего лишь о работе почтальонов. Тут я поимела те же крики, но в кубе. У них сменился главный редактор (лень описывать), и обстановка наэлектризованная. Было еще человек пять-шесть в той же комнатухе, все с бутылочками и в беретиках или (К. Ковальджи) в фетровых шляпах. Каждый хитрил, орал, цитировал, намекал, а в окно лилась раскаленная (это сразу после снежных морозов) весна...

Ирок, это я специально слегка кошу под Петрушевскую, но материал располагает.

*Четверг (вчера).* Жара стала совсем окончательной. Молодёжь ходит прямо-таки в рубашках на-

распашку, а тетки типа меня все-таки пока в плащах. Была в ПЕН-Центре: Вознесенский мне (и еще пол-организации) оставил свои книжки — у него вышли в «Вагриусе» мемуары. Давно надо было забрать. Мемуары, я тебе так скажу, весьма энергичные, даже небезынтересные временами с точки зрения персонажей (не Окуджава или Р. Щедрин, конечно, но личности вроде Хайдеггера или Шагала) и неизвестных деталей. Но... какое отсутствие вкуса, меры и самоадекватности. Какой-то странно-плебейский комплекс — при том, что сам Вознесенский из старой интеллигентской московской семьи, комплекс не успокаивающегося оргазма по поводу близости к любой знаменитости, будь то действительно гениальная личность или просто крупный политический мерзавец-временщик. Этаким неизжитый комплекс примыкания к «элите»... Подписи под фото исключительно такие: «В прикиде от Кардена» или: «Рейган спросил меня: "Где вы сшили свой элегантный пиджак?"».

Однако — повторяю — читала я эту муть почти всю ночь не отрываясь. Из ПЕНа двинула опять в НМ (накануне мне попросту ничего вычитать не дали), потом — в магазин «Ткани». У меня очень-очень редко бывают бытовые взвихрения, когда мне вдруг чего-то дико хочется. Настолько редко, что я сразу стараюсь схватить этого психобыка за рога — и хоть что-то по дому на короткой волне сделать. Итак, купила новую сковороду и материал на занавески в большую комнату. Я, недавно проснувшись, вдруг остро почувствовала, что те, тебе хорошо известные, густо-красные и плотно-темные, на сей момент воплощают для меня сублимированную в ткань депрессию. О, как часто я ими занавешивала окно без единой щелочки, получался кровавый полумрак, в котором я часами лежала и перебирала свои обиды с

детства... Сейчас фаза иная, и я срочно купила на лето сетчатую чайную материю, которая будет и загораживать от излишнего света, и всегда его пропускать. Она (такова моя иллюзорная надежда) поможет мне подольше быть в состоянии «ап». (Но мы-то с тобой уже точно знаем, сколь неизбежно вернется «даун»...)

Вечером я написала статейку в «Знамя» (пишу пока очень много и легко), а потом — с кошечкой под боком — с жадным любопытством и легким презрением всю ночь, повторяю, читала Вознесенского.

*Пятница (сегодня).* Ох, что-то я так разговорилась (письменная логорея), что даже сама устала. Перехожу на телеграфный стиль. С утра прочла НГ — в приложении очередную ахинею — продолжение бесконечной исповеди Кати Московской. По сложившейся традиции, посылаю. Потом обсудим. Тут апофеоз того, за что я остро ненавижу гипертрофированную женственность в сочетании с форсированной духовностью; все эти могилки, кошмарики, лучики, цветочки — в соседстве с бриллиантками, рубинчиками, юбочками и пуговками; никогда не могла принять этой органики, хотя верю, что подобное сочетание несочетаемых посылов и может быть в женщине натуральным; не обязательно, выходя в астрал, терять способность подтянуть колготки и накрашивать губы... Сложный вопрос. А мужики — даже самые умные и серьезные — безоговорочно предпочитают первый вариант.

Была в Литинституте. Заказала новые очки. Записалась к врачу (уже который раз — записываюсь, а потом динамирую). Скоро придет Сережа (Племянник Тани. — *И.Щ.*) из школы. Мы с ним рванем в наш (теперь уже давно — более мой, чем наш, ибо у Сережи все затмил компьютер) любимый цирк.

Ирок, все. «Молчи, скрывайся и тай». Я тебя заговорила. Видать, соскучилась без наших высокоинтеллектуальных тру-ля-ля.

24.4.1998».

«Дорогой Ирочек!

Вчера получила твое письмо — очень горькое, написанное сразу после смерти Бабси. (Моя близкая подруга, австрийка, которую знала Таня. В эти дни она умерла от рака в Вене. — *И.Щ.*)

Увы, Ирочек, жизнь оказалась очень длинная, жестокая и «взрослая». И мы уже не дети, и испытания нас ждут впереди серьезные, и нужно мужество, просто чтобы жить. Прости за сушии банальности.

Вот и почти прошел твой срок отлучки. Скоро приедешь, чему я лично несказанно рада, будет хоть с кем побазарить по телефону и обменяться «вестями» и «итогами».

Очень тебя жду.

Форма у меня сейчас более чем сносная. Я давно так много и продуктивно не работала, пишу бесконечные статьи, рецензии, заметки в некий энциклопедический словарь шедевров (от «Вечерних огней» Фета и «Кипарисового ларца» Анненского — до «Чонкина» и «Жди меня»). Кроме того, читаю груды рукописей в приемной комиссии Литинститута. Впрочем, все это я тебе уже, кажется, излагала. Прости за возможные повторы.

«Люди на блюде» продолжают иметь свое абсолютное безумное и утомительное место; но все дело в нашей реакции (сама знаешь), сейчас (пока) я справляюсь с жизнью во всем ее объеме и даже включая гадости-противности.

Сегодня — вторник. В воскресенье я была в Институте Гнесиных (как ни странно, впервые в жизни), где был концерт такой вполне знаменитой певицы (сопрано) Елены Ивановой, с которой я учи-



лась в параллельных классах в школе № 152. Она была ужасно смешная, смешливая, кобылистая, добрая девка. Я слышала по радио и читала в газетах (и на афишах часто мелькало ее имя), что за минувшие тридцать лет Лена сильно продвинулась и весьма ценится в своих оперных кругах. И тут меня просто изнасиловали по телефону другие девахи-тетки, с которыми мы все вместе учились и которых я порой встречала возле метро. Кстати, встречая, каждый раз слегка вздрагивала: вот оно — неумолимое время. Почему-то глядя в зеркало на себя, так этого не видишь.

Короче, меня уговорили пойти на ее концерт, и это оказалось пронзительно. Она пела гениально (хотя я вообще-то не люблю и не воспринимаю это вокальное искусство) редчайшие арии, романсы Рахманинова и Чайковского. Какие-то итальянские рулады. И сильным был не просто ее глубочайший голос, но ощущалась *личность*. Внешне она, как и все этого рода певицы, стала чрезвычайно толстая, большая, мощная, но в этом даже есть своя красота. Когда она закончила романс Рахманинова на слова Алухтина строкой «...И одиночество, и нищета...», — зал (в основном, консерваторско-арбатские старушки и чокнутые чудики неопределенного возраста) как-то энергетически охнул, а я, грешная, с сентиментальным надрывом прямо прослезилась. Платье на ней при этом было из розово-коричневого гипюра с серой люрексовой накидкой. Я же ей в конце преподнесла розу настоящую (мы не виделись ни разу лет двадцать, но она меня узнала) и мы обе опять же почти прослезились.

Такое вот, Ирок, было интересное впечатление.

Вчера была я в «Воплях» («и одиночество, и нищета...») и в институте. (...)

Ладно. Скоро уже свидимся. Очень жду тебя вообще и в частности, чтобы поговорить подетальнее и

«Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

пообстоятельнее о Клемперере (Таня работала над предисловием к книге В. Клемперера «Язык Третьей империи». — *И.Щ.*). Твоя помощь мне будет всерьез необходима.

Главное, чеши-ка сама сюда — на родину, как говорят романтики.

Целую тебя, Т.

26.5.1998».



## СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	5
-----------------	---

### ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ

«Состоялась и заматерела...»	9
«На отшибе средней полосы...»	10
А л ы е п а р у с а	
1. «Блаженствуя в нечистой полутьме...»	11
2. «От любви ничего не осталось...»	12
«Ветер, и ужас, и дрожь по воде...»	13
«Наверху — словеса и угрозы...»	14
«Америка — цветной калейдоскоп...»	15
«Я гаркну, бредя из аптеки...»	16
«И не просто вьюга ревет, и дразнит...»	17
«С маленькими фигами в кармане...»	18
«Пролетая над городом в дымке...»	19
«Я просила тяжелой любви...»	20
Ритм	21

## СОДЕРЖАНИЕ

«Грех, как вор, взлезает в окна...»	22
«Это время поет...»	23
«Выгони из меня...»	24

## ЖИЗНЬ КАК БЕСЕДА

Владимир Войнович	27
Соломон Волков	57
Александр Городницкий	107
Александр Кабаков	132
Юлий Ким	156
Александр Кушнер	178
Михаил Левитин	207
Давид Маркиш	239
Александр Ревич	277
Татьяна Рыбакова	291
Евгений Солонович	315
Асар Эппель	339
Бел Кауфман	364
Мария Луиза Спациани	373

## ДВЕ БЕСЕДЫ С ТАТЬЯНОЙ БЕК

«Бескорыстного поиска путь — это хлябь, а не чистописание». <i>Ирина Скуридина</i>	381
Татьяна Бек: Я и сейчас считаю, что он был гений	387
Татьяна Бек: В небо, куда повыше...	400

## СОДЕРЖАНИЕ

### ИСПОДЛОБЬЯ

Выдры из Вырицы и тыдры из Тырицы	427
Да здравствует умная глупость!	432
Счастливая Марина. Цветаева боялась, что ее похоронят живой	436
Метафизика буден и биохимия краха	441
Любим и забываем. 26 сентября 2003 года	
Александрю Межирову исполнилось 80 лет	445
С приятным бонжуром!	448
Почти путевой дневник, или «Нас накрыл шелест крыл...»	451
Жизнь.doc	455
Столпник в пути	458
Книжный шкаф vs. интернет	461
Старое — заново	464
Голосом сельской пророчицы	467
Чем ниже, тем выше?	471
Жизненный опыт: коробки, сумки, чемоданы	475
И дружба, и служба	478
Есенин и носы	481
Осторожно: не отождествлять!	484
Увидеть лето на земле	487
Мы есть то, что мы видим	490
Post lucem	493
Остров полифонического отпада	496
Даешь пародию!	499
Фишка у него есть	502
Кири-ку-ку!	505
Уроки Козьмы	508

## СОДЕРЖАНИЕ

### «Я БЫЛА ВАМ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ...»

Людмила Агеева. Драгоценный остаток	513
Юрий Буров. Писательство никогда не прощает неправды	519
Владимир Войнович. Незаживающая рана	30
Виталий Вульф. «Все кончается! С каждой кончиной...»	535
Борис Евсеев. Цензура кланов	540
Сергей Есин. Баскетболистка!	544
Тамара Жирмунская. «С обязательной примесью боли...»	548
Наталья Иванова. До свидания, Таня	563
Бригитта ван Канн. Татьяне Бек	575
Айлар Кербабаяева. «Такая это уникальная дружба...»	579
Олег Клинг. «Что касается Кельна...»	600
Нина Краснова. Несовпадение с миром	609
Александр Кушнер. Беседа с Татьяной Бек	615
Лазарь Лазарев. Я называл ее Таней...	627
Наталья Ласкина. «Путем взаимной переписки»	639
Евгений Лесин. Распатронить и раздраконить, или Памяти ТАБ	653
Афанасий Мамедов. Священники, воины, поэты. <i>Вспоминательный очерк</i>	658
Давид Маркиш. Кафе в поле	673
Екатерина Орлова. «...Как спичка вспыхивает в дымке»	678
Семен Пинхасов. Танёк	687
Алексей Сисакян. Дубна	694

## СОДЕРЖАНИЕ

Елена Скульская. Дорогой подруге по несчастью, оно же — счастье...	700
Евгений Солонович. ...далее везде	712
Роман Тименчик. Несколько писем Тани Бек	719
Игорь Шайтанов. Путь, пройденный по восходящей	730
Александр Шаталов. На сквозняке	744
Виктория Шохина. Она была такой красивой. <i>Воспоминания, письма, сны, постскриптум</i>	773
Ирина Щербакова. Привет вам, птицы...	803



**ТАТЬЯНА БЕК: ОНА И О НЕЙ**

Стихи, беседы, эссе  
Воспоминания о Т. Бек

Директор издательства А. Гантман  
Ответственная за выпуск Л. Казарьян  
Корректор О. Лялина  
Художник А. Рыбаков  
Компьютерная верстка У. Кузина

Подписано в печать 25.10.2005. Формат 84х108 1/32  
Бумага офсетная N°1. Гарнитура Newton C. Печать офсетная.  
Усл.печ.л. 43,68 + 2 вкладки = 45,36. Тираж 5 000 экз. Заказ 5846

Издательство Б.С.Г.-ПРЕСС  
109147, Москва, Большая Андроньевская ул., д.22/31  
Тел/факс (095) 980-21-59, 912-26-51  
E-mail: bsgpress@mtu-net.ru

Отпечатано во ФГУП ИПК "Ульяновский Дом печати"  
432980, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 14

Издательство «Б.С.Г.-ПРЕСС»

Вышла из печати:

Татьяна Бек

До свидания, алфавит

Эссе, мемуары, беседы, стихи

Татьяна Бек известна в первую очередь как лирический поэт. Однако ее литературная критика, эссеистика и «беседы» вызывают у читателя не меньший интерес, чем лирика. Вопросы, которые поэт-критик ставит перед собеседниками и перед самой собой, всегда парадоксальны и креативны. В книге «До свидания, алфавит» впервые собраны вместе автобиографические зарисовки, мемуары литературные портреты, статьи и беседы, а также связанные с персонажами этой прозы и вообще «жизнью в искусстве» стихи Т.Бек. Все эти тексты в совокупности представляют живую картину современной словесности.

**Издательство «Б.С.Г.-ПРЕСС»**

**Вышел из печати:  
Асар Эппель  
In telega  
Размышления и эссе**

**В этой книге с интригующим названием писатель Асар Эппель собрал публиковавшиеся в периодике статьи и эссе, в которых он призывает обратить внимание на проблему «нарушения экологии культуры». Остроумная проза А.Эппеля, обладающего тонким слухом и поразительной наблюдательностью, наверняка доставит удовольствие читателям.**

Издательство «Б.С.Г.-ПРЕСС»

Вышла из печати:

Лекарство от фортуны

Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы  
Английской и короля Иакова

Перевод с английского, предисловие,  
комментаории Григория Кружкова

Эта книга, посвященная английской поэзии Возрождения, не является ни сборником эссе, ни художественным альбомом, ни обычной антологией.

Скорее, это синтез того, другого и третьего, попытка одновременно достичь двух целей: поместить стихи в объясняющий и обогащающий их контекст и создать из фрагментов поэтической мозаики цельный портрет времени, перенеся читателя в блестящую и опасную эпоху Тюдоров и Стюартов.

Украшенная богатейшим иллюстративным материалом, в том числе портретами Ганса Гольбейна, миниатюрами Исаака Оливера и театральными эскизами Иниго Джонса, снабженная увлекательными комментариями и биографическими очерками, книга «Лекарство от Фортуны» — результат сотворчества поэта-переводчика Григория Кружкова и художника Сергея Любаева.

Издательство «Б.С.Г.-ПРЕСС»

Вышел из печати:  
Александр Климов-Южин  
Чернава  
Книга стихов

Селение Чернава находится в верхнем течении Дона на Рязанской земле. ( Первое упоминание относится к 1236 году). Эта книга — попытка восстановить традицию привязанности поэзии к топониму. Образцы намечены еще Державиным в «Жизни Званской». Стихи ранее публиковались в журналах «Арион», «Октябрь», «Новый мир».

Издательство «Б.С.Г.-ПРЕСС»

Выходит из печати:

Борис Евсеев

Процесс воображения:

Сто стихотворений и поэма

Борис Евсеев известен как глубокий и оригинальный прозаик.

Новая книга стихов выходит после десятилетнего перерыва. В нее вошли как новые стихотворения, так и стихотворения прошлых лет.

Около 40 стихотворений публикуются впервые.

Издательство «Б.С.Г.-ПРЕСС»

Выходит из печати:

Алексей Карпов

Сказания Русской Летописи

В «Сказаниях Русской Летописи» живым и доступным языком изложена история древней Руси, бережно переданы стилистические особенности и интонация первоисточников — бесценных русских летописей.

В издании использованы иллюстрации из книги «Русская история в картинках, или Живописный Карамзин», 1836 — 1844.

Издательство «Б.С.Г.-ПРЕСС»

Выходит из печати:

М.Л. Гаспаров

Занимательная Греция

Рассказы о древнегреческой культуре

«Занимательная Греция» — своеобразная энциклопедия древнегреческой культуры, зерна, из которого выросла вся новоевропейская и русская культура. В шести частях книги (с IX по II в. до н.э.) рассматриваются политика и быт, военное искусство и философия, театр и поэзия - все в неразрывной связи друг с другом и эпохой. Стиль изложения продолжает традицию старинных книг «о достопамятных словах и поступках великих людей».



Книги издательства «Б.С.Г.-ПРЕСС»  
оптом можно приобрести по адресу:  
Москва,  
ул. Большая Андроньевская, д 22/31  
Тел./факс: (095) 912 96 44; тел.(095) 912 26 51

А также оптом и в розницу в книжном клубе  
Дворца спорта «Олимпийский»  
(№ № 128, 173а, 295)  
Тел.: (095) 688 57 36

В розницу книги издательства  
продаются в следующих магазинах Москвы:

Московский Дом книги  
Новый Арбат, 8  
Тел.(095) 290-45-07

Дом книги «Молодая Гвардия»  
Большая Полянка, 28  
Тел. (095) 238-50-01

Книжный магазин «Москва»  
Тверская, 8  
Тел. (095) 229-64-83

Книжный магазин «Фаланстер»  
Большой Козихинский, 10  
тел. (095) 504-47-95

В Санкт-Петербурге наши книги можно купить  
оптом и в розницу в издательстве «Симпозиум»  
Малая Морская, 18  
Тел./факс (812) 314-46-13

Два года назад мы вместе с Татьяной Александровной Бек радовались выходу книги «До свидания, алфавит», задумали издать и вторую... Таня собирала материалы для нее — в ее компьютере новые стихи, интервью и эссе были сложены в папку «Для Б.С.Г.-ПРЕСС».

Никто не мог предположить, что вторую часть новой книги составят воспоминания о Татьяне.

Для меня и всех сотрудников издательства этот сборник — дань памяти замечательному поэту и прекрасному, светлому человеку.

Александр Гантман



ISBN 5-93361-183-1



9 785933 811831

Юрий Буров/Виталий Вульф/Борис  
Евсеев/Сергей Есин/Тамара Жирмунская  
Наталья Иванова/Айлар Кербабаева  
Лазарь Лазарев/Наталия Ласкина  
Евгений Лесин/Семен Пинхасов/Роман  
Тименчик/Александр Шаталов/  
Виктория Шохина/Ирина Щербакова

**Б.С.Г.-ПРЕСС**